

Scan Kreyder - 11.12.2015
STERLITAMAK



Юрий Терман

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ**



**ЛЕНИНГРАД «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

1976

ЮРИЙ ГЕРМАН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

РАССКАЗЫ
ДВЕ ПОВЕСТИ
ВОСПОМИНАНИЯ

ЛЕНИНГРАД «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1976

Р2
Г38

Оформление художника
А. ГАСНИКОВА

Г $\frac{70302-073}{028(01)-76}$ подписное

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НАКАНУНЕ

Надо обладать внутренним сознанием необходимости идти на смерть ради жизни, идти в рабство ради свободы и обладать силой пережить с открытыми глазами весь ад жизни, чувствуя в своей душе зачерпнутый из жизни великий возвышенный гимн красоте, правде, счастью.

Ф. Дзержинский. *«Письма»*

РЕПЕТИТОР

На платформе гимназиста встретил сонный бородатый кучер в плаще из клеенки. Было раннее утро, моросил мелкий дождь. Гимназист надел шинель в рукава, спрятал под полу книги и пошел за кучером через станцию на маленькую, обсаженную акциями площадь. Возле станции стоял желтый английский фэтон. Лошади были хорошие, гнедые, в лаковой сбруе, с наглазниками. Кучер сел, расправил вожжи, щелкнул английским бичом — лошади сразу же пошли упругой рысью. Фэтон мягко покачивался на рессорах. Гимназист поднял куцый воротник шинели, нахлобучил фуражку на глаза и задремал.

Фэтон остановился у двухэтажного дома с террасой и крытой стеклянной галереей. У крыльца стоял сам хозяин, гладковыбритый человек с водянистыми выпуклыми глазами.

— Рад вас видеть, — сказал он, пожимая пальцы гимназиста своей мягкой и влажной рукой. — Очень рад приветствовать вас в своем доме.

Хозяин помолчал. Здесь гимназисту следовало ответить, что он тоже очень рад. Но гимназист ничего не ответил.

— Так вот, — снова заговорил хозяин, — директор вашей гимназии мне чрезвычайно рекомендовал вас, господин Дзержинский. Он говорил мне о ваших замечательных способностях, о вашем удивительном упорстве, о вашей воле... Должен предупредить:

мой сын — ваш будущий ученик — существо хоть и милое, но крайне избалованное.

— Да, я слышал, — ответил Дзержинский.

— Живем мы просто, — продолжал хозяин, — придерживаемся английских порядков. Встаем рано, ложимся тоже рано. К столу собираемся по гонгу, смокинг не обязателен...

— У меня нет смокинга, — перебил Дзержинский.

— Как? Совсем нет?

— Совсем.

Хозяин махнул рукой.

— Пустяки, — успокоил он, — ерунда. Одним словом, идите отдыхайте: комната вам приготовлена, завтрак по гонгу. Игнат, проводите.

Лысый лакей повел Дзержинского паверх. Поднимаясь по лестнице, он с неодобрением глядел на заплатанные башмаки гостя. Когда дошли до компаты, Дзержинский сказал:

— Спасибо. Вы мне не нужны.

— А разобрать багаж пана?

— У меня нет багажа.

— А как пан будет принимать ванну?

— Я моюсь сам.

— А кто подаст пану платье?

— Я одеваюсь сам. Спасибо.

Лакей объяснил, где расположена ванная компата, потоптался с минуту и ушел.

Дзержинский разложил на столе книги, пришил к шинели оторвавшуюся пуговицу и вымылся в ванне. Потом причесал гребенкой легкие, тонкие волосы, открыл томик стихов Мицкевича и стал читать.

В десять часов на террасе внизу ударил гонг. Это означало, что завтрак подан. Дождь кончился. Над большим, в английской моде, парком проступило голубое небо. Дзержинский спустился вниз.

Когда он проходил крытой стеклянной галереей, к крыльцу подъехал на высокой рыжей кобыле хозяин дома. Лицо его выражало злобу, губы были сжаты.

— Это чудовищно, — сказал он, увидев Дзержинского. — Сегодня ночью у меня украли трех племенных быков. Все три быка убиты и освежеваны на моей земле, в двух верстах от имения. И вы думаете, люди голодны? Ничего подобного! Это месть. Они мстят мне. Что ж, посмотрим!

Бросив в угол перчатки и хлыст, он ушел мыться, а Дзержинский отворил дверь на террасу. Тут уже было довольно много народу. Хозяйка дома, белокурая, еще красивая женщина, подала

Дзержинскому руку и спросила, чаю ему или кофе. Он попросил чаю и сел рядом со своим будущим учеником, круглоглазым мальчиком. Мальчик болтал ногами и косо поглядывал на Дзержинского.

— Ну, — спросил у него Дзержинский, — как тебя зовут?

— Стась, — сказал мальчик.

— Весело тебе живется?

— Ничего, так себе, — ответил Стась.

— Говорят, ты плохо учишься?

— Плохо, — сказал Стась. — Да ведь мне, собственно, и незачем хорошо учиться. Я пойду в офицеры — всего и делов. В гвардию пойду. Рост у меня хороший...

— Стась, не болтай ногами, — сказала с другого конца стола мать Стася.

— Вечные замечания, — сказал Стась, — с ума можно сойти. Вы тоже мне будете делать замечания?

— Нет.

— Почему?

— Ты мне не очень нравишься.

— Почему? — с испугом спросил Стась. — Ведь вы со мной почти что не говорили. Может быть, я как раз очень хороший...

Дзержинский промолчал.

Молодой офицер, брат хозяйки дома, несколько раз пытался заговорить с Дзержинским. Дзержинский отвечал однообразно: да или нет. Офицер шепнул сестре:

— Однако этот учитель... Характер!

Позавтракав, Дзержинский и Стась пошли в парк. Распускалась сирень, с каждой минутой становилось все жарче, густо гудел шмель.

— Вы еще учитесь в гимназии? — спросил Стась.

— Учусь.

— Интересно там учиться?

— Не очень.

— Почему?

— Потому что самому главному там не учат.

— А что это главное?

— Вырастешь — узнаешь.

— Что-то вы какой-то странный, — сказал Стась, — серьезный, серьезный, а глаза у вас веселые. Давайте посидим.

Они сели на влажную скамью.

— Хорошо у нас, правда? — спросил Стась.

— Нет.

— Да почему же? Смотрите, какой цветник!

— Мне не нравится.

— Как вы можете так говорить? — сказал Стась. — Ведь это неприлично. Мама меня учила, что если я в гостях или в обществе и если меня спросят про что-нибудь, нравится мне или нет, то я должен ответить: очень нравится.

— А если не нравится?

— Все равно.

— Значит, соврать?

— Подумаешь, — сказал Стась, — соврать! Все врут. Вот, например, мой папа терпеть не может нашего дедушку, мамино папу, а потому, что дедушка миллионер, мой папа так перед ним и рассыпается. А я сам слышал, как он сказал про него: «Вот поганый старик». Чтобы я пропал, если вру. Хотите, поедem кататься верхом? У меня свои лошади есть, мне дедушка подарил. Чудные.

Дзержинский с веселым любопытством глядел на Стася.

— Ну что вы все смотрите? — спросил Стась. — Ей-богу, даже странно. Ух, я чуть не забыл. Почему я вам так не понравился?

— Сказать?

— Скажите.

— Потому, что ты барчонок. Это очень противно.

— Что ж тут противного?

— Потому, что ты нескромec. Это тоже очень противно. Очень противно также и то, что ты хвастаешься лошадьми, имением — всем тем, что создано вовсе не твоими руками...

— Ну, папиными! — воскликнул Стась.

— И не папиными.

— А чьими же?

— Во всяком случае, не твоими, не папиными и не дедушкиными. Чего ж тут хвастаться? А ты еще из-за этого не желаешь учиться, не хочешь умнеть. Кто ты таков? Барчонок, избалованный, развязный, не в меру болтливый, пустой хвастун... Мне жаль тебя.

— Почему жаль? — уныло спросил Стась.

— Потому, что у тебя все есть, — продолжал Дзержинский. — Тебе не о чем мечтать. На лошади покататься? Пожалуйста, — выбирай любую. На лодке? — вон их сколько. Все к твоим услугам. Ты даже не знаешь, как приятно мечтать и добиваться.

— Что-то вы мне говорите очень печальное, — сказал Стась. — Мне еще никогда никто такого не говорил.

Жизнь в имении шла однообразно, по раз навсегда установленному порядку. После завтрака все расходились — кто в парк, кто в лес за речку, кто в комнаты. Отец Стася шел к себе в контору заниматься делами. Мать раскладывала пасьянс. Гости — мо-

лодой офицер, два лицеиста и толстая рыжая женщина Ангелина Сергеевна — играли в крокет, купались. После второго завтрака все спали. После обеда долго пили кофе, под вечер ехали кататься верхом. Перед сном, при свечах, играли в карты. Любили все английское, плакали над печальными книжками, жалели больных собак и кошек, с восторгом читали стихи. Отец Стася иногда любил спеть старинный польский романс, голос у него при этом дрожал. Но про крестьян и батраков здесь иначе не говорили, как «хамы», «быдло», «разбойники». Мать Стася была своєю горничную по щекам, а братец ее, молоденький поручик, однажды на глазах у всех полоснул денщика хлыстом по лицу только за то, что плохо была затянута подпруга у коня. Говорили прислуге «вы», но в людских комнатах было тесно, водились клопы и тараканы, бани для батраков не существовало вовсе. Штрафы со служащих и с рабочих брались такие, что ежедневно по несколько человек приходили к террасе, становились в пыль на колени и молили «простить» и «не пускать по миру». Но не было случая, чтобы отец Стася «прощал».

— Мое слово свято, — говорил он, — и порядки мои тверже самой твердой стали. Еще провинитесь — еще оштрафую, а сейчас идите с богом.

И, глядя вслед уныло плетущимся людям, добавлял:

— Я вас перекрушу. Не на такого напали.

Дзержинский присматривался, прислушивался. На третий день после своего приезда, под вечер, он вдруг ушел за речку в село.

Было тихо, пахло дымом, в селе брехали собаки. Долго пришлось ждать парома. На речку спустился легкий туман. К перевозу, мотая локтями, подъехал рябенский мужик, слез с худой лошаденки и, похлопывая ее по костлявому крупу, сказал:

— Паровоз — ей кличка. Верно, подходящая?

— Почему же паровоз? — улыбаясь спросил Дзержинский.

— А исключительно потому, что она худая. Силы в ей никакой. Один пар. Вот и называется паровоз. А вы откуда? С экономии?

— Да.

— В село?

— Да.

— Побьют, — сказал мужик. — Это уж верно. Нехорошо там, в селе.

И, сложив руки рупором, он закричал через речку:

— Дай перевоз! Паровоз едет!

Потом подергал за канаты. Но парома не было.

— Спят небось, окаянные, — сказал мужик.

Постепенно Дзержинский выведал, что в селе каждый день собираются сходки, и вот по какой причине: с неделю назад крестьянский скот потравил пшеницу, принадлежащую отцу Стася; помещик арестовал коров, овец и коней и потребовал выкупные, невиданные даже в этих местах: по три рубля за овцу, по пяти — за корову и быка и по десяти — за коня. Денег таких, разумеется, у крестьян не было. На то, что помещик «простит», никто, конечно, не надеялся. Помещик же пообещал, что если деньги не будут внесены в семидневный срок, он возьмет арестованный скот в свое собственное стадо.

— Грабеж среди бела дня, — говорил рябой мужичок. — Сами посудите, господин хороший, у кого такие деньги есть. Шутка сказать — три рубля за овцу. А ребята в селе без молока, продавать нечего, время горячее, рабочее, коней тоже нет. Народ, конечно, стервенеет. Ну и произошла шалость.

— Какая шалость?

— А вы что, не слыхали? — недоверчиво спросил мужик.

— Не слыхал.

— Да бычков хозяйских тюкнули, — сказал мужик. — Свели с экономии в овражек — и поминай как звали. Ха-арошие бычки были.

— Про это я слыхал, — сказал Дзержинский. — Из батраков кто-нибудь?

Мужик усмехнулся.

— Ишь ловкий, — сказал он. — Нет, брат, хотя я и пегодящий человек, наболтал тут тебе, но лишнего не скажу. Кто да кто? А я почем знаю.

В воде заполоскал канат, паром двинулся с той стороны. Мужик влез на своего коня, погладил его и спросил:

— А вы кто же будете, господин?

— Прохожий, — сказал Дзержинский.

Паром мягко стукнул о глинистый берег...

В селе действительно было «нехорошо». У околицы пиликала гармошка, кто-то подплясывал, плакала женщина, доносились пьяные голоса. Дзержинский подошел ближе. На бревнах возле хаты лежал человек с окровавленным лицом. Оказалось, что в село только что приезжал управляющий имением, требовал выкупных денег, грозил. Доведенный до бешенства крестьянин Сигизмунд Оржовецкий бросился на управляющего, тот выстрелил из револьвера и ранил Оржовецкого в щеку. Толпа потащила управляющего с лошади, управляющий поднял коня на дыбы, еще раз выстрелил и удрал.

Врача поблизости не было, фельдшера тоже. Кровь из раны хлестала, жена Оржовецкого плакала и прикладывала к ране землю, стараясь унять кровь.

— Тряпки нет чистой? — спросил Дзержинский. — Да перенесите его в хату. Что он тут лежит! И голову повыше.

Он сам взял Оржовецкого сзади под мышки, приподнял и велел рябому мужичонке взять раненого за ноги. Раненый застонал.

— Каты,¹ чтоб вы света божьего не видели! — закричала старуха, мать Оржовецкого.

В хате его положили на широкую скамейку. Дзержинский пожницами остриг ему бороду и стал при свете керосиновой лампы рассматривать рану. В хате сделалось тихо, только плакала старуха мать.

— Пустяковая рана, — сказал Дзержинский. — Сейчас мы ее потуже затянем, и кровь остановится. Сорочку какую-нибудь порвите...

Кровь действительно быстро остановилась. Раненый перестал стонать. Старуха мать пришла в себя и удивленно спросила:

— Вы что же — лекарь? А такой молоденький.

Завязался разговор. С улицы пришел длинный всклокоченный человек и сказал, что будто бы завтра приедут из города каратели и будут каждого десятого пороть. Никто не поверил, длинного подняли на смех.

— А мне что, — говорил он, — за что купил, за то и продаю. Только те бычки нам повылезут через бок. От посмотрите.

Мужчины вышли из своих хат, сели на бревна, закурили трубки. Настроение было тревожное. Несмотря на поздний час никто не спал.

— В экономии много работает людей из села? — спросил Дзержинский.

— Та человек две сотни есть, — сказал из темноты чей-то бас.

— И сейчас работают?

— Тем кормятся.

Чей-то звонкий голос сказал со злобой:

— Не бычков надо было резать, а кого другого.

— Двести человек завтра не должны выходить к помещику на работу, — сказал Дзержинский. — Если они не выйдут, работы остановятся и помещик начнет уступать. Двести человек — большая сила в экономии. Некому будет поить коней, доить коров, выгонять скот, работать в поле...

— Я ж давно говорил, — опять сказал звонкий голос, — я ж давно говорил. Вот он, умный человек, советует, то и я советовал.

¹ К а т — палач.

Начали спорить. Кривой старик сказал, что это не годится, что это вроде бунта.

— А что плохого в бунте? — спросил звонкий голос.

Теперь Дзержинский разглядел этого парня со звонким голосом. Он был молод, немного курнос, брови у него были неровные, с изгибом, глаза упрямые, блестящие.

Спорили долго.

Когда взошла луна, возле дома раненого Оржовецкого собрался сход и постановил: на работу к помещику завтра не выходить, а кто пойдет, того поймать и запереть в амбар на замок.

До паромы Дзержинского провожало человек шесть крестьян.

Опять пиликала гармошка. Ян — так звали парня со звонким голосом — шел рядом с Дзержинским, посмеивался, пошучивал, потом тихо спросил:

— Значит, бастуем?

— Откуда вы знаете это слово? — спросил Дзержинский.

— Оттуда, откуда и вы. — Усмехнувшись, он добавил: — Я в городе работал, на фабрике. Потом машина три пальца оттяпала, выгнали. Вернулся домой. Было время — и я бастовал.

У перевоза попрощались. Дзержинский крепко пожал искалеченную руку парня, обещал навещать в село.

Когда Дзержинский вернулся, на террасе еще играли в карты, а из залы доносились звуки и тенорок хозяина, певшего с дрожью в голосе:

Облекся мир волшебной дымкой,
Ничто в саду не шелохнет.
Но чу! Волшебной невидимкой,
Скрываясь, соловей поет...

— Кто идет? Остановись! — крикнул подпоручик, тасуя карты. Дзержинский остановился.

— Откуда вы? — спросила хозяйка, вглядываясь в темноту парка. — Гуляли? Идите к нам, у нас очень весело.

Дзержинский поднялся по ступенькам на террасу. Здесь были новые люди: становой пристав, еще не старый человек с апoplectической шеей и с золотыми зубами, и чрезвычайно аккуратного вида молодой офицер с длинной, как огурец, головой и очень белыми короткопалыми руками.

Подпоручик представил Дзержинского гостям:

— Учитель моего племянника.

Офицер щелкнул шпорами и сказал, пришепечывая:

— Лемешов.

— Подзенский, — сказал пристав, сверкнув золотыми зубами, — очень приятно.

Из залы на террасу вышел хозяин, взял Дзержинского под руку.

— Слышали новость? Чуть моего управляющего не убили.

— Да, я слышал,— неторопливо ответил Дзержинский,— но вы уже приняли меры.

Он кивнул на офицера и пристава.

— Пришлось вызвать роту,— сказал хозяин.

На одну секунду глаза их встретились. В темных зрачках гимназиста блеснул огонек и тотчас же погас. Он поправил рукой легкие, рассыпающиеся русые волосы, поклонился и, сказав, что ужинать не будет, ушел к себе. Окно в его комнате было открыто, лампа не горела, из парка тянуло свежестью и крепким, холодным запахом распускающейся сирени.

Не зажигая огня, Дзержинский лег на подоконник и долго смотрел на тяжелые купы деревьев, на поблескивающие под ровным светом полной луны луга, на неподвижную воду пруда... Все было тихо, неподвижно, спокойно.

Так он пролежал долго — до самой зари, а когда небо на востоке посветлело и спустилась роса, он встал, накинул шинель и, стараясь не скрипеть половицами, вышел из дому, отправился на молочную ферму экономии.

Было четыре часа. Обычно в это время из села в экономию уже идут один за другим батраки, но сейчас дорога была пустынна.

Возле фермы Дзержинский встретил управляющего. Немец приветливо снял шляпу, но лицо у него было озабоченное и не-веселое.

— Нехороший день,— сказал он,— совсем нехорошее начало.

— А что? — спросил Дзержинский.

— В экономии — ни души,— сказал немец,— не вышли на работу. А те батраки и батрачки, что были, снялись и ушли к себе в село. Как вам это нравится?

— Мне это очень нравится,— серьезно ответил Дзержинский.

Немец поморгал, потом решил, что гимназист шутит, и засмеялся, качая головой.

— Никакого порядка нет,— сказал он.— Русских мужиков надо пороть. И русских, и польских, и литовских. Солеными розгами. Тогда будет хороший порядок.

— А вы не боитесь, что вас убьют? — спросил Дзержинский.

Управляющий достал из заднего кармана кожаных штанов большой плоский пистолет, подбросил его и, схватив за ствол, сказал:

— Ха! Как это называется? Семизарядный и бьет человека навывлет. До свидания.

Он пошел к дому, а Дзержинский проводил его глазами и зашагал на ферму. У ворот молочной фермы, как возле казармы или порохового склада, стоял часовой с ранцем, со скаткой, с винтовкой.

— На военном положении ферма? — поинтересовался Дзержинский.

— Так точно, — стрельнув по сторонам озорными карими глазами, сказал солдат. — Бунта опасаются. А какой бунт? Я сам с этих мест, народ наш тихий...

— Пороть, говорят, будут? — спросил Дзержинский.

— Кого?

— Крестьян.

— Пороть?

— Ну да.

Солдат со злобой плюнул, потом сказал:

— Наше дело маленькое. Кого надо, выпорем. Прикажут — родного отца пороть будем. Служба!

Присев на скамью возле ворот, он поставил винтовку между ногами и свернул махорочную самокрутку. Потом, вкусно затянувшись дымом, спросил:

— Не из студентов часом?

— Нет.

— А из кого?

— Из гимназистов.

— Так, — задумчиво сказал солдат. — А чего рано ходите?

— Не спится.

— Чего же вам не спится?

— Вот вы людей сегодня будете пороть, — сказал Дзержинский, — какой же тут сон!

— А вам-то что?

Дзержинский сел рядом с солдатом на скамью.

Из всех батраков и батрачек, работавших в имении помещика, пришли в это утро на ферму только трое: глухонемой Артемий, страшной силы человек, крикливая пьяница-солдатка Зоська и тихий, со сладким голосом и голубыми глазами, нечистый на руку Пандурский. На скотном дворе творилось нечто небывалое: мычали недоенные коровы, ревели быки, которых некому было поить, блеяли козы. Недоенных коров не решались гнать на пастбище, а доить было некому. Быков следовало выгнать в поле, но трусливый Пандурский боялся свирепых, да еще непоенных животных, устрашающе гремящих цепями. Выпустили овец, те рванулись из ворот и, глупо блея, без пастуха побежали по дорож-

ке к парку. Обычно стадо гоняли три-четыре пастуха, сейчас не было ни одного. Ворота в парке оказались открытыми — овцы тотчас побежали декоративной дорогой, специально сеянной травой. Из дому кинулись за овцами горничная, старик лакей и поваренок Фомка, но в эту минуту в парк ворвались один за другим четыре быка, неизвестно кем выпущенные из сарая. Горничная завизжала, овцы помчались по клумбам, разбился на куски огромный стеклянный шар, украшавший цветник. Подпоручик выскочил на террасу в белье, с револьвером и, не разобрав толком, что случилось, стал палить по овцам. В одной шипели выскочил становой, решил, что по парку мечется бешеный бык, сорвал со стены английский охотничий карабин и наповал свалил лучшего быка фермы — племенного, два раза премированного. Стась, забравшись на стол, таращил круглые глаза и кричал дурным голосом:

— Бей! Круши! Бей! Ломай!..

Наконец выскочил на крыльцо хозяин дома, схватил себя за голову и простонал:

— О, идиоты!..

Кто-то прыскал матери Стася в лицо водой, подпоручик хохотал, становой разводил руками и говорил:

— Простите великодушно, я спросонья никогда ничего не понимаю.

Как обычно, в десять часов утра Дзержинский шел заниматься со Стасем. Несмотря на то, что и учитель, и ученик были взволнованы, занятия шли удовлетворительно. Стась прилежно, высунув язык, решал задачи, но изредка бегал к окну и сообщал:

— Быка еще не убрали.

Потом вдруг хохотал и говорил:

— Вы бы видели, что там делалось! У меня до сих пор болит живот от смеха. А папа сказал, что этот день довел его до белого каления. Феликс Эдмундович, что такое бело-е каление, а?

Днем становому подали рессорную коляску, и он уехал в село чинить суд и расправу, то есть выяснить, кто именно «тюкнул» трех помещичьих быков. С собою он взял двух стражников — бородатых, угрюмого вида мужиков с бляхами — и двенадцать человек солдат понадежнее. Вернулся он довольно скоро, выпил рюмку водки и сказал, оскалив золотые зубы:

— Выпорем соколиков завтра при всем честном народе.

— Нашли? — спросил подпоручик.

— Да разве найдешь! — ответил становой. — Спущу шкуру с каждого десятого — перестанут небось колобродить.

Дзержинский сидел бледный, покусывая губы. У Стася горели щеки. Мать Стася вздохнула.

— Это ужасно, это ужасно. Надо быть милосердными.

— К кому милосердными? — грубо спросил подпоручик. — Домилосердствовались до открытого разбоя — радуйтесь!

Второй завтрак прошел в молчании. Офицер с головой, напоминающей огурец, вдруг прокашлялся и сказал, что его солдаты могут с вечера заняться всеми хозяйственными работами по имению.

— Они у меня молодцы, — говорил он, ставя точки там, где их вовсе не полагалось. — Славные ребята. Я их не мармелажу. Военных нельзя. Нюнить. Слуги отечеству. Царю слуги. Дрессированные, как обезьяны. На смотре имел благодарность. Бригадный генерал благодарил. Нет, с капустой. Не ем.

После завтрака Дзержинский пошел в село, но педалеко от реки, в поле, встретил Яна.

— Завтра будут пороть, — сказал Дзержинский, — а сегодня на работы станут солдаты. Подослали бы в роту кого побойчее.

— Уже посланы.

— Ну и что?

— С ночи послали. Разговаривают.

— Поосторожнее бы надо.

— Сейчас сам туда пойду, — сказал Ян, — может, кого из виленских там встречу... А ночью мужики наши в лес подадутся. Черта их там найдешь. Бурелом такой — одни медведи гуляют. Пересидят пока что. Солдаты небось не век здесь торчать будут.

Легли на траву возле дорожки. Ян закурил.

— Надоело, — говорил он, глядя в голубое, ясное, высокое небо, — живем хуже зверей. Управляющий помыкает, приказчик помыкает, сам помещик помыкает. Люди мы или нет? Или мы, может, вовсе и не люди? Как это — пороть! Как это так: почтенного мужика и, здрасте, пожалуйста, драть как сидорову козу. Может, я с ума сошел? Может, все это мне привиделось?

Он сел, далеко забросил окурок и лающим от волнения голосом сказал:

— Всех под корень истребить надо, все крапивное семя извести. Или, может, убить станового?

— Другой на его место найдется, — сказал Дзержинский, — а делу повредишь. Чего-чего, а жандармов у царя куда что хватит.

Постепенно, час за часом, пустел дом. Дворня, имеющая в селе родню, задами, так, чтобы не попасть на глаза хозяевам, уходила за речку. Ушел хромой повар Иосиф, ушла кухарка, ушли два конюха, поваренок Фомка и помощник садовника. Незадолго до обеда на террасу явился садовник, старый, всеми уважаемый Ядрек. Держа в руках картуз и низко наклонив кудрявую седую голову, он сказал, что уходит по приказу общества.

— Какого общества? — бледнея от бешенства, спросил помещик. — Что вы все, с ума посходили?

— Никак нет, не посходили, — твердо ответил Ядрек. — Но как я сам ссть крестьянин, то иду до крестьян. С ними у меня праздник, с ними у меня горе.

— Больше можешь не являться! — крикнул отец Стася.

— Слушаю, пане.

Низко поклонившись, старик ушел, и все долго молча смотрели на его удаляющуюся спину в ярком вязаном жилете.

— Пане учитель...

Дзержинский повернул голову.

Посмеиваясь углом рта, подпоручик медленно говорил, обращаясь не то к Дзержинскому, не то к своему соседу — становому.

— Наш друг пан Дзержинский, я вижу, очень доволен. Уж не первый раз я наблюдаю за ним. Пану Дзержинскому так нравятся наши затруднения, что он даже не спит по почам. Представьте себе, управляющий сказал мне, что встретил пана учителя сегодня в четыре часа утра возле молочной фермы... А? Как вам это нравится? Может, наш учитель — революционер?

Неизвестно, чем бы кончился этот разговор, если бы Стась, сидевший на балюстраде террасы, не сказал вдруг тихим, испуганным голосом:

— Мам, пожар!

Поручик подбежал к балюстраде. Остальные бросились в парк. Слева от дома, за клумбами, к ярко-голубому небу поднимались густые черные столбы дыма.

С матерью Стася началась истерика. Подпоручик, цепляясь шпорами, метался по террасе и кричал:

— Люди, люди, пожар! Люди!

Но никто не шел. Дом был пуст. Старик лакей Игнат, один оставшийся от всей дворни, спал в своей комнате, напившись вишневки. Солдаты были далеко: караулили границы имения.

— Надо верхового в село, — сказал становой. — Седлайте, господин Дзержинский, лошадь, скачите в село.

— Никуда я не поеду, — ответил Дзержинский. — Какой дурак поедет сюда выручать из пожара такого помещика?

— Что-с?

— То, что слышали.

Никто не понимал, что происходит. Наконец на лошади примчался управляющий и сказал, что горит коптильня и занялась сыроварня, дал коню шпоры и по клумбам умчался созывать солдат. Отец Стася сидел в соломенном кресле, бледный, как полотно, обмахивался шляпой и говорил:

— Всему конец, всему конец.

Солдаты шли на пожар неохотно, поодиночке, посмеиваясь и переговариваясь друг с другом. Долго искали ключи от пожарного сарая, а когда управляющий сказал, что надо ломать замок, белозубый солдат с родинкой возле рта ответил усмехаясь:

— Что вы, ваше благородие, такой замок ломать...

— Ломай, скот русский! — заорал управляющий, наступая на солдата конем. — Застрелю собаку!

Солдат вдруг блеснул глазами, поднял над головой лом и крикнул:

— Осади!

Потом, швырнув ломик о землю, отошел в сторону и, вытирая руки, сказал:

— Сам ломай, я тебе не слесарь.

И тотчас же затерялся среди других солдат, косо поглядывающих на управляющего.

Когда выкатили наконец пожарные бочки, оказалось, что нет шлангов, а когда нашли шланги — стали искать ведра. Коптильня уже догорала: с грохотом обрушилась крыша, пламя на мгновение взвилось высоко вверх, потом начало лизать стенку сыроварни...

К вечеру хватились глухонемого Артема. Его нигде не было. Становой решил, что Артем поджег коптильню и убежал, и повел следствие. Оказалось, что куда Артем не убегал, а просто-напросто пошел спать в коптильню, настлал себе сена, уснул с трубкой в зубах. Горячий пепел высыпался из трубки, загорелось сено. Артем проснулся в огне, выскочил из пылающей коптильни и прыгнул в пруд. Волосы и одежда на нем сгорели. Нашли его в крапиве за сараем, он упал там без памяти. К почти глухонемой умер.

Сыроварня медленно догорала. Солдаты пехотя таскали воду, без толку лили ведро за ведром в раскаленные уголья. Управляющий, с почерневшим за день лицом, сам запрягал тележку — ехать в дальние экономии за подешниками. Коровы до сих пор стояли недоеденные, коней из жалости поили солдаты, в доме не было даже воды, — мыться бегали на пруд. Лемешов, командир роты, говорил становому:

— Ничего не понимаю. Коров доить вдруг не умеют. Фельдфебеля умеют, а солдаты нет. Никого. Не соберешь. Дисциплина падает с каждым часом. Уже двоих солдат. По морде бил. Ничего. Никакого порядка.

Собрались в кухне у Яна, затворили окно и завесили рядом. Ян зажег маленькую лампочку, поставил угощение — тарелку творогу, молоко и щербатые чашки. Из новых были: приехавший на побывку в родные места слесарь из Вильно Марлевский — с ним Дзержинский не раз встречался в городе; сельский учитель Янушевич; машинист из экономии Маслов и, наконец, солдат из роты Лемешова, здешний, сын кузнеца Акимов. Марлевский приехал утром, и его сразу же закрутили события. Это был невысокий, коренастый человек с залысинами, с круглым лбом и с маленькими умными глазами. Небольшими глотками он прихлебывал молоко и слушал Дзержинского, изредка поглядывая на него с одобрением, и, как бы соглашаясь, иногда наклонял крутолобую голову. Маленький Янушевич жадно курил; глаза его под лохматыми бровями поблескивали, он барабанил по столешнице и часто говорил:

— Это точно, это уж факт.

Маслов и Акимов молчали, и только когда Дзержинский предложил немедленно от руки размножить прокламации, оба в один голос сказали:

— Давайте.

Прокламация была предназначена к распространению в роте. Текст ее был уже составлен Марлевым. Он встал и прочитал прокламацию негромким, взволнованным голосом. Потом все наклонились над столом и стали вносить поправки. Когда текст исправили, Марлевский опять прочитал листовку вслух. Стало значительно короче и проще. Никто не говорил об опасности распространения такой прокламации в роте. Худой, носатый Акимов, покашливая, сказал:

— Большой взрывчатой силы бумажка. Поставит мозги кой-кому на место.

Размножали до двух часов ночи. Писали печатными буквами. Перья были плохие, ржавые, чернила грязные. К двум часам сотня была готова. Акимов сложил все в пачку, сунул ее под широкий ремень, сделал глупое лицо, откозырял и — кругом марш — вышел из хаты. Остальные выходили поодиночке, чтобы не обратить на себя внимания. Улицы села были непривычно оживленны, скрипели телеги. Крестьяне группами уходили из села.

Ранним утром из экономии на тележке увезли под конвоем двух солдат. Конвоировали фельдфебель и стражник: на солдат больше не надеялись. А часов в восемь утра из дому вышел Лемешов в походной форме. Ординарец держал коня под уздцы. Лемешов сел в седло. Где-то неподалеку ротный горнист играл «поход».

Дзержинский вышел на крыльцо.

На ступеньке стоял отец Стася в пушистом халате, в ночных туфлях. Конь под Лемешовым играл. Натягивая желтые ремни, Лемешов горячил коня и, кривя рот, говорил:

— За ночь, за одну ночь! Что осталось от роты? Имел благодарность от бригадного генерала. А теперь? Получу разнос. Благодарю покорно. Какие-то листочки. Ходят по рукам. Предпочитаю закрыть глаза. Извините. Подальше от греха.

— Что же мне-то делать? — уныло спросил отец Стася.

— Вам — свое, мне — свое. Вам — имение, мне — рота. Мне хуже. У вас — средства. У меня — пшик. Да. Благодарю покорно.

Он прижал короткие белые пальцы к козырьку и прищиприл коня. Конь рысью понесся из парка на проезжую дорогу. Там, за дубками, блестели на солнце штыки: рота выстраивалась к походу.

— Видали? — сказал помещик Дзержинскому. — Можете меня поздравить: этот фанфарон испугался и уводит роту в город.

Он сел в соломенное кресло и, сжав голову руками, воскликнул:

— Ну, научите же, научите, что делать! Вы молоды, мозги у вас не устали.

— Вам следует отдать крестьянам скот, — сказал Дзержинский, — и немедленно. Заплатить им за эти дни. Уволить управляющего — негодяя. Взять на себя уход за известным вам рапеным...

— Все?

— Пока что — да.

— Как это понять: пока что?

— Вы же отлично меня понимаете, — сказал Дзержинский.

Помещик помолчал, подумал.

— Пожалуй, это верно, — сказал он, — пожалуй, вы правы... Другого выхода нет.

Посмеиваясь, он прибавил:

— А вы — опасный человек. Нажаловаться на вас становому? Живо упрячут в тюрьму! Как? Нажаловаться?

— Попробуйте.

— Не бойтесь?

— Нет, — сказал Дзержинский.

Помещик с любопытством глядел в лицо Дзержинскому.

— И тюрьма не страшна?

— Нет.

— И ссылка?

— И ссылка.

— И каторга?

— Послушайте, какое вам до всего этого дело? — спросил Дзержинский.

— Мне просто интересно, какую силу представляют собой революционеры, — сказал помещик. — В конце концов надо себе давать отчет в происходящих событиях. Может быть, когда-нибудь ваше имя станет известным. Мне приятно будет вспомнить, что я разговаривал с вами... А?

Он засмеялся баском, прищурил свои водянистые глаза и спросил:

— Может быть, протекцию окажете? Оскудевшему помещику? А? Когда ваша возьмет, окажете протекцию?

— Нет, — сказал Дзержинский, — не окажу.

Вечером крестьянам был возвращен скот. Мужчины вернулись из леса. К Оржовецкому приехал врач. Помещик вместе с сыном прикатил в село, собрал сход, снял шляпу и сказал крестьянам:

— Предлагаю вам, господа, мир. Повздорили — и ладно. Как говорит русская пословица: кто старое помянет, тому глаз вон.

— А кто старое забудет, тому оба вон, — сказал из толпы сицый голос.

Помещик слегка покраснел.

— Я все ваши просьбы выполнил, — сказал он, помолчав, — и теперь предлагаю мир на вечные времена.

Крестьяне молчали, хмуро поглядывая на сытую, в чесучовом костюме, фигуру помещика. Стась, одетый матросом, сидел в экипаже поодаль, круглыми глазами наблюдал непривычное зрелище: отец как бы извиняется перед мужиками. Что такое?

Помещик молчал, крестьяне переминались с ноги на ногу и тоже молчали. Лица их были измученные, злые. Возле церковной ограды судачили и шептались бабы.

— Так вот так-то, — сказал помещик, надевая шляпу. — Значит, мир.

Он сел в экипаж, ткнул кучера в спину и тихим, бешеным голосом сказал:

— Пошел, болван.

Занятия со Стасем шли отлично. Дзержинскому с его колоссальной силой воли и страстностью удалось преодолеть лень и избалованность мальчика. Стась сдался и начал учиться с увлечением.

Прошла неделя, другая. В имение стали осторожно забегать сельские ребята, и Дзержинский в часы, свободные от занятий со Стасем, возился с ними, выбирая для этого отдаленные уголки парка. Ребята ложились на траву вниз животами и, уткнувшись носом в тетрадь, старательно решали арифметические задачи с гарнцами, цыбиками и ведрами, мусолили карандаши, сопели.

Дзержинский сидел тут же, сложив по-турецки ноги, сворачивал папиросы дешевого табаку и курил из деревянного мундштука. Заглядывая в тетради, говорил:

— О брат, чего ты тут пишешь? Не то пишешь. Откуда у тебя эта цифра взялась? А ну, пересчитай.

Или:

— Ты что, Петро, заснул или как? Может, тебе подушку принести?

Или вдруг:

— А не искупаться ли нам, ребята? Самое время.

И все бежали к пруду, толкаясь и хохоча.

Пруд был глубокий, большой, обсаженный ивами. Раздевались с гамом и визгом, выстраивались вдоль берега в шеренгу и замирали в веселом ожидании.

— Смирно! — командовал Дзержинский. — Смирно и тихо!

Это был самый любимый, всегда вызывающий дикий восторг номер: раздевшись, Дзержинский взбегал на горку за спиной шеренги и, крикнув: «Раз, два, три!» — бежал вниз, перепрыгивал через цепочку ребят, ласточкой сложив руки, летел, как стрела, выпущенная из лука, и с глухим всплеском исчезал в воде.

— Раз, два, три, четыре... — считали, замерев, ребята.

Поверхность пруда была спокойна, чиста, неподвижна.

— Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать...

Тихо, тихо вокруг.

— Двадцать один, двадцать два, двадцать три...

И вдруг где-то далеко и всегда неожиданно — то возле гнилой скамейки на том берегу, то у лодок за купальней — появлялась мокрая голова Дзержинского.

— Сегодня пятьдесят шесть! — кричали ребята.

— А вчера было шестьдесят три!

— Плывите сюда, дядя Феликс!

— Как плыть? — спрашивал Дзержинский.

— Брассом.

— Нет, саженками!

— По-лягушечьи!..

Дзержинский приплывал, и начиналось общее купанье. Ныряли, возились, плавали. Приходилось по очереди учить плавать тех, кто не умел. Широко расставив ноги на вязком дне, Дзержинский брал мальчика на ладонь под живот, и начиналось обучение.

— Ногами, ногами работай, — говорил он, — да не пыхти, как паровоз, а дыши ровно.

Выгонять из воды было трудно, ребята синели, но говорили, что им все еще жарко.

Потом, мокрые, шли опять заниматься, а в заключение просили Дзержинского рассказать какую-нибудь историю.

Всех своих учеников Дзержинский знал по именам, знал их родителей, знал обо всем, что делалось у них дома, а бывая в селе, заходил в гости и подолгу сидел у кого-нибудь в низкой хате, беседовал. С напряженным вниманием слушал он рассказы о том, как жили тут раньше, каков был прошлый пан, как дерет за каждую потребу ксендз и какой плохой человек русский священник. Постепенно Дзержинского перестали стесняться. Веселый, простой, умеющий слушать, в селе он стал своим человеком. И о голоде рассказывали ему, и о том, как надо печь хлеб пополам с корьем, со жмыхом, с отрубями. Покуривая, он качал головой, переспрашивал, и было видно по его лицу, что он не просто любопытствует, а что это ему интересно, что решительно все он запоминает, обдумывает.

Подолгу засиживался Дзержинский у Яна. Там читали Маркса, горячо обсуждали, волновались, спорили. Больше всех спорил сельский учитель Янушевич. Спорить с ним было не очень приятно: он раздражался, голос у него делался каркающим, на каждый довод возражал: «Это глупость».

Во всем он винил русских, говорил, что у польских революционеров другие цели, чем у русских, считал, что русских надо изгнать из Польши и что до тех пор, пока в партии будут вместе и русские, и поляки, каши не сварить.

Однажды, когда расходились по домам, он, поотстав от других, сказал Дзержинскому:

— Зачем вам москали? Зачем вам Маслов? Надо вывести русских из нашей среды, надо бороться с русским засильем, надо объединяться с поляками...

Начался спор. Дзержинский сказал:

— Рано или поздно эта ваша философия приведет вас в стан наших врагов. Подумайте, Янушевич. Вы заблуждаетесь, очень заблуждаетесь.

— А вы продаете Польшу.

Дзержинский остановился.

— Я никогда никого не продавал, — сказал он спокойно, — а вот вы обязательно продадите польских рабочих и крестьян панам и фабрикантам...

На этом разговор кончился.

Янушевич перестал бывать у Яна. Встречая Дзержинского, он не здоровался с ним, но зато начал появляться в доме у помещика.

В имении ничего не менялось, разве что появились новые люди. Часто приходил к обеду молодой длинноносый ксендз. Обедал иногда и Янушевич. Он являлся в высоком, до ушей, воротничке, в вычищенных до ослепительного блеска ботинках, застегнутый на все пуговицы. Хмуря густые брови, он говорил хозяевам:

— Поймите меня, пане. Я прихожу к вам не как к помещикам. Я прихожу к вам как к патриотам. И мне приятно видеть здесь только польское, чистое, ясное...

За глаза над ним посмеивались, но когда он приходил, отец Стася после обеда уводил его к себе в кабинет, и они подолгу там разговаривали. Нередко в кабинет заходил и ксендз.

В августе Янушевич организовал свой польский кружок. Кружок вначале был очень маленький, но с каждым днем все расширялся. Дзержинский, Ян, Маслов недоумевали, а потом выяснилось, что Янушевич поит своих патриотов пивом и что некоего хромого парня, по кличке Козел, Янушевич даже ссудил деньгами. Еще через некоторое время стало известно, что пан помещик сам бывает на занятиях кружка, поет там гимн и рассказывает разные случаи из истории Речи Посполитой. Члены кружка Янушевича пользовались в экономии разными льготами, кое-кого сделали приказчиками, одному управляющий дал в долг подтелка, другому — лес на новую хату, третьему — хлеба.

— Как-то, повстречавшись на пароме с Янушевичем, Дзержинский сказал ему:

— Ох, Янушевич, грязное дело затеяли...

Янушевич отвернулся и промолчал.

Поручик, брат помещика, уехал в полк. Дело шло к осени. В полях убрали хлеб, ночи были темные, с крупными звездами, дни прозрачные, ясные. Стась учился хорошо. С его отцом отношения Дзержинского портились не по дням, а по часам. Но однажды за послеобеденным кофе помещик вдруг сказал Дзержинскому:

— Переходите к нам. Янушевич — бездарный болван. Вы будете у нас самым главным человеком. Сначала у нас, потом в Вильно, потом по всей Польше. Вы ученый, талантливый; зачем

вам каторга, ссылка, тяжелая, безрадостная жизнь? Вам это совсем не нужно. А мы сделаем вам невероятную карьеру! Идет?

Дзержинский молча встал из-за стола и ушел. Через несколько дней вечером ему подали коляску. Стась был заранее отправлен в гости к соседу-помещику. Не прощаясь с хозяевами, Дзержинский вышел на крыльцо и сел в коляску. Только что прошел дождь, парк дышал свежестью, у пруда на разные голоса кричали лягушки.

— Не провожают? — усмехнувшись, спросил кучер.

— Не провожают, — ответил Дзержинский.

Кучер подобрал вожжи. Потряхивая головами, позванивая сбруей, побежали лошади. У выхода из парка стойкой стояли ребята из села — босые, белоголовые. Кучер остановился. Дети полезли в коляску, один сел на козлы, другой — на рессоры сзади. Лошади опять побежали. Ребята сидели молча, пришибленные, не зная, о чем говорить.

— Приедете до нас еще? — спросил один, самый маленький. — Может, приедете, дядя Феликс?

— Вряд ли, — сказал он.

Подъехали к речке, к знакомому перевозу. Ребята хором закричали:

— Давай парома!

Канат заполоскал в воде, паром двинулся. Было тихо, река блестела, как зеркало, кустарники лозняка, вербы отражались в неподвижной воде.

Переправившись через реку, Дзержинский и кучер закурили.

— За работу-то заплачено? — любопытствовал кучер, повернувшись на козлах.

— Заплачено, — сказал Дзержинский.

— То-то. А то бывает, что и не заплатят.

— Бывает, — согласился Дзержинский.

В селе, у хаты Яна, Дзержинский велел кучеру остановиться. Ян и Маслов вышли на крыльцо. Лицо у Яна было грустное. Маслов посмеивался.

— Вон заныл, — сказал Маслов, кивая на Яна, — дескать, что мы без Феликса будем делать.

— Я вам свой адрес оставляю, — сказал Дзержинский. — Пишите мне обо всем подробно. Книги пришлю. Прочитаете — отсылайте мне обратно: у нас в организации с книгами трудно. И приезжать в город тоже следует. Живая связь всегда лучше переписки. Когда приедешь, Ян?

— Да месяца через два приеду.

— И отлично. Теперь насчет Янушевича и его подголосков. Их надо всеми способами разоблачать перед крестьянами. Пусть

народ видит, что это продажные шкуры... Ну, мы об этом не раз говорили. И последнее вот что: пишите корреспонденции в газету нашу. Обо всем. Все интересно. Слышишь, Ян?

— Ладно,— сказал Ян.

— И ты, Маслов, пиши.

— Обязательно.

Дзержинский сел в коляску. Потом, вспомнив, добавил:

— И Феликса нигде не спрашивайте. Не найдете. У меня есть партийная кличка — Яцек. Запомнили? Будете искать Яцека.

— На поезд опоздаем,— напомнил кучер.

— Что ж тебя твой Стась не провожает? — спросил Ян.

— А что ему,— сказал Дзержинский,— его в гости отправили.

Он помахал на прощание рукою. Ребята опять набились в коляску. Уже совсем стемнело. Лошади бежали рысью, огни села делались все меньше и меньше, потом совсем исчезли.

— Ну, ребята, вылезай! — сказал Дзержинский.

— Так и не приедете? — опять спросил тоненький голосок.

— Не приеду. Приезжайте вы ко мне в Вильно. Дорогу-то домой найдете?

— Найдем.

Вылезли. Дзержинский повернулся в коляске и долго глядел вслед маленьким фигуркам. Ребята часто оглядывались, махали ему руками.

— Живите веселее! — крикнул Дзержинский.

— Е-ее!..— донесло эхо в ответ.

Кучер хлестнул копей.

Дзержинский накинул на плечи старую, потертую гимназическую шинель, надвинул фуражку на глаза и задумался. Во тьме над белеющей дорогой с жалобным и длинным криком пронеслась какая-то ночная птица. Легкий ветер прошумел над бесконечным полем. Кучер запел:

Все пташки-канарейки
Так жалобно поют...

— Ох, жизнь,— вдруг с тоской в голосе сказал он,— жизнь окаянная...

КОФЕ С ПИРОЖНЫМИ

Они встретились в Варшаве, в парке, в морозный зимний вечер и сразу узнали друг друга, несмотря на то, что не виделись много времени.

Поцеловались и смущенно помолчали. Никогда раньше они не целовались.

— Вот так встреча,— наконец сказал Россол.

— Да уж,— ответил Дзержинский.

Они стояли в широкой аллее парка, над ними свешивались ветви деревьев, покрытые инеем, их толкали люди, бегущие на каток и с катка. Внизу, на озере, гремел духовой оркестр, празднично блистал изрезанный копытами лед, сквозь ветви деревьев были видны легкие и стройные фигуры конькобежцев.

— Что ты тут делал? — спросил Дзержинский.

— Смотрел. А ты?

— Я шел посмотреть.

— Пойдем покатаемся,— предложил Россол.

— Нельзя. В таких местах можно легко наскочить на филера. Посидим тут.

Сели на холодную, обмерзшую скамью. За то время, пока они не виделись, у Россола ввалились щеки, глаза смотрели теперь жестче, злее, подбородок стал выдаваться вперед.

— Что с тобой, Антон? — спросил Дзержинский. — Ты похудел, изменился.

— Болеп,— коротко ответил Россол.

— Чем?

— Чахоточкой, как говорит один мой знакомый фельдшер.

Россол усмехнулся, боком взглянул на Дзержинского и вдруг сказал:

— Я тебя очень люблю, Яцек.

— И я тебя очень люблю,— просто и спокойно ответил Дзержинский. — И у меня есть одно предложение тебе — угадай какое?

— Посхать в Италию лечиться,— грустно улыбнулся Россол,— или не верить врачам, которые всё врут. Да? Это ты хотел сказать?

Но Дзержинский хотел сказать совсем не это. Поблескивая глазами, он предложил устроить пир в честь свидания друзей. Идет? В конце концов, один раз в жизни можно себе позволить небольшой пир. Черт побери, уже полгода он не ест досыта! И, кроме того, ужасно хочется кофе. Натурального черного кофе. Он так согревает и так поддерживает силы! Не правда ли?

Шли медленно, не торопясь, вспоминали Ковпо, Вильно, тамошние фабрики, стариков сапожников, работу, юность.

Разговаривая и вспоминая, вышли из парка на улицу и остановились у кафе, которое показалось им педорогим.

— Сюда? — спросил Дзержинский.

— Сюда,— решительно ответил Россол.

Дзержинский оглянулся: сзади было «чисто», как говорили в тех случаях когда по следу не шел филер.

Россол отворил тяжелую дверь с цветными стеклами и первым вошел в низкое сводчатое помещение, в котором седой и благообразный швейцар снимал с посетителей пальто и шубы.

— Снимем пальто?

Швейцар уже вышел из-за загородки и стоял, готовый принять платье гостей.

— Снимем, — согласился Дзержинский.

Раздеваться было очень неприятно: куртка Дзержинского была подбита протертым «рыбьим мехом», с большими лысынами, а главное, у нее сегодня, как назло, оторвалась подкладка рукава — вата вместе с какими-то тряпочками, — и все это висело на нитках как нечто самостоятельное и к куртке не имеющее никакого отношения.

Приняв от Дзержинского куртку и назвав ее почему-то рединготом, швейцар вправил ей рукав, покачал головой и начал раздевать Россола — снял с него тоненькое потертое пальто, потом ватный пиджачок солдатского образца, потом стеганый на фланели жилет. Лицо у швейцара сделалось непроницаемым.

Кафе было маленькое и почти пустое. Под матовыми колпаками горели газовые лампы. В красном кирпичном камине жарко потрескивали смолистые поленья. Столик у камина покрытый свежей скатертью, был свободен, и приятели, усевшись, протянули ноги к огню. Потом оглядели друг друга.

— Почему это на тебе студенческая тужурка? — спросил Дзержинский.

— Кунил у старьевщика, — ответил Россол. — Нельзя же ходить голым.

Только здесь они оба почувствовали, как устали за этот день, как продрогли, как хочется поест и погреться возле камина у огня.

— А тут шикарно, — сказал Россол. — Я бы с удовольствием просидел здесь целый вечер.

— Даром не позволят сидеть, — произнес Дзержинский. — Если сидеть, так надо есть и пить.

Подошла официантка с крахмальной наколкой на голове и в крахмальном белом фартучке.

— Дайте карту кушаний, — сказал ей Россол с таким видом, точно всю жизнь только и делал, что болтался по кафе.

И, прищурившись, стал читать названия кушаний — мясных, рыбных, овощных, которые шли в карточке перед сладкими, пирожными и печеньями.

— Нет, мясо на ночь тяжеловато, — сказал Дзержинский, хоть с утра он ничего еще не ел, кроме пирога с печенкой, купленного

утром у торговли на улице, — мясо не стоит, вот разве что-нибудь легкое из рыбы. Прочитай-ка, что у них есть рыбное...

Россол прочитал еще раз, но они так ничего и не нашли подходящего и остановились на двух яичницах с колбасой.

— Это, пожалуй, будет полегче, — согласился Россол.

После яичниц они заказали по стакану кофе — Дзержинский черного, а Россол со сбитыми сливками — и по пирожному. Пирожные пошли выбирать к стойке.

Каких тут только не было пирожных: миндальные, и ореховые, и шоколадные, и слоеные, и корзиночки, и с заварным кремом, и с засахаренными фруктами... Выбирать пришлось довольно долго.

— Мне вот это — с кремом и с фисташками, — сказал наконец Россол, — на вид оно довольно привлекательное, каково-то будет на вкус...

— А мне миндальное, — сказал Дзержинский.

Они вновь сели у камина. Но официантка в наkolке все не уходила...

— Почему она не уходит? — шепотом спросил Дзержинский у Россола.

— Наверное, у нас с тобой такой шикарный вид, что она не прочь сначала получить деньги.

Дзержинский покраснел и вынул из кармана деньги.

— Получите, — сказал он, — и поторопитесь, барышня!

Официантка ушла; она действительно не верила этим гостям: слишком уж у них неважные костюмы, у этих господ, и слишком голодные лица. Нет уж, с таких всегда полезно получить деньги вперед.

Россол сидел, повернувшись лицом к камину, и не мигая смотрел на огонь.

— Это смешно, — вдруг сказал он, — это смешно, Яцек, что она не поверила тебе. Не поверила человеку, который...

— Брось, Антон, — сказал Дзержинский.

Он вынул папиросу, хотел закурить, но не нашел спичек в кармане. У Россола спичек тоже не было.

— Пойди, там у окна сидит толстый человек и курит, — сказал Россол, — прикури у него.

Дзержинский приподнялся, но тотчас же вновь сел и быстрым шепотом сказал Россолу:

— Там филер. Когда мы вошли, его не было. Не оборачивайся. Он делает вид, что читает газету, на самом деле он ничего не читает, а смотрит в зеркало и следит за нами. Надо уходить. Живо!

В это время вошла официантка с подносом. На подносе стояли сковородки с яичницей, хлеб, соль. Яичница шипела на сковородах.

— К сожалению, мы должны уйти,— сказал Дзержинский,— вы слишком нас задержали.

Официантка широко раскрыла глаза.

— Теперь уже быстро,— сказала она,— теперь все будет в одну минуту!

Но странных гостей уже не было. Они шли к дверям.

Филер тоже встал.

Они одевались все вместе — усатый, с торчащими ушами филер, Держипский и Россол. Россол одевался первым; сначала он надел свой жилет на флансли, потом ватник, потом пальто. Дзержинский стоял в это время рядом с филером, бок о бок, посвистывал и глядел в его кофейные глаза. Свое пальто-куртку он не надел: слишком долгая возня с рукавом. Он медленно взял пальто из рук швейцара и сразу же вслед за Россолом выскочил на улицу. В дверях он слышал, как филер бешеным голосом крикнул обалдевшему швейцару:

— Мою шубу, дурак!

Одеваясь на бегу, Держипский догонял Россола. Когда поравнялся с ним, сказал: «Сюда, в ворота!» — и вбежал в калитку темного и грязного двора. Это был, по счастью, знакомый проходной двор. Здесь, в подворотне, они оба на секунду остановились. Россол задыхался: большие легкие плохо работали.

— Вот что, Антоп,— быстро заговорил Держипский,— ты беги дальше, а я пойду не торопясь. В случае чего, я задержу филера. Одним словом, если я сяду в тюрьму, ничего страшного не произойдет. А если ты с твоими болезнями...

— Перестань,— сказал Россол.

Не слушая Дзержинского, Россол взял его за руку и потащил за собой. Теперь они бежали по обледенелым булыжникам проходного двора, мимо помойной ямы, мимо деревянных сараев, мимо каретников и сваленных ящиков. Антоп совсем задыхался.

— Еще немного,— говорил Дзержинский,— теперь близко.

Миновали вторые ворота и на ходу вскочили в вагон копки. Вагон был пуст. Россол рухнул на скамью.

— Кажется, ушли,— сказал он, отдышавшись.

— Ушли,— подтвердил Дзержинский. — Тебе легче?

Россол не ответил. Долго ехали молча. Потом Антоп спросил:

— Тебе жаль пирожных?

— Ужасно,— печально ответил Дзержинский.— Этот кофе, и яичница, и пирожные — так и стоят перед глазами. И, главное, мы уже заплатили!

Они доехали до окраины города и в мелочной лавке купили хлеба и колбасы. Пришлось есть на улице. Колбаса была невкусная, соленая и жесткая, хлеб черствый. Поели и принялись обсуждать, как быть с почевкой. Где почевать?

Ночевали в почлежке за пять копеек. А наутро Дзержинский прощался с Антоном Россолом: вдвоем было куда опаснее, чем одному.

ПРОГУЛКИ ПО ДВОРУ

В Седлецкой тюрьме он сидел вместе с Антоном Россолом. Чахотка с беспощадной быстротой делала свое дело. Россол умирал. Он почти уже не поднимался с дощатого лежака, заменяющего в камере койку, но почам его мучило кровохарканье, после которого он терял последние силы; есть ему не хотелось. Часами он лежал неподвижно, глядя в грязную тюремную стену и думал одну и ту же думу.

Тяжело умирать в двадцать лет.

Невыносимо страшно умирать в тюрьме, вдалеке от родных и близких людей, умирать за решеткой, под звон кандалов, под хриплую брань надзирателей, под крики товарищей, уводимых на казнь.

И умирать весною, когда за тюремным окном в решетках расцветают каштаны, когда небо с каждым днем становится все голубее и прозрачнее, когда воздух там, на воле, так свеж и чист,— вот в эту пору умирать в тюрьме!

Человеческая жестокость ни с чем не сравнима. Россоло, конечно, можно было выпустить на поруки, и кто знает,— в деревне, на травке, на парном молоке,— вдруг бы он спасся, вырвался бы из лап смерти, а если бы и не спасся, то хоть надеялся бы на спасение. Но его не выпускали на том основании, что он безнадежен и что на воле делать ему нечего, кроме как умирать. А умереть он может с успехом и в тюрьме, и не только с успехом, а и с пользой для государства, так как перед смертью он авось испугается и заговорит о том, о чем не хочет говорить сейчас, назовет имена людей, даст возможность выслужиться жандармскому ротмистру, ведущему дело, поможет упечь в тюрьмы десятков-другой тех, которым ненавистно самодержавие.

И его держали в тюрьме.

Ноги отказывались служить ему, он не мог передвигаться, и все-таки его держали за решеткой. На двери камеры висел замок,

и много раз в день открывался волчок в двери, — надзиратель заглядывал, все ли в порядке, не раст ли чахоточный Россол подкоп, не перепиливает ли решетки на окне.

Он совсем ослабевал порою, но следователь-жандарм допрашивал его всегда в присутствии выводного — по той причине, что таким нечего терять, что они па все способны и что с ними нужно поосторожнее.

Изнуряющие кровохарканья мучили его по ночам, а тюремный врач Оберюхтин, писавший в журнал статейки по вопросам симуляций, искал симуляцию и здесь, а когда не нашел, то перестал интересоваться больным и даже перестал навещать его.

В больницу Россол не хотел. Он уже побыл там недели две и вернулся оттуда по собственному желанию. Там было еще страшнее, чем здесь. Там было так чудовищно плохо, что Антон только махнул рукою, когда Дзержинский спросил, почему он вернулся. Махнул рукой, лег на свой лежак, закрыл глаза и сказал:

— Здесь как в раю.

Легко можно было представить себе эту больницу, если тут было «как в раю».

Однажды под вечер Россол вдруг сказал:

— Пожалуй, это все из-за порки.

— Из-за какой порки? — не понял Дзержинский.

— Разве я тебе не говорил?

— Ничего не говорил...

— Тут как-то еще до твоего прихода, — не торопясь начал Россол, — зашел ко мне начальник тюрьмы. Ну-с, сел, заговорил. Как поживаете, то да се. Я помалкиваю, слушаю; он рассуждает насчет самодержавия, что царь — это хорошо, революция — это плохо, — знаешь их разговоры. Я с ним не спорю — ну тебя, думаю, к лешему. Дальше — больше, спрашивает меня, что мы с ним сделаем, если революция победит. Я думаю — шутит, не серьезно спрашивает: взглянул на него, вижу — нет, серьезно. И в глазах глубокий интерес. Я на шутку свожу — помилуйте, говорю, как же мы с вами можем что-либо сделать: у вас и чин большой, и должность, и все такое. «Нет, — отвечает, — бросьте, я у вас серьезно спрашиваю, мало ли что может выйти; мне мое будущее чрезвычайно интересно знать: я человек семейный, у меня дети, я должен быть в курсе перспектив». Прямо так и сказал: «в курсе перспектив».

— Ну? — спросил Дзержинский.

— Я опять стал отшучиваться, но чем больше шучу, тем нестерпимее хочется сказать то, что я думаю. Ты понимаешь это чувство?

— Еще бы,— усмехнулся Дзержинский.

— Ну, дальше. Шучу я, говорю, что обратитесь к другим с этим вопросом, потому что, дескать, я не доживу, а сам чувствую, что скажу, обязательно скажу, получу удовольствие, и хоть очень оно дорогое, это удовольствие, и заплатить за него, навсрное, придется порядочно, но доставлю себе маленькую радость, а там — будь что будет. И доставил.

— Как же это было?

— Да просто — я ему очень вежливо, почти, зная ли, по-дружески, мягко и деликатно: «Мы вас, ваше благородие, обязательно, во что бы то ни стало, непременно расстреляем. Вы уж не обижайтесь на меня за правду,— сами спрашивали, я ведь не нарывался на этот душевный разговор». Но, представляешь себе, он и тут не отстал от меня. «Это,— спрашивает,— ваше личное мнение или мнение и ваших товарищей тоже?»

— И в заключение была порка?

— Нет, мы еще поговорили,— сказал Россол,— на всякие научно-тюремные темы. Долго говорили, и, только прощаясь, он сказал, что пропишет мне сто розог, дабы я не заносился и не думал о близости революции и о том, как мы расправимся кое с кем. И добавил, что есть одна хорошая русская пословица, которую надобно всегда помнить: не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Я ему ответил, что у меня есть другая пословица не хуже: плюй в колодец — не пригодится напиться.

Дзержинский засмеялся.

— Выпороли?

— А как же...

— Сто?

— Не знаю, не помню. Вначале я считал, потом потерял сознание.

Помолчали. Потом Россол вдруг сказал:

— Может быть, все дело в порке. Может быть, я ослабел от этого, а не от болезни. Может быть, они мне что-либо повредили, а вовсе это не чахотка. Как ты считаешь?

Он надеялся, верил, что, может быть, если его выпустят, если будет много свежего, чистого воздуха, молоко, зелень, хороший уход, солнце, то он поправится и проживет долго, до ста лет. Со всей силой и страстью, на которую он был способен, Дзержинский поддерживал в Россоле эту мечту о выздоровлении, поддерживал так горячо и серьезно, что порою сам верил в то, что

они еще долго проживут на свете, долго будут работать — до революции и после, когда революция победит и когда все будет иначе, лучше, свободнее и справедливее.

Подробно и много он говорил Россолу о науке, о том, что медицина семимильными шагами идет вперед, о том, что за открытием Пастера могут последовать другие, не менее крупные открытия; в любой, говорил он, день может появиться ученый, который навсегда избавит мир от чахотки, и чахотка станет таким же далеким призраком, как сейчас, например, оспа. Тогда он, Россол, встанет и выздоровеет, вновь будет работать, садиться в тюрьмы, убегать, скандалить с тюремным начальством, одним словом, жить той жизнью, которую он себе избрал, а Россол слушал его, хоть и недоверчиво, но внимательно, и точно позволял убеждать себя в том, во что он не верил и во что так хотел поверить.

И такие разговоры кончались обычно тем, что настроение у Россола делалось лучше, спокойнее, увереннее, на бледных губах появлялась улыбка, а в глазах то выражение, которое так любил Дзержинский: дерзкое, упрямое, мальчишеское.

Всю свою силу, всю энергию, все мысли Дзержинский отдавал Россолу.

И он не спал ночи, слыша в темноте камеры, что Антоп не спит и притворяется, что у него тоже бессонница, старался развлечь больного разговорами, рассказывал ему смешные истории и смеялся сам, хотя смеяться ему вовсе не хотелось, так же, как и рассказывать; ему хотелось спать, он уставал от тяжелых тюремных дней, от больного, порой несправедливо раздражительного Антопа, от тех усилий, которые приходилось затрачивать, чтобы достать в тюрьме, с ее дикими порядками, кусок льда для кровохаркающего, соленой воды, кипятку, лекарство, чистую тряпку.

Но что же было делать?..

Оставить тяжелобольного, умирающего человека наедине с его тоской, с его страхами, с его страданиями?

И Дзержинский садился на лежак Антопа, у его ног, в темной вонючей камере и говорил бодро и весело:

— Вот хорошо, что ты не спишь! Я тоже никак не могу уснуть, вот уже сколько времени лежу, лежу, а ни в одном глазу... Не спится...

— Отчего же тебе не спится? — подозрительно спрашивал Антоп.

— Не знаю, отчего мне не спится, — отвечал Дзержинский, — сам знаешь, каков тюремный сон!

— Я, когда был здоров, и в тюрьме отлично спал.

В голосе Россола было раздражение, по его тону Дзержинский чувствовал, что он ищет, к чему бы придраться, на чем сорвать свое настроение.

— Где угодно отлично спал,— продолжал Россол, раздражаясь с каждым словом все более и более,— а вот когда я болен, действительно не могу уснуть... Но никого не прошу,— голос его начал звенеть,— никого не прошу не спать из-за меня. Наоборот, я прошу спать и не портить себе ночь, а затем настроение на весь следующий день. Я прошу только оставить меня в покое... Да! Оставить в покое — и все!

Голос у Россола звенел и срывался на неожиданно высокой ноте, в его словах слышались слезы, обида на то, что он не заснул ни минуты, а Дзержинский спал и не слышал, как он хотел взять себе воды и как уронил кружку, а поднять ее не смог и так и не напился до сих пор...

— Почему же ты не окликнул меня?

— Потому что я знаю, что я тебе падоед, что я извел тебя, измучил, но я не могу, я не в состоянии, у меня нет больше сил...

— Брось, о чем ты, Антоп...

— Нет, не брось! Я действительно невыносим со своими капризами и придирками, но если бы ты знал, как мне тяжело, как мне хочется жить, как я устал от этих мыслей о смерти, о том, что я скоро, совсем скоро умру, что от меня ничего не останется, что я ничего не успел, совсем ничего, совсем...

И, ослабевший, измученный, Россол долго и тяжело плакал, уткнувшись в жесткую соломенную подушку, задыхался от слез, горячей мокрой ладонью ловил в темноте руку Дзержинского, сжимал ее и шептал:

— Ну, научи! Как мне жить? Как? На что мне надеяться? Помоги мне! И не презирай меня, не думай, что я трус, что я ничтожество... Я болен, это болезнь, я не виноват, я несколько не виноват. Ответь — ты понимаешь, что я не виноват?

— Да, понимаю,— искренне и убежденно отвечал Дзержинский,— конечно, понимаю. Это пройдет, все пройдет, когда ты поправишься...

И опять, как вчера, как позавчера, он говорил о том, что будет, когда Антоп поправится, как они вместе выйдут из тюрьмы и пойдут купаться на речку, а потом в лес, а потом ужинать в лесную харчевню, он знает одну такую на перекрестке дорог, старая-старая харчевня.

Он говорил и видел, как блистают в темноте глаза Россола, как светится в них жажда жизни, страстное желание пойти в лес, на речку, в харчевню, в город, туда, где много людей, где играет музыка, где нет решеток, за которыми даже наступающий

весенний день выглядит уныло и печально, туда, где нет капдалов, надзирателей и длинных, утомительных тюремных ночей...

— Мы бы пошли с тобой в кафе,— подсказывал Россол,— ты забыл кафе. Мы бы выбрали шикарное кафе, черт подери, такое, где играет целый оркестр! Мы бы сели, как все равно два пана, и заказали бы себе бог знает что. Я даже не могу придумать, что бы такое мы себе заказали.

Он слушает Антона и сам говорит разный вздор, только чтобы вызвать улыбку на этих запекшихся губах, хоть слабую, но улыбку; говорит, а думает совсем о другом: он думает о том, что больной, слабый, умирающий Россол сильнее сотен и тысяч самых здоровых людей; какой гигантской, нечеловеческой силой воли надо обладать, чтобы, так любя свободу и жизнь, как любит Антон, и зная, что стоит ему только кое-что рассказать своему следователю, самый пустяк, дать нитку, за которую жандарм может уцепиться, и его отпустят, отпустят сразу же, в тот же день, в ту же минуту, на свободу, в лес, на речку, в лесную харчевню, куда угодно...

Его держат здесь и не судят потому, что надеются: вдруг ему станет страшно и он начнет выдавать все, что знает. Ради свободы, ради воли.

Судить его неудобно: нести в суд, как носят на допросы, на носилках.

Гнать в Сибирь после суда тоже неловко. А главное — суд может и не засудить!

Вот и держат — надеются, что заговорит.

А он не говорит.

Не говорит ни слова, улыбается упрямой и злой улыбкой и на все припугивания отвечает одно и то же:

— Мне наплевать! Наплевать!

И глаза у него при этом вспыхивают, как у волчонка.

Как-то душным вечером, когда гроыхал первый весенний гром, Россол грустно сказал:

— Завтра вы пойдете на прогулку по лужам. Я бы тоже с удовольствием походил по лужам.

Он сказал это не то серьезно, не то в шутку и замолчал на весь вечер, слушал шум дождя, смотрел на ржавую решетку окна, кашлял. А когда Дзержинский вернулся днем с прогулки, спросил:

— Ходили по лужам?

— Ходили,— чувствуя себя виноватым, сказал Дзержинский.

— Большие лужи?

— Нет, не очень, так себе...

— Глубокие? — продолжал допрашивать Россол.

— Лужи как лужи, — сказал Дзержинский и, чтобы перевести разговор на другую тему, рассказал, как обиделся новый надзиратель, когда заключенные подумали, что он собирается прекратить прогулку раньше времени.

Но Россол не слушал.

— Я должен выйти на волю, — сказал он чужим голосом, — понимаешь, Яцек? Что угодно, но я должен. Я больше не могу. Я должен выйти!

Дзержинский молча глядел на Россола.

— Пусть меня выпустят из тюрьмы, — сказал Россол, — пусть! Слышишь!

В его голосе звучало такое отчаяние, что у Дзержинского перехватило горло.

— Я хочу на волю, — поднявшись на локте и глядя в лицо Дзержинскому почти сумасшедшими глазами, быстро и громко говорил Россол, — во что бы то ни стало я хочу на волю. У каждого человека есть предел терпению. Как хочешь, Яцек, но я больше не в состоянии. Выпусти меня из тюрьмы. К черту...

Его пришлось отпаивать водой. Он был как потерянный. И, плохо соображая от жалости и сострадания, Дзержинский сказал вдруг, помимо своей воли, что постарается завтра устроить так, чтобы Антон попал на прогулку.

— Я? На прогулку? — не веря своим ушам, произнес Россол.

— Ты, ты, — сказал Дзержинский.

Он отлично понимал, что Антон не может попасть на прогулку, но что было делать — он сказал печаянно, а Россол принял всерьез и уцепился за слово «прогулка»; ему хотелось верить, что он попадет на прогулку, что он увидит небо, солнце, каштаны, траву, лужи...

— Но лужи высохнут до завтра, — сказал Дзержинский.

Россол не слушал. Он говорил и не спрашивал ни о чем — спрашивать было страшно. Если спросить, то обязательно выяснится, что прогулки не может быть, что это сон, это просто-напросто приснилось и сейчас Дзержинский скажет: «Что ты, какая такая прогулка!» — и все кончится.

И он не спрашивал.

Он только говорил о самой прогулке, о том, как он завтра будет гулять.

То есть гулять он, конечно, не может, но ведь дело не в словах; он будет сидеть на воздухе, на солнце, во дворе и даже на радостях закурит папироску-самокрутку из махорки — пропадай все пропадом, как говорится. Пусть они ходят, как дураки, по кругу, а он будет сидеть и смотреть на небо. Или

вот что: папиросу он курить не станет. Это глупо — курить папиросу на воздухе. Ни к чему! Он лучше сорвет травинку и будет ее жевать. Боже мой, как давно он не жевал травинку, а ведь есть такие счастливицы, которые могут делать это хоть каждый день...

Он будет сидеть на земле, прямо на земле, а они пускай ходят кругом — ему что.

И если он побудет на воздухе, у него появится аппетит.

А как только он начнет есть, болезнь исчезнет сама собой. Все дело в аппетите, только в нем, не правда ли?

Чахотку надо заливать жирами, молоком, сметаной. Она боится пищи, как огня. И вот после прогулки...

К тому времени, когда заключенных обычно выводили на прогулку, Россол отвернулся к стене и прикрыл голову одеялом. То возбужденное состояние, в котором он был накануне вечером, сменилось апатией, полным упадком сил, равнодушием. Теперь он, видимо, понял, что ни о какой прогулке не может быть и речи, что каштанов ему не увидеть, что все это мечты.

Несколько раз за утро Дзержинский окликал его, но он не отзывался, делая вид, что уснул, хоть, конечно, не спал и не думал спать.

Незадолго до прогулки Дзержинский подошел к Россолу, дергал его за одеяло и, когда Антон открыл злые глаза, сказал:

— Одевайся, иначе не успеем.

— Зачем мне одеваться?

— Пойдем на прогулку...

Секунду, не более, Россол смотрел в глаза Дзержинскому — старался понять, шутит он или говорит серьезно. И понял, что серьезно. Да и можно ли шутить такими вещами?

— Но я не удержусь на ногах, — сказал он, — я упаду.

И виноватым голосом добавил:

— Я теперь очень ослаб, Яцек. У меня плохие ноги.

— Тебе не надо держаться на ногах, — сказал Дзержинский, — зачем тебе держаться на ногах, если я тебя понесу? Я буду твоими ногами, понял?

— Понял, — все еще виноватым, покорным тоном ответил Россол, — но ведь тебе будет тяжело.

— Одевайся и не болтай, — приказал Дзержинский. — Там увидим, тяжело или не тяжело.

Россол сел на лежаке и нагнулся за сапогами, но тотчас же свалился на свою соломенную подушку: от слабости закружилась голова. Дзержинский поднял с полу сапоги, сел рядом с Россо-

лом и обнял его за плечи, чтобы он спокойнее и тверже себя чувствовал.

— Это ничего,— бормотал Россол, сляясь натянуть сапог,— это ничего, это сейчас пройдет, все пройдет, это оттого, что я слишком резко вскочил. Но сейчас мне уже лучше, мне легче...

От волнения и от слабости лоб его покрылся испариной, он никак не мог ухватить рукой ушко сапога, не мог сузить ногу в голенище, ему уже ни на что не хватало сил.

— Да ты не волнуйся,— как можно мягче и веселее говорил Дзержинский,— ты вовсе не так уж слаб, а просто ты волнуешься, вот у тебя и не ладятся сборы. Ну, успокойся! И не торопись! Возьми обими руками за ушки и тяни. Взял? Ну видишь, как просто! Теперь второй сапог! И второй натянул — видишь, как хорошо! Теперь куртку. Где твоя куртка?

Одевая Россола, он делал вид, что Антон одевается сам, своими руками, он же, Дзержинский, тут ни при чем, он только успокаивает Россола, подает ему одежду и разговаривает с ним.

— Видишь, как хорошо,— говорил он,— вот ты и готов, совсем готов. Теперь встань, только не торопясь, обопрись на меня и встань. Вот так, хорошо, замечательно...

— Ноги не держат,— слабо произнес Россол, — совсем не могу стоять, Яцек...

С лязгом отворилась дверь, и в камеру вошел старший, Захаркин.

— На прогулку собирайтесь! Живо!

Увидав Россола, он спросил:

— А этот куда же? Ужели гулять?

— Гулять,— ответил Дзержинский.

— На допросы не может, а на прогулки может,— сказал Захаркин и вышел из камеры, не заперев за собой дверь.

Стоять Россол решительно не мог: у него кружилась голова, подкашивались ноги. Из плана Дзержинского — вести его на прогулку, обняв за талию и сильно поддерживая, — ничего не выходило. Надо было найти другой выход и без промедления: в коридоре Захаркин уже выстраивал арестантов — промедление грозило опозданием на прогулку.

А губы у Россола уже вздрагивали: во второй раз за эти сутки он расставался с мечтой о прогулке.

— Спокойно, Антон,— сказал Дзержинский,— сейчас все образуется. Сядь на койку.

— Зачем?

— Сядь, говорю!

Голос его звучал строго, почти повелительно. Такому голосу невозможно было не повиноваться.

— Теперь возьми меня за плечи! Нет, не за шею, а именно за плечи! А ноги давай сюда. Хорошо держишься?

— Хорошо...

— Держись, я поднимаюсь.

— Держусь.

Дзержинский выпрямился. Теперь он держал Россола на спине.

— Надорвешься, Яцек,— сказал Россол,— это чистое сумасшествие — то, что ты затеял!

— Сиди смирно,— посоветовал Дзержинский.

С бледным как мел, но совершенно счастливым Россолом за плечами Дзержинский вышел в коридор. Заключенные, уже выстроенные на прогулку в две серые шеренги, не сразу заметили в полутьме коридора ношу Дзержинского, а когда заметили, то как бы дрогнули — обе шеренги заколебались, задвигались и вновь замерли: из-за поворота бежал Захаркин и командовал:

— Смирно, равнение направо!

За старшим надзирателем двигались начальник тюрьмы и его помощник. Это было неприятно: начальник и помощник почти никогда не появлялись в это время.

Дзержинский стоял на левом фланге, начальство же появилось на правом и застряло: шел осмотр арестантов.

— Вы не робейте, товарищ,— сказал Дзержинскому его сосед, широкоплечий врач с висячими усами,— они вам ничего не скажут. Не посмеют!

— Положим, посмеют,— улыбнулся Дзержинский,— но я не робею. Авось как-нибудь.

Держать Россола на спине было очень тяжело: ширококостный и высокий Аптон, несмотря на худобу, весил еще много. Дзержинский, сам ослабевший после стольких месяцев тюремной жизни, сейчас со своей ношей едва держался на ногах. Лицо его покрылось потом, сердце билось неровно, толчками. А начальство двигалось так медленно, что, казалось, никогда не будет конца этому стоянию в сыром полутемном коридоре с Антоном за плечами. И если бы он еще не волновался так ужасно!

Каждого арестанта начальник тюрьмы осматривал и обыскивал самолично: на прогулках довольно часто арестанты передавали друг другу письма, записки, даже книги, и начальник тюрьмы объявил этому обычаю войну. Пока что он ничего не нашел, и это его злило. Если весь обыск окажется безрезультатным, начальник останется в глупом положении.

Чем меньше оставалось необысканных арестованных, тем больше раздражался начальник тюрьмы. Теперь уже Дзержин-

ский видел его бледное выбритое лицо, с большим носом и угловатыми бровями, его большой подбородок и кончики крахмального воротничка, выглядывающего из-под воротника мундира.

— А пачему у вас, пазвольте спра-асить,— пажимая па букву «а», говорил начальник,— пачему у вас пуговицы аторваны? Вы что? Правил не знаете? Так мы вас живо! Захаркин! Трое суток карцера ему!

Теперь у каждого арестованного он находил какой-нибудь непорядок в одежде или в поведении: один не так стоял, другой посмел улыбнуться, третий держит руки в карманах, четвертый посмел попросить очки, отобранные па допросе.

— То есть как это отобранные?

— Следователь мой отобрал у меня очки, чтобы ускорить мое сознание,— говорил четвертый от Дзержинского арестант с тонким и умным лицом,— я же без очков ничево решительно не вижу. Прошу вас возвратить мне очки...

Но начальник тюрьмы уже не слушал. Теперь он увидел Дзержинского и вместе со своим помощником, прыщеватым молодым человеком, шел к Дзержинскому.

— Эта что ж такое?— спрашивал он, щуря глаза.— Эта шутка или как эта нада панимать? Сейчас же абоим встать смирна,— вдруг крикнул он,— сейчас же!

— Мой товарищ болен, как вам известно,— сказал Дзержинский,— и стоять не может.

— Я приказываю прекратить,— крикнул пачальник,— я приказываю стоять смирна!

— Но он не может... — начал быстро Дзержинский.

— Молчать! — багровея и теряя всякую власть над собой, заорал пачальник, — назад в камеру! Запрещаю! Захаркин, за самовольное выпошение... выпесение... за самовольный вынос из камеры...

Он вдруг запутался и забыл то, что хотел сказать. В эту секунду в коридоре вдруг раздался звонкий голос Россола:

— Палач! Мы все равно тебя расстреляем! Палач!

Неизвестно, что произошло бы, не раскашляйся Россол в это время. Он закашлялся так, что отпустил Дзержинского и повалился головой вниз на щербатый каменный пол коридора, внезапно побелев донельзя и потеряв сознание. Но сосед Дзержинского, врач, успел подхватить голову Россола, так что он не ударился, и принял его от Дзержинского.

Захаркин схватил врача за руку и оттащил от Россола. Врач рванул руку. Россол все еще кашлял. Из рта его текла узкая струйка алой крови.

— Все назад, в строй! — протяжно закричал начальник тюрьмы и расстегнул кобуру револьвера. — По местам!

Врач в это время уже стоял на коленях возле Россола.

Захаркин опять рванул его за плечо.

— Отойдите, — сказал Дзержинский, — вон отсюда!

— Ты что? — оторопело спросил Захаркин. В его руке уже был револьвер.

— Все назад в строй, — продолжал кричать начальник, — или я буду стрелять!

Но никакого строя уже не было. Строй внезапно сломался. Начальник был в одном кольце арестантов, его прыщеватый помощник в другом, Захаркин в третьем. Кто-то тонким бешеным голосом кричал:

— Товарищи, бей палачей!

Лицо Захаркина сделалось серым.

— Спрячь револьвер, мерзавец, — сказал ему Дзержинский, — спрячь, пока тебя не убили.

А слева несся и несся бешеный, точно пьяный, тонкий голос:

— Бей палачей, товарищи! Бей, бей палачей...

Но никто не был убит. И начальник, и его помощник, и Захаркин удрали. Им дали уйти, и они ушли. Арестанты, по настоянию Дзержинского, разошлись по камерам. Россола отнесли на его лежак, врач сел с ним рядом. Тюрьма затихла.

До вечера ждали расправы, но она так и не последовала. Захаркин появился пиже воды, тише травы, настолько вдруг вежливый, что в волчок осведомился о здоровье Россола.

— Теперь лучше, — тоже вежливо ответил Дзержинский, — благодарю вас.

Но Захаркин не отходил от волчка. В волчок был виден только его мохнатый рот, и этот рот произнес:

— Бывают же такие болезни...

На это Дзержинский не нашелся, что ответить.

К ночи Россол окончательно пришел в себя. Худое лицо его совсем осунулось и приняло голубоватый оттенок, темные глаза завалились, губы запеклись.

— Здорово мы с тобой погуляли, Яцек? — спросил он, старательно улыбаясь.

— Завтра погуляем, — невозмутимо ответил Дзержинский.

— Ты думаешь?

— Уверен.

Он стоял перед лежащим Россолом — стройный, высокий, и такая спокойная сила исходила от него, что Россол поверил: да, завтра они обязательно будут гулять, ничто не может помешать этому решению, они во что бы то ни стало будут гулять.

Эту ночь, впервые за много месяцев, Россол спал спокойно, а паутро Дзержинский, как ни в чем не бывало, помог ему одеться, и, когда Захаркин отворил дверь в коридор и объявил прогулку, он поднял Россола на плечи и встал с ним в шеренгу арестантов.

Начальника тюрьмы не было, со вчерашнего дня его никто не видел.

Захаркин же сделал такой вид, что ему нет никакого дела ни до Дзержинского, ни до его похи, ни до чего решительно, кроме самой прогулки. Да и вообще в лица арестантам он не смотрел, а смотрел вниз и покрикивал:

— Ногу, ногу держать как падо! Подобрать кандалы! Без разговоров, правое плечо вперед, по лестнице не торопись!

Грохоча сапогами, под звон кандалов, арестанты двигались коридорами, лестницами, опять коридорами в тюремный двор.

— Тяжело? — негромко спросил врач у Дзержинского.

— Ничего, привыкну, — ответил Дзержинский.

Спустились по последнему маршу лестницы, миновали последний коридор и вышли на мощный булыжником двор. День стоял солнечный, теплый, почти жаркий. Еще цвели каштаны, — пирамидальные белые соцветия, как толстые свечи на елке, украшали ветви. Захаркин пятясь бежал впереди первой пары и кричал, размахивая руками, как дирижер перед полковым оркестром:

— Соблюдай расстояние на одну протянутую руку! Пара от пары на три шага! Детки-соколы, соблюдай порядочек, иначе драться буду! Без разговоров!

Но было так хорошо, что даже эти дурацкие возгласы Захаркина не мешали.

Пекло солнце.

Посреди двора прогуливались и ворковали голуби.

Тянуло ветром, настоящим весенним ветром.

С Дзержинского ручьями лил пот, но он не замечал этого.

Под звон кандалов, под грохот сотен пар сапог он слышал задыхающийся шепот Россола, его восторженные, отрывочные слова:

— Яцек, каштаны! Ты видишь, каштаны! Трава! Смотри, между булыжниками пробивается. Смотри, слева — совсем зеленая, настоящая! Ты устал, Яцек! Тебе тяжело? Смотри, какой толстый голубь, просто толстяк! Как он может летать, такой толстый?

Россол точно помолодел на несколько лет.

И все вокруг точно помолодели и поглупели. Восторженные восклицания неслись отовсюду:

- Эх, жизнь!
- Природа, одно слово.
- Мама дорогая, солнце как зажаривает!
- Не для вас и не для нас зажаривает.
- Ай, погода!

Дзержинский задыхался, глаза ему застилал туман. Он ничего не слышал, кроме грохота собственного сердца и того, что шептал ему в ухо Россол.

«Только бы не упасть,— думал он,— только бы не свалиться тут, посреди двора, вместе с Антоном».

Но он не свалился. Пятнадцать минут кончились. Захаркин засвистел и подал команду разойтись по камерам. Дзержинскому еще предстояло поднять Антопа на четвертый этаж и пронести по коридорам...

Каждый день теперь он выносил Россола на прогулку. За лето он очень испортил себе сердце.

Но разве он когда-нибудь обращал внимание на такие пустяки!

Передают, что про него кто-то сказал такую фразу:

«Если бы Дзержинский за всю свою сознательную жизнь не сделал ничего другого, кроме того, что он сделал для Россола, то и тогда люди должны были бы поставить ему памятник».

ВОССТАНИЕ В ТЮРЬМЕ

Пятого января 1902 года Феликс Дзержинский был отправлен из Седлецкой тюрьмы через Варшаву, Москву и Сибирь за четыреста верст от Якутска, в Виллюйск, в котором по высочайшему повелению ему надлежало пробыть ровно пять лет.

Путь от Седлецкой тюрьмы в царстве Польском до Александровской центральной каторжной тюрьмы в селе Александровском Иркутской губернии, поблизости от реки Ангары, партия арестантов, с которой шел Дзержинский, проделала в четыре с лишним месяца, что по тем временам считалось скоростью почти фантастической.

В мае партия прибыла в Александровск и разместилась в пересыльном корпусе, неподалеку от главного здания централа, построенного в котловине меж гор. Каторжная тюрьма выглядела куда печальнее, чем пересыльный корпус, небольшой, сложенный в лапу из крупных сосновых бревен, с двором, чисто выметенным и даже посыпанным песком.

Порядки пересыльного корпуса тоже во многом отличались от порядков каторжной тюрьмы. Этапникам жилось куда легче, чем отбывающим срок в центре: начальство ими не очень интересовалось, да и с какой стати интересоваться, если сегодня этапники тут, а завтра на каторжной Колесухе, или в Вилуйске, или в Качуге, или еще где-нибудь, в местах, куда Макар телят не гонял. В тюремных мастерских этапники не работали, к жизни централи никакого отношения не имели и проводили на пересылке свои дни, а то и недели, кто как хотел: отдыхали после страшного пути, чинили одежду, обувь и набирались сил для предстоящих каторжных лет.

Начальником централи был в то время поляк Лятоскевич, вел он среднюю линию и, как говорили про него арестанты, «жил сам и жить давал другим».

Но в конце апреля, незадолго до прибытия этого этапа, с которым шел Дзержинский, положение в Александровской пересыльной круто и внезапно изменилось. Причины изменения порядков толком никто не знал: одни говорили, что на Лятоскевича кто-то из деятелей написал в Петербург министру письмо; другие считали, что поводом к новым крутым порядкам послужил широко задуманный побег, хоть и провалившийся, но все-таки побег; третьи считали, что виновник неприятных новшеств — старший надзиратель Токарев, шкура и палач по натуре, которого Лятоскевич боится и который имеет над начальником тюрьмы какую-то власть.

Как бы там ни было, но к тому времени, когда, измученный весеннею распутицей, дождями со снегом, морозами и буранами, всеми адскими пытками российских каторжных дорог, этап входил в ворота пересыльной Александровской тюрьмы, надеясь хоть тут перевести дух, поспать, обсушиться и поесть, вдруг выяснилось, что старым порядкам конец, что здесь теперь орудует Токарев, палач и убийца по призванию, что бани не будет, кипятку до утра не получить, в село даже с конвойным за покупками выйти нельзя и, что самое главное, никаких разговоров и просьб: за разговоры Токарев бьет в лицо.

Узнав обо всех этих печальных новостях, матрос Шурпалькин, осужденный на бессрочную каторгу, человек очень смелый и спокойный, никому не сказавшись, сам, один, отправился из общей камеры, в которой размещались арестанты, к Токареву в дежурку. Услышав обращение не по уставу, Токарев молча сразу же ударил матроса тяжелой связкой ключей по лицу с такой силой, что рассек Шурпалькину щеку до кости. Брызнула кровь. Шурпалькин, теряя от боли власть над собой, шагнул к надзирателю, но тот ударил матроса ключами еще раз, и Шурпалькин упал.

В камеру он вернулся часа через два, никому не сказал ни слова и повалился на пары. При тусклом свете лампешки, коптившей у входа, Дзержинский успел заметить, что с матросом, к которому он очень привязался за месяцы этапного пути, неладно.

— Шура,— позвал оп.

Матрос молчал.

— Шура,— вторично окликнул Дзержинский матроса.

Не дождавшись ответа, он подошел к Шурпалькину, сел возле него на край нар и спросил, что случилось.

Великан матрос, вместо ответа, заплакал.

В тюрьме люди плачут редко, и если уж плачут, то такими слезами, которых на воле не увидишь.

Тюремные слезы — особые слезы.

Невозможно было смотреть на этого белокурого гиганта, не сморгнувшего, когда ему прочитали смертный приговор с заменой пожизненной каторгой, весело посвистывающего в любых обстоятельствах жизни, всегда балагурящего, всегда подшучивающего, вдруг тут, когда, кажется, самое тяжелое уже позади...

— Да Шура же,— позвал Дзержинский и стал отрывать от лица матроса ладони, которыми он закрывал свою разбитую, кровоточащую щеку.

Но матрос не шевелился.

Наконец, отпив воды, он немного успокоился и прерывающимся голосом стал рассказывать, как все произошло. Говорил он громко; камера постепенно просыпалась, люди собирались возле Дзержинского, а матрос, все еще плача и не стыдясь своих слез, уже во второй, а потом и в третий раз подробно, точно жалуясь, описывал все подробности избиения.

— Понимаешь,— говорил он,— я ничего такого даже в голове не имел. Просто зашел тихо, мирно, думаю, спрошу у него: дескать, позвольте, ваше благородие, господин Токарев, арестантики обижаются за баню, так нельзя ли... А он, оп... он...

Тут лицо матроса, не раз битого в тюрьмах и в темных карцерах, начинало дрожать, на глазах его выступали слезы и мелкими круглыми каплями катились по щекам вниз; он заикался и, заикаясь, спрашивал:

— Нет, главное дело — за что? Вы мне только скажите, за что? Ведь свой же брат, мужик, ведь это как же, а?

Вытирая слезы вместе с кровью, он вдруг начинал ругаться и кощунствовать или грозился, что сейчас пойдет и задушит надзирателя, потому что теперь все равно, или клялся, что доживет до того дня, и уж если доживет, то разыщет кого надо и посчитается сполна за все.

Несколько часов провозился Дзержинский с матросом: он то отпаивал его водой из ржавого жестяного чайника, то клал ему на голову мокрую тряпку, то силой удерживал его на парах, когда тот вдруг рвался вскочить, пайти Токарева и задушить его на месте...

Утром, чувствуя себя совершенно разбитым после бессонной ночи, Дзержинский собрал у себя в камере сходку политических. Пришли все, кто был в пересыльной, — человек пятьдесят.

Здесь же терлось несколько уголовных иванов, как их пазывали в тюрьме. Кое-кто из них был в сговоре с коповым и тюремными пачальниками — доносили на политических.

— Уголовные, — сказал Дзержинский, — уйдут отсюда вон. И быстро!

Бледный Шурпалькин молча покосился на кучку уголовников, живших возле печки.

Уголовники не уходили.

— А ну, геть витселя, — не громко, но и не тихо произнес Шурпалькин и сделал один только шаг к печке.

Уголовники ушли, и Дзержинский объявил сходку открытой.

Говорили минут десять, самое большее. Решено было вызвать Лятоскевича, предложить ему возвратить старые порядки, а главное — убрать из пересыльной Токарева. В случае же отказа Дзержинский предложил план восстания в тюрьме, до того смелый и небывалый, что некоторые даже сразу не поняли.

— Никакой осечки тут быть не может, — говорил Дзержинский. — Все точно обдуманно. И жертв не будет. Расчет у меня простой: Лятоскевич пуще всего на свете боится гласности и начальства. Если то, что я предлагаю, мы осуществим, Лятоскевич должен будет пойти на все уступки по двум причинам; первая причина та, что попади дело в газеты — ему надо уходить, да еще с таким треском; вторая причина: узнает начальство по тюремному ведомству — тоже крышка, да и не только ему, а даже иркутскому губернатору. У нас таких историй не было, история прошумит на весь мир, и они ее постараются ликвидировать во что бы то ни стало мирными путями. Так или не так?

Около часа пополудни в пересыльную явился Лятоскевич.

Разговаривать с ним уполномочили тульского токаря Бодрова, славившегося редкой невозмутимостью, спокойствием и располагающей улыбкой во всех случаях жизни.

Лятоскевич молча выслушал Бодрова, щелчком сбил с борта сюртука пушинку и по пунктам ответил на все просьбы отказом. Каждый отказ он — вежливый и хорошо воспитанный человек — сопровождал словами о том, что он, к сожалению, не имеет

возможности, хотя, разумеется, и рад бы, но в настоящее время обстановка такова, что при всем желании он...

Говорил он долго и скучно, а Дзержинский слушал его, низко опустив красивую голову, и при этом почему-то улыбался.

Весь день до вечера Дзержинский с Шурпалькиным и с Воропаевым, бывшим межевским техником, осужденным за восстание в экономии где-то на юге России, готовили точный план действий на завтрашний день: ходили по двору, стараясь точно выяснить расположение всех тюремных построек и пристроек, считали, сколько где конвоя, выясняли вооружение, сигнализацию, время смены караулов. Работать приходилось с осторожностью, с оглядкой, так, чтобы Токарев ничего не пропущал и не заподозрил.

К вечеру все было кончено, выверено и решено.

Опять собралась сходка.

Говорили шепотом.

На этой сходке были точно распределены обязанности.

— Ровно в одиннадцать часов всем быть во дворе, — говорил Дзержинский, — всем до одного человека. В одиннадцать с четвертью я подхожу к привратнику, разоружаю его, и это служит началом к всеобщему восстанию. Бодров к этому времени собирает уголовных, якобы по делу, в камере номер четыре. Ровно в одиннадцать Дрозд его запирает снаружи на засов вместе с ними и становится на дежурство возле камеры. Старшего надзирателя Токарева я беру на себя. Ночью Токарев дежурит. До часу дня он будет спать у себя в дежурке, у него такая привычка. Там я его и возьму.

— Я тоже с вами, — тихо попросил матрос.

— Ни в коем случае, Шура. Если будет хоть одна жертва, заварится такая каша и они нам столько крови пустят, что этого нам никто не простит. Вся паша ставка на анекдот, на комическую историю с неприятными последствиями не для нас, а для них. Понимаете? Дальше...

Когда сходка кончилась, он позвал Шурпалькина, обнял его за плечи и, заглянув ему в глаза, повелительно и быстро спросил:

— Я твердо рассчитываю, что вы никого не пораните даже случайно, Шура. Вы ведь не собираетесь?

Матрос с грустным видом опустил голову.

В этот день тюрьма проснулась очень рано, гораздо раньше обычного, но до пробудки никто не поднялся, чтобы не возбудить подозрений у надзирателей.

Лежали, волновались, но глаз не открывали.

Потом пили серую бурду — кипяток, заваренный брусничным чаем, жевали мокрый тюремный хлеб и вяло переговаривались, потом вышли во двор валяться на досках и судачить. Вышли не все, многие остались до времени в камерах.

Дзержинский сидел неподалеку от ворот, курил махорку и зашивал рубашку. Лицо его было совершенно спокойно, только глаза порою поблескивали из-под ресниц.

Незадолго до назначенной минуты он встал, потянулся, оглядел двор — все ли на местах — и ленивой походкой пошел к воротам, у которых дремал усатый старик стражник. Лениво шагая мимо него, Дзержинский вдруг сделал одно короткое, еле уловимое движение, мгновенное и точное, после которого стражник очутился на земле, а подбежавшие арестанты уже вязали ему руки и снимали с него, онемевшего от страха, старый револьвер, «селедку», которая не лезла из ножен, до того она заржавела, и прочую амуницию, в то время как другие арестанты валили и вязали конвойных и младших надзирателей...

Ни одного крика не было слышно, ни один человек не успел выстрелить, никто толком даже не понял, в чем дело, а все уже были повязаны кушаками и стояли, выстроенные возле тюремной стены.

— Все ли тут? — спросил Дзержинский, пересчитывая тюремщиков.

— Как будто все, — сказал матрос, на обязанности которого была охрана арестованных конвойных и надзирателей.

— Так точно, все, — подтвердил старик стражник со слезящимися глазами. — Все, как есть, ваше благородие, кроме его благородия старшего господина Токарева. Они, то есть господин Токарев, отдыхают, а мы все туточки...

Взяв из кучи оружия, сваленного неподалеку, револьвер поновее, Дзержинский пошел к тюрьме, возле которой в пристроечке имел обыкновение отдыхать Токарев, уперся ногою в косяк, рванул дверь и вошел в дежурку.

Здесь было темно. Токарев негромко посапывал в углу. Стараясь пока что не очень шуметь, Дзержинский сорвал одеяло, которым было завешено окно, и направил револьвер на Токарева.

— Лежите смирно!

Токарев молчал. Из-под красной кумачовой подушки выглядывал револьвер без кобуры. Дзержинский забрал и этот револьвер.

— Одевайтесь!

Надзиратель долго не мог попасть ногами в штанины.

— Это китель, — сухо сказал Дзержинский. — Брюки лежат рядом с вами.

Токарев попробовал улыбнуться, но из этого ничего не вышло.

Вместо улыбки на лице его проступило выражение ужаса. Он только сейчас все понял.

— Вы меня расстреляете? — хриплым, желудочным голосом спросил он.

— Одевайтесь! — повторил Дзержинский.

С каждой секундой Токарев зеленел все больше и больше. Глядя на него сейчас, никто бы не поверил, что этот человек способен внушать ужас одним своим видом: эти обвисшие серые усы, бессмысленные глаза павыкате, трясущийся подбородок, руки, которые отказывались повиноваться ему. «Как бы он не умер, чего доброго! — подумал Дзержинский. — Потом отвечай!»

— Разрешите взять деньги, — попросил Токарев.

— Возьмите.

— Так сказать, сбережения, — сказал Токарев и достал из-под подушки грязный мешочек. — Имею привычку брать с собой. Детки ненадежные...

Дзержинский отвел взгляд: Токарев был омерзителен сейчас со своими глазами павыкате, с мешочками, с дрожащими руками.

Вышли во двор. Стражники и конвойные по-прежнему стояли возле стены.

Навстречу, странно улыбаясь, двигался матрос. Он был бледнее обычного, спокойный, почти веселый. Токарев замедлил шаги.

— Уйдите, Шура, — сказал Дзержинский.

Матрос остановился, глядя на Токарева, как зачарованный.

Токарев тоже остановился, потом отступил на шаг к Дзержинскому, потом дрожащими пальцами вцепился в рукав его.

— Он вас не трогает, — сказал Дзержинский, — идите.

— Он хочет меня убить, я знаю, отгоните его.

— Уйдите, Шура! — крикнул Дзержинский.

Матрос медленно отвернулся и пошел вдоль тюремного забора, в глубь двора. Но Токарев не двигался с места.

— Я не пойду к стенке, — вдруг сказал он, — вы не смее! Вы за это ответите! Вас всех перевешают. Вы разбойники!

Дрозд толкнул его сзади в спину. Токарев пошатнулся и закричал. Дрозд толкнул во второй раз, и Токарев ткнулся в стену. Теперь он плакал и выкрикивал угрозы и ругательства. Опять подошел матрос с папироской в зубах, все та же странная улыбка блуждала на его лице.

— Беру на себя приведение казни в исполнение, — произнес он довольно громко, так чтобы все слышали.

— Убирайтесь отсюда! — потеряв терпение, крикнул Дзержинский. — Сейчас же уходите отсюда.

Но было уже поздно: стража услышала слова матроса и под-

пяла многоголосый вой. Кричали, вопили, умоляли. Толстяк конвойный упал на колени; старик со слезящимися глазами стал хватать за ноги Дрозда; Токарев лихорадочно развязывал свой мешок с деньгами, решив, видимо, откупиться...

— Молчать! — крикнул Дзержинский. — Никто не будет расстрелян! Тихо! Сейчас откроют ворота, и вы все, не оглядываясь, побежите к главному зданию. Бодров, открывайте! Живо!

Ворота со скрипом отворились.

— Токарев, вперед! — командовал Дзержинский. — Остальные за ним. Не задерживайтесь! Шагом марш!

Конвой и охрана не верили ни своим глазам, ни своим ушам. Но ворота были открыты настежь.

— Прошу покорно! — сказал вежливый Дрозд.

Первым тронулся Токарев. Пятясь от Дзержинского, он пошел к воротам. За ним двинулись остальные. До ворот они шли медленно, едва-едва переставляя ватные от страха ноги, но за воротами силы к ним вернулись. Выйдя из острога, Токарев побежал, приседая и петляя, как заяц. Он и теперь думал, что арестанты будут стрелять ему в спину. Потом он упал, потом поднялся, потом опять упал. Ему казалось, что так он их обманет. А они стояли в воротах и покатывались от хохота, смеялись до слез, до колик в животах. Дрозд лаял собачкой. Кто-то улюлюкал и выл. Кто-то кричал поросенком.

А конвой все бежал и бежал между пихтами и елями по сочной зеленой траве, спотыкался, падал, вставал, вновь падал и петлял между деревьями до тех пор, пока не исчез за холмом возле главного корпуса.

— Закрывать ворота, — приказал Дзержинский. — Завалить досками и бревнами. Возле главного входа в пересыльную строить баррикады. Начальник по работам Бодров.

— Можно начинать? — спросил Бодров.

— Начинайте, — сказал Дзержинский и подозвал к себе матроса. — Идите в дежурку Токарева, — произнес он, — там у него красная паволочка, вытряхните из нее пух и сделайте флаг. На флаге надо написать: «Свобода». Только быстро, Шура! И палку найдите подлиннее, чтобы флаг был виден издалека. Пускай из камер главного здания будет видно... Поняли?

— Есть! — ответил матрос.

В три часа пополудни над корпусом пересыльной тюрьмы взвился красный флаг с надписью «Свобода». К этому времени Дзержинский, единогласно выбранный председателем революционной тройки, открыл митинг. В своей речи он объявил, что

считает положение внутри тюрьмы чрезвычайным и требует абсолютной дисциплины и порядка. Уголовные, не желающие повиноваться приказам и распоряжениям революционной тройки, будут арестованы и заключены под стражу в камере помер один.

— Ура! — крикнул уголовный Ципа, первый в партии подхалим и подлиза.

Дзержинский улыбнулся. Глаза его блистали.

В заключение своей речи он поздравил товарищей с тем, что отныне они — граждане самостоятельной республики, отвергающей власти и законы Российской империи.

После митинга тройка занялась распределением обязанностей среди граждан новой республики. Был назначен повар, его помощник, кухонный мужик и начальник воды. Эту последнюю должность пришлось учредить в связи с тем, что воды было немного и ее, на всякий случай, приходилось экономить. Потом был назначен начальник внутренней охраны, командующий гарнизоном и командующий отдельным корпусом уголовных. Потом на совещание пригласили нового начальника внутренней охраны и вместе с ним выработали поименные списки дежурных по безопасности республики...

В сумерки к тюрьме пришел Лятоскевич.

— Откройте, господа, ворота, — сказал он.

— Сейчас будет доложено тройке, — ответил дежурный.

Лятоскевич курил сигару, смотрел на облака, ждал. Из всех щелей на него смотрели заключенные. Это было удивительное зрелище: начальник тюрьмы просится в тюрьму, а его не пускают.

Но он чувствовал, что на него смотрят, и вел себя, в общем, спокойно, прогуливался со скучающим видом, пасвистывал из «Цыганского барона», изредка поглядывал на часы. Дежурный не возвращался.

Лятоскевич начал нервничать.

Неподалеку за частоколом каркнула ворона, потом мяукнула кошка, потом тихо и печально захрюкала свинья.

Стараясь не обращать внимания на эти шутки, Лятоскевич прогуливался возле ворот — десять шагов вперед, десять назад.

Еще раз посмотрел на часы. В общем, не так-то уж много прошло времени, самое большое — четверть часа. Если бы только они не глазели на него из всех щелей!

Теперь за частоколом закричал гусь, вслед за гусем в мирной вечерней тишине начал блеять баран. Что они хотят сказать этим блеянием, черт бы их драл!

Наконец в воротах отворился круглый волчок, в волчке показалось лицо дежурного.

Дежурный сказал:

— Просили передать, чтобы вы завтра наведались. Сегодня мы заняты.

Это было чудовищно по оскорбительности, но что он мог ответить? Закричать? Затопать ногами? Выстрелить из револьвера в этот проклятый волчок, из которого на него смотрело какое-то нахальное мальчишеское лицо?

Помедлив, Лятоскевич произнес, как ему казалось, с холодным достоинством:

— Хорошо. Я приду завтра. Но заметьте — в последний раз.

В ответ Лятоскевичу из-за частокола длинно и глупо замычала корова. Он содрогнулся и зашагал прочь — близкий к обмороку, бледный как смерть. Ночью у него случился сердечный приступ. Лежа без подушки на диване, с мокрой тряпкой на впалой волосатой груди, он говорил жене прерывающимся голосом:

— Если об этом узнают в министерстве, я пропал. Вы понимаете? Если бы они убили хоть одного надзирателя, все было бы иначе, но они никого не убили и не ранили, они просто выпали вон из тюрьмы всех конвойных, всех стражников, всех надзирателей. Это неслыханно! Я кончепый человек, Сузи! Боже мой, что мне делать?

Рано утром он опять притащился к воротам тюрьмы, и караульный с вышки побежал доложить о нем Дзержинскому.

— Пусть подождет,— был ответ.

Около часа всесильный начальник Александровского каторжного централа гулял возле острога. Утро было холодное, ветреное, по небу плыли рваные серые тучи. Лятоскевич мерз. Ночью он получил телеграмму из Иркутска. Вице-губернатор телеграфировал о том, что инцидент ни в коем случае не должен иметь огласки, что Лятоскевичу следует немедленно же войти в переговоры с восставшими арестантами и в возможно короткий срок замять дело.

Хорошо ему посылать депеши — пусть бы сам попробовал замять дело.

Он поднял воротник форменной шинели, поправил фуражку. Чем все это кончится, интересно знать...

После длительного ожидания в воротах открылся волчок, и пачальнику централа были предъявлены требования арестантсв. Требований было много. Стоя возле ворот, Лятоскевич записывал их для памяти в книжку. Переговоры от имени тройки вел Бодров. Дзержинский по свойству своего характера такими делами заниматься не мог.

— Ваши требования слишком серьезны и слишком многочисленны, для того чтобы я мог ответить на них сразу,— сказал Лятоскевич,— я должен посоветоваться и подумать.

— Думайте,— сухо ответил Бодров.

Опять щелкнул этот проклятый волчок.

В тюремном дворе пели. Лятоскевич прислушался, это наверняка про него:

Далеко в стране Иркутской,
Между двух огромных скал,
Обнесен стеной высокой
Александровский централ.

Этой песней его встретили здесь, в тюрьме, несколько лет назад, когда он приехал сюда начальником централа; он слышит ее постоянно, каждый день, всегда...

Дом большой, покрытый славой,
На нем вывеска висит,
А на ней орел двуглавый
Раззолоченный стоит.
Это, братцы, дом казенный,
Александровский централ,
А хозяин сему дому
Здесь и сроду не бывал.
Он живет в больших палатах,
И гуляет, и поет,
Здесь же в сереньких халатах
Дохнет в карцере народ.

Еще несколько минут он простоял возле ворот, обдумывая предложения, и слушал знакомую страшную песню.

Здесь за правду за народну,
За свободу кто восстал,
Тот начальством был отправлен
В Александровский централ.
Есть преступники большие,
Им не правился закон,
И они за правду встали,
Чтоб разрушить царский трон.

Он уже шел к дому по узкой тропинке, протоптанной меж пихт и елей, а песня догоняла его, тяжелая и грозная:

Отольются волку слезы,
Знать, царю несдобровать...

Дома Лятоскевич хлопнул две рюмки водки, закусил моченым яблоком и вызвал Токарева — советоваться.

Вечером посланный от Лятоскевича объявил, что господин Лятоскевич требования заключенных может выполнить только частично.

— Не все? — спросил Бодров.

— Нет, не все. Господин Лятоскевич очень сожалеет, по положение таково, что это не в его власти.

Волчок в воротах захлопнулся.

Ночью жгли во дворе тюрьмы костры, пели песни, читали стихи. Дзержинский ходил от костра к костру, улыбался своей печальной улыбкой и прислушивался к пению. В золе пекли картошку и ели тут же, сидя на земле. Было странно, что все это в тюрьме, что за тюремной стеной, там, снаружи, стоят и дежурят тюремщики с винтовками, что кругом тайга, а не волжские степи, что за горою Ангара, а не Волга.

Тучи ночью разошлись, вывездило, небо было черное, очень далекое; пахло печеным горячим картофелем, дымом, войной. Многие из арестантов сидели с оружием, отобраным у конвоя, с револьверами, с саблями, с винтовками, и, глядя на них со стороны, можно было подумать, что это не запертые в остроге арестанты, а маленькая часть какой-то страшной армии, грозной, непобедимой, вечной со времен Пугачева и Разина, кусочек того, что все равно нельзя уничтожить, того, что было, но не исчезло, что есть, что будет, что останется...

Дзержинский грелся у костров, почти не разговаривал. Думал ли, мечтал ли — кто знает...

Может быть, рисовались в его воображении еще неопределенные, но величественные контуры будущих, очень далеких лет, красногвардейские полки, знамена победившей революции...

Может быть, глядя на матроса, молчаливо сидевшего у костра с винтовкой на коленях, он представлял себе его командиром бронепоса, над которым реет алый флаг.

Или видел Бодрова, невозмутимого Бодрова, с его всегдашней улыбкой на крупных свежих губах, дипломатом страны, в которой победила революция. Где-нибудь на международном съезде он говорит речь, невозмутимый, серьезный, спокойный, во фраке с белой грудью, с цветком в петлице, говорит и улыбается, и смеется, и только глаза у него не смеются, глаза такие, как сейчас, когда он сидит над костром и смотрит на языки пламени, на искры, на клочья дыма...

Или Дрозд, длинный Дрозд, — кем будет он?

Или межевой техник Воропаев, осужденный на пять лет каторги за то, что пошел вместе с мужиками против помещика, пожелевавшего отобрать у мужиков те последние клочья земли, которые у них были...

Что будет делать Воропаев, когда победит революция?

Доживет ли?

Увидит ли?

Он стоял, смотрел, думал, а возле одного из костров уже завели плясовую, гремела песня. Длинный Дрозд плясал, а хор надрывался:

Не из чести, не из платы
Не идет мужик в солдаты—
Не хочет, калина, не хочет, малина!

Утром пересыльную тюрьму окружили на всякий случай войска, присланные из Иркутска. С наблюдательной вышки острога было видно, как Токарев, улыбаясь сладкой улыбкой, разговаривал с пузатым поручиком, командиром отряда, как он показывал на острог рукою и что-то старательно объяснял. Шурпалькин смотрел и угрюмо молчал; потом, когда Токарев поднес поручику спичку, чтобы тот закурил, матрос скрипнул зубами и, ни к кому не обращаясь, грустно сказал Дзержинскому:

— Было б мне на вашу дисциплину и сознательность не сдаваться.

— А что? — спросил Дзержинский.

— Смотрите, как пляшет старый козел, — со злобной тоской в голосе воскликнул матрос, — смотрите, до чего радуется! Разрешите, я из винтовочки приложусь, а?

И винтовка мигом очутилась у него в руках.

Увидев солдат, уголовники во главе с Ципой пришли к Дзержинскому с требованием сдачи на милость победителя. Дзержинский молча выслушал речь Ципы, потом ответил:

— Идите в камеру. Вы арестованы.

Понурившись, уголовные ушли. Собственно, они только этого и хотели. Быть арестованными — значило быть ни в чем не виноватыми в глазах пачальства. Что ж, политические силой принудили их участвовать в восстании!

Бодров непрерывно вел переговоры с Лятоскевичем. Волчок в воротах был открыт, в двух шагах от волчка стоял Лятоскевич, сосал сигару и торговался. За Лятоскевичем стояли солдаты в белых гимнастерках, стыли на ветру и ждали. Перед солдатами прохаживался прихрамывающий на одну ногу офицер.

Тройка заседала непрерывно. Каждое новое предложение Лятоскевича специальный связной передавал тройке, тройка обсуждала и, прежде чем вынести решение, собирала сходку: сходка решала окончательно.

Настроение держалось все время решительное, боевое и бодрое, связной приносил Бодрову одни и те же постановления тройки и схода:

— Держаться твердо, ни в чем не уступать.

Лятоскевич с каждым часом все более и более заметно нервничал.

— Я хочу говорить с вашим коноводом, — сказал он.

— Я не знаю, о ком вы говорите, — ответил Бодров.

— Я говорю о вашем начальнике, или руководителе, как он там у вас называется... Я желаю говорить непосредственно с ним!

— Понимаю, — ответил Бодров, — но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Тот, кого вы имеете в виду, положил себе за правило не разговаривать с тюремщиками...

— Ах, вот как?

— Да, именно так.

Теряя терпение, Лятоскевич подошел к поручику и спросил у него, что он думает обо всем этом деле.

Поручик поднял на Лятоскевича злые глаза и раздельно ответил:

— Ничего я не думаю. Я патер себе погу, солдаты голодны — кончайте скорее.

— Да как кончить-то! — с тоской воскликнул Лятоскевич. — Я не имею права идти на их требования, понимаете? Меня обнесли доносом, вмешалось министерство, я тут ни при чем.

— Ну, и я ни при чем, — ответил офицер. — Меня уж это совершенно не касается.

Лятоскевич с мольбой взглянул на него.

— Дайте залп в воздух, — вполголоса попросил он.

— Никак нет, не могу.

— Почему?

— Инструкция от вице-губернатора — оружия не применять!

— Так на кой леший вы сюда пришли?

— По всей вероятности, для психологического устрашения, — ответил поручик и отвернулся.

Через несколько минут к острогу подъехала лакированная коляска вице-губернатора. Рядом с вице-губернатором сидел сухонький, востроносый чиновник особых поручений, а напротив него — прокурор.

— Ну что же это у вас тут происходит? — не вылезая из коляски и не подавая Лятоскевичу руки, спросил вице-губернатор. — Отставки захотелось или как прикажете вас понимать? Вы что, ослепли, оглохли? Ма-алчать, я приказываю! — фальцетом закричал он, хотя Лятоскевич ничего и не говорил. — Ма-алчать и исполнять мои приказания!

— Слушаюсь, ваше превосходительство, — произнес Лятоскевич.

— Приказать солдатам взять винтовки на изготовку.

— Слушаюсь...

— Предложить арестантам немедленно отворить ворота.

— Слушаюсь...

— Пойти на все их требования и немедленно, сейчас же прекратить этот позор, это безобразие... это... черт знает что такое...

— Слушаюсь. Но разрешите, ваше превосходительство, в случае, если они не согласятся, открыть огонь...

— Что?

Лятоскевич повторил свое предложение. Вице-губернатор натурально захохотал и пальцем покрутил возле лба.

— Нет, батенька, этот помер не пройдет. Наворотили тут черт знает каких дел с вашим тюремным ведомством, а теперь я в ответе. Нет, дорогой мой, нет, не выйдет. Эк чего захотел, чтобы губернатор открыл стрельбу, а я, дескать, в стороне. Хитер, батюшка, да и я не менее. Прошу исполнять мои приказания.

В четыре часа пополудни Лятоскевич объявил Бодрову, что администрация тюрьмы принимает все требования арестованных и просит спустить красный флаг, убрать баррикады и отворить ворота.

— Передам тройке, — последовал ответ.

Тройка и сход арестантов постановили восстание прекратить по причине полной и всесторонней победы восставших.

— Снимите красный флаг, Шура, — сказал Дзержинский матросу.

Матрос взглянул на него, помедлил, потом ответил с грустью в голосе:

— Есть снять красный флаг, товарищ Феликс!

Он ловко и быстро влез на крышу и на виду у всех снял красный флаг с шеста. Легкий вздох пронесся по толпе.

Когда матрос спрыгнул с лестницы, уголовный Ципа, попавшись ему на дороге, сладко сказал:

— Хорошо как на душе и просторно, что мы победили, правда, Шура? Но флаг жалко!

Матрос молча посмотрел на Ципу и внезапно с необычайной точностью и аккуратностью ударил его в ухо. Ципа брякнулся оземь и завопил, а матрос, точно это его и не касалось, пошел разбирать баррикады.

Они стояли все вместе во дворе тюрьмы, когда заскрипели ворота перед Токаревым, Лятоскевичем и остальными тюремными чинами. В строю стоял Дзержинский, а рядом с ним, плечом к плечу, те, кто вместе с ним вынес всю тяжесть восстания, кто не спал эти ночи, кто не ел, и не пил, и не пел песен, потому что для этого не хватало времени.

Они стояли рядом, вплотную — Дзержинский, Шура Шурпалькин — балтийский матрос, приговоренный к пожизненной

каторге, тульский токарь Бодров, межевой техник Воропаев, длинный Дрозд, прозванный в тюрьмах «богом» за невероятные побеги...

Мимо них по тюремному двору медленно и осторожно шли тюремщики, вооруженные до зубов, подозрительно оглядывающиеся, опозоренные три дня назад и жаждущие мести...

Первым шел Токарев.

В руке, на всякий случай, он держал револьвер и шел медленно, порою отдавая приказания своим подручным, и те расходились от него во все стороны двора, к своим постам — «держаться и не пущать».

Перед толпою арестантов он задержался на секунду, и глаза его встретились с блистающим взглядом Дзержинского.

— Чего... смотришь? — хриплым голосом спросил вдруг матрос. — Знакомого нашел?

Токарев промолчал.

ПОБЕГ

Бежать он решил в Александровском центре вскоре после майского восстания, но из этой затеи ничего не вышло, потому что он заболел, и заболел тяжело: разом сказалась напряженная жизнь последних лет тюрьмы, седлецкая камера с умирающим Россолом, трагические мечты Антона о воле и, главное, весть о том, что Россол умер. Умер он у матери, высланный из Варшавы в Ковно, совсем недавно, на днях. Ничего неожиданного в этом известии не было: чахотка давно приговорила Антона, и ни он сам, ни Дзержинский никогда не обманывали себя, но все-таки известие о смерти самого близкого человека потрясло Дзержинского. В несколько дней он похудел до неузнаваемости, перестал есть, ни с кем не разговаривал, не смеялся, искал уединения, часами сидел совершенно неподвижно, глядел в одну точку и порою потирал ладонью лоб.

Болели глаза, знобило, не ладилось с сердцем.

Плохо держали поги, он едва передвигался по камере и не выходил на прогулки. Из разговоров с ним ничего не выходило, это был не тот человек, которого можно было «разговорить». С ним заговаривали, он отмалчивался или отвечал: «да», «нет», «возможно». По глазам было видно, что он не слушает.

Администрация после восстания в пересыльной была с Дзержинским любезна, почти предупредительна, и как только до Лятоскевича дошли слухи о том, что Дзержинский заболел, он тотчас же прислал к нему фельдшера.

Фельдшер был из породы увлекающихся дураков и, прописав

Дзержинскому порошки, предложил гипноз, которым он занимался, по его словам, как любитель.

— Нет, благодарю вас, — сказал Дзержинский, — это занятие не для нашего брата, ссыльного. Кому в Якутск, тому не до гипноза.

— Очень жаль, — вздохнул фельдшер. — Я этим способом пользовал пана Лятоскевича и довольно-таки удачно.

Дзержинский молчал. Лысый, несмотря на молодость, фельдшер, с утиным носом и развязными манерами, был ему неприятен.

Несколько дней Дзержинский решительно ни с кем не общался, даже с Власычем, с которым сговорился вместе бежать. Лежал, закрывшись с головой тужуркой, думал, дремал. Температура у него поднялась высоко, взгляд стал острым, губы потрескались.

Болезнь оборвалась так же внезапно, как и началась. Однажды в сумерках он погулял по коридору, на другой день вышел на прогулку спокойный, осунувшийся, но бодрый и веселый, как раньше. Он уже шутил, посмеивался, рассказывал товарищам о том, как фельдшер собирается лечить его гипнозом, глаза смотрели спокойно и внимательно.

Лятоскевич после восстания сделался необыкновенно добрым — позволил арестантам сидеть во дворе пересыльной сколько угодно. Дзержинский всю пользовался этим разрешением. Целыми днями сидел он на солнце, набирался сил, готовясь к побегу, глядел на прозрачное сибирское небо, на ядовито-изумрудную, всегда влажную траву под ногами, на непросыхающие болота в котловине.

В первых числах июня этап пришел в село Качугу. Отсюда начинался сплав на Лене, и здесь жили многие из ссыльнопоселенцев. Власыч кое-кого знал и в первую же ночь позвал Дзержинского на совещание к некоему старику, поселенцу Руде. Руда провел тут много лет и всю свою округу исходил вдоль и поперек. Выслушав пана Дзержинского, он сказал, что план вздорный, что отсюда бежать никак нельзя, потому что расшибет бревнами.

— Какими бревнами? — не понял Дзержинский.

— Да на сплаве, — сказал Руда сердито. — Стукнет бревном по челноку — и поминай как звали. Шутки шутите, господа.

В комнате было человек десять местных старожилов, ссыльнопоселенцев. Многие из них провели здесь всю молодость, состарились, поседели, но вид у всех был здоровый — кряжи-старрики. Пили чай с шанежками, круто солили, мало сахарили.

— Насчет сахару у нас туго, — говорил Руда. — Вот рыбка — это имеется, а сахар, извините, сахар весь вышел. Да вы кушайте, господа, шанежки, не стесняйтесь — аппетит, я чай,

имеется в избытке. И рыбки не угодно ли — своего собственного копчения, в Питере такой ни в каком дворе не получить.

— Мы из Варшавы, — сказал Дзержинский.

— Позвольте, не ваших ли рук дело в пересыльной? — прищурившись спросил Руда.

— Республика? — усмехнулся Дзержинский. — Немного и наших рук дело.

Косолапый, медведеобразный Руда поднялся со своей лавки, тяжело ступая, подошел к Дзержинскому и, взяв его за плечи, поставил перед собой.

— Поляк? — спросил он.

— Поляк, — улыбаясь, ответил Дзержинский.

— Мне говорили, что восстание поднял поляк, а фамилию я забыл по старости. Значит, ты и есть тот поляк?

Дзержинский молчал. Щеки его слегка покраснели.

— Оп, оп, — сказал Власыч. — Дзержинский его фамилия. Он и красный флаг поднял, он и Токарева вязал.

Несколько мгновений Руда не отрываясь смотрел в лицо Дзержинскому, потом крепко обнял его и три раза поцеловал.

— Хороший человек! Молодец! Так и надо!

Всыпал в стакан Дзержинскому две ложки сахара и сказал:

— Пей внакладку. Гуляем сегодня!

Разговор, который до этого не очень вязался, стал горячим, оживленным, громким. Старики требовали рассказов, новостей, слушали внимательно, со старомодной вежливостью, поддакивали, умилялись. Выпили один самовар чаю, потом другой, потом еще. Руда колдовал у раскаленной печки, пек свои шанежки, и чем дальше, тем вкуснее они становились. Из погреба принесли еще горшок сметаны, лица у людей покрылись потом.

— Давно я так не едал, — сказал Власыч.

— И не скоро так поешь еще, — таинственно произнес Руда.

После полуночи, когда старики узнали все, что можно было узнать от повичков, разговор опять вернулся к теме побега. Старики долго спорили между собою о том, как надо бежать, и даже поссорились, да так, что один старик, которого другие звали Витей, обиделся и ушел, но за ним побежали, и он вернулся, так что все кончилось благополучно. Еще выпили самовар, наконец вынесли решение: бежать из Верхоленска по направлению к селу Знаменке — разумеется, по реке. Челнок даст в Верхоленске знакомый, верный человек; в путешествии — опасаться плавающего бревна. В случае нехорошей встречи сказать купцам, едущими в Якутск по торговой надобности. Купеческие фамилии: для Дзержинского — Семушкин, для Власыча — Синих. Запомнили. Семушкин и Синих.

— Семушкин, — повторил Дзержинский.

— Синих, — сказал Власыч.

— А каким товаром торгуем? — спросил Дзержинский.

Старики опять принялись гудеть и ссориться, и опять обидчивый Витя рассердился и пошел к дверям.

Наконец решили: купцы Семушкин и Синих торгуют мамонтовой костью и едут в Якутск. Понятно?

У Дзержинского от буйных стариков, от их споров, табаку и могучих голосов уже рябило в глазах, но принесли еще самовар, и вновь пачалось чаепитие, за которым Руда размяк и стал предлагать другим присоединиться к Дзержинскому и Власычу, чтобы бежать вместе.

— А что, — говорил он, — мы еще себя покажем. Разве нет? Мы, старики, дай бог каждому, мы еще молодым фору можем дать, не правда ли? Поедем, друзья, честное слово, поедем. В Петербург — и к царю. Что, испугался? Не ждал? Вот, брат, царь-государь, какие мы старики! Ты нас на пожизненное упек, а мы — вот они, пожаловали...

Назад шли берегом Лены. Река шумела, было темно, тихо и грустно. Руда взял Дзержинского под руку и говорил ему негромким печальным басом:

— Вы там шевелитесь, господа! Этак мы умрем, а революции и не увидим, какая она такая. Вот мы тут шумим — то да се, а ведь смерть не за горами. Жалко умирать: сидим тут столько лет; десять лет такой жизни по справедливости надо за один считать — разве неверно?

Шагал Руда тяжело, под его ногами что-то трещало и ломалось, как будто это шел не человек, а большой сильный зверь, и в то же время жаловался, как будто он совсем маленький, как будто его обидели. А по тому, как он дышал, было понятно, что он стар, и хотя крепок по виду, но нездоров, и что до революции ему не дожить.

— Ну, что ж, прощайте, — сказал он и протянул большую горячую руку.

— До свиданья! — ответил Дзержинский.

— Нет уж, чего там, какое, — прогудел старик и зашагал во тьме назад.

В этапной избе Власыч долго ворочался, не мог, видимо, уснуть, потом спросил:

— А мы-то доживем, Феликс? Или вы спите?

— Нет, не сплю, — погодя ответил Дзержинский. — Вы спрашиваете, доживем ли. Но разве это и есть самое главное? Я ду-

маю, что доживем. Но если бы даже и нет, разве мы могли бы жить иначе? Хоть сколько-нибудь иначе?

Власыч ничего не ответил, только вздохнул громко.

Все произошло так, как предсказал старик Руда.

Верный человек в Верхоленске действительно дал лодку-душегубку, выдолбленную из древесного ствола. Лодка могла поднять одного человека, на крайний случай в ней могли уместиться двое, но уже до того плотно, что самое ничтожное движение в челноке приводило к тому, что вода переливалась через борт.

— Шевелиться никак нельзя, — говорил верный человек, пиная ногой, обутой в новый юфтовый сапог, свою душегубку. — Как шевельнешься, так и воды наберешься. Понял? И бревна поберегись, бревно-плывун при ночной тьмище обязательно ваш пароход может перевернуть. Понял? Теперь запомни место, где я челнок захороню. Вон она, дорога, понял? Как с этапки выйдешь ночью, иди на церковь, после на лабаз, после на общественный колодезь. И все левой руки держись, направо не гляди. Понял?

День был теплый. Однако верный человек был в барнаулке, в кожаных штанах, в теплом шарфе.

— Погоды хорошей не жди, — продолжал он наставлять. — Возьми с собой на обогрев спирту или казенного вина. Погляди вон на избы: дым так и стелет до самой земли — не то дождь будет, не то туман. День-то пыче какой?

— Четверг, — сказал Дзержинский.

— Тяжелый день, — вздохнул мужик. — Дело падо начинать либо во вторник, либо в субботу... А в пятницу — пехорошо.

Помолчали.

Моросил скучный длинный дождь. Лена катила у ног серые воды, пузырящиеся от дождя. Хрипло кричали в поселке петухи.

— Раньше как после полуночи дело не начинай, — сказал верный человек. — Слушай церковного сторожа: как он двенадцать пробьет на колокольне, помолись и выходи... Али неверующие?

— Неверующие, — сознался Дзержинский.

— Ваше дело.

Вернулись в этапную избу промокшими и иззябшими, заплатили верному человеку деньги за душегубку и попрощались с ним.

В сенях этапки Дзержинский столкнулся с конвойным унтер-офицером.

— Больно много гуляете, — сказал унтер. — Не в Варшаве, господин Дзержинский. И что это за мужики к вам в гости ходят?

Дзержинский молча вынул из кармана свидетельство от врача и протянул его унтеру. Унтер прочитал, сложил и спрятал в свою сумку.

— Так сразу в один день два дружка и заболели,— кривя бледные губы, произнес он. — Удивительно, ей-богу, как это у нас происходит. А про верхоленского костоправа я, дайте срок, доложу кому полагается. Дадут ему припарку... Зачем остаетесь? Отдохнуть от этапа или бежать?

— Бежать,— глядя в лицо унтеру, произнес Дзержинский,— вы совершенно правы — бежать!

Ответ произвел желаемое действие. Унтер засмеялся, потрепал Дзержинского по плечу и сказал:

— Очень уж у вас характер раздражительный, господин Дзержинский, даже пошутить с вами нельзя. Гордость в вас большая. Думаете, найдете начальника лучше меня? Не найдете, дорогой. Я еще промеж нашим братом голубем чистым считаюсь, кротким, так сказать, агнцем, а вы нос воротите. Лучше бы те деньги, что вы костоправу за ложное свидетельство заплатили, нам бы на мясо. И солдату хорошо, и конвойному неплохо, да и вы бы внакладе не остались, ей-богу. Ну, останетесь тут следующего этапа ждать — а какой толк?

Дзержинский молчал.

— То-то, что гордость заедает,— продолжал этапный. — Вы все, политики, гордые, потому уголовным жить на этапах куда просторнее. Платят — и сами живут, и другим жить дают. Конечно, среди нас тоже есть звери. Я разве спорю? Есть очень характерные, но только не так уж много. Давать надо. Дадите — и каторга другая станет. Не узнаете! Так-то, господин Дзержинский...

На следующее утро Власыч и Дзержинский проводили этап, попрощавшись с товарищами, выслушали пожелания счастливой удачи, подождали, пока этап тронется, и вернулись в продымленную, вонючую избу. До вечера спали, набираясь сил для предстоящего пути, в сумерках поели простывшей картошки, скользкой и противной, похлебали супу с хлебом, покурили. Время тянулось томительно долго, говорить было решительно не о чем, обо всем уже переговаривали, все было ясно, кроме самого главного: выйдет или не выйдет, поймают или не поймают,— но об этом что ж говорить!

Чтобы не обращать на себя внимания солдата-инвалида, спавшего в сенцах, вылезли в низкое окошко в колючие кусты, поцарапались и переждали — не проснулся ли солдат. Потом задами, мимо сараев, проваливаясь в какие-то ямы, через заборы, зашагали к церковной площади. На Дзержинского почему-то вдруг

напал смех, и оттого, что Власыч шипел на него, делалось еще смешнее, а Власыч сердился и говорил, что это безобразие — смеяться в такие минуты...

Дошли до церкви, ветхой и покосившейся, миновали лабаз, колодезь, начали спускаться к реке. Чем ближе была река, тем плотнее сгущался туман; теперь он стоял сплошной белой стеной...

— Ничего не понимаю — сказал Власыч, — куда идти.

Долго молчали, прислушивались, не залает ли хоть собака. Ничего не было слышно, гробовая тишина. Пошли вниз, и тут начались настоящие мучения. Как найти этот проклятый пенек, к которому давеча утром привязали лодку? Сейчас не было ни пня, ни лодки. Ходили по колеси в воде, мокли, дрожали от холода, от сырости, от волнения. Ничего глупее нельзя было придумать, чем такая история: потерять лодку, даже не отъехав от Верхоленска.

Власыч совершенно расстроился и измучился: лодки не было, точно она провалилась. А Дзержинский все время хохотал — до того, что даже Власыч не выдержал, тоже засмеялся. И тотчас же лодка нашлась. Она была тут, под самым носом, против того места, откуда они начали свои поиски.

— Видите, — сказал Дзержинский, — стоило вам только засмеяться, и лодка нашлась...

Дзержинский сел на нос, Власыч взял в руки весло. Душегубка была одновесельная, пошла быстро и легко. Власыч греб довольно ловко — один взмах слева, другой справа...

— Вы понимаете, куда мы плывем? — спросил Дзержинский.

— Не понимаю. А вы?

— Я решительно ничего не вижу. Даже воду перед собой не вижу.

Так, во тьме и в тумане, плыли часа два-три. Один раз наскочили на мель, другой раз — на берег. Туман по-прежнему стоял стеной. Дзержинский сидел на носу, свесившись почти к самой воде — всматривался до того, что стало больно глазам, все ждал, что вот-вот покажется в воде бревно-плывун. Наконец показалось. Дзержинский схватил его руками, оттолкнул и прислушался; было слышно, как бревно царапнуло лодку по борту и с легким плеском отошло в сторону.

— Есть? — спросил Власыч.

— Есть, — ответил Дзержинский.

Голос у него был веселый, счастливый.

— Чему вы радуетесь? — спросил Власыч.

— Не знаю, — сказал Дзержинский, — но вы правы — мне весело. Осторожнее! — крикнул он. — Опять бревно! Подождите,

не гребите, тут их целая флотилия. Подождите, слышите.

Свесившись вниз, он осторожно разгонял перед собой бревна, одно за другим, освобождая путь душегубке. Власыч помогал веслом. Бревен было много, у Дзержинского совершенно застыли руки от холодной воды.

— Тут просто каша,— говорил он,— невозможно выбраться. Попробуйте назад, Власыч!

Наконец выбрались и отсюда. Некоторое время лодка шла спокойным, верным ходом, потом Власыч стал разгонять. Короткими быстрыми взмахами он перебрасывал весло справа налево и опять направо, все время с большею и большею силою загребал воду.

— Здóрово идет.

— Здóрово.

— Могу еще поддать пару.

— А надо ли?

— Надо.

— И так идем быстро.

— Зато сколько мы потеряли времени, пока искали эту душегубку...

— Но имейте в виду, что если мы на таком ходу влетим в бревна, я ни за что не отвечаю...

На всякий случай Дзержинский грудью оперся о нос душегубки и опустил руки в воду, на случай, если вдруг на пути появится бревно. Власыч греб и тихонько насвистывал себе под нос. Потом что-то треснуло, и Дзержинский очутился в воде. Все произошло мгновенно. Отплевываясь и задыхаясь, он схватился за борт душегубки, но она тут же с бульканьем пошла ко дну. Где-то наверху, над головой, кричал дурным голосом Власыч:

— Держитесь, не робейте, я здесь...

— Где — здесь?

— Тут, над вами... Сейчас я вас спасу, держитесь... Сейчас я найду палку...

Все было как во сне — и река, и туман, и крики Власыча.

— Наберите в себя побольше воздуха! Откликнитесь, вы живы? Сейчас я найду палку. Плавайте, плавайте!

Пока он кричал, Дзержинский уже понял, в чем дело: лодка налетела не на бревно, как он предполагал, а на старое, уродливое дерево, свесившееся с обрывистого берега к самой воде. Это дерево, в которое с такой силой врезалась душегубка, и перевернуло ее.

К тому времени, когда Власыч нашел ветку, Дзержинский совершенно заledenел. Взобравшись на мокрый ствол дерева, он

по стволу дополз до берега и принялся бегать, чтобы согреться. Уже светало. Через несколько минут беглецы поняли, что выбрались они не на берег Лены, а на крошечный, посреди реки, остров, на котором росло несколько сосен да низких разлапистых елей.

Власыч почти не промок: в ту секунду, когда душегубка налетела на дерево, он греб стоя и, собственно говоря, налетела, не столько душегубка, сколько Власыч; ему удалось сразу же уцепиться руками за ствол так ловко, что в воду и не попал.

Развели костер и сели греться у огня. Сырой валежник горел плохо, дымил и трещал. Сидели в смолистом дыму, молчали. Дзержинский, чтобы не дрожать, плотно обхватил себя руками, сидел и покачивался из стороны в сторону, потом не выдержал, еще раз побежал вокруг острова — греться.

Когда совсем рассвело, Дзержинский разглядел за рекою далеко от берега крестьянский обоз,двигающийся по направлению к воде.

Пока мужики поили лошадей, Дзержинский кричал, сложив ладони рупором, чтобы прислали лодку, что с людьми беда и что они за все заплатят. Кричать пришлось так долго, что Дзержинский сорвал себе голос, но мужики в конце концов поняли и прислали лодку, случившуюся поблизости. Когда лодка была совсем уже близко от острова, Власыч вдруг зашептал Дзержинскому, что все переговоры с мужиками будет вести он, Власыч, по той причине, что внешность его гораздо более подходит к внешности купца, нежели внешность Дзержинского, что, кроме того, он когда-то участвовал в любительском драматическом кружке и что в нем есть некоторые не известные Дзержинскому таланты артиста.

— Я их всех просто вокруг пальца обведу, — шептал он, подмигивая Дзержинскому одним глазом и сделав необыкновенно хитрое лицо. — Я им такого Силу Силыча изображу, что вы просто ахнете...

Дзержинский с опаской поглядел на Власыча, но ничего не сказал: лодка уже причалила к берегу, говорить на эти темы было поздно. Власыч же, как-то странно согнув ноги в коленях и подбоченясь, пошел навстречу перевозчику, восклицая по дороге ненатуральным голосом:

— Здóрово, братушка-землячок! Поклон тебе да ин до самой матери сырой земли! Здравствуй, православный! И-эх, какая нас беда застигла неминуемая, беда горячая...

И он понес такой вздор, что Дзержинскому показалось: вот сейчас, сию секунду, перевозчик снимет с себя пояс и молча начнет вязать руки неудачливому артисту, но... перевозчик оказался, по счастью, глухонемым. Промекав что-то, в общем довольно почтительное и приветливое, он снял драпый треух, поклонился, подождал, пока беглецы сели в его лодку, взмахнул веслами. Пока плыли, Дзержинский уговаривал Власыча не переигрывать, но Власыч заупрямился и сказал в ответ, что Дзержинский не был любителем, а он был и что он лучше знает, как изображать купца, торгующего мамонтовой костью...

Лодка врезалась в отлогую прибрежную косу, поджидавшие купцов мужики подтянули ее крепче к берегу и низко поклонились Власычу. Едва ступив на землю, Власыч торжественно перекрестился широким истовым крестом, стал на колени, земно поклонился, поцеловал песок перед собой и рыдающим голосом провозгласил:

— Возблагодарим же господа бога нашего, избавителя сладчайшего, премилостивейшего, всеблагого...

И, раз за разом макая лоб в сырой речной песок, он начал завывать таким режущим уши, противным и неестественным голосом, что Дзержинский едва не прыснул и спасся только тем, что сам сотворил земной поклон, надолго спрятав смеющееся лицо в сочной весенней траве...

Мужики, которых было человек семь, тоже опустились на колени, и скоро над рекою поплыли торжественные звуки церковных песнопений. Власыч служил, как заправский поп, а мужики почтительно ему внимали. Наконец Власыч последний раз осенил себя и мужиков крестным знаменем, вздохнул, повернулся к мужикам красным от натуги лицом и громко сказал:

— А теперь, братцы, я вас должен от всего моего благодарного сердца поблагодарить за наше счастливое спасение! Спасибо, братцы!

Обтерев рот рукавом, он обнял и поцеловал сивобородого мужика, стоявшего впереди остальных, за ним поцеловал второго, за этим хромого мужика, которого другие звали Милован. Так он перецеловал всех и каждому при этом говорил:

— Спаси тебя господь!

Потом Власыч дал всем мужикам на водку очень щедро.

Мужики громко загалдели и стали кланяться, а Власыч стоял посередине, как скала, разглаживая усы, отросшие на этапах, и рассказывал историю их бедствия.

Когда ехали на подводах к селу, Милован, с которым Дзержинский сидел рядом, сочувственно сказал:

— А твой-то большак с горя малость свернулся.

И покрутил пальцами возле лба.

— Да уж, что уж,— неопределенно ответил Дзержинский и отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

В селе поели, обсушились, обогрелись.

Днем выглянуло солнце, беглецы наняли подводу и отправились дальше.

Не проехали и нескольких верст, как повстречали бричку, в которой мчался какой-то полицейский чин в форменной фуражке, с саблей. Спасла фуражка — Дзержинский вовремя заметил яркий околыш, крикнул Власычу: «Ложись!» — и сам лег на дно телеги.

Гремя колокольцами, бричка земского, запряженная тройкой караковых, промчалась мимо.

И вновь подвода заскрипела немазаными осями по бесконечной, безлюдной тайге.

Вечером, подъезжая к деревне, попали в беду.

Возле околицы стояла толпа мужиков и баб. Здесь же были и ребятишки. Стояли неподвижно, мрачные, с печальными лицами.

— Чего они стоят? — спросил Дзержинский у возницы.

— А кто их знает, чего они стоят, — последовал ответ.

Придержали на минуту лошадей, пошептались — может быть, свернуть? Но сворачивать не было смысла: если захотят, догонят — возле околицы на выгоне паслись стреноженные сытые кони; решили ехать, положась на авось. Когда подъехали к толпе вплотную, старик, стоявший впереди всех, рухнул на колени и стал просить, чтобы его не погубили, не оставили без родителя малых детушек, без хозяина бабу...

Власыч, совсем уже приготовившийся еще раз изобразить тронувшегося умом Силу Силыча, успел только вылезти из подводы и произнести что-то вроде «не робей, детинушка, мы купцы-миллионщики», как положение вдруг изменилось.

Старик поднялся с колен, прищурился и спросил:

— Каки таки миллионщики? Чего врать-то! Кажи бумагу, не то мигом в холоднуюведем.

Толпа вокруг загудела, слышались голоса:

— Да беглые они, чего с ними вожжаться...

— Зови сюда старосту...

— Ездют, иродово племя!

Власыч бил себя в грудь, орал, но его уже не слушали, и Дзержинскому пришлось вмешаться. «Э, была не была,— подумал он,— пропадать, так с музыкой!» В секунду промчалось перед глазами детство, польские паны-шляхтичи, их манера кричать на

прислугу, все то, что так страстно ненавидел, и он закричал и поднял над головой крепко сжатый кулак.

— Безобразие! — по-польски кричал он. — Я вам покажу задерживать панов, государственных чиновников, вы у меня узнаете, почем фунт лиха, хлопское отродье! Я к вам полк солдат приведу, вы меня век не забудете! А ну, подать мне перо и бумагу! Да живо, я промедлений не терплю. Кто здесь присутствует, какие фамилии? Сейчас всех перепишу на лист для папа генерал-губернатора, пан генерал-губернатор...

Слова «генерал-губернатор» Дзержинский произносил по-русски, а все остальное по-польски. Ему не пришлось особенно долго кричать. Старик вновь рухнул на колени и завыл, чтобы господин чиновник, его превосходительство, пожалел неразумную голову старичка.

Напуганный до смерти, он просил отобедать у него и остановиться, но Дзержинский наотрез отказался и пошел почевать к другому мужику, — менее сытому по виду и менее хитрому. Такие всегда надежнее.

У этого мужика, по фамилии Русских, Дзержинский узнал, что общество ждет возвращения земского начальника и волнуется потому, что пропило земские деньги. Власыча же и Дзержинского приняли за земского начальника, ожидаемого с часу на час. Старик, на которого накричал Дзержинский, главный виновник пропоя денег: он первый подал мысль о том, что можно как следует гульнуть на эти деньги.

Посоветовались в сенях и решили в деревне не ночевать. Мало ли что...

В конце сентября старик Руда получил у себя в Качуге посылку из-за границы. В посылке был очень хороший чай, сахар-песок и сахар-рафинад, банка кофе и много кислого монпансье.

Вскрывать посылку собрались все старики.

На самом дне ящика обнаружили маленькую записочку. В записочке было написано: «На добрую память от купцов, торгующих мамонтовой костью».

— Удрали-таки! — закричал старик Руда. — Это надо себе представить, удрали! Вот молодцы!

Старикам было о чем поговорить в этот вечер.

МАЛЬЧИКИ

Вечером Дзержинского перевели из общей камеры в третий этаж. Тут были одипочки, но из-за переполнения всей тюрьмы в каждой одиночке сидело по двое-трое заключенных. И в этой камере койка была уже занята. Вначале он подумал, что на койке

спит один человек — толстый и большой, но позже понял, что не один большой, а два маленьких.

Он стал у кровати и посмотрел. Лампа едва светила. Дзержинский открутил фитиль и наклонился над спящими. Что за черт! Это были дети, двое детей, укрытых гимназической шинелью. Вот так помер! Им обоим не больше тридцати лет. За что их упрятали сюда? Они, наверное, от страха плачут по ночам и зовут маму!

Мальчики спали спокойно. Дзержинский сел возле столика на стул, подпер голову руками и задумался, глядя на спящих. Вот один зачмокал губами во сне. Прошло еще немного времени, и он улыбнулся. Чему? Что ему снится? Наверное, что-нибудь очень хорошее и уютное, вроде чаепития с папой и с мамой за круглым столом. Вкусный чай с молоком, и булка с маслом, и мама, и папа, а самовар ворчит и поет. Хороший сон. Вот каково будет пробуждение?

Дзержинский даже крикнул от сострадания и жалости, представив себе пробуждение мальчика.

«Ну что я ему скажу, — со скорбью подумал он, — ну чем мне ему помочь?»

С полчасца Дзержинский просидел совершенно неподвижно, потом встал, взял свой узелок с продуктами и принялся готовить ужин. Никогда он так не возился с ужином, как в этот раз, и все удалось на славу: и маленькие бутерброды с колбасой и свежим огурцом, и крутые, аккуратно разрезанные и посоленные яйца. Были у него и сушки, и леденцы. Леденцы выглядели необыкновенно парадно среди всего этого царского угощения.

Накрыв на стол, он наклонился к спящим и негромко сказал:

— Прошу вставать! Ужин сервирован в золотом зале! Кушать подано!

Стриженный под машинку мальчик слегка приоткрыл глаза и сонным, теплым взглядом окинул Дзержинского. Несколько мгновений он ничего не понимал, потом сел на кровати и спросил:

— Вы новенький?

— В каком смысле? — не понял Дзержинский.

— Вас только что арестовали?

— Нет, не только что. А вас?

— Два месяца тому назад. Давайте познакомимся. Сережа!

И он подал Дзержинскому теплую после сна руку.

— Будите вашего товарища, — сказал Дзержинский, — будем ужинать.

Сережа разбудил того мальчика, который улыбался во сне. Этот второй был худеньким, с девичьим румянцем и длинными ресницами.

— Борис Войтехович, — представился он.

На еду мальчики смотрели горящими глазами, но ели очень мало, видимо, стеснялись. Дзержинский посоветовал есть вовсю. Тогда Борис Войтехович сказал:

— Мы не можем объесть вас, товарищ, потому что нам нечем ответить на вашу любезность. — И живо добавил: — Впрочем, я съем еще пол-яичка. Видимо, организм требует белков.

Мальчики оказались очень милыми, живыми и простыми. Борис Войтехович любил говорить такие слова, как «организм», «миссис», «идея» и «начало начал», а Сережа был обладателем отличной коллекции марок, в которой имелась даже такая редкость, как «Мальта юбилейная». Что это за «юбилейная», Феликс Эдмундович не знал, но Сережа говорил о ней с таким огнем в глазах, что Дзержинский сделал вид, будто «Мальта юбилейная» поразила и его.

За разговорами о революции и о Гегеле (Боря, несмотря на свои шестнадцать лет, уже пробовал читать Гегеля) время летело незаметно. Говорили до полуночи, а к полуночи Дзержинский перевел разговор на крокет и на плавание. Своим необыкновенным чутьем он понял, что мальчики находятся в том страшном нервном возбуждении, которое в любую секунду может прорваться слезами, и перевел «умный» разговор на совсем иные темы. И, хотя мальчики уснули довольно спокойно, тем не менее ночью он слышал, как плакал Сережа, и сердце его разрывалось от жалости к этому маленькому собирателю марок, оказавшемуся в тюрьме.

— Вам не спится, Сережа? — спросил он шепотом. — Здесь, наверное, душно?

— Да, душно, — икая от слез, сказал Сережа.

— Вы подышите в волчок, — посоветовал Дзержинский. — Это помогает... — И негромко добавил: — Ничего, Сережа, завтра займемся вашим делом. Расскажите-ка мне, за что вас взяли?..

Они проговорили часа два. Шепотом Сережа рассказал их историю. Они в гимназии издают журнал. Редактор Борис Войтехович (ведь он замечательно, замечательно умный человек, ясная голова, аналитик по природе), да, редактор Борис, а издатель — Сережа. То есть, что значит издатель? Дело в том, что у него, у Сережи, недурной почерк, он знает целый ряд каллиграфических фокусов, и он, так сказать, пишет журнал. Ведь журнал рукописный. И вот они написали статью. В этой статье обругали инспектора. Инспектора — не как индивидуум, а как индивидуалистическое начало того, что само по себе далеко не индивидуально. Тут Сережа запутался.

— Я что-то не понимаю, — сказал Дзержинский.

— И я,— сознался Сережа,— но знаете, товарищ, дело в том, что эту статью писали вовсе не мы с Борисом, а один наш восьмиклассник. У него брат социал-демократ. И мы не могли выдать его. Там ведь не только насчет инспектора, там насчет царя многого есть. Вы ведь согласны со мной, что мы, как честные люди, не имели права выдать нашего товарища? И мы сказали, что это мы сами написали...

— Конечно. Но позвольте,— сказал Дзержинский,— ведь вы даже не поняли, в чем там дело?

— Да,— согласился Сережа,— я переписывал статью не по смыслу. Я просто слово за словом переписывал. Но, как честные люди, мы с Борисом дали клятву (о, вы не знаете, какой удивительный человек Борис!), мы с ним дали клятву не выдавать...

— Ну, вот что, милый Сережа,— перебил Дзержинский,— давайте сейчас поговорим о чем-нибудь другом, повеселее, а завтра с утра мы примемся за ваше дело и авось поможем вам...

Утром Дзержинский разбудил обоих мальчиков очень рано, несмотря на то, что они просили еще хоть минуточку.

— Гимнастику! — приказал он. — За два месяца вы уже пожелтели в тюрьме. Ну-ка! Делайте то, что буду делать я! Наберите в себя побольше воздуха. Так! Сережа, не стесняйтесь! Ну! Раз! Вытяните вперед руки. Хорошо. На корточки! Молодцом!

Первое занятие длилось двадцать минут.

— Завтра займемся подольше,— пригрозил Дзержинский,— а теперь попрошу вас как следует вымыться.

Он достал из своего узелка мыло и мочалку.

— Вот, пожалуйста! У вас у обоих черные шеи. Так нельзя. Настоящий человек должен и в тюрьме оставаться человеком. Мойтесь!

После того как мальчики вымылись, он велел им раздеться догола и растереться сырой мочалкой.

— Холодно,— сказал Сережа.

— Что? — спросил Дзержинский.

Сережа не рискнул повторить и принялся за обтирание.

— Теперь,— произнес Дзержинский,— теперь мы возьмемся за уборку нашего жилья. Мы люди, а камера наша похожа на свинарник. Неужели вы могли прожить в этой камере два месяца?

Мальчики молчали.

Через два часа с небольшим камера была убрана так, что ее нельзя было узнать.

— Ну вот,— удовлетворенно сказал Дзержинский,— а теперь мы будем пить чай. Хочется чаю?

За чаем Дзержинский все время смешил мальчиков — очень комично и очень похоже передразнивал Сережу, как тот моется, словно кошка лапой. Мальчики хохотали, и им обоим казалось, что они давным-давно знают этого удивительного человека, которого судьба только вчера послала им в камеру. И больше всего на свете они боялись сейчас, что Дзержинского уведут от них и они опять останутся вдвоем.

После обеда Дзержинский стал против дверного волчка и принялся стучать. Он стоял спиной к стене, смотрел в волчок и стучал, а мальчики, открыв рты, следили за ним.

— Товарищи, товарищи, товарищи, — стучал Феликс Эдмундович, — тут в камере заперты два мальчика-гимназиста, оба из провинции. Передач, денег у них нет: родители не знают, где они. Мальчики сидят за политическую шалость. У кого есть связи с волей, передайте на волю. Фамилии гимназистов...

Он стучал долго, до тех пор, пока не объяснил все точно о своих подопечных гимназистах, потом сел за стол и начал лепить из хлебного мякиша шахматные фигурки. Весь день прошел в шахматной игре, в веселых разговорах, в рассказах Дзержинского. К вечеру мальчики устали и начали клевать носами. Этого, главное, и хотелось Дзержинскому. Он хотел, чтобы они наконец устали, — тогда ночь пройдет для них спокойно. Ложась, он с веселой угрозой в голосе посулил им:

— А завтра я вам закачу такую порцию гимнастики, что вы совсем развеселитесь. Кстати, завтра с утра будем чистить сапоги. Тут есть печная сажа, и наши сапоги просто засверкают.

Ночью его вызвали на допрос. От скрипа ржавого замка Борис проснулся и поднял голову. Увидев, что Дзержинский одевается, он толкнул Сережу, и оба мальчика встали. Спросонок и от волнения их была дрожь; они сидели на своей койке и, широко открыв сонные глаза, смотрели на жандарма с фонарем, на Дзержинского, на тяжелую ржавую дверь.

— Куда вы? — наконец спросил Боря.

— Я скоро вернусь, — ответил Дзержинский, — вы не ждите меня.

— А вас не переведут? — дрогнувшим голосом спросил Сережа.

Дзержинский не знал, переведут его или нет, но ответил, что ни в коем случае не переведут, и на прощание, в дверях, помахал мальчикам рукой.

Допрашивал Дзержинского душистый ротмистр. В комнате следователя пахло сигарой, на полу лежал большой ковер, окно с решеткой было завешено портьерой. Тут ничего не должно было

напоминать тюрьму. Над креслом ротмистра висел поясной портрет бородатого Александра III. Чтобы не хотелось спать, следовательно пил черный кофе.

Как на прошлых допросах, Дзержинский не показал ничего. Когда его спрашивали, он молчал. Да и о чем они могли разговаривать — надушепший ротмистр, розовый, кудрявый, сытый, и профессионал-революционер Феликс Эдмундович Дзержинский?

Тикали часы, потрескивали дрова в камине; офицер ходил по комнате, сложив руки за спиной, позванивая шпорами.

— Неужели вам не падоела тюрьма? — спросил вдруг ротмистр, близко стоя к Дзержинскому и подрагивая колеской. — Неужели вам не хочется на волю?

Дзержинский молчал.

— И есть вам пужно получше, — бархатным голосом продолжал жандарм. — Поглядите на себя, какой вы бледный и измученный. Вам пужны молочные продукты, свежая зелень, может быть, пивные дрожжи.

Дзержинский медленно поднял голову и коротко взглянул в розовое лицо ротмистра. Неправисть пылала в его прекрасных глазах, и этого огня так испугался ротмистр, что даже отступил на шаг.

— Что вы? — спросил он.

— Ничего, — сказал Дзержинский. — Имею заявление.

Заявление? Первый раз этот арестант произносит слово «заявление». Что ему нужно?

Ротмистр сел за стол и сказал, что слушает. Дзержинский еще раз поглядел на ротмистра, но уже иначе — так, как смотрят на вещи.

— Дело в том, — сказал он, — что здесь, в тюрьме, содержатся два мальчика. Их держат уже два месяца, они изголодались, измучились. Обвинить их не в чем. Мне хорошо известно, что если мальчики не будут выпущены, в газетах всего мира могут появиться статьи о том, что у вас содержатся политические преступники — малыши...

Жандарм наклоением головы дал понять, что понял слова Дзержинского.

— Только один вопрос, — сказал он. — Кто же это собирается писать отсюда в заграпичные газеты?

— На вопросы такого рода я, как вам известно, не отвечаю, — сказал Дзержинский.

— И никогда не будете отвечать?

— Никогда!

— А после трех суток карцера?

— Никогда.

— А после недели?

— Никогда.

Теперь они стояли друг против друга — маленький, розовый, похожий на елочного ангелочка ротмистр и тонкий, с пылающими от ненависти глазами Дзержинский.

Ротмистр позвонил и приказал надзирателю отправить Дзержинского на неделю в карцер.

Только через неделю он вернулся к себе в камеру. Мальчики встретили его такими воплями восторга, такими объятиями и прыжками, что у него задрожали губы.

— Ну, будет вам,— говорил он,— успокойтесь, а то меня опять в карцер погонят за этакый шум... Тише!

За эту неделю он совсем осунулся и пожелтел, но глаза его горели тем же удивительным огнем.

Сели за еду, и пошли разговоры.

Оказалось, что за время отсутствия Дзержинского здесь все время стучали, но мальчики не поняли, в чем дело, и не ответили. Еще сегодня утром стучали.

— Значит, есть новости,— сказал Дзержинский.

Новости действительно были, и хорошие: дело мальчиков сдвинулось с мертвой точки, нашелся адвокат, который завтра должен был прийти в камеру, и адвокат уже дал знать родным Бориса и Сережи.

— Да, нас вызывали на допрос, — тараторил Сережа. — На нас так стучали кулаком, что просто ужас! Но я, даю вам честное и благородное слово, совершенно не испугался. Подумаешь!

За эту неделю с Сережей произошла разительная перемена: у него стал ломаться голос. Он теперь говорил то басом, то вдруг пускал отчаянного петуха, краснел, конфузился и переходил на тенор.

— Черт знает что,— бормотал он в таких случаях,— простудился я, что ли?

В камере было грязно, и Дзержинский опять объявил аврал: втроем мыли пол, стены, чистили, скребли и убирали.

— Но гимнастикой мы занимались,— говорил Борис,— каждый день занимались. Правда, Сергей?

Они никогда не называли один другого Сережей или Борей — называли полным именем или по фамилии и довольно часто ссорились друг с другом. Поссорясь, они переходили на «вы», отворачивались один от другого и делали нелепо вежливыми.

Мирить их приходилось каждый день по несколько раз. Дзержинского они слушались беспрекословно и смотрели на него влюбленными глазами.

Теперь мальчики получали большие вкусные передачи с воли и объедались до того, что Дзержинский строго приказал есть только в положенные для еды часы. Без Дзержинского они ничего не ели, каждое яблоко делилось на три части, и если он отказывался от своей порции, обидам не было конца.

Через Дзержинского вся тюрьма уже знала о мальчиках; многие знали о том, что они сидят из-за того, что не выдали товарища. На прогулках мальчикам весело подмигивали, а один бородатый арестант во время прогулки подарил Борису самодельный фокус из резишки.

На несколько часов мальчики даже слегка заважничали, но потом Дзержинский занимался с ними алгеброй и как следует пробрал их за певчимательность,— важность сразу исчезла.

Вечером в воскресенье Борис был на свидании с отцом и вернулся в камеру с красными от слез глазами, но сияющий и довольный.

— Нас обоих исключили из гимназии с волчьим билетом,— сказал оп. — И тебя, Сергей, и меня.

У Сережи вытянулось лицо.

— Что же мы будем делать? — спросил он.

— Не знаю,— ответил Борис.— Но папа, знаешь, что мне сказал, знаешь?

— Что?

Борис посмотрел на Дзержинского, потом на Сережу, потом опять на Дзержинского. Глаза у Бориса блестели, на щеках играл румянец.

— Папа сказал,— произнес Борис,— папа сказал, что он одобряет наше поведение. И мама тоже. И твоя тетя тоже. Они гордятся тем, что мы не выдали товарища. А про гимназию папа сказал: «Очень жаль, конечно, но я гимназии не кончал, а стал человеком...»

Борис повернулся к Дзержинскому.

— Теперь папа вот что просил вам передать,— сказал он дрожащим голосом,— что мы... мы все... любим вас как родного и никогда, никогда не забудем.

А еще через день мальчиков выпустили.

Прощались долго, и Сережа ревел, как теленок, в голос. У двери стоял молодой солдат и хлопал глазами: вот страшность — уходит из тюрьмы на волю и ревет!

Оба мальчика были еще в гимназической форме, но форменные пуговицы отпороли из гордости. И шинели теперь не застегнуть было.

Борис долго подыскивал, что бы сказать Дзержинскому на прощание, но ничего не придумал, тоже заплакал и обнял Феликса Эдмундовича.

— Ну, ну, — говорил Дзержинский, — до свидания, милый мой. Иди! А то раздумают и не выпустят. Идите! Я тоже буду вас помнить.

Он был бледнее обычного, но казался совсем спокойным. Когда дверь за мальчиками захлопнулась, Феликс Эдмундович подошел к окну и долго глядел сквозь решетку на маленький клочок бледно-голубого неба.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ

Я нахожусь в самом огне борьбы. Жизнь солдата, у которого нет отдыха, ибо нужно спасать горящий дом. Некогда думать о своих и о себе. Работа и борьба адская. Но сердце мое в этой борьбе осталось живым, тем же самым, каким было и раньше.

Ф. Дзержинский. «Письма»

КАРТИНЫ

Петя Быков предъявил свой мандат инспектору пограничной таможни, приятному старичку в пенсне на черной ленте. И, несмотря на то, что в мандате говорилось о том, что Петр Авксентьевич Быков является комиссаром, что ему должны оказывать всяческое содействие и помощь организации, войсковые части, учреждения и даже отдельные граждане, несмотря на лиловую печать, исходящий номер, число — 2 января 1918 года — и подпись с широким росчерком, бумага не произвела на старичка никакого впечатления. Прочитав мандат, Провоторов посмотрел на Быкова сквозь стекла пенсне, потом снял пенсне и, держа его возле уха, стал молча, со злым любопытством вглядываться в молодое, серое от недоедания лицо комиссара.

— Так, так! — сказал старичок. — На поправочку прибыли? На поджожный корм? Подпитаться? Что ж, дело доброе, отчего и не покушать питерскому пролетарию. Только боюсь — ошиблись... Боюсь — адреса не угадали. Мы ведь тут, скажу вам откровенно, насчет вашей Совдепии сомневаемся. Сильно сомневаемся...

Кровь кинулась Быкову в голову, но он сдержался. Приятный старичок оказался паглой «контрой» и не только не считал нужным притворяться перед молодым комиссаром или хоть молчать, нет, он заговорил и долго, с упоением рассказывал, какой был человек Сергей Юльевич Витте — не чета нынешним, но и он, создав корпус пограничной стражи, все-таки не мог ничего сделать с департаментом таможенных сборов и с вице-директором департамента бароном Ган.

— Самому графу Витте не удалось! — говорил старичок, крутя на пальце свое пенсне. — А уж он, Сергей Юльевич, в два царствия к обоим императорам запросто захаживал. Мы — ох, сила! Границы Российской империи, нуте-кось, сочтите! И везде наш брат, таможенный чиновник, осел; везде корни пустил, все мы друг друга вот как знаем, захотим — контрабанду отыщем, где ее и нет вовсе, а захотим — любой груз пропустим и сам черт нам не брат. Так-то, мосье комиссар! Засим желаю приятного препровождения времени в наших палестинах...

«Твердость и спокойствие!» — приказал себе Петя.

Не попрощавшись со старичком, он вышел из конторы на улицу. Мела поземка, нигде не было видно ни души. Уже смеркалось, в приземистых, засыпанных снегом домишках зажигались желтые огоньки. «Куда же идти? — думал Петя. — Где выпататься, где поесть? Черт, хоть бы махорка была!»

Ночевал он на станции, на клеенчатом диване в бывшей так называемой «царской комнате». Было очень холодно, грызли клопы, на рассвете сторож Федотыч, растапливая печку, сокрушался:

— Да-а, времечко! Раньше, бывало, господин Провоторов ревизора ждут — и-и, батюшки мои! Из Петербурга окорока, закуски разные, от самого Елисеева жабы эти мертвые...

— Какие такие жабы? — удивился Петя.

— Ну, ракушки...

— То — устрицы...

— А нам ни к чему. Словом, жабы мертвые, чего душа ихняя захочет. Выпивка, конечно. Квартиру коврами уберут. А еще — с дамочками за границу съездят, там погуляют, тут отдохнут. Малина! А нонче гляжу на тебя — ну какой ты, батюшка, ревизор? Ни виду, ни брюха, ни осанки...

Петя угрюмо попросил сторожа купить хлеба и молока. Сторож вернулся с пустыми руками.

— Нету, батюшка! — сказал он, топая обмерзшими валенками и глядя в сторону. — Ничего нету. Ни молочка, ни хлебца...

С минуту помолчал, вздохнул и добавил потише:

— Сволочь — житель наш. Не дадим, говорит, для комиссара. Приехал тут командовать! Пуцай выметается...

Еще помолчал и добавил:

— Старуха моя нонче щи варит с убойной, так ты, батюшка, не побрезгуй. Горяченького покушай. Я тогда позову. А деньги твои — на вот...

Восемь дней Быков присматривался к старику Провоторову и к двум его помощникам, жилистым и туповатым с виду братьям Куроедовым. Братья держали на хуторе, версты за две от стац-

ции, семнадцать коров: была у них и сыроварня, и потому от братьев всегда пахло остро и неприятно — рокфором, бакштейном, лимбургским сыром. Завтракали они сметаной, макая в нее пшеничную пампушку, а Провоторов здесь же, в маленькой кухне при таможенной конторе, жарил себе творожники и ел их непременно в присутствии Быкова.

— Вот-с, мосье комиссар,— говорил он, аппетитно поливая творожники сметаной,— обычный мой завтрак. И простоквашу еще цельную, не снятую. Пирожок вот домашний...

Петя не отвечал, занимаясь бумагами. Провоторов чавкал, братья Куроедовы шепотом рассказывали друг другу что-то смешное. Лакейски-почтительный топ чиповничьих «прошений» и «отношений» раздражал Быкова, за каллиграфическими строчками чудились ему рожи бескопечных Провоторовых; и казалось, что и таможенные шнурованные книги с сургучными печатями, и все «входящие» и «исходящие», так же как и «акты ревизии», — все обман, бесконечная подделка, чепуха, которую и читать-то не стоит...

Вечерами, при свете коптилки, в своей «царской комнате» Петя пытался разобраться в таможенных уставах, а когда делалось особенно тоскливо, шел к сторожу и играл с ним в «короля» или в «дурачки» засаленными, тяжелыми от времени картами. Старуха — жена Федотыча — стояла возле стола; глаза ее часто наполнялись слезами; сморкаясь в фартук, она говорила:

— Ну, как есть Минька наш. Ну, как есть...

Петя уже знал, что Минька убит на германском фронте совсем недавно, что имел он Георгия и был добрым сыном. Старик угрюмо отмахивался, иногда кричал фальцетом:

— Не рви душу, тебе говорят...

Бородатое, все поросшее седыми волосами лицо Федотыча морщилось; он кидал карты об стол, уходил за занавеску. В низкой комнате делалось тихо, только постукивали часы-ходики — премия кондитерской фабрики «Жорж Борман». Петя сидел молча, упершись подбородком в ладонь, думал о том, что нет на земле большего горя, чем горе этих двух стариков, искал слова, которыми можно было бы утешить, и не находил...

Однажды Провоторов, вертя свое пенсне, сказал Пете:

— Хорошего вы себе друга отыскали, мосье комиссар. А? Ведь ваш приятель золотарем был. Вам это обстоятельство известно?

Петя молчал.

— В ознаменование сей его бывшей специальности и именуем мы вашего Федотыча в своем кругу Сортирычем. И настолько он к этому имени привык, что с охотой откликается...

Петя насупился. Он вдруг вспомнил, что действительно сам слышал какое-то странное имя, с которым обращались к Федотичу и Куроедовы, и Провоторов.

— Это остроумно? — спросил Петя.

— Развлекаемся в нашей глуши...

— Развлекаетесь? Ну, больше вы так развлекаться не будете!

— Вы мне угрожаете, мосье комиссар?

— Я не угрожаю, а приказываю прекратить издевательство над человеком...

И, хмелея от бешенства, Петя с трясущимся лицом надвинулся на Провоторова и закричал:

— Хабарник! Вор! Взяточник! Ничего, я вас всех выведу на чистую воду, вы у меня волками тут завоюете. Монархисты, шкуры...

Он ногой откинул стул с дороги и вышел из конторы. А сзади вопил Провоторов:

— Вон! Мальчишка! Оскорбление! Господа, вы подтвердите...

В этот вечер пришел поезд с салон-вагоном, идущим за границу. Вагон отцепили, и старенький паровоз «Овечка», недовольно пыхтя, погнал его в тупик на таможенный досмотр.

Было очень темно; морозный ветер свистел в черных старых ветлах; возле станции, у водокачки, тоскливо выла собака. Быков шел впереди, за ним шествовали Провоторов и братья Куроедовы; они все о чем-то переговаривались и пересмеивались, нагερное по поводу нового комиссара. Салон-вагон был заперт, стекло примерзло, медная ручка покрылась инеем — пришлось долго стучать, прежде чем открыли дверь. Из тамбура сразу пахнуло теплом, запахом хорошей еды, дорогим табаком!

— Таможня! — сурово отрекомендовался Быков.

В салон-вагоне их встретили приветливо, предложили закутить, выпить немного старого виски «Белая лошадь», подвинули коробку с сигаретами, и Провоторов уже поклонился и поблагодарил, бочком подвигаясь к столу, как вдруг комиссар дернул его за рукав и показал глазами, что этого делать нельзя.

Один из иностранцев — очень высокий, с приподнятой левой бровью, отчего лицо его все время казалось изумленным, засмеялся, хлопнул комиссара по плечу, потряс, похвалил. Другой, толстый, в меховых сапожках, тоже похвалил, но добавил, что доброе старое виски никому никогда не повредит. Третий, с сигарой в зубах, рассердился, что таможенники, вопреки привычным правилам, не пьют, и сказал по-русски:

— Новая метла всегда чисто метет. Метите чисто, молодой человек!

И погрозил Быкову длинным белым пальцем с перстнем.

— Начинайте досмотр! — приказал Быков старшему Куроедову.

Тот лениво повел глазами по большому купе-столовой, вздохнул и открыл буфет. Провоторов, извиняясь больше, чем следовало, и даже шаркнув ногой в валенке, попросил открыть «чемоданчики». Младший Куроедов пошел к проводнику. Комиссар сел верхом на стул и поглядывал, что где делается.

— Эти мешки нельзя трогать! — сказал сердитый иностранец с перстнем на пальце. — Здесь дипломатическая почта.

Он все время отругивался. Даже Провоторов с его шарканьями и извинениями не мог угодить этому иностранцу, так хорошо говорившему по-русски. И братья Куроедовы тоже никак не могли ему угодить.

Быков сначала сидел неподвижно, потом поднялся, отставил стул и принялся за досмотр сам, не обращая внимания на всякие «нельзя». Уже к концу досмотра он из темного коридора втащил в купе ящик и спросил, что в нем такое.

— О, это мои картины! — сказал толстый американец в меховых сапожках.

А сердитый сказал:

— Они никому не нужны, эти картины! Просто дрянь — вот что это такое. Мой друг, мистер Фишер, зачем-то покупает их. Откройте ящик и посмотрите! Впрочем, от вас мы имеем разрешение на вывоз этого мусора. Дайте документ, мистер Фишер.

Мистер Фишер протянул Пете большой лист, на котором было написано, что картины, под такими-то и такими-то названиями, художественной ценности не имеют и могут быть вывезены за пределы страны. Документ этот был подписан какими-то членами комиссии Наркомпроса.

Быков прочитал бумагу и вернул ее Фишеру. Провоторов и братья Куроедовы ждали. Комиссар, на их радость, кажется, завалился со своей находкой. Интересно, как он сейчас будет извиняться: все-таки Америка!

Но Быков не собирался извиняться. «Если картины художественной ценности не имеют, — думал он, — то, следовательно, они не имеют и материальной ценности. Зачем же такому господину, как Фишер, скупать вещи, которые не имеют ценности? На чудака или психически ненормального он не похож — буржуй как буржуй!»

И спокойным голосом комиссар приказал:

— Вскройте ящик, товарищ Куроедов.

Фишер сделал движение вперед, и это движение не ускользнуло от Быкова. «Волнуется!» — отметил он про себя.

Младший Куроедов вынул из кармана клещи с долотом, подсадил жало под доску — гвозди с визгом поддались. Из ящика полезла стружка. Другой Куроедов придерживал ящик, младший рывком оторвал обе верхние доски и стал вынимать свернутые рулонами холсты.

Быков развернул холст и всмотрелся: какие-то клешни и глаза, фонари и железные трубы расползались по картине.

— Это футуризм! — с акцентом сказал мистер Фишер. — Это новое искусство. Моя жена любит такое искусство. Я сам нет, о, я сам не любит такое искусство.

Он засмеялся и стал раскуривать прямую английскую трубку.

Вторая, третья, пятая картины были такие же. Братья Куроедовы загадочно улыбались. Старичок Провоторов смотрел через пенсне и покачивал головой. На седьмом холсте был изображен садик и рябина у забора. Это была просто базарная картина. Такие картины висят в пивных, в трактирах за Невской заставой, в парикмахерских.

— Это не есть футуризм! — сказал мистер Фишер. — Это есть мой вкус. Мой вкус — старое искусство.

— Я задерживаю этот ящик! — сказал комиссар. — Мои действия могут быть вами обжалованы. Сейчас мы составим акт.

Быков расчистил место на столе, заставленном бутылками и закусками, от которых шел нестерпимо вкусный запах, попросил принести чернильницу и размашисто написал: «Девятого января 1918 года мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что...»

Мистер Фишер, побагровев, побежал отбивать депеши каким-то консулам, посланникам и послам. Другой мистер закричал, что на этот открытый грабеж, на это попрание демократии и законности, на эту наглость найдется управа. Третий ткнул в Быкова длинным белым пальцем и, усмехнувшись, даже с грустью в голосе, предсказал:

— Опомнитесь, иначе ваша карьера будет навсегда кончена. Мне вас жаль, молодой человек.

Провоторов и братья Куроедовы подписать акт наотрез отказались. Быков сам вынес ящик из вагона, потащил на станцию и поставил возле клеенчатого дивана в «царской комнате». Ночь он проспал рядом с картинами, а рано утром его разбудил младший Куроедов с телеграммой. В телеграмме было сказано, что Быков Петр с получением настоящего уведомления от работы отстраняется и что таковому Быкову надлежит немедленно возвратить картины владельцам, а самому выехать в Петроград для дачи соответствующих объяснений...

Петя прочитал телеграмму два раза.

— Ящик можно нести? — спросил Куроедов.

— Идите в контору! — твердо приказал комиссар. — Ящик поедет со мною в Петроград.

Младший Куроедов ухмыльнулся и хлопнул дверью. Петя выкурил махорочную самокрутку и еще раз прочитал телеграмму. «Диамантов» — так она была подписана, но это ничего не значило. Это мог быть тот же Провоторов — только в Петрограде. И остался от тех же времен, что и здешний Провоторов, — от времени графа Витте и барона Ган.

— Сожрут теперь они меня! — вздыхал Федотыч, провожая Петю в Петроград. — Попомнят, как ты ко мне хаживал. Ну, да шут с ними, не пропаду...

Старуха тоже вышла к поезду. Быков написал им свой петроградский адрес — на всякий случай, поцеловался с ними с обоими и надолго задумался под ровный стук колес...

А вдогонку ему уже мчалась телеграмма Диамантову о том, что комиссар похитил ящик с картинами.

В Петрограде возле вокзала Быков нанял извозчика — санки с полостью — и поехал со своим похищенным ящиком в дом бывшего градоначальника на Гороховую улицу. Провоторов, Диамантов и братья Куроедовы остались теперь где-то далеко. Нужно было только отыскать Васю Свешникова, который нынче работал в ЧК. Он — художник, он сразу скажет, имеют эти картины художественную ценность или действительно не имеют. «Милый, добродушный, веселый Васька, как бы тебя поскорее отыскать!»

И Петя вдруг с печалью вспомнил, как позапрошлым летом они с Васей удили на Карповке рыбу и как Свешников рассказывал о живописи и о том, как сам он станет великим художником. А нынешней осенью Вася стал помощником у какого-то молчаливого и строгого человека...

У двери дома бывшего градоначальника стоял матрос в шинели и бескозырке, синий от холода. На поясе у моряка висели гранаты-лимонки, на груди перекрещивались пулеметные ленты. Быков ему объяснил, что приехал к товарищу Свешникову...

— У нас чекистов поболее сорока человек, — сказал матрос. — Каждого не упомнишь. И бегают все — то туда, то обратно. Уже саней двое; говорят, днями мотор получим. Иди, браток, ищи своего дружка сам...

Пыхтя и отдуваясь, Быков поволок свой ящик наверх по лестнице. Ящик был тяжелый, а Петя ослабел за последние месяцы. Но все-таки он, ни разу не отдохнув, втащил «похищенный» ящик на второй этаж, крякнул и свернул в коридор, по которому навстречу Пете быстро шел Феликс Эдмундович Дзержинский.

Петя рванул свой ящик прочь с дороги и вытянулся, как положено это делать солдату при встрече с командиром.

— Это что? — спросил Дзержинский, глядя прямо в Петины серые, очень ясные глаза.

— Картины! — громко оторвал Петя.

— Какие же это такие картины?

— Не имеющие художественной ценности! — опять оторвал Петя, и по тому, как улыбнулся Дзержинский, понял, что сказал что-то глупое.

Его прошибла испарина, он поморгал и произнес негромко:

— Разрешите, товарищ Дзержинский, все рассказать?

— Пойдемте! — сказал Феликс Эдмундович.

Он зашагал к своему кабинету, а Быков опять потащил свой ящик. В приемной Петя толково и коротко рассказал Дзержинскому всю историю с досмотром вагона, идущего за границу, с телеграммой Диамантова и с жалобами иностранцев. И, роняя на пол стружки, вытащил из ящика первую попавшуюся картину.

— Что вы сами об этом думаете? — спросил Дзержинский.

— Думаю так, Феликс Эдмундович: если они художественной ценности не имеют, то для чего американцам о них хлопотать?.. Там, где художественная ценность, там и доллары и стерлинги, а где художественной ценности нет, там и долларов нет. Вот и предполагаю: хитрит мистер Фишер.

— Пожалуй, вы правы. Хитрит.

— И Диамантов ему помогает...

— Да-а... хитрят многие... — задумчиво сказал Дзержинский.

И, тонкими, сильными пальцами растянув полотно, подошел с ним к окну и склонился над картиной. Потом внимательно разглядел холст. И, подозревая Быкова, спросил:

— Вы ничего не замечаете?

— А что, Феликс Эдмундович?

— Сопоставьте манеру, в которой написана эта галиматья, и возраст холста. Ну-ка!

Быков сопоставил и ничего не понял. Какие-то зеленые палки, стакан от снаряда, серый дым и почему-то пирожное с кремом на круглой тарелочке. словно кто-то нарочно с тупым и злым упрямством глумился над теми, кто будет смотреть на эту картину. А холст? Ну, холст как холст. Не новый, верно. Впрочем...

В это время в приемную вошел Вася Свешников. Он сразу узнал Быкова, но, увидев Дзержинского, картину, ящик, стружки на полу, почти не поздоровался с Петей, только стиснул его локоть и спросил шепотом:

— Что случилось?

Феликс Эдмундович повернулся к нему.

— Свешников, вы ведь по профессии художник?

— Был... немного...

— Вы учились в школе живописи и ваяния?

— Так точно. А потом в Академии...

— Ну и прекрасно, — неторопливо, думая о чем-то, сказал Дзержинский. — И отлично. Вот возьмитесь за это дело. Комиссар Быков вам все расскажет. А пока — немедленно надо отыскать реставратора. Отыщете?

— Постараюсь! — ответил Вася, вглядываясь в картину. И недоуменно посмотрел на Быкова. Петя пожал плечами, давая понять, что сам он нисколько в этом происшествии не разобрался. Свешников мгновение помедлил, потом поднял воротник своей вытертой куртки из собачьего меха, подмигнул Быкову и исчез. Дзержинский ушел работать к себе в кабинет.

Опять для Пети потянулись часы ожидания. А Свешников, отыскивая реставратора Павла Петровича, все силился припомнить, где и когда он видел эти желто-зеленые помойные тона, эти ломаные палки, этот крем на пирожном, так грубо намалеванный...

Найти Павла Петровича оказалось не так-то просто. В Академии он давно не бывал; там про него сказали, что, по всей вероятности, он умер. Но Свешников не сдался и зашагал на Пески, оттуда на Четырнадцатую линию Васильевского, с Четырнадцатой — на Гончарную, потом на Вульфову...

Второй раз пынче он на этой Вульфовой улице...

И Вася посмотрел в черную подворотню, из которой давеча в него и в Васиного начальника, Веретилина, стреляли юнкера...

Но об этом думать было противно: одно дело война, а другое — такие выстрелы, в спину, украдкой, подлые выстрелы...

Павел Петрович узнал Свешникова и даже предложил ему стакан чаю из лепестков розы. Но Вася от ароматного чая отказался, и они со стариком зашагали на Гороховую.

— А тут сегодня пальба была, — сказал реставратор, кивнув на подворотню. — Говорят, по вашим, по чекистам.

Вася промолчал.

В приемной у Феликса Эдмундовича реставратор долго рассматривал картину, вздыхал, кашлял, потом вдруг глаза его стали злыми, и, обернувшись к Васе, он спросил резко:

— Не узнаешь руку?

— Не Егоршин?

— Вроде бы его хулиганство! — ответил реставратор. — Помнишь, он все, бывало, крем изображал? Например, крем и в нем зеленая муха погибает...

Холст натянули на подрамник.

Из кабинета своим легким, молодым шагом вышел Феликс Эдмундович, спросил, что думает реставратор. Тот снял шубу, потер озябшие руки, ответил:

— Дело не новое. Случалось видеть...

В приемную один за другим входили, стараясь не стучать сапогами, чекисты. Пришел Веретилин, пришел бывший наборщик Аникиев; заглянул и остался чекист Чистосердов.

Павел Петрович налил на ватку жидкость — мутную, с острым запахом. Быков затаил дыхание, в висках у него стучало, на минуту показалось даже, что в этой холодной комнате душно. Очень бережно, легко-легко ватка коснулась картины. Зеленая муть тонким ручейком полилась вниз. И через несколько минут там, где раньше торчал безобразный стакан от снаряда, вдруг открылось небо — прекрасное, голубое, веселое, и край белого, пушистого облачка. Это все было как чудо, как небывалое на земле чудо: подлая, серая, унылая пакость, намалеванная сверху прекрасного произведения искусства; и вот это произведение искусства открывается усталым и полуголодным людям в шинелях, в кожанках, в бушлатах; люди стоят неподвижно, застывшие от радости, от удивления, от восторга и не отрываясь смотрят.

— Тетка тут нарисована! — заметил Веретилин.

— А веселая! — сказал Аникиев, поправляя очки. — Замечаете — отдыхает после работы.

— Работала, а теперь отдыхает! — согласился Чистосердов. — Довольная, улыбается...

Реставратор отступил на шаг от полотна. У него было такое лицо, будто эту картину написал он.

— Я думаю — семнадцатый век. И, по всей вероятности, из коллекции Воронцовых-Дашковых...

Сережа Орлов, начавший работать в ВЧК только вчера, сказал звонко:

— Теперь из коллекции трудового народа — рабочих и крестьян! — И сконфузился под пристальным взглядом Дзержинского.

— Верно, товарищ Орлов! — сказал Дзержинский. — Теперь из коллекции трудового народа. Зайдемте ко мне, товарищ Быков.

В кабинете Дзержинский сказал Пете, что Провоторов и братья Куроедовы от работы будут отстранены немедленно, что же касается здешнего Диамантова, то он больше командовать таможенными делами не будет.

— Можете возвращаться к себе на границу! — заключил Дзержинский.

— Значит... не надо мне к этому Диамантову являться?

— Не надо. Вы что-то хотите сказать?

— Спросить хочу. Вот что, Феликс Эдмундович: задержали мы картины, верно? А как дальше будет? В музей, и все? Воров-то трудно поймать? Я вот сегодня глядел, сколько у вас народу — чекистов. Ведь немного...

— Нет, Быков, много. Вы речь Владимира Ильича на Третьем съезде читали? Помните слова о человеке с ружьем?

И, опустив темные веки, сосредоточенно вспоминая, Дзержинский словно прочитал:

— Теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощадеи в подавлении господства эксплуататоров. Так сказал товарищ Ленин?

— Так!

— Мы стоим на страже угнетенных. Мы — люди с ружьями. Весь мир эксплуатируемых, весь мир голодных и рабов, все трудящиеся — с нами. А вы говорите — нас немного. Нас миллионы, понимаете?

— Понимаю! — сказал Быков.

— Что же касается до аппарата ВЧК, то нас действительно немного. Но разве в этом дело?

И, крепко пожав руку Быкову, Дзержинский проводил его до двери.

В коридоре на столе сидел Вася Свешников и чистил маузер.

— Стреляют, черти! — сказал он Пете. — Нынче на одну квартиру ездил, а они беглым огнем из окон. И ушли черным ходом. Офицеры целыми группами уходят из Петрограда к Каледину на Дон, к Дутову бегут в Оренбург, к Корнилову...

Быков всмотрелся в Васю и не узнал его: это теперь был взрослый мужчина, строгий и подтянутый...

— Форменная перестрелка была? — спросил Быков.

— Да как тебе сказать...

Вася опустил маузер на колени и задумался на мгновение.

— Не то что форменная, а обидно. Идешь ни о чем не думая, мы тут по спекуляции и по саботажу сейчас бьем, — вот идешь эдак, посвистываешь, а они в тебя, как в бешеную собаку, палят. Норовят убить! И заметь — наши приговоры знаешь какие? Отправить на общественно-полезные работы сроком на три месяца. Чиновников тут, саботажников вчера судили: по три месяца снег чистить, и общественное порицание. Уж чего, казалось бы, мягче. Так нет — отстреливаются.

Он еще помолчал, потом сказал задумчиво:

— Ничего, поборемся, господа саботажники и иже с ними. Видно, мало им общественного порицания. Что ж, иначе с ними начнем говорить...

Он взглянул на Петю, усмехнулся:

— А помнишь, как это совсем недавно все было — ожидание революции? Помнишь, Петро?

Быков кивнул.

— Ты обратно на границу, Петро?

— Обратно.

— А мы в Москву. Нынче же. Теперь не скоро увидимся...

ШУБА

Комиссар Веретилин заболел: вдруг заломило затылок, колени, руки, по спине побежал озноб, под левую лопатку словно кто-то сунул острое шило.

— Это тебя, племянничек, испанка разбирает, — сказал дядя Веретилина, у которого комиссар поселился. Было это в Москве, на Зацепе. — Паршивая штука. Придется полежать беспрерывно и не менее, как две недели...

— Часок еще, может, и полежу, — не сразу ответил Веретилин, — а больше не выйдет.

— Ну и свалишься путем-дорогой...

Дядя взял из баночки на столе несколько деревянных шпилек и ударил молотком — он чинил племяннику прохудившийся сапог. Удар молотком больно отозвался в голове. Веретилин поморщился.

— А может, тиф? — спросил дядя. — Ты тифом-то болел?

— А шут его знает, чем я болел, — ответил Веретилин. — Сво-локут, бывало, в околоток, ну и лежишь. Не ахти как много доктора-то с нами, с матросами, разговаривали...

Он не кончил фразу — поднялся и стал обуваться.

— Пойдешь, упрямец?

— Пойду.

— Ну и пеняй на себя.

— Да уж не на кого больше. Разве что на мировую буржуа-зию...

Он потопал сапогами, похвалил починку и спросил, ежась:

— А на улице не потеплело?

— Куда там потеплело! Жмет и жмет морозище!

Иван Дмитриевич посидел, вздохнул и стал натягивать шинель. Дядя, Семен Петрович, смотрел на него сердитыми глазами и перекатывал пустой мундштук из одного угла рта в другой. Шинель была старая, полученная еще в четырнадцатом году на флоте. В ней Веретилин дрался с юнкерами. И спал в ней, и укрывался ею.

— Сбрось обратно! — сурово сказал дядя. — И посвети мне. Буду сундук открывать.

Веретилин взял со стола коптилку, сделанную из черпильной склянки, тихонько охнул от резкой боли в спине и подошел к Семену Петровичу, который приподнимал крышку сундука, оклеенную внутри картинками. Эти картинки Веретилин знал с детства. Вот гигантский баобаб, в дупле которого может пить чай целое семейство, вот статуя Голиафа, вот птица колибри, вот портрет какого-то бородача с выпученными глазами.

Сундук был почти пуст. Всю свою жизнь дядя Семен Петрович собирался выиграть по «билету», как он говаривал, и тогда «построить» всем своим много всякой одежды. Но годы проходили, «билет» не выигрывал, и сундук, единственное приданое покойной тетки Марии, так и оставался пустым. Только на дне его лежала дядина шуба, теплая каракулевая шапка и палка с набалдашником накладного серебра; вещи эти дяде Семену Петровичу подарил много лет тому назад толстый и добродушный доктор Спасович за то, что дядя вытащил из Москвы-реки утопающего, по пьяному делу, докторского единственного сына-студента.

— Енот! — сказал дядя, распяливая на руках шубу. — Цены нет этому товару. Дважды и надевал всего — покойница тетка твоя не позволяла.

Он встряхнул шубу и велел племяннику надеть ее.

Веретилин надел, усмехаясь. Будет смеху в ЧК, когда он явится туда таким недорезанным буржуем.

— И шапку, шапку надень! — приказал дядя. — И трость возьми. Набалдашник, имей в виду, художественной работы. Вишь, гадюка тут пущена и плоска, гадюка из плоски лакает. Редкая вещь. Ее можно, как статую, рассматривать. Вон у ней, у змеи-то, глазки; ишь как глядит, вот у ней жало ее кусачее...

Веретилин взял и трость.

Посмотревшись в тусклое зеркало, он покрутил головой, и все еще улыбаясь, вышел из дому.

— Это не продует, — говорил вслед дядя, — это, брат, хорек с кисточками — первый сорт, а на воротнике — енот!

Было часов шесть вечера.

Морозило, дул резкий, холодный, свирепый ветер.

Медленно шагая против ветра и морщась от боли под лопаткой, Веретилин дошел до угла и остановился — передохнуть. Мела поземка, в десяти шагах ничего не было видно.

— Погодка! — сказал кто-то рядом.

Веретилин обернулся.

Рядом с ним стоял человек в облезлой шапке пирожком, в бекеше со шнурками, помаргивал и вздыхал.

— При нынешнем питании по такой погоде не очень походишь! — сказал он. — Люди слабые, один вот давеча упал, да так и не встал. Хорошее питание — залог здоровья.

— Истина! — согласился Веретилин и, преодолевая слабость, зашагал дальше.

Но человек в бекеше не отставал.

— Кто достает что покушать, тот еще держится, — говорил он, — а которые не имеют такой возможности, те сгорают, извините, как свечи. Иногда гражданин и средства имеет, и золотишко, и бриллиантики кое-какие, а адресочка у него нет...

— Какого адресочка? — насторожился Иван Дмитриевич.

— Ну адресочка, где можно достать что покушать: шпик, например, хребтовый, масличко, мучки беленькой, наливочки, ветчинки там, печеночку, ливер...

— А есть такие адресочки?

— Почему же, конечно, есть! — усмехнулась бекеша. — И сами живут, и другим жить дают.

— Хорошо бы такой адресочек узнать, — как бы про себя сказал Веретилин.

Бекеша промолчала, сбоку поглядывая на Веретилина. Тот молчал. Бекеша еще приглядывалась, что-то в суровом облике Веретилина показалось ему основательным и заслуживающим доверия:

— Вы, извините, москвич?

— Нет, петроградец...

— Офицер, конечно?

— Моряк! — сурово ответил Веретилин.

Этот ответ и решил дело. «Моряк, — рассудила бекеша, — уж это белая кость, уж это дворянин, на таких можно положиться».

— Конечно, сейчас вне политики? — опять услышал Веретилин.

Он не ответил — усмехнулся одними губами. И эта усмешка тоже расположила спутника к доверию. Он заговорил негромко, почти в ухо Веретилину, злобно пришептывая и от волнения путаясь в словах:

— Который пролетарий — пускайдохнет всем своим классом, — как во сне слышал Веретилин, — нам не жалко, нам о себе думать надо, себя спасти для будущего России. Вот у вас явное истощение заметно, а человек вы военный, кровь за Россию проливали, офицер, да еще морской... Сюда извольте, направо...

Иван Дмитриевич оглянулся — человек вел его незнакомым переулком. Голова у Веретилина опять закружилась; он остановился на мгновение и вновь заставил себя идти, он не имел права не найти «адресочек»...

— Это мы куда же идем? — спросил Иван Дмитриевич.

— К друзьям! — сказала бекеша. — К добрым друзьям, где и накормят, и приветят, и доброе слово молвят. К друзьям идем, дорогой, к хорошим людям...

«Я вас привечу, подлецы!» — подумал Иван Дмитриевич.

Он почти ничего не соображал. Бекеша нырнула в подворотню и повела его какими-то проходными дворами, мимо часовни, мимо развалин, через один переулок, через другой, потом опять во двор.

Во втором этаже старого деревянного флигеля бекеша постучала в дверь, обитую сукном, и на вопрос: «Кто там?» — ответила бодрым и жирным баском: «Открывайте, Аркадий Петрович, Осокина бог послал...»

Розовый старик в белых чесанках и меховой кацавейке внимательно вгляделся в Веретилина холодными маленькими глазками, поклонился одной головой, как кланяются старые военные, протянул руку, представился:

— Симбирцев.

— Веретилин! — ответил Иван Дмитриевич.

— Очень рад. Где изволили служить?

— Они моряки! — сладким голосом встрял в разговор Осокин. — Из Петрограда...

— Ах, вот что! — приподнял брови Симбирцев. — Рад, очень рад. Душевно рад. Прошу заходить, да раздевайтесь, у меня тепло...

Веретилин шубу не снял: под ней была старая суконная гимнастерка и револьвер на солдатском ремне.

В комнате с фикусами, коврами и ковриками, с портретами военных в высоких, прошлого века воротничках, сели в кресла. Симбирцев, покашляв, заговорил об отчаянных временах, о гибели России, о том, что все истинно русские люди должны находить друг друга и братски помогать «до вѣщей призывной трубы». Осокин, скинув бекешу, грелся у печки — прижимал ладони к горячему кафелю, потом поворачивался и, вытягивая длинную, с кадыком, шею, блаженно, словно старый тощий кот, терся спиной о печку, похохатывал. Так прошел час, может быть, больше.

— Как в Петрограде? — спросил Симбирцев. — Действуют наши?

— Действуют, — ответил Веретилин.

— Да, да, я слышал! — закивал Симбирцев. — Мы ведь имеем сведения, нас осведомляют обо всем, но мне интересно, как это со стороны выглядит. Серьезно ли?

— Не слишком! — ответил Иван Дмитриевич. — В общем, их разгромят.

— Вы думаете?

Веретилин усмехнулся пересохшими от жара губами.

— А здесь вы... связаны с кем-нибудь? — спросил Симбирцев. — Или так просто?

— Связан, — коротко сказал Веретилин.

Он задышался. На секунду стало так душно, что он едва не сбросил шубу. Но удержался, облизал губы, привалившись боком к креслу, почувствовал под шубой наган; стало легче. Старик засуетился, занялся чаем, ставил на стол чашки, сахар, мед, белый хлеб, нарезанное розовое сало. Потом вышел за самоварчиком, Осокин побежал за ним. Веретилин откинулся на спинку кресла — все поплыло перед глазами. Когда Симбирцев и Осокин вернулись, Веретилин, поднявшись с кресла, стоял, чтобы не потерять сознание. Стоять было легче.

— Я тороплюсь! — сказал он глуховато. — Мне надо идти. Прошу сказать, как насчет продуктов. Могу ли я посмотреть...

Симбирцев и Осокин переглянулись — вероятно, Симбирцев засомневался. Тогда, понимая, что ничем не рискует, Веретилин спокойно, как бы даже нехотя, произнес:

— Я в Петрограде знавал кое-кого из «Капли молока». Например, американца Фишера и мичмана...

Он помедлил. Больше говорить не следовало. Осокин ударил себя кулачком в грудь, дернул Симбирцева за рукав, крикнул:

— А? Что? Я говорил вам? Наш, сразу видно — я физиогномику, бывало, в отцовском лабазе еще изучал. Вы извините за фамильярность, но своего, истинно своего, всегда видно. А господин Симбирцев еще сомневались, оробели почему-то! Нет, господа, Осокина не проведешь, Осокин сам кого хочешь проведет, потому Осокина купечество и любит. Рад, господин Веретилин, рад, нашего полку прибыло...

Симбирцев сознался, что был несколько «в сомнении», и извинился за недоверие, но ведь действительно прямо с улицы господин Осокин привел. У господина Осокина характер несколько пылкий, был в свое время даже на излечении...

— Так ведь то «недуг божественный»! — воскликнул Осокин. — Запивал, знаете ли, господин Веретилин, поднимал по всей Москве пыль столбом, куражился. Молодость, что поделаешь...

Симбирцев накинул на плечи охотничью куртку на белочках, Осокин вновь влез в свою бекешу. Внутренней, потаенной лестницей спустились в первый этаж. Там из тьмы вынырнул вихрастый малый, которого Симбирцев назвал Женькой, пошел перед ними, освещая склад фонарем «летучая мышь». Тут все было похоже на склад лабазника — закрома, лари и мешки, подвешенные к потолку.

— Крысы одолевают,— пожаловался Симбирцев.— Всюду, знаете ли, голодовка, вот они, проклятые, к нам и устремились. И травим, и крысоловки ставим, никакие способы не помогают...

Женька поднял фонарь повыше — осветил бараньи заиндевевшие туши, полоски сала, мороженных гусей, подвешенных к самому потолку. Тут же на ларе стояли и весы с разновесом, лежал нож, широкий, как у мясника, и топор с блестящим лезвием.

— Поддерживаемся кое-как! — крикая от мороза, самодовольно сказал Симбирцев.— Конечно, не прежние времена, когда мороженого мяса в рот не брали или, допустим, бифштекс к ужину считался тяжелой едой. Куропатку, бывало, у Палкина закажешь да бутылочку «вдовы Клико». Да и цены не прежние, очень все дорого, но если люди пужные, серьезные, поддерживаем. Вам на этот счет мистер Фишер ничего не говорил?

— Ничего! — сядясь на нож и на топор, что лежали на рундуке возле весов, ответил Веретилин и стал медленно расстегивать шубу, путаясь пальцами в незнакомых, непривычных, очень плотных и жестких петлях.

На мгновение он увидел тревогу в холодных глазках Симбирцева, и тотчас же завизжал Осокин.

— Не кричать! — ровным голосом сказал Веретилин.— Руки вверх. Я комиссар ВЧК.

От жара у него шумело в ушах, и свой собственный голос показался чужим, незнакомым. Даже паган в руке вздрагивал — такая была слабость.

— Фонарь сюда!

Женька поставил фонарь на рундук и поднял огромные руки. Даже при жалком свете «летучей мыши» было видно, как посерел Симбирцев. Осокин попытался улыбнуться, спросил шепотом:

— Это не более как шутка?

Чтобы не упасть, Иван Дмитриевич опять сел. А чтобы они не поняли, как он слаб, Иван Дмитриевич усмехнулся. Усмешка была бессмысленная, но от нее Осокин застучал зубами.

— Идите вперед! — приказал Веретилин.

Все трое, они пошли перед ним из комнаты в комнату, потом по лестнице, потом туда, где был приготовлен чай. Конечно, Веретилин ничего не соображал, потому что только много позже, вспоминая обстоятельства этого ареста, понял, как страшно рисковал тогда, пустив всех троих перед собой по лестнице: им ведь совершенно ничего не стоило насмерть расшибить ему голову тяжелой крышкой люка или ломом, который стоял возле люка. Но они были трусливы, и поэтому Веретилину удалось вывести их из квартиры. Ключ от квартиры он положил себе в карман. И здесь

же в передней зацепился ногой за что-то, что с металлическим грохотом рухнуло под ноги.

— Ничего, ничего! — успокоительно сказал Симбирцев. — Не обращайтесь внимания. Пустяки!

Если бы он этого не сказал, Веретилин, может быть, и не зажег бы спичку. Но теперь он посветил и посмотрел: на полу лежал странной формы оцинкованный ящик, съехавший из стенного шкафа.

— Это что же? Гроб? — спросил Иван Дмитриевич.

— Совершенно верно, гробик! — ответил Осокин. — Гробик. Тут хоронили одного, так не пригодилось, не пригодился, вернее...

На улице по-прежнему дула поземка. Было так темно, что даже снег не белел. И как далеко до Лубянки, как еще далеко!

Он шел сзади с наганом в руке. Дыхание с хрипом вырывалось у него из груди. Шуба не грела. Холодные волны, одна за другой, заливали спину. «Только бы не упасть! — думал он. — Только бы не упасть!»

— Послушайте, начальник! — сказал Симбирцев. — Комиссар или как вас там? Мне больше нечего терять, понимаете? У меня есть доллары, бриллианты, любая валюта. Отпустите, и все будет вашим. Состояние! Понимаете? Что выигрывает ваша революция, расстреляв меня? Ничего! Но она много выиграет, сохранив вашу жизнь. А ваша жизнь непременно сохранится, если вы поправите ваше здоровье...

— Шагайте! — глухо сказал Веретилин. — Нечего болтать!

И они опять шли молча — десять шагов, и еще десять, и еще двадцать, пока их не остановил патруль, семь винтовок с примкнутыми штыками.

— Документы! — сказал сиплый от холода голос. — Предъявите документы, граждане.

Веретилин с невероятным облегчением опустил наган. И тотчас же наган сам выскочил из его ладони и повис только на ремешке. Рука ослабела, сил больше не было нисколько; он терял сознание.

— Помогите доставить задержанных в ВЧК, — сказал Иван Дмитриевич. — Я болен и ничего не соображаю.

Человек в солдатской шапке и в гражданском пальто, замотанный шарфом, отрядил двух красногвардейцев в помощь Веретилину, похлопал его по плечу, сказал: «Ничего, браток, еще не то бывает», — и свернул в переулок, а Иван Дмитриевич, едва переставляя ноги и уже совсем ни о чем не думая, пошел опять на Лубянскую площадь.

— Что за контрики? — спросил красногвардеец у Веретилина, кивая на спины идущих впереди.

— А?

— Что за контриков, спрашиваю, ведем?

— Я прилягу!— ответил Иван Дмитриевич.— Я тут прилягу и посилю. Дядя починил сапог, и теперь все в порядке.

— Сыпняк!— сказал другой красногвардеец.— Это уже не он говорит, это болезнь в нем говорит. Нет, товарищ дорогой, не приляжешь ты здесь, пойдешь ты с нами, и сдадим мы тебя твоим друзьям, чекистам. Давай, друг, шагай с нами!

И, держа винтовку правой рукой, красногвардеец левой обхватил Веретилина и заставил идти рядом.

— Шуба на тебе богатая!— сказал он.— В такой шубе и болеть жалко.

— Казенная небось!— сказал тот, что был помоложе.— Наверное, для больших выдают. Вот нашему Харченко, как заболел, выдали полушубок.

Слово «шуба» дошло до сознания Веретилина.

— Да, да все дело в шубе!— быстро заговорил он.— Именно в шубе. Они попались на шубу, как на крючок. Енот, хорек, каракулевая шапка, а? Теперь я лягу! Пора!

Трое задержанных сидели на скамейке у двери. Осокин дышал в озябшие пальцы, Симбирцев покусывал усы, обдумывая положение, вихрастый парень дремал. Ему было все равно — нянчили, он и работал. И мамашу кормил — параличную. Что же, бросить ее, чтобы помирала с голоду?

Иван Дмитриевич, укрытый роскошной шубой, лежал на коротком диване и тихонько бредил.

Комиссар Павел Федорович Швырев угрюмо посматривал то на Веретилина, то на арестованных.

— Допросить их, что ли?— шепотом спросил Вася Свешников.— Чего они тут расселись?

Швырев подошел к Симбирцеву, спросил спокойно:

— Вас почему задержали?

— Не могу знать!— коротко, с достоинством ответил Симбирцев.

Павел Федорович смотрел на него молча, холодными, светлыми глазами.

— Так-таки и не знаете?

— Не знаю, товарищ начальник.

— Гражданин начальник,— поправил его Швырев.

— С той минуты, когда меня арестует человек, отвечающий за свои действия, вы для меня станете гражданином начальником,— спокойно и ровно сказал Симбирцев.— Пока же я не могу лишиться себя удовольствия называть вас товарищем!

Павел Федорович крепко сжал челюсти. На щеке у него задрожал мускул.

— Значит, вы ни в чем не виноваты?

— Вы все равно мне не верите!— сказал Симбирцев.— Зачем же мы теряем время?

— Нас задержал человек, находящийся в состоянии бреда,— раздраженно заговорил Осокин.— Теперь мы почему-то должны отвечать за его действия. Согласитесь сами, все это дико.

Вихрастый парень проснулся, утер рот ладонью и зевнул со стоном.

— Проверьте наши документы, общите нас, общите наши квартиры, наконец,— сказал Симбирцев,— по за чем же эти издевательства? Мы все трудовые люди; вот, пожалуйста, я лично работаю на почтамте, этот товарищ,— он показал на бекешу,— железнодорожник, а вот Евгений — он истинный пролетарий, сын дворника, погибшего в бою за власть Советов... Так, Евгений?

— А чего ж!— сказал вихрастый.— Ясное дело.

Павел Федорович проверил у задержанных документы — все оказалось в полном порядке. У Симбирцева, случайно, в удостоверение была вложена характеристика, где Симбирцев назывался украшением почтамта, преданным работником, образцом старого специалиста, сочувствующего строительству нового мира. Товарищ Осокин — так бекеша именовалась в документах — тоже был преданным товарищем, и ему (судя по бумажке с подписями и печатями) в связи с его работой на транспорте следовало выдать разрешение на хранение оружия. У Евгения же в кармане была большая бумага, в которой он просил зачислить его в героическую Красную Армию, чтобы мстить за своего отца, а наверху косо была резолюция: «Отказать ввиду младшего возраста».

— Что значит — ввиду младшего возраста? — пряча улыбку, спросил Павел Федорович.

— Видимо, это значит, что товарищ не подошел по возрасту!— мягко и дружелюбно ответил Симбирцев.

Все шло гладко, и через несколько минут их бы отпустили, но это был час, когда Дзержинский обычно обходил своих работников, и Павел Федорович нарочно затягивал разговор с задержанными, надеясь, что придет Дзержинский и тогда все окончательно решится.

— Пусть проваливаются!— шепотом сказал Вася.

В это время широко растворилась дверь и вошел Дзержинский. Он был в шинели, накинутой поверх суконной солдатской гимнастерки, и в руке у него дымилась махорочная самокрутка, вставленная в деревянный мундштук.

— Это что за шуба такая шикарная? — спросил он, глядя на диван. — Кто это у вас такой щеголь?

— Тут такое дело, — медленно начал Павел Федорович, — ваше решение требуется. — Он глазами показал Васе на задержанных и на дверь. — Одну минуточку, товарищ Дзержинский.

Вася вывел задержанных в коридор. Дзержинский сел и плотно закутался в шинель. Павел Федорович рассказал все, что ему было известно.

— А патруль где? Те товарищи, которые доставили сюда и Веретилина, и этих... господ.

— Да они ничего не знают, товарищ Дзержинский. Их Свешников отпустил.

— Вздор! — резко ответил Дзержинский. — Почему же они тогда доставили сюда всех четырех? Значит, Веретилин был еще в сознании? Ведь это он вел их в ЧК? Немедленно разыщите и приведите ко мне обоих красногвардейцев.

— Есть! — и Павел Федорович вышел.

Дзержинский посидел еще, подумал и подошел к Веретилину. Пульс у Ивана Дмитриевича был плохой — частый и слабый. Одной рукой держа запястье Веретилина, другой Дзержинский погладил его по голове и тихонько окликнул. Веретилин смотрел на Феликса Эдмундовича широко раскрытыми, мутными глазами.

— Товарищ Веретилин! — еще раз позвал Дзержинский. — Не узнаете меня?

— Узнаю, товарищ Дзержинский... — слабым шепотом сказал Веретилин.

— Ну и прекрасно, что узнаете. Вы вот троих тут задержали и привели сюда...

— Я тут лягу, полежу, — быстрым шепотом перебил Веретилин. — Крутится все. А вы их ведите! Ясно?

Он опять бредил. Дзержинский поправил на нем шубу и прошелся по комнате из угла в угол, напряженно о чем-то думая. Когда вернулся Павел Федорович, он сказал ему жестко и твердо:

— Задержанных не отпускайте. Уверен, что тут серьезное дело. Кстати, откуда у Веретилина эта шуба и шапка? И нет ли здесь какой-то связи между новым обликом Веретилина и этими господами? Вы сказали, что один из них работает на почтамте? Кстати, кто ведет дело этих жуликов на почтамте, помните, дело Баландинского почтового отделения?

— Сергей Орлов ведет. Это насчет продуктов в почтовых пакетах?

— Ну да, насчет сала и масла в кожаных почтовых мешках.

— Сейчас я Орлова вызову! — сказал Павел Федорович. — Он там всех знает. Большое дело.

Но Орлова вызвать не удалось. Час назад возле пакгаузов Брянского вокзала он был убит человеком высокого роста в кожаной куртке и летчицком шлеме. Убийца скрылся.

— Вот и Сережу нашего убили! — тихо сказал Дзержинский. — Битва за хлеб, смертельная битва за хлеб. А все эти негодяи — левые коммунисты — орут про активное самоснабжение потребителей. Вот оно — активное самоснабжение. Пуля в грудь юноши, защищающего хлеб для рабочих и крестьян Советского государства!

И ему представлялся вдруг покойный Сережа Орлов, его добрые, совсем еще юные глаза и пухлые губы. Как он сказал вчера после совещания: «Товарищ Дзержинский, у меня есть стакан семечек. Знаете, подсолнухи — они очень утоляют голод, пожалуйста, попробуйте!»

— Вызовите сюда того из арестованных, который помоложе! — сказал Дзержинский Павлу Федоровичу. — Я с ним поговорю.

И еще плотнее закутался в шинель.

Евгений, видимо, опять поспал в коридоре и вошел, пошатываясь спросонья. Дзержинский свернул папироску, затянулся и, глядя в глаза ословелому Евгению, негромко сказал:

— Вот что, молодой человек. Вы — сын дворника, живете в этом же доме? Не ходит ли к вам такой гражданин... Ну, как бы его описать? Высокий... кожаная у него куртка...

— В летчицком шлеме, что ли? — спросил Евгений.

— Как будто бы.

— Ходит! — сказал Евгений. — Он с нашего двора. Только Аркадий Палыч Симбирцев во флигеле квартируют, а Мюллер с парадного, квартира шесть. Они редко дома бывают, все ездят и ездят.

Дзержинский курил, не глядя на задержанного. Павел Федорович, красный от напряжения, с хрустом потирал бритую голову.

— Ваше имя Евгений? — спросил Дзержинский.

— Евгений, — ответил парень.

— Фамилия Андронов?

— Андронов!

— Евгений Андронов! — голосом спокойным и властным заговорил Дзержинский. — Твой отец погиб за Советскую власть, ты сам написал это в своем заявлении — так это?

— Так!

— Я имепем твоего отца приказываю тебе — расскажи нам правду. Расскажи все, что знаешь. Эти вот — арестованные — они что? Наняли тебя? Ты у них в услужении? И как наш товарищ всех вас арестовал? Как это было, расскажи подробно, все, все решительно, что тебе известно. Говори, не бойся...

Евгений еще испуганно смотрел на Дзержинского, но страх уже проходил: что мог сделать ему дурного этот человек с усталыми, но добрыми глазами? Да и в чем он, Евгений, виноват? В том, что молчал? Ну, виноват, не станут же за это бить? Может, даже матери помогут, — надо же людям жить как-то...

— Наняли они меня, Симбирцев этот, — грубо, чтобы не подумали, что подлизывается, заговорил Евгений. — Сторожить наняли. А я откуда знаю — чего сторожить? «Помалкивай, — говорят, — а то поймают — и к стенке. Декреты читал?» — «Читал», — отвечаю. «Твое дело теперь битое, сгоришь вместе со мной». Вначале складик в комнате был, а потом пошло шире, весь низ забрали под него...

И Женья стал подробно рассказывать все, что знал об организации Симбирцева...

— Отправили? — спросил Феликс Эдмундович.

— Отправили, — невесело ответил Швырев.

Дзержинский внимательно посмотрел в глаза Павлу Федоровичу.

— Мне врач докладывал — сердце у Веретилина хорошее. Садитесь, Павел Федорович. Вы когда с Иваном Дмитриевичем подружились?

Швырев подумал, припоминая, улыбнулся и рассказал, что узнали они друг друга в Петрограде, когда занимали телефонную станцию.

— Это когда вы за телефонисток работали? — тоже улыбнулся Дзержинский.

— Ну да! Они все в обморок попадали, стрельба, а тут Смольный названивает. Я трубку взял, то есть не трубку, а машинку эту — слышу, называют номер. А как соединить — не знаю...

Дзержинский засмеялся; глаза у него посветлели, лицо стало молодым. Павел Федорович, усмехаясь, рассказывал:

— Один там парень был — не помню, как его звали и откуда, — рабочий паренек, тот в трубку заявляет: «Они все в обмороках лежат, а мы соединять еще не обучились». Ну, а Веретилину как раз Зимний дворец попался — тоже звонит — министры временные. Он им и сказал, что теперь станция их не обслуживает. Как раз, помню, продукты для телефонисток привезли — триста буханок хлеба, триста банок консервов, это все с Трубочного завода. А телефонистки от страха кушать не могут. Вот Иван Дмитриевич — он тогда еще в бушлате был — мне и говорит: «Солдат, а солдат, давай покушаем, поскольку мы сегодня являемся телефонистками...» Покушали, стали в телефонной технике

разбираться. Выключили прежде всего телефоны Зимнего дворца и штаба округа...

— Здесь и познакомились?

— Здесь. Потом, попозже, Веретилин побегал своих «альбатросов» встречать — моряков; они в Неву входили на кораблях. И я с ним оказался. А дальше уже вместе с Красной гвардией и с солдатами Измайловского полка действовали. Подрапило меня там. Веретилин как раз поблизости был — вытащил, перевязку сделал, все честь честью. И банку консервов мне оставил, и записку. В записке хорошие слова написал: «Паша, — написал, — не горюй, твердыня скоро падет, и начнется новая жизнь...»

— Потом уже в ЧК встретились?

— В ЧК.

— Хороший работник Веретилин, — сказал Дзержинский, — настоящий!

— Таких, как он, работников — поискать! — подтвердил Швырев.

Помолчали.

— И заболел! — произнес Дзержинский. — Надолго, видимо, из строя выбыл. Время горячее, а мы без него остались. Он вел целую группу дел — по организаторам голода...

Павел Федорович молчал.

— Придется вам, товарищ Швырев, его группу, я думаю, сейчас принять прямо на ходу. Трудно будет, а придется. Вы и Апикиев с помощниками — больше нам некого нынче на этой работе держать. Спекулянты, саботажники, организаторы голода — только часть врагов революции, врагов народа, с которыми надо бороться. У вас опыт есть, кое-какие приемы этих негодяев вам еще по прошлому году известны. Начинайте работать!

— Слушаюсь! — поднимаясь с места, сказал Павел Федорович.

Попозже Свешников привез тех двух красногвардейцев, которые вместе с Веретилиным конвоировали арестованных.

Слушая красногвардейцев, Дзержинский как бы вместе с ними шел из Замоскворечья на Лубянку. И когда красногвардейцы вспомнили слова Веретилина насчет шубы и насчет того, как кто-то попался на шубу, как на крючок, — общая картина дела уже начала для Феликса Эдмундовича проясняться. Тонкие, еще непрочные нити вели и в почтамт, и в квартиру шесть, где проживал Мюллер, и на железную дорогу, где, по всей вероятности, орудовал Осокин, и в пакгаузы Брянска-товарного, где нынче смертельно ранили Сережу Орлова. Любая нить могла оборваться, но могла и привести к следам повой шайки. Тут нужна была осторожность, чтобы не спугнуть зверя раньше времени, решитель-

ность, чтобы не упустить врага, меткость, чтобы действовать наверняка.

— Это не просто мешочники, — говорил Дзержинский Павлу Федоровичу и Свешникову, когда красногвардейцы ушли. — И это вовсе не мелкие спекулянты. Такие господа, организовавшись в шайки, лишают государство возможности выдавать трудящимся даже то немногое, что декретировано системой нормированного снабжения. Мы обещаем, но не выполняем свои обещания из-за таких негодяев, понимаете?

Постепенно в комнату, где петоропливо, как бы думая вслух, говорил Дзержинский, приходили чекисты. Худые, с красными от бессонницы глазами, с обмороженной и обветренной кожей, плохо одетые, кто в шинели, кто в ватнике, кто в потертом драповом пальтишке, они затаив дыхание слушали Дзержинского, и картина великой битвы за хлеб все яснее, все ярче вырисовывалась перед ними.

— Мешочничество не увеличивает, а резко сокращает поступление хлеба в город, — говорил Дзержинский. — Мешочничество резко обостряет голод. Поезд с мешочниками доставляет в город в лучшем случае только четыре тысячи пудов хлеба, с товарным же поездом город получает сорок тысяч пудов. Ровно в десять раз больше. Помните, мы недавно оглашали цифры — статистику мешочничества: семьдесят процентов мешочников снабжает продуктами спекулятивные заведения всяких бывших людей. Тем не менее товарищ Ленин предупреждает нас, чтобы мы различали чуждые элементы от трудящихся. «Мы вовсе не виним, — говорит Владимир Ильич, — того голодного, измученного человека, который в одиночку едет за хлебом и достает его какими угодно „средствами“». Вдумайтесь в эти слова. Вдумайтесь и в другие замечательные слова Ленина: «Мы существуем, как рабоче-крестьянское правительство, не для того, чтобы поощрять распад и развал. Для этого правительство не нужно. Оно нужно, чтобы объединять их, голодных людей, чтобы организовывать, чтобы сплачивать сознательно в борьбе против бессознательности». Что это значит, товарищи? Это значит, что мы должны организовать массы против мешочничества, мы должны противопоставить разнузданности и разброду образцы организованности, иначе нам не спасти миллионы от голода и не добиться правильного распределения продовольствия...

Дзержинский потер лицо ладонями, потом устало спросил:

— Кто сейчас ведет дело почтамта и Баландинского почтового отделения? Кто работал вместе с покойным Сергеем по этому делу?

- Я, товарищ Дзержинский,— сказал Аникиев.
- Знаете дело?
- Знаком в общих чертах.
- Зайдите ко мне сейчас...

В кабинете Дзержинского Аникиев сидел за столом, напротив Феликса Эдмундовича, и пытался что-то объяснить. Вдруг он замолчал, обхватил голову руками. Дзержинский ходил из угла в угол.

— Вы меня извините, товарищ Дзержинский,— наконец глухим голосом сказал Аникиев,— слишком тяжело стало. Сергей мне вроде сына был. Я его в партию рекомендовал и в первую засаду водил, мы с ним к вам пришли тогда, еще на Гороховую, в Петрограде, помните?

— Помню...

— Вы еще тогда заметили, что молод больно Сергей. А я сказал — ничего, будет работать, у него единственного брата юнкера убили. Помните?

Феликс Эдмундович молча кивнул головой. Он медленно перебирал бумаги, в которых Сергей Орлов делал выписки по делу Баландинского почтового отделения. Так... Вот оно — самое главное: выезжал на ревизию отделения Симбирцев А. П. Разумеется, во время ревизии он и договорился с местными жуликами о способе пересылки продуктов в почтовых кожаных мешках. Ясно. Пожалуй, можно начинать допрос. У Сережи фамилия Симбирцева подчеркнута красным карандашом — единственная из всех. Юноша был талантливым следователем. Конечно, убийство у пакгауза было не случайным. По всей вероятности, преступники почувствовали близость провала и каким-то способом увели Орлова темной ночью к пакгаузам Брянского вокзала.

— Поезжайте по этому адресу,— сказал Дзержинский, протягивая Аникиеву листок блокнота, где был записан адрес Мюллера,— предполагаю, что этот господин и есть убийца Сергея. Будьте осторожны. Вряд ли вы его застанете дома, но оставьте засаду. Произведите обыск в квартире Симбирцева — там же во дворе, во флигеле. Все ясно?

— Ясно, товарищ Дзержинский! — сказал Аникиев.

— Действуйте. И помните, что лучшим памятником Сереже будет борьба с тем страшным миром, который убил его.

Аникиев ушел.

В кабинете было совсем тихо, только вьюга посвистывала за окнами, била колючим снегом в стекла, да на стене мерно постукивали часы. Секретарь принес стакан жидкого чаю и черный

сухарь на тарелочке. Дзержинский отхлебнул из стакана, поморщился и попросил:

— Знаете что? Принесите мне просто кипяток вместо этого чаю. Из чего его делают?

— Из розовых лепестков, — сказал секретарь. — Свешников еще из Петрограда привез, где-то достал. Ему этот реставратор, что ли, для вас все свои лепестки подарил.

— Так вот — водичку, — улыбаясь попросил Дзержинский. — А Свешникову ничего про чай не говорите... И пусть приведут арестованного Симбирцева.

Симбирцев вошел скромно, вежливо, но с достоинством поклонился и присел на венский стул против стола Феликса Эдмундовича. За эти несколько часов щeki Симбирцева как бы обвисли, взгляд стал беспокойным; а когда его ввели к Дзержинскому, он понял, что дело его проиграно.

— Бывший жандармский ротмистр Симбирцев? — спросил Феликс Эдмундович.

— Вы меня... знаете?

— Я помню Варшаву и тюрьму Павиаки. Я помню, как вы там допрашивали одного заключенного. И вы, наверное, не забыли?

— Это все было не так, — забормотал Симбирцев. — Впоследствии я давал объяснения. Слово честного человека — это был сговор политических против меня. Я его не убивал. Да и зачем мне — посудите сами — зачем? Табуретка в камере упала... Он и того-с... Сердце у него было слабое...

— Табуретки в камерах не падают — они привинчены! — заметил Дзержинский. — Вы это знаете не хуже меня. Так каким же образом вы договорились с Баландинским почтовым отделением о посылке продуктов в кожаных почтовых мешках за печатями?

— Не я. Меня вынудили. Я только орудие, пешка, мелкий человек. Под страхом разоблачения...

— Кто вас вынудил? Говорите скорее, мне некогда. Мюллер?

Симбирцев молчал. Челюсть у него отвисла, губы беззвучно шевелились.

— Продали! — сказал он наконец. — Все-таки продали... Что ж, тогда пусть сами тоже... отвечают...

Дзержинский позвонил. Симбирцева увели. И когда Павел Федорович писал протокол допроса, ему приходилось останавливать бывшего жандармского ротмистра — так быстро и много тот говорил. Да, это организация. Он знает пятерых. Предполагает, что имеется несколько пятерок. Им лично командует Мюллер.

Что касается Брянского вокзала, то оп... «Ах да, да. У Мюллера там какие-то дела со сторожами...»

Павел Федорович писал и курил самокрутку за самокруткой. Симбирцев иногда пил воду, иногда замолкал надолго, только губы у него беззвучно шевелились. Потом, точно спохватившись, начинал говорить опять.

— Меня расстреляют? — спросил он вдруг.

— А что же с вами делать? — хмуро отозвался Павел Федорович. — Перевоспитывать?

— Но я... раскаиваюсь... раскаиваюсь горячо. Искренно! Видит бог, как я раскаиваюсь.

— Это вы трибуналу доложите — пасчет раскаянья, — так же хмуро и глухо сказал Павел Федорович. — Я лично вашими переживаниями не интересуюсь...

В соседней комнате Вася допрашивал Осокина.

— Прошу вас нормально отвечать на вопросы, а не обдумывать каждый ответ по часу! — строго сказал Вася. — Мы тут не в бирюльки играем! Пора понять!

— Я к этим негодьям никакого отношения не имею! — заявил Осокин. — Мало ли кто сознался! Они сознались в своих преступлениях и меня запутывают, а я вот не признаюсь и никого не запутываю. Я честный человек. Если в чем-нибудь и виноват, то только в том, что покупал. Я — покупатель. Ну и судите за это. Пожалуйста! Сделайте одолжение!

Вася не перебивал. Он берег свой главный козырь. И жалко было расставаться с ним вот так, сразу.

— Что же именно вы покупаете? — спросил Вася.

Осокин пожал узенькими плечами. Не очень-то ему страшен этот мальчишка! И ничем вся эта катавасия не кончится. У них нет никаких улик против Осокина. Еще извиняться будут — вот что произойдет. И, совсем обнаглев, Осокин сказал:

— Вот что, молодой человек! Вы едва начинаете свою жизнь, а я сед, как бобер...

Но следовательно не дал ему закончить правоучительную фразу. Внезапно перегнувшись через стол, он спросил звонким, напористым, недобрый голосом:

— А что вы изволили делать месяц тому назад на станции Саракуз?

Осокин откинулся на спинку стула.

— Я? На станции Саракуз? Я, Осокин?

— Да, вы, Осокин, на станции Саракуз. У вас провизионка в удостоверение заложена, и выписана она до станции Саракуз. Чье консульство хранит там запасы хлеба? Отвечайте!

«Пропал! — чувствуя холод в груди, подумал Осокин. — Пропал. Сгорел. Теперь кончено!»

Но все-таки он еще пытался сопротивляться. Даже хохотал. Какое там консульство? Это даже смешно! Консульство! Можно выдумать все, что угодно. Просто у него там старший брат в Саракузе, работает помощником главного бухгалтера; он зарезал свою корову Мушку и таким образом...

— Никаким не образом! — усталым голосом сказал Вася. — Вы ездили туда, чтобы наладить связь с амбарами королевского консульства. У вас было письмо туда от некоего мистера Фишера. На основании этого письма вам удалось вывезти из Саракуз под видом иностранного имущества несколько тысяч пудов хлеба в запломбированных вагонах. Вы даже имели охрану — вагоны охранялись от голодных людей. Этот хлеб был доставлен в Москву и Петроград, и здесь через вашу контрреволюционную организацию...

Осокин сделал пегодующий жест рукой.

— Через вашу контрреволюционную организацию, — жестко повторил следователь, — хлеб был обменян на бриллианты, золото и главным образом картины. Картины эти вывозил мистер Фишер, предварительно их гримируя под произведения, не имеющие художественной ценности. Так?

Осокин обвис. «Мальчишка знает все. Но какие у него могут быть доказательства насчет картин? Еще сегодня днем там, в мастерской, было все в порядке, в полном порядке. Нет, картины оп не возьмет!»

— Что касается станции Саракуз, — печально сказал Осокин, — то я там был. Где был — там был. Выполнил, так сказать, приватно поручение. Заплатили мне за это натурой — хлебом. Все мы люди, граждане следователь, все мы человеки, человеческие слабости нам свойственны. Да, да, заработал два пуда хлеба, каюсь, расстреливайте. Что же касается до картин...

Он развел руками...

Когда Осокина увели, Вася заперся в комнате на ключ, положил на стол лист бумаги и, мучительно борясь с усталостью, стал рисовать. Сначала он набросал то, что было намалевано поверх той картины, которую первой очистил реставратор: стакан от снаряда, зеленые бессмысленные палки, пирожное на круглой тарелочке. Потом по памяти набросал две плоскости, образующие как бы лицо, потом фонарь, повисший на проволоке, и маленький труп внизу слева. Теперь он рисовал лихорадочно быстро, восстанавливая в памяти то ненавистное ему искусство, из-за которого его, молодого студента Академии художеств, не пускали к себе на знаменитые «пятницы» друзья художника Егоршица. Тогда он

сказал им все, что думал об их работах. Улюлюканьем и визгом они встретили его слова о Федотове и Репине, о Сурикове и Поленове. Кто он был для них тогда? Глупый мальчик со старомодным Пушкиным в руках. Революционеры в искусстве — они, а он — ничтожество, подражатель, копеечный рисовальщик. Его оскорбили, выгнали. Всю ночь он крутился по мокрым улицам Петрограда, останавливался и снова шел, опять останавливался и бежал, ничего не понимая, растерянный, потрясенный, уничтоженный. Потом он понял, несколько позже, после Октября, когда встретил Егоршина возле Зимней канавки. Кривя рот, Егоршин сказал:

— Ну как, господин пролетарий? Наступили ваши красные денечки? Искусство, понятное народу! «Волга, Волга, чей стон раздается...»! Поделитесь вашими творческими планами! Над каким полотном сейчас работаете?

— Над полотном я сейчас не работаю! — бледнея от бешенства, сказал Вася. — Некогда!

— Чем это вы так заняты?

— Борьбой с такими господами, как вы! Пока мы с вами не справимся, ничем другим заниматься невозможно.

— А может быть, мы с вами справимся?

— Вряд ли! — сказал Вася. — Каши мало ели!

Повернулся и ушел, чувствуя, что Егоршин смотрит ему в спину ненавидящими глазами. Так они виделись в последний раз. И вот в Петрограде, в ЧК, в студеной январский день Вася увидел то, что когда-то делали в живописи Егоршин и его друзья. Но раньше они рисовали старательно, теперь малевали. Снарядный стакан был умело выписан на старой картине Егоршина; теперь с трудом можно было понять, что это нарисован стакан от снаряда. И любовь к трупам — это тоже Егоршин. Только они, эти ненавистники настоящего искусства, могли решиться на такое преступление. Только они!

Еще дважды Вася вызывал Осокина, но тот уперся: знать не знает, ведать не ведает. Тогда Вася поехал в библиотеку и просидел там два дня, копаясь в журпалах того времени, когда Егоршин устраивал свои скандальные выставки. Теперь сомнений больше не было. Замазывает картины для людей мистера Фишера Егоршин.

Поздно вечером Вася Свешников с журналами и рисунками пошел наверх к Феликсу Эдмундовичу. Дзержинский, в пакинутой на плечи шинели, писал, наклонившись над столом.

— Вы что? — спросил он, продолжая писать.

Вася разложил на столе свои рисунки и рассказал все, что думал по поводу Осокина и полотен, уходящих за границу. Еще тогда, в Петрограде, реставратор вспомнил Егоршина. И это, конечно, верно. За эти дни Свешников проверил: Егоршин теперь живет в Москве у какого-то свободного художника Горбатенко. Он восстановил по памяти старые «работы» Егоршина. Что касается новых работ Егоршина и его компании, то товарищ Дзержинский сам их видел тогда на Гороховой.

— Да, видел,— усмехнувшись, ответил Дзержинский.

Подумав, посоветовал:

— Если этот Горбатенко откроет вам дверь и впустит на фамилию Осокина,— значит, сомневаться не в чем. Произведите обыск. Вы сказали, что Горбатенко живет в пятом этаже?

— Да, в пятом.

— Видимо, мастерская. Там они, по всей вероятности, и работают на благо мистеру Фишеру. Обыск решит все сомнения. Идите.

Вася пошел к двери.

— А писать хочется?— издали спросил Дзержинский.

— Очень!— ответил Вася.

— Вот кончится это трудное время,— сказал Дзержинский,— пойдете дальше учиться. Будете писать... Ну, идите, идите...

Подышав в озябшие руки, Свешников переложил маузер из кобуры в правый карман своей пегой куртки.

Сзади, в темноте, задевая карабином за кривые, щербатые ступеньки, шел красногвардеец Назимов. Вася сердито зашипел: «Потише нельзя?» Внизу или паверху — в этой крошечной тьме ничего нельзя было разобрать — с фырканием и воплями металась кота, злые, голодные, осатаневшие. Один, сверкнув изумрудными глазами, пронесся у самых Васиных ног, другой с оканьянным воплем прыгнул через пролет...

Миповали четвертый этаж, поднялись на пятый. В выбитые стекла хлестал сырой мартовский ветер. Здесь, что ли?

Назимов щелкнул новой зажигалкой; голубое пламя осветило крепкую дверь, табличку, как у врача:

СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК ГОРБАТЕНКО

— Свободный?— шепотом спросил Назимов. Что-то его удивило в этом слове на табличке. Очень удивило. Он даже пожал плечами.

Вася постучал раз, потом еще раз, крепче. За дверями кто-то выругался, подождал и спросил:

— Кого надо?

— Егоршина, от товарища...

Он помедлил — это было опасное мгновение: здесь, конечно, знают, что Осокин арестован. Прошло не два, не три дня.

— Откройте! — негромко попросил Василий. — Я... от Осокина. Сказал и затаил дыхание.

Сзади у плеча посапывал Назимов — держал наготове карабин.

Загромыхали замки, звякнула цепочка, повернулся ключ. Вася шагнул вперед, за ним вплотную, дыша ему в ухо, протиснулся Назимов. Дело было сделано. Они, здешние свободные художники, знают Осокина.

— Я из ВЧК! — сказал Вася. — Спокойно! Руки вверх!

— Маргарита, обыск! — сильным голосом крикнул человек в глубину квартиры. — И не волнуйся, девочка! Это не налет!

Там, где-то за коридором, тотчас же с грохотом заперли двери; было слышно, как быстро, перебивая друг друга, говорят:

— Приподними и тогда опускай!

— Э, дура!

Вася с силой ударил сапогом в дверь, павалился, и дверь отворилась, вырвав шпингалетом древесину из косяка. Два человека — мужчина и женщина — пятились от Васи к стене. Он не посмотрел на них, оглядывая комнату, освещенную керосиновой лампой-молнией. Да, Дзержинский верно сказал — это была студия со срезанной стеклянной крышей. Штук шесть мольбертов стояли в ряд, как солдаты, на подрамниках были натянуты холсты, те самые — Вася понял сразу, — те самые, страшные, кощунственные холсты. Не останавливаясь на них взглядом, он успел только заметить, что везде валяются тюбики красок, палитры, везде в чашках отмокают кисти, и тут же неподалеку на столе — награда за труд: пшеничный хлеб, кусок жареного мяса, водка в бутылки...

— Никак Василиса? — спросил чей-то очень знакомый голос.

Вася резко повернул голову и узнал Маргариту — она тоже училась тогда в Академии. В тот год Васю за девичий румянец, за тихий нрав, за то, что от соленого слова у него начинали дрожать ресницы, называли Василисой.

— И вы здесь? — грустно спросил Вася.

Полная, с высокими взлет бровями, с черепаховым гребнем в черных волосах, Маргарита села на диван и закурила. За ее спиной появился Егоршин. Он был в меховой безрукавке, в пиз-

ких сапогах, в шароварах. Попросив у того, кто открывал дверь, табакерку, он свернул папиросу.

— Да, мы здесь, — усмехнувшись сказал он. — Ничего не поделаешь... а ты что же? Окончательно сменил орало на меч?

Вася молчал, отвернувшись к мольбертам. На одном, на самом ближнем, было то, что больше всего его беспокоило — не просто замазанная «продукция», а еще не совсем готовая, только начатая, «в стадии первичной обработки», как выразился потом про эту картину Егоршин. Конечно, это была та самая картина. Васе тотчас же вспомнился тихий зимний вечер шестнадцатого года, и они вдвоем — он и профессор Лебедев — идут в Петрограде по Екатерининскому каналу к смутно чернеющему дворцу старого вельможи. Граф, по рассказам, очень стар, в России не живет, купил поместье на юге Франции — там и доживает свой век. Профессор Лебедев ведет любимого ученика во дворец, в галерею графа — взглянуть на картину, взглянуть хоть одним глазком. У Лебедева, как он выражается, «есть связи» среди дворцовой прислуги, вот они и пропустят — посмотреть. И их пропускают. Бессмертное творение висит отдельно на чистой, светлой стене: толстые ноги в полосатых чулках, грязный плащ, брюхо, перетянутое поясом, рука с перстнем и паглы, полный лакейского высокомерия, самоуверенный и в то же время ищущий взгляд... «Ты понимаешь, — вздрагивая от волнения, шепчет Васе Лебедев. — Понимаешь? Так художник изобразил своего мецената, так отомстил за унижения, за страдания — за все. Лаксем. Видишь? Барона — лаксем?! Ты понимаешь?»

Сзади переминается с ноги на ногу старый дворецкий: ему скучно и холодно в нежилых покоях графа. И смешон ему знаменитый профессор, который сунул четвертную только затем, чтобы постоять тут перед этим полотном.

А когда они возвращаются обратно, Лебедев, все еще волнуясь, говорит Васе:

— Дважды я писал этой старой скотине, умоляя дать картину на выставку, но он даже не ответил, не ответил мне, академику, вероятно потому, что он — голубая кровь, а я мужик. И никто не видит эту картину, ее знают только по каталогу. Как это подло и глупо, а?

И вот она, эта картина, здесь, в квартире Горбатенко...

Толстые короткие ноги в полосатых чулках, пряжка на бапмаке, рука, выброшенная вперед, часть лица, а все остальное замазано желтым, издевательски подлым, любимым егоршинским тоном, а по желтому пущены виселицы, человечки покачиваются в петлях. Ничего толком понять нельзя, только чувство гадливости охватывает все существо.

— Это вы... проделываете? Эти фокусы? — негромко спросил Вася.

— Так ведь смыть легко! — издали, из угла, ответил Егоршин. — Рецепт такой обработки — старая, давно известная...

Наверное, прошло очень много времени, пока Вася все осматрел, пока разбил ящики, в которые была упакована «продукция», пока точно представил себе, как и сколько времени работала вся эта дьявольская кухня. Привести бы сюда Лебедева из Петрограда, показать бы ему, как «обработаны» тут любимые им полотна.

Назимов, не опуская карабина, зорко следил за живыми «художниками» и только иногда осторожно косил глазом в сторону картины.

— Егоршин! — негромко позвал Вася.

— Да.

— Егоршин, а ведь Лебедев бы вас всех сам перестрелял, а? Я так думаю...

Егоршин хмыкнул в ответ.

— Мы вообще принципиальные противники реалистического лебедевского изображения жизни в искусстве, — ломким голосом заговорила Маргарита. — Мы враждебно, воинственно враждебно, относимся к тому, что вы изволите именовать подлинным искусством. Но не в этом дело. Дело в том, что искусство надклассово, и совершенно неважно, будет ли данный инвентарный номер иметь своим местожительством Петроград, Гаагу или Филадельфию...

Уже рассветало, когда Вася и Назимов вывели всех троих на Цветной бульвар. Галки прыгали по тающему снегу. Где-то негромко звонили к заутрене. Сырой ветер подувал из переулка, откуда выходила рота, пела сурово:

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь — тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный,
Неумолим наш строгий суд...

— Послушайте, товарищ чекист! — обернувшись, сказал Егоршин. — Допустим, мы виноваты не так уж страшно — мы сами беремся отмыть картины...

— Разговорчики! — сухим жестким голосом ответил Вася. — Оставим разговорчики!

Дома мать, Елизавета Андреевна, открыла Васе дверь. Она была одета — так и не ложилась ни на секунду. И лицо у нее было измученное, серое.

— Господи! — сказала она. — Когда это кончится? Всю ночь хожу, думаю — убили, или убьют, или лежишь где-нибудь раненый, истекаешь кровью...

Вася сонно улыбнулся и сел, не снимая свою легкую куртку из собачьего меха.

— Бросил академию, дома к мольберту не подходишь, а такие милые этюды писал, такие хорошие...

Вася все еще улыбался, засыпая сидя. Когда мать снимала с печурки закипевший чайник, Вася проснулся и спросил:

— Мама, ты Егоршина помнишь?

Мать кивнула.

— Картину написал?

— И не одну. Много написал,— ответил Вася. — Очень много.

Елизавета Андреевна села против сына, покачала головой и вздохнула:

— Вот видишь! А не очень способный был молодой человек. Желтое все у него было, я помню, желтое и зеленое... Непонятное. А ты... ты один так ничего и не сделал. Что бы сказал твой Лебедев?

Вася опять сонно улыбнулся и, обжигаясь кипятком, весело ответил:

— Честное слово, мамочка, Лебедев был бы мною доволен. Даю тебе честное слово!

Дзержинский позвал к себе профессора Лебедева. Старик вошел в кабинет, щуря один глаз, ладонью подбивая снизу свою ключкастую бороду.

— Не выпить ли нам чаю?— спросил Дзержинский.— Товарищи из Наркомпроса приедут через час. Вы вместе с комиссией примите у нас картины, для того чтобы экспонировать их. Ну, а потом мы позаботимся о дальнейшей охране...

Они сели в кресла — друг против друга. На подносике стояли два стакана очень крепкого золотисто-коричневого чаю.

— Давненько я не пил чаю такой дивной красоты! — сказал Лебедев и, посмотрев стакан на свет, жадно отхлебнул большой глоток. Тотчас же лицо его искривилось, в глазах блеснули сердитые искры.

— Упрямый народ — изобретатели!— сказал Феликс Эдмундович.— Раньше потчевали меня просто настоем из роз. А теперь еще морковка и цикорий. Не правда ли, дрянь редкостная?

— Да уж...

— А кипятку не дают. Неловко им кипяток подавать. Вот так и приходится...

— Вы бы им... приказали!— посоветовал Лебедев.

— Не помогает.

С минуту помолчали.

— Один вопрос, позвольте,— сказал Лебедев.— Как эти картины оказались у вас? Я все думаю и никак понять не могу...

Дзержинский улыбнулся.

— А вы еще ничего не знаете?

— Решительно ничего.

— Ну что ж... Тогда я вам скажу...

У Лебедева округлились глаза, когда он выслушал всю историю с картинами.

— Вот какие у нас ребята — Петр Быков и Василий Свешников,— сказал Феликс Эдмундович.— От Васи я знаю, как вы тайком ходили в графский особняк картину смотреть. Теперь насмотритесь вволю. Хотите сейчас взглянуть?

Вдвоем они вышли в приемную и долго рассматривали картины. Дзержинский пытался правильно направить свет, но ничего толком не получалось. Накал был слабый, пити в лампочке мерцали оранжевым светом. Лебедев боком взглянул на Дзержинского, удивленно подумал, что так может стоять перед картиной только очень понимающий искусство человек.

— Реставратора трудно было отыскать,— сказал Дзержинский,— четыре человека были; поговоришь с ними — видишь: не то, испортят, погубят. Нашел Вася старичка, удивительный старичок, глазки, знаете, совершенно детские, бородка эдак мочалкой, тихий, как мышка. Оборудовали мы ему мастерскую...

— Здесь, в ЧК?

— А вот тут, за стеной. Покормили старичка пшенной кашей, он и ожил. Сидит, бывало, перед мольбертом и тоненьким голоском напевает. И каждой детали, которая открывается ему в картине, радуется необыкновенно. Все меня звал — вы только посмотрите, мол, какая силища обнаружена. Тона какие! Подробности какие открылись!

Лебедев еще раз сбоку посмотрел на Дзержинского — увидел его порозовевшие щеки, горячий блеск зрачков, сиротливо очень сердечно:

— Извините за прямоту — еще один вопрос вам хочу задать: вы живописью занимались?

Дзержинский усмехнулся, заговорил не сразу:

— Был такой период у меня в молодости. Попалась мне в тюрьме, в камере тюремной, книга. Эта книга долго валялась на нарах — владельца ее угнали в Сибирь,— а я как-то раскрыл книжку и зачитался. До сих пор не знаю, что это за книга, титульный лист был оторван, многих страниц не хватало. Но читал я ее с жадностью, читал не отрываясь, помню, читал, стоя у семилинейной лампы, подвешенной к потолку. Начальство воровало керосин и приказывало тушить лампы ровно в девять, а я бунтовал изо дня в день, и в конце концов они оставили меня в покое.

Читать было трудно еще и потому, что у меня тогда болели глаза, но не читать я не мог. С воли мне стали присылать книги по искусству. Помню, это были дорогие книги, в красивых, с тиснением, переплетах, и помню, как странно они выглядели на тюремном столе. В этих книгах я впервые увидел репродукции: Веласкес, Рембрандт, Ван-Остаде, Рейсдааль. Помню, как поразил меня тогда Федотов, какой мир мне открыли русские художники. Бывало, сидишь на краю нар в грязной камере, дышишь воздухом, пропитанным карболкой, и перелистываешь такую монографию — о Веласкесе или Ван-Дейке. И не можешь себе представить, как это грандиозно в подлиннике, если даже в репродукции это захватывает тебя целиком.

Странно, почти невероятно, знаете ли: отвратительная тюремная балаганда и разговоры о живописи, о ваянии, о зодчестве. В первый же день на воле я пошел в картинную галерею. Помню, хорошо помню, как я остановился у маленького полотна старого голландца и подумал: «Ист, это слишком хорошо. Это сейчас не для меня. Я революционер-профессионал, я должен думать о своей революционной работе, она требует человека целиком, безраздельно. Слишком много прекрасного, слишком много красоты, надо найти силы и отказать себе в этой красоте!»

— И отказали? — спросил Лебедев.

— Да.

— Трудно было?

Дзержинский не успел ответить. В приемную вошли члены комиссии Наркомпроса. Жесткое выражение мелькнуло в глазах Дзержинского. Он подвел членов комиссии к картинам и спросил:

— Так как же, товарищи? Эти полотна художественной ценности не имеют и могут быть вывезены за пределы страны? Или все-таки имеют? Кто у вас там такие документы стряпает? Кто такие чудовищные глупости выделяет? Или, может быть, это не глупости, а нечто похуже?

Уже ночью, проводив Лебедева и комиссию, Дзержинский еще раз вышел в приемную и, осторожно ступая, чтобы не разбудить уснувшего секретаря, подошел к небольшому полотну, которое особенно ему понравилось. Двое детей спокойно и даже строго смотрели с картины прямо в глаза Дзержинскому. Это были нищие дети, в рубищах, с котомочками, в деревянных башмаках. Они не протягивали руки, не плакали, они молчали и только смотрели серьезно и строго и, казалось, ждали. Но не подаяния, не милостыни, а чего-то принадлежащего им по праву.

«Детства, вот чего они требуют! — подумал Дзержинский. — Детства и счастья. Что же, будет и настоящее детство на земле, будет и счастье! Добьемся!»

Зазвонил телефон. Дзержинский снял трубку, и тотчас же глаза его сузились и потемнели.

— Где? — спросил он. — На Воздвиженке взяли? Привезите ко мне, я сам буду с ним разговаривать... Да, да, Мюллера.

Управившись с делами, Вася узнал, что его вызывает секретарь Феликса Эдмундовича. В приемной, около секретарского стола, спиной к двери сидел широкоплечий человек с седыми кудрявыми волосами, знакомым жестом — снизу вверх — ерошил бороду и говорил сердито:

— Имена чекистов, спасших для народа, для республики, для всех нас эти сокровища, надобно золотом, понимаете, золотом на мраморе высечь, чтобы люди знали, помнили, как это все было...

— Не выйдет это! — усмехаясь отмечал секретарь. — Товарищ Ленин учит наш народ скромности, да и зачем этот мрамор, товарищ Лебедев?

— Виктор Антонович? — охнув от радости, сказал Вася.

Лебедев легко, с живостью обернулся, вскинул бороду, спросил:

— Это кто ж такой? Не узнаю...

Вася шагнул ближе, отодвинул назад кобуру маузера, засмеялся, и Лебедев наконец узнал его.

— Василий? — тихо спросил он.

— Я. Василий.

Старик встал, положил руку ему на плечо, жадно вгляделся в Васиные усталые, очень усталые глаза.

— Не спишь, что ли? — спрашивал он, когда они тряслись в машине по булыжной мостовой. — Почему глаза такие измученные? Да ты что на меня смотришь? Ты говори, рассказывай. Мама как? Вот погоди, я нынче же приду к вам чай пить. Пишешь? Или совсем не пишешь?

Вася молча улыбнулся.

— Совсем не пишешь?

— Собираюсь, Виктор Антонович.

— Расскажи поподробнее, как у «свободных художников» гостил. Феликс Эдмундович обещал, что ты все расскажешь...

В картинной галерее уже ждали два человека из Наркомпроса — специалисты по устройству выставок. Реставратор, маленький старичок с небесно-голубыми глазами, доделывая свою работу, пел тоненьким, мирным голоском. За открытым окном, под крышей, стонали и ворковали голуби. Лебедев высвистывал «Рассвет» из «Хованщины», похаживал, посматривал и ни в чем не соглашался со специалистами из Наркомпроса.

Потом пришли два красногвардейца с винтовками и подсумками, закрыли окно, пропустили через шпингалет таинственную проволочку, попробовали на язык — есть ли ток.

— Это что же такое? — удивился Лебедев.

— Проволока медная! — хмуро ответил красногвардеец. — Сигнализация. Дернет какой похититель окно — где надо, сразу звонок звонит. Теперь не украдут, теперь спета ихняя песня...

Лебедев подивился: откуда солдаты все знают? Они объяснили, — их прислал сюда сам Дзержинский. Завтра с утра учение будут проводить с охраной, тут старушки есть и старички, надо им кое-что растолковать насчет дисциплинки. А одна тут даже затвор винтовочный открыть не может — гильза стреляная в стволе засела. С такой винтовкой и дежурит, вояка.

Уже начало смеркаться, когда по паркету раздались гулкие шаги: по залам медленно шел человек в черной тужурке.

— Кто там ходит? — крикнул Вася.

— У меня разрешение есть! — ответил человек, и Вася узнал Быкова, Петю Быкова, старого друга.

— Петруха! — крикнул Свешников и бросился к Быкову.

Они обнялись, похлопали друг друга по плечам, по спицам.

— Ну как?

— А ты как?

— Таможней команду. Ловлю помаленьку.

— И мы тут живем. Действуем...

— Да слышал, много разного слышал. И слышал, и в газетах читал...

Свешников познакомил Лебедева с Быковым. Профессор внимательно взгляделся в Быкова, спросил:

— Это вы первый не дали их украсть? — И кивнул на картины.

Петя смутился.

— Вроде бы я... А теперь приехал по делам сюда, набрался смелости и позвонил самому Феликсу Эдмундовичу. А он в ответ — идите, говорит, и смотрите, как там сейчас ваши картины развешивают. Так и сказал: «ваши». Я и пришел... Какие же тут мои, а, Василий?

— Да теперь, пожалуй, и не определишь, какие именно твои! — ответил Вася. — С того дня много еще полотен обнаружено. Вот развешиваем по стенам.

Втроем, Лебедев, Быков и Вася, пошли по залам — посмотреть спасенные картины.

СЛУЧАЙ

Красноармеец был такой молодой, что еще ни разу не брился. Лицо у него было розовое, детское, и глаза были круглые, как пуговицы. Но в длинной шинели, в шлеме с высоким шишаком и в

тяжелых юфтовых сапогах, да еще с револьвером на боку, он выглядел сносно — боец как боец, не хуже других.

Он шел, слушал, как скрипят на ногах новые сапоги, только сегодня полученные со склада, и, чтобы ловчее было идти, насвистывал тот военный марш, который обычно играл полковой оркестр, а когда попадалась на пути невыбитая витрина, красноармеец замедлял шаги и, как в зеркале, не без удовольствия оглядывал себя.

На ходу он читал вывески над заколоченными и пустынными магазинами. Вывески были разные, и красноармейцу вдруг сделалось грустно от этих вывесок и от того, что на них было написано: и колбаса, и ветчина, и сахар, и масло, и, главное, баранки. Около вывески «Кондитерские изделия, булки и баранки» красноармеец даже остановился, задрал голову и долго с тоской в глазах рассматривал золоченые деревянные булки и баранки, привешенные над дверью бывшего магазина.

«Вот какое несчастье с этим животом-желудком, — думал он. — Не рассуждает, что хлеба нет, и мяса нет, и сметаны нет. Нет продовольствия, а ему подавай».

Так красноармеец шел и шел, и все рассуждал сам с собой то об одном, то о другом, и негромко насвистывал полковой марш, как вдруг увидел, что женщина, которая шла перед ним, выронила из муфты сверточек.

Красноармеец поднял бумажный сверток и пошел быстрее, чтобы догнать женщину.

«Военный человек должен быть вежливым, — думал он, — и должен подавать пример гражданскому населению. И, пожалуй что, данным своим поступком я подаю пример».

Тут он споткнулся и уронил сверток. Сверток косо упал на тротуар, раскрылся, и тотчас ветер понес по улице выпавшие из свертка листочки.

Обругав себя крепким словом за неловкость, красноармеец бросился ловить листочки, гонимые морозным ветром, поймал все и стал сдувать с них снег, как вдруг заметил, что листочки вовсе не гражданские, не письма, и не записки, и не удостоверения, а настоящие военные планы, начерченные очень мелко искусной рукой. На одном листочке было изображено расположение батарей, на другом — артиллерийский склад, на третьем... третий листочек красноармеец не стал разглядывать.

— Я извиняюсь, — негромко сказал он себе, сунул сверток в карман и, бухая сапогами, побежал за уходившей женщиной. Она шла быстро, стройная, в бархатной шубе с большим меховым воротником, и красноармеец испугался, что она возьмет да и свернет в какой-нибудь подъезд — ищи ее тогда. Но она не сворачи-

вала, а он бежал все быстрее, так что ветер шумел в ушах и колотилось сердце, до тех пор, пока не догнал и не взял ее за рукав.

Она взглянула на него, вырвалась и побежала.

— Стой! — крикнул красноармеец тонким голосом. — Стой! Эй, граждане, товарищи, лови шпионку!

И все, кто шел до сих пор спокойно, побежал и закричал, каждый свое. Красноармеец бежал впереди всех сначала по одной улице, потом по другой, потом свернул в переулок.

Но переулок оказался тупиком, и женщине в бархатной шубе некуда было убегать.

Она стала у закрытых железных ворот и, задыхаясь от бега, крикнула:

— Все назад! Стрелять буду!

Красноармеец молча смотрел на нее. Она потеряла шляпу, волосы у нее растрепались, в руке у нее поблескивал пикелированный пистолет.

— Назад! — повторила женщина. — Всех перестреляю и сама застрелюсь!

«Семь зарядов, — рассуждал красноармеец, — но только навряд ли она умеет стрелять!»

В тупичок все прибывали и прибывали люди, и, как на грех, ни одного военного.

Красноармеец вынул свой наган. Застрелить ее? Но что толку? Такую дамочку надобно доставить куда следует в живом виде.

— Злая, — сказал кто-то густым басом. — Вот как смотрит, точно сейчас съест.

— Куси! — закричал мальчишка в солдатской папахе и спрятался в толпу.

Подняв наган, красноармеец пошел вперед. Шпионка выстрелила. Он нагнулся, и пуля просвистела над его головой. Теперь и он выстрелил, для острастки, вверх.

— Назад! — крикнула она.

Он еще раз взглянул на нее. Теперь она была ближе. Глаза у нее светились, как у кошки, и красивое лицо было совсем белым. А на руке сверкало кольцо с бриллиантом.

«Покушала, наверно, на своем веку золотых баранок», — подумал почему-то красноармеец, вспомнив вывеску булочной, нагнулся и побежал вперед.

Она выстрелила еще два раза.

«Не умеет стрелять», — решил он и ударил ее по руке с пистолетом. Пистолет выстрелил в воздух и упал. Красноармеец сунул ствол нагана ей в лицо и велел поднять руки вверх. Но она не

подняла. Тогда он принялся вязать ее, а она вырывала руки и негромко, со злобой говорила:

— Вы мне делаете больно, дураки! Не смейте! Вас все равно всех повесят... Отпустите меня, слышите? Я вам заплачу золотом. Отпустите. Все равно вас перевешают...

— Не соображаешь, чего говоришь,— сказал красноармеец.— Как так повесят? Ты, что ли, повесишь? Какой тип нашелся! Повесят!

Потом женщину вели в ЧК. Красноармеец насупился и молчал.

«Хотел ей вежливость оказать,— обиженно думал он,— а она мало того что шпионка, так еще наскакивает. Повесить! Тип».

Через некоторое время его вызвали к Дзержинскому.

Красноармеец собирался долго и основательно: начистил сапоги, пришел суровой ниткой крючок к шинели и до отказа затянул на себе ремень. И так как он любил порассуждать, то на прощание сказал своим товарищам:

— Надо вид иметь, как следует быть. А то товарищ Дзержинский скажет: «Это что такое за чучело? Разве ж это красноармеец!» И вместо беседы получится гауптвахта.

У секретаря он немного подождал и покурил козью ножку, сделанную из махорки, смешанной, для экономии, с вишневым листом. Потом отворилась дверь, и вышел Дзержинский. На нем были высокие болотные сапоги и простое красноармейское обмундирование.

— Проходите в кабинет и садитесь.

Красноармеец вошел в кабинет, сел и снял шлем.

— Я должен объявить вам благодарность,— сказал Дзержинский,— вы раскрыли большой контрреволюционный заговор.

И он внимательно, не отрываясь, поглядел на красноармейца.

«Вот так номер,— подумал красноармеец,— целый заговор».

Ему очень захотелось немного порассуждать, но он постеснялся.

— Один из ответственных военных работников,— продолжал Дзержинский,— один очень ответственный работник, которому мы доверяли, как своему человеку, изменил нам, передался Юденичу и стал шпионом у врагов Советской власти.

— Безобразие какое,— не сдерживаясь, сказал красноармеец,— прямо-таки пахальство, я извиняюсь!

И он стал длинно рассуждать о том, что эти шпионы — такие типы, которые еще и веревкой грозятся, и что всех этих шпионов падо вымести нашей советской метлой.

— Да,— едва заметно улыбнувшись, ответил Дзержинский,— вы правы. Так вот, заодно, с этим изменником был один старик

француз. Вы поймали его дочь. Таким образом мы ликвидировали заговор. А за вашу помощь большое спасибо вам.

Потом Дзержинский немного поговорил с красноармейцем о его жизни, женат ли он, есть ли у него дети.

— Я молодой, — сказал красноармеец и сконфузился, — у меня жинки нет. Мне всего годов ровно двадцать.

— Действительно, не очень старый, — согласился Дзержинский.

Через несколько минут отворилась дверь, и два красноармейца ввели в кабинет старика с подстриженными белыми усами и в таком высоком воротнике, что старик едва поворачивал голову.

Дзержинский разговаривал с ним довольно долго. Потом старик вдруг поднялся и громко, па весь кабинет, очень сердито сказал:

— Это случай. Вы меня поймали случайно.

— Ошибаетесь, — очень спокойно ответил Дзержинский, — мы поймали вас далеко не случайно. Если бы нас не поддерживали рабочие, крестьяне, красноармейцы и все трудящиеся, мы бы вас, конечно, не поймали. Но мы, чекисты, опираемся на трудящихся. Каждый наш красноармеец понимает, что такое ЧК.

— Это не мое дело, кто у вас что понимает, — перебил старик. — Я говорю о том, что я пойман случайно; то, что я попался, это чистый случай.

— Неверно, — ответил Дзержинский. — Дочь ваша действительно случайно уронила сверток, но красноармеец не случайно заинтересовался им, не случайно побежал за вашей дочерью, не случайно, рискуя жизнью, арестовал ее и не случайно привел в ЧК. Верно?

И Дзержинский повернулся к красноармейцу.

— Совершенно верно, товарищ Дзержинский, — сказал красноармеец.

Сердитый старик с трудом повернул голову в высоченном воротнике и тихо спросил:

— Ах, это ты, мерзавец, арестовал мою дочь?

— Попрошу вас мне не тыкать, — ответил красноармеец. — Что дочка, что папаша — один характер. Вас попробуй не арестуй, так вы потом нашего брата целиком и полностью перевешаете! А еще тыкает!

Однажды Ленин и Дзержинский ехали в автомобиле по набережной. Автомобиль осторожно обгонял колонну красноармейцев, идущих на фронт. Полковой оркестр играл марш.

— Посмотрите, Владимир Ильич, — сказал Дзержинский, — посмотрите в стекло назад, поскорее, а то проедем...

— Что такое? — спросил Ленин.

— Вот на правом флаге в первой шеренге идет молодой красноармеец. Видите?

— Этот?

— Он самый.

— Так француз утверждал, что он попался чисто случайно? — усмехнулся Ленин.

— Да, — сказал Дзержинский. — А этот парсепек раскрыл заговор. Совсем молодой — небось не брился еще ни разу...

Тут Дзержинский ошибся: как раз сегодня красноармеец побрился. Он шел бритый, в начищенных сапогах, с винтовкой, котелком и вещевым мешком и, конечно, не знал, что в эту минуту на него смотрят Ленин и Дзержинский.

В ПЕРЕУЛКЕ

Четвертого июля 1918 года открылся Пятый съезд Советов. Дзержинский — с гневной складкой на лбу, с жестко блестящими глазами — слушал, как левые истерическими, кликушескими голосами вопят с трибуны о том, что пора немедленно же прекратить борьбу с кулачеством, что пора положить конец посылкам рабочих продотрядов в деревни, что они, левые, не позволят обижать «крепкого крестьянина» и так далее в таком же роде.

Съезд в огромном своем большинстве ответил левым твердо и ясно: «Прочь с дороги! Не выйдет!»

На следующий день, пятого, Дзержинский сказал Ивану Дмитриевичу Веретилину:

— А левых-то больше не видно. Посмотрите — ни в зале, ни в коридорах ни души.

— У них где-то фракция заседает, — ответил Веретилин.

— Но где? И во что обернется эта фракция?

Дзержинский уехал в ЧК. Здесь было известно, что левые, разгромленные съездом, поднятые на смех, обозленные, провалившиеся, заседают теперь в Морозовском особняке, что в Трехсвятительском переулке. Там они выносят резолюции против прекращения войны с Германией, призывают к террору, рассылают в воинские части своих агитаторов. Одного такого «агитатора» задержали и привели в ЧК сами красноармейцы. Пыльный, грязный, сутуловатый, с большими прозрачными ушами и диким взглядом, человек этот производил впечатление душевнобольного.

— Вы кто же такой? — спросил у него Веретилин.

— Черное знамя анархии я несу человечеству, — раскачиваясь на стуле, нараспев заговорил «агитатор». — Пусть исчезнут, про-

валятся в тартары города и заводы, мощенные улицы и железные дороги. Безвластие, ветер, неизведанное счастье крошечной свободы...

— Чего, чего? — удивился черепенький красноармеец с чубом. — Какое это такое «счастье крошечной свободы»? Небось нам-то говорил про крепкого хозяина, что он соль русской земли — кулачок, дескать, и что его пальцем тропуть нельзя — обидится...

Дзержинский усмехнулся.

Еще один задержанный «агитатор» показал, что левые после провала на съезде вынесли решение бороться с существующим порядком вещей любыми способами.

— Что вы называете «существующим порядком вещей»? — спросил Дзержинский.

— Вашу власть! — яростно ответил арестованный. Глаза его горели бешеным, на щеках выступили пятна. — Вашу Советскую власть. Больше я ни о чем говорить не буду. Поговорим после, когда мы вас арестуем и когда я буду иметь честь вас допрашивать...

Его увели.

Дзержинский прошелся из угла в угол, постоял у окна, потом повернулся к Веретилину и спросил:

— Заговор?

— Надо думать — заговор! — ответил Веретилин. — Судите сами — этот типчик явно грозит восстанием, Александрович не появляется вторые сутки...

А шестого июля в три часа пополудни двое неизвестных вошли в здание немецкого посольства. Посол Германии, граф Мирбах, не сразу принял посетителей. Им пришлось подождать. Ждали они молча — секретарша в это время просматривала в приемной газеты. Минут через двадцать раздались уверенные шаги Мирбаха; он властной рукой распахнул дверь, и, когда дошел до середины приемной, один из посетителей протянул ему бумагу — свой мандат. В это мгновение другой выстрелил из маленького пистолета в грудь послу, но не попал. Мирбах рванулся к двери. Тот, который протянул бумагу, скривившись, швырнул гранату, которая с грохотом взорвалась в углу возле камина. Уже в дверях Мирбах упал навзничь — четвертая пуля попала ему в затылок. Диким голосом, на одной ноге визжала белокурая секретарша; по лестнице вниз, в подвал, скатился второй советник, захлопнул дверь, стал придвигать к ней комод. Хрипя, граф умирал один на пороге своей приемной; никто не пришел ему на помощь, даже военный атташе заперся в своем кабинете. Медленно оседала пыль, поднятая взрывом. На старой липе во дворе встревоженно кричали вороны.

Уже смеркалось, когда Дзержинский склонился над телом убитого посла. Холодные, в перстнях, пальцы Мирбаха сжимали комочек бумаги — мандат на имя некоего Блюмкина с подделанной подписью Дзержинского. Убийца выдал себя с головой; по с кем пришел сюда, кто был вторым?

Расспросы персонала посольства не дали ничего: швейцар видел двух людей в пиджаках. Секретарша утверждала, что один был в пальто, которое он почему-то не снял. Истопник, белобрысый пруссак с офицерской выправкой, настаивал на том, что один из преступников был в пиджаке, другой в гимнастерке.

Когда Дзержинский и Веретилин выходили из здания посольства, к крыльцу, фыркая и постреливая, подъехал маленький оперативный «бенц-мерседес». Рядом с шофером сидел помощник Веретилина — Вася; губы у него вздрагивали, по лицу катился пот.

— Еще что-нибудь случилось? — спросил Дзержинский.

Стараясь говорить спокойно, Вася рассказал, что произошло восстание в полку, которым командует Попов. Мятежники отказываются выполнять приказы правительства. Попов объявил себя начальником всех мятежных сил России; на Чистых Прудах и Яузском бульваре мятежники останавливают автомобили и прохожих, отбирают деньги, оружие и отводят в Трехсвятительский переулок, в особняк Морозова, где помещается штаб.

— Вы что, сами там были? — спросил Дзержинский.

— Еле вырвался, — сказал Вася. — Вот куртку на плече разодрали. Пьяные, песни орут, пушки какие-то себе привезли.

Дзержинский стоял возле маленького «бенца» — молчал, думал. Веретилин и Вася молчали тоже, медленно постукивал невыключенный мотор; было душно, низкие тучи ползли над притихшей Москвой.

— Еще есть новости?

— Есть: Александрович украл кассу.

— Восстания в Арзамасе, в Муроме, в Ярославле, в Ростове Великом и Рыбинске, — тихо заговорил Дзержинский, — я предполагаю, связаны друг с другом — отсюда, из Москвы. Тут цепочка. Надо ухватить это звено — убийство Мирбаха, тогда, должно быть, удастся выдернуть всю цепь, тогда мы наконец узнаем, какая бабка ворожит преступникам отсюда, из столицы.

— Отсюда? — спросил Веретилин.

— Отсюда! — убежденно подтвердил Дзержинский.

Из открытых окон апартаментов убитого посла донесся хриплый крик графини Мирбах, потом сделалось совсем тихо, потом она опять закричала. В это время из серых, душных сумерек медленно выполз открытый двенадцатицилиндровый автомобиль

с флажком иностранной державы на радиаторе; на кожаных подушках, отвалившись, неподвижно сидел господин в мягкой шляпе, в широком светлом плаще. Машина остановилась, шофер открыл капот, господин в шляпе, закуривая сигарету, вытянулся к раскрытым окнам, за которыми кричала графиня Мирбах.

— Проверяет — убит или не убит, — сказал Вася.

Шофер со скрежетом захлопнул капот, сел на свое сиденье: машина, мягко покачиваясь, без огней, растаяла в сумерках.

— Не без них дело сделано! — сказал Веретилин, кивнув вслед машине. — Проверяет Антапта работу своего Блюмкина.

Дзержинский шагнул к «бенцу», сел рядом с шофером и сказал Веретилину, дотронувшись до его плеча:

— Я еду в Трехсвятительский. Надо этот узелок развязать. С мятежниками Владимир Ильич покончит быстро, мятеж будет разгромлен, банда сдастся, а заговорщики — головка банды — уйдут переулочками, подвальчиками, спрячутся у своих — отсилятся. Надо развязать узел сейчас, немедленно. В азарте, с закружившимися головами все эти паполеончики болтливы, хвастливы; предполагаю, — удастся нам разобраться в обстановке...

Широкое лицо Веретилина изменилось, даже в сгустившихся сумерках было видно, что он побледнел.

— Тут дело такое, товарищ Дзержинский, — быстро, с тревогой заговорил Иван Дмитриевич, — они ведь ни с чем не считаются, — пьяные, головы потеряли, вы учтите...

Дзержинский кивнул:

— Да, но время, Веретилин, никак не терпит. Упустим нить заговора, — сколько тогда честной крови прольется еще, сколько несчастий произойдет!..

Веретилин быстро встал на подножку машины, спросил напористо:

— Разрешите с вами? Мало ли что...

— Не разрешаю! — сурово оборвал Дзержинский. — Отправляйтесь в ЧК, там дела много. Не дурите, Веретилин!

Иван Дмитриевич отпустил дверцу машины, шофер включил скорость.

Автомобиль, скрипнув старыми рессорами, развернулся и исчез во мраке.

— Что же теперь будет? — спросил Вася.

Веретилин закурил, рука его со спичкой дрожала.

— Что ж ты будешь делать, когда он страха не понимает? — сказал он. — Интересы революции требуют, — значит, все...

Иван Дмитриевич помолчал, раскуривая трубочку, потом добавил тихо, домашним, добрым голосом:

— Вот учись, Василий. Запоминай, чего судьба тебе подарила видеть, какого человека. Потом внукам расскажешь...

В это самое время «бенц» подъезжал к Чистым Прудам.

Где-то далеко, над ржавыми крышами погромыхивал гром, поблескивали зарницы, не частые, но яркие и продолжительные.

В мелькнувшей зарнице Дзержинский увидел: от корявого, разбитого дерева к подворотне вытянулась цепочка людей, винтовки с примкнутыми штыками, пулемет на перевернутой подводе, шинель внакидку, командир прохаживается распояской, тычет пистолет в лицо какому-то длинному парню.

— Эти самые и есть! — сказал шофер, замедляя ход. — Дальше не пустят...

— Поезжайте! — коротко ответил Дзержинский.

Шофер нажал акселератор, машина прыгнула вперед, шинели расступились, сзади, не сразу, прогрехотали два выстрела. Шофер еще поддал газу, машину стало валять из стороны в сторону — мимо костров, освещающих высоко задранные стволы пушек, мимо орущей толпы, пока вдруг не пришлось затормозить, — тут был битый кирпич, песок, ящики — что-то вроде баррикады. Тотчас же подлетел сутуловатый человек в кепке, надвинутой на самый нос, заругавшись, стал рвать дверцу машины, в другой руке у него тускло поблескивал никелированный «Смит и Вессон». При свете большого костра, над которым кипел котел, Дзержинский, слегка высунувшись из машины, жестко, словно ударил, сказал:

— Уберите руки!

Человек в кепке, узнав Дзержинского, сомлевал, отступил от машины, сказал осевшим голосом:

— Да разве ж мы знаем... Нам приказано, мы и того... Вы не сомневайтесь, товарищ Дзержинский...

От костра шли к «бенцу» другие — с винтовками, с пистолетами. Тот, что был в кепке, вдруг властно крикнул:

— А ну, отойди назад! Сам Дзержинский едет — вот кто.

Какой-то захудалый человек, с клочкастой бороденкой, в разбитых сапогах, не поверил — подошел ближе.

— Где у вас штаб? — сурово спросил Дзержинский. — Как туда проехать?

Толпа задвигалась. Один, в серой рубашке, приказал:

— Клименко, проводи! — и объяснил Дзержинскому: — Двором придется ехать, товарищ Дзержинский, пачальство скомаандовало тут все перегородить...

Клименко — тот, что был с бороденкой, в разбитых сапогах, — пошел перед машиной, ласково советуя:

— Левее бери, машинист! Колдобина тут. Еще левее, засадишь самопер свой. Еще левее — вот по-пад помойкой, вот где рукой показываю...

Потом шел рядом с Дзержинским, спрашивая тихо:

— Неужели иначе нельзя? Давеча сам Александрович собрание сделал — грозитя каждого третьего расстрелять, если кто изменит великому, говорит, делу. А какое оно такое великое дело? Ребята сомпеваются — зачем шум подняли? Которые с переную проспались — запротестовали: мы не хотим против Ильича идти! Костька Садовый так сказал — его тут на месте и застрелил сам Попов. Лежит под степочкой; а за что убили человека?

— Уходите отсюда все, пока целы! — резко сказал Дзержинский. — Кого возьмем с оружием в руках, того щадить не будем. Против своих братьев, против рабочих и крестьян мятеж подняли. Кто ты сам-то?

— А водопроводчик я! — сказал Клименко. — Шестнадцать лет при этом деле состою...

Человек в офицерской кожаной куртке с бархатным воротничком, в ремнях, в маленькой барашковой шапочке, преградил Дзержинскому дорогу, нагло усмехаясь маленьким женским ртом, спросил:

— Кого я вижу? Неужели сам товарищ Дзержинский?

— Проводите меня в штаб! — сухо и спокойно сказал Дзержинский.

— А вот штаб! Вот, где пулемет у двери. Только ничего хорошего вас там не ожидает, смею вас уверить...

Не отвечая, Дзержинский перешел переулок; толпа перед ним расступилась; было слышно, как Клименко за спиной Дзержинского торопливо объясняет:

— Сам, один приехал, вот вам крест святой — приехал в машине: где, спрашивает, штаб? Даже без фуражки идет, фуражку в машине оставил...

В особняке два раза подряд хлопнули выстрелы. Клименко испуганно спросил у высокого, с обвисшими усами, сильно выпившего дядьки:

— Судят?

— Судят, — затягиваясь махоркой, сказал дядька.

— Которого уже?

— Шестого застрелил. Ванная комната там есть и в ней вроде прудок — плавать, вот там и стреляет.

— Александрович?

— Он...

— Слушай, Фомичев, — быстро, шепотом, захлебываясь заговорил Клименко, — слушай, друг, мы земляки, одного огорода

картошки, верь не верь, чтоб дети мои померли с голоду, коли вру, Фомичев, мне сейчас сам Дзержинский, сам лично сказал: давай уходите отсюда, пока целы, на своих братьев пошли; кого возьмем с оружием в руках — пощады не будет. Слушай, Фомичев, больно нам надо за этих акул пропадать. Слушай, ты меня сейчас под стенку подвести можешь, я тебе говорю; давай собирай ребят, которые понадежнее, я тут все щели знаю, — уйдем, покаемся, ничего нам не будет, а, Фомичев?

Фомичев нагнулся к маленькому Клименке, заглянул ему в глаза.

— Сам Дзержинский так сказал? Не врешь?

— Та господи! — в отчаянии опять зашептал Клименко, и борода его задрожала. — Обманули ж нас. Обманули Александрович с Поповым, мы без понятия... Разве ж можно против Ленина идти, Фомичев?

Вдвоем они отошли в сторону, встали под низкие ворота, потом к ним подошел Жерихов — бывший повар из студенческой столовой, с ним еще трое...

— Гранаты бери! — сурово командовал Фомичев. — Отобьемся, граната дело такое — надежное. Клименко поведет. Сначала как бы прогуливаться будем, выпивши, пу, а потом пырнем. Там всего один человек и стоит — лабазник Гушин. Я его, собаку, знаю, приколоть — и на свободе...

Впятером развалисто, валкой походкой они вышли из подворотни, свернули в переулок, подождали...

Дзержинский в это время медленно поднимался по лестнице Морозовского особняка. Где-то в конце коридора еще раз глухо грохнул пистолетный выстрел. Двое часовых с карабинами испуганно пропустили председателя ВЧК. Из раскрытых дверей бильярдной доносилась песня:

Как у нас да у нас проявился приказ
Про дешевое вино — полтора рубля ведро.
Как старик-от испил, он рассудок погубил,
Свою собственну супругу в щепки-дребезги разбил...

Висячая керосиновая лампа освещала комнату с двумя бильярдами, с лепными, закопченными потолками, с ободранными штофными обоями. На краю бильярда, свесив безжизненные, словно без костей, ноги, сидел узколицый, бледный гармонист. Возле него, перебирая по наборному паркету каблуками, пристукивая, прищелкивая с оттяжкой пальцами, прохаживался корявый человечик, с серьгой в ухе и каменной улыбкой. Он все собирался сплясать, да не мог, сбивался. На полу у стен, на обоих бильярдах и под бильярдами спала «братва» вповалку; где

чьи руки, где чьи ноги — не разобрать. Тут же играли в карты; деньги и золотые вещи навалом лежали где попало. Здоровенный ларень — косая сажень в плечах — пил спирт из маленькой серебряной стопочки; выпивал стопочку, закусывал сахаром с серебряной ложечки.

— Где Попов? — громко спросил Дзержинский.

В бильярдной стало потише, кто-то из спящих оборвал храп на высокой ноте.

— А тебе... на что Попов? — сразу откликнулся корявый человечиска.

И пошел к Дзержинскому косенькими, притапцовывающими шажками.

Другой, в папахе, трезвый, отпихнул корявого, подошел вплотную к Дзержинскому и сказал твердо:

— Напрасно сюда пришли, гражданин Дзержинский...

Корявый опять полез вперед, значительно поднял вверх грязный палец:

— Заявляю категорически и ответственно: идите отсюда, пока чего худого не сотворилось. Тут вам подчинения нету. Тут самостоятельная республика, которая восставшая и не может более находиться...

Гармонист завыл снова:

Свою собственну супругу в щепки-дребезги разбил...

Сквозь вой Дзержинский услышал за своей спиной короткое щелканье и резко обернулся: приземистый, беловолосый, с плоским лицом финн поднимал огромный, тяжелый пистолет. Чтобы вернее попасть, финн уложил ствол пистолета на сгиб левой руки и целился, прищулив один глаз.

— В грудь стреляй! — крикнул ему Дзержинский. — Или ты умеешь стрелять только в спину?

Он шагнул вперед, вырвал у убийцы пистолет, швырнул на паркет и молча несколько секунд смотрел в белые от страха глаза. В бильярдной сделалось тихо, игроки бросили карты; было слышно, как проснувшаяся оса бьется в стекло.

— Где Попов?

Никто не ответил. Где-то близко опять хлопнул пистолетный выстрел. Гармонист сидел неподвижно, спустив гармонь на колени, — засыпал. Дзержинский не торопясь повернулся спиной к финну и тотчас же услышал, как кто-то быстрым, сильным шепотом приказал:

— Брось, Виртанен!

Не убыстряя шага, не оборачиваясь, Дзержинский прошел всю бильярдную, пнул сапогом попавшуюся по пути четверть

с самогоном; бутылъ, жалобно тренькнув, разбилась, самогонка полилась по паркету. Так и не обернувшись на добрую сотню взглядов, сверливших ему спину, худой, в солдатской, чисто выстиранной гимнастерке, без фуражки, с пушистыми, золотящимися волосами — один среди пьяных мятежников, — он прошел еще две комнаты спокойным, размеренным шагом, изредка спрашивая:

— Где Попов? Где Александрович?

Его узнавали, перед ним подтягивались, обдергивали ремень... Смелость, сила духа, мужество и спокойствие Дзержинского поднялись до той степени, когда трезвеют пьяные, пугаются далеко не трусливые, теряют самообладание забубенные головы. Обвешанные лимонками и гранатами, татуированные, они не верили ни в бога, ни в черта, ни в папу, ни в маму, ни в вороный гай, ни в волчий вой — ни во что, кроме пули в упор да удара клинком от плеча до бедра...

Один такой — с блеклым, сморщенным личиком, с вытекшим, навеки закрывшимся глазом, с огромными руками душителя — загородил какую-то резную дверь и спросил скопческим голосом:

— Кого, кого? Попова тебе надо?

— С дороги! — тихо, одними губами приказал Дзержинский. — Ну!

Циклоп оскалился, но Дзержинский сдвинул его с пути, и бандит поддался — Дзержинский мог идти дальше, путь был свободен, как вдруг кто-то крикнул напряженным, страстным, злым голосом:

— Товарищ Дзержинский? Где же правда?

И Дзержинский остановился.

Тут, в зале, на подоконниках, на инкрустированных медью столиках, везде горели свечи, воткнутые в бутылки. Мерцающий свет дико озарял всклокоченные головы, папахи, матросские бескозырки, толпу, шедшую за Дзержинским из других комнат Морозовского особняка, и тех, кто спал здесь, раскинувшись на полу, пьяных и трезвых, солдат, матросов, бывших приказчиков и портных, зубного техника в косо насаженном пенсне, хромого провизора, ставшего кавалеристом, громилу, нашедшего себе дело по душе при штабе Попова, девицу в платочке, лузгающую семечки, и того, который спросил, где же правда.

Дзержинский взгляделся: к нему протискивался человек лет пятидесяти, с простым и грубым лицом. На нем был солдатский ватник с тесемками, подпоясанный ремнем, непомерно большие башмаки. Странно и горячо блестели на его ничем не примечательном лице большие, иступленные глаза, и было видно, что человек измучен и ему непременно надобно говорить.

— Где правда? — опять закричал он. — Ты к нам пришел без страха, ты нам, значит, веришь; скажи, где правда? За что воевать? Один говорит — туды стреляй, будет тебе все, как надо. Другой говорит — сюды стреляй, тоже будет, как надо. Ты сколько лет в тюрьмах мыкаешься за парод, ты бесстрашно пришел к нам, к безобразным, к пьяным, и не подольстился, самогону четверть разбил. Ты Ленина выдаешь — говори нам все без утайки, говори, как жить! Пока говорить будешь — никто тебя не тронет, самого Александровича застрелю, не побоюсь. Говори, чего такое есть продотряды, почему крепкого хозяина разоряете, говори все как есть — правду...

Циклоп стоял за спиной Дзержинского, в душном зале гудела толпа, люди напирали друг на друга. Кто-то стал ругаться; его ударили в зубы, на мгновение завязалась драка, и тотчас же опять все стихло. Светлыми, яркими глазами Дзержинский оглядел людей; бледные щеки его вспыхнули румянцем, он встряхнул головой, подался вперед, прямо к жарко дышащим людям, и сказал так, как он один умел говорить — грустно и жестко, сказал правду, только чистую правду.

— Вы обмануты, понимаете? Обмануты жалкими, ничтожными изменниками, ищущими только личного благополучия, только власти, только своекорыстия! Вас подло обманули, вас натравили против законнейшей в мире власти людей труда, вас напоили спиртом, украденным из аптек, вам дали деньги, украденные у государства, к вам втесались уголовники, громилы, отродье человечества...

Легким движением он глубже втиснулся в раздавшуюся толпу и подтащил к свече человека в пиджаке с чужого плеча, с зачесами на лысеющей голове. Выкатив глаза, человек пробовал было вырваться из рук Дзержинского, но толпа угрожающе зашумела.

— Вот он! — сказал Дзержинский. — Его кличка Добрый. Знаете почему? В тринадцатом году дети помешали ему грабить, и он топором порубил троих. Хорош?

Добрый выкрутился наконец из рук Дзержинского и юркнул в толпу, но его отшвырнули, и он прижался к стене, закрыв голову руками, чтобы не били по голове. Но его никто и не собирался бить — о нем уже забыли.

Жесткими, сильными, простыми и понятными словами Дзержинский говорил теперь о хлебе и о том, почему остановились заводы и фабрики. Он говорил о спекулянтах и мешочниках, о великой битве за хлеб, о том, что делает правительство для спасения страны от голода, говорил о том, как в Царицыне навели порядок, как пойдут оттуда эшелоны с зерном, как,

несомненно, наладится жизнь и какая это будет прекрасная жизнь. Он говорил о Ленине, о Ленине и о бессонных ночах в Кремле, говорил о том, что много еще предстоит пережить трудного, что матери еще будут терять своих сыновей и будет еще литься кровь честных тружеников, но победа восторжествует и взойдет над исстрадавшейся землей...

— Значит, верно! — рыдающим голосом закричал тот, кто спросил о правде. — Значит, есть на свете для чего жить?

— Давай, братва, заворачивай отсюда, идем! — закричал другой.

— Идем! — радостно загудели в ответ дюжие глотки.

— Идите и сдавайтесь! — властно, спокойно сказал Дзержинский. — Сдадитесь, и вас простят!

Толпа рванулась к двери в Морозовскую гостиную, но там грянуло два пистолетных выстрела, и в это же мгновение на Дзержинского навалились сзади. Дыша водочным перегаром, крихтя и ругаясь, телохранители Александровича скрутили ему руки ремнем, и тут Дзержинский увидел Попова. Бледный, толстогубый, с тускло отсвечивающими зрачками, весь в коже, с желтой коробкой маузера, он вытянул вперед голову и спросил пегромко, пришептывая:

— Ну как, товарищ Феликс? Поагитировали?

Он был трезв, выбрит, от него пахло английским одеколоном — лавандой, как в давние времена от жандармского ротмистра в варшавской тюрьме «Павиаки». Душистая египетская сигарета дымилась в его пальцах. Мысль Дзержинского мимоходом коснулась и сигареты: Антанта снабжает своего человека.

— Пока вы тут агитировали, мы телеграф взяли! — сказал Попов, кривя толстые губы.

— Ненадолго! — ответил Дзержинский.

— У нас более двух тысяч народу! — почти крикнул Попов.

— Либо обманутых, либо уголовников и преступников! — спокойно добавил Дзержинский.

У Попова на лице выступил пот, он утерся платочком, хотел было что-то сказать, но Дзержинский опередил его.

— Где Блюмкин? — спросил он, наступая на Попова.

— Какой Блюмкин?

— Не валяйте дурака! — прикрикнул Дзержинский. — Мне нужен Блюмкин!

Попов удивленно вскинул брови.

— Вы, кажется, повышаете на меня голос? — как бы поинтересовался он. — Вы забыли, что арестованы?

— Кем?

— Властью.

— Вы не власть! Вы ничтожество, жалкий изменник, предатель, купленный за деньги!

На лбу у Попова снесва выступил пот, вздулась жила. Боголюбский и Шмыгло — телохранители Александровича — кажется, ухмылялись. На улице, перед особняком, кто-то ударил гранатой, в зале со звоном рассыпалось стекло. Боголюбский — бывший боксер, с перебитым посом, — побежал узнать, что случилось. Шмыгло, тяжело переваливаясь на коротких ногах, зашагал к окну, свесился вниз. Там треснула пулеметная очередь, страшно закричала женщина, опять ударила бомба-лимонка.

— Эти уйдут! — сказал Шмыгло. — У них пулемет свой есть.

Попов вдруг топнул ногой, закричал, чтобы Шмыгло убирался к черту, его не спрашивают, уйдет там кто-то или не уйдет. Дергаясь, кривя рот, Попов вытащил из коробки маузер, велел Дзержинскому идти в дверь налево.

— Только за вами! — издевательски вежливо сказал Дзержинский.

Попов весь перекосясь, опять закричал, размахивая маузером, что не намерен терпеть издевательства над собой, что он не потерпит, что Дзержинский арестован...

— У вас, кажется, истерика! — брезгливо сказал Дзержинский. — И не размахивайте маузером — он может выстрелить и вас изувечить...

Пинком распахнув дверь, Попов пошел вперед — в свой кабинет. Дзержинский со связанными за спиной руками медленно шел за ним. Сзади, отдуваясь и пыхтя, плелся толстый Шмыгло. В кабинете Попова шипя горела ацетиленовая лампа, на столе стояли стаканы и непочатая бутылка французского коньяку. За открытыми окнами погромыхивал гром, поблескивали длинные, розовые молнии. Дзержинский сел. Ремень нестерпимо больно въелся в кисть руки.

— Если вы дадите честное слово не бежать, я прикажу развязать вам руки! — сказал Попов.

Дзержинский молча посмотрел на Попова. Тот взял со стола сигарету, зажег спичку, жадно затянулся. Шмыгло, сопя, развязал ремень. В дверь без стука протиснулся квадратный человек с мутными глазами, в офицерском френче, сказал с порога:

— Человек двести смылось. Гранатами дорогу пробили и ушли к Яузе. Шестнадцать человек подранков я к стенке поставил и пустил в расход...

— Вы бы лучше застрелились, Попов, — медленно произнес Дзержинский. — Карты у вас фальшивые, крапленые, игра кончена, попадетесь — расстреляем со всеми вашими бандитами...

У Попова на лбу опять надулась жила, в глазах заиграли желтые огоньки; не спеша, словно крадучись, он еще раз потянул из коробки маузер, но раздумал:

— Вы у нас заложником. Покуда вы тут — красные не станут нас обстреливать. Ну, а мы позабавимся.

И кивнул квадратному в бриджах:

— Начинайте, Семен Сергеевич!

Квадратный козырнул двумя пальцами, карандашом продавил пробку в бутылку, палил полный стакан коньяку и медленно выпил.

В углу бесшумно отворилась маленькая дверца, Боголюбский привел Евстигнеева — того, в маленькой барашковой шапочке, в кожаной офицерской куртке, который сказал Дзержинскому, что ничего хорошего его здесь не ждет.

— Будете охранять бывшего председателя ВЧК Дзержинского, — сказал Попов. — Находитесь тут неотступно. В крайнем случае стреляйте, но только в крайнем. Дзержинский нам еще понадобится...

— Слушаюсь! — лихо оторвал Евстигнеев.

Попов вынул из ящика стола две обоймы для маузера, положил в косой карман куртки гранату, белыми крупными зубами рванул кусок колбасы. Квадратный, в бриджах, еще хлебнул коньяку. Шмыгло с винтовкой встал за дверью, Боголюбского Попов усмал с приказом на батарею. Посовещавшись шепотом, квадратный и Попов ушли. Ацетиленовая лампа жалобно зашипела в тишине. Евстигнеев прогуливался по комнате, по пушистому ковру, поскон сапога вороша ворс, поддевая окурки, и негромко напевал:

Гори, гори, моя звезда...

— И что же, вы серьезно надеетесь на успех? — спросил Дзержинский.

Евстигнеев усмехнулся своим женским ртом, его зеленые глаза зло блеснули. Наливая себе коньяк, ответил:

— Не только надемся, но уверены. Разведка показала — ваши войска стоят лагерем на Ходынском поле: сколько их там? Горсточка? У нас есть спирт, мы взяли две цистерны, это не так уж мало. Наши люди этим спиртом вчера и сегодня торговали и притом чрезвычайно дешево. По не-бы-ва-ло дешевым ценам, так сказать — себе в убыток. Кроме того — прошу не забывать — нынче канун Ивана Купалы, кое-кто из ваших по этому случаю отпущен восвояси. Ну-с... есть у нас артиллерия, есть снаряды...

Со стаканом коньяку в руке он остановился против Дзержинского, самоуверенный, розовый.

— Кто у вас главный? — спросил Дзержинский.

— А вам зачем? — усмехнулся Евстигнеев. — Так? На всякий случай? Или вы думаете, что мы вас отпустим?

Он допил коньяк, глубоко сел в кресло, вытянув вперед ноги, и начал было что-то говорить, но в это время грохнули пушки, за окном на мгновение стало светло, у коновязи внизу испуганно заржали лошади. Мятежники начали сражение.

— Наводчики у нас толковые! — сказал Евстигнеев. — Скоро кое-кому станет жарко. Если не к утру, то к вечеру все кончим...

— Вот так, обстрелом?

— Почему только обстрелом? У нас в городе, в местах, о которых вы и не подозреваете, есть группы боевиков, снабженные оружием и подготовленные...

Опять загрохотали пушки, Евстигнеев, точно боевой конь, услышавший звуки трубы, вскинул голову, не усидел в кресле — опять пошел ходить взад и вперед.

— Убийство Мирбаха — только мелкий эпизод в нашем деле! — говорил он, блестя зелеными глазами. — Убийство Мирбаха — пустяк, хотя он должен, по нашим расчетам, вызвать конфликт между Советской страной и Германией. У Александровича связи шире и глубже. Да что Александрович — я вижу, вы не считаете его серьезным противником. Если говорить прямо — я с вами согласен. Конечно, и Александрович, и Попов — личности сильные, но не в них дело. Мы все — плотва...

— Есть и щука? — насмешливо спросил Дзержинский.

— Есть.

— Лжете! Нет у вас щук!

Евстигнеев выпил еще коньяку, лихо выбил ладонью пробку у другой бутылки, налил полстакана.

— Хотите выпить?

— Нет.

— Ну и не падо, я выпью сам... Презираете?

— Как всякого изменника! — холодно сказал Дзержинский.

Евстигнеев задохнулся от злобы, несколько секунд бессмысленно смотрел на Дзержинского, потом потянулся за револьвером. Дзержинский сидел неподвижно. Молчали долго. Евстигнеев наконец сунул револьвер в кобуру, спросил:

— Не хотите работать с нами?

Дзержинский усмехнулся.

— Нам нужны такие люди, как вы! — сказал Евстигнеев. — Вы смелый человек, вы решительный человек! Идите к нам!

И вдруг его прорвало. Он заговорил быстро, не контролируя себя, не вслушиваясь в то, что говорит, он хвастал, называл имена, фамилии, говорил о том, как построена боевая организация,

рассказывал об иностранных дипломатах, которые предлагают помощь, об оружии, которое придет из-за границы, о «крепком хозяине», который поддержит мятеж во всей России.

Дзержинский сидел отвернувшись, казалось, что он слушает рассеянно. Можно было подумать, что он дремлет.

Евстигнеев убавил пафос.

— Вы не слушаете? — спросил он.

— Слушаю! — отозвался Дзержинский. — Я председатель ВЧК, мне эти вещи надо знать..

— Вы больше не председатель! — крикнул Евстигнеев. — Ваша песня спета. Вы можете спасти свою жизнь, если пойдете с нами...

В это мгновение за особняком разорвался снаряд, осколки с визгом пронесли по улице, потом шарахнуло ближе, потом чуть дальше — красная артиллерия начала пристрелку по гнезду мятежников. У Евстигнеева на лице выразилось недоумение, но он хватил еще стакан коньяку и успокоился.

— И все-таки у вас ничего нет! — сказал Дзержинский. — Все то, что вы рассказали — вздор, авантюра. Массы за вами не пойдут. А если и пойдут, то только те люди, которых вы обманете.

Евстигнеев опять заспорил.

— У нас крупные связи! — заявил он. — У нас достигнуто взаимопонимание с некоторыми...

Он запнулся, вглядываясь в Дзержинского.

Особняк Морозова зашатался, с потолка посыпалась штукатурка. Шмыгло взрывной волной бросило в кабинет, по коридору, визжа, охая, побежали люди. Дзержинский спокойно отодвинул фонарь от края стола, чтобы не упал, и спросил таким тоном, словно он вел разговор у себя в ЧК, на Лубянке:

— С кем же это у вас достигнуто взаимопонимание?

Евстигнеев, трезвея, удивленно моргал.

— Вы что, допрашиваете меня? Может быть, вы забыли, что арестованы вы, Дзержинский.

— Слушайте, Евстигнеев, — сухо сказал Дзержинский, — меня партия назначила председателем ВЧК, и я перестану им быть только мертвым. Ваша игра проиграна. Через несколько часов вы будете разбиты наголову, пролетарская революция победила. Что бы вы ни устраивали — история расценит как непристойную авантюру, ваши имена станут символами подлости, предательства, измены, прощения вам нет, но смягчить свою участь вы еще можете. Много вы рассказали, говорите все, до конца. Слышите? До самого конца, все, что вам известно, все связи, все имена...

Опять разорвался снаряд, за окном кто-то длинно завыл. Сорвавшись с коновязи, бешено застучав копытами, пронеслась по булыжникам лошадь...

— Вы будете говорить?

— Я вам ничего еще не сказал! — крикнул Евстигнеев. — Я болтал, я просто так, я...

— Вы мне сказали многое. Говорите все!

— Я не буду говорить! Я не желаю!

Над особняком пронеслось еще несколько спарядов, и тотчас же стали рваться зарядные ящики на батарее. Где-то близко ударили пулеметы, пошла винтовочная стрельба пачками. В дверь просунул голову Шмыгло, сказал негромко:

— Товарищ Дзержинский, сюда будто... ваши...

— Хорошо! — сказал Дзержинский. — Стойте там, где стояли.

Шмыгло с винтовкой опять встал за дверью. Дзержинский свернул папиросу, вставил ее в мундштук, закурил.

— Ладно! — сказал Евстигнеев. — Ваша взяла. Мои условия такие...

— Никаких условий! — перебил Дзержинский. — Попятно?

Лицо Евстигнеева приняло жалкое, умоляющее выражение.

— Ну?

— Хорошо. Я начинаю с самого низу.

— Сверху! — приказал Дзержинский. — Вот с тех, с которыми у вас достигнуто взаимопонимание. Вы начнете с них...

Евстигнеев кивнул и начал говорить, но не договорил и первой фразы. Оранжевое пламя взметнулось совсем рядом, с ревом, словно водопад, вниз ринулись кирпичи, балки...

Плохо соображая, Дзержинский соскользнул по каким-то доскам на землю и очутился возле убитой лошади. Сознание медленно возвращалось к нему. А когда мысли опять стали ясными, он попытался пайти кабинет, где говорил с Евстигнеевым. Но ни кабинета, ни Евстигнеева, ни Шмыгло больше не существовало. В небе по-прежнему шелестели снаряды и рвались там, где стояли пушки мятежников.

При свете разгорающегося пожарища Дзержинский поднял с земли паган, сунул его в карман и медленно зашагал к Чистым Прудам. Где-то слева били два пулемета, там еще дрались. Прямо на тротуаре стоял броневик, красноармеец курил в рукав.

— Какой части? — спросил Дзержинский.

Красноармеец встал, из дверцы высунулось другое, доброе, курносое лицо. Оба напряженно всматривались в Дзержинского.

— Я — Дзержинский! Спрашиваю — какой вы части?

Красноармеец быстрым тенорком ответил: такой-то и такой-то.

— А где стреляют? — спросил Дзержинский.

— Та так, баловство уже! — ответил красноармеец. — Кончили мы с ними. Народу к нам много перешло, а которые не хотели, ну что ж...

— Хлеба у вас нет? — спросил Дзержинский.

Красноармеец с рвением поискал по карманам, слезал в машину, вытащил колючую горбуху, пахнущую бензином. Дзержинский отломил, попрощался, пошел дальше. На Чистых Прудах четыре человека вели пленных, и Дзержинский услышал вдруг знакомый голос того самого водопроводчика, который показывал машине дорогу в штаб...

— Я тебе, гаду, разъяснял, — говорил водопроводчик, — я тебе советовал, а ты что? Вот и добился до своей могилы...

К десяти часам утра листок со схемой организации мятежников лежал перед Дзержинским. Вокруг стола сидели чекисты, измученные волнениями за Феликса Эдмундовича, слухами о том, что Дзержинский погиб. Сколько раз за эту ночь они пытались прорваться в Морозовский особняк! А он как ни в чем не бывало склонился над схемой, водит карандашом по бумаге, ясно, четко объясняет историю возникновения заговора левых эсеров, методы подпольной деятельности мятежников.

— Вопросов больше нет?

— Есть вопрос! — сказал Веретилин. — Вот тут на схеме проходит черта, переходящая в пунктир. Что она значит?

Дзержинский улыбнулся, но глаза у него остались серьезными.

— Призыв к бдительности! — ответил Дзержинский. — Это та нить, которая нам пока не известна. Кроме тех, кого мы уже арестовали и допросили, кроме тех, кого арестуем нынче, остается еще враг. Законспирированный, осторожный, двуликий, готовый на любые чудовищные преступления против трудового народа, против партии, против нашего Ленина. Будем же бдительны!

Тихо отворилась дверь, вошел секретарь.

— Товарищ Дзержинский, Владимир Ильич просит вас приехать к нему.

Дзержинский поднялся, поискал фуражку, но вспомнил, что потерял ее ночью. Остановившись у дверного косяка, попросил:

— Фуражку бы мне какую-нибудь, а? И табачку кто-нибудь отсыпьте, за ночь весь выкурил.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

Выходя из кабинета, чтобы ехать на вокзал, он поднял воротник шинели, поглядел в заиндевшее окно и спросил:

— Холодно сегодня?

— Деятнадцать градусов, — ответил секретарь.

Дзержинский поежился и вышел.

Внизу, вместо автомобиля, стояли санки с облезлой волчьей полостью. На облучке — в кожаных рукавицах с крагами и с кнутом — сидел шофер Дзержинского.

— Одна лошадиная сила, — хмуро пошутил он. — Пришлось сменить автомобиль на такую штуковину. Садитесь, Феликс Эдмундович.

С видом заправского лихача шофер отвернул полость и, подождав, пока Дзержинский сядет в сани, рассказал, что сегодня «дошли до ручки» — горючее есть только для оперативной машины, и хотя ребята предлагали перелить, но он отказался, боясь, что Феликс Эдмундович рассердится, если узнает.

— Правильно, — сказал Дзержинский. — Только поедемте поскорее, а то очень холодно.

— А кучера я не допустил, — продолжал шофер, — решил, что сам справлюсь. С автомобилем справляюсь, а тут с одним косягой не справлюсь! Верпо?

— Верпо, — ответил Дзержинский.

Было очень холодно, а конь плелся, как назло, таким шагом, что Дзержинский совершенно окоченел. Шофер явно не справлялся с конем, размахивал кнутом, очень много кричал «но-но-о, соколик!», а когда спускались с горы, Дзержинский заметил, что шофер по привычке ищет ногой тормоз.

Феликсу Эдмундовичу хотелось выйти из сапок и дойти до вокзала пешком, но он боялся обидеть шофера и мерз в санках, потирая руками то лицо, то уши...

Наконец досхали. Шофер сказал на прощание, что с автомобилем куда проще, чем с «одной лошадиной силой», и пожелал Дзержинскому счастливого пути. Дзержинский нашел свой паровоз с вагоном и сел отогреваться к раскаленной буржуйке. Все уже были в сборе. Минут через двадцать паровоз загудел, и специальный поезд паркома двинулся в путь. Проводник принес начищенный самовар, стаканы, сахар, хлеб и масло. И даже молочник с молоком.

— Вот, уже удивляться перестали и на белый хлеб, на масло, на сахар, — сказал Дзержинский, — а помните сахарин и чай из этого... как его...

— Из лыка, — подсказал кто-то, и все засмеялись.

Потом стали рассматривать самовар и выяснили, что он выпущен заводом совсем недавно.

— И хорош, — говорил Дзержинский, — очень хорош. Вот только форма очень претепциозная. Модерн какой-то. Но материал хорош.

Подстаканники тоже были советские, и ложечки советские. И о подстаканниках, и о ложечках тоже поговорили и нашли, что ложечки ничего, хороши, а подстаканники ерундовские...

После чаю Дзержинский ушел в свое купе работать. Его купе было крайним, рядом с этим купе было отделение проводника, а проводник разучивал по нотам романс и мешал Дзержинскому. Романс был глупый, и Дзержинский сердился, что проводник поет такую чушь, но потом заставил себя не обращать внимания на звуки гитары и жидкий тенорок проводника, разложил на столе бумаги и углубился в работу. И только порою усмехался и качал головой, когда вдруг до сознания его доходила фраза:

Я сплету для тебя диадему
Из волшебных фантазий и грез...

Под утро специальный поезд народного комиссара пришел на ту станцию, из-за которой было предпринято все это путешествие. Станция была узловая, но маленькая, и все пути ее были забиты составами, идущими на Москву, на Петроград, в Донбасс и дальше на юг. Заваленные снегом, стояли цистерны с бензином для столицы Союза. Состав крепежного леса для шахт Донецкого бассейна стоял на дальних путях. На площадках — руда для заводов Петрограда...

Молча, хмуря брови, в шинели, с фонарем в руке ходил Дзержинский по путям, покрытым снегом. Было холодно, под ногами скрипело, от колючего мороза на глазах выступали слезы...

Вот и еще состав с крепежным лесом, вот третий состав. Сколько времени стоят здесь эти поезда? А шахтерам Донбасса нечем крепить шахты, добыча угля останавливается, шахты замирают из-за безобразий на маленькой станции, всероссийская кочегарка стоит под смертельной угрозой...

Дзержинский шел и шел вдоль состава, порою поднимая фонарь над головой, проверял пломбы на вагонах с крепежным лесом, — по крайней мере, цел ли лес, не расхищен ли?

Как будто бы цел.

Но вот вагон с раскрытой дверью, и еще один, и еще. Лес расхищен. Вагоны наполовину пусты. А этот и совсем пуст.

Дзержинский сделал еще несколько шагов вперед и остановился. Перед ним стоял огромный человек в тулупе, в драной ватной шапке, повязанной поверх платком. В руках у человека было охотничье двуствольное ружье.

— Вы сторож? — спросил Дзержинский.

— Не совсем, — сказал человек хриплым от мороза голосом.

— Что вы тут делаете?

— Пытаюсь сторожить.

— Значит, вы сторож?

Человек, повязанный платком, молчал.

— Ружье-то у вас заряжено? — спросил Дзержинский.

— Заряжено, — сказал человек. — Дроби у меня нет, так я его солью зарядил. Говорят, от соли в высшей степени неприятные ранения бывают.

— Не знаю, — сказал Дзержинский.

— А вы кто такой, осмелюсь поинтересоваться? — спросил странный сторож.

— Я не понимаю — вы тут один сторожите? — не отвечая на вопрос, спросил Дзержинский.

— Нет, не один, — сказал сторож. — Нас тут довольно много... Вот, если угодно, я сейчас маневр произведу.

Сторож сунул себе что-то в рот, и в ту же секунду морозный воздух огласился пронзительным свистом.

— Теперь слушайте! — приказал сторож и поднял руку вверх, как бы призывая Дзержинского к особому вниманию.

Где-то далеко, за составом слева раздался ответный свист, потом такой же раздался сзади, потом еще и еще...

— Не спят все-таки, — заметил Дзержинский.

— На таком морозе не больно поспишь, — ответил сторож, потом добавил: — Я дал так называемый тревожный свисток: все ко мне, аврал, рифы брать, по левому борту замечен корабль под пиратским флагом... Сейчас они все будут здесь.

«Он, кажется, сумасшедший!» — подумал Дзержинский, по промолчал. Очень скоро где-то совсем близко заскрипел снег, и из-под вагона вылез невысокий человек, весь замотанный тряпками. В руке у человека было нечто вроде алебарды. Потом появился крошечный гномик, вооруженный японским штыком. За ним прибежал гном побольше вместе с огромной собакой, покрытой ишсем...

— Можете идти по местам, — сказал странный главный сторож. — Это была пробная мобилизация. Если кто очень замерз, пусть сходит в камбуз и выпьет стакан доброго грогу. Только чур маму не будить: она сегодня очень устала.

В ответ главному сторожу что-то пропищал топкий голос, гавкнула овчарка, и гномы исчезли.

Дзержинскому сделалось смешно.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Как же при такой замечательной охране у вас могли раскрасть три вагона крепежного леса?

— Очень просто, — ответил сторож, — охраны тогда не было. Ведь что у нас происходит? По правилам, здесь паровозы

получают топливо. А топлива у нас нет. Вот и останавливаются поезда — не на чем идти дальше. Так и лес застрял крепежный, и прочие составы... Но вот как-то застрял состав с людьми — люди и разворовали лес, чтобы их паровоз мог, изволите ли видеть, идти дальше. Уж я кричал-кричал, дрался с ними — не помогло. Сами судите, их целый состав, а я один. Ясное дело — они осилили.

Чем-то этот человек очень нравился Дзержинскому, и он с удовольствием слушал его спокойный, сиплый от холода голос. Постояли, поговорили, выкурили по самокрутке, потом Дзержинский зашагал дальше по скрипучему снегу.

В вагон Феликс Эдмундович вернулся, когда совсем уже рассвело. Он промерз до дрожи, пил чай большими глотками и хмурился. Товарищи посматривали на него с опаской. Он молчал, и они тоже молчали. Погодя он послал за начальником станции, чтобы тот немедленно явился в вагон к нему, а сам ушел к себе в купе.

— Когда явится, пусть пожалует ко мне, — сказал он в дверях.

У себя он сел возле стола и задумался. В протертое проводником окно были видны запорошенные снегом составы, бескопечные составы — с рудой, с нефтью, с лесом... И безжизненные, заиндевевшие паровозы.

Как просто мог поступить начальник станции, если бы он обладал доброй волей! Потратить один-два вагона крепежного леса, затопить паровозы, доставить лес на шахты, а шахты дали бы уголь, и пробка на станции рассосалась бы в несколько дней...

В дверь постучали.

— Войдите, — сказал Дзержинский.

Дверь в купе откатилась в сторону.

— Входите, — повторил Дзержинский.

На пороге стоял человек высокого роста, усатый, в железнодорожной форме, вычищенной и отглаженной. Из-под кителя вылезал накрахмаленный воротник.

— Вы начальник станции? — спросил Дзержинский.

— Так точно, — сипло ответил вошедший, — я начальник станции.

Голос начальника станции показался Дзержинскому знакомым, он пристально поглядел в бледное усатое лицо и узнал вдруг странного ночного сторожа.

— Позвольте, — сказал Дзержинский, — мы с вами говорили ночью там, на путях...

— Так точно, — сказал начальник станции, — вы изволили со мной беседовать...

— Садитесь!

Начальник пеловко сел на край дивана и поджал под себя ноги в залатанных, но начищенных до блеска сапогах. Он глядел на Дзержинского исподлобья, и левая щека его дергалась. Видимо, он только что побрился и, бреясь, порезался, потому что на подбородке у него был наклеен кусочек бумаги. «Торопился, — подумал Дзержинский, — торопился и порезался. И боится».

— Так, — сказал Дзержинский. — Что же у вас тут делается на станции, а?

Начальник молчал. Большой, сильной ладонью он поглаживал отворот шинели и смотрел на Дзержинского в упор.

— Можно подумать, что у вас тут просто какая-то организация саботажников и негодяев, — сказал Дзержинский, — что вы нарочно не отправляете крепезный лес в Донецкий бассейн.

— Нет уж, — сказал начальник станции.

— Так ведь вы могли потратить один вагон леса и отправить эшелон... Ведь голова же у вас есть на плечах? Ведь вы думать умеете?

— Никак нет, — негромко произнес начальник станции, — хоть голова у меня и имеется, но думать и рассуждать я не обучен. Мне действительно это в голову приходило, но я не решался.

— Почему?

— Боялся.

— Да чего, чего? — воскликнул Дзержинский.

— Боялся, что скажут: тебя, дурака, поставили дело делать, а не рассуждать. Ты должен выполнять приказание, а ежели приказание не было — и исполнять тебе нечего.

Он был бледен, но смотрел теперь прямо, и в глазах его больше не было страха. Только щека по-прежнему дергалась да ноги он поджимал под себя.

Помолчали.

— А сторожили вы по собственному почину? — спросил Дзержинский.

— Так точно, — ответил начальник станции. — Для того чтобы сторожить, не надо было тратить казенное добро.

— Не казенное, а народное, — сказал Дзержинский. — Народное.

— Так точно, — повторил начальник, — народное.

Опять помолчали.

— Я буду арестован? — спросил вдруг начальник станции.

— Что? — не понял Дзержинский.

— Буду ли я арестован? — повторил начальник станции.

— Нет, не будете, — внезапно улыбнувшись своей удивитель-

пой скорбной улыбкой, сказал Дзержинский. — За что же вас арестовывать?

И, дотронувшись до руки начальника станции, он добавил:

— Только вот что. Вы дальше думайте сами. Я понимаю: старая Россия старалась нас всех превратить в бездушные машины, мы все были лишены самостоятельности, за самостоятельность нас жестоко били, но сейчас совсем не то: нам нужно думать и делать самим. За нас никто не будет думать. Поняли?

— Понял! — тихо сказал начальник станции.

— Ну вот и хорошо.

Дзержинский встал. За ним встал и начальник станции.

— Идите и отправляйте поезда, — сказал Дзержинский. — Поймите раз навсегда, что вы больше не маленький человек, не захолустный начальник станции, а что вы такой человек, от которого очень многое зависит... Ну... до свиданья!

И, протянув руку начальнику станции, он спросил:

— А что это были за люди — маленького роста, с которыми вы по ночам дежурите?

— Они не маленького роста, — сказал начальник станции. — Это просто мои дети. Мальчики. И для своих лет они даже довольно рослые.

— Вот что, — сказал Дзержинский, — дети! И много их у вас?

— Шестеро.

— Да, — сказал Дзержинский, — порядком. А мне, знаете, даже в голову не пришло, что это дети. Как сон какой-то: «с левого борта пиратский корабль», «выпей стакан доброго грогу».

Начальник слегка порозовел и опустил голову.

— Что же это значит — пиратский корабль с левого борта? — спросил Дзержинский. — И грог?

— Эта игра у нас, товарищ народный комиссар, — сказал начальник станции, — иначе им скучно сторожить эшелон. Вот я и придумал такую игру со словами насчет пиратов и грога. Я раньше выписывал для них журнал под названием «Природа и люди», а также «Мир приключений». Они и читались. За этими словами и мороз ребятам переносить легче.

Начальник станции совсем покраснел и, смущенно улыбаясь, добавил:

— А насчет грога вы не думайте. Это у нас кипяток называется, для интересу, — грог. Как-то ловчее грогу выпить добрый стакан, чем незаправленного кипяточку...

Еще два дня специальный поезд Дзержинского простоял на станции. За это время ушли эшелоны, и начальник станции со своим взводом пиратов и с супругой приходил в вагон председателя ЧК пить чай. В этих случаях Дзержинский называл чай

грогом, а на прощание рассказал мальчикам о том, как в свое время бежал из ссылки и как со своими товарищами бунтовал в Александровском центральном. Мальчики слушали раскрыв рты. Провожая гостей, Дзержинский сказал мальчикам, что если им случится быть в Москве, пусть зайдут к нему в гости.

ИНЖЕНЕР САЗОНОВ

Минут за двадцать до начала совещания Дзержинский вызвал секретаря и, продолжая перелистывать бумаги, сказал:

— Тут у нас теперь работает инженер Сазонов — из Вятки перевели. Надо узнать, какие у него условия работы, как дома, есть ли помощники — писать, чертить, составлять доклады, сводки. И надо что-то сделать насчет питания — истощен человек и работает очень много. Завтраки какие-нибудь ему организовать, а?

К началу доклада Дзержинский опоздал, — было срочное дело в ЧК, и, когда вошел в зал заседаний, инженер Сазонов уже отвечал на вопросы.

«Постарел Сазонов с тех пор, — садясь рядом с машинистом Верейко, подумал Дзержинский. — Голова совсем седая, голос не такой, как раньше».

— Интересный был доклад? — спросил Дзержинский у Верейко.

— Ничего, толковый! — ответил старый машинист. — Большой специалист, его народ уважает, хотя, конечно, кое-что ему еще не ясно в нашей жизни...

В это мгновение Сазонов встретился взглядом с Дзержинским, осекся на полуслове и несколько секунд молчал, точно позабыв, для чего он здесь, на трибуне. Потом спохватился, полистал блокнот и сказал:

— Вот эта цифра: двадцать три процента.

В зале задвигались. Двадцать три процента! Цифра означала неблагополучие, серьезнейшее неблагополучие.

— Какие двадцать три процента? — с места спросил Дзержинский. — Откуда вы взяли эти двадцать три процента? Вы проверили цифру?

Сделалось очень тихо. Дзержинский стоял у открытого окна, опершись руками на спинку стула, — высокий, в белой рубашке. Ветерок чуть шевелил его мягкие, легкие волосы. Глаза смотрели строго, лоб прорезала крутая складка.

— Вы проверили цифру?

— Я запросил, и мне дали эту цифру.

— Кто вам дал ее?

— Инженер Макашеев.

В зале засмеялись.

Председательствующий позвонил и сказал резко:

— Инженер Макашеев более интересовался мешочничеством, пежели своими прямыми обязанностями, и мы его, как вам хорошо известно, товарищ Сазонов, выгнали из наркомата...

Сазонов молчал.

— Продолжайте! — сказал председательствующий.

— Инженер Макашеев честный человек! — твердо произнес Сазонов. — Я его хорошо знаю и могу за него поручиться. История с мешочничеством — печальное недоразумение, которое, конечно, разъяснится.

Дзержинский усмехнулся, и Сазонов заметил эту усмешку. В глазах инженера мелькнуло упрямое выражение. «Помнит! — подумал Дзержинский. — Помнит и не верит! Ну что же, поверит. Непременно поверит!»

— Подсчёт неисправных тележек произведен неправильно! — сказал Дзержинский. — И дело тут не в ошибке, ошибка поправима, а дело в старых, бюрократических методах, которыми мы, к сожалению, еще пользуемся. Как все произошло с этими процентами? Инженер Макашеев потребовал справку от своего секретаря, секретарь передал требование дальше — в соответствующий отдел, отдел — в подотдел, подотдел — в подоподотдел, и пошла писать губерния до той последней инстанции, которой надлежало эту справку изготовить. Затем бумажка стала совершать свой путь к Макашееву, а оттуда к Сазонову, и кончилось дело тем, что два и три десятых процента увеличились до двадцати трех процентов. Вот вам и не виноват инженер Макашеев.

Участники совещания зашумели, машинист Вереико сердито засмеялся, кто-то сзади сказал басом:

— Инженер Макашеев свои мешочные доходы небось поточнее считает. Там не ошибается.

— Два и три десятых, товарищ Сазонов, — повторил Дзержинский, — это несколько меняет картину — не так ли? Так вот не лучше ли было бы вам лично, без вашего «честного» Макашеева, без промежуточных отделов и подотделов, без всего того бюрократизма, который остался нам в наследство от департаментов и присутствий, затребовать эту справку лично и проверить ее лично, не полагаясь на Макашеева.

— Я не могу не доверять людям, товарищ нарком, — напряженно сказал Сазонов.

— Доверяйте, но не таким, как Макашеев. Надо знать, кому доверяешь!

Кровь отлила от лица Сазопова. Он опять долго молчал, потом с трудом собрался с мыслями и медленно стал отвечать на вопрос по поводу рационализации. Было видно, как дрожат у него руки, когда он перелистывал свой большой, старый, потертый блокнот. Машинист Верейко нагнулся к Дзержинскому и шепотом сказал:

— Словно бы напугался чего-то.

По поводу рационализации Сазонов говорил плохо и скучно. Видимо, он никак не мог сосредоточиться, и выходило так, что восьмичасовой рабочий день и рационализация трудно совместимы на транспорте. Кроме того, не хватает специалистов, особенно инженеров.

— Напоминаю! — с места сказал Дзержинский. — Восьмичасовой рабочий день должен дать увеличение производительности труда, а не наоборот. Люди теперь работают не на хозяина, а на себя. Советская власть — это власть рабочих и крестьян, власть народа, и не понимать этого может только не наш человек.

Сазонов дрожащей рукой наливал в стакан воду.

— А, ей же богу, у него температура повышенная! — сказал Верейко. — Здорово так говорил, а теперь невесть чего болтает. Испанка, может, или сыпняк начинается. Меня, когда тиф начинался, двое сынов держали и племянник. Бежать хотел! Или...

Верейко внимательно посмотрел на Дзержинского:

— Или... может, он вас испугался?

— Меня?

— Ну да! Вы же не только пародный комиссар путей сообщения, вы еще и чекист — гроза всех коптриков на свете.

Дзержинский серьезно и вопросительно взглянул на Верейко.

— Старый спец — вот и боится, — пояснил свою мысль Верейко. — Не понимает, что такое критика.

— Но он честный человек! — сказал Дзержинский. — Я знаю всю его жизнь. Честный и преданный нам человек.

Сазонов отвечал на вопросы долго и подробно.

Дзержинский больше не подал ни одной реплики. Во время перерыва он подошел к Сазонову и негромко спросил его, помнит ли он восемнадцатый год в Перми. Сазонов ответил, что, конечно, помнит.

— Нам пришлось тогда арестовывать кое-кого из ваших путейцев, — сказал Дзержинский, — а группу Борейши трибунал приговорил к расстрелу. Тогда и вы были задержаны органами ВЧК. Ненадолго, кажется?

— На несколько часов. — Инженер усмехнулся: — Нелепая история! Меня, кажется, подозревали в том, что я родственник

министра Сазонова, скрывший свое прошлое. Вот я и доказывал, что не верблюд.

Дзержинский внимательно смотрел в глаза Сазонову.

— А ваш отец, если я не ошибаюсь, был учителем чистописания? Гимназия в Грайвороне?

— Совершенно верно.

— Сядемте! — предложил Дзержинский.

Они сели рядом на скамью. Инженер нервничал — это было видно по тому, как он все перелистывал и перелистывал свой блокнот, как порою вздрагивали его брови.

— Вы хорошо знали инженера путей сообщения Борейшу? Так же, как Макашеева? Или лучше? Кстати, насчет Макашеева и мешочничества. Макашеев попал в очень грязную историю. Он не только пользовался своим служебным положением для провоза продуктов для себя — он выписывал фальшивые требования на вагоны и вагоны эти отдавал спекулянтам... за взятки....

Сазонов молчал. Гадливое выражение появилось на его лице.

— Вот как обстоит дело с Макашеевым, — сказал Дзержинский. — Так вот насчет Борейши...

— Борейша был мой ближайший друг! — почти с вызовом в голосе перебил Сазонов. — Мы с ним одного выпуска и...

— Ваш ближайший друг? — негромко переспросил Дзержинский.

— Да! И расстрел его — ошибка!

— Вы уверены в этом?

— Я уверен в нем, как в самом себе! — воскликнул инженер.

Дзержинский кивнул головой.

— Да, да, — сказал он, — вы уверены в нем, как в самом себе... Что ж, зайдите ко мне... завтра днем, часа в три. Если я не ошибаюсь, Борейша был сыном губернатора и получал в студенческие годы от отца триста рублей в месяц? Так? А у вас было пять уроков по семь рублей?

Сазонов тихо спросил в ответ:

— Как вы можете это все помнить?

— По долгу службы, — просто сказал Дзержинский. — По долгу службы чекиста и железнодорожника.

Тонкими пальцами он быстро и красиво свернул папироску, вставил ее в мундштук и, закуривая, спросил:

— Скажите, вы что, меня сегодня испугались? Моих реплик? Почему вы вдруг смяли ваш доклад, о котором я слышал, что он был хорошо и интересно начат? Что, собственно, произошло? Я видел, что вы были не в форме... Впрочем, оставим этот разговор до завтра!

И Дзержинский отошел к группе машинистов, оживленно обсуждающих устройство жезла изобретателя Трегера.

Назавтра, ровно в три часа, Сазонов вошел в кабинет Дзержинского. Все окна были открыты — лил свежий, теплый, весенний дождь, над Москвой прокатывался гром.

— Садитесь, — сказал Дзержинский. — Не продует вас? Я люблю вот такой дождь!

Он открыл песгораемый шкаф, достал оттуда папку, перевязанную бечевкой, и протянул Сазонову.

— Прочитайте! — сказал он. — Это показания инженера путей сообщения Борейши А. Я. Ведь он был вашим лучшим другом?

— Да, он мой друг! — сказал Сазонов твердо и громко.

— Ну вот, читайте!

Сазонов развязал бечевку и открыл дело. Да, это его почерк — почерк Саши Борейши. Мелкие, круглые, аккуратные буквы, четкий, ясный почерк.

«Настоящим я, Борейша Александр Яковлевич...»

И вдруг Сазонов не поверил своим глазам. На мгновение ему показалось, что он сходит с ума...

— Читайте, читайте! — спокойно сказал Дзержинский.

Все было по-прежнему в этом большом, чистом кабинете, за окнами по-прежнему лил косой, свежий, весенний дождь. А Сазонову казалось, что молния ударила где-то совсем близко.

«...скрывший свое происхождение — ближайший родственник министра иностранных дел при Николае Кровавом, Сазопова С. Д., — инженер Сазонов А. В. пытался создать диверсионную группу на нашем узле и в разговорах несколько раз прямо призывал меня и других моих коллег к «действенным формам борьбы с красными»...»

Инженер читал.

Он не слышал, как входили и уходили люди, не слышал, как звонил телефон, не замечал, как ушел и вернулся Феликс Эдмундович. Сердце Сазонова билось тяжело, толчками. После показаний Борейши он читал показания других знакомых инженеров, и все они писали, что взрыв моста осуществлен, несомненно, родственником царского министра инженером Сазоновым. Они называли число, и день, и час, когда видели инженера Сазопова с «узелком странной формы», цитировали слова, которыми обменялись в то время, и признавали свою вину в том, что не довели до сведения властей все, что знали об инженере Сазонове. Но у них были для этого причины: они думали, что Сазонов просто обыватель, который никогда не приведет свои планы в действие.

— Прочитали? — спросил Дзержинский.

— Да.

— Мост взорвал сам Борейша. В конце концов он сознался. И они все сознались, что на случай провала держали вас — вы должны были ответить за это злодеяние. Понимаете?

— Нет, не понимаю. Почему же я? Ведь я ничего не знал...

— Если бы вы знали, то мы бы сейчас не беседовали с вами, — жестко сказал Дзержинский. — Ваш друг Борейша спасал свою жизнь и одновременно мстил вам за ваши советские взгляды, за то, что вы, старый специалист, первым, именно первым, на узле пришли работать к нам, за то, что вы не продали Родину, за то, что вам стали кровно близки интересы рабочего класса. Понимаете теперь?

— Понимаю. Но почему же меня тогда выпустили сразу! Ведь я... ведь тут такое написано... этими людьми!

Опять с силой полил дождь, и в то же время выглянуло солнце. Дзержинский встал из-за стола, подошел к окну, глубоко вдохнул прохладный воздух, задумался о чем-то. Молчали долго. И думали — каждый о своем.

— Вы спрашиваете, почему вас тогда не расстреляли? — сказал наконец Дзержинский. — Потому, видите ли, что ВЧК поднимает свой карающий меч для защиты интересов большинства, то есть народа, от кучки эксплуататоров. В те дни чекисты защищали вас от вашего... «близкого» друга... друга, совершившего чудовищное преступление и свалившего это преступление на вас... Чекисты вас защищали, а вы работали, вы руководили ремонтом путей, разрушенных белыми, вы не спали ночами, обеспечивая перевозки... Впрочем... не спали и чекисты, борясь за вас, за вашу жизнь, за то, чтобы честный инженер Сазонов вместе с нами строил социализм...

Сазонов сидел неподвижно, закрыв лицо руками.

— Видите, как неловко получилось, — сказал Дзержинский. — Неловко ведь, что вы вчера испугались нескольких реплик чекиста Дзержинского?

Сазонов молчал.

— Ну, а теперь, когда вам все ясно, займемся делами, товарищ инженер. Как у вас с планом перевозок? Какие вы подготовили соображения? Ну, ну, полно, Андрей Васильевич, полно, попейте воды и перейдем к работе...

Он сам налил Сазонову воды в стакан и, точно не замечая слез, которые блестели на глазах инженера, стал задавать вопросы, касающиеся перевозок. Сазонов отвечал сначала сбивчиво, потом все спокойнее и яснее. Теперь Дзержинский слушал, изредка вставляя свои замечания, делая заметки на листе бумаги,

иногда переспрашивал, иногда не соглашался и спорил. Уже смеркалось, когда они кончили разговор.

— Значит, подготавливайте проект,— заключил Дзержинский,— но имейте в виду, что дело это чрезвычайно серьезное и весьма вероятно, что мы будем вас сурово критиковать. Не бойтесь?

— Нет! — сказал инженер. — Теперь не боюсь!

— И учтите, что очень многие еще не научились думать в общегосударственном масштабе. Для того чтобы наш транспорт стал советским транспортом, его надо полностью приобщить ко всем тем вопросам, которые стоят перед народным хозяйством в других его отраслях. Понимаете?

— Пойму! — сказал Сазонов. — Непременно пойму!

Повернулся и быстро пошел к дверям.

Дзержинский проводил его взглядом, вызвал секретаря и спросил:

— Как с моим поручением насчет инженера Сазонова? Насчет помощников, условий работы, питания?

— Все сделано! — ответил секретарь и стал докладывать, что сделано.

ДВА ПОРТРЕТА

Товарищи отговаривали художника от этой затеи. Они говорили ему, что Дзержинский даже не примет художника, что смешно думать о портрете, что художнику надобно выбросить всю эту затею из головы...

Но он не выбросил эту затею. Он собрал у себя все фотографии Дзержинского и подолгу всматривался в лицо, так поразившее его несколько дней назад. Совсем случайно он видел Дзержинского издали на улице и там же в суете решил: «Я его буду рисовать, я должен его рисовать, я не могу не рисовать его».

Но что могли дать фотографии — мертвые и случайные? Разве уловлено ими то удивительно легкое, юношеское лицо, которое он видел давеча на улице? И глаза под козырьком военной фуражки — острый блеск зрачков и длинные, необыкновенно красивые ресницы.

В тот же день художник ехал на извозчике, Дзержинский в автомобиле, большом и старомодном. Автомобиль был открытый, Дзержинский ехал один — сидел рядом с шофером и читал сложенную «Правду». Улицу переходили войска, и ждать пришлось долго. Извозничий жеребец выплясывал рядом с машиной и горячился, бил подковами по булыжной мостовой. Художник видел, как Дзержинский поднял от газеты голову, как он пальцами поправил фуражку и как стал смотреть на жеребца —

сначала с удивлением, потом любуясь, как он протянул руку и потрепал коня по морде, по бархатистым ноздрям, как конь чуть не укусил Дзержинского и как Дзержинский вдруг засмеялся.

Вот в эту самую секунду, когда он засмеялся, художник решил его рисовать: веселое, совсем еще юное лицо, прекрасные, чистые глаза и сильная рука с тонкими пальцами... Он видел, с какой железной силой эта рука взялась за недоуздок и потянула разгоряченную морду жеребца...

Но войска прошли, автомобиль, обдав художника бензиновой гарью, исчез. Рысак, выбрасывая сильные ноги, помчался по Мясницкой, да разве догнать...

Удивленно-веселые, широко открытые глаза и улыбающийся рот — этого выражения не было нигде. Фотографии были тождественные, серьезные — профиль, анфас, опять профиль, три четверти. Дзержинский у телефона. Дзержинский среди своих сотрудников. И по фотографиям видно, как не любит он сниматься и как не до этого ему.

Похож ли он на карточках?

Наверное, похож, но совсем не похож на того Дзержинского, которого художник видел давеча в автомобиле на Мясницкой.

Нет, рисовать по фотографиям невозможно!

И художник начал искать человека, который бы свел его с Дзержинским.

Искал он долго и безуспешно до тех пор, пока один знакомый комиссар ЧК не посоветовал ему бросить раз навсегда всякие попытки попасть к Дзержинскому по знакомству.

— Но что же мне делать? — спросил художник. — Ведь должен я попасть к нему.

— Ну и идите.

— Меня же не пустят.

— А вы попробуйте.

— Что же пробовать, когда это безнадежно.

— А вы все-таки попробуйте. Запишитесь на прием. И скажите отцу прямо и честно, что вы хотите рисовать...

— Какому отцу? — не понял художник.

Комиссар слегка порозовел, поправил очки и, глядя в сторону, объяснил, кого чекисты называют отцом. Было странно слышать, как старый седой человек, запинаясь от неловкости, с суровой и грубоватой нежностью говорит об отце чекистов, значительно более молодом, чем многие из его «сыновей».

— Да-с, — сказал он в заключение, — из моих слов вы можете без особого труда догадаться, что к Дзержинскому по знакомству

не попадают. Если у него есть хоть одна секунда времени, он вас примет без всяких знакомств, а если времени у него нет, то он вас не примет, от кого бы вы ни пришли. Так что мой вам совет, дорогой юноша, попытайтесь. Попытка — не пытка, а спрос — не беда. В одном я вас могу уверить со спокойной совестью: с вами будут абсолютно вежливы, и если вам будет отказано, то в такой форме, что вы обиды не испытаете.

— Я должен написать его портрет! — сказал художник.

— Желаю вам удачи, — ответил комиссар.

В дежурной он прождал около часу, курил и обдумывал, как он войдет к председателю ЧК и что он ему скажет. Он приготовил короткую и убедительную речь; ему казалось, что речь выразительна. Несколько раз в уме он повторил все с первого до последнего слова и остался доволен собой.

Наконец дежурный вызвал художника и протянул ему пропуск. Художник вошел к секретарю Дзержинского и не очень вразумительно рассказал: он художник, хочет писать портрет Дзержинского, это необходимо и об отказе не может быть и речи...

Секретарь терпеливо слушал, молча смотрел на художника и ладонью поглаживал гладко выбритый подбородок.

Наконец красноречие художника иссякло, и он смолк.

— Я вас совершенно понимаю, — произнес секретарь, — но вся беда заключается в том, что Феликс Эдмундович чрезвычайно занят. Очень занят. Занят всегда, постоянно, круглый год.

— Я должен его писать, — решительно ответил художник, — понимаете, должен. У меня нет другого выхода. Писать портрет Дзержинского — это мой долг.

Секретарь вздохнул. Он уже с любопытством смотрел на художника: какой молодой, а какой напористый! И сердитый. Минуту посидел, рассердился и заходил по комнате, от папиросы отказался, закурил свою.

— Значит, никак нельзя?

— Предполагаю, что это невозможно.

— Тогда разрешите мне повидать товарища Дзержинского, — сухо сказал художник, — я не задержу его более трех минут.

— Задёржите, — ответил секретарь.

Художник молчал.

Секретарь вздохнул и вышел. Вернувшись, сказал:

— Идите, но... — махнул рукой и не кончил начатую было фразу.

С бьющимся сердцем художник отворил дверь.

Комната, в которую он вошел, была вся залита солнечным светом. Дзержинский сидел за столом, слегка подняв голову, приглядываясь к посетителю. Художник назвал себя. Приготовленную речь он забыл. Теперь у него возникла новая идея: если Дзержинский откажется позировать, то сейчас затянет разговор, просидит здесь возможно дольше, чтобы запомнить лицо, глаза, рот, лоб, мгновенные изменения в выражении лица, повороты головы, манеру сидеть за столом, щуриться, улыбаться, сердиться.

Главное — чтобы не выгнал. Пусть говорит, что не может. Конечно, не может. Ясно, не может. Но художник будет сидеть. Будет впитывать, как губка, все особенности этой комнаты. Телефоны на столе — какая их масса; ширма; за ширмой кровать, покрытая простым, солдатским одеялом; шкаф; шинель висит на крючке...

— Я очень занят,— как сквозь сон услышал художник,— очень. Может быть, можно как-нибудь обойтись без портрета?

В голосе Дзержинского звучала почти мольба. Глаза же смотрели вежливо, холодно и внимательно.

— Ваш портрет необходим для выставки,— произнес художник,— категорически необходим.

— Мне некогда позировать.

— Я постараюсь вас мало беспокоить и поскорее кончить.

Он говорил, совершенно не надеясь на успех, только для того, чтобы не уходить из кабинета, чтобы запомнить еще складки гимнастерки, лукавую усмешку. Кстати, почему он улыбается? Длинные пальцы, глаза с красными жилками, любопытные, внимательные...

— А может быть, можно не рисовать меня?

— Нет, нельзя.

— Неужели так необходим мой портрет?

— Нет, нельзя...

Дзержинский внезапно рассмеялся.

Чему он? Вероятно, художник что-нибудь сказал не в попад?

— Какими сердитыми глазами вы смотрите на меня, — сказал Дзержинский.

Сейчас у него совершенно другое выражение лица. Но над чем он смеется? Впрочем, это неважно. Важно запомнить это выражение, только запомнить, все остальное не важно!

Но вдруг художник услышал слова, странные и совершенно неожиданные:

— Хорошо. Приходите сюда и работайте. Только я тоже все время буду работать. Позировать мне некогда. Мы оба будем

работать, каждый по своей части, и постараемся не мешать друг другу. Идет?

Это была полная победа. Выйдя из кабинета, художник прошел мимо секретаря, высоко подняв голову.

На следующее утро художник получил лошадь и на извозчике перевез в секретариат тяжелый мольберт, ящик с красками, подрамник с холстом, коробку с кистями и многое другое, необходимое для работы.

— Все или еще поедете? — спросил секретарь, неодобрительно оглядывая инвентарь художника.

— Все, — сухо ответил художник.

Пока Дзержинского не было, он выбрал себе место в кабинете, установил мольберт, поставил ящик с красками и сел на стул покурить. Вошел секретарь, спросил:

— В полной боевой готовности?

— Да, — коротко ответил художник.

Приехал Дзержинский, поздоровался и молча сел работать. Художник сидел не двигаясь, изучал цвет лица, костюм, приглядывался к рукам. Компановал, обдумывал, решал, но в этот день так ничего и не решил и тихонько, не прощаясь, чтобы не мешать, вышел.

На следующее утро секретарь сказал ему, кивнув на совершенно чистое полотно:

— Я вижу — вы здорово поработали вчера?

В это утро художник взял в руку уголь и стал набрасывать на холсте контуры будущего портрета. Работа не удавалась. Порою он встречался с Дзержинским глазами, и тогда ему казалось, что в глазах Феликса Эдмундовича мелькает лукавый огонек. Казалось, Дзержинский говорил: «Что? Трудно? Все равно позировать не буду!»

Так прошло несколько дней.

Осень стояла погожая, тихая, солнечная; окна в кабинете постоянно держали открытыми, тишину нарушал только секретарь да телефонные звонки.

Дзержинский сидел за своим письменным столом почти всегда в одной и той же позе — наклонившись над бумагами, с карандашом в руке. На худое лицо падали тени от ресниц. Много курил. Однажды, закуривая, спросил у художника:

— Вас не раздражает?

— Что?

— Табак. То, что я курю.

— Я ведь сам курю, Феликс Эдмундович.

— Почему же я не видел вас с папирсой? Курите, пожалуйста, не стесняйтесь.

Уже шла работа красками. Как-то, досадуя на то, что Дзержинский слишком низко опустил голову над бумагами, художник попросил:

— Посмотрите на меня.

Дзержинский поднял голову. В глазах мелькнуло удивление.

— Одну только минуту смотрите на меня,— с мольбой и отчаянием в голосе сказал художник.

Секунду Дзержинский смотрел серьезно, потом вдруг засмеялся и сказал:

— Когда вам понадобится, вы мне говорите, пожалуйста. Я буду на вас смотреть...

Но когда художник попросил, чтобы Дзержинский посидел в такой позе, которая нужна была для портрета, Феликс Эдмундович почти с ужасом воскликнул:

— Позировать?

— Только минуту,— попросил художник.

Позировать ему было некогда; позировав, он чувствовал себя неловко, но он видел, как мучается художник, и жалел его.

— Ну, давайте, я специально для вас посижу,— предложил он однажды,— хотите? Только недолго. Как надо сидеть?

Рассердился и тотчас же засмеялся:

— Беда мне с вами.

Зазвонил телефон. Дзержинский взял трубку, долго слушал молча, потом заговорил.

— Все это враки,— сказал он,— вздор, несерьезная чепуха. Я вчера сам был на городской станции в этом... в этом... как его...

— В «Метрополе»,— подсказал художник.

— Да, в «Метрополе». Это чистейшее безобразие, то, что там происходит. Желаящие ехать записываются у одного из предпринимчивых пассажиров, потом приходят на перекличку вечером, к десяти часам, потом утром, часов в пять. Совершеннейшее безобразие!

Он еще помолчал, потом крикнул в трубку:

— Враки! Я сам пробыл там полночи, а вы ничего не знаете. Тот, кто записывает очередь, получает пять процентов стоимости билета, это я точно знаю, это мне доподлинно известно. Я стоял в хвосте и все узнал. Так что извольте поручить кому-либо из ТОГПУ выяснить всю постановку дела, только без шума. И пусть доложат мне, надо это все упорядочить...

Положив трубку, он закурил, потом сказал художнику:

— Надоело. Попадется такой работник — хлебнешь с ним горя.

Уезжая домой, он спросил художника.

— Отвезти вас?

— Пожалуйста, если вам по пути.

Он спял с вешалки шинель, оделся и подождал художника. Красивое бледное лицо Дзержинского выглядело усталым, он то и дело закрывал глаза и, когда спускались по лестнице мимо напряженно глядящих часовых, спрашивал:

— Очень устаете? Это, наверно, очень трудно — рисовать? И похудели вы за это время. Главное — чего волноваться? Портрет у вас получится отличный.

С этого дня Дзержинский по утрам заезжал за художником, а вечерами отвозил его домой. Как-то по пути домой зашла речь вообще о живописи, и Дзержинский обнаружил незаурядные познания в ней. Художник спросил, рисовал ли Дзержинского кто-нибудь.

— Рисовал, — сказал Дзержинский, — был один, рисовал. Только не дорисовал. Я ему перестал позировать. Знаете почему?

— Почему? — спросил художник.

— Потому, что он стал у меня просить железнодорожные билеты. Все у него жена куда-то ездила. Ну, вот... он, бывало, порисует немного и билет просит. А я билетами не распоряжаюсь. Так он меня и не дорисовал...

Когда проезжали через Арбатскую площадь, Дзержинский спросил:

— Это что за здание?

И показал рукой на ресторан «Прага».

Художник сказал, что это очень противный недавно открытый ресторан дореволюционного пошиба.

— Ничего не поделаешь, — ответил Дзержинский. — Нам эти пивные и рестораны оплачивают пятьдесят процентов расходов на народное образование... Такая, знаете, штука...

Отношения с секретарем у художника оставались прохладными. Разговаривали обычно в ироническом тоне. Однажды секретарь сказал:

— Я, знаете ли, совсем привык к вам. Мне кажется, что мы еще долго будем вместе. Может быть, состаримся — вы за картиной, я за своим столом. Как вы думаете?

Художник промолчал. В этот день Дзержинский предложил художнику билеты на концерт.

— Спасибо, не поеду, — сказал художник. — Работа у меня

идет отвратительно, поеду домой, подумаю. Какие уж тут концерты! Мне посторонние впечатления будут только мешать.

Дзержинский улыбнулся одними губами.

— Что делать тем, которые всю жизнь очень заняты? — спросил он.

— Не знаю, — сказал художник.

Два последних дня Дзержинский позировал по часу.

На прощание он дал слово позировать художнику как-нибудь потом, специально для профиля. Но попрощаться не успел. Зазвонил телефон, и Дзержинский взял трубку. А секретарь в это время уже выносил из кабинета мольберт, ящики и коробки...

— Пожили, пора и честь знать, — говорил он, провожая художника. — Смотрите, какую вы нам тут грязь завели...

И нельзя было понять, серьезно он говорит или шутит, этот секретарь.

Через три года художник опять рисовал Дзержинского.

Художник рисовал Феликса Эдмундовича в гробу. Лицо Дзержинского было таким же красивым, тонким и усталым, как при жизни. Высокий лоб был изборозжен морщинками, и от ресниц падали тени...

Художник рисовал по ночам — с трех до шести утра.

В зале стояла тишина, пахло еловыми ветвями, у гроба неподвижно стоял караул.

К художнику подошел секретарь, постаревший, с мешками у глаз; увидел рисунок, губы у него задрожали.

— Вот рисуете, — сказал он, — как тогда...

Отвернулся и замолчал. Потом вдруг заговорил, близко наклоняясь к лицу художника, не сдерживая слез:

— Вы знаете, что он сказал в день своей смерти, знаете? За несколько часов? Он сказал на пленуме ЦК и ЦКК, что... — секретарь задохнулся и замотал головой, — что... «моя сила заключается в чем? Я не щажу себя никогда». И все с мест закричали: «Правильно!» Он оглядел зал и дальше стал говорить. «Я не щажу себя... Никогда. И поэтому вы все здесь меня любите, потому что вы мне верите. Я никогда не кривлю душой; если я вижу, что у нас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них...»

Он опять задохнулся от душивших его слез, ушел в угол зала и долго стоял там в полутьме, прислонившись лбом к холодной стене...

В эту ночь, уже под утро, к гробу пришел Орджоникидзе, стоял долго, не двигаясь, и смотрел в мертвое лицо Дзержинского, потом поправил подушку под головой Феликса Эдмундовича...

У гроба подолгу стояли боевые товарищи... Тут видел художник жену и сына Дзержинского.

И страшное дело: рисуя мертвого Дзержинского, художник думал о нем, как о живом. Теперь все чаще и чаще он представлял себе Мясницкую в тот знойный летний день, автомобиль и Дзержинского, протянувшего руку к педоузду рысака... Или вспоминал глаза Дзержинского — тогда, когда он писал в кабинете портрет и просил поглядеть одну минутку, — прекрасные глаза, и веселые, и сердитые в одно и то же время.

1938—1947—1957

ДВЕ ПОВЕСТИ

ЛАПШИН

1

В конце декабря тысяча девятьсот тридцать шестого года Лапшину исполнилось ровно сорок лет. Патрикеевна испекла пирог с капустой и настояла водки на вишневых косточках, Васька Окошкин купил в подарок Лапшину металлический портсигар с теннисными ракетками на крышке, и сам Лапшин принес от бывшего Елисеева икры, копченого угря и бутылку шампанского. Из гостей были — сосед по квартире, врач Ашкенази, с которым Лапшин часто на досуге играл в шахматы, потом приятель Васьки Окошкина, про которого Васька сказал: «Некто Тamarкин», и, наконец, товарищ детства Лапшина, агроном Хохряков.

Собрались часов в девять вечера и, поставив стулья у топящейся печки, неторопливо разговаривали о будущей войне.

— Ихний генеральный штаб как думает, — говорил Лапшин, грея у огня свои большие, сильные руки и поглядывая снизу на Ашкенази, — ихний генеральный штаб думает вот как: в тысяча шестьсот шестом году польская армия без всякого сопротивления дошла до Москвы. Правда, и драпанула вместе с Владиславом, но все-таки до Москвы дошла. Второй раз Москву взял Наполеон — ему фронт обнажили, он и взял. Так вот, что обнажили — ихний генштаб не думает, а что Наполеон взял — думает...

Лапшин прищурился и засмеялся.

— Тут-то и конец пришел великой армии, — продолжал он, поворачивая ладони тыльной стороной к огню, — стратегия была наша, а не ихняя. Об этом им надо крепко подумать, прежде чем кидаться. Верно?

— Верно, — сказал некто Тamarкин. — Кроме того, наш воздушный флот тоже... извините-подвиньтесь...

— Сильный? — спросил Ашкенази.

— Слава богу, — усмехнулся Тamarкин. — Пальца в рот не клади!

И так как все молчали, то Тамаркин вдруг соврал что-то чрезвычайно неправдоподобное насчет какой-то прыгающе-летающей машины.

— Вся голубая, — сказал он, — чудовищно! Действительно, техника на грани фантастики.

— Ох и врун! — сказал Васька. — Ты, Тамаркин, ешь пирог с грибами и держи язык за зубами! Раз ты электротехник, то и рассказывай насчет там электричества...

— Я люблю авиацию, — сказал Тамаркин, — и не учи меня!

Он очень покраснел и молчал, пока не выпил две рюмки настойки, а потом наклонился к Ашкенази и рассказал ему историю перелета Линдберга. Лапшин разговаривал с Хохряковым. Они вспоминали Волгу и детство и делали это с той настойчивостью, которая появляется у людей, когда они знают, что если воспоминания окончатся, говорить будет не о чем. И действительно, вспомнив все, они замолчали.

— Раскидала нас жизнь, — сказал наконец Лапшин. — Как твой город-то называется?

— Рыльск.

— Вот, Рыльск, видишь? А мне сорок годков стукнуло...

Лапшин закрыл глаза и покачал головой. Тамаркин, Ашкенази и Окошкин, сидя рядом на кровати, негромко пели:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

— Красивый романс, — похвалил Хохряков, — цыганский, что ли?

Они выпили еще по рюмке настойки, и Хохряков сказал:

— А я, Ваня, беспартийный.

— Исключили?

— Почему исключили? — испугался Хохряков. — Ну просто я беспартийный. Как говорится, чем был, тем и остался.

— А почему?

— Байбак я, — сказал Хохряков, — и женат на поповской дочке. Начнут спрашивать, почему да отчего...

— Ну, это глупости! — сказал Лапшин. — При чем тут поповская дочка?

— А при том, — ответил Хохряков, — при том, что действительно при том...

Он наморщил лоб, и Лапшин вдруг заметил, как он постарел; заметил, что усы у него седоваты и глаза старые, выцветшие; заметил, что у него одышка.

— Эх, Валя, — сказал Хохряков, — Ваня ты, Ваня, завидую я тебе, что ты в городе живешь! Культурно у тебя, театры, балеты... Я тоже люблю.

И запел жиденьким голоском:

Тот кумир — телец златой...

Сконфузился и испуганно взглянул на Лапшина.

— Знаешь, Валя, — сказал он, — моя жена — хорошая женщина. Поедем ко мне, поживешь, отдохнешь. Помидоры у меня, дыня есть, вывожу помаленьку... А? Поедем?

— Да некогда, брат! — сказал Лапшин, не зная, что ответить.

И он пристально поглядел на Хохрякова и подумал о том, что они теперь разные и неужные друг другу люди.

Тамаркин предложил сыграть в подкидного. Все сели вокруг стола, и Ашкенази сказал, зевая:

— Пора спать, черт дери!

Дураком оставался Окошкин, и Тамаркин каждый раз говорил ему:

— В любви, Вася, повезет! Ты не унывай!

После карт еще поговорили о войне и разошлись рано, в двенадцатом часу. Лапшин был не в духе и, проводив гостей, сказал Ваське Окошкину, что его Тамаркин — чепуховый человек.

— Ваш Хохряков хороший! — сказал Васька. — Таких жаб в жизни не видал!.. Вообще, отпраздновали...

— Ладно, надосло! — спимая сапог, сказал Лапшин. — Все жабы, только мы с тобой чуждые. Давай спать.

Они легли и долго еще читали: Васька — журнал, а Лапшин — большую книгу, которую трудно было держать лежа.

— Интересно? — спросил у него Васька.

— Ничего, — ответил Лапшин, — мне исторические работы всегда читать интересно.

2

Один журналист, приятель Лапшина, которого Лапшин любил за то, что они, собираясь, варили пельмени или пели в два голоса песни, говорил про себя, что он живет грязно, но интересно, а Лапшин чисто, но неинтересно.

Лапшин жил, действительно, и чисто, и неинтересно. У него была большая комната с нишей и с огромными, цельного стекла, окнами, всегда зияющими без занавесей и штор, с необходимой и унылой желтенькой древтрестовской мебелью, с начищенным паркетом и с люстрой, плохо подвешенной и оттого постоянно позванивающей хрустальными висюльками. В комнате всегда

пахло табаком и сапогами, и как Лапшин ни бился вместе с Патрикеевной, он не мог вывести этот запах холостяцкой жизни.

Кроме Васьки Окошкина, жившего на хлебах у Лапшина, в комнате, в нише, жила еще Патрикеевна — неизвестно откуда взявшаяся старуха, хромая (у нее была деревянная нога, и когда Васька с ней ссорился, он говорил ей, что порубит ее ногу на дрова), очень злая и очень вкусно стряпавшая. Эта Патрикеевна несла какую-то малопонятную нагрузку в группоме домработниц, читала брошюры о трудовом праве и часто на кухне говорила, что пойдет зачем-то к товарищу Калипину и что там-то все и выяснится. Ипогда она допекала Лапшина уймой вопросов, ни на один из которых он не мог ответить, как ни старался.

Он боялся ее, когда она при нем убирала комнату, или подавала ему одному без Васьки обед, или шумно и гневно молилась в своей нише. И все, кто приходил к нему, боялись ее, кроме только Васьки, которого она боялась и который утверждал, что знает, будто Патрикеевна во время голода на Волге съела своего мужа и родителей.

— Ты людоедка, — говорил он, — и я тебя в Соловки упеку. У меня имеется на тебя дело, и я этого так не оставлю. И что это за имя такое «Патрикеевна»? Я удивляюсь. И за колдовство я тебя упеку, за то, что ты ведьма...

Она была странно моложава лицом для своего возраста, стриглась и носила в волосах красную гребенку. Лапшин знал, что Патрикеевна немилосердно его обворовывает, но стеснялся ей это сказать и только иногда, густо краснея, говорил гневным басом:

— Этого не может быть, чтобы в компот кило сахару! Нет у меня больше денег, я их не сам делаю.

И ложился в сапогах на кровать лицом к стене.

Васька Окошкин возник в жизни Лапшина неожиданно, в 1929 году. Он был прислан райкомом комсомола в милицию, и Лапшин взял его к себе в бригаду помощником уполномоченного. На второй неделе следственной работы Васька, еще не получивший формы, очень бледный, в черной старепькой косовороточке и в сапогах бутылками, перепачканный черпильным карандашом, вошел к Лапшину в кабинет и сказал лающим голосом:

— Товарищ начальник! Я у вас от работы отказываюсь. Вы невинных людей сажаете. Это ужасно, то, что здесь делается.

Лапшин начал вдруг покорно улыбаться и с этой улыбкой встал из-за стола.

— Застенок здесь? — спросил он.

— Да, — сказал Окошкин, — это ужасно!

— Кого вы допрашиваете? — спросил Лапшин.

— По обвинению в вооруженном палете Чалова Ивана Федоровича, — скороговоркой сказал Окошкин. — Но он в палете участия не принимал, он душевнобольной. А мне приказывают...

— Пойдем! — сказал Лапшин.

Они вошли в комнату Окошкина. Чалов в шапке сидел за столом и, мелко парывая бумагу грязными пальцами, ел кусочки один за другим.

— Хорошо, — при этом говорил он, — люблю, хорошо...

В глазах у него было отвращение, и кадык, как и все горло, содрогался от рвотных судорог.

— Встать! — сказал Лапшин.

Чалов встал.

— Узнаешь? — спросил Лапшин.

— Хорошо, — падающим голосом пробормотал Чалов, — люблю, хорошо...

Он подумал и прибавил:

— Семьдесят один.

Некоторое время Лапшин молча глядел на Чалова. Тот было еще протянул руку к бумаге, чтобы пожевать, но под влиянием взгляда Лапшина сжал пальцы в кулак.

— Был ты хороший вор, — сказал Лапшин, — и никогда не филонил. Взяли тебя — значит, и отвечай за дело. По мелкой лавочке идешь, Моця. Стыдно!

— Семьдесят один, — сказал Моця, — тридцать два, сорок.

— Ну дурак! — сказал ему Лапшин. — Как был дурак, так и остался дураком.

Моця спял с головы шапку, бросил ее на пол, наступил на нее ногой и сказал одесским говорком:

— Начальничек, это-таки да Моця. Эго не Чалов. Хорошему человеку завсегда объясню.

И он косо взглянул на Окошкина.

Моцю увели в камеру, а Лапшин с Окошкиным просидели в кабинете часа полтора. Лапшин сидел на подоконнике, сосал папироску и говорил:

— Повел я этих офицеров. Ничего, идут. Довел до места. И спрашиваю, как в книжках читал: дескать, у кого имеется последнее желание? И тогда один господин, высокенький такой мужчина, усатый, мне заявляет: «Делайте ваше дело, господин пролетарий, потому что когда наши вас поставят, то, поверьте, не спросят, какое у вас желание...» О, брат, как!..

Они вышли из управления вместе, и Окошкин проводил Лапшина до самого дома.

— А то хочешь, пойдем ко мне? — сказал Лапшин. — Будем боржом пить...

Один раз в своей жизни он был в Боржоми, и с тех пор у него осталась любовь к этому месту. Темные бутылки с водой, пахнувшей йодом, напоминали ему душные вечера в парке, прогулки в горы, любезного и обходительного врача, книги, которые он там прочитал...

Окошкин попил с ним боржому, поел огурцов с помидорами, потом сказал:

— Я у тебя переночую, товарищ Лапшин. Мне сейчас уже некуда идти.

— Как некуда? — спросил Лапшин.

— А у меня комнаты нету, — сказал Окошкин, — я у товарищей почую. У меня сестренка разродилась, и мама к ней приехала, так что мне спать совершенно негде.

Он махнул рукой.

— Ну, ночуй! — сказал Лапшин. — Если так, то уж почуй!

Сняв со стены гитару, он потрогал струны и запел украинскую песню с мягкими и печальными словами. Пел Лапшин плохо, врал и любил ноты позадушевные. Окошкин взял у него из рук гитару и, сделав лицо идиота, спел очень глупую частушку.

— Это да! — сказал Лапшин удивленно.

Заснули они под утро, очень довольные друг другом, а утром, вместе напившись чаю с рогульками, пшеничкой, по холодку, пошли в управление. Васька молчал, чем-то подавленный, вероятно вспоминая вчерашнюю свою истерику, а к Лапшину пристала уличная сучка, и он посвистывал ей и разговаривал с ней, как с человеком.

Потом Окошкин два дня сидел в засаде на Стремянной улице — поджидал жуликов, и Лапшин его не видел и не думал о нем. Но когда Васька явился, Лапшин обрадовался ему и терпеливо выслушал весь его рассказ о том, как ждали, как не шла вода, и какая стерва хозяйка, и как брали жуликов, и как все отлично получилось.

— Здорово работали! — говорил Васька, и его круглое лицо, покрытое загаром и мелкими капельками пота, все светилось от возбуждения. — Знаешь, товарищ Лапшин, это большое дело врага брать, очень растешь на этом и мужаешь... И переживал я сильно!

Он вытаращил глаза. Это должно было изобразить степень его переживаний.

— Вот как я переживал! — воскликнул Васька. — Я весь дрожал...

— Ну ладно, иди! — сказал Лапшин. — Мне работать надо.

И, оставшись один в кабинете, попивая чай и покуривая над грудой спешных и важных бумаг, он вдруг задумался и с силой и ясностью вспомнил первые дни своей работы в Чрезвычайной комиссии, а главное — себя самого, свои тогдашние мысли и чувства, мокрый пайковый хлеб, зеленую махорку и бесконечные допросы.

Несколько раз Васька Окошкин ночевал у Лапшина, потом как-то спросил:

— Иван Михайлович, а что, если я у вас немного поживу?

— Поживи немного, — сказал ему Лапшин. — Только гуляпок у меня не устраивай, не люблю.

— Боже сохрани! — сказал Васька.

У него не было почти никаких вещей, зато была масса желаний: он хотел спать себе сапоги, как у Побужинского, собирался купить велосипед, рассуждал, что бриться нужно самому, а для этого необходим бритвенный прибор, хотел купить настольный вентилятор, заграничную зажигалку, охотничье ружье и уйму других вещей. Как все люди, страстно желающие чего-либо, он научился быстро и ловко оправдывать каждое свое желание. Так, он говорил, что велосипед экономит время и развивает мускулы ног, которые у него, у Васьки, почему-то ослабели; бритвенный прибор ему был нужен для экономии, чтобы не бриться в парикмахерской; настольный вентилятор, по его мнению, обеспечивал очень высокую производительность труда в жаркие летние дни; зажигалка экономила деньги, затрачиваемые на спички, и т. д. Все эти рассуждения очень утомляли Лапшина, и когда Васька начинал болтать о своих мечтах, Лапшин ему говорил «отвяжись!» и ложился на кровать лицом к стене.

Мечты оставались мечтами. Васька получал не много, половину из каждой получки отдавал сестре, а остальные растрачивал с жаром и рвением в два-три дня. Деньги жгли ему руки, он обожал дарить и покупал все, что подворачивалось под руку: мундштук, камеру для футбольного мяча, носовые платки, распялку для костюма, ароматическую бумагу «фиалка», комплект журнала за прошлый год и прочее в таком же роде.

— На, товарищ Лапшин, — говорил он, вынимая из кармана коробочку мятных лепешек. — Это тебе!

— А чего это?

— Такие штучки, — говорил Васька, — для освежения во рту.

— Да у меня во рту и так свежо, — говорил Лапшин, недоуменно вертя пальцами коробочку. — Что тебе в башку взбрело?

За стол и квартиру Лапшин у Васьки ничего не брал, и Васька в благодарность покупал «для дома» то чайное полотенце с петухами, то зубную пасту, то дорогих папирос или ветчины.

Васькино присутствие причиняло Лапшину много хлопот, но это не раздражало его, наоборот, ему правился тот шумный беспорядок, который Васька удивительно быстро создавал вокруг себя. Мучили Лапшина только вечные телефонные звонки, которые начались вслед за Васькиным въездом. Звонили всегда только женщины, и так как ни Васьки, ни Лапшина днем дома не бывало, звонили ночью. Телефон висел над кроватью Лапшина. Сонный, он снимал трубку, и женский голос спрашивал:

— Васеныш?

Они давали Окошкину каждая свое имя, и поэтому Лапшин никогда не понимал, кого спрашивают.

— В чем дело? — кричал он, раздражаясь. — Кого вам надо?

Васька просыпался от крика, но не подавал признаков жизни, надеясь, что как-нибудь обойдется без него и что ему не придется вставать.

— Какой вам номер нужен? — мучился Лапшин.

Женщина пугалась, вешала трубку, а Васька говорил:

— Постоянно телефонная станция путает номер. Экое безобразие...

Если же голос в трубку объяснял, что Васюрка, или Вавка, или даже Котик — на самом деле Окошкин, то Ваське приходилось вставать с постели, и тогда он мучительно долго болтал над головой Лапшина, не давая ему заснуть и раздражая его до того, что он кричал:

— Ты дашь мне спать или нет, черт паршивый? Третий час ночи! Нашел время обнюхиваться...

— А я виноват? — огрызался Васька, закрывая ладонью трубку. — Чего вы орете?

Утром он оправдывался и говорил, не глядя в глаза Лапшину, бесконечно лживым и блудливым голосом:

— Ей-богу, Иван Михайлович, она по делу. Это моей сестренки подруга, Катька Осокина, не знаете?

— Не знаю, — мрачно говорил Лапшин.

И они шли в управление — Лапшин впереди, а Васька сзади, и не разговаривали друг с другом. Но наступал день с работой и делами, Васька являлся в кабинет к Лапшину с докладом, стоял перед столом «смирно» и докладывал и говорил уже не «товарищ Лапшин», а «товарищ начальник», и выяснялось, что дело, которое он вел, шло блистательно, а главное, с легкостью, без пота, бестолковой беготни, без многословия и проволочек — одним словом, шло так, как должно было идти в бригаде Лапшина. И Лапшину делалось жалко Васьки, и он говорил ему что-либо примиряющее, по строгое, например:

— Побрился бы ты, товарищ Окошкин! Эдак не годится,

Или:

— Тут-то у тебя ладно, а вот почту ты не очень читаешь...

Или еще:

— Прошу заняться комнатой для ожидающих! Там черт знает что творится. Посажу под арест, тогда поздно будет.

На что Васька неизменно отвечал:

— Слушаюсь. Можно идти?

— Идите! — говорил Лапшин и строго глядел в спину Окошкину, шедшему к двери.

Он был способным работником и любил дело, но ему еще очень не хватало выдержки и упорства. И Лапшин нарочно придерживал его, не давая ему уполномоченного, хотя Окошкин почти самостоятельно вел дела. И относился Лапшин к Окошкину куда строже, чем к другим работникам своей бригады и жучил его чаще и обиднее, чем других, и решительно ничего не прощал ему. Но чем дальше, тем больше Окошкин привязывался к Лапшину, и хоть давно пора было съехать ему от Лапшина, но он этого не делал и даже перестал говорить о том, что подаст рапорт и получит свою комнату...

В 1932 году Окошкина принимали в партию. Перед тем как дать ему рекомендацию, Лапшин долго пил любимый свой боржом и говорил с Васькой о пустяках. Потом, уставившись в него голубыми, яркими глазами, спросил, как спрашивал на допросе:

— Это все хорошо. А что у тебя там с бабами происходит?

Окошкин долго глядел в пустой стакан от боржома, бессмысленно его поворачивая, потом сказал тем блудливым голосом, который Лапшин до глубины души ненавидел:

— Если уж и происходит, то не с бабами, а с женщинами.

— Васька! — угрожающе сказал Лапшин.

— Да ну чего Васька, Васька! — уже искренне заговорил Окошкин. — Все вы мне Васька да Васька! Ну, ей-богу, я не виноват, что они ко мне лезут. Васюта, да Васеныш, да Васюрочка! Побыли бы вы на моем месте! Вы не верите, ну до того разжалобят, спасения нету! И так мне и так...

— А ты женись, — наставительно сказал Лапшин. — Будь человеком.

Он вылил в свой стакан остатки боржома и унылым голосом добавил:

— Не гляди на меня, дурака, женись, детей заводи. Назовешь как-нибудь по-лошадиному: Электрон или там Огонек...

Он засмеялся и поглядел на Окошкина по-стариковски, снизу вверх.

— На ком жениться-то? — спросил Васька. — Мне они все нравятся. Выбрать очень трудно.

— Да, это трудно, — сказал Лапшин. — Я вон так выбирал-выбирал, да и провыбирался.

Они помолчали, потом сыграли в шахматы. Было часов семь вечера. После шахмат Лапшин побрился перед зеркалом, фырча вытер лицо одеколоном и надел шинель.

— В управление? — спросил Васька.

— В управление, — сказал Лапшин.

Вошла Патрикеевна и спросила, нельзя ли посадить в тюрьму одну знакомую врачиху за то, что та назвала домработницу свиньей.

— Нельзя, — сказал Васька. — Уйди, Патрикеевна, ты мне действуешь на нервы!

Патрикеевна ушла, постукивая деревянной ногой. Васька тоже надел шинель, надушил одеколоном Лапшина свой носовой платок и, бешено стрельнув озорными глазами в зеркало, сказал, что готов.

На улице крупными, легкими хлопьями падал снег. Васька подставил ладонь, слизнул с пальца снежинку и сообщил, что хочет мороженого.

— А еще что? — спросил Лапшин.

Они шли рядом, оба высокие, широкоплечие, в хорошо пригнанных шинелях, и чувствовали, что проходим приятно на них глядеть.

— Надо жениться, — вдруг задумчиво сказал Лапшин. — Шора, Васька...

И Окошкин не понял, про кого говорил Лапшин: про самого себя или про него.

Когда Ваську принимали в партию, Лапшин выступил с большой речью, и Окошкину стало не по себе, до того подробно и точно Лапшин рассказал о нем.

Поздно ночью они вместе возвращались домой, и Лапшин, попыхивая папироской, назидательно говорил:

— Я тогда в первой бригаде работал. Вызвали меня на двойное самоубийство. И что бы ты думал? Женщина и мужчина, уже не очень молодые, отравились. Какая-то у них там любовь была, в высшей степени сильная...

— Ну и что? — спросил Васька.

Лапшин молчал.

— Вы к чему это? — спросил Васька. — Чтобы я тоже тово?

— Глупый ты, Васька, человек! — с неудовольствием сказал Лапшин. — Дурак ты!

Ужиная картофельным салатом и ложась спать, Лапшин молчал, и Васька слышал, как он долго и печально вздыхал и как трещали и шелкали пружины матраца под его грузным телом, когда он ворочался.

3

Потом наступило лето, и Лапшин один, без Васьки, уехал отдыхать.

Санаторий был небольшой, белый, весь в зелени, под красной черепицей, и стоял на обрывистом берегу над морем. День и ночь бились в берег волны, и Лапшину казалось, когда он лежал в шезлонге, или гулял, или взвешивался на весах, что это вовсе не волны, а далекая капопада, что там идет война, а он, Лапшин, просто поправляется в тылу, в лазарете, и вот уже скоро совсем поправится и тогда поедет на фронт к своим товарищам.

И оттого, что он был не в лазарете и не испытывал никаких страданий, и оттого, что пушки не палили и ему не надо было ехать на фронт, ему было и покойно, и весело, и немного досадно.

«Барином живу, — думал он о себе, — жирный стал гусак, цветную капустку ем...»

Он очень подружился с одним знаменитым летчиком, и они подолгу молчали, сидя друг против друга в плетеных креслах, или вместе уплывали на час или на два в море. Летчик был лет на семь младше Лапшина и очень боялся людей, боялся потому, что люди часто его узнавали и устраивали ему оvation. Тогда он розовел и говорил сдавленным голосом:

— Это ужасно, это ужасно...

И если они шли вместе с Лапшиным, то Лапшин тоже розовел и говорил:

— Да, сложное положение!

Иногда по вечерам летчик надевал летную форму, а Лапшин — милицейскую, они садились в автобус и ехали в город, оба выбритые, свежие, загорелые, молчаливые и довольные друг другом. Там они ужинали на поплавке, изредка переговариваясь, пили кисленькое вино, ели маслины.

Как-то поздним вечером, когда они играли у себя на бильярде, к летчику приехала жена с сыном, и Лапшин остался один. Жена у летчика была красивая, милая женщина, и Лапшин, слушая, как она напевает в соседней комнате или, смеясь, разговаривает с мужем, испытывал мучительное чувство неопределенной тоски. Он курил, шел купаться, долго бродил по горам, уставал — тоска не исчезала. Однажды, проснувшись среди черной и душной ночи, он почувствовал, что глаза его мокры, и понял;

что плакал во сне. Он встал, зажег свет, скрутил папироску и сидел на кровати с зажженной спичкой в пальцах, пока она не догорела и не обожгла руку. Было стыдно, он даже попробовал побороть себя и подумать, что разжирел и облепился, но из этого ничего не вышло. Он вышел на балкончик и долго слушал, как грохочут внизу волны и как кричит в кустах птица.

Утром с Бобкой — сыном летчика — он пошел купаться. Накануне Бобке исполнилось шесть лет. Он был мал ростом для своего возраста, молчалив и очень ласков. Его стригли под машинку, но спереди у него была каштановая челка, и с этой челкой он напоминал девочку. Лапшин не умел обращаться с детьми, не знал, о чем с ними говорить, и так как слышал, что с ними надо держаться как со взрослыми, то был с Бобкой суровее, чем следовало.

Они шли вниз к морю по дорожке, вырубленной в скалах и посыпанной гравием, и Лапшин говорил Бобке про войну. У Бобки были новые сандалии, полученные ко дню рождения, и подошвы все время скользили, так что Бобка очень часто как бы вылетал ногами вперед, и тогда Лапшин, державший его за руку, ставил его на дорожку и советовал:

— Держись за воздух!

Бобка смотрел на Лапшина и вовсе не глядел на дорогу. Он был некрасив лицом — весь в отца: такие же веснушки, и такой же картофелиной нос, и такая же форма головы, но глаза у него были чудесные, материнские, с мягким блеском и с постоянным внимательно-удивленным выражением. И рот был тоже материнский — большой и лукавый.

— Вот, брат, Борис Антонович, — говорил Лапшин, сжимая в своей ладони горячее Бобкино запястье, — виды у них на нас какие? Виды такие: они хотят ударить по Балтийской зоне. Ты знаешь, что такое зона?

— Зона — знаю, — сказал Бобка, — а Балтийская — не знаю.

Лапшин объяснил ему и стал рассказывать дальше.

— Фашисты? — спросил Бобка.

— Ну да! Эта часть границы, — говорил Лапшин, — составляет около пятисот пятидесяти километров. Здесь проходит путь на Ленинград, в этом и есть стратегическое значение удара сюда.

— Погодите-ка! — сказал Бобка. — У меня камень в сандаля попал.

— Ну вынь! — сказал Лапшин.

Бобка сел на дорожку, снял сандалии с тем выражением поглощенности своим делом и необыкновенной важности своего дела, которое бывает только у детей, вытряхнул из сандалии камень, обулся и встал. И пока Лапшин смотрел в затылок мальчика, ему казалось, что это его сын.

Они дошли до моря, и здесь Лапшин, стыдясь себя, своего неумения и, главное, того, что ему хотелось так поступить, снял сам с Бобки сандалии, штаны и, пощекотав у него за ухом, сказал:

— Ну, кидайся!

— Зачем же вы меня раздели? — спросил Бобка. — Разве ж я сам не умею? Мама меня заругает, что вы меня раздевали.

— А мы маме и не скажем! — басом сказал Лапшин. — Ладно, хлопче?

И он слегка порозовел, оттого что сказал «хлопче» и «мы» и оттого что сам почувствовал, как лжива вся фраза.

Они долго купались в зеленой и соленой воде, и Лапшин не плавал вовсе, а вместе с Бобкой барахтался у берега, кидал в Бобку мокрым песком, а потом внезапно соскучился, завял и сказал Бобке, что пора домой.

Назад они шли молча; Бобка от купания разомлел и еле тащился, повиснув на руке Лапшина, а Лапшин думал о том, что пора ехать в Ленинград и что здесь от безделья можно, чего доброго, и вовсе свихнуться.

Через три дня летчик с семьей уезжал в Москву. Было утро солнечное, свежее и ветреное, и Лапшин встал раньше всех в санатории. У него был казенный костюм — белые штаны, белая курточка, шлепанцы и дурацкая шляпа пирожком — тоже белая. Умывшись, он оделся в этот костюм, но потом раздумал и падел форму. Никто еще не встал из отдыхающих, и только помощник повара Лекаренко стоял и курил на крыльце.

— Уезжаете? — спросил он негромко, и голос его далеко разнесся в утреннем воздухе.

— Нет, — сказал Лапшин, — знакомые уезжают.

— Бобочку будете провожать? — поощрительно сказал Лекаренко и вынес Лапшину на блюде костного мозга, соли и хлеба.

— Покушайте пока что до чаю, — сказал он. — Дюже можете заголодать!

Лапшин поел и пошел к морю один, размахивая отломленной веткой орешника. Сапоги его блестели, и весь он представлялся себе уже городским и лишним здесь, среди олеандров, пальм и кипарисов. И ремень на нем был тугой, и усы он подстриг коротко, как в городе. «Надо работать, — думал он, — надо уезжать и дело делать!»

Он вернулся к дому. Там еще никто не встал, было совсем рано, шестой час. Уши у него горели, и сердце билось так сильно, что он не поднялся на террасу, увитую плющом, а посидел внизу на каменных ступеньках.

Сверху, на втором этаже, раскрылось окно. Он поглядел туда и увидел Женю — мать Бобки. Она тоже заметила его, сделала удивленные глаза и показала рукой, что сейчас спустится вниз. Лапшин вдруг обрадовался и пошел к ней навстречу на террасу.

— Что это вы ни свет ни заря? — говорила она, пожимая его руку. — Это только мой муж в три часа на полеты на свои подсакивает как заведённый...

Она зевнула и поправила волосы, едва заколотые и развалившиеся оттого, что, зевнув, она потрянула головой.

Лапшин молчал.

— Вот мы и уезжаем, — сказала она, глядя на море. — Пора.

— И я скоро, — сказал Лапшин.

Они сели на ступеньку и поговорили о Бобке, о дальних перелетах, о погоде в Москве.

— Надо вещи складывать, — сказала Жепа, — а мой мужик спит, и жалко его будить.

— Давайте я вам помогу, — предложил Лапшин. — Пусть спит!

Они пошли в маленькие сенцы перед той комнатой, в которой жили Бобка, Женя и летчик, и Женя вынесла из комнаты груды вещей, взятых из ящика, чемодан, портплед и корзинку. Пока она во второй раз ходила в комнату, Лапшин открыл чемодан, потряхнул его и стал выбирать из кучи вещей, сваленной на пол, на газеты, только мужские вещи — белье, носки, фуфайки, брюки, причем белья и одежды Жени он старался не касаться.

От сидения на корточках у него затекли ноги, и он сел просто на пол, на газету. Женя похвалила его работу и сказала, что так укладывают только мужчины, воевавшие войну, и что ее муж тоже так укладывает вещи. Она села с ним рядом и в другой чемодан стала складывать свои вещи.

— А вот это не надо, — сказала она, — бритвенный прибор не надо. Он в дороге бреется и будет меня прорабатывать, если эти штучки мы запрячем...

Она вытащила назад прибор, и Лапшин с грустью подумал, что никто не знает, как и где он бреется и какие у него привычки, и что за всю жизнь ему никто и никогда не укладывал вещей. И, как всегда, когда ему бывало грустно или не по себе, он, затягивая ремнями чемодан, сказал веселым, гудящим басом:

— Все в порядке!

— А вы женаты? — спросила Женя, точно отгадав его мысли.

— Убежденный холостяк, — сказал он тем же басом. — Ну вас всех!

Потом проснулся летчик, и они вдвоем посидели с ним в плетеных креслах и помолчали.

— Вот, брат Иван Михайлович,— сказал летчик на прощание,— мы с тобой тут ничего пожили, хорошо... Действительно, всесоюзная здравница!

И он отвел от Лапшина глаза так, как будто сказал нечто слишком задушевное, даже сентиментальное.

Он был уже в форме, затянутый, невысокий, с широкими, развернутыми плечами и открытым взглядом зорких глаз. Весь санаторий провожал отъезжающих, и все окружили закрытый автомобиль, в котором уже сидели Женя и Бобка. И чемодан, увязанный Лапшиным, был виден сквозь стекло. Пока летчик пожимал руки провожающим, Лапшин переглядывался с Бобкой издали, потом подошел к самой машине и сказал:

— Ну, будь здоров, Борис!

— До свидания! — сказал Бобка отсутствующим голосом. Он был уже занят автомобилем и отъездом, и, в сущности, он даже уже уехал.

— Учись хорошенько в школе,— сказал Лапшин.— Расти большой!..

Наконец автомобиль тронулся. Не глядя ему вслед и не помахав рукой, Лапшин ушел к себе в комнату и до обеда пролежал в сапогах на постели, отвернувшись к стене, а весь вечер писал письма в Ленинград: Ваське Окошкину, Ашкенази, начальнику — всем. И письма были грустные, и все, кто их получал, понимали, что Лапшин тоскует.

Больше он уже не надевал белый казенный костюм, а ходил с утра до ночи в сапогах и в ремнях и думал о Ленинграде, о работе, о Ваське Окошкине и о том, что надо заняться культурой с ребятами из своей бригады. И с аппетитом он думал о дожде и тумане, о кабинете, к которому привык, и о том, как, приехав, прямо с вокзала он вызовет свою машину, явится к начальству и начнет работать так, как работал всю жизнь.

«Да, да,— думал он,— довольно! Хватит!».

И раздраженными глазами смотрел на гладкое, замерзшее зеленое море, на желтый песок и на белые, увитые плющом стены санатория, ослепительно сверкающие на ярком южном солнце. Ему хотелось уехать, не копчив срока, и он не уезжал только потому, что был дисциплинирован и считал, что раз его государство послало отдыхать, то он должен это делать как следует.

В Ленинграде на вокзале его встречал Васька Окошкин, приехавший в автомобиле. Моросил дождь, и все было так, как Лапшин мечтал.

— У нас холода,— говорил Васька.— Я еле на ногах держусь, застудился.

Дома они пили чай с рогульками. Патрикеевна гневно молилась в нише. Зашел Ашкенази, потом позвонил телефон, и Лапшин очнулся только на другой день к вечеру — так внезапно и круто захватила его работа. И он был счастлив, глядя в окно на асфальт площади Урицкого, пузырящийся под дождем, был счастлив, разговаривая с прокурором о деле, был счастлив, распекая Побужинского и говоря ему громко и отрывисто:

— Работа спасает от всего, это извольте знать! У вас умер брат, я все это понимаю и готов вам помочь всем тем, что в моих силах. С братом вы вместе росли и вместе жили, все понимаю. Но он умер, а вы ничего решительно не делаете — это мне непонятно. Чем больше вы будете работать, тем лучше и легче вам будет. Поверьте мне! Ваш брат был честным и горячим работником, и хотя бы в его честь вам не следовало так запутывать и запускать свои дела. Самое же главное не в этом, а в том, милый человек, что вначале у вас действительно было горе, а сейчас вы просто разленились и на своем горе спекулируете. Это дело надо бросить, и надо как следует за работу взяться. С сегодняшнего дня извольте каждое утро являться ко мне с докладом!..

После он допрашивал старого своего «знакомого», вора-рецидивиста Сашеньку, и пил чай. Сашеньку взяли минут двадцать назад в трамвае. Он был великолепно одет и курил дорогую толстую папиросу.

— И не стыдно тебе, Саша? — говорил ему Лапшин. — Смотри, как нехорошо получается! Все тебя водят ко мне и водят. Покажи-ка, зубы, что ли, золотые вставил?

Сашенька оскалился и сказал, пуская дым ноздрями:

— Двадцать семь штук. Невиданная вещь!

— Гуляешь? — спросил Лапшин.

— Сейчас именно я лично гуляю, — сказал Сашенька. — Вот несколько приделся.

Он развел полы пальто и показал великолепный шоколадного цвета костюм.

— Хорош? — спросил он.

— Чудный, — сказал Лапшин.

— А вы как живете? — спросил Сашенька. — Все работаете?

— Да, как видишь, помаленьку работаю.

— И ни сна, ни покоя, ни грез золотых? — продекламировал Сашенька. — И ни знойных, горячечных губ?..

— Это кто сочинил? — спросил Лапшин.

— Я.

— А магазин на Большом не ты брал?

— А вы с подходцем! — сказал Сашенька. — Да, гражданин начальничек? — Он помолчал, потом добавил улыбаясь: — Слово жулика — не я!

— А кто?

— Боже ж мой! — воскликнул Сашенька. — Разве ж я знаю?

— А ты чего делал?

— Я церкви закрывал, — сказал Сашенька, — я и еще Пашка Перевертоп и Кисанька. Вы Кисаньку знаете? И Пашку вы знаете лично, верно?

— Верно, — сказал Лапшин. — Они у меня сидят.

— Новости! — сказал Сашенька. — Их же на моих глазах брали в магазине! Только они не сознались, а я сознаюсь, ввиду того что хочу бросать свое дело и выходить в новую жизнь...

— Давай сознавайся! — сказал Лапшин. — Только быстренько: раз-два...

Он взял лист бумаги и карандаш.

— Писать будете? — сказал Сашенька.

— Буду.

— Ну ладно, — сказал Сашенька и облизал губы, — раз так, то пишите.

— Без трепотни?

— Что ж, я не вор, чтобы я вам трепался! — обиженно сказал Сашенька. — Что мы, мальчики тут собрались? Когда хочу — говорю, когда не хочу — не говорю.

Он закурил новую папиросу, попросил разрешения снять пальто и, внезапно побледнев, рубанул в воздухе рукой и сказал:

— Амба! Пишите, кто магазин на Большом брал. И адрес пишите, где ихняя малина. Пишите, когда я говорю! И когда они меня резать будут и когда вы мое тело порубанное найдете, чтобы вспомнили, какой человек был Сашенька. Пишите! Я нервный человек, я психопат, но я для вас раскололся, потому что таких начальничков дай бог каждому... Пишите!

Он рассказывал долго и курил папиросу за папирсой. Потом спросил:

— Пять лет получу по совокупности?

— За старое. А новое я еще не знаю.

— Пишите новое! — сказал Сашенька. — Располагайте мною!

И он стал рассказывать, как они втроем с Перевертоном и Кисанькой взламывали в деревнях церкви и сдавали в приемочные пункты Торгсинов ценности...

— Была у нас карта старинная, — говорил Сашенька, — с крестиками, где церкви. Ну мы и работали! С одной стороны, ценности государству сдавали — польза. С другой стороны, когда мы церковь опоганим, ее поп больше не освещает, не решается.

Сход не велит. К свиньям, говорят, твое заведение! Тоже польза. Верно?

— Ты мне голову не крути! — сказал Лапшин. — Я тертый калач.

— Дай бог! — сказал Сашенька. — Таких других поискать...

— И хвостом не виляй! — сказал Лапшин. — Не надо. Будь человеком!

Сашенька покраснел.

— Это верно, — тихо сказал он. — Можно идти?

— Нет, нельзя.

Едва Лапшин отпустил Сашеньку, явился Васька Окошкин, сконфуженный, в мокром плаще, и долго что-то мямлил настолько путаное и непонятное, что Лапшин рассердился и шлепнул ладонью по столу.

— Что у вас за каша во рту? — крикнул он. — Извольте докладывать толком или идите!

— Тамаркин проворовался, — сказал Васька, — он в артели работал, так украл, собака, мотор и продал другой артели...

— Какой Тамаркин? — спросил Лапшин.

— А который у вас был на дне рождения. Который врал чего-то про самолеты. Помните? Несерьезный такой парень, пижон такой...

— Ну?

— Ну и проворовался.

— Так я-то здесь при чем?

— Его сажать надо, — сказал Васька, — а мне как-то пеловко. Может, вы кого другого пошлете?

— Нет, тебя, — сказал Лапшин. — Именно тебя.

— Почему же меня?

— А чтобы знал, с кем дружить! — краснея от гнева, сказал Лапшин. — «Некто Тамаркин» и «некто Тамаркин», а Тамаркин — ворюга...

Краснея все больше и больше и шумно дыша, Лапшин смял в руке коробок спичек, встал и отвернулся к окну.

— Ну тебя к черту! — сказал Лапшин, не глядя на Ваську. — Пустобрех ты какой!.. Поезжай и посади его, подлеца, сам, и сам дело поведешь, и каждый день мне будешь докладывать...

— Слушаюсь! — тихо сказал Васька. — Можно идти?

— Постой ты! Откуда он у тебя взялся-то?

— Ну чтоб я пропал, Иван Михайлович, — быстро и горячо заговорил Васька. — Учились вместе в школе, потом я его встретил на улице, обрадовался — все-таки детство...

— Детство! — передразнил Лапшин. — Дети! И на бюро парткома о своих друзьях расскажешь. Дети — моторы красть!

Возьми машину и поезжай, а то он еще там наторгует! Ребятишки у него есть?

— Нет.

— А жепа?

— Тоже нет, официально.

— Подлец какой!

— Да уж, конечно, собака! — сказал Васька примирительным тоном. — Я и сам удивляюсь.

— Тебя не спрашивают! — крикнул Лапшин. — Никто тебя не спрашивает, удивляешься ты или нет. Поезжай сейчас же! И он с силой захлопнул за Васькой дверь.

4

Тамаркин служил электротехником в переплетной артели «Прометей» и еще в двух артелях по совместительству, и Васька Окошкин едва его нашел. Они столкнулись в маленьком коридорчике, заваленном картоном и штуками коленкора, причем не Окошкин остановил Тамаркина, а Тамаркин Окошкина.

— Здорово, Окошкин! — крикнул Тамаркин и толкнул Ваську ладонью в грудь. — Меня ищешь?

Он протянул Ваське руку, и Васька от растерянности пожал ее.

На Тамаркине была отглаженная и покрахмаленная синяя прозодежда и под ней рубашка и великолепный галстук. На шее он для щегольства имел белое шелковое кашне.

«Приоделся, собака, — рассеянно отметил Окошкин, — и брючки в полосочку пошил».

— А ты все в милиции да в милиции! — болтал Тамаркин. — Жизни не видишь... Пойдем, я тебя запеканкой угощу, здесь сегодня на завтрак макаронная запеканка...

Рядом, за тонкой фанерной стеною, грохотала какая-то машина и шинел и шлепал приводной ремень.

— Ты что слушаешь? — спросил Тамаркин. — Это наша индустрия...

Он засмеялся, а Васька вдруг вспотел от злобы и отчаяния. «Все разворует, — с ужасом думал он, — картон вынесет, коленкор украдет!»

— Какой-то ты странный, — сказал Тамаркин. — Побрился бы... Хочешь, я тебя с техпоруком познакомлю?

— Нет, — дребезжащим голосом сказал Васька, — я за тобой приехал. Ты арестован.

И, вынув из бокового кармана ордер, он протянул его Тамаркину, чтобы тот мог прочесть. Тамаркин сразу пожелтел.

— С ума сойти! — сказал он, подымая плечи. — За кого ты меня считаешь?

На обыске в квартире Тамаркина Васька еще раз понял, что Тамаркин вор. Он понял это по тем вещам, которые были в комнате у Тамаркина, по костюмам, по фотоаппарату, по радиоприемнику, по деньгам, которые лежали в письменном столе, по пишущей машинке.

— Зачем вам пишущая машинка? — не выдержав, сказал Васька. — Что вы, писатель?

Толстая мадам Тамаркина, которая плакала, стоя у двери, крикнула:

— Странно, почему машинка привлекла ваше внимание? Почему вы не интересуетесь моим бельем?

— Оставьте, мама! — крикнул Тамаркин с дивана. — Что за остроты!

И, клацкая зубами, он спросил, обращаясь к Окошкину:

— Скажите, Вася, я могу еще покушать напоследок?

Окончив обыск, Окошкин аккуратно запечатал комнату Тамаркина и суровым голосом сказал:

— Можете прощаться!

— За что? — спросил Тамаркин в машине. — Что я сделал?

Васька молчал и глядел в окно.

— Тогда берите товарища Магазионера тоже! — сказал Тамаркин. — И Солодовника. В чем дело?

— Возьмем, — сказал Васька, — тебя не спросим.

Ему очень захотелось ударить Тамаркина в ухо, но он сдержался и закурил.

— Мы все-таки с вами сидели на одной парте, Вася, — сказал Тамаркин, — это не надо забывать.

— Никогда я с вами на одной парте не сидел, — сказал Васька. — Я с Жоркой Карнауховым сидел и с Перепетуем. Нечего врать!

Потом, сдав Тамаркина, Окошкин явился к Лапшину и доложил. От Лапшина он сбегал к врачу — измерил себе температуру. Было тридцать восемь с лишним, и в горле оказались налеты.

— Надо идти домой, — сказал врач. — В постель!

Почесав пером густую бровь, он написал рецепт и сказал:

— Это микстурка. А это полоскание. Так-то!

Щеки у Васьки горели, и по спине пробегал неприятный холодок. Но он был весел, до самого вечера работал и так шумел, что Лапшин ему сказал:

— Чего ты трескотню поднял? Потихе нельзя?

Ночью он бредил, а Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, заставив лампу книгой, и Ашкенази говорил:

— Не понимаю я вас, Иван Михайлович! Зачем вам понадобилось посылать его за Тамаркиным? Он молод, это его школьный товарищ. Не понимаю.

— Ничего, злее будет! — сказал Лапшин.

Ашкенази сложил губы трубочкой, немного посвистел, помотал конем над доской и усмехнулся.

— Когда я болел сыпным тифом, — заговорил он, не глядя на Лапшина, — то все время бредил знаете чем? Тем, что свет какой-то там звезды долетает до нас через две тысячи лет. Это неприятно, правда?

— Почему же неприятно? — спросил Лапшин. — Пусть себе!

— Врешь, — с постели крикнул Васька, — врешь, собака, врешь! На тормозной площадке.

— Разбирает парня, — сказал Лапшин и внимательно поглядел на Ваську.

Из управления Лапшин два раза звонил по телефону домой, и оба раза ему отвечал Васька.

— А ничего! — говорил он. — Вполне прилично. Патрикеевна компоту наварила такого гадкого, что мочи нет.

День был горячий. Лапшин ездил в суд, потом допрашивал растратчиков, потом ходил с докладом к начальнику, потом читал лекцию в школе начальствующего состава милиции. Он любил преподавание, любил свою профессию, был отличным практиком своего дела, и лекции ему всегда удавались. После лекции было много вопросов, и так как его лекцией кончался учебный день, то он предложил еще поговорить с полчаса. Руки у него были в мелу, он чувствовал себя разгоряченным и чувствовал, что говорит отлично и что между ним и аудиторией существует тот контакт, который позволяет ему уже не оживлять лекцию прибаутками и шуточками, что каждое его слово и без того берется на лету и достигает желаемого эффекта, и чувствовал, как напряжены и взволнованы слушатели.

— Вот вам обстоятельства дела, — говорил Лапшин, постукивая мелом по доске и любуясь схемой, которая тоже выходила удачной и четкой. — Понятна схема?

Аудитория одобрительно загудела.

— Таким образом, — поворачиваясь к аудитории и щегольским жестом бросив мел, заговорил Лапшин, — таким образом, мы, следовательно, оказались в глупейшем положении. Верно? А инженер продолжает ходить ко мне, волнуется, плачет. Я его

отпаиваю водой и вообще чувствую себя плохо. Что я ему скажу? И вот однажды, чуть ли не во время шестого посещения, я гляжу на него и думаю: «Слабый, ничтожный человек, а какую деятельность развел вокруг смерти своей жены! Как угрожает, как кулаком стучит!» Взглянул ему в глаза. Взглянул и ясно вижу — в глазах у него выражение ужаса, истерического ужаса. И тут меня, как говорят, осенило. Он, думаю, он самый. Сижую, слушаю, как он мне грозит, и как поносит следственные органы, и как ругается, а сам в уме прибираю хозяйство свое, и обстоятельства дела, и спорю сам с собою, и, еще не доспорив и не довыяснив, негромко говорю ему: «А не вы, простите за нескромность, убили свою жену?» У него даже пена на губах. Вскочил, ногами топает: «Я в Москву поеду, я вам покажу, меня тот-то знает и тот-то, вам не место здесь!» Прошу учесть, товарищи, основное положение того, что я вам рассказываю: не имея улик, я знал только одно — что инженер мой слабый и ничтожный человек и что именно такие люди в подобных ситуациях поступают так. Но, не имея улик, я не мог его посадить и вел дело почти в открытую...

Вместо двадцати минут Лапшин проговорил час с четвертью, и все-таки его не отпускали. Он еще долго стоял в кольце слушателей и долго отвечал на вопросы, а потом все провожали его по коридору, потом по лестнице, потом до раздевалки. Застегивая крючки шинели, он говорил:

— Разъедетесь к себе, во всех затруднительных случаях — пишите. Я с удовольствием буду отвечать, а найду возможным и целесообразным — приеду. Главное же — не думайте, что обратиться ко мне за помощью значит признать себя побежденным...

Уже было девять часов вечера, и Лапшин зашел на минутку к себе в кабинет, чтобы подписать бумаги, и сел в кресло, не снимая шинели. Но ему позвонил адъютант начальника и сказал, чтобы он не уезжал, так как начальник сейчас беседует с артистами и собирается вместе с ними к Лапшину.

Досадливо поморщившись, Лапшин сбросил шинель, зажег бронзовую люстру, которую зажигал в особо торжественных случаях, и, сделав напряженное лицо, стал читать уже прочитанную сегодня газету. От голода у него бурчало в животе, и от предстоящего разговора с артистами он испытывал неловкость и заранее раздражался на те глупые вопросы, которых ожидал.

Первым, поскрипывая сапогами и ремнями, блестя стеклами пенсне и официально покашливая, вошел начальник, за ним шли артисты. У начальника на лице было то плутовато-суровое выражение, которое всегда появлялось у него в подобных случаях и

которое означало, что хоть мы и не Пинкертоны, но найдем что показать. Артисты же держались робко и с таким видом, будто входили в комнату, где могло быть все решительно, начиная с трупа, злодейски разрезанного на куски, и кончая взрывчатыми веществами.

Пожав Лапшину руку во второй раз (они уже виделись сегодня) и предложив артистам садиться, начальник закурил прямую английскую трубку и, расхаживая по комнате с трубкой, зажатой в кулаке, стал говорить о том, что он привел их к Лапшину не случайно, а привел их потому, что Лапшин — старейший работник розыска, и не только старейший, но и опытейший...

— В нашем деле, — говорил он, живо блестя стеклами пенсне, — как и в вашем, товарищи, необходимы не только опыт и настойчивость, но еще и талант. Товарищ Лапшин — талантливый работник, очень талантливый и очень настойчивый.

Лапшину от этих похвал стало жарко, и, не зная, что делать с собою, он деловито потушил и опять зажег настольную лампу.

— Вот видите, как стесняется! — сказал начальник, и артисты засмеялись, а Лапшину вдруг стало стыдно за начальника и за его тон, и за трубку, которую он никогда раньше не курил, а теперь почему-то закурил.

Он по-прежнему стоял возле своего кресла и по-прежнему курил дешевую папиросу, но теперь он уже не стеснялся больше и в упор разглядывал артистов своими зоркими ярко-голубыми глазами. Никто из них ему не нравился: ни красивый молодой артист, спявший широкополую серую шляпу и отиравший подбритый лоб платком; ни старуха с двойным подбородком и вежливо-безразличными глазами; ни еще один молодой, но уже лысый артист, все время кивающий яйцеобразной головой; ни тучный благообразный старик в крагах; ни молодая артистка с рыжими волосами, с очень белой шеей и ярко накрашенным большим ртом. В каждом из них было нечто нарочитое, подчеркнутое и раздражающее, такое, что заставило Лапшина с досадою подумать: «Эх, пижоны!» И только одна девушка привлекла его внимание. Она сидела сзади всех, и вначале он даже ее не увидел — так скромно, по сравнению со всеми, она была одета и так незаметно держалась: ни головой не кивала, не смеялась, не говорила: «Это интересно!», или «Да, да!», или «Черт знает что!». Она сидела за спиною старухи с двойным подбородком и, вытянув свою тонкую шею, следила за всем происходящим с испуганно-внимательным видом. Она была в берете и шубе из того пегого меха, про который обычно говорят, что он тюлений, или телячий, или даже почему-то кабардинский, и который

в дождливую погоду просто вопяет псиной. Из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек, и этот платочек вдруг очень понравился Лапшину.

Когда начальник неуверенно-свободным голосом стал рассказывать о преступлениях годов нэпа и сказал: «Это жуткая драма», — артистка в берете, так же как и Лапшин, от неловкости опустила глаза.

Покуривая и слушая начальника, Лапшин смотрел на артистку, видел ее круглые карие глаза, вздернутый нос и думал о том, что если ему придется говорить, то говорить он будет ей и никому другому, разве что еще низенькому старику с большой нижней челюстью, который сидел рядом с ней и порой что-то ей шептал, вероятно смешное, потому что каждый раз она улыбалась и наклоняла голову. «Он с ней вдвоем против всех, — с удовольствием подумал Лапшин. — Злой, наверно, старикан!» И он вспомнил фамилию старика, и вспомнил, что видел его в роли Егора Булычова, и вспомнил, как хорошо играл старик.

Наконец начальник попрощался и ушел.

— Товарищ Лапшин обеспечит вам помощь и руководство, — сказал он в дверях, — прошу адресоваться к нему!

Артисты по-прежнему сидели у степ. Лапшин потушил окурок, сел в свое кресло и негромко, глуховатым баском, спросил:

— Я не совсем понимаю, чем могу вам помочь. Может быть, вы расскажете?

Тогда взял слово молодой артист в кепке особого фасона и с очень страдальческим и изможденным лицом и стал рассказывать содержание пьесы, которую театр ставил. Насколько Лапшин мог понять, пьеса на протяжении четырех действий рассказывала о том, как перестраивались вредители, проститутки, воры, взломщики и шулера — числом более семнадцати — и какими они хорошими людьми сделались после перестройки. Как ни внимательно вслушивался Лапшин в путаную и вялую речь артиста, он так и не понял, когда же и отчего перестроились все эти люди. Кроме того, артист рассказывал с большим трудом и стесняясь, — с ним происходило то, что происходит с каждым непрофессионалом, рассказывающим профессионалу, — он путался, неумело произносил жаргонные слова и часто повторял: «Если это вообще возможно». Очень раздражал Лапшина также и полупонятный лексикон артиста, например: «На сплошном наигрыше», или: «Это крепко сшитый эпизод», или: «Формальные искания завели нас в тупик, и мы пошли по линии...»

— Понятно! — сказал Лапшин, хотя далеко не все было ему понятно. — Но я вас должен предупредить, что вы не очень правильно ориентированы...

Он наморщил лоб, взглянул на артистку в берете и на старика и понял, что они довольны его тоном и что они ждут от него каких-то очень важных для них слов. У артистки глаза стали совсем круглыми, а старик с ханжески скромным видом жевал губами. Глядя на старика, Лапшин продолжал:

— Уж не знаю, откуда эти идейки берутся, но они неверны. Вот я по вашим словам так понял, что все эти воры, и проститутки, и марвихеры, и жулики с самого пачала чудные ребята и только маленьчко ошибаются. Это не так. Это неверно. Вор в советском государстве — не герой. Это в капиталистическом государстве могут найтись... люди (он хотел сказать «дураки», но постеснялся и сказал «люди»), люди, — повторил он, — которые считают, что вор против собственности выступает и потому он герой, а у нас иначе. Ничего в этом деле ни героического, ни возвышенного нет, — сказал Лапшин, раздражаясь, — поверьте мне на слово, я этих людей знаю. Вот у нас в области один дядя Пава украл из колхоза семь лошадей и сделал контрреволюционное дело. Мужики из колхоза разбрелись и говорят: «Не были мы колхозные — и лошади были, а стали колхозные — и лошадей нет». Я дядю Паву поймал и посадил в тюрьму, и дядя этот, оказалось, работал не от себя, а от целой фирмы. Сознался. Воры — народ неустойчивый, их легко можно купить. Вот Паву-то кое-кто и купил...

— Пьеска прелестная, — вдруг сказал старик, — необыкновенно грациозно написанная, и колоритная, и все такое, и даже проблемная в том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей...

Он закашлялся и сказал лживо взволнованным голосом:

— Побольше бы таких пьес!

Рыжая актриса огрызнулась, и Лапшин опять подумал, что тут происходит бой.

— Это, конечно, и к проститутке относится, — вновь заговорил Лапшин, — и ко всем решительно. Безработицы у нас нет, основная база этого ремесла разрушена. Все остальное — психология. Мало ли там слабых и психически неустойчивых? Эдак любую, самую невероятную, подлость оправдать можно. Дескать, неуравновешенный. Мне дела, знаете ли, нет, кто мне горло перерезывает: уравновешенный или неуравновешенный. Ежели не болеет, то и отвечай по-нашему, по-советскому, по закону. Верно я говорю?

— Верно! — сказал толстый старик и захохотал, трясая головой. — Верно, батенька, я сам с шулером на Волге играл, и тот из меня три тысячи двести рублей кровных сбережений вытянул. Не могу я симпатягу из шулера разыгрывать, коли мне до сих

пор тошно, как вспомню. Я лучше сам себя сыграю, какой я был в те поры хороший и чистый.

Все засмеялись, и Лапшин сказал улыбаясь:

— Правильно, конечно. Прожили мы почти двадцать лет, нечего валять дурака. Сидит у меня сейчас один мальчик — Карлуша Гринблат. Из хорошей рабочей семьи, а сам прохвост, начал свою деятельность с того, что воровал в годы первой пятилетки баббит с завода. Не хватало ему на «красивую» жизнь. Ну и что, ну и не хватало, так сейчас бы хватило. Для него, дурака, старались, верно? Так ведь что? «Во мне, говорит, проклятое прошлое!» Как вам нравится? «А ты, спрашиваю, это прошлое видел? Когда Октябрьская революция ударила, ты еще в Африке вороной летал». Молчит.

Лапшин выжидательно оглядел артистов. Все молчали, и Лапшин ясно понял, что все то, о чем он говорил, артистов не устраивало по каким-то причинам, ему неизвестным. Довольными были только девушка в берете и старик артист с большой нижней челюстью, который сидел рядом с нею.

— Так-то! — среди общего молчания сказал старик. — Выходит, что мы с Адашовой правы, а не Викентий Борисович.

Завязался вдруг непонятный Лапшину спор. Все набросились на старика с челюстью, и Лапшин с досадой думал о том, что это совершенно его не касается, что он хочет есть и спать.

Когда спорить перестали, ему уже было лень говорить. Он встал и сказал, что кто из товарищей хочет поближе познакомиться с делом, тот может заходить к нему в любое время, разговаривать же на общие темы, по его мнению, не стоит.

Все начали говорить, что на общие темы тоже чрезвычайно интересно и что они уже многое получили и пусть Лапшин еще побеседует.

Зазвонил телефон.

— Так вот, товарищи, — сказал Лапшин, переговорив и вешая трубку, — я должен только добавить несколько слов по поводу того, что называется в просторечии перестройкой...

И, посасывая зажеванный мундштук потухшей папиросы, он деловито и коротко заговорил о том, что в перестройке основным является профессия, что людям дают профессию и таким путем превращают их из люмпенов в трудящихся.

— Затем дело, работа, — говорил он, — строится канал или плотина — люди видят плоды своих рук...

Вынув связку ключей, он открыл шкаф и достал оттуда свою гордость — большие, унылого вида альбомы с фотографиями.

— Поглядите! — говорил он небрежным тоном. — Тут у меня кое-что собрано, я лет пятнадцать собираю...

И, раздав на руки альбомы, он с тревогой следил, как бы не выпала и не затерялась фотография, как бы кто-нибудь не поцарапал эмульсию на карточках, как бы не перегнули листа...

— Это все мои крестнички,— говорил он, наклоняясь над артисткой в берете и над стариком, который с довольным лицом потирал свой длинный подбородок. — Но тут просто портреты, а вот этот альбом куда занятнее...

И, придвинув одним движением своей сильной руки тяжелый, из дуба, столик, он раскрыл на нем папку и стал показывать фотографии, поглядывая то на Адашову, то на старика с тем выражением глаз, которое бывает у художников, показывающих свою картину.

— Тут, знаете, мы кой-чего разыграли,— говорил он,— такие как бы живые картины. Это все сотрудники наши изображены. Это, например, разбойный налет. А это, знаете ли, вопию лично я в кепке, палетчика изображаю с маузером. Это здесь все точно показано,— говорил он, возбуждаясь от поощрительного покашливания старика,— здесь все как в действительности. А здесь уже показано, как наша бригада выезжает на налет. Тут уже я в форме... А здесь я опять налетчика разыгрываю...

— Чудно! — сказала Адашова и повернулась к нему всем своим улыбающимся и розовым лицом, и он увидел, что щеки ее покрыты нежным пушком.

— Верно, ничего разыграли? — весело и просто спросил он. — Это, знаете ли, в учебных целях, своими силами, а уж мы разве артисты?

— Все очень живо и естественно,— сказала Адашова,— напрасно вы думаете...

— Смеялись мои ребята,— говорил Лапшин,— цирк прямо был...

И, очень довольный, Лапшин завязал папку и стал рассказывать о палете, который инсценировал. Артисты его обступили, и он очень понимал, что им хочется рассказа пострашнее, но врать он не умел, да еще по привычке совсем убирал из рассказа все ужасное и ругал бандитов.

— Да ну,— говорил он посмеиваясь,— так, хулиганье вооружилось. Разве это налетчики?

— А Ленька Пантелеев? — спросил артист с бритым лбом.

— Да ну что! — сказал Лапшин. — Ну бандит... Это все писатели выдумали, нам их не обскакать...

Ему было досадно, что артисты спрашивают о страшном, а не о том, о чем действительно стоит рассказывать и что действительно помогло бы им в будущем спектакле, и он, сделав вежливое лицо, стал забирать и ставить в шкаф свои альбомы и папки.

— А вот скажите, это убийство тройное на днях было,— спросила старая артистка с двойным подбородком.— Как вы себе представляете психологию убийцы?

— Не знаю,— сказал Лапшин.— Бандит еще не найден.

— Ах, так! — любезно сказала артистка.

— Да,— сказал Лапшин,— к сожалению.

Прижав коленкой дверцу, он запер шкаф и остановился посередине кабинета в ожидающей позе.

— А вот скажите,— спросил лысый артист и склонил свою яйцеобразную голову набок,— убийства на почве ревности, страсти роковые вам случалось видеть?

— Случалось,— сказал Лапшин.

— И... как же? — спросил артист.

— Я работаю по преступности много лет,— сухо сказал Лапшин,— мне трудно ответить вам коротко и ясно.

— Ну, спасибо вам! — сказал вдруг тучный артист в крагах и стал пожимать Лапшину руку обеими руками.— Я очень много почерпнул у вас. От имени всего коллектива благодарю вас.

— Пожалуйста! — сказал Лапшин.

Пока они собирались уходить, он открыл форточку, падел шинель и позвонил, чтобы давали машину. Досады и раздражения он уже не чувствовал и, спускаясь через три ступеньки по служебной лестнице, с удовольствием представлял себе Адашову. Машины у подъезда еще не было. Стоя в дверной нише служебного выхода и оглядывая после тяжелого дня огромную, белую от снега площадь, он вдруг услышал голос одного из актеров, с досадой говорившего:

— Да полно вам, дурак ваш Лапшин! Чиновник, тупой человек и грубиян в довершение!..

Мимо табунком прошли артисты, и толстый старик в крагах, тот, что давеча обеими руками пожимал руку Лапшину, брюзгливо говорил:

— Чинуша, чинодрал, фягот!

«Почему же фягот? — растерянно подумал Лапшин.— Что он, с ума сошел?»

Сидя за рулем машины, он по привычке припоминал свой разговор с артистами и, только восстановив все до последнего слова, решил, что он был прав, коротко отвечая на пространные вопросы, что отвечать иначе на эти вопросы решительно было невозможно и что психология преступления и все прочие высокие темы не укладываются в вопросы и ответы на ходу, а потому прав он, Лапшин, а не артист в крагах.

«И не чиновник я,— рассуждал Лапшин,— и не чинуша,— это ты врешь. Сам ты, вероятно, чинуша, а я нет. Правда, я грубоватый иногда, но нельзя же такие глупые вопросы задавать! И вообще чужак народ! — неодобрительно, но уже весело думал Лапшин, нажимая кнопку сигнала,— ему очень хотелось проехать между трамваем и автобусом, а автобус не уступал,— чужак, ей-богу, чужак».

И, позабыв о неприятном старике в крагах, он стал думать про Адашову и про то, как она похвалила его фотографии.

5

Васька от безделья и скуки обзвонил всех своих знакомых и сообщил, что болен, поэтому, когда Лапшин вернулся домой, телефон непрерывно трещал, и Васька лживым голосом поминутно с кем-то объяснялся. Пока обедали, Лапшин терпел, потом сказал:

— Довольно! Надоекло! Сними трубку!

Он разулся и, наморщив лоб, сел возле радиоприемника. В эфире не было ничего интересного. Женский голос передавал «Крестьянскую газету», потом кто-то сказал:

— Вогульские народные песни, собраны исполнительницей...

— Черта собраны! — сказал Лапшин, но все-таки послушал. При этом у него было плачущее лицо.

— Бросьте, Иван Михайлович! — крикнул с постели Васька. — Пусть лучше лекцию читают.

Наконец Лапшин услышал, что сейчас будет сыграно действие из какой-то пьесы. Мужской голос с железными перекатами говорил, кто кого будет играть.

— Это про посевы,— сказал Васька,— я уж знаю. В это время всегда про посевы. Один артист будет за корнеплода играть, другой — за подсолнух, третий — за сельдерей...

— Помолчи! — сказал Лапшин.

— Тут давеча без вас картошка пела,— не унимался Васька,— так жалобно, печально: «Меня падо окучивать-окучивать...» Не слышали?

— Нет,— сказал Лапшин и лег в постель.

Он любил театр и относился к нему с той почтительностью и серьезностью, с какой вообще относятся к театру люди, не сделавшие искусство своей специальностью. Каждое посещение театра для Лапшина было праздником, и, слушая слова со сцены, он обычно искал в них серьезных и поучительных мыслей и старался эти мысли обнаружить, даже если их и вовсе не

было. Если же их никак нельзя было обнаружить, то Лапшин сам выдумывал что-нибудь такое, чего хватило бы хотя на дорогу до дому, и рассуждал сам с собой, шагая по улицам. И, как многие скромные люди, он почти никогда не позволял себе вслух судить об искусстве и если слышал, как его товарищи толкуют о кинокартине, книге или пьесе, то обычно говорил:

— Много мы, ребята, что-то понимать стали! А? Грамотные, умные! Ты поди сам книгу напиши, а я погляжу...

Но огромный жизненный опыт и знание людей волей или неволей научили его отличать жизненную правду от подделки ее искусством, и он знал и любил то ни с чем не сравнимое чувство острой радости, которое возникало в нем при соприкосновении с подлинным искусством. Тогда он забывал о мыслях, сам не думал и только напряженно и счастливо улыбался, глядя на сцену, или на экран, или читая книгу,— независимо от того, трагическое или смешное он видел, и в это время на него приятно и легко было глядеть. И на следующий день он говорил в управлении:

— Сходил я вчера в театр. Видел пьеску одну. Да-а!

И долго потом он думал о книге, или о пьесе, или о картине, что-то взвешивал, мотал своей круглой упрямой головой и опять говорил через месяц или через полгода:

— Представлен там был один старичок. Егор Булычов некто. Нет, с ним бы поговорить интересно! Я таких видал, но не догадывался. Это старичок!

И долго, внимательно глядел на собеседника зоркими голубыми глазами.

— Интересно? — спрашивал собеседник.

— Да, пожалуй, что интересно,— неторопливо и неуверенно соглашался Лапшин, боясь, что слово «интересно» чем-то оскорбит пьесу, которую он видел.

По радио передавали одно действие из пьесы, о которой Лапшин довольно много слышал, но которая ему чем-то была неприятна. На эту пьесу устраивали культпоход, и товарищи Лапшина очень ее хвалили, и когда хвалили, Лапшин почему-то не верил и улыбался. В культпоходах он никогда не принимал участия — любил бывать в театре один. Ему не нравилось в антрактах обмениваться впечатлениями и вместе пить лимонад. И праздник ему не удавался, если ходили вместе: слишком уж было шумно, суетно и слишком много говорили.

В этой пьесе речь шла о каком-то, вероятно уже пожилom, человеке, который предполагал, что умирает из-за неизлечимой болезни, и который на этом основании держался особенно жизнерадостно, бодро и притом с ненавистной Лапшину многозначи-

тельной простотой. Каждая фраза этого человека раздражала Лапшина. Ему было обидно и грустно еще и потому, что артист, игравший умирающего, с превосходной внешней точностью и правдивостью изображал голосом человека, Лапшину как бы известного знакомого, несомненно существующего и если бы даже и заболевшего смертельной болезнью, то ни в коем случае так бы не державшегося.

Лежа, по своей привычке, лицом к стене и слушая, как обреченный к смерти человек правдивым голосом поучал других восторженных и глупых людей разводить кроликов, Лапшин хотел было уже выключить радио, как вдруг его внимание привлек знакомый голос актрисы, которая давеча похвалила его фотографии. Он сразу узнал ее голос и вспомнил ее лицо — некрасивое, молодое, с круглыми глазами и большим ртом, розовым и ненакрашенным, как у других актрис. Оттого что он узнал ее голос по радио, Лапшину стало приятно. Он повернулся на спину и крикнул Патрикеевне, чтобы она не бормотала и не мешала. В голосе актрисы ему послышалась интонация, обрадовавшая его, — правдивая и, как показалось ему, уловленная не внешне, а изнутри.

Актриса играла комсомолку, молоденькую и разбитную девушку, искреннюю, неглупую, но не постигшую еще всей сложности жизни и потому наивную. И несмотря на то, что Лапшину противен был тот длинно и демонстративно просто умирающий человек, он почти с умилением слушал трогательные по прямоте, восторженности и наивности фразы девушки. То, что написал драматург, было пошло, кокетливо и лживо. Актриса же осветила все это по-своему, и Лапшин, лежа на кровати с закрытыми глазами, думал о том, что он знает таких девушек и юношей, верит им и любит их. И чем дальше, тем менее лжив становился умирающий, тем мягче и умиленнее разговаривал он с этой молодой и наивной девушкой, и Лапшин вдруг, сам того не желая, поверил в реальность разговора и вздохнул коротенько и жалобно, подумав, что все мы умрем и что умирать жалко.

— Здорово, собака, играет! — размягченным голосом, лежа на своей кровати, сказал Васька.

Лапшин не ответил. Из радиорупора донесся жалобный и некрасивый плач девушки, узнавшей, что ее собеседник скоро умрет.

— Все там будем! — по-бабьи сказал Васька и закурил, чтобы не волноваться.

Явилось какое-то третье лицо, и опять умирающий заговорил отвратительно скромным и ханжески простым голосом.

Девушка попрощалась, еще поплакала и ушла. Действие кончилось. Диктор медным голосом прочитал, кто кого играл. Комсомолку играла Адашова, артистка театра, по названию напоминавшего ДЛТ — Дом ленинградской торговли.

— Важно разыграли! — сказал Васька. — Верно, Иван Михайлович?

— Важно, — согласился Лапшин и опять вздохнул. — Как бы она ревела, — сказал он, садясь на матрац, — ежели бы видела смерть настоящих людей! Умирал у меня в группе — я тогда на борьбе с бандитизмом работал — и был у меня такой паренек Першенко, молодой еще, совсем юный, так вот он умирал. Ну, брат...

Лапшин поискал вокруг себя на постели папиросы, закурил и стал рассказывать, как умирал Першенко.

— А когда мы его хоронили, — говорил Лапшин, — то лошаденка по дороге на кладбище от голода пала. Понесли гроб на руках. Смехота! Красивый был парень Першенко, Жора его звали, смелый! Двое детишек осталось. А наша группа, когда банду всю повязала, постановила: от своего пайка за месяц десятую долю послать ребятам Жоркиным. И вышло пятнадцать фунтов сахару-мелису, знаешь, желтый такой? Я год назад заходил к ним, к Першенкам, — ничего живут, оба паренька работают. Чай у них пил с медом. А мамаша опять замуж вышла. И муж у нее такой ерундовский, замухрышка! Кассир в театре. Конечно, кассир тоже дело делает, — можно билеты медленно продавать, а можно быстро. Только за Жорку мне обидно. Орел был!

— Коммунист? — спросил Окошкин.

— Беспартийный.

Постучал Ашкенази, поставил Ваське термометр и сказал:

— Умерла у меня сегодня одна старушка. Я к ней пришел, разговариваю, а она бац — и преставилась. Милая была старушка, сама для себя мыло варила, покупным не мылась — говорила, что оно из покойников. И в свое клала ягоды — землянику. И вдруг запятая! А?

— Бывает, — сказал Лапшин.

— Тридцать семь и семь, — сказал Васька. — Привет от старушки!

Лапшину стало скучно. Он взглянул на часы — было половина двенадцатого — и вызвал машину.

— Куда? — спросил Васька.

— Поеду к Бычкову, — сказал Лапшин, — на квартиру. Ему баба житья не дает, надо поглядеть.

Он надел шипель, сунул в карман лареный браунинг и сказал из двери:

— Ты микстуру пей, дурак!

— Оревуар, резервуар, самовар! — сказал Васька. — Привези папирос, Иван Михайлович.

6

Когда он вошел в комнату, на лице Бычковой выразилось сначала неудовольствие, а затем удивление. Она стирала, в комнате было жарко и пахло мокрым, развешанным у печи бельем.

— Бычкова нет дома, — сказала она, — и он не скоро, наверно, придет.

— Я к вам, — сказал Лапшин, — и знаю, что он не скоро придет.

— Ко мне? — удивилась она. — Ну садитесь!

Стулья были все мокрые. Она заметила его взгляд, вытерла стул мокрым полотенцем и пододвинула ему. Он видел, что она поглядывает на его пашивки.

— Вы стирайте, — сказал он, — не стесняйтесь! Я ведь без дела, так просто заглянул.

Она ловко вынесла корыто в кухню, вынесла ведра, бросила мокрое белье в таз и очень быстро накрыла стол скатертью. Потом сняла с себя платок и села против Лапшина. Лицо ее выражало недоверие.

— Полный парад! — сказал Лапшин.

Бычкова промолчала.

— А вы кто будете? — спросила она. — Я ведь даже и не знаю.

Голос у нее был приятный, мягкий, выговаривала она по-украински — не «кто», а «хто».

— Моя фамилия Лапшин, — сказал он. — Я начальник той группы, в которой работает Бычков. А вас Галипа Петровна величать?

— Да, — сказала она.

Лапшин спросил, можно ли курить, и еще поспрашивал всякую чепуху, чтобы завязался разговор. Но Бычкова отвечала односложно, и разговор никак не завязывался. Тогда Лапшин прямо спросил, что у нее происходит с мужем.

— А вам спрос? — внезапно блеснув глазами, сказала она. — Який пряткий!

— Не хотите разговаривать?

— Что ж тут разговаривать?

Он молча глядел на ее порозовевшее миловидное лицо, на волосы, подстриженные челкой, на внезапно задрожавшие губы и не заметил, что она уже плачет.

— Ну вас! — сказала она, сморкаясь в полотенце. — Вы чужой человек, чего вам мешаться... Еще растравляете меня...

Полотенцем она со злобой отерла глаза, поднялась и сказала:

— А он пускай не жалуется! Як баба! Ой да ай! Тоже герой!

— Герой, — сказал Лапшин. — Что же вы думаете, товарищ Бычков — герой!

— Герой спекулянтов ловить, — со злобой сказала она. — Герой, действительно!

— Ваш Бычков герой, — спокойно сказал Лапшин, — и скромный очень человек. Он по конокрадам работает, а лошадь в колхозе — дело первой важности. Он дядю Паву поймал, слышали?

— Слыхала, — робко сказала Быčkова.

— А кто дядя Пава, слышали?

— Конокрад, — сказала Быčkова, — лошадей уворовал.

— «Уворовал», — передразнил Лапшин. — Увел, не уворовал.

— Ну, увел, — согласилась Быčkова.

— А что он в вашего Быčkова из двух пистолетов стрелял, это вы знаете?

— Нет, — сказала она.

— Не знаете! — как бы с сочувствием сказал Лапшин и подогнул один палец. — Не знаете, — повторил он. — А что вашему Бычкову два года назад, когда вы спокойненько в школе учились, кулаки-конокрады перебили ногу и он в болоте, в осоке, восемь суток умирал от потери крови и от голода, это вы знаете?

— Нет, — тихо сказала она, — не знаю.

— Так! И это не знаешь, — со злорадством в голосе, внезапно перейдя на ты, сказал Лапшин и подогнул второй палец. — Что же ты знаешь? — спросил он. — А, Галина Петровна?

Она молчала, опустив голову.

— Твой Бычков знаешь какой человек? — спросил Лапшин. — Знаешь?

Она взглянула на него. Он вдруг чихнул и сказал в платок:

— Неслюбопытная вы женщина, вот что!

Лапшин еще чихнул и крикнул, морщась:

— Понесли, черти! У меня форточка в кабинете, и в затылок дует.

Отдышавшись, он сказал:

— Вот как!

И добавил:

— Так-то! Вы бы меня про него спросили. Ему лично со всего Союза письма пишут, он спаситель и охранитель колхозного добра...

— Я ж этого ничего не знаю,— сказала она,— он же мне ничего не говорит. «Поймал жулика, жуликов поеду поймаю, в колхоз поеду, в совхоз поеду, хорошего жулика поймал...»

— А вы спросите! — пакидательно, опять перейдя на вы, сказал Лапшин. — Чего же не спросить?

— Да он не скажет.

— Чего нельзя — не скажет, а что можно — скажет. Я его знаю, из него всякое слово надо клещами вытягивать. Он боится, что неинтересно, что подумают, будто он трепач, хвастун. Он знаете какой человек? Махорку всегда курил, а хороший табак любит, это мне известно. Премировали мы его — так он табаку себе все-таки не купил. Говорит: а чего там, подумают, Бычков загордился. А деньги небось вам отдал?

— Мне,— сказала Бычкова,— на пальто. У меня пальто не было зимнего.

— А вы ему табаку купили?

— Так он не хочет,— густо краснея, ответила она,— курит свою махорку...

— «Махорку»,— передразнил Лапшин,— «махорку»! Эх вы, дамочка!

— Я не дамочка,— сказала Бычкова,— сразу уж в дамочки попала.

Она заморгала, готовясь заплакать, и, несмотря на досадливый вздох Лапшина, все-таки заплакала.

— Сами плачете,— кротко сказал Лапшин,— а сами ему глотку переседаете. Нехорошо так!

— Я себе в Каменце жила,— говорила она, плача и пальцами вытирая слезы. — Он приехал, в гостинице жил. Я с ним познакомилась. Говорит: поедem, поедem! В оперетку два раза сходили, на «Марицу», знаете, и на «Веселую вдову». Видали? И потом я как-то влюбилась в него, что он такой тихий, молчаливый. Смотрю: гимнастерку сам себе зашивает белыми нитками...

Она засмеялась, и слезы еще чаще полились из ее черных больших глаз.

— Жалко, так жалко мне стало! «Дайте, кажу, вашу гимнастерку...» И потом гуляли мы с ним до самого утра, а потом уже пошли, расписались. Несчастье мое, поехала с ним в Ленинград. «У нас, каже, театры, кино, опера, балет...»

— Ну? — спросил Лапшин.

— От вам и ну, — плача все сильнее и сильнее, воскликнула она, — чтоб она сгорела, тая жизнь! Знакомых у меня тут нет, родственников нет, ничего нет — одна эта комната, а он зайдет, покушает, поспит и пошел. А то уедет на месяц! Позвонит из управления: «До свидания, Галочка, будь здорова, я в Петрозаводск уезжаю!» — «Уезжай, кажу, к свиньям, чтоб ты подох, чертяка!» Трубку телефонную як кину об стенку, аж брызги полетели. Двенадцать рублей за ремонт отдала...

Закрыв лицо руками, она вышла на кухню, и оттуда слышались ее горькие, громкие рыдания.

Лапшин вспотел, уши у него горели: «Вот аптимония!» — думал он, уставившись в полуоткрытую дверь.

— Чай будете пить? — крикнула она из кухни. — Мне мама варенья прислала вишневого.

— Буду, — сказал он.

Было слышно, как она на кухне наливала в примус керосин, как мыла что-то под краном, как сказала:

— Опять чайник утянули, холера вам в бок!

И как старушечий голос ответил:

— Психопатка дурная! Задавись своим чайником!

Лапшин покрутил головой и вздохнул.

Она вернулась в комнату, напудрилась и сказала, садясь на прежнее место против Лапшина:

— Вот так и живу. Хорошо?

— Ничего, — сказал Лапшин, — надо лучше.

— А то гулять пойду, — сказала она и вспыхнула, — пойду и пойду...

— Очень вы себя жалеете, — сказал Лапшин. — Что тут особенного, подумаешь?

Он поднялся, сбросил шинель и прошелся по комнате из угла в угол.

— Я сама машинистка, — сказала она, глядя на него снизу, — я в Каменце в милиции работала — двести ударов в минуту делала, а тут уже не работаю. Если работать, тогда я его вовсе и не увижу. Он прибежит, а меня и дома нет. Кто ему покушать даст? Вы?

— Почему я? — удивился Лапшин.

Она принесла чайник, масло, варенье и нарезала хлеба.

— Если хотите, — предложил он, — то я могу вас к себе взять в бригаду машинисткой. А нашу я тогда налажу к Куприянову — он просил. Будете вместе с Бычковым работать.

— Хочу, — тихо сказала она.

Чай они пили молча, изредка поглядывая друг на друга, и Лапшин видел, что глаза у Бычковой еще полны слез. Выпив два стакана, Лапшин объяснил ей, как надо заваривать чай. Она слушала его покорно и внимательно.

— И табаку Бычкову купите, — неожиданно сказал он. — Уважьте его. Есть табак под названием «Алта» или «Особенный». Вот купите четвертку. Он и будет заворачивать.

Наклонившись через стол, Лапшин добавил:

— Время не такое. Неловко, с другой стороны, махорку курить. Поняла?

— Поняла.

Потом, покуривая папиросу и прихлебывая чай, Лапшин говорил о том, что им обоим — и мужу и жене — надо бы летом съездить на юг, на море или в Боржом.

— О, брат, Боржом! — говорил Лапшин, налегая на стол и тараща глаза. — Лечение блестящее, но моря нет. Без воды. А? Помиритесь без воды?

— Нет, с морем лучше, — сказала Бычкова. — Я море обожаю. Разве может быть курорт без моря?

— А Кировск? — воскликнул Лапшин.

— Хорошо?

— Спрашиваете! — сказал Лапшин. — Конечно, хорошо.

— Нет уж, север — это какой курорт! Это не курорт...

— Глупо говорите! — сказал Лапшин. — Не знаете — не говорите.

Он помолчал, потом вынул записную книжку и спросил, ставя карандашом точку:

— Ленинград?

— Да.

— А сюда Рыбинск. Раз, два, три — через Горький до Астрахани по Волге. Из Астрахани по Каспию до Баку. Из Баку в Тбилиси. Раз! Из Тбилиси в Батуми — два! Из Батуми на теплоходе до Одессы — четверо суток, представляете себе? Потом из Одессы в Ленинград — раз, два, три!

— Да, — сказала Бычкова.

Во втором часу почти вернулся Бычков. Увидев у себя в комнате начальника, он смутился, но скоро повеселел, сел возле горячей кафельной печи на стул верхом и молча пил чай стакан за стаканом.

— Вы заходите, — говорила Бычкова, провожая Лапшина по коридору. — Или хотите, я к вам зайду?

— Ладно, зайдите, — сказал Лапшин. — А завтра пришлите мне заявление и справки там, какие нужно. Ну, будьте здоровы!

Так как шофера он отпустил, то назад пришлось идти пешком. Очень хотелось спать. Но все-таки по дороге он заглянул в две пивные. Заведующий пивной-подвальчиком сказал ему:

— Не извольте беспокоиться! Полный порядочек! Был тут один, по прозвищу Козодой,— паладили в отделение.

— Кривой, что ли?

— Так точно.

— А прилавок кто разворотил?

Заведующий смущенно улыбался.

— Поцарапались тут две мышки.

— То-то мышки! — сказал Лапшин. — А еще культурная пивная! Безобразие разводите! Ваша как фамилия?

— Разводящий,— сказал заведующий.

— Так вот, чтобы был порядок!

— Слушаюсь.

— И никаких мышек! И руки надо чистые иметь! Понятно?

Он ушел, коротко козырнув. Дома разделся, снял телефонную трубку и заснул с нею в руке — не успел ее повесить.

7

Его разбудила Патрикеевна: нужны были деньги — идти на рынок. Он долго ничего не понимал, потом сказал:

— Поди ты, ей-богу! Откуда у меня деньги перед получкой?

— У меня есть свои,— сказала Патрикеевна,— могу на свои в долг сходить. Вы запомните!

— Ну и чудно!

Он проспал еще минут десять-пятнадцать и, проснувшись, вдруг вспомнил вчерашний свой разговор с Бычковой. «Им бы квартиру дать,— сонно думал он,— под охра бы всю. А? С кухней, с уборной, с ванной, чтобы культурненько. И с медной дощечкой на дверь». Он дремал, ворочался на воющих пружинах матраца и сквозь дремоту вдруг размечтался о том, чтобы всем работникам своего отделения выдать по квартире. «А чего ж,— думал он,— построю дом на сорок шесть квартир — и пожалуйста! И распишусь!» И, уже заснув, он сделал такое движение рукой под одеялом, как будто расписывался. «И семафор,— решил он,— и двадцать пять этих...» Он что-то забыл, взглянул на новый дом и сказал: «Вот чудненько!» И понял, что все это ему приснилось. «Ничего, построим,— думал он,— и Ваське комнату дадим! Хорошо бы рояли в квартирах, пальмы. Телевизоры, черт бы их драл, бассейн там плавательный».

— Вставай, Васюта,— сказал он,— пора!

Встал, вскипятил чайник и сел за стол в кальсонах с завязками, почесывая голову.

— Здоров? — спросил он.

— Ослабел, — сказал Васька. — Пропал мальчик!

Все утро Лапшин не мог отделаться от мыслей по поводу дома и, вздыхая, придумывал новые и новые усовершенствования: детскую площадку, лифты, дырки в стенах, чтобы грязное белье проваливалось прямо в прачечную.

Потом привели дядю Паву — степенного, очень красивого конокрада. Покашляв в ладонь, дядя Пава сел на стул и положил руки на колени. Когда Лапшин на него взглянул, он произнес:

— Здравия желаем!

— Здравствуйте! — сказал Лапшин. — Что имеете добавить к показаниям?

— Никаких я показаний не давал, — произнес дядя Пава, — которое у вас написано — все вранье. В расстройстве был за несправедливость и наговорил неведь чего.

Злобно-лукавые его глаза внезапно погасли, сделались мутными. Он пригладил большой ладонью синие, с цыганскими кольцами, кудри и потупился.

Лапшин молчал.

— Да-с, — сказал дядя Пава, — оговорили меня. Паршивец стал народ.

— Сам у себя коней ворует? — спросил Лапшин.

— Вполне возможно, — сказал дядя Пава, — ворует мало — еще клевещет.

Лапшин опять замолчал. Его большое лицо потемнело. Он покашлял, порылся в деле, потом позвонил и велел вызвать Бычкова. Тот пришел, хромя, в дверях вынул изо рта пустой мундштук и встал «смирно».

— Дело можно полагать законченным, — сказал Лапшин. — Следствием установлено, что кулак Шкаденков действительно совершал палеты, уводил коней и так далее. Тут я выделил убийство коноха Миценко. Обратите внимание!

— Слушаюсь! — сказал Бычков.

Вошел секретарь и сказал, что к Лапшину пришла какая-то гражданка из театра.

— Пустите, — сказал Лапшин.

Тяжело поднявшись с кресла, он встретил Адашову у двери. Она была в той же пегой собачьей шубе, и лицо ее с мороза выглядело свежим и совсем еще юным.

— Можно? — робко спросила она, но, заметив спину дяди Павы и фигуру Бычкова, торопливо шагнула назад.

— Ничего, — сказал Лапшин, — посидите пока.

Она села на стул у двери, а Лапшин опять опустился в свое кресло.

— На расстрел дельце пошили,— сказал дядя Пава. — Верно, гражданин Лапшин?

Он глядел на Лапшина из-под припухших коричневых век таким острым, ничего не боящимся взором, что Лапшину вдруг кровь кинулась в голову. Он ударил кулаком по столу и крикнул:

— Молчать!

Но тотчас же сдержался и сказал:

— Я спрашиваю, а не вы.

— Это конечно,— согласился дядя Пава.

Он опять провел ладонью по кудрям, и Лапшин заметил его взгляд, брошенный на Бычкова,— косой, летящий и ненавидящий. Бычков же поглядел на него внимательно и вдруг усмехнулся.

— Дело прошлое,— сказал он,— это вы мне ногу прострелили, Шкаденков?

— Боже упаси! — ответил конокрад. — В жизни я по людям не стрелял.

И он облизал свои красные, еще красивые губы.

— Резал, верно,— сказал он,— ножиком резал. И вас порезал на Береклестовом болоте, ударил ножиком, помните?

— Как же,— сказал Бычков,— в плечо. Верно?

— И в спину еще ударил,— напоминал конокрад,— думал, грешным делом, мертвого режу, но нет — не вышло.

— Не вышло,— подтвердил Бычков.

— Живучи,— почтительно сказал конокрад,— аж завидно.

— Живуч,— согласился Бычков и спросил: — Все за свое, за доброе?

— Не за чужое,— сказал конокрад,— но при помощи.

Он оглядел Лапшина и Бычкова и добавил:

— Я смелый. Как вы считаете?

— Мертвого ножом резать — это, конечно, смелость,— сказал Бычков и спросил у Лапшина, можно ли идти.

Он увел с собой дядю Паву, и Лапшин сказал Адашовой:

— И такие тоже бывают. Но редко.

— Страшный господинчик,— сказала Адашова.

— Ничего, достали,— ответил Лапшин.

Он молча поглядел Адашовой в глаза, потом спросил:

— За что это меня ваш старик чиновником обругал? Не помните?

Адашова потупилась и покраснела до того, что Лапшину стало ее жалко.

— Ну, леший с ним! — сказал он, по-детски складывая губы и сдувая со стола папиросный пепел. — Шут с ним, с вашим артистом!

— Все это было позорно, — сказала она, — весь этот наш визит к вам. Такие глупые вопросы...

— Да нет, вопросы не то чтобы уж и глупые, — сказал Лапшин, — но не люблю я про психологию разговаривать. Вот возился я с одним убийцей восемь месяцев — жену он свою убил, а тут вынь да положь — психологию. Не так это просто!

И, чтобы кончить неприятный разговор, он спросил у Адашовой: показать ей типов или она еще посмотрит фотографии?

— Не знаю, — сказала она, — как вам удобно, мне все интересно... Я, видите ли, должна играть проститутку в этой пьесе, воровку и немного даже психопатку. Так если можно, я бы поглядела...

— Точно, — сказал он, — будет устроено. Тут у меня сидит одна такая, Катька-Наполеон называется. Заводная дамочка... Вы мне про роль поподробнее изложите, я вам, может, чего посоветую, — смущенно добавил он. — Я этот народ отлично знаю.

Она стала рассказывать, а он слушал, подперев свое большое лицо руками и иногда помахивая головой. Вначале Адашова путалась и волновалась, потом стала рассказывать спокойно.

— Мне, в общем, все не нравится, — сказала она, — но роль может выйти. Как вам кажется?

— А вы с тем стариком, который с челюстью, против пьесы?

— Ах, с Захаровым! — улыбнувшись, сказала Адашова. — Нет, мы против режиссера. Режиссер у нас плохой, пошлый. А Захаров — сам режиссер. Кажется, теперь Захаров будет эту пьесу ставить. У него интересные мысли есть, и мы с ним тогда у вас так радовались потому, что все наши мысли совпадали с тем, что вы говорили. И мы пьесу теперь переделываем... Драматург сам приехал сюда...

И Адашова стала рассказывать о том, как будет переделана пьеса.

— Так, конечно, лучше, — сказал Лапшин, — так даже и вовсе неплохо!

Он перестал чувствовать себя стесненным, и на лице его проступило выражение спокойной, даже ленивой деловитости, очень ему идущее. Адашова сидела у него долго, спрашивала, и он охотно отвечал. Говорил он обстоятельно, серьезно, задумывался и, как человек, много знающий о жизни, ничего не обшучивал. Слушать его было приятно еще и потому, что, рассказывая, он избегал какой бы то ни было наукообразности и держался так, точно ему самому не все еще было ясно и понятно.

— Темные дела происходят на свете,— говорил он, и нельзя было разобрать, осуждает он эти темные дела или находит их заслуживающими внимания и изучения.

— Вам, наверно, все люди кажутся жуликами, или ворами, или убийцами? — спросила Адашова.

— Нет, зачем же,— спокойно ответил он. — Люди — хороший народ.

И Адашова вдруг подумала, что люди — действительно хороший народ, если Лапшин говорит об этом с такой спокойной уверенностью.

— Ну а этот? — спросила она, кивнув на стул, на котором давеча сидел дядя Пава.

— Шкаденков-то? Ну, Шкаденков разве человек? Шкаденков взбесился, его стрелять надо.

— Как — стрелять? — не поняла Адашова.

— Расстреливать,— с неудовольствием объяснил Лапшин.

— И вам никогда не бывает их жалко? — спросила Адашова и испугалась, что бестактна.

— Нет,— медленно сказал Лапшин,— никогда. Был у меня один дружок — в бандотделе¹ мы с ним работали, — так он говорил: «Вычистим землю, посадим сад, погуляем с тобой в саду...» И не погулял — повесило его кулачье за поги и такое натворили с ним...

Лапшин махнул рукой и, поднявшись, спросил:

— Позвать Наполеона?

— Позовите! — сказала Адашова, и Лапшин вдруг увидел в ее глазах слезы.

— Это очень хорошо,— сказала она дрожащим голосом,— очень!

— Что? — не понял Лапшин.

— Вычистим землю, посадим сад,— сказала она,— погуляем в саду.

— Да,— сказал Лапшин, раскуривая папиросу,— я часто это вспоминаю.

Он позвонил и велел вызвать Наполеона.

Пока ходили за Наполеоном, пришла Бычкова в коричневом кожаном пальто и в белой шапочке, принесла очень длинное и выразительное заявление.

— Садитесь! — сказал Лапшин. — Гостьей будете!

Написав резолюцию, он спросил:

— Своего видели?

¹ Отдел по борьбе с политическим бандитизмом.

— Видела,— сказала Бычкова,— якогось цыгана допрашивает.

— Этот цыган ему ногу прострелил,— сказал Лапшин,— и ножом его порезал.

— От зверюга чертова! — сказала Бычкова угрожающим голосом.

— Теперь идите в отдел кадров,— сказал Лапшин,— оформляйтесь!

— Она уполномоченной работает?— спросила Адашова, когда Бычкова ушла.— Тоже жуликов ловит?

— Главный Пинкертои,— сказал Лапшин смеясь.— Машинисткой она у нас будет.

Катя-Наполеон была в дурном настроении, и Лапшин долго ее уламывал, прежде чем она согласилась поговорить с Адашовой.

— Мы здесь как птицы-чайки,— говорила она,— стонем и плачем, плачем и стонем. За что вы меня держите?

— За палет,— сказал Лапшин,— забыла?

— Налет тоже! — сказала Наполеон.— Четыре пары дочек...

— И сукно,— напомнил Лапшин.

— Надоело! — сказала Наполеон.— Считаете, считаете. Возьмите счеты, посчитайте!

— Не груби,— спокойно сказал Лапшин,— не надо.

— Как-то все стало мелко,— говорила Катя,— серо, неизящно. Взяли меня из квартиры, я в ванной мылась. Выхожу чистенькая, свеженькая, а в комнате у меня начальнички. Скушала суп холодный, чтобы не пропал, и поехала.

Она была в зеленой вязаной кофточке с большими пуговицами, в узкой юбке, в ботах и в шляпе, похожей на охотничий пирожок. Потасканное лицо ее было еще привлекательно, но глаза уже поблекли, помутнели, и зубы тоже были нехороши — мелкие и не белые.

— Стонем и плачем,— говорила она,— плачем и стонем. Поеду теперь на край света, буду там, как Робинзон Крузо, с попкой жить. Да, товарищ начальничек? И на гавайской гитаре играть.

— Там поиграешь! — неопределенно сказал Лапшин и ушел вниз в партийный комитет.

Оттуда он поднялся к начальнику и застал там прокурора, отличного охотника, с которым не чаще раза в год лазал по болотам и бил уток.

— А я, брат, очки падел,— сказал ему прокурор.— Старую.

— Фасонишь! — сказал Лапшин. — Роговые какие-то выдумал!

— Ну что артисты? — спросил начальник. — Канительный народ? Чуть было не пропал с ними, — сказал начальник, обращаясь к прокурору, — поговорил им невесть чего...

Он вопросительно замолчал, надеясь, что Лапшин скажет, будто все было в порядке, но Лапшин только густо покашлял.

— Что ж, Иван Михайлович, не женишься? — спросил прокурор. — Позвал бы на свадьбу, погуляли бы!

— Да нет, — сказал Лапшин, — куда мне, я старый старичок.

— Ну уж, старичок! — смеясь, сказал прокурор и снял очки, к которым не привык и которые его стесняли. — Такие старички, Иван Михайлович, самый бедовый народ...

И вдвоем с начальником они стали подсмеиваться над Лапшиным и рассказывать про него те небылицы, которые мужчины рассказывают только мужчинам.

— Ладно уж! — сказал Лапшин, сам смеясь. — Вот языки-то у вас подвешены!

Начался разговор о хищениях кожи с одного склада на Пороховых и о трикотажных спекулянтах, но долго еще и прокурор, и Лапшин, и начальник во время разговора посмеивались, вспоминая шутки и анекдоты, придуманные про Лапшина.

— Мое мнение, что тут Мамалыга шурует, — сказал Лапшин, — его рук дело. И то ограбление магазина в районе с убийством сторожа — это тоже он. И с трикотажем штучки...

— Так ты возьми дело, — сказал начальник, — разработаь его. Богатое будет, верно?

— Могу взять, — сказал Лапшин, — дело интересное.

Когда, обойдя всю бригаду и допросив кассира-растратчика, Лапшин вернулся к себе в кабинет, Катька-Наполеон и актриса сидели рядом на диване и разговаривали с такой живостью и с таким интересом, что Лапшину стало неловко за свое вторжение.

— Вот и начальничек, — сказала Катька. — Строгий человек!

Он сел за свои бумаги и начал разбирать их, и только порой до него доносился шепот Наполеона.

— Я сама мечтательница, фантазерка, — говорила она, — я такая была всегда, оригинальная, знаете...

Или:

— Первая любовь — самая страстная, и влюбилась я девочкой пятнадцати лет в одного, знаете, курчавенького музыканта, по фамилии Мускин. А он был лунатик и как гепнулся с седьмого этажа — и в пюре, на мелкие дребезги.

«Ну можно ли так врать?» — почти с ужасом думал Лапшин и вновь погружался в свои бумаги.

— А один еще был хрен, — допосилось до Лапшина, — так он в меня стрелял. Сам, знаете, макаронный мастер, но жутко страстный. Я рыдаю, а он бац, бац. И разбил пулями банку парижских духов. Какая была со мной истерика, не можете себе представить. .

Секретарь положил перед Лапшиным на стол конверт и сказал, что человек, который припес письмо, ждет внизу, в парадной.

Лапшин разорвал конверт, развернул записку и улыбнулся. Бывший вор, ныне работающий токарем на одном из крупнейших ленинградских заводов, приглашал Лапшина на октябрины своей дочки.

«Дорогой товарищ начальник, — было написано в письме, — не побрезгуйте, зайдите! Я встал на верные поги, и ни одна душа из всех моих товарищей не знает про мое проклятое прошлое и никогда не узнает. А дочка у меня родилась чистоганом десять фунтов, и жена у меня хорошая женщина — комсомолка — и любит меня как кошка. Имею комнату, и обстановочку завел, и приделся на трудовые сбережения, и помню, как вы мне говорили и перековывали меня отеческими словами и как даже обматерили меня, что я опять попался на грязном деле. И больше я не жулик, и проклятое прошлое мое зачеркнуто для новой жизни. Прошу вас, товарищ начальник, раз вы ко мне в гости придете, значит, и вы забыли и, значит, я новый человек. Прошу вас, приходите не в форме, а то как бы кто не подумал чего, что я из воров. А с меня за героический мой труд снята в лагерях судимость, и я имею чистенький паспорт, как цветок. И приходите с супругой — все будет в порядке и прилично, не на малине живу, прошу прийти, а звать меня по настоящему Евгений Алексеевич Сдобников, а не Шарманщик, и не Головач, и не Козел...»

Прочитав письмо, Лапшин позвонил вахтеру, позвал к телефону Сдобникова и сказал басом:

— Что ж ты, Евгений Алексеевич, адрес не указал? Нехорошо!

— А приедете? — спросил Сдобников, по-прежнему картавя, и Лапшин вдруг вспомнил его живое, веселое лицо, сильные плечи и льняного цвета волосы.

— Я с одной знакомой к тебе приеду, — сказал Лапшин, — разрешаешь?

И он кивнул взглянувшей на него Адашовой.

— Наговорились? — спросил он, когда Катьку увели. — Интересно?

— Потрясающе интересно, — с азартом сказала Адашова, — невероятно! Я к вам каждый день буду ходить, — с мольбой в голосе спросила она, — можно? Ну хоть не к вам лично, к вашим следователям. Мне это так все необходимо!

— Ну и ходите на здоровье! — улыбаясь, сказал Лапшин. — Вы мне не мешаете. Только ребят моих строго не судите — народ они толковый, честный, но культуры кое у кого недостает...

Посмеиваясь, он протянул ей полученное давеча письмо и, когда она прочитала, предложил пойти вместе.

— Но у меня спектакль! — со страхом в глазах сказала Адашова. — Меня во втором действии расстреливают...

— Значит, в третьем вы уже не играете?

— Не играю.

— Ну и чудно! Я за вами заеду...

— Часов в десять, — сказала она, просияв. — Да? Я как раз буду готова.

Лапшин, скрипя сапогами, проводил ее до лестницы и крикнул вниз, чтобы выпустили без пропуска. Возвращаясь по коридору назад, он чувствовал себя молодым и сильным и весь день работал, наверстывая потерянное время. Работа спорилась, и все было ловко ему и удобно: и перо, которым он писал, и кресло, и телефон, и погожий зимний снежок за огромным окном... И когда он, по своему обыкновению, каждый час или два обходил бригаду, — всем было тоже ловко, удобно и приятно глядеть в его зоркие ярко-голубые глаза под светлыми бровями, слушать его гудящий бас и безусловно подчиняться ему, самому умному, самому взрослому и самому смелому из всех работающих в бригаде.

8

Второе действие еще не кончилось, когда Лапшин приехал в театр. С ярко освещенной шипящими прожекторами сцены доносились беспокойные и неестественные крики, которыми всегда отличается толпа в театре, и между кулисами был виден гнедой конь, на котором сидел знакомый Лапшину актер с большой нижней челюстью, в форме белогвардейца, со сбитой на затылок фуражкой и с револьвером в руке. Немного помахав револьвером, артист выкатил глаза и два раза выстрелил, а затем стал пятить лошадь, пока она не уперлась крупом в большой ящик, стоявший за кулисами. Тогда артист сполз с нее и сказал, увидев Лапшина:

— И на лошади уже сижу, а не слушают! Что за пьеса такая?

Двое пожарных отворили ворота на улицу и, не смущаясь клубами морозного пара, стали выталкивать коня.

— Он на самом деле слепой, — сказал Захаров Лапшину, — я весь дрожу, когда на нем выезжаю. Авария может произойти.

Лапшину сделалось очень жарко, и он, оставив артиста, вышел в коридор покурить. У большой урны курил тот журналист Ханин, приятель Лапшина, который говорил про него, что он живет хоть и чисто, но неинтересно.

— А, Иван Михайлович! — сказал он, блестя очками. — Почитай, год не виделись!

— Ты где пропал? — спросил Лапшин.

— На золоте был, на Алдане, — сказал Ханин, — а теперь полечу с одним дядькой в одно место.

— В какое место?

— Это мой секрет, — сказал Ханин.

Они помолчали, поглядели друг на друга, потом журналист подмигнул и сказал:

— А ты любопытный! Пельмени будем варить?

— Можно, — сказал Лапшин.

— У меня, брат, жена умерла, — сказал Ханин.

— Что ты говоришь! — пробормотал Лапшин.

— Приехал, а ее уж похоронили.

Он отвернулся, поглядел в стенку и помотал красивой, немного птичьей головой. Затем сказал раздраженным голосом:

— Вот и мотаюсь. А ты зачем тут?

Лапшин объяснил.

— Адашова? — сказал Ханин. — Позволь, позволь! — И, вспомнив, он обрадованно закивал и заулыбался. — Молодец девочка, — говорил Ханин, — как же, знаю! Она вовсе и не Адашова, она вовсе Баженова, кружковка. Я ее хорошо знал...

Взяв Лапшина под руку, он прошелся с ним молча до конца длинного коридора, потом уютно, посмеиваясь, стал рассказывать про Адашову. Говорил он о ней только хорошее, и Лапшину было приятно слушать, хотя он и понимал, что многое из этого хорошего относится к самому Ханину, — время, о котором шла речь, было самым лучшим и легким в жизни Ханина. И Лапшин угадывал, что кончиться рассказ должен был непременно покойной женой Ханина, Ликой, и угадал.

— Ничего, Давид, — сказал он, — то есть не ничего, но ты держись. Езжай куда-нибудь подальше! Работай!

— И так далее, — сказал Ханин, — букет моей бабушки.

— Отчего же Лика умерла? — спросил Лапшин.

— От дифтерита, — быстро ответил Ханин, — паралич сердца.

— Вот как!

— Да, вот как! — сказал Ханин. — На Алдане было невыразимо интересно.

Лапшин посмотрел в глаза Ханину и вдруг понял, что его не следует оставлять одного, — ни сегодня, ни завтра, ни вообще в эти дни, пока он не улетит.

— Послушай, Давид, — сказал он, — поедem сегодня к моему крестнику вместе, а? Только об этом писать не надо. И вообще, никто не знает, что он вор.

— Как же не знает? — сказал Ханин. — Все они, перекованные, потом раздирают на себе одежду и орут: «Я — вор, собачья лапа!» Не понимаю я этого умиления...

— Так не поедешь? — спросил Лапшин.

— Поеду.

Со сцены донесся ружейный залп, и в коридоре запахло порохом.

— Пишешь что-нибудь? — спросил Лапшин.

— Пишу, — угрюмо сказал Ханин. — Про летчика одного, жизнеописание.

— Интересно?

— Очень интересно, — сказал Ханин, — но я с ним подружился, и теперь мне трудно.

— Почему?

— Да потому. Послушай, Иван Михайлович, — заговорил Ханин, вдруг оживившись, — брось своих жлобов к черту, поедem бродяжить! Я тебе таких прекрасных людей покажу, такие горы, озера, деревья... А? Города такие! Поедем!

— Некогда, — сказал Лапшин.

— Ну и глупо!

Лапшин улыбнулся.

— Один здешний актер выразился про меня, что я фagот, — сказал Лапшин, — и чиновник...

Он постучал в уборную к Адашовой. Она долго не узнавала Ханина, а потом обняла его за шею и поцеловала в губы и в подбородок.

— Ну, ну, — говорил он растроганным голосом, — тоже нежности. Скажи пожалуйста, в Ленинград приехала, а! Актриса!

У Адашовой сияли глаза. Она стояла перед Ханиным, смешно сложив ноги пожницами, теребила его за пуговицу пиджака и говорила:

— Я так рада, Давид, так рада! Я просто счастлива.

Ладопами она взяла его за щеки, встала на цыпочки и еще раз поцеловала в подбородок.

— Жирафик какой! — сказала она. — Прошел колит или еще нет?

— Что вспомнила! — засмеялся Хапип.

Лапшину сделалось грустно. Он сел в угол на маленький диван и увидел в зеркале свои ноги, обутые в штатские ботинки. «Дураком, поди, выгляжу», — подумал он и вздохнул.

— Вы знаете, Иван Михайлович, — говорила ему Адашова, — вы знаете, что для меня Хапип сделал? Он через газету на наш завком нажал, чтобы меня в Москву отправили учиться в театральный техникум. И они с Ликой меня на вокзал провожали. А Лика где? — спросила она.

— Лика умерла, — сказал Хапип, — от дифтерита шесть дней назад.

И, вытащив из жилетного кармана сигарку, закурил.

Они долго еще разговаривали. Лапшин смотрел на Адашову, на ее тощую белую шею и худые руки, и испытывал такое чувство, будто он здесь давно и будто Адашова не полупразнакомая ему женщина, а близкий и верный человек.

— Что ж, поедемте? — спросила она.

Лапшин глядел в ее широко раскрытые глаза и не понимал.

— Иван Михайлович, поедемте! — громко повторила она.

— Так точно, — сказал он, — я готов.

У Нарвских ворот шедший впереди грузовик на полном ходу сбил крылом переходившего улицу краснофлотца, свернул в переулок и потушил огни. Лапшин, не тормозя, обогнул распростертое на мерзлой мостовой тело, рванул поводок sireны и поском ботинка нажал железку.

Грузовик уходил.

— Это мне неинтересно, — сказал сзади Хапип, — ты нас всех теперь поубиваешь.

Sирена выла, пугая прохожих, и заставляла уступать дорогу Лапшину. Косой снег летел навстречу и залеплял смотровое стекло. Когда кончились дома, слева ударил ветер и такой сильный, что сразу оторвалась слюдяная боковинка.

— Иван Михайлович, надоело! — сказал Хапип. — Не мучай пас!

На очень большой скорости машину внезапно повело на деревья, и Лапшин почувствовал, как Адашова вцепилась в его локоть.

— Ничего, ничего! — сказал он, вывертывая руль, и вновь нажал железку так, что машина рванулась вперед. Не выпуская

из руки поводок от сирепы, на полном ходу Лапшин свернул влево и повел машину в обгон, рискуя влететь в канаву, со скоростью девяносто километров. Проскочив хрипящий и щелкающий грузовик и проехав бешеным ходом еще километр или два, Лапшин затормозил и поставил автомобиль поперек дороги. Почти тотчас же с хода завизжали тормоза грузовика.

— Вылезайте! — сказал Лапшин, открыв дверцу грузовика и спуская в кармане предохранитель браунинга. — Идите в ту машину! И отдайте ключ!

Шофер был огромного роста, пьяный, костистый человек, и если бы не браунинг, то он наверняка ударил бы Лапшина из кабины сверху по голове тяжелым разводным ключом.

Садясь вновь за руль, Лапшин вдруг подумал, что, вероятно, ему не следовало заниматься нынче погоней и что теперь Адашова думает о нем, что он гнал нарочно, из хвастовства.

Было слышно, как арестованный попросил у Ханина папиросу и как Ханин ответил:

— Не дам. И не наваливайтесь на меня, я вам не подушка!

Сдобников жил в новом доме с очень пелесой и запутанной нумерацией квартир, и они втроем долго ходили по обширному двору, разыскивая квартиру 207а II.

Ханин сердито стучал тростью, а Адашова смеялась над ним и называла его жирафиком.

Дверь отворил сам Сдобников, и по его испуганно-счастливому лицу было видно, что он давно и тревожно ждет.

— Ну, здравствуй! — сказал Лапшин и подал Сдобникову свою большую, сильную руку.

Женя покраснел и сказал картавя:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

И, смутившись, поправился:

— Иван Михайлович!

— Ну покажись! — говорил Лапшин. — Покажи костюмчик-то... Хорош! И плечи, как полагается, с ватой... Ну, знакомься с моими, меня со своей жипкой познакомь и показывай, как живешь.

Он выглядел в своем штатском костюме как в военном, и Адашовой слышался даже характерный звук поскрипывания ремней.

Ханин пригладил гребешком редкие волосы, и они все пошли по коридору в комнату. Их познакомили по очереди с чинно сидящими на кровати и на стульях вдоль стен девушками и юпо-

нами. Стариков не было, кроме одного, выглядевшего так, точно все его тело скрепляли шарниры. Лапшин не сразу понял, что Лиходей Гордеич — так его почему-то называли — совершенно пьян и держится только страшным усилием воли. Он был весь в черном, и на голове у него был аккуратный пробор, проходивший дальше макушки до самой шеи.

— Тесть мой! — сказал про него Женья. — Марусин папаша!

Маруся была полногрудая, тонконогая, пемного косенькая женщина, и держалась она так, точно до сих пор еще беременна, руками вперед. Она подала Лапшину руку дощечкой и сказала:

— Сдобникова. Садитесь, пожалуйста!

А Хапину и Адашовой сказала иначе:

— Маня. Присядьте!

В комнате играл патефон, и задушевный голос пел:

В последний раз
На смертный бой...

Гостей было человек пятнадцать, и знакомиться надоело. Последним был моряк в форме торгового флота, с лицом красным и плутоватым.

— Сэм Зайцев, — представился он, — от плавающих и путешествующих.

И поклонился вбок.

Потом смотрели дочку. Маруся подняла ее высоко, и все стали говорить, что дочка отличная и вылитый папаша. Патефон заиграл марш, и все сели за стол. Лапшина посадили рядом с Адашовой, а Хапина и Сэма напротив. Женья сел слева от Лапшина и сразу палил ему водки.

— Пьешь? — спросил Лапшин.

— Выпиваю, — сказал Женья.

— Пей только за столом, а не за столбом! — посоветовал Лапшин.

— Это правильно, — горячо сказал Женья. — Надо, чтобы все чин по чину было. Закусочка, семейный круг. — Он помолчал, потом добавил: — Буфетик себе приобрел. Ничего?

— Ничего, — сказал Лапшин, — приличная вещь. Дорого дал?

— Четыреста, — сказал Женья.

Хапин, до сих пор молча глядевший на Сдобникова, чокнулся с ним и сказал:

— За ваше здравие!

Было много вкусной еды — пирогов, запеканок, заливного, форшмаков — и все домашнее. Женья ничего не ел и все подкладывал Лапшину.

— Вы кушайте,— говорил он. — Девчата сейчас жареное подадут. Наварили, напекли, хватит!

— Пурпур,— крикнул Лиходей Гордеич,— под турниюр ко-турном!

— Не безобразничайте, папаша! — строго сказал Жеңя. — Надрались, как гад...

— Он кто? — спросила Адашова.

— Портной в цирке.

Сдобникову очень хотелось, чтобы все было чинно и спокойно, и когда старик начал скандалить, он заволновался и ушел к нему.

Сэм Зайцев от стакана водки захмелел и рассказал, что в Лондоне на Пиккадилли есть магазин, где продают сигары по сто долларов за штуку.

Потом Сэм стал показывать, как надо делать языком, чтобы получалось английское произношение, и тут же рассказал, что у него вся одежда на застешках молния.

— И портсигар, и бумажник, и кошелек тоже,— говорил он,— и специальный чехол для пожика... Вот посмотрите!..

На другом конце стола отчаянно зашумели — Сдобников и два парня в джемперах, с бритыми шеями, поволокли Лиходея Гордеича к дверям. Вернувшись, Жеңя вытер руки одеколоном и сказал всему столу:

— Простите за беспокойство!

Пили в меру, Лапшин поглядывал на Адашову и видел, что ей весело, от этого ему самому было хорошо и покойно. Он предложил ей выпить, она насыпала в пиво сахару и чокнулась с ним.

— Домой не пора? — спросил через стол Ханин.

Лицо у него было измученное, и когда он ел, то закрывал один глаз, и это придавало ему странное выражение дремлющей лтицы.

— Вы его любите? — тихо спросила Адашова у Лапшина.

— Мы давно знаем друг друга, — сказал Лапшин.

— Отчего вы на мои руки смотрите? — спросила она и подогнула пальцы.

Притушили свет и в полутьме хором запели бойкую песню. Лапшин искоса глядел на артистку и опять думал о том, что нет для него на свете человека ближе и дороже ее. Она тоже взглянула на него и смутилась. Из коридора вернулся Ханин под руку с Зайцевым и, зевая, сказал:

— Поедемте баиньки, а?

На прощание Сдобников долго жал Лапшину руку:

— Спасибо вам, товарищ Лапшин!

Сэм тоже сел в автомобиль и долго врал про жизнь моряка.

Когда он вылез, Ханин надвинул на глаза шляпу и сказал:

— А Баженова папа спит!

Артистка действительно спала, сидя рядом с Лапшиным и спрятав лицо в воротник. Лапшин ехал медленно. Все стало представляться ему значительным, необыкновенным: и ряд фонарей, сверкающих на морозе, и красные стоп-сигналы обогнавшего паккарда, и глухой, неслышный рокот мотора, и тихий голос Ханина, с тоскою читавшего:

...Вдруг

Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смеркло, все дрожит,
И замерла душа в Руслане...
Все смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос страшный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...

Лапшин остановил машину.

— Проснитесь, Наташа! — сказал Ханин. — Присхали!

И постучал по ее плечу тростью.

Она подняла голову, вытерла губы перчаткой, засмеялась и, ни с кем не прощаясь, молча вышла из автомобиля.

— Поехали! — сказал Ханин. — Больше ничего не будет.

— Чего не будет? — спросил Лапшин.

— Ничего не будет, — сказал Ханин, — ничего, тупой ты человек!

В передней у Лапшина Ханин долго раздевался, потом вошел в комнату, поглядел на спящего Окошкина и, пока Лапшин был в ванной, спрятал в карман один из револьверов, висевших на стене.

— Теперь будем чай пить, — сказал Лапшин, вернувшись из ванной с полотенцем, обмотанным вокруг живота, и без рубашки. — Вода холодная, как подлец!

— Ну будем, — согласился Ханин.

Лапшин поставил чайник и, ласково чему-то улыбаясь, нарезал булку. Ханин взял полотенце и пошел в ванную. Там он заперся на крючок, снял очки, как всегда в ванной, и, положив их в сетку на мочалку, сунул в рот револьвер. Ствол был широкий, и, чтобы было поудобнее, Ханин повернул ручку так, что ствол пришелся боком. Потом он закрыл один глаз и нажал спусковой крючок. Щелкнул боек, и во рту у Ханина зазвело, но выстрела не было. Все еще не закрывая рта, Ханин выпнул обойму и покачал головой. Револьвер не был заряжен.

— Ты скоро? — спросил из коридора Лапшин.

— Иду, — ответил Ханин и, чтобы Лапшин не подумал лишнего, открыл кран и уже машинально вымыл руки. Потом надел

очки и сел с Лапшиным пить чай. Проснулся Васька и сказал:

— Приехал, Носач? Где был?

— Не твоего ума дело, — ответил Ханин, — ты все равно географии не знаешь.

Он устроил себе постель на полу, потушил огонь, впотьмах повесил на место револьвер, лег, повозился и сказал:

— Лапшин, поверни выключатель, не то Патрикеевна мне наступит на голову, а у меня голова слабая. Слышишь?

— Не наступлю, — сказала Патрикеевна из ниши, — небось не дура!

Васька тоненько всхрапнул, засыпая, а Лапшин и Ханин не спали еще очень долго, и каждый из них думал о своем. Обоим хотелось курить, и оба стеснялись, потому что тогда стало бы понятно, что они не спят. И порою они вздыхали как бы во сне.

Утром, когда Лапшин и поправившийся Васька уехали в управление, Ханин вынул из бумажника двести рублей и, отдавая их Патрикеевне, сказал:

— Ты меня, баба, покорми, пока я в Ленинграде.

— Тут будешь жить?

— Тут, — сказал Ханин, — и там. Всяко.

— А жепка не заругает?

— Жена у меня померла, — сказал Ханин петушиным голосом, — приказала долго жить.

И вдруг, всплеснув длинными руками, он зарыдал так горько, так страстно и с таким отчаянием и иступлением, что Патрикеевна отшатнулась от него, а через несколько секунд и сама заплакала.

— Ты не знаешь, какая она была, — говорил Ханин, уже успокоившись и гримасничая, — ты не знаешь! Никто не знает. Она молчаливая была, прелестная. И нам так не везло, так не везло! Я первичал, ревновал, мучился, ее мучил. Мне все что-то казалось. И она умерла.

Выплакавшись, он сидел на кровати без ботинок, отхлебывая из стакана воду, и рассказывал Патрикеевне об Алдапе. А она все вытирала себе слезы и говорила:

— Вот чудеса-то! Вот чудеса!

9

Разработка дела Мамалыги и его группы шла удачно, и накануне намеченной операции, утром, Лапшин созвал у себя в кабинете оперативное совещание.

Поглаживая макушку и глядя в блокнот, он сказал, что, несомненно, и трикотаж, и кожевенное сырье, и налет с убийцами, и вооруженное разбойное нападение, и рапение кассира — все это работа банды Мамалыги.

— Таким образом, — говорил он, строго оглядывая присутствующих, — тут орудовал не один человек, а группа, возглавляемая Иофаном Мамалыгой, или Георгием Андреевичем Зубцовым. Мы с вами знаем бежавшего из заключения Иофана Мамалыгу, сына расстрелянного белыми паропроводчика. Но тот Иофан — не Зубцов, а этот — Зубцов, и Зубцов — не сын паропроводчика и не из беспризорных, а сын известного белого генерала Зубцова, кадет, юнкер, колчаковец и каратель. Таким путем, мы имеем...

Скрипнула дверь, и вошел запоздавший Васька Окошкин.

— Вы ко мне? — спросил Лапшин.

— Позвольте доложить? — спросил Васька.

— Докладывайте!

Васька подошел к столу, встал «смирно» и, торжественно улыбаясь глазами, негромко рассказал, что им в автомате у Гостинного двора только что задержан Воробейчик с подложными документами, а главное — с накладными на отправку большой скоростью трикотажа и обуви.

— Куда адресованы грузы?

— В Малоярославец и в Вологду, — сказал Васька, — в Зеленый Бор и в Некурихино.

— Ничего себе! — сказал Лапшин. — Ну ладно, садись, мы тут совещаемся.

Окошкин сел и жадно затянулся папирсой, а Лапшин начал развивать свой план операции.

— Товары сосредоточены главным образом в доме девять, — говорил он, — у Кукленкова, и затем в кочегарке по Лесному. У Кукленкова придется ломать полы, там сосредоточена замша и фетровые заготовки для бурок... Сопротивления здесь оказано не будет. В кочегарке тоже не будет. Таким путем, остается малина Мамалыги...

Совещание кончилось через сорок минут, а через час Лапшин обошел всю бригаду и приказал расходиться по домам.

— Нечего! — говорил он. — Спать пора!

Как всегда в дни окончания подготовки крупного дела, бригаду лихорадило, и только один Лапшин сохранял спокойствие и подшучивал даже больше, чем обычно. Это было в его характере. Чем яснее он понимал, что Мамалыга даром не сдастся, тем благодушнее и покойнее он выглядел и тем меньше говорил о предстоящем деле.

В самый день операции, когда ему докладывали о ходе подготовки, он рассеянно морщился и говорил:

— Да? Ну что ж, ладно!

Ранним вечером у него в кабинете зазвонил телефон, и он узнал голос Адашовой.

— Иван Михайлович?

— Точно,— сказал Лапшин.

— Можно к вам приехать? — спросила Адашова. — У меня вечер свободный.

— Да сейчас я занят, — сказал он, — тут у меня всякие делишки.

Она помолчала.

— Как вы живете? — спросил Лапшин.

От звука ее голоса у него билось сердце, он не знал, что сказать, и во второй раз спросил;

— Как же вы живете?

— Да никак, — вяло сказала она, — работаю, репетирую.

Ему хотелось сказать ей, что он, вероятно, любит ее, что он думает о ней все время и что он понимает, насколько все это глупо. Но он спросил, как Захаров и переделали ли уже пьесу или еще нет.

— Переделали,— грустно сказала она.— До свидания, Иван Михайлович.

Лапшин помолчал, ожидая чего-то, и услышал, как Адашова повесила трубку. «В девчонку,— думал он, шагая по кабинету,— ну ей двадцать семь — двадцать восемь, и что нам с ней делать? Про жуликов говорить?» Он постучал себя по лбу и постоял у окна, глядя на площадь Урицкого.

В восьмом часу вечера Окошкин на оперативной машине привез из кафе «Европа» двух участников группы Мамалыги. У одного из них был паган, у другого — пистолет Борхарда, правда без патронов. Первый назвался Петром Седых, второй показал паспорт иностранного подданного.

— Ах, вот как, — сказал Лапшин топким голосом, — здесь целый цирк!

Он позвонил, чтобы иностранного подданного увели, и стал допрашивать Седых. Он уже ни о чем не думал, кроме предстоящего ныне дела, ни о чем не помнил, ничего не понимал. И выражение глаз у него сделалось неприятное, спрятанное, и только голос был как обычно — покойный, иногда с растяжкой. Седых ничего нового ему не сказал, а только подтвердил то, что было известно еще вчера: у Мамалыги вечером большое гулянье.

Седых увели, Лапшин залпом выпил стакан остывшего чаю с лимоном и, скрипя сапогами, пошел по комнатам бригады.

Везде было тихо и пусто, и только в той комнате, где сидел Васька Окошкин, были люди, проверяли оружие и разговаривали теми сдержанными легкими голосами, которые известны военным и которые означают, что ничего особенного, собственно, не происходит, ни о какой операции никто не думает, никакой опасности не предстоит, а просто-напросто что-то заело со спусковым механизмом пистолета у Васьки Окошкина и вот товарищи обсуждают, что именно могло застыть.

— Ну как? — спросил Лапшин.

— Да все в порядке, товарищ начальник! — весело и ловко сказал Побужинский. — Вот болтаем.

Лапшин сел на край стола и закурил папиросу.

— Побриться бы надо, Побужинский! — сказал он. — Неприятно, завтра выходной день. Пойди, у меня в кабинете в шкафу есть принадлежности, побрейся!

— Слушаюсь! — сказал Побужинский и ушел, оправляя на ходу складки гимнастерки.

Окошкин и Бычков оба машинально попробовали, как у них с бородами, очень ли заросли.

— Ну как, товарищ Окошкин, Тамаркина дело? — спросил Лапшин. — Много там жуликов у них в артели?

— Хватает, товарищ начальник, — скромно сказал Васька.

— Сознаются?

— Очень сознаются, товарищ начальник, — сказал Васька.

— А почему у тебя на губе чернила?

— Такое вечное перо попалось, — сказал Васька, трогая губу, — выстреливает, собака. Как начнешь писать — оно чирк! — и в рот.

— Вот напасть, — сказал Лапшин.

Пришло еще несколько человек — вспомогательная группа. В комнате запахло морозом, шинелями. Два голоса враз сказали:

— Здравствуйте, товарищ начальник!

Лапшин взглянул на часы и ушел к себе в кабинет одеваться. Побужинский, сунув в рот большой палец и подперев им изнутри щеку, брился перед зеркалом.

— Не можешь? — сказал Лапшин. — Стыд какой! Давай сюда помазок!

Он сам выбрил Побужинского, вытер ему лицо одеколоном, запер за ним дверь, надел на себя кожаное короткое пальто, подбитое белым бараном, и постоял посредине комнаты.

Ему вдруг захотелось позвонить Адашовой, но он не знал ее телефона, а спрашивать у Ханина было неловко. Вынув из стола кольт — оружие, с которым не расставался больше десяти лет, — Лапшин проверил его, надел шапку-ушанку, фетровые бурки и

позвонил вниз, в комнату шоферов. Когда он выходил из кабинета, народ уже ждал его в коридоре.

— Давайте! — сказал Лапшин. — Можно ехать.

Рядом с ним по старшинству сел Бычков, сзади — Побужинский, Окошкин и шофер.

— Тормоза немножко слабоваты, — сказал шофер, — так что вы не надейтесь, товарищ начальник!

Машина тронулась, и было слышно, как глухо захлопали дверцы во второй машине, идущей следом. Васька сзади завел длинный анекдот про попа, попадью и работника.

— Во зверь! — поощрительно сказал Побужинский и засмеялся.

Машина обогнула площадь Урицкого. Лапшин рванул сирену, и регулировщик дал зеленый свет.

Был подвыходной. Проспект 25 Октября, несмотря на мороз, кишел народом. Дворники в тулупах и белых фартуках ломали сбивали с торцов ледяную корку. Ревело радио, и даже в машине были слышны шарканье ног гуляющих, смех и отдельные слова. Замерзшие витрины магазинов сверкали, как глыбы цельного льда, над подъездами кинематографов вилась и блистала огненная реклама картин, регулировщик на углу внезапно дал красный свет.

С проспекта Нахимсона, под грохот дюжины барабанов, шли пионеры. Их было много, отряд шел за отрядом, барабаны мерно и возбужденно выбивали и чеканили шаг. Ощущение мирного, покойного, праздничного города вдруг с такой силой охватило Лапшина, что он с трудом представил себе, что через полчаса или через час может произойти в этом же самом городе, и, представив, озлобился. Все было просто и ясно — под грохот барабанов шли дети с какого-то своего праздника, огромный город готовился ко дню отдыха, магазины были полны народом, играла музыка...

— Эх! — огорченно сказал Бычков и плевком потушил окурок. Он, вероятно, чувствовал то же, что и Лапшин.

— Чего, Бычков? — спросил Лапшин.

— Да так, товарищ начальник, — с сердцем сказал Бычков, — надоели мне жулики!

Васька сзади все рассказывал про попадью и работника, и Побужинский восхищенно спросил:

— Так и решили?

— Так и решили, — сказал Васька.

— А поп?

— Чего поп?

— Будет вам! — строго сказал Лапшин. — Нашли смехоту!

Васька замолчал, потом опять зашептал, и Побужинский веселым шепотом порой спрашивал:

— Что, что?

Проехали завод Ленина, Фарфоровый завод, Щемиловский жилищный массив. С Невы хлестал морозный ветер.

— А наши едут? — спросил Лапшин.

— Едут, — сказал Васька и опять зашептал Побужинскому: — Тогда работник этот самый берет колун, щуку и — ходу в овин. А уж в овине они оба два...

Лапшин остановил машину возле каменного дома, вылез и пошел вперед. Бычков перешел на другую сторону переулка, а Васька и Побужинский пошли сзади. Оглянувшись, Лапшин увидел, что вторая машина уже черпест рядом с первой.

Мамалыга гулял на втором этаже в деревянном покосившемся доме, открытом со всех сторон. Несколько окон были ярко освещены, и оттуда доносились звуки гармонии и топот пляшущих.

— Обязательно шухер поднимут, — сказал Лапшин, дождавшись Быčkova. — Ты со мной не ходи, я сам пойду!

Бычков молчал. По негласной традиции работников розыска на самое опасное дело первым шел старший по чину и, следовательно, самый опытный.

— Обкладывай ребятами всю хазу! — сказал Лапшин. — Если из окон полезут — ты тово! Понял?

Из-за угла вышли Окошкин, Побужинский и еще пятеро оперуполномоченных.

— Ну ладно! — сказал Лапшин, посасывая конфетку. — Пойдем, Окошкин, со мною. Принимай крещение!

Они пошли по снегу, обогнули дом и за дровами остановились. Звук гармонии и топот ног стали тут особенно слышны.

— За пистолет раньше времени не хватайся, — сказал Лапшин. — И вообще вперед черта не лезь.

— А что это вы сосете? — спросил Васька.

— Мое дело, — сказал Лапшин.

Он вынул кольт, спустил предохранитель и опять сунул в карман.

Васька отвернулся к стене и, расстегивая шубу, озабоченно спросил:

— Отчего это мне в самый последний момент всегда западобится? А, Ивап Михайлович? Нервы, что ли?

Подшли два уполномоченных, назначение которых было — стоять у выхода. Лапшин и Окошкин поднялись по кривой и

темной лестнице на второй этаж. Здесь какой-то парень тискал девушку, и она ему говорила:

— Не психуйте, Толя! Держите себя в руках! Зараза какая!

Они прошли незамеченными, и Лапшин отворил дверь левой рукой, держа правую в кармане. Маленькие сепцы были пусты, и дверь в комнату была закрыта. Лапшин отворил и ее и вошел в комнату, которая вся содрогалась от топота ног и рева пьяных голосов. Оба они остановились возле порога, и Лапшин сразу же узнал Мамалыгу — его стриженную под машинку голову, большие уши и длинное лицо. Но Мамалыга стоял боком и не видел Лапшина — любезно улыбаясь, разговаривал с женщиной в красном трикотажном платье. Васька сзади нажимал телом на Лапшина, силясь пройти вперед, но Лапшин не пускал его.

Гармонь смолкла, и в наступившей сравнительно тишине Лапшин вдруг крикнул тем протяжным, все покрывающим хриплым и громким голосом, которым в кавалерии кричал команду: «По коням!»:

— Сидеть смирно!

Из его рта выскочила обсосанная красная конфетка, и в ту же секунду Мамалыга схватил за платье женщину, с которой давеча так любезно разговаривал, укрылся за нею и выстрелил вверх, пытаясь, видимо, попасть в электрическую лампочку.

— Ложись! — покрывая голосом визг и вой, крикнул Лапшин. — Не двигайся!..

Мамалыга выстрелил еще два раза и не попал в лампочку. Женщина в красном платье вырвалась от него и покатила по полу, визжа и плача. Мамалыга стал садиться на корточки, прикрывая локтем лицо, и стрелял вверх.

— А, свинья! — сказал Лапшин и, не целясь, выстрелил в Мамалыгу. Васька в это время прыгнул вперед и, ударив кого-то в сиреневом костюме, покатился с ним по полу.

— Сдаюсь! — сказал Мамалыга и поднял обе руки; из одной текла кровь.

Шагая через лежащих, он подошел к Лапшину и дал себя обыскать. Пока Васька его обыскивал, Лапшин отворил заклеенное окно и негромко сказал:

— Давайте сюда! Можно брать!

Когда Мамалыгу выводили вниз, он вдруг укусил себя за здоровую руку и сказал воющим голосом:

— Пропал! Закопали!

— Давай, давай! — сказал ему Васька. — Гроза морей чертов!

В драке Окошкину разорвали губу, и он сплевывал кровь и злился.

— Попало? — спросил у него Побужинский. — А?

— Поди к черту! — угрюмо сказал Васька.

Все вышло иначе, чем он думал: стрелять ему не пришлось, бомб никто не бросал, и рана оказалась какой-то стыдной — жулик в сиреновом костюме разорвал ему рот.

10

А дело Тамаркина все тянулось, и украденный мотор уже перестал существовать в деле серьезным обвинением. Моторов оказалось много, и Тамаркин не был один, а те, которых выдавал он, выдавали других, и каждый говорил, что он не виноват, а вот такой-то действительно виноват, и Васька Окошкин только крутил головой и вздыхал. Внезапно вынырнули какие-то четыре тонны коленкора, затем Тамаркин сознался, что украл семнадцать ящиков экспортных куриных яиц.

— Ну? — удивился Васька.

— Позвольте папирсочку! — попросил Тамаркин.

Он уже совсем освоился в тюрьме, был старшей в камере и даже написал Лапшину жалобу на своего соседа по камере, причем жалоба была написана таким языком, что Лапшин, читая ее, сделал губами, будто дул, и сказал:

— От чешет!

— Куда же вы яйца распределили? — спросил Васька, стараясь отточить карандаш новой машинкой. — А, Тамаркин?

— Куда? Мама продавала, — сказал Тамаркин.

— Знакомым?

— Какая разница? — сказал Тамаркин. — Ну, знакомым!

Васька предостерегающе взглянул на Тамаркина, и Тамаркин понял этот взгляд, так как добавил:

— Можно написать, что именно знакомым, и можно написать фамилии и адреса, и можно написать адрес одной дамы — некто мадам Хавина Инна Олеговна. Через нее прошло четырнадцать ящиков — и после она себе сделала норковую шубку.

Ему было уже море по колено, он выдавал всех и держался так, будто его запутали и будто он ребенок. На допросе он часто говорил про себя:

— Ах, гражданин начальник, все мы — Тамаркины — слабовольные люди!

А на очной ставке с главой всего предприятия Тамаркин говорил:

— Это мучительно! Это мучительно! Поймите, Ихельсон, что я еще ребенок, а вы старый зверь.

Ихельсон помолчал, потом ответил:

— Если кто получит стенку, так это вы, ребенок!

Поговорив про семнадцать ящиков яиц, Тамаркин спросил, правда ли, что у Окошкина неприятности из-за дружбы с ним, с Тамаркиным.

— Это вас не касается, — сказал Васька.

— Во всяком случае, — сказал Тамаркин, — я в любое время дня и ночи могу подтвердить, что никакой дружбы между нами не было.

И он сделал такую поганую морду, что Васька швырнул об стол карандаш и крикнул:

— Вас не просят! И с вами тут не шутки шутят! Отвечайте по существу!

Оттого что он крикнул, у него из разорванного рта пошла кровь. Он зажал рот платком и стал писать протокол допроса. «Дальше», — иногда говорил он или спрашивал: «Вы хотите разговаривать или хотите обратно в камеру?» — и при этом косился на Тамаркина.

В двенадцатом часу ночи вошел Лапшин и сел рядом с Васькой.

— Это и есть Тамаркин? — спросил он.

— Совершенно верно, — сказал Тамаркин, — но вернее — это все, что осталось от Тамаркина.

Лапшин почитал дело и покачал головой.

— Жуки! — сказал он. — Что только делают!

И опять покачал головой с таким видом, будто не встречал в своей жизни более страшных преступлений.

— На пять лет потянет? — развязно спросил Тамаркин.

— Там увидим, — сказал Лапшин. — Суд знает, кому что требуется.

Попыхивая папиросой, он вышел на цыпочках и спустился вниз к начальству с докладом за день. У начальника в кабинете горела уютная зеленая лампа и топился камин. Когда Лапшин вошел, начальник приложил палец к губам и потом погрозил Лапшину кулаком. Лапшин сел в кресло и, сделав осторожное лицо, стал слушать радио. «Михайлов Иван Алексеевич, — говорил диктор, — Диц Герберт Адольфович, Смирнов...» Лапшин позевал, стянул со стола у начальника вечернюю газету и, чтобы не шуршать бумагой, прочитал какую-то статейку только с левой стороны, то есть одну половину столбца. Наконец диктор кончил.

— Да-а, — сказал начальник, — слышал, Иван Михайлович? Лапшин положил газету на стол.

— Не слышал? — спросил начальник.

— Нет, — сказал Лапшин.

— Ну, тогда поздравляю! — сказал начальник и снял пенсне. — Слышишь, поздравляю, Иван Михайлович! Тебя наградили орденом Красной Звезды.

Он обошел стол кругом, споткнулся об угол ковра и подошел к Лапшину вплотную. Оба они не знали, что теперь делать. У Лапшина было по-прежнему осторожное лицо, он только очень побледнел и опять взял со стола газету.

— Да нет, — сказал начальник, — тут нету, в газетах еще нету — сейчас по радио передали...

Он взял из рук Лапшина газету и бросил ее на стол.

— И меня, брат, наградили, и Бычкова.

— Трех? — спросил Лапшин. — А как сформулировано?

— Не знаю, — сказал начальник, — забыл.

Помолчав, он спросил:

— Что ж теперь будем делать? Или, вернее, что надо делать? А?

— Да что, — сказал Лапшин, — ничего.

Он сел в кресло и почувствовал, что весь вспотел до того, что даже погам сыро.

— Ах, Бычкова нет! — сказал он. — Ну подите, как нарочно услали парня за тридевять земель. Ах, жалость...

Начальник привязал пенсне за цепочку к пальцу и ходил по кабинету, близоруко щурясь.

— Ну ладно, докладывай, Иван Михайлович! — сказал он. — Как там дела?

И Лапшин, чувствуя почему-то облегчение, начал докладывать, и начальник слушал его и говорил по своей манере:

— Чудисенько! Чудисенько!

11

Когда он вернулся к себе в бригаду, то никого уже не было, один только дежурный, упершись локтями в стол, читал «Курс физики». Лицо у него было напряженное, непонимающее.

— Учись, товарищ Панченко? — спросил Лапшин.

— Да, надо немножко, — сказал Панченко, — подразобраться хочу в явлениях природы.

— Разбираешься?

— Да не очень, товарищ начальник.

Лапшин заглянул в книгу — она была раскрыта на «Теплоте», на больших и малых калориях. Он читал и чувствовал, что Панченко тоже читает.

— Ты листочек бумаги возьми, — сказал Лапшин, — точные науки всегда советую тебе с бумагой, графически выражать. И карандашик возьми. Это не роман, не стихи, это наука.

Он сел на стул Папченки и велел Панченке тоже сесть.

— Гляди сюда! — сказал он. — Вот я изображаю ее через эту латинскую литеру. Тебе известен латинский алфавит? Я тебе его сейчас запишу, а ты как что — заглядывай...

— Слушаюсь!.. — сказал Панченко.

— И слушайся! — басом сказал Лапшин. — Слушайся. Я тебя плохому не научу...

И он, заглядывая в книгу, стал объяснять Панченке «Теплоту», которую, как и всю физику, как и химию, и биологию, в свое время, в девятнадцатом, двадцатом и двадцать первом годах, читал во время ночных дежурств при свете коптилки или электрической лампочки, горевшей в четверть накала.

Позанимавшись, он велел Панченке найти домашний телефон Бычковой и позвонил. Сказали, что Бычкова спит.

— Разбудите! — приказал он.

Она подошла не скоро.

— Разоспалась, матушка! — сказал Лапшин. — Какой сон видела?

— Ах это кто? — спросила она. — Это Бычков?

— Это я, — сказал Лапшин, — я, Лапшин.

— А-а, — разочарованно сказала она. — Ну чего?

— Твоего Бычкова наградили орденом «Знак почета», — сказал Лапшин. — Слышишь?

Она молчала.

— Слышишь или нет? — спросил Лапшин.

— Слышу, — тихо сказала она и покашляла.

Домой он шел пешком, курил и думал и очень обрадовался, что Ханин, Окошкин и Ашкенази ничего не знали. Ханин сидел верхом на стуле и читал вслух листы, напечатанные на машинке.

— Это что? — спросил Лапшин, наливая себе чай.

— Не мешайте! — сказал Ханин. — Вас не перебивали.

Это был дневник летчика, и Лапшин понял, что дневник не выдуманный, а настоящий.

— Нравится? — спросил Ханин, кончив чтение.

— Красиво, — сказала Патрикеевна из ниши. — Не дай бог за такого замуж выйти!

Все переглянулись, и Васька сказал:

— О смерти думай, а не о муже! Саван шей, вредная жепщина!

Было слышно, как Патрикеевна плюнула. Лапшин снял сапоги, Ашкенази ушел, а Васька заснул, как только коснулся

подушки. Лапшин тоже делал вид, что спит. И только Хания трещал на пишущей машинке и пил холодный чай. Под утро, стуча деревяшкой, из ниши вышла Патрикеевна, согрела Ханину чаю и достала из буфета ветчину, которую ни Лапшин, ни Васька не получили.

— Возьми, покушай! — сказала она. — Ты деньги платишь, не как Васька-приживал. Покушай ветчинки, бессонница!

— Бог подаст, бог подаст, — сказал Ханин, треща на машинке, — бог подаст!

— А Васька подлец — ну ни копы не платит! — быстрым шепотом сказала старуха. — Сел хозяину на шею и едет... Глядеть страшно!

— Ну и не гляди! — сказал Ханин. — И не мешай мне.

Но потом он съел всю ветчину и, заметив, что Лапшин не спит, спросил:

— Доволен, что орден получил?

— Доволен, — сказал Лапшин. — А ты откуда знаешь?

— Я все знаю, — сказал Ханин. — Я даже знаю, о чем ты думаешь и почему не спишь.

— Ну, почему? — спросил Лапшин испуганным голосом.

Ханин молчал.

— Ладно уж, — сказал он, — не буду. Тут Адашова звонила.

— Ну?

— Завтра пойду к ней в гости, — сказал Ханин, — пирог буду есть с визигой.

Днем к нему в управление пришел артист с большой челюстью, Захаров, и, здороваясь с ним, Лапшин глядел на дверь — ему казалось, что сейчас войдет Адашова, но ее не было.

— Я, батюшка, один, — поняв его взгляд, сказал Захаров, — ферт своих к вам не повел. Не умеют себя вести, пусть и сидят дома. — И он начал длинно говорить про каких-то братьев Гонкур, которые, описывая смерть, долго ходили по больницам и наблюдали умирающих. Он говорил, а Лапшин слушал и не понимал, всерьез рассказывал Захаров или шутил.

— Так уж я вам падоедать не буду, — сказал Захаров, — пойду понаблюдаю среди ваших работников, если позволите.

Лапшин проводил артиста к Побужинскому, оделся и пошел вниз, чтобы ехать в суд. Вахтер, смущенно улыбаясь, остановил его в вестибюле и сказал, что какие-то двое парней просили передать товарищу Лапшину корзинку цветов и записку. Лапшин надорвал бумагу. В записке было всего несколько слов:

«Вы нас не помните, а мы вас помним. Мы, бывшие жулики, поздравляем товарища Лапшина с наградой правительства».

Дальше шли четыре подписи.

Лапшин спрятал записку в бумажник, отправил цветы к себе в кабинет и, с удовольствием пабирая воздух в легкие, сел за руль автомобиля. День был мягкий, с серебристыми облаками на голубом небе, с капелью, с влажным, уже весенним ветром, и настроение у Лапшина было праздничное, необыкновенное. Несмотря на то, что оба они, и Лапшин, и начальник, из скромности делали такой вид, будто решительно ничего не произошло, для обоих, как, впрочем, и для всего учреждения, в котором они работали, был праздник, особенный, отличный от других день, и все — от начальника и Лапшина до вахтера — были в немного приподнятом, торжественном настроении.

Все утро Лапшина поздравляли — и по телефону, и так заходили в кабинет начальники бригад, приносили телеграммы от старых друзей, работающих не в Ленинграде, позволили вдруг с завода, которому Лапшин вернул несколько лет назад украденную машину, позволили из пригорода, в котором он в годы гражданской войны бился с бандой, и старческий голос сказал:

— Не помните? Густав Густавович Леман, конфетчик. Не помните?

— Не помню, — сказал Лапшин.

— В девятнадцатом году вы в моей хижине отлеживались, — сказал Леман, — вас тогда ранили в голень. Не помните?

— А, помню! — радостно сказал Лапшин, вспоминая домик уютного немца, возившегося с канарейками, и вкусный кофе, и булочки из картофельной кожуры...

— Мы с женой вас поздравляем, — сказал старческий голос, — и желаем вам долгой жизни.

Лапшин молчал, вспоминая молодость.

— Храбрость и доблесть мужчины всегда награждаются правительством, — сказал Леман, — а вы храбрый и доблестный человек. До свидания, я звоню с почты, и мои три минуты кончились.

Потом принесли телеграмму из Мурманска, и Лапшин опять вспомнил прошлое — перестрелку на Севере, и ему почему-то стало грустно. Потом приехали три парня и девушка в красном берете с жестяной вроде кокарды. Девушка была толстая, и Лапшин никак не мог вспомнить, где и когда он ее видел. Они привезли Лапшину торт, и парень, у которого под пальто была маечка, сказал длинную фразу, из которой Лапшин понял, что он где-то кого-то спас и при этом что-то предотвратил. Они ушли, а Лапшин так и не помял, кто они и откуда. Торт остался на

письменном столе, и Лапшину было пеловко на него глядеть. Подумав, он разрезал его и каждому, кто приходил с докладом или по делу, клал кусок на бумагу, говоря:

— На-ка, покушай!

И только Адашова ему не позвонила.

«Обиделась, наверно,— думал он,— ну что ж я могу поделаться!»

Пришла Галя Бычкова, съела два больших куса торта и сказала:

— А вы якись тихий, Иван Михайлович! Да?

— Почему тихий? — удивился Лапшин.

В суде он пробыл до вечера, слушая дело растратчиков, и остался недоволен приговором. А возвращаясь в управление, думал о том, что, наверно, пока его не было, звонила Адашова и что теперь уже поздно и она не позвонит больше.

Как только он сел в кресло, пришел Васька Окошкин и сказал дрогнувшим голосом:

— Поздравляю, товарищ начальник, с высокой наградой!

— Спасибо, Вася! — сказал Лапшин и дал Окошкину торта на листке календаря.

Окошкин слизал крем, потом спросил:

— Почем дали растратчикам?

— Мало дали, — сказал Лапшин, — безобразное получилось положение...

И он стал рассказывать о процессе.

— Я еще скушаю, — сказал Васька, — крем здорово хороший!

— Ну кушай, — сказал Лапшин, — кушай и слушай!

Поговорив о процессе, Васька ушел к себе, а Лапшин вызвал Мамалыгу и стал его допрашивать тем холодным и гладким тоном, каким всегда допрашивал таких людей, как Мамалыга.

Мамалыга отводил глаза, а Лапшин в упор глядел на него своими яркими глазами и спрашивал, пока еще только изучая Мамалыгу, пацупывая слабые и сильные стороны его характера и в то же время давая Мамалыге понять, что тут уже все известно, что не следует терять время на пустые разговоры.

Мамалыга решительно сопротивлялся, но ушел от Лапшина подавленным и разбитым.

«Ничего, заговоришь, — думал Лапшин, провожая его глазами, — очень мило будем беседовать».

Зазвонил городской телефон, и Лапшин узнал голос Адашовой.

— Иван Михайлович, миленький, — быстро говорила она. — Я только что узнала о вашем событии. У меня Хапин, и он мне сказал...

— Да, — сказал Лапшин, — так точно.

— Приходите ко мне, — сказала она, — если можете. У меня никого нет, только Ханин. Приходите, пожалуйста! Я пирог испекла.

— Так точно, — сказал он, — приду.

Повесил трубку, сел в машину и, чувствуя себя таким счастливым, как бывало только в детстве, поехал к Адашовой. Комнатка у нее была маленькая, и стояли в ней только рояль, диван и круглый стол, накрытый к ужину. Было очень светло, и Ханин без пиджака топил печку.

— Ну, здравствуй! — сказал Ханин. — Сейчас Наташа придет, она в кухне. Или ты приехал, чтобы поскорее повидаться со мной?

— Оставь, пожалуйста! — сказал Лапшин.

На маленькой этажерке стояли книги, и Лапшин взял одну из них. Это были стихи, но у него так билось сердце, что он долго читал одну и ту же строчку и не понимал ничего. Вошла Адашова в сером платье с белым воротничком и поздравила его. От нее пахло кухней; она наклонила голову и спросила:

— Видите, как волосы сожгла? Сейчас будем ужинать.

Он сел на диван, а она ходила мимо него, и он чувствовал, что счастлив, и стыдился на нее смотреть — видел только ее ноги в черных чулках и дешевых туфлях.

За ужином он смотрел в тарелку и изредка говорил:

— Так точно.

Или:

— Совершенно верно.

Или:

— Нет, очень вкусно.

Угощая, Адашова часто дотрагивалась до его руки или клала ладонь на обшлаг его гимнастерки. И он ждал и пугался прикосновений и мучился, чувствуя себя связанным, неестественным, жалким.

На обратном пути Ханин спросил у него:

— Ты меня прости, Иван Михайлович, но у тебя романы в жизни были?

— Нет, — помолчав, сказал Лапшин, — не было у меня никаких романов. Не занимался.

И, поскользнувшись, добавил:

— Вот у Васьки романы, это да!

Приняв перед сном ванну и растирая свое сильное тело полотенцем, Лапшин понял, что и сегодня ему не спать, но, как давеча, лег в постель и притворился, что спит. Ханин опять трещал на машинке, а Лапшин думал о том, что любит Адашову и что если бы она к нему тоже хорошо отнеслась (он не решался думать о том, что и его могут полюбить), то он бы женился, и

тогда, как многие его товарищи по работе, звонил бы домой, и говорил с домашними, и все бы понимали, что у него тоже есть своя семья и свой дом, и в комнате перестало бы пахнуть сапогами, табаком и парикмахерской, и он тоже устроил бы у себя ремонт, и в кабинете начальника после ночного доклада они говорили бы о семьях, о квартирах, о детях.

— Чего не спишь? — спросил Хапшин. — Чего, мужик, ворочаешься? Пирога переел?

— Вот именно, — сказал Лапшин, — пирога.

— Ну соды! — посоветовал Хапшин.

— А ты пишешь, писатель? — спросил Лапшин.

— Писатели-читатели, — сказал Хапшин, — давай чай пить. Они пили чай, курили и молчали, и обоим было грустно.

12

С первыми днями весны влюбился Васька Окошкин — и сразу же все решительно это заметили и узнали, в кого, и как, и почему именно в эту девушку, а не в другую. И в бумажнике, и в кошельке, и в ящиках стола, и просто в карманах, и в портфеле — везде появились у него фотографические карточки миловидной девушки с припухлыми губами, возникли сувениры — маленькие носовые платки, пуховка для пудры, какой-то ключик неизвестного назначения, кусок карманного зеркала, камешный слоненок и еще черт знает что в таком же роде. И по крайней мере каждые два-три часа, где бы он ни был, он разыскивал телефон, и с тяжелой настойчивостью маньяка подолгу добивался какого-то коммутатора, и подолгу требовал соединить его с номером тридцать вторым, и подолгу спрашивал:

— Это весовая?

Добившись ответа, он называл себя почему-то кладовщиком и говорил, чтобы дали Кучерову.

— Это Варя? — спрашивал он, ворочая белками глаз и дуя в телефонную трубку. — Это Варя, а? Варя?

Лицо у него стало обалделым, он подолгу бессмысленно глядел перед собою, часто ронял вещи и вовсе не изводил Патрикеевну. Шутить над собою он решительно не позволял и делился своими переживаниями и мыслями только с Ханиным, да и то очень коротко и однообразно.

— Пропадаю! — говорил он Ханину. — Вы замечаете? Ей-богу, выговор схвачу!

Во сне он метался, скрипел зубами, по ночам пил много воды, ел едва-едва, только острое и соленое, глотал какие-то порошки «для укрепления нервной системы».

— Ты женись,— сказал ему как-то Ханин,— на тебя глядеть довольно противно...

— Да не хочет же,— с отчаянием сказал Васька.— Вы что, не понимаете? Не хочет! Ничего не хочет! Железная, холодная, это даже представить себе невозможно, до чего она меня измучила!

— Хохочет? — спросил Хапин.

— А чего ж ей? — сказал Васька.— Конечно, смеется.

— Застрели ее,— сказал Ханин,— и сам застрелись.

— Шутите всё, Носач! — угрюмо ответил Васька.

Однажды он явился домой под утро, в штатском и пьяненьким. Ханин еще не спал, трещал на своей машинке.

— О, мальчик,— сказал он, завидев печальную и ироническую Васькину улыбку.— Ты там у двери погоди, я сейчас тебя обработаю!

Пока Ханин искал нашатырный спирт и полотенце, Окошкин стоял у дверного косяка и говорил:

— Над фамилией смеялась. А? Носач! И как зло смеялась. Растоптала, все растоптала...

Проснулся Лапшин, свесил ноги с кровати и сказал громко:

— Поздравляю, дожили!

— На, бей! — крикнул Васька и малепькими, косенькими шажками пошел к Лапшину.— На, бей! Толкни падающего, прикончи его штыком, кости ему сломай!..

И он понес такой страшный вздор, что Лапшин опять лег и спрятал голову под подушку.

Сидя в ванне в совершенно холодной воде, Васька говорил Ханину:

— Я сам понимаю. Я даже формально понимаю. Я опустился, разложился. Я кто? Я, Носач, живой мертвец. Мне не место. А? Не место?

— Ну-ка, нырни еще! — сказал Ханин и пажал на голову Ваське так, что тот нырнул в воду.

— Утопишь, сволочь! — отдышавшись, сказал Васька.— С ума сойти!

Когда Васька проснулся, ни Лапшина, ни Ханина уже не было, компата была прибрана, и Патрикеевна, далеко отставив деревянную ногу, пила чай с черными сухарями и с солью.

— Проспал маленько,— с лицемерным сожалением сказала Патрикеевна,— двенадцатый час.

Васька молча оделся, вычистил зубы с пемзой и солью и поехал в управление. В два часа он пошел с докладом к Лапшину и уже открыл дверь в кабинет и увидел Лапшина, но Лапшин сказал ему, что занят, и Васька, вспотев, закрыл дверь.

В три часа Лапшин опять его не принял, в четыре тоже, а в шестом часу к Ваське заглянул Побужинский и сказал, что он, Васька, может доложить Побужинскому. Васька горько усмехнулся и доложил.

«Кончено, — думал он после доклада, стискивая голову руками. — Действительно, кончено. Уж что кончено, то кончено...»

И он вдруг вспомнил мотив, который ему нравился, и слова, которые тоже нравились, но меньше мотива:

Окончен путь,
Та-та-там, та-та-там,
Устала грудь,
Та-та-там, та-та-там,
И сердцу,
И сердцу хочется немножко отдохнуть...

Смерклось.

Васька не зажигал огня, а ходил по комнате, сложив руки на груди, и думал о своей жизни, о загубленной молодости и о том, что женщины, конечно, делают с мужчинами что угодно. Ему очень хотелось позвонить в весовую, но он не звонил, и озлоблял себя нарочно, и только порою поглядывал на телефон, как на врага.

Хромая, вошел Бычков, уже с орденом, веселый, хитрый.

— Что ж ты, Окошкин? — сказал он, садясь. — Ребята тебя вчера видели пьяным.

— Какие ребята? — подавленно спросил Окошкин.

— Да хорошо, что хоть свои ребята, — сказал Бычков, — а то сраму бы не обобратся!

Они посидели молча.

— Да, тяпнул вчера, — стараясь быть поразвязнее, ненатуральным тоном сказал Васька, — переложил...

— Ох, парень! — вздохнул Бычков.

До поздней ночи Васька допрашивал и снимал показания с потерпевших заведующих киосками, у которых украли в общей сложности четыре бочки пива, бочку селедок и два ящика макарон. В двенадцатом часу Васька выяснил, что на сегодня назначена интересная операция и что его не берут.

— Начальник ничего про тебя не приказывал, — говорил Побужинский, зашивая суровой ниткой лопнувшую кобуру у нагана, — про меня сказал, про Бычкова и про Пономаренку, а про тебя нет.

— А сам едет? — спросил Васька.

— Едет.

Васька повернулся на каблуках и из своего кабинета позвонил по внутреннему телефону Лапшину.

— Никаких приказаний не будет, — сухо сказал Лапшин, — можете быть свободным!

Пешком Васька отправился домой, лег в сапогах на постель, укрыл лицо газетой и сказал Патрикеевне:

— Я вас попрошу не хлопать так ужасно дверь!

Патрикеевна чертыхнулась и, чтобы досадить Ваське, хлопнула дверь еще два раза. Васька вскочил и закричал дурным голосом, что если это не прекратится, то он будет стрелять, что он неврастеник и что надо относиться к нему по-человечески. И разодрал пополам газету, которой укрывал лицо.

Пришел Ханин, ткнул Ваську тростью в живот и сказал, не раздеваясь:

— Получил сегодня письмо от Лики. Она заболела и написала мне на Алдан, письмо долго путалось, и вот я получил письмо через полтора месяца после Ликиной смерти. Слава честным почтальонам, утомленным, запыленным, с толстой сумкой на ремне!

Он сбросил свое широкое пальто, заглянул в шляпу и спросил:

— Худо тебе?

И кислым голосом стал говорить о том, что жениться не стоит.

— Впрочем, ты глупый и самовлюбленный человек, — заключил он, — живи как угодно.

Постелив себе на полу, он лег, и они оба долго молчали. Потом приехал Лапшин, сел на кровать и заговорил, не глядя на Ваську.

— Это позорная история, — говорил он, — и это не может повторяться. Я так понимаю. Мне нет никакого дела до причин этой гадости...

Васька встал и поправил на себе гимнастерку.

— Слушаюсь! — сказал он. — Будет исполнено!

13

Весна наступила ранняя, стремительная, с ручьями, со звонкой и быстрой капелью, с внезапными солнечными ветренными днями, с дождями и теплыми, парными, душными туманами.

Вскрылась и очистилась ото льда Нева.

Везде в управлении открывали двери на балконы, с сухим хрустом рвалась пожелтевшая бумага, и на нее приятно было наступать ногами. Уборщицы в серых халатах пели песни и мыли стекла, из комнат ведрами уносили незаметную зимой пыль и

грязь. Везде дули сквозняки, все летело со столов, и у всех в бригаде Лапшина был несколько шальной вид.

Ханин, решивший вдруг написать очерк об уголовном розыске, ходил по комнатам без пальто, в шарфе, в очках и в шляпе, курил и растерянно посмеивался.

— Несolidное у тебя учреждение, — говорил он Лапшину, — сквозняк, бабы песни поют...

Он подолгу сидел на допросах, ездил один в суд, запирался в комнате возле кабинета Лапшина и разговаривал там с ворами, кулачем, растратчиками. Порою оттуда доносился до Лапшина его раскатистый смех или грохот стульев — какой-нибудь жулик в лицах разыгрывал перед Ханиным происшествие. И Ханин выходил из комнаты довольный, размахивал длинными руками и говорил:

— А знаешь, Иван Михайлович, твои жулики не дураки! Верно?

— Верно, — соглашался Лапшин.

С утра до вечера в бригаде у Лапшина толклись артисты. Всем они надоели, и только невозмутимый Бычков держался с ними ровно и спокойно.

Адашова по-прежнему приходила к Лапшину. Собачий пегий полушубок она сняла и носила теперь вязаную серую кофточку и желтые полуботинки на резине. Она побледнела, и лицо ее немного осунулось и покрылось у носа веснушками, которые очень к ней шли. Сумки у нее не было, и потому карманы ее серой кофточки всегда оттопыривались, и всегда она что-то теряла — то карандаш, то пуховку, то какой-то талончик.

— Это ужасно, — вдруг говорила она, — я потеряла три рубля! Дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь на трамвай.

Она очень любила сладкое и ту странную, негородскую еду, которая нравится детям, — дынные семечки, капустные кочерыжки, кедровые орехи, — и часто говорила, что хорошо бы сейчас съесть сырую морковку или мороженое яблоко. А Ханин уверял, что своими глазами видел, как Адашова ела сосновую шишку.

Круг ее интересов был необыкновенно широк — решительно все было ей интересно, все занимало ее, трогало, волновало. Книжки она читала самые разные — то Гюго, то Фламмариона, то почему-то сборник былии — и спрашивала у Лапшина или у Ханина обо всем: о преступности в Америке и об устройстве дамб в Голландии, о Монроэ и об его доктрине, о работах академика Вильямса и о замене подразверстки продналогом.

— Вот видите, — говорила она, выслушав ответ, — а я думала иначе...

Часто, зелеными весенними вечерами, Лапшин и Ханин вдвоем шли к ней, покупали по дороге маленький тортик, или пирожков, или просто булку, масла и колбасы, сидели до ночи, пили чай из расписных веселых и уютных чашек, а потом клали на подоконник диванные подушки и подолгу глядели на смутные кроны Таврического сада, на огни автомобилей, на сиреневое холодное небо и болтали всякий вздор — кому что приходило в голову. Иногда Ханин пел, аккомпанируя себе на гитаре, и непременно, кончив петь, встряхивал своей красивой птичьей головой и говорил:

— Не надо мне петь! Эх, не надо!

А потом потихоньку шли гулять, и всегда выходило так, что Адашова и Ханин разговаривали друг с другом, а Лапшин отставал шага на два и думал о том, что он тут не очень нужен и что говорить Адашовой и Ханину с ним не о чем. И ему было немного обидно, оттого что они порою обращались к нему и вовлекали его в свой разговор, и было немного обидно слышать, как они смеются своим шуткам, и было жаль, что Ханин так много знает и так много видел, а главное — так хорошо рассказывает о том, что видел.

Возвращались Ханин и Лапшин домой всегда пешком — шли по набережной Невы, глядели на разведенные мосты, на баржи, сонно плывущие по реке, на длинно целующиеся парочки, на зеркальные стекла особняков и говорили оба не много, несколько фраз за весь путь.

Васька, когда они входили, открывал глаза, бессмысленно вглядывался в Ханина, потом спрашивал:

— Поздно?

И засыпал мгновенно. На лице его было грозное выражение, и если он засыпал на спине, то так и просыпался. И сны у него были простые: он видел самолет, или деревья, или лодку.

— Ну что лодку! — раздражался Ханин. — Ты в ней плыл?

— Нет, — виновато говорил Васька, — просто лодка и лодка.

Как-то, отправившись к Адашовой, Лапшин и Ханин обогнали Ваську Окошкина возле кинематографа «Титан». Он шел, ведя под руку ту девушку, фотографии которой в изобилии валялись везде дома. Девушка глядела на него снизу вверх и смеялась чему-то, и по ее влажным, сердито-веселым глазам было видно, что она влюблена в Ваську и с наслаждением слушает тот вздор, который он ей говорит.

— Теперь пойдем им навстречу, — сказал Ханин, когда они дошли до угла.

Завидев Хапина и Лапшина, Васька отпустил девушку, и у него сделалось то выражение на лице, которое бывало, когда его распекал Лапшин.

— А, Вася! — сказал Хапин. — Тебя твоя жена ищет, мне звонила.

— Жена? — спросил Васька.

— Позвольте! — сказала девушка и пошла вперед, не дожидаясь Васьки.

— Ну, Носач! — сказал Васька.

Он побежал за девушкой, и было видно, как она вырвала у него руку и перешла на другую сторону улицы.

Адашова еще не приехала со спектакля; Хапин лег на диван и уснул, а Лапшин разобрал от печего делать электрический утюг и стал возиться с новым элементом, который принес с собой. Отвертки у него не было, он действовал лезвием ножа и тоненько насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Он работал и насвистывал, и представлял себе, что Адашова — его жена, и что он сидит в своей квартире и ждет свою жену, и что она сейчас придет, увидит починенный утюг и скажет:

— Вот молодец!

В коридоре позвонил телефон, и квартирная хозяйка позвала Лапшина. Он взял трубку. Ему сказали, что сейчас в пригороде пьют двое бабдитов, что хорошо бы ему поехать.

— Я бы и сам поехал, — говорил начальник, — да у меня сейчас совещание. Неудобно.

Лапшин вернулся в комнату, кончил с утюгом, прибрал на столе и спустился вниз ждать машину. Ему очень хотелось увидеть сейчас Адашову, но ее не было. Он закурил папиросу, сел в машину и спросил у Побужинского обстоятельства дела.

Потом опять засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

Машина летела по прозрачным, застывшим проспектам, и когда выехали из города, то увидели отблески вечерней зари. Небо было на горизонте лимонного цвета, и там плыло длинное, узкое облако.

— Шухер должен быть, — сказал Побужинский. — Верно, товарищ начальник?

— Поведем! — сказал Лапшин.

— А правда, что Окошкин женился? — спросил Побужинский.

Лапшин свернул влево на проселок, остановил автомобиль у рощи и вылез, разминая затекшие ноги. Здесь пахло прошлогодней прелой листвой, и Лапшину вспомнилось вдруг детство.

Пересекли рощу; и Побужинский постучал в окно низкого дома. Лапшин встал у двери и вынул браунинг. С грузным шумом пролетела над домом какая-то тяжелая ночная птица.

Дверь открылась; Лапшин сунул браунинг в белеющее лицо и приказал поднять руки вверх. Но в это время за домом посыпались стекла, два раза выстрелил Побужинский, и Бычков злобно крикнул:

— Тю, сволочи!

Бандиты ушли через слуховое окно и залегли в роще. Завязалась легонькая перестрелка. Три раза выстрелили с той стороны, один раз с этой. Бычков сидел на пенке и зевал.

— Ладно, выходи! — крикнул Лапшин. — Будет дурака валять!

В роще молчали.

Лапшин взял у Побужинского наган и пошел один на бандитов. По-прежнему пахло сырой листвой. Еще два раза выстрелили. Он побежал вперед и, когда увидел, что те встают, крикнул:

— Тихо мне!

В него выстрелили в упор. Он обозлился и сбил первого с ног рукояткой нагана. Бандиты побежали — на дома, на деревню; оттуда стеной шли колхозники, разбуженные Побужинским. Тяжело дыша, Лапшин догнал того из бандитов, который был поменьше ростом, дал ему сзади плюху и павалился на него. Было слышно, как колхозники урчали с другим.

— Ладно, пойдем, — сказал Лапшин, вставая.

Он чувствовал, что в драке сломалось вечное перо, которое ему подарил Ханин. Ему было жалко пера и стыдно перед Ханиным. И болел бок: падая, он больно ударился о пень.

Отведя арестованных, он поехал к Адашовой, отпустил машину и поглядел на открытое окно — она жила во втором этаже. Свет в ее комнате не горел, шел второй час ночи...

— Ханин! — крикнул он, сложив ладони у рта. — Давид!

Он не мог уже уйти, не повидав ее хотя бы на минуту. И что сказать, он придумал: скажет, что зашел за Ханиным.

— Ханин! — опять позвал он.

Прошли две девушки и засмеялись чему-то, наверно он смешно выглядел на мостовой во втором часу ночи. Он дождался, пока они исчезли за углом, огляделся и в третий раз крикнул:

— Ханин, Хапип!

— Это вы, Иван Михайлович? — спросила Адашова, выглядывая из окна.

— Хапип у вас?

— Нет, он ушел.

— А я за ним, — сказал Лапшин. — Глупистика получилась. Слово «глупистика» он никогда не употреблял, и потому, что он соврал про Хапина, и от этого слова ему стало стыдно.

— Может быть, зайдете? — спросила она тем тоном, каким спрашивают, зная паверняка, что время позднее и что никто не зайдет.

— Черепушечку чаю разве что выпить...

— Ну так идите, — сказала она и скрылась.

Пока дворник открывал ему парадную и поднимаясь по лестнице, он испытывал чувство такого стыда, что впору было убежать, но сверху уже открылась дверь, и Адашова шепотом сказала:

— Только потихоньку через коридор, а то разбудите!..

Взяла его за руку и повела в темноту. В комнате тоже было темно. Он робко сел на стул и сказал, глядя на диван, на котором была смятая постель:

— Уже легли?

— Да, — сказала она, зажигая настольную лампу, — задремала. А вы куда делись?

— На заседание, — солгал он, — вызвали позаседать маленько.

Ему было неловко говорить о перестрелке и о бандитах — этому нельзя было поверить сейчас в маленькой, уютной и чистой комнатке.

— Я вам тут уют отремонтировал, — сказал он, — теперь можно гладить...

Чаю ему не хотелось, но он сделал такой вид, что пьет с удовольствием, и выпил две чашки. Она молча смотрела на него и кутала подбородок в воротник халата; глаза у нее были сонные.

Уходя, он два раза извинялся, а когда шел по улице, то старался думать о ней грубо, теми словами и понятиями, которыми думал о женщинах вместе с другими озлобленными, голодными и вшивыми солдатами, сидя в окопах двадцать с лишним лет назад.

Но так думать о ней он не мог, потому что любил ее, и тогда он решил совсем не думать и засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи...

Уже наступило утро, блистала Нева, а он шел, свистел и думал об Адашовой с нежностью, со страстью, с радостью.

Через несколько дней Адашова и Лапшин провожали Ханина, уезжавшего ненадолго в Москву. На проспекте 25 Октября нельзя было протолкаться, продавали привязанные к палочкам букеты фиалок, и Лапшин был даже без плаща. Ханин надел серое летнее пальто, купил себе и Адашовой фиалок и шел пританцовывая.

— Ах, милые,— говорил он,— что только будет в Москве! И если будет, то каких я тебе, Наташка, конфет привезу...

Сквозь стекла вагона было видно, как он ходил по коридору, точно по своей комнате, как он с кем-то поговорил и как повесил трость и портфель на крючок.

А когда поезд ушел и открылось свободное пространство путей, рельсов, стрелок и зеленых огоньков и когда стало видно розовое вечернее небо, Адашова сказала печальным голосом:

— Вот и уехал Ханин! Не поглядел спектакля!

— Поглядит еще,— сказал Лапшин.

— Да, конечно,— согласилась она.

В этот вечер Лапшин сидел у нее и слушал, как она разговаривала в коридоре по телефону, как играла на рояле, как смеялась, смотрел, как она что-то перекладывала в корзинке, как шила и искала бежевые чулки.

— Ну господи, новые чулки! — говорила она. — Ненадеванные! И задумывалась, стоя посреди комнаты.

На другой день была генеральная репетиция при публике. Адашова волновалась и, провожая Лапшина по коридору, велела, чтобы он пришел к ней в уборную пораньше.

— Так мне будет спокойнее,— сказала она.

Он пришел еще раньше, чем она просила, и сидел на диванчике, а она гримировалась и, глядя на него в зеркало, говорила:

— Вдруг бы сейчас стук-стук в дверь — и Ханин! Вдруг бы оказалось, что он на самолете прилетел, а?

— Вряд ли,— с неудовольствием сказал Лапшин.

Пока толстый парикмахер с губами, сложенными так, будто он хотел присвистнуть, прикладывал Адашовой буколки, она говорила, что вставила в текст фразу Катьки-Наполеона.

— Знаете, эту,— спрашивала она,— помните? «Мы тут как птицы-чайки, плачем и стоим, стонем и плачем». Ничего?

— Ничего,— сказал Лапшин.

Адашова помолчала, потом прошлась по уборной и спросила, хорошо ли она выглядит. Глаза у нее по-прежнему были испуганные.

— Да не утешайте вы меня! — сказала она. — Все равно провалюсь! Мне что-то скучно, так скучно, так печально...

Прижав руки к груди, она точно прислушалась к самой себе, потом с тоской сказала:

— А Ханин не приедет!

И велела Лапшину идти в публику.

Проходя через буфет, он увидел Галю Бычкову с мужем, Побужинского, начальника с женой и Ваську Окошкина с той девушкой, которую Лапшин давеча встретил на улице. Васька аккуратно ел песочное пирожное, и когда Лапшин подошел, у Васьки сделалось настороженное и опасливое лицо.

— Добрый вечер, Окошкин! — сказал Лапшин.

Васька познакомил Лапшина с девушкой, и девушка сказала:

— Варя.

— Скоро начнут,— сказал Лапшин таким тоном, каким никогда не разговаривал с Васькой и каким обычно разговаривают старые друзья в присутствии малознакомых женщин. Тон этот означал, что все прекрасно, любезно и обходительно, и что еще долго можно разговаривать на незначительно-вежливые темы, и что во всем этом нет ровно ничего особенного.

— Приличный театрик,— сказал Васька,— культурненько обтяпано! Но в Мариинском мне больше нравится.

Лапшин хотел заметить, что Васька врет, так как в Мариинском он не бывал, но сдержался из жалости.

Они вошли в ложу, и мужчины, стоя, еще поговорили.

— Ну как? — спросил начальник у Лапшина. — Принял парад? — И, наклоняясь к своей жене, крупной и белокожей блондинке, пояснил: — Он у нас самый главный насчет артистов. Верно, Иван Михайлович? И волнуется,— засмеялся он,— сй-ей, волнуется! Волнуешься, Иван Михайлович?

— Ужасно,— басом сказал Лапшин,— прямо ужасно.

В зале погас свет, и Васька Окошкин, поскрипев стулом, сразу же обнял Варю.

Начался спектакль.

Первую сцену, изображавшую организацию лагеря, Лапшин проглядел, так как все время ждал Адашову и вглядывался в елочки, из-за которых она должна была появиться, а потом смотрел только на Адашову, слушал только ее и самого спектакля почти не замечал.

Адашова играла нехорошо.

Лапшин давно почти на память знал ее роль, она показывала ему и Ханину у себя дома разные ее кусочки, ходила по комнате, пела, плакала, ссорилась с большим начальником, злословила, и все это было совсем иначе и несравненно лучше того, что Лапшин видел сейчас.

Глядя на нее и слушая ее голос, Лапшин испытывал сейчас такое мучительное чувство жалости к ней, что даже на секунду закрыл глаза, чтобы не видеть, как ей трудно там, на освещенной прожекторами сцене. И чем хуже она играла, тем ближе была она, тем роднее и понятнее становилась и тем сильнее и острее делалась его любовь к ней.

В антракте он, сделав служебно-бодрое лицо, постучал к Адашовой в уборную и сел на диванчик.

Она, сложив ноги пожницами, ела бутерброд с ветчиной. Ее круглые глаза ничего не выражали, кроме усталости.

— Проваливаюсь? — спросила она.

— Вот те на! — сказал Лапшин. — Даже очень неплохо!

Адашова угрожающе на него взглянула и повернулась спиной.

— А, пустяки! — сказала она, и Лапшин понял, что вовсе не пустяки.

Помолчали.

— Вы идите, — сказала Адашова, — развлекать меня не нужно!

Выйдя, он слышал, как она заперла дверь на крючок. Во втором действии она играла ровнее, но не лучше, и в антракте Лапшин не пошел к ней, а сидел в буфете с Окошкиным и Варей и слушал, как Васька рассуждал, что верно артистами подмечено, а что неверно. Подошел Побужинский, попросил у Васьки гребенку и, поправляя пробор, сказал:

— А наш Захаров изумительно дал типа! Верно, товарищ начальник? И вообще я считаю, что они у нас очень поднаторелись, артисты. Верно?

— Садись, Побужинский! — сказал Окошкин. — Тяпнем крем-соды...

Все третье действие Лапшин сидел в глубине ложи, подперев подбородок кулаком, и деловито глядел на сцену. Адашова казалась ему больной, измученной, и он сам почувствовал себя измученным и жалким. В антракте он ходил по фойе, и по куритель-

пой, и по коридорам и жадно слушал, как говорили о спектакле. Адашову никто не упоминал, только Васька многозначительно произнес:

— А публичной женщины тип не удался! Не подметила она чего-то.

Он постеснялся сказать «проститутка» — слишком уж торжественная была обстановка.

Когда поднялся занавес и началось четвертое действие, Лапшина кто-то окликнул. Он встал и вышел из ложи. Захаров, уже без грима, сказал ему, чтобы он зашел к Адашовой.

— Пойдите, пойдите! — говорил он Лапшину, дружески касаясь пальцами его портупей. — Пойдите, ей там грустно...

Лапшин быстро обогнул по коридору зрительный зал и пролез в маленькую дверцу, ведущую за кулисы. Адашова сидела у себя в уборной перед зеркалом и плакала, громко сморкаясь и откашливаясь.

— Ничего я не больная, — ответила она. — Здорова как корова, просто настроение такое!

Она повернулась к нему и, не стесняясь своего некрасивого сейчас и жалкого лица, мокрого от слез, спросила:

— И вам небось уже стыдно за меня? Стесняетесь там, что столько времени на меня потратили? Да?

Он хотел сказать, что не стесняется, и что любит ее, и что нет для него дороже человека, чем она, но только кашлянул и поджал немного ноги.

Адашова всхлипнула и попросила его, чтобы он больше не ходил в зал и не глядел спектакль, а чтобы он подождал ее здесь. Она ушла играть дальше, а он пересел на ее место перед зеркалом и долго рассматривал принадлежности для грима: баночку с вазелином, растушровку, кисточки и большую лопнувшую пудреницу. Со сцены смутно доносились голоса, грянул одинокий выстрел. Лапшин послушал, подумал, вынул из кармана кусочек сургуча, растопил его на спичке и, слегка высунув язык, стал заклеивать полоской сургуча лопнувшую пудреницу. Делал он это с присущей ему аккуратностью и точностью, и выражение его ярко-голубых глаз было таким, как в бою, когда он стрелял из винтовки по далекому врагу.

Заклеив пудреницу, он взял ее в левую руку, отставил далеко от себя и оглядел работу с некоторой враждебностью.

Домой он провожал Адашову пешком. Шли молча. Лапшин нес ее чемоданчик и курил.

— Знаете, почему я провалилась? — спросила Адашова.

— Ну почему?

— Потому что не было Ханина, — сказала она с раздражением и с отчаянием, и голос ее задрожал. — Не было Ханина, и я провалилась. А если бы он был, то я бы не провалилась...

Лапшин молчал.

— Я это знала, — говорила она, — я больше не могу так, это ужасно. И не уходите! Пойдемте ко мне, я вам чаю дам. Хорошо, Иван Михайлович, миленький?

Он выпил у нее чаю, помолчал с нею, а потом пешком шел домой, морщил лоб и насвистывал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

15

Когда Лапшин вернулся домой, Васьки еще не было и только Патрикеевна храпела в своей нише. Уже наступило утро, он отворил окно и долго из окна глядел на булыжники своего переулка. Потом он деловито разделся, лег в постель и сразу же уснул тяжелым, неосвежающим сном. Проснувшись часов в семь и чувствуя себя разбитым, он взял книгу Костомарова и, пофыркивая носом, стал читать. Исторические картины проносились перед ним, но далеко и смутно, точно на них лежала тень, и он догадывался, что это за тень, но ничего не мог поделать с собой, а только раздражался на себя и вздыхал с возмущением.

Завтракая, он несколько раз взглянул на пишущую машинку Ханина, прикрытую клеенчатым чехлом, а потом чувствовал только желание на нее глядеть, но оборотился к ней спиной и не глядел.

Лицо у него подсохло за ночь, он заметил это, бреясь, но глаза не изменились, в них было по-прежнему упрямое, зоркое и смешливое выражение.

«Все пройдет, — думал он, шагая в управление, — все пройдет, и ничего ведь, собственно, даже не случилось. И не было ничего. Все по-прежнему».

И он отмечал про себя знакомые переулки, и проходные дворы, и витрины, и вывески магазинов, и освежающий весенний утренний ветерок — это как бы подтверждало его мысли о том, что все по-прежнему и что ничего решительно не изменилось.

Было еще совсем рано. Он отворил свой кабинет, отодвинул кресло, аккуратно и методично налил в чернильницы чернил, отточил карандаши и поставил их в стаканчик, переложил на столе бумажки, сдул уроненный пепел и тотчас же, не теряя ни се-

кунды, принялся читать протоколы допросов, и там, где были неясности, красным толстым карандашом ставил вопросительные знаки и подчеркивал то существенное и важное, что ускользало от внимания следователя и что требовало еще дополнительной разработки. Иногда, читая, он улыбался, иногда хмурился и почесывал карандашом в ухе, иногда поправлял орфографическую ошибку, иногда говорил: «Ах ты, глупый человек!» или что-нибудь в этом роде укоризненное и сердитое.

За спиной его была огромная площадь Урицкого, и когда у него уставали глаза от плохих почерков, он на минуту поворачивался к окну и, щурясь, смотрел на серый асфальт, на автомобили, на колонну и на дворец — все это было залито ярким солнцем. Лапшин покуривал, потягивался и опять читал.

Потом он допрашивал Мамалыгу и людей из его компании и следил, как они ведут себя на очной ставке, ловил их на лжи, сталкивал и спрашивал:

— Это точное показание? Или вы еще будете вывертываться? А? Да или нет?

И в его ярко-голубых глазах была такая уверенность, и такое упрямство, и такая сила, что все хитрейшие построения Мамалыги рушились одно за другим. Он уныло отбrehивался вначале, а потом и вовсе замолчал, только поводил зрачками по комнате да ежесекундно стряхивал с папиросы пепел, постукивая по ней пальцем.

К трем часам Лапшин с Васькой посхали в суд слушать дело Тамаркина. Тамаркин сидел на скамье подсудимых в крахмальном воротничке и часто поглядывал на Ваську Окошкина с таким видом, будто хотел сказать:

— А? Кто мог думать, что это так здорово получится?

Когда защитник говорил речь и воскликнул, что Тамаркин был «вовлечен», тот заплакал и отодвинулся от своего соседа по скамье подсудимых, как бы показывая этим, что защитник прав и что он, Тамаркин, действительно вовлечен.

Васька слушал защитника с недовольным лицом, а прокурора — с довольным и кивал головой, когда прокурор поносил Тамаркина. Тамаркину дали пять лет, и он, слушая приговор, как бы даже удивился, что, в общем, дешево отделался, но вслед за этим сделал мутные глаза и поискал сзади себя в воздухе, точно ему было дурно.

— Просто-таки артист! — говорил Васька по дороге в управление. — Верно, Иван Михайлович?

Лапшин просидел у себя в кабинете до половины первого и уже собирался уходить, когда позвонил телефон. Адашова спрашивала, не приехал ли Хапин.

— Нет,— сказал Лапшин,— у меня он не был и мне не звонил.

От звука ее голоса к лицу прилила кровь, он вытер платком шею и покашлял. Адашова сказала, чтобы он приехал к ней, и он поехал, хотя знал, что лучше не ездить. Опять сидели на подоконнике, и опять у Адашовой были старательные глаза, а он пытался не смотреть на нее, на ее розовый, ненакрашенный рот и не видеть ее испуганного выражения — он знал теперь, отчего лицо у нее испуганное и зачем он ей нужен, когда Ханина нет. Ни с кем больше она не могла говорить о Ханине, а с ним могла, и она это делала, не жалея Лапшина. Меньше всего она думала о нем — она думала только о своей любви к Хапину и о том, как бы эта любовь не показалась Лапшину унижительной, и если говорила осторожно, то не для Лапшина, а для себя самой. Она выпрашивала его о Ханине и о покойной Лике, и о том, как они жили, и о том, какая у них была в Ленинграде квартира, и что за человек была Лика. И в тоне ее Лапшин чувствовал ревность, и чувствовал, что ей было бы приятно, если бы он сказал о Лике худо и об их жизни худо. Но он говорил как раз обратное, и ему было приятно, что ей тяжело.

— Да вы же сами Лику видали! — говорил он. — Она веселая, и простая, и гостеприимная, и умная была, чего там! Жили — каждому завидно...

Лапшин взглянул на нее. Щеки у нее горели, и в глазах было уже другое выражение — злобное.

— Конечно,— сказала она,— Лика была прелестная женщина.

Сидя на подоконнике, она грызла печенье. Крошки сыпались ей на колени, она стряхивала их частыми движениями ладони и молчала.

— Ну, я поеду,— сказал Лапшин.

— Уже? — спросила она. — А может, пойдем в ресторанчик?

Пошли в ресторанчик. Есть Лапшин не мог и не знал, что нужно делать в ресторанчике, когда играет музыка и все кругом пьяные.

— Нет, тут плохо! — сказала Адашова. — Проводите меня.

Он проводил, и когда возвращался домой, то подумал, что каждый день ходить на свои собственные похороны — невеселое занятие.

А утром очень рано приехал Ханин, сел на постель к Лапшину, разбудил его и стал рассказывать о Москве и о том, что теперь уже выяснилось, летит он или нет...

— Так летишь? — спросил Лапшин.

— Да, конечно же, лечу! — сказал Ханин. — Все уже установлено окончательно.

— А куда?

— Мое дело,— сказал Ханин,— моя маленькая тайна.

Лицо у него было измученное и веселое. Он закрывал один глаз и, надавливая пальцами висок, спрашивал:

— Вторые сутки мигрень. Неужели нельзя ничем помочь?

Разбудил Ваську и подарил ему металлический никелированный зажимчик неизвестного назначения, Патрикеевне подарил апельсин из мыла и Ашкенази — великолепную сигару.

— Вот и приехал старик в дом! — говорил он, расхаживая по комнате.— Все ему рады, всем гостинцев привез, хороший, мягкий, добрый старичина, благодетель...

Потом, упершись тростью Ваське Окошкину в живот, спрашивал:

— Женился? Да женился или нет? Не женился?

А когда Лапшин уже собрался уходить, он вдруг спрашивал о спектакле: как прошло и как играла Адашова?

— Ничего,— хмуро сказал Лапшин. — Ты сам погляди.

— Я ей конфет привез,— сказал Ханин,— Наташке-то...

В выходной день Ханин попросил у Лапшина автомобиль съездить в оранжерею за цветами для Ликиной могилы. Патрикеевна вдруг сказала, что лучше не просто положить цветов, а лучше посадить и что если Ханин купит рассады, то она поедет вместе с ним и посадит.

— Давай, если ты такая добрая, — с удивлением сказал Ханин. — Поедем.

Поехал и Лапшин. По дороге взяли с собой Адашову, долго все вчетвером ходили по душной оранжерее за Патрикеевной и смотрели, как она выбирает и препирается с садовником. Наташа ела миндаль и не поднимала глаза — она еще больше осунулась за это время, и еще больше веснушек выступило на ее лице.

На кладбище она не подошла близко к могиле, а стояла, опершись плечом на ствол молодой березы, и не отрываясь смотрела на Ханина, который, сидя на корточках, без шляпы, помогал Патрикеевне сажать цветы.

Был теплый вечер, пахло влажной землей и молодыми березами, и на кладбище, где-то за еще черными, но уже покрытыми налившимися почками ветвями, смутно белели двое людей. Они ходили меж могил, переговаривались, и порой женский голос пел:

Лишь гимназистка с синими глазами...

И оба смеялись.

— Ты не дави, не дави на цветочки-то! — говорила Патрикеевна Ханину. — Не жми их...

Он робко улыбался, и почему-то, глядя на него, казалось, что он сейчас замахает своими длинными руками и улетит, и в этом не будет ровно ничего удивительного, а удивительно, что он сажает цветы и сидит на корточках.

Лапшин нашел себе камень и, удобно устроившись на нем, курил папиросу, глядел то на Ханина, то на Адашову и, тоскуя, думал, что хорошо бы сейчас ехать по длинной-длинной дороге на возу и дремать.

Опять женский голос лукаво запел:

Лишь гимназистка с синими глазами...

Назад ехали молча, одна Патрикеевна ворчала, и Лапшину было жалко и больно смотреть на Наташу. Она, как давеча, ела свой миндаль, рот у нее запекся, и лицо было страдающее и злое.

Ночью Ханин трещал на машинке, а когда кончилась страница, пел:

Та гимназисточка...

У него была бессонница. Он стыдился ее и, глотая веронал, говорил, что это от живота.

16

В канун Первого мая Васька Окошкин сообщил, что женится, а первого, после парада, в полной форме и даже в перчатках, пришел домой за вещами.

— Ух у тебя вещей! — говорила ему Патрикеевна, швыряя на середину комнаты носки, старый ремень и грязные гимнастерки. — За твоими вещами на грузовике надо приезжать. На, бери вещи! Вещи ему подай!..

— И синий штатский пиджак, — плачущим голосом говорил Васька, — там в кармане был такой футлярчик металлический...

Лапшин и Ханин сидели на стульях рядом, и обоим было жалко, что Васька уезжает.

— Жалованье мне заплати! — сказала Патрикеевна. — В чем дело?

— И была у меня еще такая вещичка из клеенки, — пыл Васька, — что ты, правда, Патрикеевна?..

— А сам ищи! — сказала Патрикеевна. — Раз так, то ищи сам! Хошь бы десятку подарил; дескать, на, старуха, купи себе пряничков, пожуй. Не буду искать!

Она села, выставила вперед свою деревяшку и с победным видом встряхнула стриженной головой. Только что у себя в нише

она выпила мерзавчик водки, и теперь ей казалось, что ее все всегда обижали и что надо наконец найти правду.

— Тяпнула небось, — сказал Васька, запихивая все свое добро в корзинку и в чемодан.

— На свои тяпнула, — сказала Патрикеевна. — На твои не тяпнешь.

— Ура! — сказал Васька.

Уложив вещи, Васька сел на свою кровать, на которой уже не было матраца и подушек, и помолчал. Ему было чего-то неловко и казалось, что Лапшин недоволен.

— На свадьбу не зовешь? — спросил Ханин.

— После получки, — сказал Васька, — обязательно.

Патрикеевна вдруг засмеялась и ушла в нишу.

— Психопатка! — обиженно сказал Васька.

Он вообще был склонен к тому, чтобы обижаться.

Поговорили о делах, о комнате, в которой Васька будет теперь жить, о теще.

— Теща ничего, — вяло сказал Васька, — только все меня за руку берет. Задушевная!

— А ты держись! — сказал Ханин, помолчал и засмеялся.

— Чего, Носач, потешаетесь? — спросил Васька.

— А ничего, — сказал Ханин, — мне на секунду показалось, что ты не очень хочешь туда ехать.

— Пустяки, — сказал Васька и стал надевать перед зеркалом фуражку.

Фуражка у него была новая, и надевал он ее долго: сначала прямо, потом несколько наискосок и кзади. Ханин следил за ним, поднял руку и крикнул:

— О-то-то! Хорош!

— Хорош?

— Хорош, — сказал Ханин.

— Ладно, — сказал Васька. — До свиданья!

Он подошел к Лапшину, подщелкнул каблуками и козырнул, глядя вбок.

— Будь здоров, Вася! — сказал Лапшин и подал Окошкину руку.

— Не поминайте лихом! — сказал Васька, по-прежнему глядя вбок.

— Чего там! — сказал Лапшин.

Попрощавшись с Ханиным, Васька взял корзину, чемодан и постель. Лицо у него сделалось совсем обиженное.

— Легкой дороги! — сказала Патрикеевна из ниши и захотала.

— Счастливого оставаться! — ответил Васька.

Лапшин и Ханин сидели на своих стульях. Ханин морщил губы.

— Заходи в гости! — сказал Лапшин.

Васька ушел, и Патрикеевна сказала:

— Баба с возу — кобыле легче.

Она достала из шкафа постель Ханина, уложила ее на пустую кровать и повесила в изголовье бисерную туфлю для часов.

— А на него я жаловаться буду, — сказала она, — напишу куда следует. Повыше группкома тоже есть начальство.

Солнце ярко светило во все большие окна, с улицы доносилась глухая музыка, и настроение у Лапшина было и приподнятое и печальное. Он сидел на венском стуле, подобрав ноги в новых сапогах, и жевал мундштук папиросы. А Ханин расхаживал по комнате с рюмкой коньяку, которую все собирался выпить, и говорил:

— Я люблю, чтобы в праздник меня помяли, люблю устать, люблю, когда колонна останавливается и девушки танцуют. Налить тебе коньяку, Иван Михайлович?

— Нет, — сказал Лапшин.

И ему вдруг захотелось не видеть Ханина и остаться в комнате совсем одному, сесть у стола, упереться лбом в холодную клеенку и помолчать.

Четвертого мая Ханин выклянчил у Лапшина разрешение поехать с Бычковым на операцию. Лапшин сам не поехал — экзаменовал в школе начальствующего состава, потом допрашивал, потом совещался у начальника и пришел к себе в кабинет только во втором часу ночи. Открывая дверь, он услышал, что звонит телефон, но когда вошел и взял трубку, оказалось, что уже разъединили.

На столе лежали не прочитанные в суе дня сегодняшние газеты; Лапшин сел в кресло, наморщил лоб и стал читать.

Зазвонил внутренний телефон.

Читая, Лапшин снял трубку и сказал, что слушает.

— Иван Михайлович, — сказала телефонистка Верочка, — вас Бычков нашел?

— А ищет? — спросил Бычков.

— Все время ищет. — Она включила кого-то и выключила. Лапшин слышал ее говорок: «Милиция, милиция. Четыре? Даю». — Вы слушаете? — громко спросила она. — Мне кажется, что-то случилось.

— Ладно, — сказал Лапшин, — посмотрим. Я теперь буду в кабинете.

Он проглотил скопившуюся вдруг во рту слюну, повесил трубку и стал ходить по комнате. Вынул часы, положил их на

стол и косился на циферблат. Прошло три минуты, семь. Лапшин вызвал секретаря и велел ему послать машину с дежурным по тому адресу, куда уехал на операцию Бычков. Пришел начальник и спросил:

— Чего у тебя, Иван Михайлович?

— А черт его знает, — сказал Лапшин. — Шухер, кажется, подняли на проспекте Маклина.

— Ишь ты! — сказал начальник.

— Тут один дядька поехал, — сказал Лапшин, — Хапин, знаешь? Я тебе говорил — пишет он чего-то про нас.

— Ну?

— Он смелый человек, но штатский, — сказал Лапшин, — в очках...

— Ат, ей-богу! — с досадой сказал начальник и стал читать газету.

Зазвонил телефон. Лапшин спокойно взял трубку и узнал голос Быčkova.

— Ну? — угрожающе спросил он.

— Товарищ начальник, Хапина ранили в живот, — сказал Бычков, — положение опасное.

— Что? Хапина ранили в живот? — повторил Лапшин. — Ну?

— Я сам в клинике, — говорил Бычков, — положение очень опасное. Приезжайте, пожалуйста, очень опасное положение!

Лапшин повесил трубку и подумал.

— Кто вам разрешил посылать журналиста на такое дело? — фальцетом спросил начальник. — Я вас под суд отдам!

— Слушаюсь, — сказал Лапшин. — Можно идти?

— Можете!

Лапшин сделал кругом, спустился вниз и сел за руль машины. Возле ворот клиники стоял Бычков в расстегнутом макинтоше и в кепке блином.

— Ну? — спросил Лапшин.

— Краденной обуви не оказалось, — говорил Бычков, идя чуть сзади Лапшина по дощатому узенькому тротуару во дворе клиники, — ни одной пары, перепрятали. Так. Тогда я беру в тумбочке враз четыре паспорта, один стертый, и документики.

— Короче! — сказал Лапшин.

— Пока я шурую, — заторопился Бычков, — этот кулак просит разрешения с ребенком проститься. А Хапин ему: «Пожалуйста!» А он из-под ребенка браунинг и как начнет сажать! Я с антресолей ему на холку. Ну сбил, обезоружил. Так. Теперь сюда, в подворотню, товарищ начальник.

— Умирает? — не оборачиваясь, спросил Лапшин.

Они вошли в дверь с блоком и очутились в вестибюле клиники. Ярko блистали грушевидные лампы, и старик швейцар, без ливреи, в одной фуражке с золотом и в деревенской рубахе, сидя на диване, вязал чулок.

Бычков скинул макинтош и кепку, положил на диван возле швейцара и разгладил ладонью волосы. Швейцар принес им халаты, и теперь сделалось видно, какое у Быčkoва измученное и задерганное лицо.

— Я полностью несу ответственность, — тихо и быстро говорил он в спину Лапшина, когда они поднимались по лестнице, — полностью, лично я. Обманул меня враг...

— Ты замолчишь? — спросил Лапшин.

По длинному кафельному коридору, в конце которого поминутно трещали электрические звонки, Лапшин и Бычков дошли до двери с матовым стеклом и с цифрой 40. Лапшин сморщил лицо и отворил дверь, но палата была пуста, и он сразу же попятился.

— Ничего, ничего, — ласковым шепотом сказал Бычков. — Его в операционную взяли. Зайдем пока...

И он надавил в спину Лапшину и вошел сам за ним в маленькую палату.

Здесь все было прибрано и вещи расставлены с той вечной, ничем не колеблемой аккуратностью, какая бывает только в гостиницах да в больницах. Стояла кровать, тумбочка, и стул стоял нелепо, как не ставят в комнатах, в углу. На тумбочке была фаянсовая мисочка, из которой, видимо, поили Ханина. Она имела специальное название, но Лапшин так и не вспомнил это название, не успел. Заметив, что рядом с мисочкой лежат очки Ханина, сильно выпуклые стекла с одной торчащей оглоблей, Лапшин поглядел на очки и поискал по стенам и в углах, надеясь увидеть еще что-нибудь из знакомых вещей — трость или шляпу, но ничего больше не было. Только белый Бычков стоял посредине белой палаты, сунув руки в карманы штанов.

Оттого что в палате был всего один стул, ни Лапшин, ни Бычков не садились и простояли молча до тех пор, пока на высокой тележке не привезли Ханина.

С тележки свешивалась по обе стороны простыня, и Ханин был не то завернут, не то покрыт простыней весь; и санитары, и сестра, и врач — все, кто привез его, удивились, увидев в палате посторонних людей, а врач властным голосом приказал им обоим выйти.

Они вышли и из коридора слушали, как, тяжело ступая, санитары что-то делали в палате, как двигали потом почему-то кровать и как врач тем голосом, которым разговаривают маляры или

обойщики в комнате, покинутой хозяевами, приказывал что-то и обругал вдруг сестру.

Первой выкатилась с шипящим звуком тележка, потом вышли санитары, потом врач, с незакуренной папиросой в твердых плоских губах, и сказал, что пуля извлечена, швы наложены, но положение тяжелое и что, если Лапшину угодно, он может остаться хоть до утра. Говоря, он глядел на орден Лапшина и слегка двигал бровями.

Хапип лежал на спине без подушки, покрытый до плеч простыней, и казался мертвым. Лицо его странно выглядело без очков и имело новое, страдающее и детское выражение.

Лапшин взял себе из угла стул, отпустил Бычкова и просидел не двигаясь, пока не взошло солнце. Хапип очнулся, его тошнило. Лапшин с медленной и ловкой осторожностью много раз раненого солдата обтирал лицо Хапица, подставлял тазик и, когда сестра выходила, считал Хапипу пульс.

Окончательно очнувшись, Хапип сказал:

— Когда я был маленьким, сестра меня пугала: не сердись, а то ты лопнешь и обваришь себе ноги! Теперь я знаю, что это такое. Надень-ка на меня очки!

Лапшин, сложив губы трубочкой, надел на Хапица очки и велел ему молчать. Хапип закрыл один глаз и сказал:

— Старик развалился на части. А какой был достойный, почтенный старик!

Отдышавшись, он добавил:

— Иди домой, Иван Михайлович! Черт бы подрал твоих разбойников! Иди, иди!

Сестра зашипела на него. Он замолчал и закрыл под очками глаза. Лапшин еще посидел, а приехав домой, позвонил Адашовой и рассказал ей все. Уже наступил день, гремели трамваи, и Патрикеевна, пока он разговаривал, стояла с корзинкой в руке — собралась на рынок. Повесив трубку, Лапшин стал снимать сапоги, а Патрикеевна смотрела на него со злобой.

— Ну чего смотришь? — кряхтя сказал он. — Иди себе, иди, бабам на рынке расскажи...

Сердце тяжело бухало у него в груди, и, когда Патрикеевна ушла, он сделал себе холодный компресс и положил на грудь. Вода текла под мышкой и по животу. Лапшин кряхтел от ощущения пропасти, в которую падал вместе с перебоями сердца, и, морща лоб, разглядывал потолок, по которому бродили солнечные пятна.

Позвопила Адашова и сказала, что ее не пускают в клинику и что она сейчас приедет к Лапшину.

Придерживая рукой мокрую тряпку на сердце, он прибрал комнату, подмел, застелил постель и на электрической плитке стал жарить яичницу, чтобы накормить Наташу, когда она приедет. И когда она приехала, он был уже в гимнастерке и в портупее, и глаза у него были ясные и яркие, как всегда, и сапоги его поскрипывали, и нельзя было подумать, что он болен и что ему плохо.

Он думал, что она заплачет, или ей сделается дурно, или она начнет упрекать его, но ничего подобного не произошло. Правда, подбородок у нее вздрагивал, и она сидела съежившись, в позе, необычной для нее, и глаза у нее имели странное выражение — растерянное и тоскливое, но спрашивала она только о подробностях самого ранения, как и куда попала пуля, как ее извлекли, сколько длилась операция, много ли Ханин потерял крови, что он чувствует сейчас, а главное — когда к нему наконец пустят.

— Я бы с ним посидела, — говорила она, — я умею ходить за больными. У меня отец в крушение попал, и я все ему делала не хуже, чем фельдшерица... И я бы ему болтать не давала, он болтает, наверно, много...

На ее лице было детское, умоляющее выражение. Она встала и посидела на кровати Ханина.

— Это здесь он спал? — сказала она. — Но он же очень длинный, у него ноги, должно быть, торчали.

И она попробовала, пружинит ли сетка.

Потом вдруг она потянула пальцами Лапшина за рукав гимнастерки и сказала:

— Вы только не мучайтесь, Иван Михайлович. Вы же не виноваты, вы нисколько не виноваты. И все это кончится благополучно, вот посмотрите!

И она еще раз потянула его за рукав.

— Покушайте, — сказал Лапшин. — Яичница простыла.

Постучав к Ашкенази, он рассказал ему о случившемся, и они втроем пошли в клинику. Адашова шла впереди, сунув руки в карманы своей вязаной кофточки, и часто встряхивала головой, а Лапшин слушал болтовню Ашкенази и глядел на Наташу, на ее независимую и легкую фигуру, на ее тонкую шею, на ее заштопанный чулок.

Но в клинике присутствие духа покинуло ее. Она сжалась, побледнела, и когда надевала халат, то долго не могла попасть

в рукава и завязать тесемки. В палату она вошла первой и выглянула оттуда порозовевшей, испуганно-счастливой.

— Ничего,— сказала она Лапшину, близко заглядывая ему в глаза,— честное слово, ничего. Войдемте все, только ненадолго, а потом уж я совсем с ним останусь. Только ненадолго, да?

За эти несколько минут она забрала всю власть над Ханиным себе и всем распоряжалась.

Ханин по-прежнему лежал на спине, без очков, близоруко моргал и просил шипящим голосом:

— Дайте покурить! Дайте немножко покурить! Наташка, Наташенька, один раз только затянуться...

— Нельзя, миленький,— почему-то шепотом говорила Наташа,— ну нельзя...

Она уже что-то делала в палате, мыла какой-то стакан, потом ушла и принесла вату и таз, чтобы вытереть Ханину лицо.

— Я не люблю мыться,— говорил он,— я не считаю это нужным. И все равно, роковая развязка близится.

— Теперь уходите,— сказала Наташа Лапшину.— И вы, доктор, уходите. Я сама теперь здесь буду. Я себе тут кресло поставлю.

— Покурить, сволочи! — сказал Ханин жалобно.— Ну, Иван Михайлович!

Приехав в управление, Лапшин прямо прошел к начальнику и доложил ему про Ханина.

— Цветов надо ему послать,— сказал начальник.— Неудобно, на нашем деле пострадал. Как ты считаешь?

— Можно,— кисло сказал Лапшин.

— Не любит?

— Да нет, можно,— сказал Лапшин.

— Ерунда получается,— сказал начальник.— Мне уже из Москвы звонили, из газеты. Что да как? Ерундистика!

Помолчали.

— А на меня ты не обижайся,— сказал начальник.— Очень я погорячился вчерашний день. Потом разберемся.

— Так точно,— сказал Лапшин.

Половину дня он проработал спокойно, но потом начал волноваться так, как не волновался уже много лет. Когда-то, еще во время войны, он был тяжело контужен, не лечился, и теперь раз в три-четыре года его мучили припадки, наступление которых он точно распознавал и которых мучительно стыдился. При полной ясности сознания у него вдруг начинала неметь левая нога, в голове подымался треск, горело лицо и откуда-то изнутри шли потрясающие все тело короткие, сильные, болезненные спазмы.

Допрашивая знахаря Бочарова, он почувствовал приближение припадка, позвонил и, когда Бочарова увели, запер за ним дверь на ключ и лег на диванчик в нелепой, навсегда установленной позе, про которую он думал, будто она помогает. Секретарь отворил снаружи своим ключом дверь и, поняв в чем дело, поставил Лапшину воду, подтянул шнур с кнопкой для звонка поближе и, как было установлено, оставил его одного.

«Сорок восемь, сорок семь, сорок шесть, — считал Лапшин, чтобы успокоиться, — сорок три, сорок два...»

Его передернуло, он мысленно выругался и со злобой засопел носом. И вдруг, первый раз за всю свою жизнь, он с отчаянием, и с болью, и со страстью захотел, чтобы сейчас с ним здесь была женщина, которую он любил, чтобы она села рядом с его беспомощным, грузным, страдающим телом, чтобы она расстегнула ему ремень, сняла револьвер и расстегнула ворот гимнастерки, разула бы его, подставила под висящую ногу стул и сделала все то, что может сделать только любящая женщина и чего никогда никто ему не делал.

«Семнадцать, шестнадцать, пятнадцать, — считал он, — тринадцать, двенадцать...»

Его подкинуло, он стал сползать с диванчика, но уперся пальцами в пол, и опять улегся в нелепой позе, и опять стал считать от тысячи назад.

«Я, конечно, хуже его, — думал он, — я ничего не знаю, а он знает много и видел много, и вообще он человек замечательный, умный человек, честный, а я что? Я себе работаю и работаю... И, конечно, он опасно раненный, и вообще он известный журналист, и его жизнь в опасности, а моя вне опасности...»

Секретарь сунул голову в дверь и сказал, что доложит начальнику и позовет доктора.

— Стрелять буду, — сказал Лапшин, — как, как, как...

Дверь захлопнулась. Он встал, лег животом на стол и снял телефонную трубку.

«А моя вне опасности, — рассуждал он, стыдясь сознаться себе, что звонит в клинику не потому, что хочет узнать, как здоровье Ханина, а потому, что хочет услышать голос Адашовой. — Она скажет — и все, — думал он, — я же понимаю».

Телефонистка Лебедева, которую Лапшин узнал по голосу, спросила номер, но он не мог назвать, заикался, и она поняла, зная о Ханине, что ему нужна клиника. Он лежал животом на столе, сопел носом и слышал, как она вызывала сначала Бычкова, чтобы узнать клинику и номер палаты, потом коммутатор клиники, потом кого-нибудь из палаты. Подошла Наташа. Лебе-

дева ей сказала, что с ней будет говорить Лапшин, и выключилась.

— Ничего, все хорошо, — говорила Наташа. — Вы слушаете, Иван Михайлович?

— Да, — с силой сказал он.

— Были врачи, — думая, что он плохо слышит, громко говорила Наташа, — все идет хорошо, спокойно. Вы заедете?

— Да, — сказал он.

— Есть ему и пить нельзя и долго будет нельзя, — продолжала она. — Я на репетицию не поеду и все время тут буду, мне позволили...

Он тихопко повесил трубку и стал сползать со стола, чтобы лечь на диванчик, но, лишившись опоры, опустился прямо на пол, на паркет, дурно пахнущий мастикой, и опять принял ту нелепую позу, которая, по его мнению, ему помогала. В голове у него стоял треск, похожий на треск гранат, судороги сотрясали все его большое и сильное тело, он ловил ртом воздух, и в ярко-голубых глазах его было сосредоточенное выражение — он старался не потерять сознания и не застонать.

Через несколько минут отворилась дверь и вошел начальник. Увидев злобные глаза Лапшина, он сказал ему:

— Но, но, не дури!

И, усевшись возле него на корточки, стал делать то, чего никогда не делала Лапшину женщина: он снял с него сапоги, растегнул гимнастерку, ремень, портупею, погладил его по голове и подложил ему под затылок свернутый плащ. Постепенно в кабинет набивался народ, и Лапшин видел, как плачет Галя Бычкова и как ей что-то говорит, прогоняя ее, бледный Васька Окошкин.

Потом пришли врач и санитары, Лапшина уложили на носилки и унесли. В больнице он пролежал два дня, и за это время у него побывали все, кроме Наташи и Ханина. Из больницы он поехал прямо в клинику, сел в Наташино кресло и долго с удовольствием глядел на небритого, худого и веселого Ханина. И на Наташу он тоже глядел с удовольствием и угощал ее купленными по дороге слоеными пирожками.

Недели через две, поздней ночью, когда Лапшин, лежа в постели, читал описание Бородинского боя, вдруг явился Окошкин, оживленный, с бутылкой портвейна в кармане и с коробкой миндального печенья в руке.

— Зашел на огонек,— моргая от яркого света, сказал Васька,— старых друзей проведать. Как живете, Иван Михайлович?

— Явился, барин! — сказала из ниши Патрикеевна.— Без вас ничего жили, с вами хуже.

— А ты как? — спросил Лапшин, точно виделись они раз в год, а не каждый день.

Васька, раскачиваясь на стуле, сказал, что живет он чудно, но что есть неувязки.

— Не качайся,— сказал Лапшин,— в глазах рябит.

Ему было очень интересно, что за неувязки у Васьки, но он не спрашивал его и молча пил отвратительный портвейн.

— Чудная штука! — говорил Васька. — Верно, Иван Михайлович? Ароматная, легкая. Я слышал, будто английские лорды эту штуку тяпают по рюмочке после обеда. А у нас бутылка семь рублей, довольно дешево!

— Вряд ли тяпают,— сказал Лапшин,— уж тогда я на них удивился бы. Политура — и то лучше.

Они погрызли миндальное печенье. Васька снял наконец фуражку, побродил по комнате, повздыхал и спросил, что Ханин.

— Да прыгает,— сказал Лапшин. — Ты меня давеча утром уже об этом спрашивал...

— Влип парень! — сказал Васька. — Подумать только, в живот схватил ранение!

— Ну? — спросил Лапшин.

— Да я так просто,— сказал Васька. — Чего вы нукаете?

Лапшин улыбнулся, сунул за щеку два миндальных печенья и взял в руки описание Бородинского сражения. Васька еще покачался на стуле и пошел в гости к Ашкенази. Вернувшись, он сказал, что все в порядке, но что вредный старик спит и в рецепте ему отказал.

— В каком рецепте? — спросил Лапшин, не отрываясь от книги.

— Да нервы у меня,— сказал Васька. — Организм расшатался.

— Поди к черту! — басом сказал Лапшин. — Нервы у него...

Зачитавшись, Лапшин не заметил, что Васька разулся и лег на кровать Ханина. Он лежал, заложив руки под голову и задрал ноги в вишневых носках. Лицо у него было грустное, он глядел в потолок и вздыхал.

— Чего, Вася? — спросил Лапшин. — Худо, брат, тебе?

— Худо, Иван Михайлович,— виновато сказал Васька. — Верите ли, пропадаю!

— Ну уж и пропадаешь! — сказал Лапшин.

— Да заели,— крикнул Васька. — На котлеты меня рубят.

Быстро усевшись на кровати Ханина и вытянув вперед голову, он стал рассказывать, как жена и теща подсмеиваются над ним за то, что он помогает сестре, как его, Ваську Окошкина, заставляют по утрам есть овсяную кашу, и как они водили его в гости к тещиному брату — служителю культа, и как этот служитель культа ткнул Ваське в лицо руку, чтобы Васька поцеловал, и что из этого вышло.

— Чистое приспособленчество! — скорбно говорил Васька. — Таковую мимирию развели под цвет природы, диву даешься, Иван Михайлович. Ну не поверите, что делают! И вещи покупают, и все тянут, и все мучаются, и все кряхтят, и зачем, к чему — сами не знают. И едят как-нибудь, и мне в управление ни-ни! Булочку дадут с собой, а там, говорят, чаю. Чтоб я пропал!

— Ошибся в человеке? — спросил Лапшин.

— А хрен его знает! — сказал Васька. И он стал прыгать по комнате, натягивая на себя сапоги.

— Главное дело что, — говорил он, обувшись, — главное дело — это как они меня терзают. Ну все им не так! Вилку держу — не так, консервы доел — не так, на соседа поглядел — не так. И всем я плох. Вычитала теща, что уполномоченные бывают сами из жуликов, и ко мне с подходцем: «А вы сами не жулик бывший?» Сами вы, говорю, знаете кто?

— Кто? — спросил Лапшин.

— Ладно, — сказал Васька, — спите, Иван Михайлович! Говорить — только нервы портить.

Он доел печенье, допил портвейн, еще раз со скорбью оглядел комнату и уже из двери сказал:

— Поверите, гимнастерку на работе чернилом замазал — боюсь домой идти. Что с ребенком сделали, а?

— Они тебя вышколят, — из ниши сказала Патрикеевна, — шелковый будешь.

Васька махнул рукой и ушел.

Видеть Адашову Лапшину не хотелось, и потому у Ханина он бывал в те часы, когда в театре шли репетиции и когда встретить Наташу он не мог. Но во всем том, что окружало Ханина — в мелочах, в пустяках, — Лапшин чувствовал ее присутствие: то на тумбочке лежала книжка, о которой она в свое время говорила Лапшину, то в вазочке, знакомой ему, был налит домашний компот, то на изголовье кровати висел шарфик, принадлежавший ей... И самое ее имя Ханин вспоминал куда чаще, чем раньше, и совсем иначе, чем раньше, — с плохо скрываемым раздражением и с какой-то постной миной при этом. И раздражение, и

постное лицо были Лапшину оскорбительны. Он сопел носом, кричал и старался не глядеть на Ханина.

Ханин поправлялся, и обычно они сживали в парке клиники на старой дубовой скамье возле кирпичной стены. Носил Ханин табачного цвета, застиранный, с клеймом, халат и шлепанцы, а голову повязывал от солнца носовым платком с четырьмя узелками по углам. Безделье мучило его больше, чем рана, он говорил Лапшину дерзости, бранил врачей, кричал на санитарок, которые его обслуживали. Все ему не нравилось: кормили плохо, постель была неудобная, ординатор — дубина и самодовольный дурак, вчера в палате перегорела лампочка, и два часа не шел монтер...

— Вредный ты какой сделался! — сказал ему как-то Лапшин. — Жужжишь, ворчишь...

— Я не могу, когда на меня молятся! — крикнул Ханин. — Я от нее на луну уеду.

От того, что он сказал, ему стало стыдно. Он отвернулся, щелкнул тростью по скамье и добавил мягко:

— Улетит мой летчик без меня. Что тогда будет?

— Конец света будет, — сказал Лапшин.

В другой раз Ханин стал жаловаться на то, что ничто так не портит мужчину, как любовь женщины.

— Я тебя не понимаю, — сказал Лапшин.

— Нашего брата нельзя любить безрассудно, — говорил Ханин, — нельзя относиться ко мне так, будто я чудо из чудес. Живу я здесь долго, капризничаю, а она мне утверждает, что я самый лучший, прелестный, умный, талантливый. И что бы я ни сказал — все хорошо, умно, замечательно... Ты слушаешь?

— Да, — сказал Лапшин, — но мне пора ехать.

— Посиди! — сказал Ханин. — Одним словом, мне это немножко поднадоело.

— Не стоит об этом говорить, — сказал Лапшин, вставая со скамьи.

Ханин оперся на трость и тоже встал.

— погоди, погоди, — сказал он, — погоди, Иван Михайлович!

— Я эти твои разговоры отношу за счет болезни, — сказал Лапшин, — они на тебя не похожи.

Они медленно шли по узкой дорожке парка: Ханин впереди, Лапшин сзади.

— Ты попробуй прижимать рану ладонью, — говорил Лапшин. — Мне это когда-то очень помогало. Свободнее ходил.

— Привези мне марок почтовых, — сказал Ханин, — буду хоть письма писать, что ли. Ладно?

— Ладно, — сказал Лапшин. — Привет Наташе.

Он пожал руку Ханину, но Ханин не выпустил сразу его руки из своей.

— Что? — спросил Лапшин.

— Почему же ты мне сразу не сказал? — говорил он, качая своей птичьей головой. — Сказал бы сразу — и вся недолга. Я только сейчас понял.

— Будь здоров! — сказал Лапшин и выдернул руку. Лицо у него было спокойное, и глаза смотрели прямо. — Так, значит, марок?

— Марок-то марок, — сказал Ханин, — да не в них дело.

— Если бы ты не болел так долго, — сказал Лапшин с неудовольствием, — то язык бы у тебя был покороче. Иди, ложись!

Козырнув, он зашагал по дорожке, сдвинул пазад кобуру и исчез в калитке. В автомобиле он думал о том, что тяжело будет, когда Ханин опять переедет к нему, и что было бы отлично, если бы Ханин переехал из клиники не к нему, а к себе. Но от этих мыслей ему сделалось неловко, и он тут же твердо решил, что обязательно перевезет Ханина сам, и что Ханин обязательно будет жить у него, и что все остальное — вздор. Решив так, он почувствовал облегчение и повеселел, а потом стал думать про Ваську Окошкина и еще больше повеселел.

В управлении его вызвали к начальнику, и начальник предложил ему идти первого в отпуск.

— Да нет, не пойду, — сказал Лапшин. — Пускай уж мой Ханин поправится. Неловко как-то. Попозже пойду.

На лестнице он встретил Ваську Окошкина.

— Ну что, Вася? — спросил Лапшин. — Как поживаешь?

— Ничего, товарищ начальник! — вяло сказал Окошкин. — А вы как?

— И я ничего.

— Ну что ж, — сказал Окошкин, — надо бежать.

— Беги, Вася, — сказал Лапшин, — заходи в гости.

Через несколько дней Лапшин перевез к себе Ханина, и комната его, благодаря постоянному теперь присутствию Наташи, резко изменилась. Больше не пахло сапогами, буфет Наташа передвинула, люстру сняла и вместо нее повесила большой синий абажур. И в двух банках от варенья теперь постоянно стояли цветы. Патрикеевне все это не нравилось. Наташу она не уважала и, считая, что Ханин «закрутил», все свое внимание перенесла на Лапшина. Несколько дней подряд она варила его любимые свежие щи и покупала ему язык, которого Ханин не ел. Наташе она говорила «вы» и за глаза называла «эта» и «барыня».

А у Лапшина теперь совсем не было своего дома.

Сидеть с Наташей и Ханиным ему не хотелось, и он часто ночевал на диванчике в кабинете. Потом поехал в Карелию, потом в Мурманск, потом еще раз в Мурманск. Жил он там в «Арктике», в плохом номере, слушал патефон соседа и гулял белыми ночами по дощатым тротуарам и по скалистым переулкам странного северного города. С собой у него была книга об истории Парижской коммуны, он понемногу читал и с каждым часом чувствовал себя все свободнее и свободнее от того, что так мучило его раньше. Глядя белой ночью в окно на смутные очертания далеких рыжевато-серых гор, и на воду, и на застывшие в ней корабли, и на розовое, точно дымное, небо, он думал о том, как наступит осень и как он изменит свою жизнь, как начнет заниматься, как уплотнит дни и как два раза в пятидневку обязательно будет преподавать в своей бригаде. И его охватывало беспокойство, он вынимал блокнот и, потирая макушку ладонью, распределял часы, дни и месяцы, зачеркивал и вновь распределял, стараясь составить весь план так, чтобы он был и гибок, и точен, и выполним, и широк.

Засыпал он обычно поздно и спал спокойным и легким сном — как засыпал на спине, так и просыпался.

В конце июля Ханин уезжал в Москву, а оттуда на Дальний Восток. С полетом у него не вышло — он опоздал, летчик уже улетел.

Опять он ходил по вагону, как по своей комнате, и опять лицо его выражало оживление, так свойственное людям, уезжающим надолго. Он много говорил, смеялся, стучал палкой, и Лапшину приятно было думать, что сейчас Ханин опять начнет жить привычной для него и любимой им жизнью.

— Поедем со мной, — говорил Ханин, — а, Иван Михайлович? Поедем, милый! У меня много друзей по всему Союзу, везде нас накормят, и спать положат, и пирожков на дорогу испекут. Будем ехать, и ехать, и ехать, а? Я тебе рыбу покажу, океан покажу, леса покажу, озера. Со стариком одним познакомлю. Поедем! Вели ему, Наташка, чтобы он ехал!

— Да ну что! — сказала Наташа и отвернулась.

Лицо у нее было злое, и Лапшину на секунду показалось, будто Ханин нарочно так много говорит.

— Ты глупый или умный? — вдруг спросил Ханин.

— Я средний, — улыбнувшись, сказал Лапшин.

— Вероятно, ты умный, — сказал Ханин, — но я не понимаю твоего молчания. Когда ты молчишь, я не знаю, что о тебе думать. Иногда я думаю, что ты железный.

— Не знаю, почему железный? — сказал Лапшин.

Они пошли втроем по перрону в сторону паровоза.

— Ну? — спросил Ханин.

— Один адвокат, которого я допрашивал, — все еще улыбаясь, говорил Лапшин, — видный дядька, сказал моему начальнику, что я посредственность. Я тогда подумал: «Посредственность посредственностью, а ты, индивид, мне во всем сознался и сам подписал своей рукой, что, дескать, сознаюсь, я действительно хабарник, продажная шкура и предатель». А?

Он засмеялся, покрутил головой и добавил:

— Приятно мне, помню, сделалось.

— Какой паровоз здоровый! — сказал Ханин. — Надо бы как-нибудь на паровозах поездить. Верно, Наташа?

Она промолчала.

— Ну, пора! — сказал Ханин. — Пора в вагон лезть. Хватит, поговорили. Спасибо тебе, Иван Михайлович, и тебе, Наташа.

— Когда приедешь? — спросил Лапшин.

— Года через два.

— Ну ладно, — сказал Лапшин. — Будь здоров!

— И ты будь здоров, — сказал Ханин, закрывая один глаз. — И постарайся, чтобы тебя не убили. И за Наташей приглядывай.

Поезд двинулся. Ханин встал на подножку, и Лапшин прошел несколько шагов за вагоном. Но Наташа осталась, стояла у столба, и Лапшин, махнув Ханину рукой, вернулся к ней.

— Ну что? — спросил он, сочувственно глядя на нее. — Пойдем?

— Теперь я пропаду, — сказала она в автомобиле.

И, закрыв лицо ладонями, тихо заплакала.

— Я люблю его, — говорила она, — я так люблю его! Мне очень плохо, Иван Михайлович. Ведь он даже письма не напишет.

Лапшин молчал, жалея Наташу.

Перестав плакать, она разгрызла орех, вздохнула и сказала:

— Вот вы счастливый человек. У Ханина — Лика, у меня — Ханин, а у вас хоть бы что!

— Это верно, — сказал Лапшин.

— Вы будете ко мне приходить? — спросила она, когда он довез ее до дому.

— Зайду как-нибудь, спасибо, — сказал Лапшин и, захлопнув дверцу, козырнул.

Она пошла в ворота, а он поглядел ей вслед, натянув на руку перчатку, и стал разворачивать автомобиль. По дороге он купил боржому. Дома при свете лампы под новым абажуром Патрике-

евна вязала Лапшину шерстяные носки. Кровать, на которой когда-то спал Васька, а потом Ханин, была уже убрана.

— Купить бы нам диванчик,— сказала Патрикеевна.— Все как у людей было бы.

— Купим,— сказал Лапшин, садясь к приемнику,— разбогатеем — купим. Пока что у меня шестьсот рублей долгу поднабралось с болезнями с этими да с цветами...

— Провались ты! — сказала Патрикеевна и сделала вид, что плюнула.

— Сокращаться надо, сокращаться, — сказал Лапшин. — Всекие ветчины пока бросим.

— Ну вас! — сказала Патрикеевна и, швырнув вязанье, ушла к себе в нишу. Ей сделалось очень обидно, что у Лапшина мало денег и что на ее долю перепадать будут гроши.

Лапшин с опаской взглянул на вязанье, выключил радио и засвистал:

Ты красив сам собой,
Кари очи,
Я не сплю уж двенадцать ночей...

— Последнее просвистите! — сказала Патрикеевна из ниши.— Рассвистались!

Он замолчал и стал раздеваться. На чай никакой надежды не было.

18

Дождливым августовским вечером, когда Лапшин и Ашкенази играли в шахматы, пришел вдруг Васька Окошкин. Встряхнув макинтош, он развесил его на спинку стула, вытер душистым платком смуглое лицо и сказал, ни к кому не обращаясь:

— Остались от козлика рожки да ножки.

— Рожки да ножки,— басом повторил Лапшин.— Рокируюсь, доктор!

Ему очень хотелось узнать, что случилось с Васькой, но он не подал виду.

Васька вел себя беспокойно, скрипел стулом, потом стал рыться в буфете, и в комнате запахло валерьянкой.

— Рожки да ножки,— спел Лапшин, кончая игру и ссылая фигуры в коробку.

Ашкенази ушел.

— Ну, Вася,— сказал Лапшин,— угощу я тебя чаем с хлебом и с маслом.

— Иван Михайлович,— сказал Васька,— я тебя попрошу, пусти меня к себе пожить, сделай одолжение!

— А что?

— А то,— сказал Васька,— не могу я больше эти Вальпургиевы ночи переносить! Пьют из меня кровь две ведьмы. Ну сами поглядите, что от меня осталось...

— Довольно прилично выглядишь,— сказал Лапшин,— но это дело девятое.

— Правильно,— сказал Васька.

Он откусил огромный кусок хлеба с маслом и положил в стакан три куска сахара, потом, вопросительно взглянув на Лапшина, положил четвертый.

— Ничего,— сказал Лапшин,— можно.

— Чума их задави!— сказал Васька.— Зато маникюр мне делали по два рубля за штуку. Что я, на сахар себе не зарабатываю, а? Ну люблю сладкий чай, пу бейте, ну, эх!

Отодвинув от себя стакан, он сел на подоконник и стал глядеть на улицу.

— Ладно, Окошкин, чего так болезненно переживать!— сказал Лапшин.— Ну, наскочил на плохую женщину, подумаешь — делов! Иди, пей. Развелся ты или как?

— Убежал,— сказал Васька.— Они меня за селедками послали, на трешку селедочек купить. Я трешку в кулак — и ходу. Хрен вон им, а не селедки!

Отпивая большими глотками чай, он с жадностью откусывал хлеб с маслом и говорил, как его мучают, как ему не дают есть, как ему приказали вывести в тещиной комнате клопов, как он уропил вазочку и какой был потом скандал.

— Ладно,— сказал Лапшин,— надоело. Только уж живи либо тут, либо там...

— Конечно,— согласился Васька.

Пришла с собрания Патрикеевна и, узнав, что Васька опять здесь будет жить, неожиданно обрадовалась. Ей пришло в голову, что теперь-то Васька должен платить за стол и что ей, пожалуй, тоже перепадет.

— Так что койку принести?— спросила она.

— Пойдем принесем,— сказал Васька.

Когда расставляли койку, зазвонил телефон, и женский голос спросил у Лапшина, не здесь ли Окошкин.

— Здесь,— сказал Лапшин, передавая трубку Ваське.

Васька долго слушал молча, потом сказал:

— Не тарахтите, пожалуйста, как два мотоциклета.

Потом через несколько минут опять сказал:

— Прошу террор не наводить.

И наконец, когда Лапшин прочитал передовую в газете, Васька произнес:

— Никаких претензий я к вам не имею, но с вами развожусь. Да! Хватит, подоили! Да! Так моей бывшей жене и передайте. Да! С приветом! Окошкин.

Повесив трубку, Васька сел на кровать к Лапшину, длинно и с облегчением вздохнул и сказал:

— Все в порядочке.

— Почитай лучше книжку,— сказал Лапшин.— Какой-то ты действительно нервный стал...

Они почитали еще с полчаса, потом Лапшин спросил, можно ли гасить свет. Но Васька уже не ответил — спал. На нем была новая нижняя рубашка, белая с розовым, и Лапшину сделалось смешно и немного жаль Ваську.

1937

ЖМАКИН

1

Партия была небольшая — восемь человек. Шли молча и быстро, чтобы не замерзнуть. Дыхание из пара на глазах превращалось в изморозь. Мороз был с пылью — пыльный мороз — любой бродяга тут начинает охатъ. И деревень не попадалось — только кочки, покрытые голубым снегом, да мелкие сосенки до пояса, не выше.

Захотелось есть. Жмакин вытащил из кармана хлеб, но хлеб замерз — сделался каменным. С тоской и злобой Жмакин закинул хлеб подальше в снег. Под ногами все скрипело. День кончился. Ничего не было слышно, кроме мертвого скрипа, — ни собачьего бреха, ни голосов. К вечеру краски сделались фиолетовыми, — пыль сомкнулась в сплошной туман. Лица у всех были замотаны до глаз — у кого портянкой, у кого платком.

К ночи вошли в городок. В морозном тумане едва мерцали желтые огни. Пахло дымом, навозом, свежим хлебом. В большой комнате Жмакин разулся и заплакал. Весь мир был проклят, все надо было поджечь и уничтожить, всю эту вонючую рвань, и все города, и села, и хутора.

Люди спали на полу, вповалку. В углу на месте бывшей иконы светил фонарь летучая мышь. пышная, чистая изморозь пробивалась в щели меж бревнами и как бы дышала холодом, морозной, звенящей пылью. Люди спали тяжело — со стонами, с руганью, с назойливым бредом. Под фонарем сидел рыжий старик и чинил ботинок. Жмакин глядел на него, пока не уснул. Во сне не мог согреться и думал: «Уйду». Казалось, что уже ушел. Просыпался, но было то же — комната, изморозь, фонарь, старик. А во сне опять шел по длинной дороге и видел на горизонте две горы — ровные, одинаковые, невыразимо печальные.

Утром он стоял в очереди, но потом надоело, обошел очередь и положил руки на стол перед военным. Военный поднял глаза — всматривался долго, почти изумленно сказал:

— Никак, Жмакин?

— Он самый,— сказал Жмакин.

Военный разглядывал Жмакина в упор. Такие гуси редко сюда залетали. Очередь волновалась. Но постепенно стихли — в поведении Жмакина чувствовали обещание зрелища, да и все равно — куда было торопиться в этой забытой стороне?

— Будешь работать?— спросил начальник.

Жмакин смотрел на него, прищурившись зелеными глазами, с непонятным выражением участия.

— Может, буду,— сказал он наконец.

— Ты что умеешь?

— Могу портсигар принять или часы за десять секунд,— сказал Жмакин.— Не потребуется?

Выражение брезгливого участия по-прежнему было в его глазах. Лицо начальника напряглось. Очередь была готова засмеяться в любую секунду, но еще не смеялась.

— Могу работать на несгораемых шкафах,— продолжал Жмакин со скукой в голосе.

Эту скуку начальник знал очень хорошо: так держаться на допросах — высший шик в блатном мире.

— А еще что?

— Многого могу,— сказал Жмакин. У него пропало желание смешить очередь. «Обормоты, — вдруг с презрением подумал он, — паразиты».

Начальник молчал. Теперь дело было за ним — сейчас он мог уничтожить Жмакина, но ему не хотелось. Да и незачем было. Зеленые глаза Жмакина выражали мертвую скуку.

— Болен?

— Нет,— сказал Жмакин,— здоровее вас.

— В лес пойдешь?

— Это зачем?

— На лесозаготовки.

— В лес я не пойду,— сказал Жмакин, — пусть медведь в лес идет.

— Так. Ну, а на молочную ферму?

— Я коров боюсь.

Очередь засмеялась. Жмакин в бешенстве повернулся. Он в самом деле с детства боялся коров.

— Чего ржете?— крикнул он.— Вы, рвань!

Лицо его дрожало. Теперь было понятно, почему блат окрестил Жмакина двойной кличкой: Каин Псих. Глаза его сузились, одно плечо выдалось вперед. Очередь шарахнулась кто куда. Начальник следил с любопытством.

— Пошел вон,— сказал он наконец Жмакину.

Жмакин вышел без шапки, скрипя зубами. Его трясло. Поостыв, он зашел в кооператив и, сунув руку в коробку от печенья, что стояла на прилавке, вытащил пригоршню хлебных ордерочков. Местный поп купил ордера здесь же возле кооператива. Тогда Жмакин, плюнув на воровской закон — второй раз не ходить, опять вошел в лавку и опять взял ордеров, да притом он их посчитал. Двадцать один пуд хлеба. Он дрожал мелкой веселой дрожью. Он любил эту дрожь — это была рабочая дрожь. В чужих квартирах, в магазинах ночью она была с ним, она помогала ему, — он весь вытягивался, как струна, его слух обострялся необыкновенно, зрение делалось точным. Если дрожь эта возвратилась — значит, все в порядке, значит, можно еще жить.

Ночью он продал талоны хозяину избы за тридцать рублей. Хозяин сказал ему, как надо идти, чтобы миновать кордоны. Видно было, что он провожал не первого. Когда все заснули, Жмакин взял у соседа ватник и у рыжего старика валенки, потом какую-то рыбу. Больше не было блатных законов, он преступил последний — взял у своего. За это полагается убивать. Сердце его стучало, ладони были мокры от пота. На улице он переобулся — замотал ноги газетами, — теплее. Все было в порядке — ни луны, ни часовых. Впереди лежало более трехсот километров волчьего пути. Он готов был принять смерть.

— Рвань, — сказал он, вспомнив шпану, с которой ехал, шел и жил.

За околицей он пошел ровнее, спокойнее. Было время подумать. Он уже поостыл, злоба пропала, ровный путь лежал впереди. Вот и старая кузня. Здесь хозяин велел сворачивать. Жмакин ступил в снег. У кузни он остановился, оттянул дверь и понюхал. Изнутри тянуло морозом и едва уловимым запахом ржавого железа и жирного угля. Кусок доски отскочил. Тоненький, как посошок. Он взял его с собой и пошел, переваливаясь, pokruchивая посошком, позевывая.

2

На одиннадцатые сутки пути начались галлюцинации. Четыре раза он слышал волчий вой, на пятый вой не было, а слышался. Жмакин заткнул уши под шапкой ватой, надерганной из пиджака. Но вой все слышался. Тогда Жмакин покорился. «А хотя бы и так, — думал он себе в утешение, — хоть бы и не на самом деле. Еще лучше. Настоящий повоет, повоет, а потом придет и съест. А этот только воет. Пусть».

Но как-то на снегу, озаренном бледной лунной радугой, возникла волчья стая. Жмакин посчитал — волков было пять. Он повернул влево — и волки пошли влево. Он повернул направо к холму — и волки повернули к холму. Он побежал, задыхаясь и обжигая легкие тридцатиградусным морозом. Он бежал, пока совершенно не изнемог. Обессиленный, он обернулся. Волков не было. Он посмотрел вперед. Они стояли на точно таком же расстоянии, что и раньше. Жмакин протер глаза — волки исчезли. Потом опять появились. Потом вновь исчезли.

Утром он увидел хутор. Хутора на самом деле не было. Потом ему стало казаться, что он в Ленинграде. Или во Владивостоке. Он лежал на снегу, ему делалось все теплее и теплее, как в бане. Но он поднимался и шел дальше. Все эти хитрости он уже разгадал и ко всему относился подозрительно.

Подозрительно он отнесся и к настоящим волкам. Они бежали, как собаки, только головы держали иначе. Он не обращал на них внимания. Они были его вымыслом, он привык уже к таким вещам, но подозрительность спасла его. Нет-нет да и поглядывал он на них. Они шли с каждой минутой все ближе. Тогда внезапно он понял, что это — волки, а не вымысел и что надо драться. Он понял, что от них не убежать. И посчитал: раз, два, три. Посчитал еще раз: три. И еще. Они были совсем близко. Он стоял на самой опушке леса. Страх пропал, он оперся спиной на сосну как можно крепче и вынул финский нож. Волки были совсем близко. Бока их запали, жалко и нелепо выглядели их голодные, осатаевшие морды. Самый матерый зверь шел впереди. Жмакину казалось, что они должны остановиться «перед этим», но они не остановились. Матерый вдруг сразу прыгнул, так что полетел снег. Жмакин защитил лицо левой рукой, а правой — ножом ударил и почувствовал, что попал. Шкура пропоролась, и волк взвизгнул. Жмакин ударил еще раз и бил, не останавливаясь, в морды, в бока, в животы, в лапы. Один из волков повис на его плече, рвал зубами кожу, ватник и не мог добраться до тела — свалился. Жмакин поддал его ногой, как поддают злого пса. Но тот — матерый, раненый, уже хрипящий — вновь кинулся к горлу, и Жмакин опять ударил его ножом и, не видя, почувствовал, что теперь остались только два, что матерый кончен. Он все бил и бил ножом — руки его были разодраны зубами и лицо было в крови, но он не слабел, наоборот, ему казалось, что весь он сделан теперь тяжелым, как из железа, и что каждый его удар убивает. Но он убил только одного волка, а двух искалечил, и они ушли. Да и первый, матерый, еще не был убит — он вился и грыз снег, вывернув шею. Крови было очень мало, он все взрывал лапами, и спиной, и боками снег и хрипел, как хрипят неумело заколотые свиньи.

Жмакин стоял у своей сосны и смотрел на зверя молча, не двигаясь. Кровь заливала ему глаза и замерзала на лице — он нащел в кармане тряпку и отер лицо. На лбу кожа свешивалась клочьями; еще не чувствуя боли, он сложил пальцем лоскутья и надрывнул шапку пониже, чтобы закрыть рану и чтобы кровь не мерзла. Потом, трудно передвигая искусанные волками ноги, он подошел к издыхающему зверю и сел на взрыхленный борьбою снег. Волк все еще бился и хрипел. Тогда Жмакин, перевалившись на бок — лень и усталость не позволили ему встать, — замахнулся и ударил зверя ножом в напряженную, хрипящую глотку. Мгновенная судорога свела тело волка. Он вытянулся и закусил длинный багровый еще язык.

Жмакин встал и короткими шагами пошел в лес. Там его вырвало. Он утер наворачнувшиеся слезы и заплакал во второй раз за свою взрослую жизнь.

3

А тайга все тянулась. Особенно страшны были тихие, бессолнечные, мглистые дни с падающим снежком, с сорокаградусным морозом, с охающими, стонущими, щелкающими деревьями. Все вымерзло. Все погибло. Только один Жмакин шел — несмелой походкой, — отсчитывал шаги: еще десять или еще двадцать. Пройдя, добавлял — пять или семь. Так казалось легче. Думать он уже не мог: обо всем передумал, да и боялся — мысли какие-то появлялись подплясывающие, сумасшедшие. «Психую», — решил он и вновь отсчитывал шаги или деревья или просто считал через один: семь, девять, одиннадцать, тринадцать и — торопливо — четырнадцать, потому что тринадцать — плохая цифра, на ней можно упасть и замерзнуть или помешаться, запсиховать до конца.

Путь был бесконечен. Иногда ему казалось, что он прошел тридцать верст — оказывалось, семь. Остальное кружил. И все оставалось двести километров, они не уменьшались.

Ноги, руки и лицо распухли, кожа лопалась, он стал безобразным, похожим на утопленника. Его больше не пускали в избы. Он почевал в холодных банях, пахнущих сырыми головнями и мыльной плесенью. Дети шарахались от него, собаки рвали ошейники и хрипели, роняя с морд пену. Попадая в тепло, он мучился больше, чем на морозе. Его жгло от тепла, он выл и стонал — казалось, что трещат кости. Ни до этого, ни после он не думал, что могут быть на свете такие мучения. Но призрак шумного, огромного города, грохочущего и веселого, в оранжевых зимних закатах, в голубых искрах трамвайных разрядов,

в сияющих электричеством витринах, призрак всего этого великолепия — и сфинксов на гранитной набережной, и музыки в пивных, — призрак все время, непрерывно, ежесекундно был перед ним, требовал его, и он только покорялся и день за днем, неделю за неделей шел на юг.

Иногда он спал в лесу. Для этого он нарезал ножом сосновых ветвей — очень много — и устраивал из них большое птичье гнездо, потом выкапывал в снегу яму, укладывал туда это гнездо, закрывал крышей из сосновых ветвей, заваливал всю берлогу снегом и тогда ложился, предварительно разувшись. От его дыхания сосновая смола начинала издавать легкий, прозрачный, словно летний запах. Но мороз пробирался под одежду, и это был не сон, а забытие вроде того, что испытывает пьяный. Все было тревожно вокруг. Мог прийти зверь и взять его сверху — навалиться и порвать опухшее горло. И ему было бы уже не справиться — так он ослабел. Даже финку он не мог теперь как следует сжать рукою — вздутые отмороженные пальцы никуда не годились. Он забывался, потом, вздрогнув, открывал глаза. Все было тихо — на много верст вокруг, все лежало под снегом, все замерло, застыло, спряталось. Внезапно он пугался своего одиночества, начинал часто дышать, сердце его колотилось. На четвереньках, разутый, он выползал из своей берлоги и оглядывался вокруг. Трепетали и взвивались на черном небе бесконечные молнии, стрелы и радуги северного сияния. Нестерпимо сверкал снег. От деревьев падали огромные, крутые тени. И ничего решительно не было слышно. Он не дышал десять секунд, двадцать. Нюхал. Прислушивался. Он уже казался себе зверем — больным, умирающим. Иногда он думал: «Пора умереть, пора». Но непреодолимая сила несла его на юг, к станции железной дороги, к городу, огромному, гудящему веселым, всегда праздничным шумом.

Однажды, уже незадолго до конца пути, его пустил обогреться и переночевать высокий костистый мужик с умным и чистым лицом. Жена мужика дала ему ветошки, мыла и золы из подпечка, чтобы он вымылся в бане. Он был очень счастлив. Потрескавшаяся, кровоточащая кожа болела нестерпимо, но он мылся, и парился, и охал тем банным, настоящим голосом — с дурнотою и всхлипами, которым охают все искренние любители русской бани. После бани старуха бабка дала ему миску наваристых рыбных щей. Он сидел за чистым, выскребенным столом, сам чистый, и ел, скрывая свое счастье и показывая на лице суровость и утомление баней. Потом уже со всей семьей он пил чай и постепенно что-то рассказывал — врал и не глядел на хозяев, потому что врать ему не хотелось.

Утром, распрощавшись и поблагодарив и дав детям последние три рубля на конфеты, он вышел из избы и сразу же столкнулся с милиционером. Милиционер был молодой и посинел, дожидаясь его здесь на морозном ветру. Он поднял винтовку, но Жмакин ударил рукой по стволу, сшиб милиционера с ног и под чей-то длинный, захлебывающийся вопль кинулся в хлев, там взял нож в зубы, разворошил соломенную крышу, выбросился наверх, прыгнул в мягкий сугроб и побежал круглыми резкими зигзагами к близкому спасительному лесу. Сзади щелкнул выстрел, но тут не было слышно. Жмакин побежал еще быстрее, бросаясь из стороны в сторону, совсем как заяц. Теперь уже пули стали слышны — они визжали совсем близко. Но и лес тоже был близок. Он бежал еще и по лесу не меньше, чем километр, и упал, только совсем обессилив. Падая, он зацепил рукояткой финского ножа о пень и сильно порезал себе рот. Но это все ничего. Лежа, он засмеялся. Милиционер был дурак — разве так можно взять настоящего вора? Он опять засмеялся: и такой сипий. Сколько времени он простоял в своей дурацкой засаде возле крыльца — может быть, всю ночь?

Жмакин лизнул снегу. До станции было уже близко — день пути.

Опять призрак города встал перед ним. Он зажмурился и еще лизнул снегу. Порезанную губу стало жечь — кровь все еще лилась.

4

Он подошел к поселку со стороны станции — железнодорожных путей. Было утро — рассвет мутный, морозный, и красные товарные вагоны были в гроздьях инея — изморози, пакгауз был в огромной снеговой шапке, и станция была под снегом, и сами рельсы, которые столько раз представлялись ему в эти мучительные дни. Но это были рельсы, и пакгауз, и станция с колоколом, и столбы, и провода — все это было настоящее, железнодорожное, и теперь все это — тайга, ночи в берлогах, волки — все это решительно кончилось, совершенно кончилось.

Он устал до изнеможения и был очень голоден. На станции был буфет, но ему там ничего не удалось украсть, и он пошел в город, едва передвигая разбухшие, саднящие ноги. В Дом крестьянина его пустили: он зарос бородой, и на нем был кожух. Могли подумать, что он крестьянин.

— Документы у брата, — сказал он, — а брат в райисполкоме.

Ему дали койку с бельем, пахнущим карболкой, и с одеялом и подушкой. Ему было странно ко всему этому прикасаться. На тумбе возле койки лежала подсохшая корка ржаного хлеба. Он сжевал ее кровоточащими деснами. Вымылся в бане, выстирал там свое белье, выжал почти досуха и повесил на горячую трубу досушиваться. Белье досушивалось, а он дремал, сидя в предбаннике и положив ладони на острые колени. Влажное тепло волнами ходило возле него. Раны, и кости, и ссадины — все болело и ныло, но ему было сладко и легко, и город был в его воображении совсем близко — рядом. Протяни руку — и будет город, и он был в городе хозяином — ходил свободно и всюду, и вовсе не оглядывался, и не боялся, и жил не на малине, а в настоящей квартире, и начальник седьмого отделения Иван Михайлович Лапшин, повстречавшись с ним на улице, вежливо и спокойно козырнул ему рукою в черной кожаной перчатке.

Ночью в Доме крестьянина он вышел из компаты как бы по нужде — без брюк и без пиджака, но в уборную не зашел, а снял отмычкой замок с кладовой, куда приезжие сдавали вещи, навесил замок, как бы он был невзломанный, затворил за собой дверь и, ощущая рабочую дрожь и точность в движениях, выбрал из сундучков и баулов три чемодана побогаче, взломал их и стал надевать на себя костюмы — один за другим четыре костюма. Тут были и паспорта, и удостоверения каких-то геологов, и деньги — это было удачей, но он нисколько не думал об удаче — об этом не следовало думать, он лишь точно и беззвучно работал и не торопился — хороший вор не должен ни радоваться, ни огорчаться, ни спешить. Не спеша он вышел из кладовой и совсем закрыл замок, потом привернул фитиль в лампе, что горела в коридоре, и свернул в кухню. Жирная стряпуха спала на лавке, одеяло с нее свалилось. Была поздняя ночь — ходики показывали два, третий. Стряпуха вдруг села на лавке. Лицо ее было смято, она что-то почмокала, прежде чем спросить:

— Уезжаете?

— Нет, — сказал он, — не уезжаю. Дешешу надо отправить, иду на станцию.

Улыбочка была на его лице.

Стряпуха сняла засов. Он рванул — дверь примерзла. Рванул еще, и пурга ударила в разгоряченное лицо. Какая-то собака бросилась ему под ноги, вокруг все шуршало, и было еще слышно сухое похрустывание. Собака ластилась к нему и прыгала, повизгивая. Он не торопясь пошел по дороге в ботинках и калошах, разыскивая глазами хоть одно светлое окно. Пурга выла в прово-

дах, и чем дальше он шел, тем легче и свободнее ему становилось на сердце. Потихонечку он запел:

Пусть же кони с распущенной гривой...

Никакого страха в нем не было и никакой осторожности. В вагоне он говорил девушке, лежавшей против него на полке:

— Никогда чемоданов не вожу, все на себе. Четыре костюма надел — видите, как капуста...

Девушка смеялась, и пассажиры добродушно посмеивались. В вагоне было уютно и жарко, играли в шашки, в домино, пили чай. Окна совсем замерзли, и целый день был в вагоне теплый полумрак, — тайга не лезла сюда и никому не мешала. Моряк с длинным белым лицом часто заводил патефон, и все слушали «Румбу», «Парадиз», «Лимончики». И Жмакину почему-то хотелось врать про себя. Все много рассказывали и интересно рассказывали — и толстый агроном, и моряк — владелец патефона, и маленький старик в золотых очках, и даже его жена-старушка, и та рассказывала.

Жмакину было обидно.

Он мог рассказать такое, что все бы они раскрыли рты, но это рассказывать было нельзя, и он молчал, иронически поддакивая и поглядывая своими зелеными острыми глазами. И чем больше он слушал, тем сильнее хотелось ему говорить о себе, о том, что он видел и пережил за свою двадцатидвухлетнюю жизнь. Хотелось сказать им, что все они щенки, и старик в золотых очках — тоже щенок, и что они, в сущности, при нем не имеют даже права рассказывать. Ему было просто противно слушать, как толстый агроном, потягивая чай из кружки, рассказывал, что однажды на охоте заблудился и двое суток ел какие-то ягоды и корешки, и было обидно, что девушка слушает, и моряк слушает, и старушка сочувственно охает. Потом врач из соседнего отделения зашел к ним — сел на край лавки и курил, и все слушали, как он выезжал на роды и что из этого вышло. Он говорил приятным низким голосом и поглядывал на всех с выражением превосходства (так казалось Жмакину), и все восхищались мужеством врача и выражали удивление, что до сих пор живут такие дикари, как в рассказе доктора.

Наконец все устали и уснули. Была ночь, паровоз ревел где-то очень далеко в морозной мгле, и вагон раскачивался. А Жмакин не спал и думал. Он казался себе лучше, чем все они. Теперь те недели в тайге казались ему замечательными, и сам он рисовался себе героем — точно он и не плакал тогда и не шептал полузабытые детские молитвы, точно он и не превращался в животное, а всегда был смелым, сильным, решительным, с ножом

в руке, с песней... И мир представлялся ему очень несправедливым: они — и доктор, и агроном, и старик в очках — могли хвастаться и рассказывать, а он, переживший куда больше, ничего не мог рассказать, не мог никого удивить, поразить. Своим, блату, рассказывать было неинтересно, там не удивлялись и не верили, потому что и про волков, и про все решительно рассказывали кому только не лень, ложь была в почете: умение врать ценилось и в тюрьме, и на воле, и на этапе — везде. Но ведь волки, и страшные эти недели, и галлюцинации — все это было в действительности, так почему же он не мог рассказать это здесь, в вагоне, и старику, и агроному, и девушке — он уже знал, что ее зовут Катя Малышева; она спала тихо, едва дыша, и лицо ее было спокойно и розово во сне — он долго на нее смотрел. «Расскажу, — решил он, — будь что будет!»

Но ему все не спалось, он слез со своей полки и пошел по проходу. Поезд притормаживал. Проводник побежал в тамбур с фонарем. Жмакин вошел в уборную и пригладил волосы перед зеркалом. Весь лоб был в шрамах, еще свежих, кожа плохо срасталась, он слишком долго голодал. «Жмакин», — сказал он перед зеркалом и насупился, чтобы видеть себя серьезным. Потом он оскалился, изображая, как артист, какое-то грозное-грозное чувство, и сделал движение вперед, к самому зеркалу, но зеркало тотчас же запотело, и он ничего не увидел. Поезд остановился, проводник постучал в дверь:

— Гражданин! На остановке...

— Я не пользуюсь, — сказал Жмакин, — я причесываюсь.

И, точно проводник мог видеть, он причесался украденным вместе с одним из костюмов гребешком.

Потом он долго разглядывал себя — свое лицо с бородкой, узкие злые брови, решительные и острые глаза. Что-то понравилось ему, он сказал «ах ты, Каин» и вышел из уборной. Поезд все еще стоял, в тамбуре носились белые свежие снежинки. Проводник сердито кашлял.

— Все задувает, — сказал Жмакин, — вот погодка.

Ему хотелось поговорить.

— Задувает, — сказал проводник, — в пятом вагоне чемодан задули у пассажира.

В тамбур влез летчик, открыл ногой дверь и, грохоча чемоданом, пошел по вагону. Жмакин из своего отделения видел, как он, стоя в проходе, снимал кожаное пальто на меху и перепоясывался. Он что-то тихонько насвистывал одними губами. Выражение его лица было праздничное, немного даже глуповатое.

— У кого это чемодан сперли? — спросил он издали, заметив, что Жмакин смотрит на него. — Не слышали?

— Не слышал.

Хлопнула дверь из тамбура. По вагону шли стрелок железнодорожной охраны и штатский в высоких сапогах и в шубе нараспашку. Лицо у штатского выражало раздражение. «Сейчас возьмут», — решил Жмакин и полез в карман за папиросой. Страх не было, даже сердце не забилося чаще. «Возьмут, доведут еще пять лет — будет десять», — думал он, закуривая и не пропуская ни одного движения штатского. Штатский остановился возле него. Стрелок стоял немного сзади, от него несло холодом, снегом.

— Через ваш вагон никто не проходил? — спросил штатский. — С желтым чемоданом?

Жмакин молчал.

— Нет, — сказал он наконец, — не упомяну.

Он еще не верил своему счастью. Ему хотелось сделать приятное штатскому.

— Один тут проходил, — будто вспомнив, сказал он, — но не сюда, а отсюда.

Штатский пошел дальше. Жмакин показал ему вслед кукиш. И тотчас же он обессилел и полез наверх спать.

5

Вечером на следующий день он рассказывал о своем побеге. Но побега не было. Были какие-то медикаменты, которые нужно было доставить, — такое вранье, что он сам запутался. В вагоне было нестерпимо жарко; все пассажиры уже перезнакомились, и летчик успел стать своим человеком. Он слушал, положив локти на обе полки, и лицо его выражало сочувствие, немножко даже жалостливое. Слушая, он волновался, расстегнул ворот гимнастерки и иногда говорил «во-от», или «хорошее дело», или «шут тебя дери», или что-нибудь еще в этом роде. Катя Малышева тоже слушала, уперев подбородок в ладони и свесившись с полки, глаза ее ровно и настойчиво светились, потный нос блестел. Слушал и толстый агроном, и старик в золотых очках, и его старушка, и врач из соседнего отделения, и было ясно, что все они сочувствуют Жмакину, а главное — верят ему с начала до конца. Да и почему им было не верить ему? Он говорил настойчиво, с той страстной нервностью жестов и интонации, за которую блат окрестил его Психом, с многочисленными смешными и страшными подробностями, говорил, то посмеиваясь сам, то пугаясь уже пережитого, ввертывая ловкие, «тонные» круглые слова, — ему просто нельзя было не верить.

— Ну и что же — передал? — спросил моряк, когда Жмакин кончил рассказывать.

— Что?

— Да ну то, что несли...

— Это? Да, передал, — сказал Жмакин, вдруг щурясь, — как же не передать!

Летчик покрутил головой и сел. Он был просто потрясен.

— Да-а-а, — протянул он, — бывает, бывает.

Все вдруг заговорили негромко, оживленно, но никто уже не вспоминал — после такого повествования невозможно было рассказать какую-либо историйку охотничью, докторскую. Все были подавлены величиим того, что совершил этот остроглазый парнишка, и Жмакин слышал осторожный и назидательный шепоток доктора:

— Вот ищем мы героев, фотографируем, читаем... А рядом с нами едет доподлинная героическая натура, и никто о нем никогда ничего не узнает... А? Это жаль, жаль...

Потом зашипел что-то старик в золотых очках, и агроном громко сказал:

— А не выпить ли нам всем по маленькой в знак взаимного уважения и начавшегося знакомства? Давайте, товарищи, слезайте сверху, объединимся и выпьем.

На маленьком столике уже была постлана салфетка и стояла пехитрая вагонная посуда: эмалированные кружки, граеный зеленого стекла стакан, серебряная червленая чарочка. Моряк открывал консервы, старуха разрезала свою курицу, что-то нежно ей приговаривая, доктор, прищурив один глаз, заглядывал в жестяную фляжку. — старался, видимо, определить, много ли там водки.

Жмакин не торопясь слез со своей полки и пошел в вагон-ресторан. Он понимал, что выпивку эту затеяли спутники в его, Жмакина, честь, и странное чувство и неловкости, и гордости, и радости, и благодарности волновало его. Что-то было не так во всем этом; он знал, что солгал им в главном — в цели своего путешествия через тайгу, но ни в чем ином он не солгал — ни в выносливости, ни в мужестве, ни в настойчивости, ни в муках, которые он перенес, ни в риске, которому он подвергался. Э, да что! Если б знали они, что он не мог даже выйти на дорогу, что в него, кроме всего прочего, стреляли, тогда бы они поняли, что значит настоящий человек.

Состав било и валяло из стороны в сторону. В тамбурах вился снег. На все деньги, какие у него были, он купил водки и закусок и пошел к себе в вагон. Катя Малышева уже сидела внизу и обгладывала куриную лапку. У нее было злое лицо, и она всем

грубил. Жмакин пил и молчал. Летчик все с ним чокался и уговаривал идти в авиацию.

— Я и так авиатор, — сказал Жмакин с вызовом и понял, что пить ему не следует. — Все мы авиаторы, — добавил он испуганно, — летаем с места на место.

Агроном оказался из тех, которые, выпив две рюмки водки, начинают петь, и не потому, что им хочется, а потому, что они считают, будто так обязательно нужно. Он похлопал доктора по колену и запел:

Сильва, ты меня не любишь,
Сильва, ты...

— Давайте лучше патефон заведем, — предложил моряк, и все опять слушали «Румбу», а доктор дирижировал пальцем и вдруг сказал:

— Воображаю, как это негры разделявают где-нибудь в тропиках, а?

И, помолчав, добавил:

— Прелестная вещь юг.

Выпивка явно не удавалась. Все говорили: «Эх, люблю выпить!» и никто толком не пил, предлагали петь и не пели, нарочно смеялись, но смешно не было. Жмакин сидел насупившись, глотал рюмку за рюмкой и с каждой минутой раздражался все больше.

Ему казалось, что его арестуют именно сейчас. Подойдет штатский в высоких сапогах и выведет его на какой-нибудь полустапчечек. И все эти будут сидеть по-прежнему в вагоне, а доктор скажет:

— Да-с...

И значительно покачивает дурацкой своей головой. А поезд будет гудеть и грохотать, и с каждой минутой этого гула и грохота все ближе и ближе будет огромный прекрасный город.

Он выпил еще рюмку и съел кусок рыбы. Катя Малышева смотрела на него в упор, не отрываясь. Он глупо ей подмигнул и вдруг почувствовал желание сказать, что он беглый вор по прозвищам Каин и Псих, что у него семнадцать приводов и одиннадцать судимостей и что ему плевать и на доктора, и на летчика, и на старика с его очками, и на Катю, что он сам по себе и они сами по себе. Но он ничего этого не сказал, а только обвел всех злыми, светлыми глазами и как-то очень неожиданно, неприятным, металлическим тенором запел:

Мы повстречались с тобой
На вечеринке...
В кино и шел тогда...

Что-то шальное появилось в его лице, тонкие брови поднялись, голову он слегка откинул, и выражение глаз ежесекундно менялось — от злого к грустному, от грустного к бесшабашному, и наконец все это замерло и лицо сделалось наглым, вызывающим и в то же время мертвым — все шрамы выступили, рот чуть скопился, кровь отлила от загрубелой кожи, и только один какой-то мускул играл возле виска, мелко бился, подрагивал, дергался.

— Что же вы не подпеваете? — перестав петъ и слегка задыхаясь, сказал Жмакин. — Песня хорошая...

Но сам больше петъ не стал, выпил рюмку водки, закусил и, словно бы обдав всех наглым своим, но уже и равнодушным взглядом, полез на полку, укрылся с головой пиджаком и сразу же заснул или прикинулся спящим.

Агроном проглотил еще рюмку, квакнул, поперхнувшись, ткнул пальцем наверх в спящего Жмакина и, покрутив головой, пошел в ресторан — выпить как следует. Он был человеком простым, открытым и веселым и не любил непонятное. Доктор махнул рукой, притопнул каблуком и, сделав озорное лицо, побежал трусцой вслед за агрономом. Остальные легли спать. Не спала только Катя Малышева. Возле тамбура было свободное заиндевевое большое окно. Она подошла к нему, уперлась в него лбом, закрылась ладонями от вагонного света и долго смотрела в беловатую, искристую, снежную мглу...

Потом к ней подошел Жмакин. Лицо его казалось темным, только в глазах поблескивало. Она взглянула на него и опять отвернулась. Он видел ее гибкую шею в растянутом вороте заштопанного свитера и нежное ухо, выглядывающее из-под ситцевого платка, видел ее смуглые руки, которыми она закрывалась от света, и думал о том, что мог бы ей порассказать еще про себя и сломать то небольшое сопротивление, на которое ее сейчас хватит. Но рассказывать свое, да не про себя ему почему-то не хотелось, и он молчал, продолжая неприязненно смотреть на Катю. Потом спросил:

— Вы ленинградская?

— Да, — сказала она, поворачиваясь от окна. Ее нос смешно побелел — она все время прижималась им к стеклу.

— Учитесь там?

— Учусь, — сказала она, поправляя обеими руками платок.

Он поглядел на ее локти, и ему очень захотелось вытолкнуть ее из вагона и остаться с нею где-нибудь в пурге. А потом отдать ей все пиджаки и замерзнуть, чтобы она видела, какой он.

Но он только спросил, где она учится, и так как спрашивать было уже нечего — закурил папиросу.

— Послушайте, — сказала она, — вот вы рассказали замечательную историю. Ее никто не узнает, вероятно. У меня в Ленинграде живет один знакомый парень — он работает в газете «Смена», он журналист. Хотите, я его к вам приведу и он напишет об этом? Ну, такую статейку, знаете?

— Вряд ли напишет, — сказал Жмакин.

— Нет, обязательно напишет. Ведь это все-таки героизм...

— Да? — спросил он.

— Конечно.

— А что бы я оказался жуликом, — пошутил он, — тогда как?

— Жуликом?

— Так точно, — сказал он, — вором.

Она молчала, весело и широко глядя на него чистыми большими глазами.

Жмакин засмеялся.

— Ну ладно, ладно, — сказал он, — запишите мой адресок и приходите. Получится статейка...

И опять засмеялся.

Она записала адрес тюрьмы; вместо номера дома и вместо квартиры — номер той камеры, в которой он когда-то сидел.

— Заходите, — сказал он, — если застанете, буду рад. И ваш адресок мне дайте.

Рано утром поезд подошел к Ленинграду. Настроение у Жмакина было скверное, болела голова, и когда все вышли на перрон, то вдруг показалось, что ничего здесь хорошего нет, что не стоило так мучиться и что хорошего, конечно, никогда ничего не будет. Он шел вместе с летчиком. Летчик тащил два чемодана, и полное лицо его было восторженным и потным. Жмакин предложил помочь. Они уже вышли на площадь.

— Да-а, городочек, — тянул летчик, — это городок!

Жмакин взял чемодан летчика, немного поотстал и на Старо-Невском вошел в знакомый проходной двор. Злоба и отчаяние переполняли его. «Рвань, — бормотал он, скользя по обмерзшим булыжникам, — иди в авиацию!» Поднявшись на шестой этаж чужого дома и послушав, тихо ли, он одним движением открыл чемодан, выложил все вещи в узел, покрутился по переулкам и уже спокойно, валкой походочкой, дымя папирсой, пошел в ночлежку на Стремянную.

Осторожно он стал нащупывать старых друзей. Он делал это не спеша, сдерживая себя, без единого необдуманного шага. Выяснилось, что первый и давний друг его Филька Кочетов расстрелян еще в тридцать третьем году за бандитизм. Тогда он пошел к Филькиной матери. Старуха жила на Васильевском острове, на Малом проспекте, в старинном доме с четырьмя колоннами по фасаду. В загаженном, воюющем дворике на него набросилась собака. Он пнул ее ногою и поднялся на крыльцо. С поднятым воротником заграничного пальто, с шарфом, замотанным вокруг шеи, в светлой пушистой кепке он выглядел не то кинематографическим артистом, не то иностранцем, и старуха никак не хотела его узнать, а когда узнала, то заплакала и обняла. Она худо видела и была страшна со своими крашеными волосами, с огромным беззубым ртом, с парализованной половиной лица. Он ничего не понимал из ее слов. От нее скверно пахло нечистой одинокой старостью. Она почти сразу же попросила у него денег, и он неожиданно для себя вдруг сказал ей, что она сама виновата в Филькиной судьбе. Она опять захныкала, но он ударил кулаком по столу и своим бешеным, срывающимся голосом крикнул, что он все помнит, что он помнит, как она радовалась чистой Филькиной работе и как покупала барахло на ворованное, как она скаречничала и гнала Фильку работать в самое неподходящее время.

— Забыла, стерва,— кричал он, наступая на нее и брызгаясь слюной, — а я помню!.. Забыла, как подбивала его за границу идти, забыла? Все ты! Из-за тебя его шлепнули, сучья лапа, все тебе мало, хапуга...

Она хватала его за протянутую к ней сильную руку, а он все шел и шел, пока она не свалилась в какое-то креслице. Тогда, замахнувшись, он плюнул и ушел — слепой от бешенства — плечом вперед, как всегда в припадках ярости.

Весь день он пил — справлял тризну по расстрелянном друге, и ночью пошел на грабеж один — пьяный, без оружия, щуря в темноте свои зеленые глаза и сжимая кулаки. Город был ему чужим — он еще не знал в своей жизни такого одиночества. Грабеж не удался — некого было грабить, он продрог до костей и пошел в «шестерку» — в ресторанчик-подвал на канале Грибосдова, чтобы согреться.

Знакомый по прошлым годам гардеробщик снял с него пальто, испуганно и приветливо улыбаясь. Он швырнул кепку, не оглядываясь назад, обдернул пиджак и медленно вошел в зал. Все было так же — и буфетная стойка, и папиросный дым, и морячки

в тигровых джемперах, и дирижер-дурак с толстым бессмысленным лицом. Жмакин пошел по проходу. «Возьмут? — спрашивал он себя. — Или не возьмут?» Ему не было ни страшно, ни весело, азарт былых годов копчился, видимо, навсегда. Он еще раз прошелся между столиками. Тут не могло обойтись без уголовного розыска. Но кто? Может быть, новые? Он шел от столика к столику — все было занято. Тогда он подошел к буфетной стойке и ткнул пальцем в большую стопку. Буфетчик налил. Он поднял стопку почти ко рту и даже немного запрокинул голову, но вдруг заметил невдалеке нечто страшно знакомое, заметил и тотчас же потерял. Так и не выпив водку, он поставил стопку на поднос и принялся разглядывать пьяные, красные, возбужденные лица — от одного столика к другому. Но то знакомое исчезло, и он, решив, что ошибся либо привиделось, нащупал сзади себя на подносе водку и совсем было пригубил, как то знакомое вновь мелькнуло, но уже больше не скрылось — он успел заметить два совершенно веселых глаза, которые смотрели на него из-за горшка с белыми искусственными цветами.

Тогда, медленно бледнея, он выпил свою водку, закусил маринованным грибом, расплатился и, чувствуя слабость в коленях, пошел к столику с искусственными цветами. У него не достало сил смотреть прямо перед собой, и он глядел вниз на нечистую скатерть, на коробку дешевых папирос и на бутылку боржома, не допитую и до половины.

— Ну садись, Жмакин, — сказал ему знакомый негромкий голос.

Он сел и наконец взглянул на Лапшина. Те же светлые волосы, те же живые и веселые ярко-голубые глаза и то же умение скрипеть поминутно какой-то кожаной амуницией даже в том случае, если на нем было штатское.

— Сорвался? — спросил Лапшин.

— Что вы!

Это у него была такая манера в разговорах с большими начальниками — прикидываться простаком-дурачком, польщенным, что такое большое начальство шутит.

Он уже овладевал собою понемногу. Слабость в коленях прошла. Конечно, он правильно сделал, что подошел, — бежать от Лапшина бессмысленно.

— Значит, не сорвался?

— Что вы!..

Надо было оттянуть время и придумать — по что?

— Значит, за пять лет всего просидел полтора?

— Что вы...

— Так как же?

— Гражданин начальник...

— Выдумывай побыстрее!

— Я из лагерей в командировку прибыл...

Лапшин не глядел на него — глядел в стакан, в котором быстро и деловито вскипали пузырьки. Жмакин врал. Конечно, Лапшин не мог поверить, да он и не верил. Настолько не верил, что даже документы не спросил.

— Ах ты Жмакин, Жмакин,— сказал он вдруг веселым голосом с растяжкой и с небрежностью,— ах ты Жмакин...

Несколько секунд они оба глядели друг на друга.

— Ах ты Жмакин,— повторил Лапшин, но уже с какой-то иной интонацией, и Жмакин не понял, с какой.

И опять они помолчали.

— Дружков-корешков видел?

— Нет, гражданин начальник,— сказал Жмакин искренне.

— Кочетова твоего мы расстреляли,— сказал Лапшин,— и Хайруллина расстреляли. Слышал?

— Про Кочетова слышал, а про Хайруллина нет.

Лапшин все смотрел на него.

— Жалко было Кочетова,— говорил он,— да уж знаешь, такое дело...

— Пожалел волк овцу,— пробормотал Жмакин,— какие уж там жалости...

— Дурак ты, Жмакин,— вразумительно сказал Лапшин и, поднимаясь со стула, добавил: — Пойдем, я тебя посажу.

Они вышли вместе. Тротуар был мягкий, за какой-нибудь час очень потеплело: повалил веселый, чистый снег. Жмакин шел впереди. Лапшин немного сзади. На улице стало заметно, что он уже немолод, что ему в легком кожаном пальто холодно, что он устал.

Возле аптеки, что на углу проспекта 25 Октября и улицы Желябова, Жмакин вдруг остановился.

— Гражданин начальник,— сказал он сиплым от волнения голосом,— отпустите меня. Я в тюрьме удавлюсь.

— У нас в тюрьме нельзя вешаться,— сказал Лапшин,— мы запрещаем. Ты что, не знаешь?

— Знаю.

— Ну, пошли!

Так молча, под снежком, дошли до арки. Площадь открылась Жмакину, и он замедлил и без того небыстрый шаг. Фонари горели через один,— молочный свет был точно бы чем-то свеж, и приятно было, что возле светящихся шаров пляшут снежинки. Дворец, ленивый и темный, запорошенный по карнизам снегом, почти совершенно сливался с черным, глухим небом. С улицы Халтурина мягко и плавно вылетел на площадь автомобиль и,

заливая белыми фарами снежный пухлый покров, описал стремительную дугу.

— Отпустите меня, начальничек,— сказал Жмакин.

Лапшин молчал, вобрав голову в плечи и глядя на Жмакина из-под лакового козырька форменной фуражки. Снежинки садились на небритую его щеку возле уха.

— Ах ты Жмакин,— сказал он прежним тоном с той же растяжкой,— либо ты дурак, либо действительно сволочь. Ведь расстреляем тебя рано или поздно. Расстреляем,— сказал он, — а?

— Отпустите,— повторил Жмакин. Отчаяние охватывало его. Он не мог больше представить себя в тюрьме. — Отпустите,— почти крикнул он,— начальник!

— Куда же тебя отпустить? — спросил Лапшин.

— Куда? На волю.

— А зачем тебе воля?

Жмакин молчал.

— Да и хватит тебе воли,— уютно зевнув, сказал Лапшин,— нагулялся, довольно! Пора и честь знать.

Он мелко потопал башмаками, сбивая снег, и пошел вперед к ярко освещенным дверям управления. И тут Жмакин решил бежать — и сразу же, не дожидаясь даже, пока решение окончательно созреет и укрепится, побежал, повинувшись только чувству отчаяния и страха перед тюрьмой. Он знал, что ему не убежать, знал, что площадь безлюдна, и как бы даже чувствовал, что Лапшин вынимает сейчас, сию секунду, дареный, с золотой дощечкой маузер и целится в него, в Жмакина, еще бегущего, петляющего по белому снегу, и что сейчас он, Жмакин, рухнет лицом в свежий снег, но сзади почему-то было тихо и даже не было трели свистка, а он все бежал — огромными смешными прыжками — и слышал только гудение в ушах да грохот своих шагов. Он бежал от арки к Капелле, в спасительный мрак, и знал, что как только очутится за углом — его не поймают и не убьют, и он опять будет на свободе, и никакая тюрьма не будет ему страшна. Но на самом углу он поскользнулся и упал, подбородком ударившись о какой-то камень, и думал уже, что погиб, потому что Лапшин не мог тут не попасть в него. А выстрела опять не было. Он подождал и начал осторожно подниматься, все еще не веря себе, и тут нечаянно увидел далекую, уже маленькую фигурку Лапшина. Лапшин стоял в той же покойной и лениво-усталой позе, вобрав голову в плечи и сунув руки в карманы кожаного пальто, и было очень ясно, что он даже и не собирался ни свистеть, ни тем более стрелять — он просто смотрел вслед Жмакину, даже без особого любопытства.

И когда Жмакин встал на ноги, он увидел, как Лапшин повернулся и небрежно, с прохладцей вошел в двери управления.

Жмакин опять побежал — и остановился. И еще побежал. Все стало непонятно ему, все точно бы перевернулось. Он перебежал через какой-то мостик, через проходной двор — попал в переулок и, не торопясь, вышел на улицу Желябова. Тут он сел на крыльцо — ноги подломились. «Так что же это?» — спросил он себя и не ответил. «Что же? — во второй раз спросил он, растирая лицо ладонями, — может быть, ему никак нельзя было стрелять на улице?» Но это был не ответ. «Может быть, я такой уж ничтожный вор, что и пулю жалко тратить, — думал Жмакин, — или он маузер дома оставил? Как же, оставил!» — усмехнулся Жмакин и сплюнул черной слюною, — рот был полон крови, он расшибся, падая. Злоба поднялась в нем, он еще плюнул и поднялся. Надо было где-то ночевать, надо было жить и завтра, и послезавтра. Он пошел, едва волоча ноги, поминутно сплевывая. Опять перед ним был проспект 25 Октября. Трамвай-мастерская стоял на перекрестке, — большие окна уютно светились. Жмакин заглянул внутрь: там были верстаки, на одном верстаке спала баба в тулупчике, и в ногах у нее пылал зеленым венчиком примус, на примусе кипел чайник. У другого верстака, у тисочков, стоял здоровый сивоусый дядька в железных очках и делал какую-то мелкую работу. Сложив губы трубочкой, он что-то маленько присвистывал и с удовольствием наклонял голову к своей работе — то слева, то справа. А вокруг трамвая на рельсах работали бабы — все в тулупах, в платках, в валенках, разгребали снег и орали друг на дружку, как галки весною; тут же была лошадь, впряженная в специальную повозку для ремонта проводов — наверху что-то мастерили, а лошадь сонно и вкусно перебирала замшевыми теплыми губами, и от нее шел такой замечательный запах кожаной упряжки и острого пота.

Жмакин постоял возле лошади, обошел трамвай кругом и, ни о чем не думая, влез на площадку. Здесь стояли ведра, метлы, какие-то палки непонятного назначения. Он откатил дверь и сказал дурашливым голосом:

— Э, хозяин, пусти Христа ради погреться.

— Погрейся Христа ради, — сказал сивоусый, не оглядываясь.

Жмакин сел на скамью в угол, поглядел на крепкие колени спящей на верстаке бабенки, надвинул кепку пониже и уснул сразу же мертвецким сном. Часов в шесть утра его выгнали из трамвая. В вагон битком набилось женщин, от них несло холодом, примус уже не горел, и сивоусый, надсаживая глотку, что-то командовал горланящим бабам.

Жмакин вышел, шатаясь, на улицу. Дул ветер, и ему сделалось отчаянно холодно. К тому же он никак не мог закурить, спички фыркали и не загорались, и голова спросонья была тяжелой, дурной.

Трамвай заскрежетал, голубые искры вспыхнули на проводах, колеса забуксовали, из открытой двери донесся обрывок песни — женщины запели, усевшись на верстаки, веселыми, шальными от ветра и от работы голосами:

...Чтобы с боем взять Приморье...

Дверь захлопнулась, и трамвай ушел.

Улица теперь была пуста — наступило предрассветное, самое мерзкое для бродяг время. Вот промчался автомобиль «скорой помощи», кто-то там подпрыгивал за едва освещенным матовым стеклом, еще раз взвыла сирена, и все совсем стихло.

Жмакин наконец закурил и пошел к Садовой. Возле Гостиного длинная и худая, в смешных коротких ботах и шляпке бадейкой, стояла немолодая уже и не очень трезвая женщина. Он пошел с ней. Она торопливо и пьяно ему жаловалась на какого-то шофера, а он не слушал ее и равнодушно думал: «Утоплюсь».

— Дай ему три рубля, — сказала она про дворника, — знаешь, нельзя!

И глупо засмеялась.

Комната была маленькая. Женщина сняла шляпу и села на кровать, внезапно раскиснув.

Он стоял не раздеваясь.

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Люся, — не сразу ответила она.

— Почему ходишь? — спросил он.

— Ни по чем, — ответила она, — дурак!

Он все стоял. У нее было пьяное накрашенное лицо и жидкие спутанные желтые волосы. Он зевнул два раза подряд.

— Противный, — говорила она, — противный, сволочь...

Начиналась истерика. Она не то плакала, не то смеялась. Жмакин ничего не понимал, ему страшно хотелось спать и хотелось ударить ее как следует, чтобы она не была таким мерзким голосом. Но она уже топала ногами в коротеньких ботах и захлебывалась. Он ждал. Потом, зевая, вышел на кухню, чиркнул спичку, нашел черную дверь, спустился по лестнице и, показав дворнику кукиш, пролез в калитку. Трясаясь от озноба, он доехал до Финляндского вокзала, сел в поезд и задремал. Поезд был

круговой, сестрорецкий. Топились чугунные печи. Три часа сна, потом еще билет и еще три часа сна. Уже засыпая, он зевнул от блаженства.

Все его тело затекло, когда он вышел на перрон. Он шел спотыкаясь и разминался на ходу, выделявая замысловатые движения, чтобы не ныла спина, не болела шея, чтобы вернуть себе легкость, четкость, чтобы голова стала ясной. В трамвае он вытащил кошелек у кашляющего мужчины и удивился неудаче — в кошельке был рубль, ключик и двадцатикопеечная марка. Он опять влез в трамвай и взял бумажник — уже удачнее, но тоже не очень — семьдесят рублей и паспорт. Все это была не работа. Он немножко прошелся и вскочил на ходу в автобус; здесь, проталкиваясь к выходу, он запустил два пальца в теплый мех хорьковой шубы, нащупал карман, взял пачку, толкнул, извинился и спрыгнул возле улицы Жуковского. В пачке было триста — сто штук по три рубля — ответственная получка. В почтовом отделении на Невском Жмакин запечатал в конверт украденный паспорт, написал адрес по прописке, наклеил марку и опустил в почтовый ящик. В паспорт, внутрь, он заложил еще записочку: «С благодарностью за деньги и с извинением. Впредь не зевайте». Но все это было не смешно и не развлекало, а наоборот — настроение с каждой минутой ухудшалось, и гнетущая скука наваливалась все больше. С почты он пошел в баню и там, моясь, разговаривал с коренастым смуглым парнем. Они говорили ни о чем — просто невинный банный разговор: что вода-де недостаточно горяча, что мало шаек, что под выходной день сюда вовсе нельзя ходить; но собеседник Жмакина говорил очень уверенно, и уверенность эта и спокойствие почему-то раздражали Жмакина — он повышал тон, и наконец разговаривать стало вовсе невозможно. Собеседник взглянул с удивлением на Жмакина и ушел париться, а Жмакин поглядел ему вслед с ненавистью.

Обедал он в столовой — бывшая «Москва» — сидел возле окна и, мелко ломая хлеб, глядел на улицу, на потоки людей, на крыши трамваев, покрытые снегом. Даже сквозь стекла было слышно гудение толпы, сигналы автомобилей и автобусов, звонки трамваев. Жмакин выпил рюмку водки, понюхал корочку. Воздух за окнами сделался зеленым, потом синим, потом стал чернеть, и все четче выступали огни. «Утоплюсь, — опять подумал Жмакин, — надо». Ему хотелось плакать, или ломать посуду, или ругаться в веру, в божий крест, или, может быть, порезать кого-нибудь пожом. Он ел мороженое. Кто-то остановился перед ним.

Он взглянул круглыми от ненависти глазами — это был нищий, маленький, оплывший старик во всем рваном и сальном и в опорках. Жмакин вынул пятак и положил на край стола. К нищему, помахивая салфеткой, уже шел официант — гнать взащей.

— Леша, — сказал нищий ровным голосом, — не узнал меня?

И Жмакин узнал в нищем ямщика Балагу, самого крупного скупщика краденого золота и серебра, знаменитого Балагу, грозу и благодетеля петроградских жуликов...

— Он будет обедать, — сказал Жмакин официанту, — дай водки, студня, хрену, пива дай...

Он вдруг обессилел. Балага уже сидел перед ним и чмокал беззубым, мягким ртом. Из его левого глаза катилась одна за другой мелкие старческие слезы. Водку он не стал пить и пива не пил, а в суп накрошил хлеба и ел медленно, вздыхая и охая. Потом вдруг сказал:

— Околеваю, Леша.

И опять принялся хлебать суп.

— Где Жиган? — спросил Жмакин.

— Сидит.

— А Хмеля?

— На складах работает на Бадаевских, — чавкая, говорил старик, — я у него был. Пять рублей дал, и валенки, и сахару...

— Ворует, — спросил Жмакин, — или в самом деле?

Старик не отвечал, чавкал. Лицо его покрылось потом, беззубые челюсти ровно двигались.

— А Лошак?

— Лошак в армии.

— В ополчении?

— Зачем в ополчении? Он паспорт имеет. В армии честь по чести.

— Продал?

— А чего ж, — сказал старик, и глаза его вдруг стали строгими, — все равно конец. Кого брать? Инкассаторов? Банк? Кассира? С ума надо сойти.

Он опять стал есть. Жмакин выпил еще водки и, не закусывая, закурил папиросу. Старику принесли биточки, он раздавил их вилкой, перемешал с гарниром, полил пивом и стал есть, с трудом перетирая беззубыми челюстями.

— А ты сам, Балага?

Старик тихонько засмеялся.

— Я?

— Ты.

Старик все посмеивался. Слезающиеся глаза его стали озорными.

— Я божья коровка,— сказал он, жуя,— я, брат, ищу, как бы потише сдохнуть. Пять лет в лагерях отстукал — выпустили ввиду старости. Вот хожу — прошу. Лешка Жмакин пятачок дал, я не обижаюсь. И копейку возьму. Мне что?

— А Хайруллин? — нарочно спросил Жмакин.

— Шлепнули.

— А Ванька Сапог?

— За Ваньку не знаю. То ли ворует, то ли сидит.

— А Свиристок?

— Свиристок кончился.

— Как кончился?

— Утопился. Я его и опознал. Лапшин меня вызвал. Лежит — раздутый, кожа облезла. Лапшин говорит: «А ну-ка, Балага, погляди, не Свиристок ли?» Я поглядел и докладываю: «Так точно, Свиристок». Он открытку Лапшину написал: «Надоело все к чертовой бабке, решаюсь жизни, ввиду чего и пишу вам. К сему Свиристок».

— Давай выпьем,— сказал Жмакин, наливая себе и Балаге,— чтобы Свиристок легко в аду пекся.

— И без нас испечется,— сказал Балага,— а мне пить нельзя по болезни.

— Бережешься?

— Берегусь.

Жмакин выпил один, пополоскал рот и опять не закусил. Свиристок представлялся ему живым, вихрастым, с ленивой своей усмешкой на полных розовых губах. Этого не могло быть, чтобы он сделался синим и раздутым. Кто-кто, да не Свиристок. Он пел песни, носил стального цвета тройку, показывал фокусы, и вдруг синий и раздутый. Жмакин почувствовал, что может заплакать. «Слабею что-то,— подумал он.— Эх, сволочи, до чего довели парня!»

— А почему он в коммуну не пошел?

— Говорят, был, да ляпнул там чего-то.

Они помолчали.

— Закажи-ка мне еще биточки,— попросил Балага,— накушаюсь напоследок.

Жмакин заказал. На улице уже горели фонари.

— А ты никак сорвался? — спросил Балага.

Жмакин кивнул, глядя в окно.

— Издалека?

— Хватит.

— Слышь, Лешка,— сказал вдруг старик,— бросай ремесло.

— Как бросать?

— Бросай, говорю, и конец. Пропадешь. Иди работай.

— Ты что, с ума сошел? — спросил Жмакин. — Одурел?

Но Балага смотрел серьезно и как-то даже просительно.

— Дурья твоя голова, — раздельно сказал он, — ремесло ведь кончилось, разве не видишь? Нету ремесла. За кассира, за банк расстреляют. Ведь расстреляют, а жизнь молодая! Да и с кем работать сейчас, Лешка?

— Что ж, жуликов нет?

— Есть, отчего же нет, сегодня начал работать, а завтра его посадили. Сморкачи, хулиганы, а не жулики. Один будешь, Лешка, баба продаст, все продадут. И дрожать будешь, как собака, веселья нету, малины нету, дружков-корешков нету, в ресторанчик тоже не пойдешь; выпьешь под воротами — вот и вся радость. И так-то пьяненький от отчаянной жизни пойдешь глушить кассира — и точка. Налево.

— Бреешь, Балага, — сказал Жмакин, — слегавился, старый черт!

— Чего мне брехать из могилы-то, — усмехнулся Балага, — только мне виднее — всего и делов.

— Что же делать? — спросил Жмакин.

— Иди к Лапшину, винись.

— А дальше?

— Поедешь в лагеря — копать.

— Это медведь поедет копать, — сказал Жмакин, — я не поеду.

— Гордый?

— А чего ж!

— Ну утопишься, — сказал Балага, — или сдохнешь под мостом — там выберешь.

— На мой век дураков хватит, — сказал Жмакин, — будьте покойны.

— Это чтобы по карманам лазить? Хватит. Да какая радость-то? Все равно — лагеря.

— Убегу.

— Куда?

— Сюда.

— Опять посадят.

— И опять убегу.

— Дальше Советского Союза не убежишь, вернут в лагеря, и будешь работать или сдохнешь, дурак ты!

— Не буду работать.

— Почему?

— А почему ты не работал?

Балага усмехнулся.

— Зачем же мне было работать?

— Может, ты в комсомол вступил? — спросил Жмакин, — или в пионеры? Гладко больно чешешь.

Балага плюнул и встал.

— Давай денег, — сказал он, — чего дурака учить!

— У меня деньги-то нечистые, — усмехнулся Жмакин, — зачем они тебе?

— Давай, давай.

— Сколько же тебе дать?

— Сколько не жалко.

— Мне ничего не жалко, — сказал Жмакин серьезно, — мне и тебя не жалко, а потому денег я тебе не дам. Пожрал и беги, старая холера, хватит, заработал.

— Чего же я заработал, — плачущим голосом спросил Балага, — супу да биточки?

Жмакин, прищурившись, глядел на Балагу.

— А ты цыпленочек, я примечаю, — сказал Балага, — ох, сынок...

— Иди, иди...

Балага пошел, прихрамывая, оглядываясь. Жмакин выпил еще стопку и обогнал Балагу на лестнице — чтобы чего не вышло, лучше было выходить первым.

7

И все-таки надо было жить.

Надо было где-то ночевать и не очень мозолить глаза разному начальству; надо было с кем-то разговаривать и радоваться, что опять в этом огромном городе, и что никакие пути не заказаны, и что сам себе хозяин; надо было разыскивать старых друзей — довольно уже просто так прогуливаться.

И Жмакин разыскал Хмелю.

Хмеля жил на Старо-Невском в доме, что выходит одной стеною на Полтавскую, и Жмакину пришлось излазить не одну лестницу, пока он нашел нужную квартиру. Он приехал днем, и, по его предположениям, Хмеля должен был быть дома; по Хмеля был на работе, и на его двери висел маленький замочек. Пришлось приехать во второй раз вечером. Дверь из Хмелиной комнаты выходила в коридор, и матовое, в мелких пупырышках дверное стекло теперь уютно светило. Томные звуки гитары доносились из-за двери.

Жмакин постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Странное зрелище предстало перед его глазами: в комнате, убранной с женской аккуратностью, на кровати, покрытой пикейным одея-

лом, полулежал высокий очкастый Хмеля и, зажав зубами папиросу, не глядя на струны, играл печальную мелодию.

— Старому другу! — сказал Жмакин.

— Здравствуйте, — видимо не узнавая, ответил Хмеля и, прихватив струны ладонью, положил гитару на подушку, но не встал.

— Не узнаешь?

— Узнаю, — пехотя сказал Хмеля и поднялся. Лицо его не выражало никакой радости. Он даже не предложил Жмакину снять пальто.

— Сесть-то можно? — спросил Жмакин.

— Отчего же, садись.

Жмакин сел, усмехаясь от неловкости и оттого, что надо было хоть усмехнуться, что ли. По стенам висели фотографии. На столе стопкою лежали книги, и в шкафчике виднелась банка с какао «Золотой ярлык».

— Культурненько живешь, — сказал Жмакин, — у нас в лагерях красный уголок и то без какао. А у тебя красный уголок, да еще и с какао. Интересно!

— Ничего интересного, — сказал Хмеля, покашливая.

Он не садился — стоял столбом посредине комнаты.

— Может, поговоришь со мной? — спросил Жмакин. — Как-никак годов пять не видались. То ты в лагерях сидел, то я. Раньше встречались не так.

— Да, не так, — согласился Хмеля, — это верно.

Лицо его ничего не выражало, кроме скуки.

Тогда Жмакин, сдерживая начинающийся припадок бешенства, предложил выпить. Водка у него была с собой в кармане и закуска тоже — коробка сардин.

Они сели за стол, накрытый скатертью, вышитой васильками, и налили водку в два стакана. Хмеля пил по-прежнему — ловко и быстро, и по-прежнему лицо его не менялось от водки.

— Значит, работаешь? — спросил Жмакин.

— Выходит так.

— А у меня дельце есть.

— Хорошее?

Жмакин улыбнулся. Работа работой, а дело делом. Хмеля смотрел на него в упор.

— Какое же дело? — спросил он, покашливая и наливая водку.

— Магазин братъ. По наводке. Приказчик свой, сторож свой, дело наивернейшее, и тысяч на сорок товару. Трикотаж, сукно, шелк, обувь. Сделали?

— Нет, не сделали,— сказал Хмеля, точно не замечая протянутой руки.

— Почему?

— Да ну что, Жмакин, нам с тобой говорить,— лепиво сказал Хмеля,— давай выпьем!

— Хмеля,— сказал Жмакин,— ох, Хмеля.— Он поставил стакан и убрал протянутую руку. — Продаешь?

— Нет.

— Ой, продаешь!

— Покупаю, Жмакин,— сказал Хмеля грустно и подергал длинным белым носом,— покупаю, и задорого.

— Что покупаешь?

— Все.

Он замолчал и опустил голову.

— Да ну тебя к черту! — крикнул Жмакин.— Не крути мне. Что ты покупаешь?

— Разное.

— Ну что, что?

— Три года на канале покупал,— сказал Хмеля,— по четыре-ста процентов выработки плачено, а на канале знаешь, какой процент? — Он вздохнул и посмотрел пустой стакан на свет. — И купил. На! — Он порылся в кармане, вынул паспорт и протянул его Жмакину. — Чего смотришь? — вдруг изменившись в лице, крикнул он. — Чего разглядываешь? Думаешь, ксива? Не видал ты такого паспорта, Псих, в своей жизни. Все чисто. На, гляди! Хмелянский Александр Иванович, год рождения, на! Видал? И не Хмеля! Никакого Хмели здесь нет. И попрошу,— он стукнул ладонью по столу так, что зазвенели стаканы, но вдруг смутился и, забрав у Жмакина паспорт, отошел к шкафчику. — Да чего говорить,— сказал он,— как будто я виноват. «Продаешь?» А того не понимаете... — Он что-то забормотал совсем тихо и улегся на свою белоснежную постель с сапогами, но тотчас же сбросил ноги и сердито выругался.

— На сердитых воду возят,— сказал Жмакин,— шагай сюда, выпьем еще, Александр Иванович Хмелянский.

Хмеля сел к столу. Волосы его торчали смешными хохолками.

— Итого, перековали тебя чекисты? — спросил Жмакин. — Все в порядке?

— Все в порядке.

— А рецидивы бывают?

— Ничего подобного,— сказал Хмеля,— я, брат, строгий.

Он взглянул на Жмакина из-под очков и хитро улыбнулся.

— Законники,— сказал он,— юристы.

— И провожали из лагерей-то,— спросил Жмакин,— с оркестром?

— С оркестром. Костюм дали,— добавил Хмеля,— ботинки, рубашку.

— А здесь как же?

— Ничего.

— Ты за какой бригадой сидел? У Лапшина сидел?

— Сидел.

— А когда вернулся — был у него?

— Нет. В кинематографе встретил.

— И что он?

— Подмигнул мне.

— А еще?

— Велел зайти. Я, конечно, зашел. «Все, спрашивает, в порядке?» — «Все в порядке», — говорю. Посмотрел мой паспорт. Спрашивает: «Балуешься?» Я говорю: «Нет, гражданин начальник, с нас довольно». — «Да, говорит, действительно должно быть довольно. Ну что, говорит, иди, Хмелянский, будь здоров». Я ему: «Слушаю, товарищ начальник, до свиданья». А он мне: «Нет уж, говорит, Хмелянский, зачем до свидания, наши свидания, говорит, авось кончились. Будь здоров!»

— С тем и пошел? — спросил Жмакин. Ему вдруг стало жарко до того, что весь взмок.

— Да,— медленно и важно сказал Хмеля,— с тем и пошел. Может, чаю хочешь? — неожиданно спросил он.

Жмакин молчал.

— Ты ему теперь позвони, Лапшину,— сказал он погодя,— позвони, что, дескать, Лешка Псих в Ленинграде, сорвался из лагерей. Так же Каин, и Жмакин, и Володеев. Позвонишь?

— Позвоню,— в упор глядя на Жмакина, сказал Хмеля.

— Неужто позвонишь?

— Позвоню,— отводя взгляд, повторил Хмеля.

— За что же это, Хмеля? Чем я перед тобой провинился?

— Передо мной ты не провинился,— с трудом сказал Хмеля,— но как же я могу? Вот, к примеру, я работаю на Бадаевских складах, на разгрузке продуктов из вагонов. И вдруг, допустим, я узнаю — дескать, подкопались и делают нападение на наше масло. Как я должен поступать?

— Хмеля,— сказал Жмакин,— мы ж с тобой в одной камере одну баланду одной ложкой жрали. Кого продаешь, Хмеля?

— Лучше бы ты ушел от меня, Лешка,— сказал Хмеля со страданием в голосе,— ну чего тебе от меня надо?

— А где я ночевать буду? — спросил Жмакин.

— Где хочешь.

— Я здесь хочу, — криво усмехаясь, сказал Жмакин, — во па той кровати.

— Здесь нельзя.

— Почему?

— Не могу я жуликов пускать, — с тоской и страданием крикнул Хмеля, — откуда ты взялся на мою голову? Уходи от меня...

— Гонишь?

— Разве ж я гопо...

— Конечно, гонишь...

— А чего ж ты мне — продаю, да легавый, да ксива...

— Ну, раз не гонишь, я у тебя остаюсь на пару дней, пока квартиру найду.

— Нельзя у меня, — упрямо сказал Хмеля, — говорю нельзя, значит нельзя.

— Да тебе же выгодней, — все так же криво улыбаясь, сказал Жмакин, — напоишь меня горяченьким, я спать, а ты в автомат — и Лапшину. Меня повязали, тебе благодарность — всем по семь, а тебе восемь. Четыре сбоку, ваших нет. — Он скорчил гримасу, допил водку и, глумливо глядя на Хмеля, снял пальто. — Для твоей выгоды остаюсь.

Хмеля смотрел на него из-под очков с выражением отчаяния в близоруких светлых глазах.

— Уходи, — наконец сказал он.

— Не уйду.

— Уходи, — еще раз, уже со злобой, сказал Хмеля, — уходи от меня.

— Не уйду! Понравилось мне у тебя в красном уголке...

— Это не красный уголок, — дрожащим голосом сказал Хмеля, — какие тут могут быть пересмешки...

— А вот могут быть!

Бешенство заливало уже глаза Жмакину. Он ничего не видел. Руки его дрожали. Выдвинув плечо вперед, он пошел вдоль стены, нечаянно сшиб столик, что-то разбилось и задребезжало; он с маху ударил ладонью по фотографиям, стоящим на этажерке, — это была старая, неутолимая страсть к разрушению. И Хмеля понял, что сейчас все нажитое его потом будет изломано, разбито, исковеркано, уничтожено — будет уничтожена первая в его жизни трудом заработанная собственность: тарелки, которые он покупал, гитара, которой его премировали, красивый фаянсовый чайник с незабудками — подарок приятеля...

И, поняв все это, Хмеля схватил первое, что попало под руку, — столовый тупой нож, взвыл и сзади ножом ударил Жма-

кина, но нож даже не прорвал пиджак, а Жмакин обернулся, и в руке его блеснула узкая, хорошо отточенная финка.

— Резать хочешь? — спросил он, наступая и кося зелеными глазами. — Меня резать...

Левой рукой, кулаком, он ударил Хмелю под челюсть — Хмеля шлепнулся затылком о беленую стенку и замер, потеряв очки. Его светлые близорукие и маленькие глаза наполнились слезами, он поднял ладони над головою, пытаясь защищаться, и в Жмакине вдруг что-то точно оборвалось: он понял, что с Хмелей уже нельзя драться и что это была бы не драка, а простое убийство. Матерно выругавшись, Жмакин перекрестил острием ножа подошву ботинка — по блатному обычаю, скрипнул зубами, накинул пальто и вышел во двор. Ноги его разъехались на обмерзшем асфальте, и ему внезапно сделалось смешно. Посвистывая, он добрался до трамвая и поехал куда глаза глядят — коротать ночь. Но эта ночь была очень плохой. Город, который мерещился ему в тайге, изменился. В нем некуда было деться, дома были сами по себе, а он, Жмакин, сам по себе. Пока что ему оставались дачные поезда, но они не ходили ночью. И Жмакин почувствовал, что устал и что, пожалуй, надо торопиться.

Четыре дня подряд тянулись неудачи, одна другой глупее, позорнее, мельче.

Он ничего не мог взять, точно кто-то колдовал над ним: жеп-щипа, к которой он почти совсем забрался в сумочку, внезапно и резко повернулась, ремешок лопнул, и военный, дотоле читавший спокойно газету, понял — шагнул к Жмакину. Пришлось выпрыгивать из трамвая на полном ходу. В другом трамвае его просто-напросто схватили за руку, он рванулся так, что затрещала материя, и убежал. Потом вытащил из бокового кармана, вместо бумажника, сложенную во много раз клеенку. Потом вытащил бумажник, но без копейки денег. И, наконец, срезал часы, за которые никто не давал больше десяти рублей. Так тянулось изо дня в день. Нервы напряглись — он уже не очень себе доверял. Призрак тюрьмы становился реальным — Жмакина могли взять в любую минуту.

Однажды на улице он столкнулся, ударился грудью об уполномоченного Окошкина, сломал о его кожаное пальто папиросу и, заметив, что Окошкин узнал его, рванулся во двор. Двор был непростительной, катастрофической оплошностью, ловушкой. Жмакин поднялся на шестой этаж и, понимая, что пропал, позвонил — длинно позвонил в чью-то неизвестную квартиру. По лестнице уже поднимался Окошкин, сапоги его часто поскрипы-

вали, он бежал. Жмакин все вопил, не отнимая палец от звонка. Дверь отворилась, он отпихнул рукою какую-то крошечную старуху, пробежал по коридору, заставленному вещами, на звук шипящих примусов, очутился на кухне и через черную дверь спустился вниз во двор. Если бы старуха спросила — кто там? — все было бы кончено, он попался бы. Теперь Окошкин был в дураках. Раскачиваясь в шестом номере автобуса, Жмакин представлял себе лицо Окошкина и как он сморкается и встряхивает головой — это было смешно и приятно.

На углу Невского и улицы Восстания он выскочил.

Этот город был ненавистен ему, он понял это внезапно и очень точно, понял, что город как бы организовался, чтобы его, Жмакина, посадить в тюрьму, послать в лагерь, что эти дома, и улицы, и магазины ему, Жмакину, враждебны. На секунду он уловил даже как бы выражение лица города, смутное, предостерегающее, суровое. Он потер щеку шерстяной перчаткою и еще поглядел, — все ерунда, город как город, пора пообедать, что ли! Но обедать он не шел, а стоял на морозе возле айсора, чистильщика сапог, и глядел, прищурив глаза, скривив бледное красивое лицо, сжав зубами пезакуренную папироску. Был шестой час дня. Уже стемпело, и народ двигался с работы сплошной степю, город гудел и грохотал. Все разговаривали и смеялись, трамваи трещали звонками, какой-то парень, стоявший дотоле возле парадного, неподалеку от Жмакина, перекинул портфель из руки в руку и сделал движение вперед к румяной девушке в шапке с большим помпоном. Она засмеялась, откинув назад голову и блестя зубами, и точно припала к плечу парня. Он крепко, легко и ловко взял ее под руку. Жмакин видел, как толпа в мгновение проглотила их обоих, даже помпон пропал — ничего не осталось; опять шли люди с портфелями, смеялись и болтали, а он глядел на них и грыз мундштук папиросы.

Потом он поехал в поезде искать комнату, вылез в Лахте и стал стучаться в каждый дом подряд. Был тихий морозный вечер. На шоссе стайками гуляла молодежь. Две гармони не в лад играли марш. Две девушки в платках по самые брови таинственно на него поглядели. Еще одна неумело проехала на лыжах, кокетливо засмеялась, потеряла палку, охнула и, заверещав, упала в канаву. Жмакин помог ей выбраться и спросил про комнату.

— Да, вон, Корчмаренки будто сдают, — сказала она, отряхивая снег, — идите сюда по-над забором влево.

Он пошел, невольно подчиняясь маршу, доносившемуся с шоссе, подсвистывая, потирая озябшие уши. Во дворе у Корчмаренко лаял простуженным голосом цепной пес. Жмакин свистнул ему и вдруг заметил, что пес с бородой и борода у него покрылась инеем. Он усмехнулся и, прежде чем стучать, заглянул в окно, незавешенное и незамерзшее, видимо потому, что была открыта форточка.

Корчмаренки, сидя за большим, покрытым розовой клеенкой столом, пили чай. Кипел самовар. Какой-то парень здесь же что-то читал из маленькой книжечки, все смеялись, даже старуха, сидевшая у самовара, смеялась, закрывая глаза платочком. Сам Корчмаренко, здоровенный всклокоченный детина с пухом в волосах и в бороде, хохотал страшно, потом вдруг замирал, делая несколько даже страдающее лицо, и потом хохотал с новой силой, да еще и бил кулаками по столу...

«Во идиот!» — подумал Жмакин.

Молодая женщина с ребенком на руках стояла возле стола и тоже смеялась до слез, глядя на Корчмаренку. Наконец парень кончил читать, спрятал книжечку в карман, потом поднял палец и что-то сказал, нет, вернее из прочитанного, потому что всклокоченный Корчмаренко вновь начал прыгать, стонать и выкрикивать так, что затрясся дом.

Жмакин постучал.

Ему открыла старуха, та, что сидела у самовара, и сказала, что комната действительно есть, в мезонине. Жмакин попросил показать. В переднюю вышел сам Корчмаренко, паспех расчесывая бороду, и спросил, откуда Жмакин.

— Как откуда?

— Ну, откуда, одним словом. Где работаете?

В передней очутилась вся семья, и все глядели на Жмакина.

— Работаю особоуполномоченным по пересылке грузов, — вяло лгал Жмакин, не зная, что говорить дальше, — работаю на узлах...

— На каких узлах? — спросил парень, тот, что читал книжку.

— Да уж на железнодорожных, — сказал Жмакин, — на каких больше?

— Значит, ездите? — спросил Корчмаренко.

— Не без этого.

— Теперь все ездят, — сказала старуха, и Жмакину показалось, что она памекает.

— Как все? — спросил он щурясь.

Но старуха не ответила, спросила, женат ли он и есть ли у него дети.

— Ни того, ни другого,— сказал Жмакин усмехаясь. Ему сделалось смешно от мысли, что он может быть женат и дети...

— И хорошо,— говорила старуха,— комнатка маленькая, лестница крутая, с детьми никак нельзя. Мы уж так и уговорились, ежели с детьми — то нельзя. Ну, а как женитесь? — спросила она. — Да как пойдут детишки?

— Могу дать подписку.

Корчмаренко захохотал, ему показалось это очень смешным.

— Так можно посмотреть комнату? — спросил Жмакин. Ему уже надоел весь этот разговор.

Его повели всей семьей наверх по темной, скрипучей, очень крутой лесенке. Комнатка оказалась прехорошенькой, теплой, сухой, чистой, оклеенной голубыми в цветочках обоями.

— Койка останется? — спросил Жмакин.

— И койка, и стол, и стул, и шкафчик,— сказала старуха,— и занавеску тебе оставим,— она внезапно перешла на ты,— и белье постираем. Чего уж, раз холостой.

— А сколько положите? — спросил Жмакин.

— Да рубликов семьдесят надо,— сказала старуха,— с об-
меблированием.

— Да чего,— сказал Корчмаренко,— семьдесят рубликов... Вы, мамаша, Кощей. Дорого!

— А сколько? — спросила старуха.

— Он парень ничего,— сказал Корчмаренко,— свой. Мы, с другой стороны, люди зажиточные. Комнату сдаем неизвестно по какой причине — всегда здесь жилец, а теперь возьми ноги в руки да и смотайся во флот. Федю Гофмана не знали?

— Не знал.

— Он теперь трудовому народу служит,— сказал Корчмаренко,— комната пустая. А уж он вернется, мы тебя, извини, попросим. Федя уж, он у нас свой. Уж ты не обижайся.

— Я не обижусь.

— А мы с тебя возьмем, сколько с Феди брали. Мамаша, сколько мы с Феди брали?

— Уж с Феди возьмешь,— сказала старуха,— от него дождешься.

— Так как же?

— Он человек молодой,— улыбаясь, говорила старуха,— он мне так и наказал: бабушка, ты у меня денег не спрашивай, мне и на свои расходы не хватает, а у тебя дом собственный, с налогом сама управишься.

— Ну и Федька, какой ловкий! — крикнул Корчмаренко. — Ах, собачья лапа!

И тоннул ногой.

Договорились по сорок рублей, но со своим керосином. Про керосин придумала старуха. За стирку тоже отдельно и за уборку в комнате — пять рублей в месяц. Жмакин заплатил семьдесят рублей вперед задатку и уехал в город, якобы за вещами. Ночевал он опять в поезде и весь следующий день «работал». В одном «Пассаже» ему удалось срезать четыре сумочки. Три из них он выбросил, в самую лучшую сложил деньги и документы, завернул ее в бумагу и отдал на хранение. Он совершенно потерял страх, — ему до одури хотелось наконец поспать в постели, он рисковал, как пикогда еще в своей жизни, и ему везло до того, что от одного только везения могло стать страшно.

Когда вечером, уже незадолго до закрытия, он пришел опять в «Пассаж», то за стеклом внутри шляпного отдела увидел стоящего к нему спиною Окошкина. Видимо, весть о его сумасшедшей деятельности уже достигла розыска, Лапшин понял, чья здесь рука, и выслал Окошкина — своего ученика. Но Окошкин не видел Жмакина — стоял к нему спиною, и Жмакин не мог отказать себе в удовольствии срезать еще одну сумочку у женщины с зеленым перышком на шляпе. Это было совсем близко от Окошкина — выше этажом — в обувном отделе, и Окошкин мог войти сюда, улыбаясь своими белыми зубами, и взять Жмакина. Но он по-прежнему стоял и смотрел, как женщины примеряют шляпы, и не видел Жмакина, лениво шагающего за его спиною по мокрому кафельному полу. «Окошкин! — хотелось крикнуть Жмакину. — Гражданин начальник!» Или постучать пальцем в зеркальное стекло. Но он прошел незамеченным, взял из камеры хранения пакет и вышел на улицу. На лестнице в Стоматологическом институте он подсчитал дневную выручку. Две тысячи рублей без нескольких копеек. Он подмигнул самому себе.

В Гостином он купил чемодан попроще, белья, бритвенный прибор, готовые брюки, английских булавок и два галстука. Захватил бутылку водки, сахару, масла, колбасы, консервы и варенье, сел в поезд и поехал в Лахту.

«Ничего, проживем, — думал он, покуривая в тамбуре и поплеывая, — посмотрим, кто кого. Как-нибудь, как-нибудь...»

Болота, покрытые снегом, едва освещенные бледною луною, холодные и неуютные, кружились перед ним. Его передернуло, он вспомнил те давние странствия. «Как-нибудь, как-нибудь, — бормотал он, стараясь попасть в лад с поездом, — как-нибудь, как-нибудь!»

Ему отворила старуха, веселая, как накануне, с засученными рукавами, простоволосая. Из кухни несло запахом постного масла, там что-то жарилось, шипело и трещало. По всему домику ходили красные отсветы. Везде топились печи, блестели свежевывитые полы — казалось, что наступают праздники.

— Да никакие не праздники, — сказала старуха Жмакину, — сам приказал оладьев печь — други к нему придут. Дормидонов — мастер и Алферыч — Женькин крестный.

— А кто этот Женька?

— Вот уж здравствуйте, — засмеялась старуха, — не знает, кто Женька! Внучок мой, который лампу вчера держал, он и есть Женька. Самому — сын.

Жмакин потащил чемодан паверх по скрипучей лестнице. В комнатке было темно, за окнами — маленькими, зашпдевелими — лежали уже снега — сплошные, насколько хватало глаз. Он постоял в темноте, не снимая пальто, отогреваясь, привыкая к дому, к хозяйственным шумам, к властно-веселым окрикам старухи снизу. Потом заметил, что и у него здесь топится печка, открыл дверцу и сел на корточки — протянул руки к огню. Дрова уже догорали; горячие, оранжевые уголья полыхали волнами почти обжигающего тепла. Сделалось жарко. Не вставая, он сбросил пальто, кепку, устроился поудобнее и все слушал, разбивая кочергой головни и покуривая папиросу. Было слышно, как кто-то, вероятно не старуха — слишком легки были шаги, — а та молодая, с ребенком, выходила в сенцы, как она набирала там из обмерзшей бочки ковшиком воду и возвращалась и как она однажды разлила — вода шлепнулась, и старуха сказала басом:

— Лей, не жалей.

А молодая тихо и ясно засмеялась.

Потом пришел Женька и разыграл целую сцену: будто бы он наступил впотьмах на кошку, и кошка будто бы рывкнула испугленным, околевающим голосом, и как он, Женька, сам испугался и заорал, и как пнул кошку, и кошка еще раз рывкнула.

На весь этот страшный шум выскочила старуха, потом наступило молчание, старуха плюнула, сказала: «Тьфу, чертяка!» и хлопнула двумя дверьми, и наступила тишина. Потом Женька начал один смеяться. Жмакин уже понял, что Женька был в представлении и за кошку, и за самого себя, и ему тоже стало смешно. Он засмеялся и икнул. А внизу в темной передней Женька крутился, охал и обливался слезами от смеха. Опять за скрипели двери, в переднюю вышла старуха, и Женька рывк-

пул, будто бы старуха наступила на кошку. Старуха вскрикнула и шлепнула Женьку чем-то мокрым, очень звонко и, паверное, больно, потому что Женька завизжал. Жмакин икнул уже громко, на всю комнату. Икая, он спустился вниз — попить: икая, заглянул на кухню — попросил лампу и с лампой пошел опять к себе. Пока он раскладывал вещи, Женька внизу возился у приемника, в доме возникала то далекая музыка, то какие-то фразы на нерусском языке, то вдруг знакомый мотив.

Печка истопилась, Жмакин закрыл выюшку, причесался перед зеркальцем, открыл водку и выпил из розовой чашечки, стоявшей на подоконнике. Мерная, торжественная музыка разливалась по дому. Жмакин почитал обрывок газеты, в которую были завернуты консервы, еще погляделся в зеркало. «Ну что, — подумал он, точно споря, — живу ведь? И пичего!»

Он прошелся по комнате из угла в угол, супув руки в карманы новых брюк и посасывая папиросу. Особое удовольствие ему доставляло смотреть на постель, на которой он будет нынче спать. «Чудная постель, — думал он. — Завтра пикуда не пойду. Отосплюсь. А потом пойду в кино. И пичего не буду делать. И спать буду, спать. Эх, хороша кровать!»

Но его что-то беспокоило, он долго не мог вспомнить что, и наконец вспомнил — паспорт, вот что. Надо было сделать ксиву — вытравить из какого-нибудь украденного паспорта настоящую фамилию, переправить что-нибудь в номере и в серии, вписать якобы свою фамилию. Он сел за столик, разложил все три украденные сегодня паспорта и стал раздумывать — как бы вышло попроще. Но он пикогда еще не подделывал документы и хоть кое-что об этом слышал — ничего толком не знал. Пришлось выпить еще пемного из розовой чашки. Он посвистывал и разглядывал — имя, отчество, фамилия — все чужое. Мощная, грохочущая музыка лилась по дому. Жмакин взял карандаш и на газете стал подделывать почерк того неизвестного, который заполнял графы паспорта. Ничего не вышло. Он парисовал чертика, потом сову, потом зайца, почесал карандашом щеку, и два паспорта, предназначенные к отправке владельцам, спрятал в чемодан, а третий, предназначенный к переделке, супул в карман пиджака. Лестница закрипела — вошел Женька.

— Переехали? — спросил он.

— А чего ж, — ответил Жмакин.

Женьке было лет четырнадцать-пятнадцать. Он был в красной футболке, в синих брючках и в валенках. Он еще краснел и опускал глаза, но уже выставял вперед ногу, вскидывал голову и старался смеяться поненатуральнее — каким-то кашляющим басом.

— Может, в шахматы сыграем? — спросил он.

Жмакин помолчал. Он все разглядывал Женьку — с горечью и с завистью.

— Или в шашки? — упавшим голосом сказал Женька.

— А ты уроки выучил? — вдруг неизвестно почему спросил Жмакин.

— Здравствуйте, — сказал Женька, — а чего я с Морозовым целый день делал?

— Чертей небось гонял, — сказал Жмакин, — хулиганил где-нибудь возле станции?

— И не хулиганил, — покраснев, сказал Женька, — я как раз хорошо учусь.

— А может, как раз плохо?

— Нет.

— Хорошо?

— Да.

Женька опустил голову. Он был явно обижен.

— Пионер?

— Да.

— Что ж вы там, пионеры, вокруг елочки ходите, что ли? — спросил Жмакин.

— Вокруг елочки? — очень удивился Женька. — Почему вокруг елочки?

— А чего ж вам больше делать?

Женька даже не ответил. На секунду он вскинул голубые, удивленные глаза, потом отвернулся. Потом слегка покачал головой. Еще раз взглянул на Жмакина и тихо, но раздельно и твердо сказал:

— А если вы комсомолец, то мне странно, что вы так говорите.

— Я пошутил, — серьезно сказал Жмакин.

— Пошутили?

— Ну конечно, пошутил.

— Раз пошутили, тогда другое дело, — повеселевшим голосом сказал Женька, — может, сыграем в шахматы?

— Сыграем! Тащи.

— А может, вниз пойдём? Там приемник.

— Ну пойдём.

Они сели возле ревающего приемника и сразу же задумались и замолчали, как полагается всем шахматистам.

— Д-да... — порою говорил Жмакин.

— Уж, конечно, да, — отвечал Женька.

И замолчали.

Финляндия ревела им в уши, потом хлопнула дверь, пришли и хозяин, и гости — они не слышали и не видели.

— Так, так, так, — говорил Жмакин.

— Да уж, конечно, так, так, так, — отвечал Женька.

Он покраснелся, открытое, розовое, детски припухлое его лицо покрылось мелкими капельками пота.

— Рокируюсь, — говорил он, раскатисто нажимая на эр.

— Рокируйся, — в тон ему отвечал Жмакин.

Только теперь он заметил и окончательно понял, что пришли гости. Они сидели за овальным столом и мирно беседовали в ожидании ужина. Дормидонов был очень велик ростом и очень широк в плечах, и выражение лица у него, как у всех слишком уж рослых людей, было немного виноватое. Лицо у него было розовое, большое, чистое, и над крепкими, суховатыми зубами торчали маленькие колючие усы. Второй гость — Алферыч — был тоже велик ростом, но как-то казался уже складнее, проворнее. В лице у него было что-то очень деловитое и вместе с тем достаточно озорное, так что казалось — он вот-вот выкинет такое коленце, что все просто-таки умрут, а он ничего не выкидывал, наоборот, был очень серьезным, малосмешливым и прилежным человеком.

Гости молчали, говорил и смеялся один Корчмаренко. Он бил ладонью по столу, толкал кулаком в бок Алферыча, подмигивал Дормидонову и, странно вытягивая шею, кричал в кухню:

— Граждане повара, каково там кушание?

А из кухни отвечали:

— Сейчас, гости дорогие, сейчас, милые!

Жмакин поднялся, чтобы уйти к себе, но Корчмаренко его не пустил.

— Ничего, ничего, — говорил он, — оставайся. Успеешь отоспаться — молодой еще. Кабы жена была, ну, дело другое.

И смеялся, сотрясая весь дом.

Жмакин тоже присел к овальному столу.

— И пить будем, — сказал Корчмаренко, — и гулять будем, а смерть придет — помирать будем. Верно, Алферыч?

Алферыч взглянул озорными глазами на Жмакина и, вздохнув, сказал:

— Не без этого, Петр Игнатьевич.

Потом Корчмаренко вынес из соседней комнаты скрипку, поколдовал над ней, отвел бороду направо и, взмахнув не без кокетства смычком, сыграл мазурку Венявского. Играл он хорошо, лицо у него сделалось вдруг печальным, большой курносый нос покраснел. Дормидонов слушал удивленно, почти восторженно,

Алфёрыч задумался, выдавливал ногтем на скатерти крестики. Жмакин слушал и жалел почему-то себя. Из кухни вышла Клавдя, дочь Корчмарепки — розовая от жара плиты, миловидная, прислонилась спиной к печке, сразу же заплакала, махнула рукой и ушла.

— Эх, Клавдя,— с грустью сказал Корчмаренко,— сама мужика выгнала и сама жалеет. А мужик непутевый, дурной...

Он вдруг зарычал, как медведь, налилсь кровью и захохотал.

— Как она его метелкой,— давясь от смеха, говорил он,— и слева, и справа, и опять поперек. А я говорю — правильно, Клавдия! Так и выгнала!

Он вскинул скрипку к плечу, прижал ее бородою и начал играть что-то осторожное, скользящее, легко, бросил на половине, чихнул и, угрожающе подняв скрипку над головой, пошел в кухню. Через секунду из передней донесся его уговаривающе-рокочущий бас и всхлипывания Клавди, потом слова:

— Ну и пес с ним, коли он такой подлюга, подумаешь, невидаль...

Ужин был обильный, вкусный, веселый. Много пили. Клавдя развеселилась и сидела рядом со Жмакиным; он искоса на нее поглядывал, и каждый раз она ему робко и виновато улыбалась. Пили за хозяина, он смущался, тряс большой, всклокоченной головою и говорил каждый раз одно и то же:

— Чего ж за меня, выпьем за всех.

Говорили про завод, про техника Еремкина, про бюро технического нормирования, про то, что всю Фрумкинскую компанию надо с завода гнать в три шеи. Жмакин чокнулся с Клавдией, и они выпили отдельно.

— Ты партийный,— сказал Дормидонов Корчмаренке,— тебе начинать. Поставь вопрос на производственном совещании.

— Тут дело не в партийности,— сказал Корчмаренко,— причем тут партийность. Пожалуйста — выступай!

Они заспорили.

Жмакин вдруг очень удивился, что Корчмаренко партийный.

Пришла старуха с огромным блюдом горячих оладий и села между Жмакиным и Алфёрычем. Жмакин все больше пьянел. Старуха положила ему на тарелку оладий, сметаны, какой-то рыбы.

— Не могу, наелся,— говорил Жмакин и проводил рукою по горлу,— мерси, не могу.

Но старуха отмахивалась.

Он налил ей большую стопку, чокнулся и поклонился до самого стола.

— Вашу руку,— сказал он,— бабушка!

Он пожал ее руку и еще раз поклонился, потом выпил с Клавдией. Теперь ему казалось, что он уже давно, чуть ли не всегда, живет здесь, в этом домике, участвует в таких разговорах, слушает радио, играет в шахматы.

— Позвольте,— сказал он и протянул руку с растопыренными пальцами над столом,— позвольте, я не понимаю, в чем у вас спор.

Ему объяснили.

— Ну хорошо,— сказал он,— а дальше?

— Ну и все,— сказал Корчмаренко.

— Я беспартийный человек,— сказал Жмакин,— не понимаю. — Ему очень хотелось, чтобы все его слушали, хоть говорить было нечего. — Не понимаю,— повторил он.

— Э, брат! — засмеялся Корчмаренко.

Жмакин вдруг увидел, что Корчмаренко трезвый, и ему стало стыдно, но в следующую секунду он уже решил, что пьян-то как раз Корчмаренко, а он, Жмакин, трезвый, и, решив так, он сказал: «Э, брат» — и сам погрозил Корчмаренке пальцем. Все засмеялись, и он тоже засмеялся громче и веселее всех и грозил до тех пор, пока Клавдия не взяла его за руку и не спрятала руку с упрямым пальцем под стол. Тогда он встал и, не одеваясь, без шапки, вышел из дому на мороз, чтобы посмотреть,— ему казалось, что надобно обязательно посмотреть, все ли в порядке.

— Все в порядке,— бормотал он, шагая по скрипящему, сияющему под луной снегу,— все в порядочке, все в порядке.

Мороз жег его, стыли кончики пальцев и уши, но он не замечал,— ему было чудно, весело, и что-то лихое и вместе с тем покойное и простое было в его душе. Он шел и шел, дорога переливалась, везде кругом лежал тихий зимний снег, все было неподвижно и безмолвно, и только он один шел в этом безмолвии, нарушал его, покорял.

— Все в порядке,— иногда говорил он и останавливался на минутку, чтобы послушать, как все тихо, чтобы еще большее удовольствие получить от скрипа шагов, чтобы взглянуть на небо.

Но вдруг он замерз и задрожал.

И сразу повернул назад. Теперь луна светила ему в лицо. Он бежал, выбросив вперед корпус, отсчитывая про себя:

— Раз, и два, и три, раз, и два, и три!

У дома на него залаял пес.

— Не смей,— крикнул Жмакин,— ты, мартышка!

Дверь была приоткрыта, и на крыльце стояла Клавдия в большом оренбургском платке. Она улыбалась, когда он подошел.

— Я думала, вы замерзли,— сказала она,— хотела вас искать.

— Все в порядке, — сказал он, — в полном порядочке.

У него не попадал зуб на зуб, и он весь просто посипел — замерз так, что не мог вынуть из коробки спичку, негнулись пальцы.

— Давайте я вам зажгу, — сказала она, — вот у вас пальцы-то пьяные.

— Просто я замерз, — сказал он.

Они стояли уже в передней. Там за столом все еще спорили и смеялись. Из кухни прошла старуха, усмехнулась и шальным голосом сказала:

— Ай, жги, жги, жги!

Она тоже выпила.

— Клавдя, — сказал Жмакин, — я тебе хочу одну вещичку подарить на память. — Он вдруг перешел на ты. — Она у меня случайная.

Клавдя молчала.

— Постой здесь, — сказал он и побежал к себе по лестнице.

В своей комнате он вынул из чемодана самую лучшую сумку, украденную днем, вытряхнул из нее деньги, подул внутрь, потер замок о штаны, чтобы блестел, и спустился вниз. Клавдя по-прежнему стояла в передней.

— На память от друга, — сказал Жмакин, — бери, не обижай.

Она смотрела на него удивленно и сумку не брала.

— Бери, — сказал он почти зло.

— У меня же есть сумка, — сказала она.

— Бери! — крикнул он, выдвигая вперед плечо, как всегда в минуты бешенства.

— Да есть же у меня сумка, — кротко сказала Клавдя.

— Бери!

Он уже косил от бешепства.

— Задаешься?

Клавдя молчала.

— Фасонишь?

Он швырнул сумку об пол, но тотчас же поднял ее, побежал на кухню и сунул в плиту, в раскаленные, оранжевые угли. Сумка сразу же вспыхнула. Когда он обернулся, Клавдя стояла за его плечом.

— От дурной, — укоризненно сказала она, — ну просто бешеный.

Он пошел в столовую и сел на свое место. Корчмаренко густым басом вспоминал про войну, про Мазурские болота и про капитана Народицкого.

— Лютовал, — говорил Корчмаренко, — ох лютовал. Но ничего, прибили погопы гвоздями, будет помнить!

Жмакин налил себе водки, выпил и спросил:

— А кто из вас знает тайгу?

Никто не знал. Ему очень хотелось говорить. Он чувствовал, что у кафельной печки стоит Клавдя.

— Все мы нервные,— сказал он,— все подпорченные. У кого война, у кого работа. Вот, например, я, молодой, а уже психопат. И сам знаю, а не могу удержаться. Работал на Дальнем Севере, и, понимаете, происходит такая история...

Он опять рассказал о побеге, о волках, о почевках в ямах. Старуха тихонько плакала. Корчмаренко вздохнул. Жмакин не оборачивался — он знал, что рассказывает хорошо и что Клавдя слушает и жалеет его.

— Еще не то бывает,— сказал он значительно и опять выпил.

Ему очень хотелось рассказать, как страшно и одиноко в Ленинграде, как он бежал от Лапшина, как ходит за ним по пятам Окошкин, но это уже нельзя было рассказать, и тогда, таинственно подмигнув, он рассказал о себе так, как будто бы он был Лапшиным: как он, Лапшин, ловил некоего Жмакина, и как он этого Жмакина поймал и привел в розыск, и как Жмакин просил его отпустить, и как он, Лапшин, взял да и не отпустил.

— И очень просто,— говорил Жмакин, чувствуя себя как бы Лапшиным,— их не очень можно отпускать. Это народ такой. Вот у меня был случай...

И он рассказал про себя, как про Окошкина, как он, Окошкин, ловил одного жулика по кличке Псих и как этот Псих забежал на шестой этаж, позвонил, проскочил квартиру, да по черному, и поминай как звали.

— Ушел? — спросил Корчмаренко.

— И очень просто,— сказал Дормидонов.

— Во, черти! — восторженно крикнул Корчмаренко, захохотал и хотел шлепнуть ладонью по столу, но попал в тарелку с чем-то жидким и всех обрызгал. После этого он один так долго хохотал, что совсем измучился.

— Вы что ж, агентом работали? — спросил Алферыч, пропизая Жмакина озорным взглядом.

— Разное бывало,— сказал Жмакин уклончиво.

Потом Корчмаренко играл на скрипке, и все сидели рядом на диванчике и слушали. А когда гости уже совсем собрались уходить, Корчмаренко предложил спеть хором, и Клавдя начала:

Среди долины ровныя
На гладкой высоте...

Спели и разошлись. Но Корчмаренко еще не хотел спать и не пустил Жмакина. Они сели за шахматы. Оба закурили и насупились.

— Спать, греховодники, спать,— говорила старуха,— спать.

— Ничего, завтра выходной,— бурчал Корчмаренко.

Старуха вдруг дотронулась до плеча Жмакина.

— Дай-ка, сынок, паспорт,— сказала она,— я завтра раненько сбегаю, да и пропишу.

Он хотел сказать, что паспорт у него на работе, но взглянул на Клавдю — и не смог. Что-то в ней изменилось, — он не понимал что; она смотрела на него иначе, чем раньше, — не то ждала, не то усмехалась, не то не верила.

— Поднимись, принеси,— сказала старуха,— не то утром разбужу...

Уже поздно было говорить, что паспорт на работе. Он сунул руку в боковой карман пиджака и вынул краденый паспорт, но все еще медлил, затрудняясь все больше и больше. Он даже не помнил имени в паспорте... А год рождения? Он открыл паспорт и прочел: Ломов Николай Иванович, 1912 — приблизительно подходило. Теперь прописка.

— Чего ищешь? — спросил Корчмаренко.

— Да тут фотография была,— сказал Жмакин,— как бы не потерялась...

Он запомнил и прописку.

Старуха взяла паспорт.

Это была верная гибель, то, что он делал. Через три дня самое большее его возмут. Разве что Ломов Николай Иванович дурак и не заявил. Нет, конечно, заявил.

Он не доиграл партию и ушел к себе. Надо было спать. Три дня можно спать спокойно. А дальше конец. Он разделся, лег. Сколько времени он не спал в постели? И тотчас же заснул.

9

Он проспался в два часа пополудни — легкий, отдохнувший, выспавшийся, охнул, зевнул, попрыгал по комнате, выглянул в окно: солнце светило, был морозец, молодежь косячком шла на лыжах, новенький, сияющий грузовичок бежал по дороге.

Сразу же явился Женька с шахматами и, смешной на тонких ногах, обутых в отцовские валенки, стоял посредине комнаты, щурился на солнце и ждал, пока Жмакин мылся, причесывался, пил чай.

— Будешь со мной пить? — спросил Жмакин.

— Спасибо,— сказал Женька.

Он пил и рассказывал о модели шаропоезда, которую строит «некто Илья Зайдельберг».

— А Клавдя где?— спросил Жмакин.

— Пошла с ребенком гулять,— ответил Женька и опять стал рассказывать о шаропоезде.

Они играли в шахматы, и Жмакин прислушивался к тому, что делалось внизу. Хлопала дверь — Корчмаренко таскал в кухню наколотые дрова и переругивался со старухой. Потом вдруг сложенные дрова с грохотом обрушились.

— Шах королю,— сказал Женька.

— А где пынче Клавдин муж? — спросил Жмакин.

— Шах королю,— повторил Женька.

— Сдаюсь! — сказал Жмакин. Где Клавдин муж, Женька?

— По-парочному сдались,— сказал Женька,— вы ж могли во как пойти. — Он показал, как мог бы пойти Жмакин. — Верно?

— Верно,— согласился Жмакин,— она что, с мужем не живет?

— Кто она?

— Да Клавдя.

— Ах, Клавдя? Нет, не живет,— рассеянно сказал Женька,— у нее муж пьяница, она его выгнала вон.

— Здорово пил?

— Ну, говорю, пьяница,— сказал Женька,— орал тут всегда. Босяк! — Он кончил расставлять фигуры, помотал над доскою пальцами, сложенными щепотью, и сделал первый ход. Глаза у него стали бессмысленными, как у настоящего шахматиста во время игры. — Босяк,— повторил он, уже с иным, сокровенно-шахматным смыслом,— босяк...

Всю игру он повторял это слово на разные лады, то задумчиво-протяжно, то коротко-весело, то вопросительно.

— И что ж, она не работает? — спросил Жмакин. — Так и живет?

— И живет, — сказал Женька, — и живет. — Его глаза блуждали. — И живет, — без всякого смысла говорил он, — и живет!

Жмакин с трудом удержался от желания шлепнуть Женьку ладонью по круглой голове. Наконец доиграли. Солнце светило прямо в лицо. Женька сидел розовый, курносый, вопросительно склонив белобрысую голову набок.

— Еще? — подлизывающимся голосом спросил он.

— Будет,— сказал Жмакин и лег на кровать, подложив руки под голову.

Тогда Женька стал играть сам с собою. Он сопел и хмурился. Его волосы золотились на солнце.

— Женя, — спросил Жмакин, — а где Клавдя работает?

— На «Красной заре», — сказал Женька, — на «Заре». И на «Заре», и на... — Он помолчал. — На «Красной заре» и на «Красной заре», на «Красной заре» и на «Красной заре», — лихорадочно быстро забормотал он, — на «Красной заре»...

— А как же ребенок?

— Что?

— Я спрашиваю — ребенок как?

— Какой ребенок?

Жмакин отвернулся к стене. Женька ничего не понимал. Он все еще бормотал про «Красную зарю». Потом пришла Клавдя. Жмакин спустился вниз. Корчмаренко, старуха и Клавдя — все втроем — раздевали девочку. Корчмаренко держал ее под мышками, Клавдя снимала малиновые рейтузы, а старуха возилась с туфлями. Девочка не двигалась — красная, большеглазая, строгая, только зрачки ее напряженно и смешно оглядывали всю эту суету.

— Какова невеста, — крикнул Корчмаренко, заведя Жмакина, — видел таких? Буся, буся, бабуса! — бессмысленно и нежно заворковал он, прижимаясь к внучке бородатым лицом, — у-ту-ту, у-тутушеньки...

— Папаша, не орите ей в ухо, — строго сказала Клавдя, — опять напугаете.

Девочку раздели, и она, переваливаясь с боку на бок, мелкими, аккуратными шажками пошла вон из комнаты.

— У-ту-ту, у-тутушеньки, — вдруг крикнул Корчмаренко и сделал такой вид, что сейчас прыгнет.

— Папаша! — строго сказала Клавдя. Она, с улыбкою глядя на семенящую дочь, шла за ней — несла ее верхнее платье.

— Большая, — сказал Жмакин.

— А чего ж, — ответила Клавдя.

— На вас похожа?

— Вся в отца, — сказал Корчмаренко, — такой же бандит будет. Они вышли в переднюю за девочкой.

— Долго ж вы спите, — сказала Клавдя, по-прежнему следя за дочерью, — я думала, до вечера не проснетесь.

— А чего ж, — передразнивая Клавдю, усмехнулся Жмакин.

Она коротко взглянула на него и тотчас же вся покраснела.

— Может, в шахматы сыграем? — предложил Корчмаренко.

Жмакин отказался. Он немного поболтал со старухой в кухне, дожидаясь, когда выйдет Клавдя. Но она, как нарочно, долго не выходила; было слышно тоненькое пение — она пела дочке и не выходила ни в переднюю, ни в кухню. Он постоял в передней, потом сразу вошел к ней в маленькую, тепло натопленную ком-

нату. Клавдя с дочкой сидели на полу, на коврике, возле избы, выстроенной из кубиков. В избе был слон — голова его с блестящими бусинками-глазами торчала в окошке, у хобота был насыпан овес.

— Заходите, заходите,— сказала Клавдя, опять краснея и стараясь закрыть юбкой ноги,— мы здесь дом построили.

— Клавдя,— сказал Жмакин,— поедem сегодня в город, в театр.

Она молчала, потом осторожно отвернулась.

— Не хочешь? — спросил он.

— Почему,— сказала она,— только в какой театр?

— В любой.

— У вас билетов еще нет?

— Купим,— сказал он,— в чем дело! Пара пустяков.

Он стоял, не зная, что делать в этой маленькой, ярко освещенной и тепло натопленной комнатке. Даже руки ему было некуда девать. Девочка смотрела на него серьезными круглыми глазами.

— Как тебя зовут? — спросил он, садясь на корточки и разглядывая ребенка так же, как разглядывал бы мышь или ящерицу.

— Мусей ее зовут,— сказала мать.

Жмакину показалось, что он уже достаточно поговорил с девочкой; он поднялся и спросил, не пора ли уже собираться. Сговорились, что он будет ждать Клавдю на станции; вместе выходить не стоило — Корчмаренко задразнил бы потом.

— Он привяжется, так не спасешься,— сказала Клавдя, не глядя на Жмакина,— засмеет до смерти.

— Ну да,— сказал Жмакин, чтобы хоть не молчать.

Она погладила дочку по голове, потом спросила:

— Вас звать Лешей, а в паспорте написано Николай. Почему это?

— С детства Лешей звали,— спокойно сказал он,— сам не знаю почему.

Она все гладила дочку по голове.

— Ну ладно, идите,— наконец сказала она,— уже время собираться.

— Да, время.

Он побрился у себя в комнате, пригладил волосы перед зеркалом и ушел на станцию. Уже звезды проступали, все было тихо вокруг, все присмирело, только снег едва поскрипывал под ногами.

Жмакин, шел, потряхивая головою, чтобы не думать ни о чем. А вдруг он встретит Лапшина в театре? Или Окошкина? И, усмехаясь, он представлял себе, как все это будет выглядеть

в глазах Клавди. Но ему совсем не хотелось усмехаться. Он вздохнул, сплюнул. В калитке показалась кошка, видимо, хотела перебежать дорогу. Он крикнул на нее, хлопнул в ладоши и побежал вперед сам, чтобы она не успела, потом оглянулся и обругал ее, уже сам стыдясь позорного своего поведения. К тому же кошка была с белыми пятнами, так что и беспокоиться не стоило. «Чем кончится вся эта волынка,— думал он, покуривая, на станции,— когда она кончится?» Уже зажигались в домах огни. Тихо, мерно, уютно гудели в морозном воздухе провода. Он приложился ухом к телеграфному столбу, как делывал в детстве,— гудение усилилось, стало мощным, вибрирующим. «Эх, ты, Жмакин, Жмакин,— с тоскою и злобой думал он,— пропала к черту твоя жизнь, расстреляют, отправят пастись на луну. Сегодня еще переночую и завтра переночую, а послезавтра уже надо уходить, иначе возьмут. А может, не возьмут? Нет, возьмут, обязательно возьмут. И Лапшин спросит: „Ну что, брат, почудил?“»

Он сжал кулаки в карманах пальто и оглянулся,— на мгновение показалось, что они уже приближаются, что они сейчас возьмут, сию секунду! Но их не было, по перрону шла Клавдия в белом беретике, в шубе с маленьким воротничком, в постукивающих ботах. От растерянности он пожал ее руку. Поезд, лязгая замерзшими буферами, остановился. Они влезли в вагон, набитый до отказа. Клавдию прижали к Жмакину. Он обнял ее одной рукою, она робко взглянула на него, но ничего не сказала. Их слегка покачивало, свечи едва мерцали в грязных фонарях, пахло военными шинелями, духами, пивом, вагоном. Жмакин поглядел на нее сверху — она точно бы дремала.

— Клавдия! — негромко позвал он.

Она опять робко на него поглядела и медленно улыбнулась. «А что, если ей все сказать,— подумал он,— сказать как, почему? И со слезой? Пожалобнее».

— В какой же театр поедем? — спросила она.

— В любой,— сказал он с таинственной интонацией в голосе,— в какой хочешь.

— Ах ты, Леша-Николай,— ответила она и сильно, с ловкостью высвободилась из его руки. Выражение ее лица было по-прежнему робким.

Нужно еще было придумать, в какой театр пойти. Он не знал театров, а у Клавди спрашивать, казалось, не следовало.

В «Мюзик-холле» уже не было мест. Театрик в «Пассаже» показался им обоим скучным, а Жмакину очень хотелось, чтобы это их посещение театра оказалось праздничным и как можно более шикарным.

Возле «Пассажа» на улице Ракова они постояли, подумали. Клавдия улыбалась. Жмакин хмурился.

В Михайловском тоже не было билетов. Жмакин долго приставал к кассирше и лгал, что приезжий, но кассирша даже не слушала, пила в своем окошечке чай и разговаривала по телефону. Клавдия все улыбалась, глядя на Жмакина.

У бывшей Думы Жмакин нанял такси, и они поехали в Мариинский театр. Клавдия сидела в уголке, глаза ее непонятно блестели. Жмакин подвинулся к ней совсем близко и со зла обнял ее тем привычным жестом, которым обнимал уже многих девок в своей жизни. Она ничего не сказала, отодвигаться ей было некуда — едипственное, что она могла сделать, это дать ему по морде, но она этого не делала. Свободной рукой он погладил ее по колену и немного выше — там, где кончается чулок. Юбка была из тонкой шерсти, и он ясно чувствовал конец чулка, потом гладкую кожу, потом резинку трусиков.

— Пусти-ка,— сказала она.

Он с трудом оторвал руку от ее колена, она что-то поправила, резинка щелкнула, и такси сразу остановилось. Это был Мариинский театр. Расплачиваясь с шофером, он внезапно вспомнил, что здесь года четыре назад брал в угловом доме квартиру и что дело оказалось хорошим — легким и удачным. Он посмотрел на дом. Отсюда были видны два угловых окна на третьем этаже.

Он улыбнулся, забыв про Клавдию и про театр. Три шубы взяли, пять костюмов, нажрались шоколаду...

Ах, шоколад мой американский,
А я Гаврюшенька Таганский,
Гаврюшку шлепнули, а я остался.
Не плачь, Гаврюшка, что ты попался.

Жмакин вздохнул, они вошли в театр. Старая женщина в башлыке продавала два билета.

Ах, шоколад мой американский...

— Был у меня товарищ,— сказал он Клавде,— Гаврюшкой звали... Такой деловой парень...

Она молча и деловито снимала шубу, разматывала пуховый платок. Щеки ее были розовы с холоду, глаза блестели, и пахло от нее морозом.

— Ну?

Он взял ее под руку и крепко прижал к себе. Она засмеялась.

— Ну что ты говорил про Гаврюшку? — спросила она. — Доказывай.

— Не хочу. Сдох — и баста.

Жмакин тоже улыбнулся. Они зачем-то подымались по лестнице, хотя места были в партере. Их обогнал человек в гимнастерке военного образца, в сапогах с узкими голенищами. На бегу он обернулся, и Жмакин замер. Это был Окошкин.

— Чего ты? — спросила Клавдя.

Он молчал. Сапоги поскрипывали уже совсем наверху. Или не Окошкин? Если Окошкин, почему без портупей?

— Чего ты? — дергала за локоть Клавдя.

— Паренек один знакомый, — почти спокойно сказал он, — давно знакомый. погоди! — быстро добавил он. — Постой здесь!

И побежал по лестнице, оставив Клавдю внизу. Он должен был знать, Окошкин это или нет. Обязательно. Если Окошкин? Но что, если? Что он может сделать? Уйти? Да, конечно, уйти. Но что сказать Клавде? Леший с ней, не все ли равно! Да, по что ей сказать? Черт ее не возьмет. Но все-таки, что же ей сказать? «Клавдя, — скажет он, — понимаешь какое дело». — «Какое?» — «Это Окошкин». Уши, совершенно как у него, прижаты. Нет, вовсе даже в штатском! А этот с пробором? Нет это другие. А вот тот, что обогнал на лестнице...

Он продирался сквозь людей, сквозь надушенную, праздничную, театральную толпу. Он непременно должен был знать, Окошкин то был или не Окошкин. Вот тот, который обогнал его на лестнице, с таким носом, — Окошкин? Еще одна лестница. На бегу он сунул голову в ложу. Здесь лежали шубы, не в самой ложе, а в комнате за ней. Две дамские шубы и каракулевая жакетка. Эх, Клавде бы такую жакетку! Он услышал бой сердца и звонок, наверное уже не первый звонок. Из ложи доносились голоса, театр шумел и сверкал, — Жмакин все еще разглядывал круглые пуговицы жакетки. Потом немпожко поднял голову. Голые спины женщин и опять театр, противоположная сторона — ложи и часть партера... Какая-то дамочка засмеялась маленьким круглым ртом. Взять? Он сделал легкое движение к жакетке, даже не само движение, а начало его, просто сократились мускулы, приготовившись к движению. Зекс! А если Окошкин? А куда потом деть жакетку? На номер? Зекс, Каин! Он вынул голову из приоткрытой двери, огляделся... Нет, нельзя, нельзя. Коридор уже почти совсем опустел. Старик в галунах смотрит. Нельзя. Он пошел по коридору развинченной походкой — так он любил ходить в минуты особого душевного напряжения. И кто был этот человек в сапогах — Окошкин или нет? Клавдя по-прежнему стояла на лестнице, лицо у нее было растерянное. Он подошел к ней вплотную, увидел ее лоб, ее подбритые брови, ее волосы. Уже совсем пусто было вокруг, только одиночки торопливо пробегали

в зал. Теперь он заметил, что лицо у Клавди вовсе не растерянное, а испуганное.

— Все в порядке,— сказал он,— слышь, Клавденька.

Он в первый раз ее так назвал, и она еще больше испугалась.

— Ну тебя,— сказала она,— дурной!

Взяла его под руку, и они пошли в зал. Дирижер уже стоял за пультом и стучал палочкой. На них шикали. Жмакин огрызнулся на кого-то и наступил на ногу лысому бородатому человеку. Блестели красные пожарные лампочки. Пахло духами, людьми, мехом, краской, клеем. Все шелестело вокруг. Занавес дрожал. Все застывало, напрягалось, приготавливалось для ожидания. Гремела увертюра. Жмакин никуда не смотрел — он закрыл глаза. Наверное, полчаса протянется первое действие. За это время никто не возьмет. Это время можно сидеть спокойно. Можно думать. Можно слушать. Сейчас петь начнут. Можно Клавдю за руку взять. Это время Окошкин тоже не двигается. Слушает, смотрит. Может, глаза закрыл, жаба! Погоди, дай срок, разочтемся на узкой дорожке.

Он сжал Клавдину руку. Тореадор, Тореадор! Дай срок, дай срок! Он вдруг подумал о кокаине — как было бы хорошо сейчас, и все забыть, к черту совсем. Он еще сильнее сжал руку Клавди. Рука была влажной, теплой, и шея Клавди была совсем близко, и вся она становилась с каждой секундой все покорнее и покорнее, а он все больше делался хозяином. Что она, жалеет его или боится, что он пьян, что скандал подымет? Он почувствовал необходимость выяснить все сразу и нагнулся к ее уху, но ничего не выяснил и только сказал:

— Клавденька!

Она не ответила, но он по ее лицу понял, что она слышала. А на сцене что-то творилось, все пели вместе, и женщина с цветком в волосах красиво и ловко танцевала.

В антракте он никак не мог решиться, что делать: то ли остаться на своем месте в зале, то ли выйти в фойе. И там, и тут его мог увидеть Окошкин и взять. Потом он решил, что все равно — возьмет или не возьмет, но это должно так случиться, чтобы Клавдя не видела, и поэтому он отделался от Клавди и пошел по фойе один, стараясь глядеть всем прямо в глаза, — будь что будет. Народ гулял по кругу, Окошкина здесь явно не было. Тогда Жмакин пошел в буфет и у стойки выпил несколько рюмок водки, и коньяку, и даже вина. Он очень волновался и все думал, что же будет с номером от пальто, если его возьмут. Потом решил, что умолит Окошкина разрешить оставить номер на вешалке.

— Еще стопку, — сказал он буфетчице и поглядел на нее так, как если бы она была Окошкиным.

Буфетчица налила.

Он выпил, расплатился и, поеживаясь, встал в сторонке. Ему сделалось совсем невыносимо. Ах, если бы кокаину или морфию! Поеживаясь, сунув руки в карманы штанов, он отправился бродить по театру и сразу же у двери буфета увидел Клавдю в целой компании девушек и парней. Пройти мимо уже было нельзя, потому что Клавдя увидела его и позвала, и ему пришлось подойти. Девушки и парни были с той фабрики, на которой Клавдя раньше работала, и все они с любопытством оглядывали Жмакина. Одна девушка что-то сказала другой, когда он подходил, наверное про него, и обе засмеялись. Какой-то парень, веселый, с плутовским лицом, глядел на Жмакина очень неодобрительно. Клавдя стала знакомить Жмакина со всеми и сама покраснела. Он вынул одну руку из кармана, но так же сутулился и за все время разговора ничего не сказал. Они все стояли у двери в толпе, и тут должен был пройти Окошкин — взять Жмакина на глазах у всех. «Не дамся, — вдруг подумал он, — зарежусь и его порежу. И сам зарежусь, и его...» Он попробовал в боковом кармане нож. Толпа все шла и шла, и было много людей с гладкими волосами, блондинов, как Окошкин, и каждую секунду Жмакин готов уже выпнуть нож и ударить Окошкина — правой рукой от левого плеча наотмашь под дых — насмерть.

Я жулик, и карманник,
И очень веселый молодец,
Но, к моему сожалению,
Мне приходит конец.

Окошкин не шел. Клавдя что-то рассказывала своим подругам и вся разбурчалась, но глаза ее то и дело с беспокойством останавливались на Жмакине. Наконец зазвонил третий звонок. Побежали. На бегу она спросила, что с ним делается.

— Ничего, — сказал он, — ничего, Клавденька.

Впереди было еще самое меньшее полчаса. Это казалось ему очень много. Он опять взял Клавдю за руку и сел к ней поближе; она была разгоряченная, от нее шло спасительное райское тепло, а он мерз и все время чувствовал нож в боковом кармане. Он прижался к ней совсем близко и чувствовал рукой ее грудь, ее тело, тело матери — большое, чистое, горячее.

— Послушай-ка, Клавденька, — прошептал он ей и ничего больше не сказал: показалось, что это уже все.

Потом он с опаской стал ждать конца действия. Он ничего не понимал из того, что происходило на сцене, но ему казалось, что

как только все запоют вместе и оркестр очень громко заиграет, действие кончится.

Назад они ехали тоже в такси, и не до вокзала, а до самой Лахты. Было очень холодно. Шофер попался старый и рассерженный. Тотчас же за лесопильным начало сильно трясти, расхлябанный автомобиль так грохотал, что говорить сделалось решительно невозможно. Клавдия сидела в уголку, поджав ноги и глядя на прыгающие за слюдяным окном снега, на желтую луну, на убегающие назад огни города. Жмакину было плохо. Он закрыл глаза, спрятал руки в карманы, надвинул кепку поглубже. Несомненно, он вел себя глупо, глупее глупого. Клавдия подозревала. Зачем он швыряется деньгами? Вот нанял такси и заплатит рублей сорок, никак не меньше. Что она думает о нем, сидя в углу? Он покосился на нее уже враждебно. Или купил в магазине вина и закусок и дорогих невкусных папирос. И сыру, которого терпеть не может. Зачем? Корзина стояла в ногах, он слегка уперся в нее носком сапога, ее легко раздавить. Автомобиль вдруг стал точно приседать на левую сторону, потом остановился. Шофер велел вылезти. Клавдия уронила перчатку и пагнулась, чтобы ее поднять. Шофер прикрикнул.

— Что? — спросил Жмакин.

— Поторопиться прошу, — сказал шофер, сбавляя тон.

— Просишь? — спросил Жмакин.

— Так точно, прошу, — роясь в инструментах, сказал шофер. Жмакин ему парочно не помог менять резину.

— Мы пойдем, — сказал он, — а вы нас догоните.

И, крепко взяв Клавдию под руку, пошел. У столбиков Клавдия неожиданно и тяжело на него оперлась. По-прежнему она даже не взглянула на Жмакина. Они шли молча. Да и о чем им было говорить? Он спросил у нее, холодно ли ей. Она сказала: «Да, немножко холодновато». Но когда он предложил ей свой теплый шарф, она отказалась. Он старался вести ее побыстрее, чтобы она не очень застыла, но она точно упиралась.

— Устала? — спросил он.

— Нет, — не сразу ответила Клавдия.

Наконец машина догнала их. Они опять сели. Он вдруг почувствовал, что Клавдия дрожит.

— Ну вот, — сказал он, — видишь, теперь простудишься.

Он поднял повыше ей воротник, застегнул пуговицу у горла и обнял ее за плечи. Она прижалась к нему, и он почувствовал, что она вовсе не дрожит, а что плечи ее вздрагивают, что она плачет. С беспокойством, со злобой и с жалостью — на него всегда слезы женщин так действовали — он спросил ее, что с ней. Она не отвечала. Потом высвободилась от него, вытерла

лицо перчатками, высморкалась и опять стала смотреть в прыгающее слюдяное окошко. Жмакин молчал, ничего не понимая. Так они доехали до дому. Пока он расплачивался с шофером, она отворяла двери своими ключами. Он поднялся в мезонин. В печке еще тлели угля. Он подбросил дров, засветил лампу, сел на постель не раздевшись, почувствовав себя очень усталым. Клавдия ходила внизу, умывалась, он слышал плеск воды в кухне и бренчание рукомойника. Потом зашла к нему. Он встал ей навстречу. Она сильно напудрилась и переоделась в домашнее застиранное платье с пояском на пуговках. На плечах у нее был платок.

— Застыла?

Она молча улыбалась. Он подошел к ней вплотную, напряженный, измученный до той черты, за которой начинается сумасшествие, поглядел на нее, потом сказал:

— Давай покушаем.

Она ответила:

— Давай.

Села, сбросила с одной ноги туфлю и спрятала ногу под себя. Он снял пальто, расставил на столике еду, налил водки в розовую чашку, но Клавдия пить не стала.

— И ты не пей, — сказала она, отодвигая от него чашку.

Но он выпил и эту чашку, и еще две. Он очень волновался. Ему все время казалось, что Клавдия встанет и уйдет.

— Ты не скучай, — говорил он ей, — ты кушай. Ты не смотри на меня, что я не кушаю, я когда пью, я не могу кушать. На-ка, съешь яблоко.

Она не ела и улыбалась.

— Что ты улыбаешься, — спрашивал он раздраженно, — чего нашла смешного?

— Так, — отвечала Клавдия.

Водка согрела его, он раздражался все больше, ему не нравилось, что Клавдия улыбается.

— Ничего смешного, — говорил он, наливая в чашку портвейн, — на, выпей.

— Не хочу.

— Дамское же, сладенькое.

— Не буду.

— Тогда я выпью.

— Пей, если дурной.

Он выпил сладкое, противное вино и закурил папиросу. Откосил немного. Алкоголь сделал его вдруг настороженным, подозрительным.

— Ты за мной не следи, — сказал он, — не следи, что у меня много денег. Я на транспорте премию получил и теперь гуляю. Как ты считаешь — могу я гулять на премию?

Клавдия перестала улыбаться.

— Можешь, Коля, — сказала она твердо.

Он взглянул на нее, ему показалось, что она издевается над ним, — почему Коля? И встретился с ее глазами. Теперь он вспомнил, почему Коля.

— А как твоего мужика звали, — спросил Жмакин, — которого ты метлой? Как его звали?

— Алексеем. Лешей.

Он засмеялся и покрутил головой. Клавдия сидела серьезная, кутаясь в платок.

— Дочка спит?

— Спит.

— А мы гуляем, — сказал Жмакин, — верно? Все спят, а мы гуляем. И дочка спит, и гражданин Корчмаренко спит, и Жепька спит. А у нас жизнь вся в огнях.

— Где же ты огни увидел? — спросила Клавдия.

— Все в порядке, — сказал Жмакин, — все, Клавочка, в порядке.

Она внимательно на него посмотрела, потом вздохнула.

— Пьяненький?

Встала, подошла к нему, взяла его за волосы и отогнула ему голову слегка назад.

— Псих ты, — медленно говорила она, — что ты за человек такой? Пьяный, совсем пьяный...

Он закрыл глаза. Ему сделалось легко, немного качало.

— Клавдия, — сказал он, опять открыв глаза, — Клавденька...

Ему захотелось плакать. Она гладила его по лицу, потом он почувствовал, что она целует его мягкими, горячими, раскрытыми губами в щеки, в переносицу, в висок.

— Клавдия, — говорил он тихо и покашливал, — Клавденька, выходи за меня замуж. А? Я тебя с дочкой возьму. И поедем куда-нибудь. На линию. — Он вспомнил это слово и убежденно его повторял. — На липию поедем. А? И на линии, знаешь? Устроимся. Чего тебе здесь?

Он налил себе еще из бутылки и выпил, потом протянул Клавде яблоко.

— На.

Она взяла, смеясь.

— Ешь.

Она откусила.

Жмакин потирал лицо ладонью. Мысли разбегались, он не мог их собрать.

— Я, Клавдя, напился, — сказал он, — но это ничего не значит. Все будет в порядочке... Выйдешь за меня?

— Нет, — сказала она серьезно.

— Почему?

— Не выйду, — сказала она, — ты пьяненький и болтаешь пустяки разные. Иди лучше спать ложись, и я пойду. Ночь уже.

— Ты не пойдешь, — сказал он.

— Почему?

— Ты здесь ляжешь.

Он поднялся и с трудом подошел к ней. Она молчала. Жмакин неловко обнял ее за шею и поцеловал в горячий рот.

— Клавка, — сказал он, — живо!

— Не дури, — строго ответила она, — сумасшедший!

И отошла к печке. Он смотрел, как она швыряла дрова в огонь, как заглянула — хорошо ли горят, как поднялась и поправила платок на плечах. Он сел на постель. Его раздражало Клавдино спокойствие, ее уверенность, неторопливые и плавные движения.

— Поди сюда, — сказал он.

Она подошла. Кровать была невысокая. Жмакин, не вставая, обнял ноги Клавди выше колен. Она уперлась ладонями в его плечи. Он уже ничего толком не соображал, но она все же вырвалась от него и прикрутила фитиль в керосиновой лампе, потом дунула в стекло. Сразу обозначился серебристый квадрат окна. В комнате стало теплее и тихо сделалось так, что Жмакин услышал, как Клавдя расстегивает на себе какие-то кнопки. Одна не расстегнулась, и Клавдя дернула материю с такой силой, что материя разорвалась. Он сидел в той же позе, упираясь руками в колени и глядя в темноту, туда, где, вероятно, раздевалась Клавдя. Она сбросила туфли. Потом он услышал шелестящий, легкий звук снимаемых чулок. Потом что-то стукнулось едва слышно, — вероятно, пряжка от подвязки, и тотчас же Клавдя оказалась перед ним, но он ее не увидел, она встала на кровать, отбросила ногой одеяло и легла, закрывшись до горла.

— Ну, — сказала она, — Коля!

Он разделся и лег с ней рядом, не веря всему тому, что произошло, и немножко уже презирая Клавдю, как привык презирать тех женщин, которые ему отдавались.

— Коля, — говорила она едва слышным шепотом и целовала его в грудь, в шею, в плечи.

Он слышал и не слышал чужое имя, которое она произносила, видел и не видел ее белое, искаженное лицо. Потом она замолча-

ла. Глаза ее раскрылись и вновь закрылись. С каждым мгновением все ближе становилась она ему. Она была близка и дорога ему даже тогда, когда все совершенно исчезло, когда исчез он сам, — она существовала. Он был уже трезв. Ни о чем не думая, легкий, невероятно счастливый, он целовал ее плечо еще дрожащими губами. Потом он закрыл глаза. Он не был более одинок. Сердце его билось все ровнее и спокойнее, он лежал навзничь, вытянувшись, и чувствовал себя и сильным, и добрым — таким, за которым не страшно.

Клавдия вдруг приподнялась на локте и наклонилась над ним. Ее волосы коснулись его лица. Она дышала горячим открытым ртом, он не видел ее, но понимал, что она прекрасна, и обнял ее за шею обеими руками. Он не поцеловал ее, а только прижал ее лицо к своему и заснул так мгновенно, на секунду, и так же проснулся — с тем же чувством легкого и милого счастья. Она принадлежала ему, а он все не мог поверить этому. Она понимала это и, ничего не говоря, без слов, сама собою доказывала ему, что он не прав, что она вся здесь, что больше ничего не остается, что ничего решительно не скрыто от него, что он единственный и настоящий хозяин. Непонятным своим женским чутьем она угадывала, что ему неприятно имя Николай, и перестала его так называть. Он был горд, зол и одинок, и, несмотря на жалость к нему, она ничем не показала, что жалеет его и понимает, как ему плохо.

Так прошла почти вся ночь. Под утро Клавдия встала, накинула на голое тело платье и босиком пошла вниз посмотреть на дочку. Дочка спала с бабушкой, и там все было благополучно. Клавдия вернулась, но Жмакин не мог ее отпустить, и она опять легла к нему. Он был теперь не одинок, так казалось ему порою, но тотчас же он чувствовал себя таким одиноким, каким никогда еще не был. И это чувство одиночества возникало из-за Клавдии, из-за того, что он все ей лгал и думал, что она верит его лжи. А она не верила, но не смела сказать, что не верит, чтобы не оскорбить его или не напугать, — он был еще далек ей, хоть она и знала, что он будет ей близок, что он раскроется, что она заставит его все рассказать, и если это рассказанное окажется плохим, то она заставит его все переменить. Огромная сила любви и нежности к нему могла сокрушить горы, и Клавдия уже ничего решительно не боялась; нужно было только немного выждать, и все тогда наладится, и все будет превосходно, отлично. Она знала, что он счастлив с нею, и благодарен ей, и удивлен, что такое бывает на свете — у него еще не было своей женщины, своей любви, — что это только сейчас ему открылось, что он плохо верит всему этому. «Ничего, — думала она, целуя его, и разглаживая

ему волосы, и глядя в его зеленые, потерянные сейчас глаза, — ничего, все будет иначе, все будет лучше, все будет прекрасно...»

Она ушла, когда уже рассвело, — ослабевшая, со звоном в ушах, счастливая. Она оставила его спящим. Он лежал навзничь, его рот был полуоткрыт, светлые, тонкие волосы спутались. Она укрыла его одеялом по голую татуированную грудь, поплакала немного и пошла.

Днем она его кормила. Дом был пуст, все разошлись — Корчмаренко на завод, Женька в школу, старуха уехала в город за мясом. Жмакин и Клавдия остались вдвоем.

Он еще спал, пока она жарила ему большую сковороду картофеля. Она начала жарить вчерашний вареный картофель целиком, но потом передумала и, обжигая пальцы, порезала каждую картофелину на ломтики, так, чтобы жареные ломтики были топкими и рассыпчатыми. Почистила селедку, посыпала ее резаным луком и заправила постным маслом с горчицей. Приготовила чай, наколола сахар. Вынула из горки розовую скатерть, покрыла стол и пошла наверх будить Жмакина. Солнце светило ему в лицо, но он спал.

Они сидели за столом друг против друга, и им совершенно нечего было сказать друг другу. Жареный картофель еще шипел на сковороде. Голова у Жмакина была мокрая. Он ел, опустив глаза, держал ломоть хлеба у подбородка — по-крестьянски. Она украдкой поглядывала на него, и он на нее, но оба по-разному. Она была в клетчатом стареньком платье, немного севшем от стирки и обтягивающем, и он видел ее широкие плечи и высокую грудь, а когда она выходила на кухню, он видел ее прямые уверенные ноги с узкой ступней и ее бедра и не мог поверить, что она была с ним в одной постели и принадлежала ему, и была раздета, и он мог делать с ней что ему вздумается. Клавдия же, глядя на него, была решительно убеждена в том, что произошло, и видеть его ей доставляло радость, потому что он ей принадлежал и потому что она решительно все помнила, даже такие подробности, которые помнят и могут помнить только очень любящие женщины; ей доставляло радость видеть его еще и потому, что он был смущен, и неуверен, и даже растерян сейчас, а все это были признаки любви, потому что если бы он ее не любил, то зачем было бы ему теряться от звука ее голоса, или не поднимать на нее глаз, или отвечать на ее вопросы невпопад.

Он пил много чаю и между глотками размешивал ложечкой в стакане, куда он забыл положить сахар. Она сказала ему об этом, он ничего не ответил. Потом ушел к себе наверх и долго

ходил там из угла в угол, а Клавдя слушала — сидела в своей комнате на полу, на лоскутном Мусином коврике, и напряженно вслушивалась, ни о чем не думая, только представляла его себе.

Уже под вечер он спустился из мезонина и вышел на крыльцо. Она выскочила за ним без пальто, даже без платка. Морозило, и небо было красное, предвещавшее стужу. Жмакин стоял на сложенных у крыльца столбах и курил. Небо было такое красное, что походило на пожар, и рядом за забором что-то визжало так, что Клавде вдруг сделалось страшно.

— Николай! — крикнула она.

Он услышал и подошел. Пальто на нем было расстегнуто, он косил и вдруг неприятно и коротко улыбнулся.

— Свиныю бьют, — сказал он и кивнул на забор, — бьют, да не умеют... Вот она теперь убежала и блажит...

Он говорил, не глядя на нее, и она поняла, что он пьян.

— Напился, — сказала Клавдя с укоризною, — один напился! Стыд какой!

Она дрожала от холода и от обиды. Неужто ему так худо, что он напивается в одипочку?

— Пойдем, — сказала она, — ляжь! Я тебя уложу! Куда ты такой...

Жмакин засмеялся.

— Я свободная птица, — сказал он, — меня на сало нельзя резать. Куда хочу, туда лечу. А ты иди в дом, застынешь!

Он легонько толкнул ее, и она увидела в его помертвелых от водки глазах выражение страдания.

— Пойдем, ляжешь, Коля, — дрогнувшим голосом сказала она, — пойдем, Николай.

Она взяла его за руку, но он вырвался и зашагал к шоссе. Не раздумывая ни секунды, Клавдя вернулась в дом, надела шубу, повязалась платком и побежала за Жмакиным по шоссе. Он шел к станции, черная маленькая фигурка на сверкающем багровом закате, слишком свободно размахивал руками и был до того несуразен и жалок, что Клавде показалось, будто у нее разрывается сердце от сострадания к нему. Несколько раз она его окликнула, но он не слышал, все шел вперед. Наконец она его догнала, совершенно уже задыхаясь, и схватила за рукав. Он лениво улыбался. От морозного ветра его искалеченное севером лицо пошло пятнами.

— Пусти! — сказал он.

Клавдя молчала, задыхаясь.

— Пусти! — повторил он, потряхивая рукою.

Мимо проезжал обоз — сани, покрытые рогожами, скрипя полозьями, тащились к Ленинграду.

— Посторонись, — сказал Жмакин Клавде и, схватив ее за руку, отодвинул в сугроб, иначе лошадь ударила бы ее оглоблей.

Клавдя посторонилась и еще раз почувствовала, какой он сильный, Жмакин, какие у него сильные пальцы, и все вспомнила. Она еще задыхалась от бега по шоссе и от ветра, хлеставшего в лицо, у нее звенело в ушах, а тут скрипели полозья, и они оба, и Клавдя и Жмакин, стояли в сугробе, и он мог уйти и пропасть. Она знала, что без нее теперь он может пропасть, она должна была его не пускать, пока все не образуется, она не знала — ни что могло образоваться, ни как его удержать, у нее не было таких слов, которые бы его удержали, но она непременно должна была его удержать, и она его держала просто рукою, вцепившись в него, и говорила:

— Ты не ходи, Николай. Ну зачем тебе в город? Чего ты там потерял? Ты же пьяный. Гляди, едва ноги держат. Пойдем домой, ляжешь. Выспишься, а там видно будет. Но только сначала выспишься. Нельзя пьяному. Слышь, Коля!

Она теребила его, стоя в сугробе и чувствуя, как мокнут чулки, и никуда не шла, хотя обоз уж давно проехал, боялась просто переменить позу, боялась выпустить его рукав из своих замерзших пальцев, боялась, что он отвернется и, не видя уже ее лица, уйдет и исчезнет навсегда.

— Не ходи ни за что, — говорила она, — ты же скандальный, еще напьешься, скандал устроишь и попадешь в милицию.

— В милицию? — спросил он.

— Да, в милицию, — говорила она, — и протокол там на тебя напишут...

— Протокол, — вдруг перебил он ее и близко взглянул ей в лицо, — протокол...

— Да, протокол, — говорила она, думая, что напугала его, — протокол именно напишут и перешлют на работу, на твой транспорт...

— Дура ты, дура, — тихо и почти ласково сказал Жмакин, — чем меня пугаешь, чем меня на пушку берешь...

Он глядел на нее трезвыми глазами, и только лицо его, покрытое пятнами, было пьяно, в испарине, напряжено, измучено.

— Хочешь, я тебе все скажу? — спросил он быстрым шепотом.

— Не надо! — так же быстро и испуганно сказала она. — Ничего мне не говори.

— Я — вор! — сказал он, глядя в упор на Клавдино внезапно застывшее лицо. — Я вор-рецидивист, слышишь, у меня судимостей несчетное количество, меня давно расстрелять пора к чертовой матери, слышь, Клавдя?!

Он видел, как она бледнела, и мысль о том, что эта женщина, единственная, которую он любил в мире, сейчас повернется и уйдет и сама выбросит его вещи из комнаты, — мысль эта доставляла ему такую острую боль и вместе с тем такую радость, которой он в своей жизни еще не испытывал. Он знал, что сейчас начнется у него последнее в жизни одиночество и что с уходом Клавди у него не будет никакой ответственности ни перед кем, что в сегодняшнюю ночь он натворит таких дел, которые не снились никаким Лапшиным за всю их многолетнюю практику, что он совершит нынче любое убийство — двойное или тройное, как пишут в протоколах, что он заплатит за свою собачью жизнь, за свою смерть и за то, что Клавдя ему принадлежала и перестала принадлежать, за все унижения, и за голод, и за тюрьмы, и за побег, и за своего мерзавца-отца, и за мать-потаскуху, за все и как следует, сполна.

И те слова, которые он сейчас говорил Клавде, были пачалом его расплаты с людьми, вытолкнувшими его из своей среды; он сейчас ничего не стеснялся, не кокетничал, и не позерствовал, и не играл. Он был тем, чем был на самом деле, он был вором-рецидивистом, много раз судившимся, человеком надломанным и надорванным, он уже ненавидел Клавдю, — она в эти несколько секунд с момента его сознания стала ему врагом, как все те, которые знали, кто он на самом деле, и он ей говорил, как своему врагу, да еще такому, которому правдой можно только досадить.

Они всё стояли на дороге. Солнце уже догорело, и ветер потрясал деревья, с них сыпался снег. Были синие, холодные, ветреные сумерки. Мимо очень быстро проехала красивая легковая машина, освещенная внутри, и Жмакин с ненавистью взглянул ей вслед — в затылки людей, едущих в машине, и опять стал говорить Клавде про себя и про нее, и так как говорить ему было, в сущности, уже нечего, то он вдруг стал бранить Клавдю и издеваться над ней, а она все слушала и только изредка бормотала едва слышно:

— Что ты говоришь, что ты говоришь, ну как тебе только не стыдно...

Ему было очень стыдно, и только поэтому он мог говорить ей о том, что она легла с ним в постель, рассчитывая заработать на нем, как на премированном, загулявшем молодом парне.

— Да не вышло, — говорил он срывающимся голосом, — не вышло, дорогая. Впуталась только в грязную историю. Вот начнут тебя катать по розыску, узнаешь, почем фунт лиха. Ко-о-ля, Нико-о-ла, — кричал он исступленным голосом, передразнивая Клавдю, — а какой я к чертям собачьим Коля, когда я всю жизнь Алешкой был. Заработала на Коле, убила бобра, стерва... В театр

ее води, сушки ей разные... Может, тебе туфли купить? — спрашивал он. — Или шубу? Жмакин может, у него деньги, слава господу, не казенные...

Она плакала. Из ее широко открытых глаз катились слезы, и она не смахивала их и не вытирала, а все глядела ему в лицо с выражением ужаса и сострадания.

— Ну чего? — спрашивал он. — Чего ревешь? Обидели? На любимую мозоль наступили? Все вы бабы... — Он назвал слово, и ему этого показалось мало, он еще уродливо и длинно выругался и опять крикнул, кто она, Клавдя, и кто все женщины, а затем стал убеждать Клавдю пойти с ним к милиционеру — всего только до станции — и сдать его милиционеру под расписку.

— Я не побегу, — говорил он, — ей-богу, не побегу, никак не побегу, а тебе безопаснее. В случае чего записочку — все в полном порядке. Еще похвалят, коробочку пудры подарят, будьте любезны за здоровье преподобного Жмакина. Ну, веди, — кричал он. — Веди меня, давай показывай сознательность...

Он толкнул ее в плечо и дернул за шубу и за конец головного платка, но она не шла, смотрела на него с тем же выражением ужаса и сострадания в глазах.

— С ума ты сошел, — сказала она, почти не разжимая рта, — ну куда я тебя поведу, куда?

Он молчал, потрясенный интонацией ее голоса, — она точно не слышала всего того, что он ей рассказал о себе.

— Ладно, — сказал он, — иди, и я пойду. — Он почувствовал себя вдруг очень усталым. — Иди домой, а я уеду.

— Куда ты уедешь?

Клавдя подошла к нему совсем близко и взяла его пальцами за лацканы пальто.

— Куда ты поедешь, — во второй раз спросила она, — воровать поедешь?

Он молчал.

— Я тебя не отпущу, — сказала она совсем ему в лицо, — тебя из дому не пущу, понял?

Она дернула его за лацканы, и он увидел ее глаза совсем близко от себя. Она дышала часто, и слезы все еще катились по ее щекам.

— Лешка ты, или Николай, или черт, или дьявол, — говорила она, — ты мне все скажешь, и я за тобой в лагерь поеду, а сейчас я тебя никуда не пущу. Слышишь? И не ты будешь меня выбирать, а я тебя выбрала, понял, и теперь ты от меня никогда не уйдешь, а если уйдешь, так я найду, понял? Я тебя выбрала, — повторила она со страшной силой, — и я знала, что ты мне

вещь, и я все понимаю, почему ты кричал сейчас, и все равно тебя не пущу; вот если убьешь, тогда уйдешь. Ну пойдем,— говорила она и тянула его за собой по дороге,— пойдем, дай руку, я тебя за руку возьму, ты же пьяный, погляди на себя, какой ты... Ну иди же, иди, не упирайся...

В ней точно что-то прорвалось, и она, доселе молчаливая, сейчас говорила, не переставая ни на секунду, и тянула его за собою, и в то же время прижималась к его плечу, и заглядывала ему в глаза, и даже смеялась, но слезы все текли из ее глаз, и спазмы порою прерывали голос.

Так, почти силой, она довела его до дома и проводила наверх в комнату, сняла с него, обессиленного, пальто, шарф, кепку, уложила его и еще что-то кричала вниз веселому Корчмаренке, и голос у нее был такой, будто ничего, в сущности, не произошло.

Клавдя опять была у Жмакина. Ночь кончалась, наступало утро. Клавдя, измученная, уснула. Жмакину захотелось пить. Голый, в одних трусах, он спустился ощупью из мезонина, пробрался в кухню, разыскал ковшик и зачерпнул воды из бочки. Он пил жадно и медленно, ковшик был неудобный, вода проливалась и текла по голой груди, по животу. Ему сделалось холодно, он повесил ковшик и вышел из кухни. В передней стоял Корчмаренко. Огромный, он одной рукой поддерживал сползающие кальсоны, в другой у него была свеча. Он был всклокочен и, видимо, выскочил из своей комнаты, заслышав скрип ступеней. «Сейчас врежет»,— спокойно подумал Жмакин и крепче уперся в пол ногами, приготовляясь к драке. Но Корчмаренко не двигался с места и не проявлял даже никаких признаков раздражения. Потом он сунул толстую руку за ворот рубашки и с хрустом почесался. Жмакин моргал. Узкое красное пламя свечи слепило его.

— Ну? — спросил Корчмаренко.

— Чего ну?

— Выбрала? — Корчмаренко кивнул головой на лестницу мезонина.

— Чего выбрала?

— Пошел чевокать, — опять почесываясь, сказал Корчмаренко, — другой бы батька на моем месте так бы тебя шмякнул, а я, видишь? Добродушный.

Жмакин молчал.

— Хочешь пива выпить? — спросил Корчмаренко. — У меня есть пара бархатного...

Жмакин наконец перестал моргать и уставился на Корчмаренку. Но тот внезапно повернулся спиной и, шлепая огромными, немного вывороченными ступнями, пошел в комнату.

— Иди! — сказал он, не оборачиваясь — Иди, потолкуем.

Жмакин пошел. Корчмаренко зажег керосиновую лампешку, вынул из буфета пиво и разлил в два стакана. Подавая стакан Жмакину, он взглянул ему в глаза, потом оглядел все его крепкое, мускулистое тело и сурово сказал:

— Ничего бычок, подходящий.

И, чокнувшись, добавил:

— Я здоровье обожаю, — говорил он, — и человеческий ум за то, что он беспрдельно может узнавать. Мне знаешь какой сон всегда снится? — Он наклонился к Жмакину. — Мне всегда один сон снится — будто бы гора вся в снегу и снег блестит. Эх, брат, вот это сон. — Он засмеялся и шлепнул Жмакина ладонью по голому плечу. — Пей.

Они выпили по второму стакану.

— Хорошее пиво, — сказал Корчмаренко, — верно, хорошее?

— Ничего! — сказал Жмакин.

Они помолчали. Корчмаренко сдул на пол пену со своего стакана и, не глядя на Жмакина, спросил:

— Женишься?

— Она не пойдет, — сказал Жмакин.

— Почему ж это не пойдет?

— Не хочет.

В соседней комнате сонно вздохнул Женька.

— А ты все равно женись, — сказал Корчмаренко, — слышь? Другой такой в целом мире не найти. Как мать-покойница — жинка моя. Знаешь, какая была? — Он усмехнулся. — И вредная, и веселая, и бранилась, и пещи пела. Клавку родила, и молока столько, что еще двоих чужих выкармливала. Не пропадать же молоку.

— Верно, — сказал Жмакин.

— То-то, что верно. Я через нее учиться начал, от стыда. А то я такой был байбак.

Он помолчал, опустив голову и почесываясь.

— А знаешь, как померла? Лежит, умирает, а мне так говорит: «Ты, говорит, конечно, как хочешь — можешь жениться, можешь не жениться, но лучше не женись. Разве после меня можно с какой ни есть красавицей жить?» И сама смеется. Мучается, знаешь, кривится, а смеется. Характер такой. Всего и осталось, что глаза и зубы, а смеется. Все ей смешно. «Не женись, говорит, перетерпишь как-нибудь. Дров, говорит, побольше коли.

А не женись. Я, говорит, тебя опоила, медведя, других таких на свете нет, как я, я, говорит, ведьма, а ты и не знал... Ну, хоть бы ты и знал, все равно бы не поверил. И если женишься, все равно погонишь через месяц или через год». И потом так вот покривилась, и говорит и уже не смеется: «Я, говорит, не хочу, чтобы ты женился. Мне, говорит, очень противно и гадко даже подумать, не женись и все». И действительно, одна она такая была на целый мир. Вот теперь Клавка вся в нее. Знаешь, почему она мужа погнала? Выйти-то замуж вышла, а потом он ей сразу опротивел. Вот она его и пачки гонять. И туда, и сюда. А он пить, а он хулиганить. Она его и выгнала. Вот такая Клавдия моя...

Он помолчал.

— Холодно голому?

— Ничего, — сказал Жмакин, — потерпим!

— Ты на ней женись, — строго сказал Корчмаренко, — она очень сильной души девка. Не веришь?

— Верю.

— Это ничего, что я отец. Я и мужем тоже был. Я понимаю. Я, брат, тебе все с чистым сердцем говорю. Ты человек характера скрытного, да и врешь кое-чего, нет?

— Нет, — сказал Жмакин.

— А мне сдается, врешь, но это пустяки. Клавка лучше меня людей понимает. Она, знаешь, как понимает? Она тихая, тихая, а на самом деле... Чего она — спит сейчас?

— Спит, — сказал Жмакин.

— Ну иди и ты спи, — сказал Корчмаренко, — допьем напоследок.

Они выпили еще по полстакана. Корчмаренко потушил керосиновую лампу и сказал уже в темноте:

— А как вспомню, как вспомню... Не надо было ей помирать. Он зашлепал босыми ногами.

10

Жмакин проснулся оттого, что Клавдия глядела на него.

— Что? — спросил он.

— Пойди в милицию, — сказала она, — иди куда там надо. Скажи — явился добровольно. Ничего не таи, выложи все. Слышишь, Леша?

— Слышу, — угрюмо ответил он.

Она отвела волосы с его лба. Жмакин не глядел на нее.

— А дальше? — спросил он.

— Дадут тебе пять лет или десять — я за тобой поеду. Я всю ночь думала. В лагерь пошлют — в лагерь наймусь. Что, там вольные не нужны? Слышишь, Лешка?

— Ты за мной не поедешь, — сказал он тихо, — не верю я тебе. Это сейчас у тебя в голове такая смесь пошла, а завтра уже и не хватит. «Явись, явись добровольно!» — Он оттолкнул ее от себя и сел в постели. — Я-то явлюсь, меня-то запрячут, а ты — то да се, да маленький ребенок, и до свиданьица, Лешка, вам привет от Клавки. Как-нибудь обойдемся без покаяния — коли ежели нужен, изловят и отправят по назначению.

— По какому назначению?

— На луну.

Он лег на спину и закрылся одеялом до горла.

— И не учи меня, — опять заговорил он, — перековка, то, другое. Сам сдохну. Надоели вы мне все, чтоб вас черт драл, — почти крикнул он, — ну жулик и жулик, ну вор и вор, и кончено...

— Не кончено, — крикнула Клавдя, — не кончено, дурак ты!

Она смотрела на него со злобой, с ненавистью. Губы у нее дрожали. Потом она отвернулась от него и тихо спросила:

— Ты мне не веришь?

Он молчал.

— Не веришь? — опять спросила Клавдя.

— Не верю. — Ему было трудно это сказать, но он сказал и еще повторил громко и внятно: — Не верю я тебе, и пикому не верю, и никогда не поверю.

— Почему?

— Потому что все сволочи и шкуры.

— А ты — хороший?

— Я жулик.

Клавдя замолчала.

— «За тобой в лагерь», — передразнил Жмакин, — какая святая нашлась. Варвара-великомученица.

Клавдя внезапно улыбнулась.

— От дурной, — сказала она, — ну просто психопат!

Оделась и ушла.

Он пролежал в постели до двух часов дня. Дом опустел. Жмакин лежал, курил, думал. В два внизу постучали. Жмакин надел штаны, сбежал вниз и с маху отворил дверь. Вошел милиционер.

— Ломов Николай Иванович здесь проживает? — спросил милиционер.

— Здесь, — сказал Жмакин, — только он вышел неподалеку. Я сейчас за ним сметаюсь. Вы посидите, погрейтесь.

Милиционер потопал сапогами и вошел в комнату. Это был рослый, очень здоровый человек с солидностью в манерах. Пока

Жмакин одевался у себя наверху, он слышал, как милиционер сморкается и покашливает. Надо было еще взять деньги и паспорта — те, другие, краденые. Но тут же ему стало все равно. Он натянул пальто, прошелся по комнате и спустился вниз.

— Так я пошел, — сказал он милиционеру.

— Идите, — солидно ответил милиционер.

Жмакин отворил дверь и вышел на крыльцо. День был мягкий, пасмурный, серенький — вчерашний красный закат наврал. Летели крупные хлопья снега. Жмакин закурил, стоя на крыльце и всматриваясь в конец улочки: нет, Клавди не было видно.

Я плеитую и плеитую,
И всю жизнь мне плеитовать,
И никто не пожалеет,
Когда буду подыхать.

На ступеньках крыльца лежал чистый снег. Жмакин медленно спускался. «Теперь подождешь Ломова, — подумал он без злобы, просто так. — Ломов не скоро к тебе явится». Клавдя не показывалась. Жмакин миновал лавку, потом вернулся и заглянул внутрь — Клавди там не было. Он зашагал по шоссе. Оно было пусто. Все кончилось. Железнодорожные рельсы чернели из-под свежего снега. Вдали шумел поезд. Жмакин встал на колени в снег и прижался шеей к рельсу. Поезд стал еще слышнее. Он поправил колено — было больно упираться в шпалу. «Машинист увидит, — уныло подумал он, — наверняка увидит». Машинист действительно увидел его — дал два коротких предостерегающих гудка. Жмакин встал и пошел в лес. Ему казалось теперь, что он как кусок бумаги — плоский, бессмысленный, жалкий. Он шел по лесу, размахивая руками. Потом он забормотал. Первый раз он подумал про себя, что он страдает и что он несчастен. Главное, ему решительно ничего больше не хотелось: ни отомстить, ни ударить, ни напиться. Ничего. Он вдруг стал задыхаться и сел на груды валежника. Валежник был гнилой и провалился под ним, ноги нелепо поднялись в воздух, пальто зацепилось за ветки, — очепь трудно было подняться. Он пошел дальше, глубже, снег засыпался в туфли. Его поразило: а Клавдя? Волна невыразимой нежности обдала его. Он вспомнил все. Он вернулся, потом опять пошел в лес, потом попал к оврагу и стал слушать: какая-то птичка попискивала. Он собрал немного рассыпающегося в руках снега и швырнул в сторону писка. Птичка все попискивала.

— Все в порядке, — сказал он, согревая дыханием озябшие руки, — в полном порядочке.

И пошел к станции.

Но он запутался и не попал к станции, а вышел на шоссе и по шоссе добрал до Новой Деревни. Он даже не заметил, как добрал,— все время думал о Клавде и о том, что теперь уже все кончено. Он не мог прийти в этот дом,— сейчас там уже все знают, что он жулик и жил по украденному паспорту. Да, Клавдя? Каждую секунду образ ее возникал перед ним. Вот и город. Он заметил, что уже город, только возле буддийского храма. Горели фонари. Он внезапно очень продрог и подумал, что пойдет в баню и там отогреется. «Вымоюсь, выпарюсь, согреюсь,— думал он,— может, чего надумаю».

Ему опять негде было выснаться. Все начиналось сначала. Дома, и люди, и трамваи, и свет в окнах, и милиционеры, и командир, обогнавший его, и седой старик — все это его враги. Он так больше не мог.

— Кончено, — сказал он себе, — амба!

Надо было придумать смерть. Он шел и думал. А Клавдя? Что Клавдя? Надо бы отравы. Он думал об отравках. Какие они бывают? Сулема, что ли? Такая розовенькая. Не дадут сулемы. Если бы был наган, ах, хорошо! Наган — это очень хорошо, превосходно. Стрелять надо в сердце и обязательно из левой руки, уж это точно. Из правой можно не попасть. Опять Клавдя что-то ему говорила. Или, например, Окошкин. У него и маузер, и кольт, и паган. Не говоря о Лапшине. Или из винтовки. В ствол наливается вода. Надо разуться. Как Клавдя интересно разувалась — как-то совсем незаметно. Надо разуться. Ствол надо взять в рот и пальцем ноги нажать крючок. Тоже наверняка.

Он вошел в аптеку и спросил сулемы. Ему не дали. Он долго смотрел лекарства и мыла в витрине. И духи. Ни разу не сообразил подарить Клавде духи. Или коробку с мылом и с пудрой. Вот эту, за сорок пять рублей шестьдесят копеек. Кто это придумал шестьдесят копеек? Он увидел бритвы «жиллет» и долго на них смотрел. Потом вспомнил все. Это очень хорошо укладывалось. Он и согреется, и не надо идти в чужой двор,— очень ловко придумал.

Он купил коробочку лезвий «жиллет» и порошков от головной боли. У него болела голова. Тут же он подумал, что это смешно — проглотить лекарство, а потом зарезаться. И выкинул из трамвая порошки.

Баня была новая, отличная, с колоннами из мраморного, похожего на асфальт материала, с яркими лампами, заключенными в матовые цилиндры, со злым швейцаром в галунах.

— А буфет у вас имеется? — спросил Жмакин, внезапно подумав о водке.

— Наверх и палево, — нелюбезно ответил швейцар.

В буфете Жмакин сел за столик и заказал себе стопку и бутерброд с икрой. Он был один в высокой комнате со стойкой — больше посетителей не было. С голоду и от усталости его разобрало после первой же стопки. «Слаб стал, — укоризненно думал он, — не человек стал, мочалка стал. Пора, пора!»

Ему принесли еще водки, он выпил еще и еще одну стопку заказал. «Теперь сделано, — решил он, — теперь в порядочке».

Но все еще сидел, слабо шевеля губами, прощаясь с чем-то, с каким-то хутором, возникшим вдруг в мозгу, с тихим вечерним полем под мелким дождиком, с уютной комнатой, в которой он юношей играл в шахматы.

Миловидная официантка подошла со сдачей. Он взглянул на ее розовое, сомлевшее от скуки лицо, сделал губами стреляющий звук и поднялся, загремев стулом.

Он был полон чувства свободы.

«Без сожаленья, без усмешки, — в стихах думал он, — недвижим, холоден как лед».

Это была особая стадия опьянения: он сделался таким решительным теперь! Он поднимался по лестнице как никто — уверенно, легко. Ноги сами несли его. И он потешался: Лапшин-то, Лапшин! Пожалуйста, берите Жмакина. Вот он. Хоть пять лет, хоть десять, хоть на луну, хоть налево. И Клавдя! «В лагерь с тобой, туда-сюда!» Извиняюсь, вы свободны. Нам с вами не по дороге. Вам паправо, мне — палево...

А вдруг здесь возьмут?

Опираясь на перила, он подумал.

Вдруг сюда пришел Лапшин? Или Бычков захотел помыться в баньке? Или Окошкин?

«Без сожаленья, без усмешки, — повторил Жмакин стих, — без...»

Нет, не может быть такого случая.

Он вошел в комнату для ожидающих своей очереди.

В ванные кабинки была очередь, небольшая, человек семь. Было жарко, из открытой двери тянуло банным духом, паром, слышался плеск воды, голос банщика:

— Ваши сорок минут кончились, поторопитесь...

Жмакин сел на скрипящий стул под часами-ходиками, громко отстукивающими время. Комната была окрашена голубовато-зеленой краской. Банщик был в халате и в русских сапогах, с длинным острым лицом. Они оба внимательно поглядели друг

на друга. «Ихний, — подумал Жмакин, — лапшинский». Ему сделалось ясно, что банщик — подставное лицо, что на самом деле он вовсе и не банщик, а, скажем, помощник уполномоченного. «А если даже и банщик — то все равно легавый, — думал он, — все они сейчас слегавились». И, встретившись еще раз глазами с банщиком, он ему подмигнул, как жулик жулику — весело, нагло, а в то же время как бы вовсе и не подмигивая.

Настроение у него все поднималось. Рядом сидел человек — тупоносый, обросший щетиной, ковырял в зубах спичкой и читал маленькую книжечку. Он отгораживал от Жмакина входную дверь и сидел в напряженной, не очень удобной позе, видимо рассчитывая взять Жмакина в ту же секунду, когда он встанет, чтобы убежать. «А я вас всех обману, — думал Жмакин, глядя на тупоносого с чувством собственного превосходства и презрения к нему, — я вас всех обдурю, да еще как. Не судить вам меня и не выслать, и над тюрьмой над вашей я смеюсь». Он немножко засвистел сквозь зубы, потому что тупоносый на него покосился, а ему необходимо было показать полную свою независимость. Тотчас же он увидел некоторую растерянность в глазах тупоносого, но приписал ее испугу оттого, что он, Жмакин, раскрыл игру тупоносого, и отвернулся с чувством удовлетворения.

Ожидающие очереди сидели почти полукругом, и Жмакин был вторым от правого конца полукруга. Он закурил и, отмахивая дым ладонью, с точностью выяснил, что все ожидающие очереди имеют отношение к уголовному розыску. «Психую», — на секунду подумал он, но не додумал до конца, отвлеченный видом толстого человека в черном пиджаке и в черном галстуке. Человек этот внимательно и строго глядел прямо в лицо Жмакину своими выпуклыми без блеска черными глазами и одновременно, не отрывая взгляда от Жмакина, шептал на ухо своему соседу — маленькому горбуну, тоже поглядывавшему на Жмакина. И горбун, и толстый в черном чем-то его поразили, он затаил дыхание и отвернулся от них, раздумывая. Они не могли быть оперативными работниками, он понимал это. Кто же они в таком случае? Может быть, это те, которые занимаются наукой, печатают пальцы заключенным и считают приводы и судимости? Интересно стало поглядеть, как будут крутить Жмакину руки.

— Следующий! — сказал банщик.

Из коридорчика бани вышел распаренный дядька и валкой походочкой прошел мимо Жмакина, но не спустился по лестнице, а встал на площадке и закурил. «Грубоватый приемчик», — подумал Жмакин и постарался подавить неприятную пляшущую дрожь, которая то начиналась в нем, то сама исчезала, но справиться с которой он не мог.

— Следующий! — повторил банщик.

Жмакину кровь кинулась в лицо — он встал и неожиданно для себя произнес:

— Следующая моя.

Ему показалось, что все стали переглядываться и улыбаться, и что заскрипели стулья, и ходики защелкали чаще и громче, но на самом деле ничего этого не было, и он вдруг понял, что сходит с ума.

— Восьмой номер, — вслед ему сказал банщик.

— А где восьмой? — машинально спросил он.

— Вот восьмой, — с насмешкой сказал банщик и, обогнав его, раскрыл перед ним дверь.

— Это восьмой?

— Да, это восьмой.

Жмакин молча, как бы в раздумье, стоял перед раскрытой дверью.

— Не правится? — спросил банщик. — Извиняюсь, у нас все кабинки одинаковые.

Жмакин сдержался, чтобы не ударить банщика снизу вверх под челюсть, и вошел в кабинку. Крючок, вырванный с мясом из двери, лежал на решетчатом полу. Жмакин нагнулся, поднял его, подбросил на ладони. Он опять дрожал. Дверь была полуоткрыта. Он думал, морщась от напряжения, зажав крючок в вспотевшей ладони. Потом сообразил. Вынул из кармана финский нож, наметил в двери дырку повыше того места, где раньше был крючок, и стал ввинчивать в дерево основание крючка. Он делал это медленно и с ненужною силой, весь обливаясь едким, мучительно обильным потом и мелко дрожа. Он дрожал до того, что вдруг застучали зубы — сами собою, и он не мог сделать так, чтобы это прекратилось. «Или с голоду или что такое, — силился он объяснить себе свое состояние, — или они меня сейчас возьмут...»

Завинтив крючок до отказа, он попытался закрыться в кабинке, но дверь набухла, и крючок не лез в петлю. Надо было посильнее захлопнуть. Быстро раскрывая дверь, для того чтобы потом с силой притянуть ее к косяку, он внезапно увидел в коридоре того толстого в черном. Жмакин не закрыл дверь и взгляделся. Толстый стоял на белом кафеле, и сзади него тоже был кафель, и сам он — смуглый, в черном — казался вырезанным из бумаги.

— Послушайте, — сказал толстый своим приказывающим голосом, и, выбросив короткую руку из-за спины, сделал шаг к Жмакину. Но Жмакин с размаху захлопнул дверь и забросил крючок. Сердце у него колотилось. Он слышал сухие шаги по кафелю за дверью.

— Послушайте, — повторил толстый и стукнул в дверь.

— Да, — сказал Жмакин.

— Извините, нет ли у вас папироски?

— Папироски у меня нет, — солгал Жмакин, — чего нет, того нет.

Толстый не отходил от двери.

Переждав еще несколько секунд, Жмакин пустил воду в ванну и стал раздеваться. Ужасный страх мучил его. Он обливался потом. Из ванны поднимались клубы пара. Все было враждебно ему, весь мир ополчился против него, все желали ему гибели, все ликовали, что его сейчас возьмут. Толстый стоял за дверью. Банщик распоряжался людьми там, в той странной зелено-голубой комнате. Сейчас здесь будет Окошкин. Вода с хрипом и клокотаньем вырывалась из труб. Он взглянул наверх. Красная лампочка едва мерцала в сыром горячем воздухе. «И подышать в темноте, — со злобою и отчаянием подумал он, — как свинья». И ему представилась та свинья, которую неумело и нелепо резали давеча на Лахте, и красный закат, и лицо Клавди, залитое слезами. «Конец, точка, амба! — думал он, прислушиваясь сквозь вой воды ко всем шумам бани. — Сейчас войдут!» Хлопнула дверь на пружине. И еще раз. «Поперек горла кое-кому Жмакин». Он почти реально видел Окошкина с его легкой походочкой и легкой усмешкой, с его румянцем, молодым, детским еще румянцем, с его узкой, перетянутой английским ремнем талией... Даже остроносые сапоги — их поскрипывание слышалось ему.

— Последнего жулика так не возьмешь, — бормотал он, — ни-ни! Слегавились, сволочи, один Лешка не слегавился, и не продал, и не продаст...

Он рвал на клочки паспорта, которые были в кармане, и все это выбрасывал в маленькую фортку. Потом мокрыми руками он разорвал деньги и тоже выбросил их в фортку.

Я прошу вас, грубый фрайер,
Выйти мне навстречу,
Я марвихер, жулик, мальчик...

У него темнело в глазах от головной боли, от духоты и от желания иметь револьвер, чтобы сначала «пакрошить» всех тех, которые там собираются.

Тюрьма, тюрьма! Твои оковы,
Твои железные замки,
Твои решетки, и засовы,
И часовые, и штыки...

Наконец он нашел в кармане пиджака пакетик с бритвами «жиллет» и сорвал обертку. Каждая бритва была в отдельном конвертике из пергамента, и чувство злобы на всю эту аккуратность охватило Жмакина. Он выбрал одно лезвие и, чтобы не порезать пальцы, снял конвертик только с половины лезвия, на второй же половине устроил из бумаги нечто вроде ручки, какая бывает у чипки для карандашей.

Вода уже была палита; он попробовал, не слишком ли горяча, погою, добавил холодной и, опираясь одной рукой о стенку, а в другой — в пальцах — держа бритву, встал в ванну. Воды было по колено, и, стоя, он увидел свой живот, втянутый и розовый от жары, увидел напряженные мускулы ног. Тотчас же ему вспомнилась Клавдя, и его охватило такое отчаяние и такая жалость к самому себе, что на глазах появились слезы. Потом ему показалось, что Клавдя говорит голосом Лапшина, с его растяжкой:

— Ах ты, Жмакин, Жмакин!

И опять:

— Ах ты, Жмакин!

Но тут же он вспомнил, что за ним следят и могут его взять, подумают, что он уходит в окно, и он решил, что для того, чтобы привести в исполнение задуманное дело, надобно хотя бы свистеть до тех пор, пока хватит сил, тогда они убедятся, что он здесь, и будут спокойно ждать его выхода.

И он засвистел, ровно и не напрягаясь, легонький и вместе с тем вызывающий какой-то мотивчик, какую-то всеми забытую одесскую босяцкую песенку со странными, лихими и паглыми словами:

Тетя, кинь пиджака и возьми меня,
Тетя, я веселый буду для тебя,
Я не сын, не дочка буду для тебя.
Тетя, кинь пиджона — выйди за меня.

Опершись левой ладонью на борт ванны и подняв над головою лезвие, он лег и закрыл глаза. Слезы проступили на ресницах. Он вытянулся так, что хруст прошел по всему телу, и поднес левую руку ладонью к самому лицу. Он сжал кулак. Голубая вена выступила с тыльной стороны запястья. Жмакин все свистел:

Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду...

Он опустил руку неглубоко в воду над грудью, приставил к тому месту, которое только что разглядывал, к голубоватой вене, лезвие и, сделав круглые глаза, не переставая свистеть,

полоснул лезвием что было силы сверху вниз. Боли не было, и он только сбился немного в свисте — повторил куплет:

Тетя, я хороший, вежливый я буду,
Тетя, никогда я это не забуду...

Круглыми глазами он смотрел, как вода сразу же стала превращаться в розовую.

Я хороший мальчик, вам будет приятно,
Если уж возьмете, не уйду обратно,
Я люблю кофейни, крымское винишко,
Не судите строго вашего сынишку...

Переложив лезвие под водой из правой руки в левую, он крепко прижал локоть левой к груди и опять полоснул, и опять не почувствовал никакой боли. Вода все с большей и большей быстротой превращалась в красную, а Жмакин еще ничего почти не чувствовал, кроме легкого онемения в плечах и в кистях рук. «Сначала бы с ногами управиться», — спокойно подумал он и, усевшись в ванне, принялся поднимать и подтягивать к себе ногу так, чтобы перерезать вену возле щиколотки. Но едва только он начал резко двигаться, слабость и немота вдруг до того усилилась, что он на мгновение даже замер. Отвалившись назад, он уронил руки вновь в воду, и вода опять стала краснеть с каждой секундой все сильнее и ярче. Но он нашел в себе силы еще раз сесть и, преодолевая начавшуюся резкую, отвратительную тошноту, нагнуться вперед и совершенно уже немеющей рукой, пальцами, сжимающими лезвие, дотронуться до ноги. Но вода стесняла резкость движения, и он не мог понять, где вена, полоснул просто так, наугад, и еще раз наугад, и еще, и успел сам себе удивиться. Теперь там тоже вода начала краснеть. Несколько секунд он смотрел, потом в глазах у него зарябило. Надо было свистеть, но он уже не мог. На него шла Клавдия в застиранном, узком ей платье. И Лапшин шел. И где-то пели, кричали, смеялись, что-то рушилось, ломалось, клокотала и брызгала вода. Балага протянул ему руку лодочкой. Он безглаголиво закрыл мутнеющие глаза.

— Амба! — сказал он. — Привет от Жмакина.

11

Он очнулся в чем-то белом, ярком, твердом и с пепавистью обвел зелеными, завалившимися глазами часть стены, сверкающий бак, узкую, сутуловатую спину в халате.

Никто не обращал на него внимания.

Напрягая нетвердую еще память, он осторожно вспомнил все то, что произошло с ним в бане. Кажется, он попытался покончить жизнь самоубийством?

Терзаясь стыдом, слабый, зыбкий, с неверным взглядом косящих глаз, он лежал на тележке в перевязочной и заклинал: «Умереть! Ах, умереть бы! Умереть, умереть...»

Кого-то вносили и уносили, на его зелено-серое лицо падали блики от стеклянной двери, и эти блики еще усиливали его мучения. К тому же он был безобразно, нелепо голым и таким беспомощным и слабым, что даже не мог закрыть себя краем простыни. «Ах, умереть бы,— напряженно и страстно, с тоской и стыдом думал он,— ах, умереть бы нам с тобою, Жмакин...»

Он слышал веселые голоса и даже смех, а потом сразу услышал длинный, захлебывающийся, хриплый вой...

— Но, но,— сказал натуженный голос,— тихо мне.

Вой опять раздался с еще большей силой и вдруг сразу смолк.

— Поздравляю вас,— опять сказал натуженный голос.

Сделалось очень тихо, потом раздались звуки работы, топанье ног, шарканье, отрывистое приказание; потом мимо голых ног Жмакина проплыла тележка с чем-то, покрытым простыней. «Испекся»,— устало подумал Жмакин и позавидовал спокойствию того, кто был под простыней.

— Ну, Петроний,— сказали совсем близко от него.

Он скосил глаза.

Высокий сутуловатый человек, еще молодой, с худым и потным лицом, в величественной белой одежде, измазанной свежей кровью, стоял над ним и, слегка сжимая ему руку, считал пульс.

— Ну чего?— сказал он, заметив взгляд Жмакина и продолжая считать.

— Ничего,— слабо сказал Жмакин.

— Вот и ничего,— сказал врач и ловко положил руку Жмакина таким жестом, будто это была не рука, а вещь.— Как фамилия?— спросил он.

— Бессфамильный,— сказал Жмакин.

Врач еще поглядел на него, устало усмехнулся одним ртом и ушел. А Жмакина повезли на тележке в палату. Здесь было просторно, и свет не так резал глаза, как в перевязочной. Он полежал, поглядел в огромное, без шторы, окно, подумал, морща лоб, и уснул, а проснувшись среди ночи, слабыми пальцами снял повязку с левой руки и разорвал свежий шов. Простыня стала мокнуть, а он начал как бы засыпать и хитро думал, засыпая под какой-то будто бы щемящий душу дальний звон и как бы качаясь на качелях... Он думал о том, что всех обманул и убежал и что

теперь его уже не поймать никому никак. А душу все щемило сладко и нежно, и он все падал и падал, пока звон не сомкнулся над ним глубоким темным куполом и пока его не залила черная, прохладная и легкая волна. Тогда он протяжно, с восторгом, со стоном выругался, и к нему подошла сестра.

— Что, больной? — спросила она.

Жмакин молчал. Глаза его были полуоткрыты, зрачки закатились.

Сестра поджала губы и монашьей, скользящей походкой побежала в дежурку. Минут через десять Жмакина с перетянутой ниже локтя рукой положили на операционный стол. Белки его глаз холодно и мертво голубели. Он лежал на столе нагой, топкий, с подтянутым животом и узким тазом, подбородок его торчал, и в лице было лихое, победное выражение.

Ему сделали переливание крови и отвезли в маленькую палату для двоих. На рассвете он очнулся. В кресле возле него дремала сиделка. Старичок, что лежал на второй кровати, умер, пока что кровать заставили ширмой.

— Уберите, — сказал Жмакин сиделке.

Она проснулась, что-то пробормотала и опять уснула. Потом пришли санитары и, смущаясь, торопливо и неуверенно унесли тело вместе с кроватью. Жмакин лежал с открытыми глазами и глядел на мутное окно, на голые ветви деревьев, на спящую санитарку.

Утром санитары поставили новую кровать на место прежней, а на кровать положили парня лет двадцати пяти. У него была раздроблена нога, и звали его Неверов. Санитарка под секретом рассказала Жмакину, что парень этот, Неверов, испытывал какую-то машину, которую сам построил, и что эта машина испортилась и расшибла его самого.

— Небось больше не будет, — сказал Жмакин. — Изобретатели!

Неверов лежал важный и строгий и, несмотря на сильные страдания, совсем не стонал. Лицо у него было детское, пухлое, не успевшее похудеть, только брови были взрослые — густые и сросшиеся у переносицы. Жмакин видел, как в середине дня Неверов, лежа на спине и не закрыв лицо, вдруг закуксился и заплакал, и плакал долго, не утирая слез и беззвучно...

— Болит? — спросил Жмакин.

— Нет, — продолжая плакать, сказал Неверов, — не болит.

Вечером ему, точно мертвому, прислали много белых, печальных цветов.

— Не надо мне вашей чуткости, — сказал Неверов в потолок, — не надо мне...

И почь он тоже не спал — шевелил губами и строго глядел в потолок. А когда Жмакин встал с постели, чтобы взять себе с тумбы у Неверова папиросу, тот сказал:

— Вы что, самоубийца?

Жмакин молчал.

— Глупо, — сказал Неверов и враждебно поглядел на Жмакина. — Небось из-за женщины?

— Нет.

— А из-за чего?

— Иди ты знаешь куда? — сказал Жмакин и, шлепая босыми ногами, отправился к себе.

Утром к Жмакину пришел квартальный. Это был здоровый украинец, с обветренным сизым лицом, хорошо пахнувший мылом и морозом. Поверх милицейской формы, ремней и нагана на нем был халат, и халат его, вероятно, стеснял, потому что квартальный держался очень неестественно, подбирал под себя ноги, говорил тонким голосом и всячески подчеркивал, что он здесь небольшой человек и охотно подчиняется всем больничным правилам.

— Как будет фамилия? — спросил он, присев на край кресла и деловито глядя в лист бумаги, разложенный на папке.

— Бесфамильный, — сказал Жмакин.

Квартальный быстро и укоризненно взглянул на Жмакина, как бы призывая его относиться с уважением к обстановке, в которой они находятся, но встретил насмешливый и недобрый взгляд Жмакина и вдруг сам густо покраснел.

— Фамилия моя будет Бесфамильный, — повторил Жмакин.

— Отказываетесь дать показания?

— Вот уж и отказываюсь, — сказал Жмакин, — никак я не отказываюсь.

— Имя, отчество?

Жмакин сказал.

— Адрес?

— Не имеется...

Квартальный покашлял в сторону.

— Бросьте, товарищ милиционер, — сказал со своей койки Неверов, — разве не видите — он над вами издевается.

— Заткнись, учитель, — крикнул Жмакин, — с тобой здесь не говорят.

Он помолчал и сказал, глядя в сизое лицо квартального:

— Пиши: довел меня до ручки начальник бригады уголовного розыска Лапшин Иван Михайлович. Записал?

— Товарищ Лапшин? — удивленно и грозно сказал квартальный.

— Оп.

— Ладно,— сказал квартальный,— когда такое дело, я товарищу Лапшину лично позволю.

Лицо его выражало возмущение, он встал и, скрипя сапогами, ушел из палаты. А Жмакин нажал кнопку звонка и не отпускал ее до тех пор, пока не прибежала сиделка.

— Дадут здесь когда-нибудь завтрак? — срывающимся от бешенства голосом спросил Жмакин. — Или больные подыхать должны?

— Выпишите его из больницы,— сказал Неверов сиделке,— он кусается.

Он спал и проснулся оттого, что его окликнули по фамилии. Были сумерки, и, привстав в постели, Жмакин не тотчас узнал тяжелую фигуру Лапшина. Спросонья Жмакина разморило, он был потен, сердце его тяжело билось. Неверов спал, пакачапный морфием, среди своих белых покойницких цветов.

— Здравствуй, Жмакин,— сказал Лапшин и грузно опустился в кресло.

— Здравствуйте, товарищ пачальник,— сказал Жмакин.

— Болеешь?

— Да, выходит так.

— Табак здесь нельзя курить?

— В рукавчик можно,— сказал Жмакин,— осторожноенько.

— Тогда не буду,— сказал Лапшин.

Он молчал, и в сумерках нельзя было понять — серьезно его лицо или он улыбается.

— Так-то, Жмакин,— сказал Лапшин, и Жмакин уловил в его голосе оттенок брезгливости.

Опять замолчали. Неверов тяжело всхлипнул во сне и заметался на кровати.

— Что за человек? — спросил Лапшин.

— Герой человек,— напряженно усмехнувшись, сказал Жмакин,— чего-то там испытывал, машину какую-то, она его и покалечила. Теперь лежит — психует.

— Ишь,— неопределенно сказал Лапшин. — А ты здесь за кого? — спросил он вдруг.

— За человека,— сказал Жмакин.

— А, — ответил Лапшин. — И женат? Я слышал, женат. Идет такой слух, будто в Лахте ты женился. С ребенком взял. Верно или нет?

Сердце у Жмакина заколотилось, но он зевнул с видимым равнодушием и выждал немного. «Куда бьет, — подумал он, — ну ладно, поглядим».

— Я не женат,— сказал Жмакин,— но с девочкой с одной спутался, это верно.

Лапшин удовлетворенно кивнул головой.

— Клавой звать,— продолжал Жмакин,— ничего девочка, порядочная. Семья у ней, папаша, все честь по чести. Некто Корчмаренко — папаша, представительный мужик, член партии...

— Какой партии? — спросил Лапшин.

— Как какой? Коммунистической партии,— сказал Жмакин,— можете проверить...

— Да, да,— сказал Лапшин,— пу?

— Всего и дела,— сказал Жмакин.

Лапшин вздохнул, почесал голову и быстро спросил:

— Жмакин, ты что про меня врешь?

— Да со скуки,— сказал Жмакин,— скучно мне, товарищ начальник.

— Будешь работать?

— Не буду,— сказал Жмакин.

— Ну и расстреляем к черту,— сказал Лапшин холодным и злым голосом,— паразит какой принципиальный нашелся. Не буду, не буду... Отец и мать работали?

— Матка моя, извиняюсь, была проститутка,— сказал Жмакин,— называлась Вера-Кипяток — не слышали? А папаша у меня был мерзавец...

Лапшин молчал.

Жмакин сел в постели и засмеялся.

— Я имею наследственность — не дай бог,— сказал он,— с меня взятки гладки. Один научный работник в одном детском доме при виде меня прямо-таки головой покачал. Не верите?

— Верю.

— Вот какие дела,— сказал Жмакин.

— А почему ты зарезался? — спросил Лапшин.

— Надоело.

— Что ж тебе надоело?

— Жить так надоело.

— Вон что,— как бы с сочувствием, но и с прежней своей брезгливостью произнес Лапшин,— стало быть, не хочешь больше жить?

— Не хочу.

— Ты не обижайся,— сказал Лапшин,— я к слову.

В палате совсем стемнело. Лапшин поднялся, разыскал ощупью выключатель, зажег свет и опять сел. Неверов застонал и закричал во сне. Жмакин с ненавистью покосился на его постель.

— Ну, Алексей,— твердым и властным голосом вдруг сказал Лапшин,— давай рассказывай все твои обиды. С чего у тебя началось?

— Что началось?

— На дело с чего пошел?

— На дело? — усмехнувшись, спросил Жмакин.— На дело я пошел, товарищ начальник, исключительно с недоедания.

— Ну-те,— подбодрил Лапшин.

— А чего говорить,— сказал Жмакин,— чего время портить. Ладно.

— Ты ж в комсомол должен был вступить,— сказал Лапшин,— а, Жмакин?

— Может, теперь примете?

Жмакин засмеялся, вытер рот ладонью и покрутил головой...

— Ладно,— сказал он,— спасибо, товарищ начальник, что зашли. Денька через три выпишусь из больницы, заявлюсь к вам, сажайте. Кончился Лешка Жмакин. А беседы наши ни к чему. Вы, начальник — железный человек, я — жулик, слабый мальчик. Пути у нас разные. Подарите трояка на папиросы — курить нечего, и на трамвай нет к вам ехать. Последний раз на трамвае, там на автомобиле будете катать. Верно?

Лапшин спокойно вынул бумажник, достал из бумажника повенькую трешку и положил ее на тумбочку. Потом наклонился к Жмакину и спросил:

— Ты Наума Яковлевича Вейцмана знаешь?

— Какого Вейцмана?

— Такого Вейцмана.

— Вейцмана я знаю,— страшно бледнея, сказал Жмакин,— я, товарищ начальник, его очень сильно знаю...

— Ну? Что за человек? Хорош? Плох?

— Гад,— сипло сказал Жмакин.

— Почему гад?

— Говорю, гад,— крикнул Жмакин,— и точка! Чего вы меня пытаете? Раз говорю, значит знаю.

— Что ты знаешь?

— Все знаю.

— Ты его видел?

— Видел.

— Он у меня сидит.

— За что?

— За хорошие дела.

— Бросьте шутить начальничек,— сказал Жмакин,— страшные шутки ваши.

— Я не шучу,— спокойно сказал Лапшин.

— Добили меня,— сказал Жмакин,— не знаю теперь, что делать.

— Поправляйся,— сказал Лапшин, вставая,— там поглядим. Поправишься, приходи ко мне.

— В тюрьму?

— И в тюрьме люди живут.

— А Клавку мою вы вызывали?

— Зачем мне твоя Клавка,— сказал Лапшин,— и без нее тебя пашли.

— Сам пашелся.

— Все едино,— сказал Лапшин,— сам нашелся, мы нашли. Ну, будь здоров.

— Доброго здоровья,— сказал Жмакин.

Проснулся Неверов. Жмакин, сидя в постели, пил чай из большой кружки.

— Здорово, Неверыч,— сказал он. — Как делишки?

— Ничего,— сказал Неверов.

— Неверыч,— сказал Жмакин,— слушай блатной стих. Хочешь?

— Валяй,— сказал Неверов.

— Ладно, не буду,— сказал Жмакин,— ты и так не жилец.

— Как раз жилец,— сказал Неверов.

— А по-моему, умрешь,— сказал Жмакин,— лично мне кажется, тебе никак не выжить.

— Иди ты,— сказал Неверов.

Попили чаю, покурили. Все тише и тише становилось в клинике, только в конце коридора иногда трещали электрические звонки.

— Так-то, Неверыч,— сказал Жмакин,— ты на меня не обижайся. Ты псих, я псих, людям знаешь как живется? Лихо.

— Да?

— А чего,— сказал Жмакин,— дурак пляшет, дураку что... Но я лично не пляшу. Ты женатый, Неверыч?

— Нет, не женатый,— сказал Неверов.

— Балуетесь?

Неверов промолчал. Ему странно было глядеть на Жмакина и слушать его.

— Я тоже не женатый,— сказал Жмакин,— но есть у меня одна девчонка... Клавочка...

Он покрутил головой и сел на край постели Неверова. Волосы его спутались, зеленые глаза блестели, как у пьяного, лицо было бледно.

— Я сам лично жулик,— сказал он,— но это ничего. Люди всякие бывают. Я именно и есть такой всякий человек. Понял? Так вот, Неверыч, Клавка. Что это я начал?

— Тебя как звать? — строго спросил Неверов.

— Жмакин моя фамилия.

— Иди, Жмакин, спать,— сказал Неверов,— не правишься ты мне сегодня. Бешеный какой-то.

— Ну да!

— Иди, иди,— сказал Неверов,— я психопатов не люблю.

Но Жмакин не ушел. Поджимая под себя босые ноги и кутаясь в одеяло, он рассказывал про себя, про Клавдю, про Лапшина, про Хмелю и про многое другое. Речь его была почти бессвязна, движения резки и отрывисты, глаза блестели. Потом он стал заговариваться. Наконец заплакал. Неверов позвонил, прибежала сиделка, потом сестра. Жмакин, босой, с одеялом в руках, ходил по палате, плакал навзрыд и говорил такой вздор, что никто его не понимал. Позвали врача.

— Ах, я не сумасшедший,— внезапно о чем-то догадавшись, воскликнул Жмакин,— какой я сумасшедший. Я расстроился, мне больно, сердце у меня щемит.

И, встав в позу, жалкий, худой и желтый, прочитал стих:

В саду расцветают черешни и вишни,
И ветер стучится в окно,
А я, никому здесь не нужный и лишний,
По шпалам шатаюсь давно.

— Вот каким путем,— сказал он,— вот таким именно путем.

Его начали уговаривать, он сжался, сел на свою постель и заплакал.

— Не в том дело,— говорил он, кося зелеными, запавшими, тоскующими глазами,— слышь, вы? Не в том же... Щемит сердце у меня...

Под утро два дюжих санитаров положили Жмакина на носилки и понесли по коридорам клиники. Он лежал на спине, лицо у него было покорное, в глазах стояли слезы, всем встречным он виновато улыбался. Возле подъезда, под медленно падающими хлопьями снега, урчала коричневая машина санитарного транспорта. Носилки со Жмакиным вдвинули в машину, один санитар сел напротив и положил руку Жмакину на грудь. Жмакин вздрогнул и испуганно улыбнулся, машина двинулась по снежным ухабам. Жмакин сел, но санитар вновь его уложил.

— Хорошо, хорошо,— сказал Жмакин и закрыл глаза.

На третьей неделе жизни Жмакина в больнице для душевнобольных к нему приехал Лапшин.

Жмакин вышел к гостю в комнату для свиданий. Лапшин сидел на стуле, широко расставив колени, в одной руке держал пакетик, в другой незакуренную папироску. Лицо его, сизое от мороза, выражало добродушное любопытство. В комнате было пусто и холодно, дежурный санитар со строгими глазами прогуливался возле стены.

— Да вот, запсиховал,— виновато и медленно сказал Жмакин,— получилась петрушка.

Он присел рядом с Лапшиным. За это время лицо его пожелтело и округлилось, выражение глаз стало туповатым, и от прежней резкости и порывистости не осталось и следа.

— Болееешь? — сказал Лапшин.

— Вроде того,— сказал Жмакин.

Ему, как во все эти дни, хотелось плакать, и тоска щемила душу; он отвернулся от Лапшина и глазами, полными слез, стал смотреть в окно. Лапшин напряженно посапывал за его спиной. Пока Жмакин плакал, пришел на свидание сумасшедший шахматист Кристапсон, потом пришел жалкий человечек Ваня Некурихин, заболевший манией величия, потом пришел толстый и бурно веселый отец большого семейства Александр Григорьевич, коллекционер, очень надоедливый и шумный. Кристапсон, розовый, гибкий, с блестящими глазами, принялся что-то объяснять своей миловидной жене, Александр Григорьевич бурно здоровался с семьей, Ваня Некурихин скомацдовал: «Смирно!» — и тотчас же так разбушевался, что его увели. Народу было все больше и больше, комната свиданий гудела ульем.

— Ну ладно,— сказал Лапшин,— возьми гостинцев. Мне схать пора. Тут сотня папирос, лимон, чай да леденцы.

Он подал Жмакину горячую сильную руку, поднялся и обдернул гимнастерку.

— Клавдю к тебе прислать? — спросил он.— Была она у меня. Ничего.

— Не надо,— с трудом сказал Жмакин.

— А может, прислать?

— Не надо,— вздрагивая подбородком, повторил Жмакин.

— Не надо, так не надо,— сказал Лапшин.

К весне безразличие и тупость стали покидать Жмакина. Он вдруг заметил погоду, заметил соседа по койке, заметил врача, который его лечил, походил по коридору, поглядел на Кристап-

сона, поспорил с санитаром. На прогулке он больше не сидел в шезлонге и не плакал, а ходил вместе со всеми валким, не совсем твердым шагом, вдыхал холодный воздух, прислушивался к дальним гудкам автомобилей, к скрежету трамваев за высокой кирпичной стеной...

Морозило, суетливо кричали галки. Жмакин ходил по парку, задира голову, глядел вверх. С высоких сосен мягко облетал пушистый снег. Похожий на шимпанзе кривоногий психиатр, стоя с ним рядом, негромко говорил ему:

— Все пройдет, все образуется. Когда вас выпишут отсюда, позвоните мне по телефону. Я очень люблю разговаривать со своими бывшими больными. Не пейте водки. Если вы забежите ко мне, мы поболтаем. Курить надо не много, чуть-чуть. А лучше и совсем не курить. Вы кто по специальности? Вор?

— Так точно,— сказал Жмакин.

— Хорошо бы бросить,— сказал психиатр,— вы первый субъект, надо бросить. Перенапрягаетесь.

— Мы в тюрьме отдыхаем,— сказал Жмакин,— наше дело имеет отпуск.

— Это верно,— сказал психиатр.

Они еще походили, потом посидели на скамейке. К ним подсел Подсоскин, седенький музыкант, автор всего написанного композитором Чайковским.

— Ну что, молодые люди,— сказал Подсоскин,— дышим?

— Дышим,— ответил Жмакин.

— Дышите, дышите,— сказал Подсоскин,— вода и камень точит. Я вам всем горлышки перегрызу, в могиле не подышите.

Врач сидел нахохлившись в своей меховой круглой шапке. Коричневые его глаза поблескивали, как у зверя.

— Подсоскин сутяга, Подсоскин жулик,— скрипучим голосом опять заговорил музыкант,— но у Подсоскина выдержка, терпенье и бешеный темперамент. Для Подсоскина нет невозможного. Так-то вот!

Он со значительным видом выставил вперед челюсть и ушел. Жмакин уныло смотрел ему вслед. А вечером он вновь лег в постель, подложил руки под голову и задумался. И ночью опять плакал.

Наступила весна.

Как-то ранним апрельским утром Жмакин, гуляя по больничному парку, забрел в мастерские, в которых работали некоторые больные.

Слесарная, в которую он вошел, была длинным, светлым и узким сараем. Здесь работало всего двое: высокий, бледный старик

в спесовке и юноша с выпуклым лбом, синеглазый, в толстовке и в сапогах.

— Милости прошу к нашему шалашу,— сказал юноша в толстовке.

— А чего у вас в шалаше?— спросил Жмакин улыбаясь.— Какой ремонт делаете?

— По хозяйству,— сказал бледный старик,— хурду-мурду починиваем. Паять-лудить...

Жмакин, по-прежнему улыбаясь и вспоминая детство, взял с верстака кровельные пожницы, щелкнул ими и швырнул на кучу обрезков жести. Старик спрашивал, где он работал, какого разряда, давно ли психует. Жмакин аккуратно на все ответил и все наврал.

— Давай у нас пока что работай,— сказал старик,— копейку зашибешь. Слесаря чего-то никак не психуют, некому работать. Агенты по снабжению — те сильно психуют, как я заметил. Счетоводы психуют. А наш брат редко. Был один хороший слесарь — поправился. Теперь вот я остался да Андрейка. А меня Пал Петрович звать.

Старик говорил круглым говорком, а Жмакин, слушая его, развернул тисочки, зажал в них железинку и от нечего делать стал ее обтачивать напильником. Руки у него были слабые и пеловкие, но ему казалось, что работает он отлично и что старик с Андрейкой должны на него любоваться. Напильник поскрипывал, Жмакин посвистывал. Посредине сарая догорала чугунная буржуйка, дышала жаром, а из раскрытой настежь двери несло острым апрельским воздухом, запахом тающего серого снега, сосен, хвой.

— Чего свистишь?— сказал старик.— Нечего тут высвистывать. Петь пой, а свистеть нечего.

— Ладно,— сказал Жмакин,— петь я тоже могу.

И, прищурившись на тисочки, на напильник, он запел, и пел долго, думая о себе, о своем детстве и испытывая чувство торжественного покоя.

Каждый день он стал бывать в слесарной. Работал он мало, только для удовольствия и еще для того, чтобы не чувствовать себя больным. Былое ремесло возвращалось к нему. Пальцы стали гибче, сильнее, металл делался послушнее, инструмент покорнее. И со стариком Пал Петровичем наладились отношения. И с Андреем тоже.

В первую получку Жмакину дали четырнадцать рублей с копейками. Он улыбнулся, с интересом разглядывая червонец и рубли. На эти деньги можно было купить порядочно дешевых папирос, но он купил три коробки дорогих, купил конвертов, марок

и бумаги и написал два письма. Одно Клавде, другое Лапшину. Клавде он написал, что жив и поправляется, чтоб она его забыла и что вот какая на эту тему есть песня, стишок.

Стишок был такой:

В больнице у Гааза на койке больничной
Я буду один умирать,
И ты не придешь с своей лаской обычной,
Не будешь меня целовать.
Я вор, я злодей, сын преступного мира,
Я вор, меня трудно любить.
Не лучше ли, детка, с тобой нам расстаться,
Не лучше ль друг друга забыть?

Лапшину он написал, что его пока что не выпускают из больницы, но что на днях он выйдет и займется в управление. Но Лапшин приехал сам, опять привез лимон, леденцов и папирос.

— Ну как?— спросил он, когда они сели на скамью в парке.

— Можно в тюрьму,— сказал Жмакин, косясь на Лапшина.— Был такой случай. Медвежатник, некто Зускин, из Одессы, шкаф вскрыл несгораемый. Не в цвет дело вышло. Подняли по нем ваши дружки стрельбу. Подранили. Он, конечно, свалился. Его в больницу. Лечили, говорят. Бульончик, сухари, киселек. Чуткость такая была, спасенья нет. Он даже стих написал, на память персоналу. Вылечили. А потом десять лет строгой изоляции.

— Бывает,— сказал Лапшин равнодушно.

— То-то что бывает,— подтвердил Жмакин.

Они поглядели друг на друга, покурили; Жмакин сплюнул, Лапшин зевнул. Яркое весеннее солнце пекло им лица, от воздуха клонило ко сну. Уже набухали почки, пахло мокрой землей, березой.

— Давай съездим,— сказал Лапшин,— тебе полезно по улицам проехаться.

— Ох, об моем здоровье у вас сердце болит,— сказал Жмакин.

Лапшин, усмехаясь, зашагал по аллее. Жмакин шел рядом с ним, неприязненно на него косясь. Жмакина отпустили на два часа. У ворот больницы стояла машина. Лапшин, крикнув, сел за руль, машина двинулась весело, разбрызгивая весенние сияющие лужи.

— Начальничек,— сказал Жмакин,— за каким чертом вы до меня ездите?

— Поглядишь,— сказал Лапшин.

— Вейцмана погляжу?— спросил Жмакин.

— А хоть бы и Вейцмана.

— Подходики,— сказал Жмакин,— кабы вы молодой были, а то ведь слава богу.

Лапшин сильно вывернул руль, объезжая колдобину, и не ответил.

— Не надо ко мне подходить,— опять заговорил Жмакин,— я больной человек, чего вы меня тревожите? Папироски, лимончики. В тюрьму, так в тюрьму. Воспитание ребенка. Я не ребенок, я жулик.

— Правильно,— сказал Лапшин.

В управлении он своим ключом отпер кабинет, аккуратно повесил плащ на распялочку, сдвинул кобуру назад и еще проделал целый ряд хозяйственных дел. Жмакин взглядом следил за ним, ожидая подвоха. Вдруг Лапшин подмигнул ему:

— Ладно, Жмакин,— сказал он,— не сердись, печенка лопнет...

Засмеялся и позволил.

— Давайте его сюда,— сказал он секретарю,— а нам чаю давайте, мы со Жмакиным чай будем пить. Будешь, Жмакин, чай пить?

— Буду,— веселея, сказал Жмакин.

Секретарь вышел. Лапшин велел Жмакину сесть рядом с собой и молчать. Жмакин покорно сел. Лапшин задумался, потирая щеки ладонями, большое свежее лицо его сделалось грустным. Тикали часы в деревянной оправе. Под большим зеркальным стеклом на сукне стола были разложены фотографии — незнакомые, суровые военные лица.

— Это дружки мои,— сказал Лапшин, заметив взгляд Жмакина,— ни одного в живых не осталось. Боевые дружки, не штатские.

И он с серьезным вниманием, несколько даже по-детски, склонил свою голову к фотографиям. Жмакин тоже глядел, чувствуя неподалеку от себя широкое, жиреющее плечо Лапшина...

Привели Вейцмана.

— Садитесь, Вейцман,— сказал Лапшин. — Следствие закончено, я вызвал вас побеседовать.

— Слушаюсь,— сказал Вейцман и покашлял в серый кулак с отросшими, нечистыми ногтями.

13

— Поглядите на этого товарища,— сказал Лапшин и, скрепя стулом, повернулся к Жмакину,— не упомните?

Вейцман поднял желтое лицо и, как засыпающая птица, взглянул на Жмакина, Жмакин, бледнея, выдержал взгляд.

— Не припоминаю,— произнес Вейцман металлическим голосом, тем самым, которым он когда-то разговаривал на собраниях.

— Постарайтесь,— велел Лапшин.

— Я работал в разных местах, у меня было много рабочих и служащих, не припоминаю...

— Это был случай исключительный,— сказал Лапшин,— надо помнить...

Вейцман поморгал, покашлял опять в кулак. Он, видимо, действительно не помнил.

— Сейчас я вам поднапомню,— сказал Лапшин и, зазвенев связкой ключей, принялся рыться в левом ящике стола.

Пока он рылся, Жмакин поглядел на Вейцмана. Он отлично знал этот тип заключенных — не раз их видел. Эти люди во всем сознались, и все им стало скучно и безразлично. Судьба их не принадлежала им самим. В камере такие, как Вейцман, помалкивали, на допросах были сонливы...

— Вот,— сказал Лапшин,— оно самое.

Он еще полистал вперед и назад и, назидательно подняв кверху палец, прочитал басом:

— «Я, Вейцман, показываю также, что, будучи заведывающим гаража № 16 Облрыбаксоюза начиная с июля месяца того же года, систематически травил работников гаража Алексеева, Спиркова и Жмакина, выступивших с самокритическими выступлениями...» Выступивших с выступлениями, — укоризненно произнес Лапшин, — а еще высшее образование... Так. «Монтер Жмакин был мною дисквалифицирован, и мною же были похищены аккумуляторы, находившиеся на заливке у Жмакина. Семь аккумуляторов я вывез из гаража на персональной машине, а два вынес в пакете. Через несколько дней, точно не помню когда, я вызвал упомянутого Жмакина к себе в кабинет и категорически предложил ему сдать аккумуляторы...»

— Четырнадцатого августа,— сказал Жмакин, с ненавистью и ужасом глядя на сонного Вейцмана,— после перерыва он меня вызвал...

— Ладно,— сказал Лапшин,— неважно! «...категорически предложил ему сдать аккумуляторы. Жмакин, волнуясь, сообщил, что сдаст в ближайшие дни. На следующее утро я передал дело в товарищеский суд, на председателя коего нажал. Во время заседания товарищеского суда я сообщил, что имею новые данные, и предъявил суду расписку, в которой было написано, что шофером поликлиники № 2 приобретены девять аккумуляторов у Жмакина, с адресом последнего и с суммой — точно не помню какой. Шофер этот за неделю до суда умер, и потому я находился

в безопасности. По решению суда Жмакина сняли с работы, а комендант общежития предложил ему освободить койку, что Жмакин и выполнил. Таким путем я дискредитировал вожака лиц, выступавших против меня. Несколько раз меня вызывали органы следствия, но я имел неопровержимые данные, и, кроме того, осенью Жмакин бросился возле гаража на меня и стал меня душить, что еще подкрепило мой авторитет... На суде Жмакин был петрезв и угрожал мне неоднократно, что произвело на судей неблагоприятное впечатление. Суд приговорил Жмакина к году принудительных работ. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Алексеев же и Спирков вскоре после суда явились ко мне и попросили у меня прощения за свои выпадy, мы поцеловались и решили вместе бороться с неполадками в работе гаража...» Правильно?

— Правильно,— сказал Вейцман и как бы в задумчивости покачал головой.

Лапшин молча закрыл папку, сунул ее в ящик стола и щелкнул ключом. Лицо его выражало усталость, точно он читал эти показания не пять минут, а по крайней мере сутки. Жмакин осторожно поднялся, подошел к окну и, ничего не видя, стал глядеть на площадь Урицкого, на дворец, на трибуны и на кучи поздраватого, еще не вывезенного талого снега.

— Ладно,— сказал Лапшин за спиною у Жмакина,— идите.

Жмакин обернулся и быстро оглядел длинную фигуру Вейцмана. Такая же гимнастерка из саржи, и галифе, и остропосые, фасонные сапоги с ремешком под коленями. Хлопнула дверь. Жмакин опять отвернулся к окну. Было слышно, как сзади ходит по кабинету Лапшин, как он ступает на пятки и отфыркивается по своей манере. Потом он подошел совсем близко к Жмакину и положил руку ему на плечо.

— Что ж теперь будет? — спросил он каким-то необыкновенным голосом.

— Ничего не будет,— сдерживаясь, сказал Жмакин,— Вейцмана налево, а меня в тюрьму.

— Брось, Жмакин,— сказал Лапшин и надавил ладонью на плечо Жмакину.

— Чего брось-то,— уныло отозвался Жмакин,— вы мои дела, пачальничек, как следует знаете. Кражи были? Были. Побег были? Были. Теперь сажайте, больше не побегу, был попрыгунка, да весь вышел. Можете получать Жмакина без риска для жизни...

Он усмехнулся, закрыл рот рукою и заплакал, а Лапшин стоял, не двигаясь, несколько позади и сосредоточенно морщился.

В шесть часов пополудни он вышел из здания управления, свернул под арку Главного штаба и тихим шагом свободного человека побрел по улице. Наступила весна, было еще совсем светло и, как всегда весною, особенно шумно, многолюдно, весело и просто. Жмакин купил подснежников, сунул букетик в петлицу и внезапно почувствовал беспокойство и вместе с тем радость, что вот он опять на улице, что его толкают, что пахнет весной и что ему, в общем, пока что никакие пути не заказаны.

Две девушки в белых беретиках о чем-то смеялись, он обогнал их и заглянул им в лица. Они опять засмеялись, уже ему; он приостановился, несколько шагов прошел рядом с ними и перекинулся парой слов — вольных, ни к чему не обязывающих, веселых.

Но тотчас же ему взгрустнулось, вспомнилась Клавдия, он зашагал быстрее, кося глазами на витрины, думая: «Выпью, закушу, завью горе веревочкой...»

Выпил в одном подвальчике, потом в другом. Добродушные пьяницы, пропившиеся до того, что стали уже тихими, пригласили его за свой столик. Жмакин со скуки сказал им, что работает воспитателем в детдоме.

— И тяпаешь?

— Тем не менее,— сказал Жмакин.

— А что,— подтвердил лысый пьяница,— правильно, я слышал, французские дети все напропалую пьют. По-ихнему шнапс...

Опять Жмакин побрел по улицам. Вытерпел в кинематографе картину с такой пальбой, что сосед Жмакина, коренастый командир, два раза сказал:

— Ух ты!

После кино решил в свой сумасшедший дом не ходить, а прошататься по старой памяти до утра. Денег было совсем немного, он пересчитал их в подворотне, но на выпивку достаточно.

Расстегнул пальто и, курлыкая песенку, спустился вниз в подвальчик, давно и хорошо знакомый. Ливрейный швейцар отворил ему дверь и низко поклонился.

— А, Балага,— вяло сказал Жмакин, но подал руку и поглядел в набрякшее и нечистое лицо старика.

— Все ходите,— почему-то на вы сказал Балага.

— Хожу.

— А был слушок, что вас взяли.

— Возьмут,— уверенно сказал Жмакин и не торопясь сел за столик под гудящим вентилятором.

Официанту он велел подать вина и фруктов. Тот принес стопку водки и огурцов. Жмакин потребовал еще пива.

— Верное дело,— сказал официант,

Охмелев, Жмакин послал официанта за Балагой. Тот подошел в своей ливрее, полы ее волочились по грязному, усыпанному опилками кафелю.

— Садись, — велел Жмакин.

— Нам нельзя, — сказал Балага, — мы теперь при дверях. А часиков, скажем, в двенадцать мы в туалет перейдем в мужской. А сюда один мужчина покрепче станет. На случай кровопролития.

— Так, — сказал Жмакин. — Выпей.

— Не пью, — смиренно сказал Балага.

— А какие новости на свете?

— Разные, — сказал Балага.

— Ну примерно?

Балага вытер слезящиеся глаза и попросил в долг пять рублей.

— Бог подаст, — сказал Жмакин, — говори новости.

Вентилятор пазойливо гудел. Жмакин захлопнул дверцу вентилятора и сурово приказал:

— Садись и не размазывай.

— Корнюха сорвался, — не садясь, свистящим голосом сказал Балага, — большие дела делает.

Жмакин молча глядел на Балагу.

Балага тоже замолчал, к чему-то примериваясь.

— Ба-альшой человек, — сказал Балага.

— А где он?

— Прогуливается, — сказал Балага, — город велик.

— Ох, Балага, — негромко пригрозил Жмакин, — хитришь...

Балага подмигнул и ушел к своей двери. Жмакин сидел не двигаясь, пил пиво, поглядывая на Балагу. В двенадцатом часу ночи Балага подошел опять к нему и сказал:

— Иди до гостиницы бывшей «Гермес», — там он прогуливается. Какой мой процент будет с дела?

— Фигу с маслом, — сказал Жмакин, пошатываясь встал, расплатился и вышел.

Возле «Гермеса» действительно прогуливался Корнюха. Он был в хорошем макинтоше и в руке имел трость с набалдашником. Из кармана макинтоша торчали перчатки. Молча он подал руку Жмакину. Пошли рядом. Корнюха попросил Жмакина зайти в магазин купить водки, — сам он боялся. Жмакин выпес, Корнюха выпил в подворотне, сплюнул и помотал головой. У него было чистое румяное лицо и большие, навывкате, глаза, характерные тем, что не имели никакого выражения. Голос у Корнюхи был негромкий и тоже без выражения.

— Ну? — спросил Жмакин.

— Как видишь,— сказал Корнюха,— три вытерпел, на четвертый — драпанул, семь за мной осталось, плюс вышка...

— За что?

— Стрелка убил,— осторожно сказал Корнюха.

— Насмерть?

Корнюха промолчал.

— Батьку моего в Казахстане шлепнули,— без выражения сообщил Корнюха,— получил письмо. Завинчивают нашего брата на последнюю гайку. Ты, я слышал, вроде резался?

Не торопясь, Корнюха рассказал, за что расстреляли отца. Жмакин внимательно слушал, надвинув кепку пониже. Шли переулочками, не по тротуару, а по булыжной мостовой. Поддувал сырой, но не холодный весенний ветер. Из-за угла выпорхнула великолепная машина и, ослепительно сияя фарами, промчалась мимо. В машине сидел седой военный, дремал.

— Катаются,— сказал Корнюха.

— Мало ли что,— не сразу ответил Жмакин.

Они немного поговорили о том, как Корнюха бежал, потом вспомнили лагерь, в котором однажды вместе рыли котлован. Жмакин тогда филонил, а Корнюха вытягивал до восьмисот процентов нормы.

— Были и мы ударниками,— сказал Корнюха,— знаем, слышали, в другой раз не накроешь.

— А чего накрывать-то? — спросил Жмакин.

Корнюха опять промолчал, не в первый уже раз за этот вечер. Довольно долго шли молча, Жмакин от вдруг напавшей тоски стискивал зубы.

— Это все мелочь,— ленивым голосом сказал Корнюха,— теперь я буду кое-кого убивать. Сначала по миру пустили, потом батьку шлепнули. Померяемся.

Остановившись посредине мостовой, он слегка обнял Жмакина за плечи и сказал ему в самое лицо:

— Надо банду сделать, слышь, Жмакин.

— Какую такую банду?

— Обыкновенно. Настоящую банду. Дисциплинку заведем, люди знают, со мной шутки плохи. Уйдем в лес, подпалим кое-чего. У меня наколот один старичок из приграничных жителей. Ежели что — уйдем.

— Ну да,— сказал Жмакин.

— А чего ж не уйти? Уйти не хитрость... — Он замолчал на секунду, вглядываясь в Жмакина.

— Не узнал? — спросил Жмакин.

— Чего ты кислый какой-то,— сказал Корнюха,— может, ты покамест ссучился?

— Как раз нет,— сказал Жмакин и подумал, что Корнюхе решительно ничего не стоит убить его и сбросить вниз, в канал: прохожих нет, вокруг тихо, убьет, пожалуй.— Беспокойный ты стал,— добавил Жмакин,— а, Корней?

И вновь они неторопливо зашагали над тихим каналом. Корнюха медленно говорил про оружие, про боеприпасы...

— Да я ведь не бандит,— сказал Жмакин,— я рецидивист хороший, а бандит из меня еще и не выйдет.

— Выйдет,— с вялой уверенностью произнес Корнюха,— невелика хитрость. Я стрелку как воткнул под дых — он и не заметил, что на свете не живет. Тихонечко все произошло. И стрелочника одного на Севере...

— Тоже? — спросил Жмакин.

— Что значит тоже? — вялым голосом произнес Корнюха.— Мне, дорогой, обратного хода нет. Так на так вышка, вершок больше, вершок меньше — все равно вышка. Теперь я посчитаюсь, хотя удовольствие получу.

Он остановился, закурил, натянул перчатки и, ткнув Жмакина пальцем в грудь, сказал:

— Будешь у меня главный человек. Тебе тоже обратного хода нет. Посчитаемся за наши жизни. Я тебе доверяю.

— Доверяю, доверяю,— с внезапной злобой в голосе сказал Жмакин,— что значит доверяю? Нужна мне твоя банда...

— А нет, не нужна? — усмехнувшись произнес Корнюха.— Куда ж тебе идти, как не к нам? К Лапшину, виниться? А кто тебе жизнь поломал?

— Я все равно не бандит,— глухо сказал Жмакин,— я людей резать не могу...

Корнюха негромко засмеялся, покачал головой и пошел, не дожидаясь Жмакина, постукивая палкой.

— Песня имеется,— сказал он, оборачиваясь на ходу,— наша дорогая, блатная, знаешь? «Ты же поздно или рано все равно ко мне придешь». Эх, браток! — Он вернулся и, как давеча, поглядел Жмакину в лицо.— Придешь, и шлепнут нас вместе.

Жмакин молчал, потупившись. Сердце у него глухо билось. Он уже не слышал слов Корнюхи, он мучительно вспоминал телефон Лапшина. Наконец вспомнил.

— Думай, думай,— сказал ему Корнюха,— ничего другого не надумаешь.

Опять надолго замолчали.

— Револьвер у тебя один? — спросил Жмакин.

— Один,— сказал Корнюха,— паршивенький. Это как раз дело девятое, достанем.

— Трудно.

«Будет отстреливаться или не будет? — осторожно, успокаивая себя, думал Жмакин. — Будет, собака. Руку все в кармане держит».

Он зашел справа и скопил глаза на карман Корнюхи. Но не понял, какой револьвер, и попросил показать.

— Да коровинский пистолетик, пустячный, — сказал Корнюха, — чего на улице рассматривать...

Бреши по Советскому проспекту. Корнюха рассказывал, как убил сторожа-стрелочника. Вытянул руку, округло сложил пальцы и, усмехнувшись, произнес:

— Только тряхнул, он сразу и готов.

— Лихо, — сказал Жмакин. — Надо бы нам, пожалуй, выпить?

— Я в кабак не пойду, — сказал Корнюха, — ты зайди сам, попроси навывнос. А то меня сразу могут наколоть...

Добреши до пивной. Жмакин проводил глазами Корнюху и шмыгнул внутрь — к автомату. Наконец телефонистка соединила. Он опустил гривенник и услышал сонный голос Лапшина.

— Ладно, — сказал Лапшин, — вы идите по Советскому, потом мимо Таврического, понял?

— Есть, товарищ начальник, — сказал Жмакин.

— По мостовой идите, — говорил Лапшин. — Моя машина будет идти без фар, на полуфарах. Он стрелять хочет?

— Наверное, так.

— Отойдешь в сторону, — сказал Лапшин, — он тебя очень просто может кончить. погоди, стой!

— Слушаю.

— И не кидайся черту на рога.

Забыв про водку, Жмакин хотел было выйти, но решил, что лучше оттянуть время, и, не торопясь, выпил кружку пива. Как он ни медлил, прошло всего четыре минуты.

Корнюха стоял, не двигаясь, в подворотне.

— За смертью тебя посылать, — сказал он, — принес?

— Не отпустили.

Опять зашагали по мостовой. Время шло нестерпимо медленно.

— Где же ты спать будешь? — спросил Жмакин на тот случай, если Корнюха исчезнет до появления Лапшина.

Корнюха ответил, что спать он будет где придется.

Одна за другой на полном газу промчались мимо две машины. На обеих сияли фары.

— Чего испугался? — спросил Корнюха. — Думаешь, задавят?

От кружки пива Жмакин вновь захмелел. Он все еще шел справа и все поглядывал на оттопыренный Корнюхин карман. Корнюха легонько посвистывал.

— Корней,— сказал Жмакин, сдерживая шальные нотки в голосе,— я не согласен.

— На что не согласен?

— К тебе в банду поступать.

— Подумай, дурашка,— лениво отозвался Корнюха,— подрастай мозгами...

Сзади по мокрому асфальту зашипели автомобильные шины. Машина, пришептывая выхлопом на малом ходу, проскочила мимо и скрылась, подмигнув красными стоп-сигналами.

«Не заметил,— с отчаянием подумал Жмакин,— прохлопал спросонок, болван».

— Думай, думай,— опять сказал Корнюха,— силком замуж не беру.

— А? — спросил Жмакин.

Та же машина с потушенными фарами, на одних подфарках пёбыстро шла навстречу.

— Носит их, чертей,— пробурчал Корнюха с неудовольствием, уступая дорогу.

Автомобиль опять проскочил, но тотчас же со скрежетом затормозил. Корнюха обернулся, вытянул шею и, выбросив руку из кармана, побежал вперед по сырому асфальту.

— Стой! — крикнул сзади Лапшин.

Рассекая грудью воздух, Жмакин уже бежал за тяжелым и неповоротливым Корнюхой. «Убьет», — коротко подумал он и еще надал ходу. Сердце у него падало, в груди делалось пусто и тошно, как на качелях. На бегу Корнюха выкинул назад руку и выстрелил. «Хрен вот тебе», — со злорадством подумал Жмакин, надал еще ходу и, неожиданно даже для самого себя, схватил Корнюху за макинтош. Корнюха опять выстрелил и опять не попал. Жмакин ударил его в шею и вместе с ним рухнул на асфальт. В ту же секунду Корнюха схватил его за горло. Жмакин высунул язык, захрипел, извернулся, и, не сбей Лапшин с него Корнюху, жить бы ему осталось совсем немного. Но его подняли, встряхнули. Он сплюнул кровь, потрогал себе лицо. Потом сказал:

— За сонную артерию схватил, собака!

— Подковался в медицине, доктор,— сказал Лапшин, тяжело дыша.

Жмакин еще сплюнул. По улице сбегались милиционеры, дворники. Корнюха, связанный, сидел в машине.

— Все в порядке,— сказал Лапшин козырнувшему милиционеру,— можете идти.

Милиционер ушел. Четыре дворника стояли смирно.

— Ну, поедem, что ли, Жмакин,— сказал Лапшин,— спать пора.

И, скрипя ремнями, пошел к машине.

Весь следующий день до поздней ночи Жмакин пробыл в управлении. Шатался по темноватым, мрачным коридорам, дремал на скамье в комнате ожидания, бранился со старухой, которой, закуривая, нечаянно подпалил конец головного платка, закусывал в буфете.

Уже ночью за ним пришел Окошкин.

В коридоре они встретили Лапшина. Глаза у Лапшина хитровато поблескивали, он, видимо, только что побрился, щеки были слегка припудрены, и пахло от него чуть-чуть одеколоном. И во всем его облике было нечто торжественное, приподнятое и в то же время слегка глуповатое.

— Ну, Жмакин? — неожиданно спросил он, натягивая кожаные перчатки и быстро спускаясь по лестнице впереди Жмакина.

— Теперь меня из сумасшедшего дома выгонят,— сказал Жмакин,— кончилось счастье. Отпросились-то на два часа.

— Как-нибудь,— сказал рассеянно Лапшин.

— Чего как-нибудь,— сказал Жмакин,— диетический был режимчик, санаторно-курортный. Не каждый день Жмакин в санаториях проживает...

Они сели в автомобиль молча и молча поехали.

— В НКВД? — робко спросил Жмакин.

— Туда.

— Что я, политический сделался? — с испугом спросил Жмакин.

— Помолчи,— сказал Лапшин.

На площадке лестницы в самом здании Лапшин остановился и сказал, сердито глядя на Жмакина:

— Держись, пожалуйста, в рамках. К большому начальнику идешь, ты таких не видел и не увидишь.

Они пошли молча по коридору — Лапшин впереди, Жмакин сзади. В большой приемной Жмакин сел на край стула. Его вдруг начало познабливать, он зевал с дрожью и искоса следил за Лапшиным, читавшим газету. Но и Лапшин не очень внимательно читал, он о чем-то сосредоточенно и напряженно думал, устремив глаза в одну строчку. Наконец низенький широкоплечий адъютант крикнул:

— Товарищ Лапшин!

И глазами показал на тяжелую дверь.

— Ты тут сиди,— шепотом сказал Лапшин, обдернул гим-

настерку и щеголеватой походкой военного, слегка выдвинув вперед одно плечо, пошел к двери и скрылся за портьерой.

Мелко трещали телефонные звонки; адъютант порой брал две трубки сразу и разговаривал очень тихо, убедительно двигая широкими бровями. Жмакин все зевал, потрясая какой-то собачей дрожью. Опять зазвенел звонок. Жмакин взглянул на адъютанта, адъютант сказал: «Идите», и Жмакин пошел к тяжелой, плотно закрытой двери, неверно ступая ослабевшими ногами.

Двери открылись странно легко, и Жмакин вошел в небольшой скромный кабинет. Посредине кабинета, слегка расставив ноги, стоял Лапшин со стаканом чаю в руке и ободряюще улыбался, а возле стола, подперев подбородок руками, читал бумаги в знакомой Жмакину папке невысокий, узковатый в плечах человек. Услышав шаги, человек быстро поднял голову и, обдав Жмакина блеском небольших светлых глаз, спросил, закрывая папку:

— Жмакин?

— Так точно, — по-военному ответил Жмакин и составил ноги каблуками вместе.

Секунду, вероятно, длилось молчание, но эта секунда показалась Жмакину такой огромной, что он весь вдруг вспотел и задохнулся. А начальник все улыбался и смотрел на него с выражением веселого любопытства.

— Ну садитесь, — сказал он и показал глазами на стул, стоявший совсем рядом с его стулом. Стулья эти стояли так близко один от другого, что, садясь, Жмакин дотронулся своим коленом до колена пачальника. Начальник взял закрытую папку, полистал и спросил у Жмакина:

— Что же вы к нам не пришли, когда вас там травили? Мы бы как-нибудь размотали. Не так уж это и сложно, а, товарищ Лапшин?

— Восемь месяцев мотал, — сказал Лапшин.

— Так что же вы все-таки не пришли? — опять спросил начальник.

— Постеснялся, — тихо сказал Жмакин.

— Постеснялся, — повторил начальник, — ты видел таких стеснительных, товарищ Лапшин?

Посмеиваясь, он встал, прошелся по кабинету и, остановившись против Лапшина, начал ему рассказывать тихим голосом что-то, видимо, смешное. Он рассказывал и поглядывал на Жмакина, и Жмакин, встречая прямой и яркий свет его глаз, чувствовал себя все проще и проще в этом кабинете.

— Ну что ж,— кончая разговор с Лапшиным, сказал начальник,— картина у тебя, Иван Михайлович, намечена правильная...

Еще пройдясь по кабинету, он поговорил по телефонам — их было штук семь-восемь и все разные, потом почесал ладонью лысеющий затылок и сел опять возле Жмакина. Лапшин тоже сел и закурил папироску.

— Так что же, Жмакин, погулял, пора и честь знать,— сказал начальник,— верно? Или как?

— Ваше дело хозяйское,— сказал Жмакин и съежился; он только сейчас начал понимать, что в его судьбе с минуты на минуту должен произойти какой-то страшно важный и решающий перелом.

— Чего же хозяйское,— сказал начальник,— никакого не хозяйское. У нас есть законы, и надо законам подчиняться... Тебя приговорили к заключению, ты бежал, верно?

— Это так,— согласился Жмакин,— бежал... Два раза бегал.

— Пять раз,— сказал Лапшин.

— Виноват, ошибся.

Начальник засмеялся, покрутил головой и спросил:

— Как же ты бегал?

— Разные случаи были,— сказал Жмакин,— тут имеется техника довольно развитая. Один раз, например, в пол убежал.

— Как это в пол?

— В вагонный пол. Вагон был не международный, попроще... Мы пропильчик сделали в полу. Так называемый лючок. Значит, на ходу поезда спускаешь туда ноги, руками за край лючка держишься и постепенно опускаешься ровно спиной к шпалам. Но ровно нужно. А то, если перекривишься, что-нибудь оторвет. Башку свободно можно оторвать. Ну, так опускаешься, опускаешься, а потом хлоп на шпалы. И лежишь ровненько-ровненько. Ну, конечно, легкие ушибы, это всегда получишь.

— Интересно,— сказал начальник,— я в шестнадцатом году из уборной вагона в окно прыгал. Покалечился.

— Небось не разделись,— сказал Жмакин.

— Не разделся,— несколько виновато сказал начальник.— А надо было раздеваться?

— Ясное дело,— сказал Жмакин,— обязательно надо. Решетка куда была вывернута, внутрь или наружу?

— Внутрь.

— Конечно, крючки получились. Сразу вы и повисли. Раз такое дело, прыгать надо вперед, с ходу, а не с крючка. Хорошенькое дело одетому в окно прыгать. Рассказать — никто не поверит.

Начальник поглядел на Жмакина, закурил папиросу и сказал:

— А ты — хитрый, я замечаю.

— Такая специальность, — сказал Жмакин.

— Мать померла?

— Померла. И отец помер.

— Кем были?

— Текстильщики оба. Мать гулящая сделалась, проститутка была, — сказал Жмакин. — Да и, с другой стороны, нельзя винить, капиталистическая обстановка, задохнулись люди.

— Ишь ты, — сказал начальник, — ты у нас сознательный. А жена есть? Дети?

— Есть и жена, и ребенок.

— Не ври, Жмакин, — строго и недовольно сказал Лапшин.

— Я не вру, — краснея, твердо сказал Жмакин, — дочка не родная, но дочка. А жена, конечно, гражданская.

— Кто такая?

— Как — кто? Работница, — сказал Жмакин, — честная девушка.

— И как же ты думаешь жить? — опять спросил начальник. Жмакин молчал.

— В лагерь не поедешь?

— Нет, — сказал Жмакин, — переутомился. Пошлете, — зарежусь. Товарищ Лапшин знает.

— Ты только нас не пугай, — сказал начальник.

— Кого мне пугать, — уныло ответил Жмакин и отвернулся. Начальник и Лапшин переглянулись.

— Ну ладно, бери, Иван Михайлович, — сказал начальник, — на твою личную ответственность. Может быть, и выйдет дело.

Жмакин глядел на обоих, ничего не понимая и страшно волнуясь.

— И напиши в Верховный суд, что полагается, — сказал начальник, — и прокурору напиши попробуй. Случай, действительно, исключительный...

Начальник походил по комнате. Лапшин поднялся. Жмакин тоже встал.

— Так-то, Жмакин, — сказал начальник.

— Слушаюсь, товарищ начальник, — сказал Жмакин.

— Нечего слушаться, иди да гляди... Будь здоров...

Из угла комнаты он серьезно и спокойно смотрел на Жмакина. Его бледное, худое лицо было утомлено, на алых нашивках поблескивали темно-рубиновые знаки различия. Жмакин повернулся кругом и вышел в приемную. Через несколько минут за ним вышел Лапшин. Они молча и быстро спустились вниз, молча сели в машину, и только когда машина тронулась, Жмакин спросил:

— Что же теперь будет, товарищ начальник?

— Либо будет, либо нет,— сказал Лапшин,— там поглядим..
И ловко проскочил между двумя грузовиками.

На проспекте 25 Октября возле бывшей Думы, где нынче городская железнодорожная касса, Жмакин вылез из машины и пошел бродить по тихим, сырым улицам любимого города. Уже наступали белые ночи, и светало рано. Жмакин побрел по каналу Грибоедова, переулком, мимо желтого петербургского придавленного здания, горбатым мосточком и на Марсово поле. Почки на деревьях, посаженных геометрически правильно, уже набухли, и в короткой предутренней тишине какая-то птичка восторженно подсвистывала и попискивала, устраиваясь в голых необжитых ветвях. Пахло корьем, мокрой землей, прошлогодними листьями, с Невы порывами летел свежий, сырой ветер, было тревожно и неуютно, и чувствовалась, как всегда весной в Ленинграде, близость моря.

Жмакин посидел на лавочке, подумал, раскурил на ветру отсыревшую папиросу, насунул кепку поглубже, спрятал под ней уши.

Волнуясь, несколько раз пыхнул дымом, бросил папиросу и встал.

На асфальтовой автомобильной аллее встретил милиционера и с силой, и со страстью, и с ясностью в первый раз подумал о том, что теперь-то его не могут арестовать.

Милиционер шел на него, спокойно громыхая тяжелыми юфтевыми сапогами, поглядывая из-под каски по сторонам — угловатый, косая сажень в плечах, — страж порядка на огромной площади.

Разминулись и пошли каждый своим путем: Жмакин — к Неве, милиционер — к Лебяжьей канавке, к Летнему саду.

«Так,— думал Жмакин, приводя в порядок впечатления и события всего сегодняшнего дня,— так. Предположим, и на работу даже поставят. И создадут мне условия. Но буду ли я работать? Для них я так себе, бывший жулик, но на самом-то деле я довольно-таки загадочный тип. Что мне надо? Чего хочу? Спокойствия и безмятежности? Эдак и протухнуть недолго с ихним спокойствием. Эдак мы с тобой, Жмакин, в два счета постареем, зубы выкрошатся и тому подобное. В общем и целом, они передо мной извинились. Показали мне Вейцмана. Вот, дескать, Вейцман, а вот, дескать, мы. Ничего общего. Но моя-то жизнь, как-

никак, уже поломанная. Уже я не тот человек. Ну что я тут? Ну, монтер! Так ведь это грошовая жизнь, без шику. Это папиросы за тридцать копеек курить. А если меня от таких папирос воротит? Извините, товарищи! Хоть день, да мой! Зато какой день...»

И с той легкостью в мыслях, которая свойственна людям слабовольным, он вдруг стал думать о том, что неплохо было бы совершенно одному, без дружков и помощников, обчистить магазин, папример, Мосторга и взять цеппостей тысяч на триста и махнуть на юг, в Крым, в Одессу...

— «Листья падают с клена», — засвистал он, вспомнив Одессу.

Несомненно, он был в полной безопасности. Сам большой начальник говорил с ним не как с заключенным. Так с заключенными не разговаривают. И Лапшин его все тянет, тянет. Лимончики возит.

«А Клавдя?» — вдруг подумал он.

И, стоя над черной, холодной Невой, подставляя разгоряченное лицо холодному ветру с моря, он стал думать о Клавде, вспоминать ее, умиляться чему-то, каким-то полузабытым ее словам, жестам, звукам ее голоса. И так как он был не совсем здоров, слаб, измучен и, главное, растерян, он вдруг решил ехать к ней сейчас же, сию же минуту, но тотчас отменил свое решение и совсем наконец запутался.

В поезде он не думал, о чем будет с ней говорить и как произойдет встреча, а когда выскочил на знакомый перрон, то почувствовал ужасное волнение, и страх, и неуверенность...

«Выгонит, — страшась, думал он, — не выйдет ко мне или скажет мне... что же скажет?..»

В Лахте тоже была весна, и, как в городе, еще, пожалуй, острее, пахло морем, тянуло откуда-то смолою и запахом тающего снега — здесь он белел еще до сих пор...

Вот и знакомый домик, вот и собака залаяла.

Он стукнул в окно, в ее комнату, и подождал, потом еще стукнул.

«Вставай, девочка, вор пришел», — с отчаянием подумал он.

И она вышла, босая, чистыми узенькими ногами на скользкие, сырые доски крыльца, внезапно побледнела и сбежала вниз, к нему навстречу, обняла его, прижалась к нему, заплакала, затрепетала, и он заплакал тоже скупыми, мучительными и радостными слезами.

— Ну чего, — шептал он ей, — ну ничего, ничего...

— Алешенька, — говорила она, — ох ты, мое горе, горе мое, бедный мой, маленький...

Она прижималась к нему все туже, все крепче, родная ему, растрепанная, чистая, дрожащая от сырости, от слез, от радости

и страдания, и, захлебываясь, называла его такими словами, которых он никогда ни от кого не слышал, и тянула его за собой, но тотчас же останавливалась, гладила его по лицу, потом вдруг повисла на нем, потом опять разрыдалась...

В комнате ничего не изменилось с тех пор, только висела его фотография в бархатной рамочке, и вид из окна стал другой — без снега.

Он снял пальто и шепотом сказал:

— Обокраду Мосторг, уедем к черту из этого города. Одно на одно. Какой есть, весь тут.

— Не обокрадешь, — сказала она, глядя сияющими глазами ему в лицо. — Ты и не вор вовсе. Мальчишка ты, вот что. Ей-богу, мальчишка.

Подошла к нему, обняла за шею и села на колени — в одном платье на голом теле.

— Псих ты.

— Я псих?

— Ты.

— Это верно, — сказал он, — есть маленько, растерял в дороге шестеренки.

— Кушать хочешь? — не слушая его, спросила она.

Оба пили чай с молоком и ели творог из глубокой тарелки, прислушиваясь к дыханию спящей девочки, и глядели друг на друга.

— Ну и вот, — сказал он, — водили меня к большому начальнику. То, другое. Брось, дескать, Жмакин, воровать, ты нам нужен, нам вообще люди нужны, — поспешно поправился он, — давай работать.

Клавдя, не слушая, глядела на него.

— Холодно, — сказала она, — застыла я.

— И Лапшин меня уговаривает, — продолжал Жмакин, — нудит, нудит, с ума можно сойти.

— Леша, я беременная, — тихо, по-прежнему сияя глазами, сказала Клавдя.

Он поставил кружку на стол, помолчал и нахмурился.

— И ничего такого не сделаю, — продолжала Клавдя, — рожу. Ты убежишь, ребята помогут.

— Какие ребята?

— Комсомольские.

— А ты тут при чем?

— Как — при чем? При том, что я комсомолка.

— Ты?

— Я.

Смеясь, она наклонилась к его лицу и стала целовать его теплыми, сладкими от чая губами.

— Ты погоди,— сказал он,— ты не прыгай. И давно ты комсомолка?

— Четыре года,— целуя его, сказала она.

— А я не знал.

— Ты много не знал,— говорила она,— ты занят был. Переживания были. Теперь небось посвободнее.

Он засмеялся и сказал:

— Напишу теперь на тебя заявление в комсомол, на твоё прошлое с воров.

— Ну и что,— сказала она,— ну и пиши. Кабы ты от меня воров стал... Ты бывший вор, а теперь уж ты герой.

— Герой?

— Будешь,— сказала она,— я баба, я все знаю. Я без тебя, бывало, лежу и думаю: вот дадут ему орден за большой подвиг. Или он будет летчиком. Или в стратосферу полетит...

— На луну без пересадки,— хмуро сказал он.

— Дурак,— сказала она,— хватит. На луну, на луну. Не будет тебе никакой луны. А решил Мосторг брать — сама на тебя первая донесу, и когда шлепнут, не заплачу. Подыхай. Надоело.

Жмакин удивленно на нее покосился.

— И ничего особенного,— сказала она,— поплакала, будет. Черт паршивый, письма пишет...

Толкнув его ладонью в грудь, она встала, всхлипнула и вышла из комнаты. Тотчас же вошел Корчмаренко в пальто, из-под которого болтались завязки подштанников. Жмакин встал ему навстречу.

— Отыскался, сокол,— сказал Корчмаренко.

Лицо у него было набрякшее, борода мятая.

— Пойдемте выйдем,— предложил Жмакин,— тут ребенок спит.

Клавдия тоже вышла вместе с ними.

— Ничего, можно здесь, в сенцах,— сказал Корчмаренко,— там Женька спит, а наверху жилец.

— Ну-с,— вызывающе сказал Жмакин.— Об чем разговор?

— Обо всем,— холодно сказал Корчмаренко.— Ты что ж думаешь дальше делать?

— Что хочу,— сказал Жмакин.

— А что же ты, например, хочешь?

— Мое дело.

— Ах, твоё,— тихим от сдерживаемого бешенства голосом сказал Корчмаренко,— твоё, сукин ты сын?

— Попрошу вас не выражаться,— сказал Жмакин,— здесь женщины.

Клавдя вдруг засмеялась и убежала.

— Ну ладно,— тяжело дыша, сказал Корчмаренко,— давай как люди поговорим. Пора тебе дурь из головы-то выбросить.

Они стояли друг против друга в полутемных сенцах, возле знакомой лестницы наверх. Лестница заскрипела, кто-то по ней спускался.

— Федя идет,— сказал Корчмаренко,— давай, Федя, сюда, праздничек у нас, Жмакин в гости пришел.

— А,— сказал парень в тельняшке,— то-то я слышу разговор. Здравствуйте, Жмакин.

И он протянул Жмакину большую, сильную руку. Чтобы было удобнее разговаривать, все поднялись по лестнице наверх и сели в той комнатке, в которой Жмакин когда-то жил. Тут Жмакин разглядел Федю Гофмана, и тот разглядел Жмакина. А в комнате теперь было много книг, и на полу лежал коврик.

— Приезжал сюда товарищ Лапшин,— сказал Корчмаренко,— беседовал с нами. Большого ума человек, верно, Федя?

— Толковый мужик,— подтвердил моряк.

— Особенно долго беседовал он с Клавдией с нашей. И пришли мы все к такому заключению, что пора тебе пустяки бросать.

— Извиняюсь, что вы называете пустяками? — спросил Жмакин.

— Воровство и жульничество,— сказал Корчмаренко.— Хватит тебе. Пора работать.

Жмакин взглянул на Гофмана и вдруг заметил в его глазах презрительное и брезгливое выражение.

— Так? — сказал Жмакин, — ладно. Все?

— Все,— сказал Гофман,— довольно, побеседовали.

— А в итоге? — спросил Жмакин.

— В итоге — иди ты отсюда, знаешь куда, — багровея, сказал Гофман и тяжело встал со своего места.— Сволочь паршивая...

— Но, но! — крикнул Корчмаренко.

— Спасибо за беседу,— кротко сказал Жмакин.

Он снизу вверх смотрел на высокого Гофмана и рассчитывал, куда можно ударить. Но Гофман сдержался. Жмакин повернулся на каблуках и сбежал вниз по лестнице. Дверь на улицу была открыта. Клавдя стояла на крыльце. Глаза у нее были пустые, измученные, и он сразу это заметил.

— Жуликом ты был, жуликом и останешься,— сказала она,— сломал мне жизнь. Иди, надоело!

Молча он глядел на нее.

— Не нужен ты мне, иди!

Он все стоял, бледный, косил глазами. Он так был уверен в ней. Только она одна оставалась у него. Теперь она отвернулась и заплакала.

На крыльцо вышел Гофман, в тельняшке, с мокрыми, зачесанными назад волосами, с полотенцем в руке.

— Разговариваете?— спросил он.

И по тому, как он дотронулся до Клавдиного плеча, Жмакин понял, что этот человек любит Клавдию и ненавидит его, Жмакина.

— Ладно,— сказал он,— желаю счастья.

Помахал рукой и пошел по дороге.

А Клавдия бежала за ним, он слышал ее дыхание, но не останавливался. Она схватила его за руку и сказала:

— Не мучай меня, Леша.

— Я никого не мучаю,— сказал он, не глядя на нее,— я сам себя мучаю.

— И меня, и меня.

— И тебя,— сказал он,— и вот тебе слово: стану человеком— приду, не стапу — не приду. Поняла?

Он был совершенно бледен, и голос его дрожал.

— К черту,— сказал он,— понятно? И этого холуя гони, я лучше его. Он вылитый жирафа...

Клавдия засмеялась с глазами, полными слез, и легонько толкнула его.

— Иди.

— Да, иду.

Еще они посмотрели друг на друга. Она была такая некрасивая в эти секунды, такая жалкая, синяя, измученная.

— Иди,— еще раз сказала она,— иди, маленький мой, иди!

Он пошел, совершенно обессиленный.

Обернулся.

Жалко улыбаясь, она глядела ему вслед. Такой он и запомнил ее и такой любил всегда, когда ее не было с ним.

А под вечер, свежепобритый, пахнувший паршивым одеколопом, с глазами, красными от бессонных ночей, он сидел в кабинете у Лапшина и сворачивал самокрутку из голландского табака.

Табак был душистый, но слабенький, и Лапшин, немножко покурив, сказал:

— Назад подарю. Я люблю такой табак, чтобы душил. А это не табак. Баловство.

— Слабенький,— произнес Жмакин.

Еще покурили, помолчали.

— Ну вот что, Жмакин,— сказал Лапшин,— теперь тебе к старым делам возврата нет. Надо на работу становиться.

— А может, я твою работу обокраду?— сказал Жмакин.

— Не обокрадешь.

— Доверяете?

— Более или менее,— сказал Лапшин.

Жмакин усмехнулся.

— Странное дело,— промолвил он,— давеча мне Корнюха доверял, сегодня — вы. И как доверял...

Он выпустил к потолку струю дыма, поморщился и сказал:

— Ладно, товарищ начальник. Покончили. Ваше слово.

Лапшин ходил по кабинету из угла в угол.

— В Арктику я тебя не пошлю,— говорил он, пофыркивая,— не тот ты человек...

— А в счетоводы я и сам не пойду,— сказал Жмакин,— тоже не тот человек.

— погоди. Арктика, следовательно, отпадает. Счетовод из тебя не выйдет по причине малограмотности... Директором завода тебя, сам понимаешь, не назначат...

— Да уж куда мне,— опять с усмешкой согласился Жмакин.

— А мог бы?— спросил Лапшин.

Он помолчал, глядя на Жмакина со странным выражением жалости и презрения. Потом, внезапно покраснев, заговорил сухим, военным голосом. Говорил он долго, и Жмакин не сразу понял, о чем идет речь. С каждым словом Лапшин все больше горячился и наконец хлопнул широкой ладонью по столу, возле которого сидел Жмакин, но тотчас же успокоился и тихим голосом сказал:

— Не крути, Жмакин. Я тебя в люди тяну, я тебя и застрелю, если понадобится. Понял?

— Понял,— кротко сказал Жмакин.

— Теперь расскажи, как с Корнюхой дело обстояло.

— Чего дело,— сказал Жмакин.— Балага, старичок там замешанный, я вам давеча позабыл сказать. А Корнюха — что ж... Таких кончать надо.

— А каких не надо?

— Ваше дело хозяйское,— сказал Жмакин,— вы сами знаете.

Они помолчали. Лапшин прошелся еще по комнате. Потом подвинул Жмакину бумагу и чернила. Жмакин спросил, что писать. Лапшин сказал: «Все, что про Корнюху знаешь и про его ребят». Жмакин медлил. Тогда Лапшин спросил:

— Ты за Советскую власть или против?

— За,— сказал Жмакин.

— То-то! Пиши.

— А при чем тут Корнюха? — спросил Жмакин.

— Корнюха — политический бандит, — сказал Лапшин. — Что ты приbedняешься?

Жмакин писал долго, снял пальто, повесил на вешалку и опять сел писать. Пока он писал, Лапшин разговаривал с кем-то по телефону. Жмакин не понял с кем, но понял, что разговор касается его, Жмакина. Кончив, он подписался: «К сему А. Жмакин» и сделал росчерк, похожий на гуся. Лапшин, чему-то усмехаясь, стал читать, потом спрятал написанное в ящик.

— Расстреляете? — спросил Жмакин.

— Видно будет, — сказал Лапшин. — Сначала поговорим, потом судить будем.

Все еще улыбаясь, он глядел в лицо Жмакина.

— Чего вы? — спросил Жмакин, стесняясь и розовея.

— Не красней, — сказал Лапшин, — правда на свете одна, двух правд нету...

И пошел отворять дверь.

15

— Пожаловал, — сказал он в дверях, — какой такой иностранец. А мы тут твой табак курили да ругали...

— А что, плох? — спросил вошедший.

— Да так себе табачишко, — говорил Лапшин, с удовольствием поглядывая на гостя. — Ну-ну, покажись... То-то приделся...

— Помаленечку, — говорил гость, снимая великолепное пальто и аккуратно сворачивая кашне, — и сам приделся, и Иван Михайловичу привез. На-ка...

И он вынул из кармана маленькую коробочку.

— Бритву привез? Ай молодец, — сказал Лапшин, — я сколько годов хорошую бритву ищу. Ну спасибо...

Пока Лапшин разглядывал подарок, а гость ему объяснял, как с этим подарком обращаться, Жмакин исподлобья рассматривал и оценивал гостя. Человек этот был среднего роста, тяжело-ват, еще молод и имел во всем своем облике нечто удивительно уютное, слаженное и устроенное. Вот вынул он из кармана зажигалку, щелкнул, — и здорово получилось. Заправил папиросу движением языка, прищурил один глаз — и всем стало понятно, что курить ему вкусно, дым теперь вовсе не мешает, а что касается до бритвы, привезенной из Америки, то нет ничего проще и легче, чем эту бритву разобрать и собрать вновь. И слова, которыми он пользовался, тоже были удобные, ясные и плотные. «Ничего дядька», — подумал Жмакин и взял со стола зажигалку. «Дядь-

ка» поглядел на Жмакина бурым медвежьим оком. Жмакин попробовал щелкнуть. Ничего не вышло. У Лапшина тоже ничего не выходило из сборки и разборки бритвы.

— Ну ладно, потом,— сказал он,— садись, Федор Андреевич. Рассказывай. Понравилась Америка? И познакомься. Жмакин — некто.

Познакомились, сели. Урча, Федор Андреевич рассказывал про Америку и собирал бритву. Собрал, разобрал. Руки у него были короткопалые, темные, рабочие и, видимо, чрезвычайно сильные. Собрал и положив бритву в футляр, он еще боком пригляделся к Жмакину, потом спросил:

— Он и есть?

— Он самый,— сказал Лапшин.— Но я тебя должен сразу предупредить: жулик.

— Воровали?— спросил Федор Андреевич.

— Приходилось,— сказал Жмакин.

— Вор хороший,— сказал Лапшин,— ловкач парень.

— Специальность имеет? — спросил Федор Андреевич.

— Имел,— сказал Жмакин,— слесарил немного, монтер также.

— Будете воровать или работать будете?

Жмакин молчал.

Лапшин глядел на него с любопытством.

— Я спрашиваю,— перейдя на ты, сказал Федор Андреевич,— будешь воровать или работать будешь? За воровство посажу немедленно. Будешь работать как человек — выдвину, помогу, материально обеспечу — лучше не надо.

Потев от напряжения, Жмакин поднял голову и встретился взглядом с холодными, неприязненными глазами.

— Только сразу и без дураков,— сказал Федор Андреевич.

— Ладно,— сказал Жмакин.

— Что значит ладно? Тебя никто не неволит,— сказал Лапшин,— не хочешь, не надо.

— Хочу,— с трудом сказал Жмакин.

— Слово?

— Слово, товарищ начальник.— сказал Жмакин и опять взглянул на Федора Андреевича.

Тот уже писал в блокноте размашистым, крупным почерком. Потом оторвал бумажку и протянул ее Жмакину.

— Завтра в десять придешь по этому адресу. Записка вместо пропуска. Звать меня Пилипчук...

— Паспорта у меня нет,— сказал Жмакин.

Лапшин и Пилипчук переглянулись.

Жмакин встал.

— И жить мне негде, — сказал он.

Пилипчук опять вынул блокнот и написал вторую записку.

— О, — сказал он, — иди сейчас туда, там будешь спать. Потом подумаем.

— Да прямо иди, никуда не заворачивай, — сказал Лапшин, — завернешь — пропадешь.

Жмакин оделся, нахлобучил кепку.

Лапшин вывел его в коридор. Здесь было полутемно.

— погоди, — сказал Лапшин, — возьми денег.

Он вынул бумажник, бережно отсчитал три пятерки, потом еще одну рублями и протянул деньги Жмакину. Жмакин не брал.

— Возьми, ничего, — сказал он Жмакину, — после получки отдашь.

— Спасибо, товарищ начальник, — сказал Жмакин, — только я не возьму.

— Ну и дурак, — сказал Лапшин и спрятал деньги в бумажник. Потом подал Жмакину руку. — Звони, коли что. Иди!

Не торопясь, Жмакин пошел по коридору и лестнице. Не торопясь, спустился вниз, вышел на площадь и по Зимней канавке к Неве. Где-то далеко играла музыка. Жмакин закурил, потер ладонью щеку, прочитал под фонарем адрес на записке, застегнул пальто и быстро зашагал на Васильевский остров, на Вторую линию, дом № 93, гараж.

В проходной гаража Жмакин показал записку дежурному. Тот повертел ее в руках и ушел. Вернулся он вместе с небольшим старичком. Старичок надел пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина, и повел за собой в деревянную часовню. Ворота в часовне были закрыты и забиты наглухо войлоком, и действовала одна только калитка, такая низкая, что Жмакину пришлось нагнуться. Старичок проворно захлопнул за собой калитку и сказал Жмакину:

— Располагайтесь!

Жмакин не торопясь огляделся. Часовня была превращена в квартирку, странную, но уютную, немного только уж слишком заставленную вещами. Посредине из купола спускалась лампа под самодельным абажуром. Стол был накрыт скатертью, белой и чистой. Было много книг на простых деревянных покрашенных полках, был чертежный стол, телефон висел на стене, пахло ладаном, застарелым свечным воском и табаком.

— Интересная квартира, — произнес Жмакин.

— Да, — равнодушно сказал старик и, поправляя пенсне, слегка закинул назад голову, осматривая Жмакина по-стариковски сверху вниз.

Жмакин снял пальто, кепку, повесил на гвоздик, сел за стол. Старик представился — назвал себя Никанором Никитичем.

— Алексей, — сказал Жмакин.

Сидели молча. Никанор Никитич покашливал, Жмакин барабанил пальцами по столу, не находя темы для разговора. Старик предложил чаю, Жмакин отказался.

— А вещички ваши? — спросил старик.

— У меня нету вещей, — сказал Жмакин.

Старик подвигал бровями.

— Так, так, — сказал он, — может быть, желаете соснуть?

— Вы не пьете? — спросил Жмакин.

— Иногда, — сказал старик.

Жмакин поднялся, достал из бокового кармана пальто бутылку и откупорил, ударив по донышку. Никанор Никитич поставил две рюмки и баклажанную икру. Выпили.

— Если в записке не написано, — сказал Жмакин, — то вот я вам говорю: я вор-профессионал. Много лет воровал. Теперь кончено, крышка. Буду в люди пробиваться. Это чтобы вы не думали, что я скрываю. А выпивать — тоже крышка. Последний раз. Не верите?

— Так, да, так, — неопределенно сказал старик. — А у меня, знаете ли, тоска.

— Почему? — спросил Жмакин.

— Сынишка погиб, — сказал старик. — Живу теперь один.

Понюхав корочку хлеба, он сбросил пенсне и рассказал, что сын погиб, работая шофером на грузовике, — машина потеряла управление и с ходу свалилась под откос.

— Практику отбывал мальчик, — глядя поверх Жмакина, говорил Никанор Никитич, — учился в автодорожном институте. Вот фотографии...

И он, морщась, точно от боли, стал показывать Жмакину карточки одну за другой.

— Я в провинции жил, и вдруг телеграмма. Такой удар, такой удар. И никого у меня, знаете ли. Один как перст. Я по специальности педагог. Русский язык преподаю. Ну-с, приехал на похороны. Лежит мой мальчик в гробу. Что делать? Я, знаете ли, засуетился. Заболел. И без меня его похоронили. Это было очень, очень тяжело. Ну-с, и вот тут появился товарищ Пилипчук, тот, который вас ко мне прислал. Вы его хорошо знаете?

— Нет, — сказал Жмакин.

— Светлая личность, — воскликнул старик, — большой души человек! Он меня не выпустил и поселил тут. Странно — педагог, и вдруг гараж. И, знаете ли, привык я. Не понимаю сам, но привык. В школе преподаю. А по вечерам тут, в гараже. Преподаю

русский язык, грамоте подучиваю. Кое-кто сюда в часовню ко мне ходит. Вокруг люди, машины фырчат, шум вечно, и так внимательны ко мне, так внимательны. Особенно сам товарищ Пилипчук. Заходит ко мне. Вот он сейчас из Америки приехал. Сразу ко мне зашел.

— А Пилипчук коммунист? — спросил Жмакин.

— Да, он состоит в партии, — сказал старик.

— А ваш сын?

— Состоял в Ленинском комсомоле.

— Давайте еще выпьем, — предложил Жмакин.

— Давайте, — сказал Никанор Никитич.

Еще выпили.

— Я пару дней назад, — сказал Жмакин, — одного кореша своего уголовному розыску выдал.

— Что значит кореш? — спросил старик.

— Вроде приятель, — сказал Жмакин, — мы с ним в заключении находились. Некто Корнюха. Людей, собака, стал убивать.

— Ай-яй-яй, — сказал старик.

— Выдал к черту, — сказал Жмакин, — может, кто меня и считает теперь, что я ссучился, но я плюю. Верно?

— А что такое ссучился? — опять не понял Никанор Никитич.

Жмакин объяснил.

— Так, так, — сказал старик, — это жаргон?

— Жаргон.

Не торопясь, Никанор Никитич собрал со стола фотографии и включил электрический чайник. Чайник зашумел. На стене мерно и громко тикали пестрые ходики.

— Хотите, я спою? — спросил Жмакин.

— Пожалуйста, — согласился Никанор Никитич.

— Нет, не стоит, — сказал Жмакин, — я лучше еще выпью. Вам, старичку, не надо, а я выпью. Выпью и спать лягу. Интересно в часовне небось спать...

Он выпил еще водки, потом еще. Глаза у него посветлели. Он много говорил. Никанор Никитич молча слушал его, потом вдруг сказал:

— Вы долго страдали, голубчик?

— Смешно, — крикнул Жмакин, — что значит страдание! Что значит страдание, когда я зарок дал с Клавкой не видаться, пока человеком не стану. А она беременная. А там Гофман Федька.

— Не понимаю, — сказал Никанор Никитич.

— Не понимаешь, — со злорадством произнес Жмакин, — тут черт ногу сломит. Не понимаешь! Корнюху взяли, так? Теперь его, может, сразу налево? Так?

— Убийц надо казнить, — сказал Никанор Никитич, — это высшая гуманность.

— Чего? — спросил Жмакин.

Старик повторил.

— Ладно, — сказал Жмакин, — это вы после расскажете. Гуманность. С чем ее едят?

— Все не так уже сложно, — сказал старик. — То, например, что вас не посадили в тюрьму, есть, на мой взгляд, проявление гуманности.

— А Вейцман? Я не говорил про Вейцмана.

— Вы неправы, — сказал старик. — Дело не в этом.

Они заспорили. Жмакин кричал, плевался.

— Да вы, батенька, пьяны, — с неприязнью сказал Никанор Никитич.

— Пьян, да на свои, — сказал Жмакин.

Никанор Никитич уложил его спать в алтаре на раскладушку. Раскладушка скрипела, и Жмакину казалось, что ветхая материя вот-вот расползется. Во дворе гаража выли и гремели тяжелые крупновские пятитонки. Часовенка содрогалась. Заснуть Жмакин не мог, ворочался, от водки сердце падало вниз. Никанор Никитич шелестел бумагой. Потом и он улегся. Жмакин лежал на спине, сложив руки, глядя в сереющие узкие окна.

Утром, когда он во дворе из шланга сильной струей окатывал машину, к нему подошел Пилипчук в желтой облезшей куртке, с папирсой в крепких зубах. Поздоровались. Жмакин неловко еще таскал за собой кишку шланга. Пилипчук молчал, потом взял у Жмакина из рук шланг и стал показывать.

— Под низ бей, — говорил он, щурясь от мелких водяных брызг, — кузов и так не грязен. Погляди, что под низом делается. На!

Жмакин принял брандспойт, негромко сказал:

— На интересную работку меня подкинули.

— А что, не нравится?

Не отвечая, Жмакин обошел машину, поддернул кишку и под таким углом направил струю воды, что целый сноп брызг рикшетом залил штаны Пилипчуку. Кося злобными глазами и бледнея, Жмакин глядел на директора, как тот перчаткой сбивал брызги со штанов. Но скандала не произошло. Пилипчук ушел, не сказав ни слова.

Целый день Жмакин мыл машины, все больше и больше озлобляясь. Машины были грязные — работали по снабжению города овощами. В кузовах внутри плотно налипала земля, капуст-

ные подгнившие листья, сор. Нужно было лезть внутрь, скрести, чистить и только потом отмывать. И ни одного мужчины. На этой работе в гараже у Пилипчука работали только женщины. И работали лучше и ловчее Жмакина.

Молодой парень в красноармейской шинели — шофер-загонщик, на обязанности которого лежала «загонка» вымытых машин в гараж, дожидаясь очередной машины, подошел к Жмакину перекурить. Жмакин злобно выругался.

— Сердитый, — сказал шофер.

Двигая желваками под бледной кожей, Жмакин продолжал работать — еще отворотив кран шланга, сбивал с покрышек налипшую и присохшую за ночь грязь.

— Ох, сердитый, — повторил шофер, — чего такой сердитый, дядя?

— Уйди, — сказал Жмакин.

Парень не ушел. Жмакин повторил давешний номер, но так, что шофера окатило с головы до ног. Шофер подошел к Жмакину вплотную и сдавленным голосом спросил:

— Сдурел, малый?

— Уйди, — сказал Жмакин.

— Набью морду, — сказал парень.

Молча Жмакин поднял шланг и направил струю воды снизу вверх в лицо шоферу. Шофер, захлебнувшись и кашляя, кинулся на Жмакина, но Жмакин бил в него водою, отступая шаг за шагом. Со всех сторон бежали женщины, работавшие на мойке машин. Шофер, совершенно мокрый, с перекошенным от злобы лицом, опять кинулся на Жмакина, но тот стоял, прислонившись спиной к радиатору автомобиля, и с радостной яростью хлестал из шланга. Наконец кто-то догадался и перекрыл воду в шланге, повернув кран. Но Жмакин поднял над головой медный ствол шланга и хрипло сказал:

— Не лезь, убью.

Уже порядочная толпа собралась вокруг шофера и Жмакина. Все молчали. Было понятно, что затевается нешуточная драка. Шофер вдруг плюнул и ушел. Жмакин, глупо чувствуя себя и порастеряв уже злобу, не двигаясь, стоял со своим оружием в руках и поглядывал на удивленные лица собравшихся женщин.

— Ты что, скаженный? — спросила самая молодая и бойкая женщина в вишневом платочке и в ватнике на крепком теле.

Кто-то засмеялся.

— Ну чисто бешеная собака, — сказала другая женщина и сделала такой вид, будто дразнит собаку. — На, укуси, — крикнула она, показывая свою ногу, обтянутую сапогом. — На, куси!

Все засмеялись.

— Брось свой пулемет, — сказала жирная старуха, — слышь, дядя! Все равно патропов нет.

— А красивенький, — крикнула длинная черная мойщица и блеснула глазами.

Опять засмеялись. Жмакин бросил шланг и с независимым видом, открыв перекрытый крап, вновь начал мыть машину. Женщины разошлись, только длинная мойщица с черными глазами стояла возле Жмакина и улыбалась.

— Глядите, дядя, меня не облейте, — сказала она.

— А не надо? — баском спросил он.

— Конечно, не падо, — сказала она, — я могу через это воспаление легких схватить...

Он промолчал.

— Вы, наверное, отчаянный, — опять сказала девушка. — Да? Ох, вы знаете, я до того люблю шпану. Наша маловская шпана известная, но я всегда со шпаной раньше гуляла. Честное слово даю. Мальчишки должны быть отчаянные. Верно? А не то что этот Васька.

— Какой Васька?

— Да загонщик Васька. Сразу напугался. Я, мол, сознательный.

— А может, он в самом деле сознательный, — сказал Жмакин.

— Сознательный.

— А тебя как зовут?

— Женька, — сказала девушка, — а вас как?

— Альберт, — сказал Жмакин, — пока до свиданья.

И повернулся к черпепькой спиной.

Милут через пятнадцать мокрый Васька вернулся к машинам. Лицо его было сурово, белесые брови насуплены. Когда Жмакин на него посмотрел, он отвернулся.

— Где же твоя милиция? — спросил Жмакин.

Васька, не отвечая, влез в машину, включил зажигание и нажал стартер. Стартер не брал. Васька опять нажал. Опять не взяло.

— Не любишь ручкой, — сказал Жмакин.

— На, заведи, — коротко сказал Васька и протянул из окна кабины Жмакину ручку.

— Сам заведешь, — сказал Жмакин.

Несколько минут он смотрел, как мучается Васька — в одно и то же время надо было заводить ручку и подсасывать воздух, — Васька бегал к кабине и каждый раз не успевал. Мокрую шинель он сбросил и бегал в одной, тоже мокрой, гимнастерке,

от которой шел пар. На одиннадцатый раз Жмакин сунул руку в окно кабины и подсосал воздух, в то время когда Васька заводил. Васька сел за руль и угнал машину на профилактику, потом вернулся за другой. Мокрая его шинель лежала на старом верстаке. За тяжелыми пятитонными машинами пели женщины-мойщицы. Больше готовых к угонке машин не было, Васька сел на верстак и сказал Жмакину:

— Директор меня убедительно попросил, чтобы я с тобой подзаялся. Ты будешь, Жмакин?

— Я?

— Директор говорит так, что с тебя спрашивать нечего, бо ты сегодня директора тоже плесканул.

— Было дело,— сказал Жмакин.

— А ты чего такой нервный? Больной, что ли? Директор говорил — больной.

— Немножко есть,— сказал Жмакин.

Ему вдруг сделалось стыдно простодушного этого парня. Васька неловко переобувался — завертывал ноги сухими частями портянок и кряхтел.

— Да, бывает,— покряхтывая, говорил Васька, — у нас раньше работал тут бригадиром один усатик — здоровый дядя, как напьется, так сейчас представлять. Я, кричит, кто? И с ума сошел. Очень просто. Представилось ему, что он не больше не меньше как гриб. Так и доктор сказал: особое помешательство. Не веришь?

Они поговорили еще, и Жмакин опять взялся за планг. До семи часов он мыл машины, а когда пошабашили, опять подошел Васька и сказал, что директор поручил ему заняться со Жмакиным практической ездой.

— А инструкторские права у тебя есть? — щуря глаза, спросил Жмакин.

— Да тут на дворе,— сказал Васька, — какие тут права? Научу загонять машины, вот и все права.

— Поглядим,— сказал Жмакин и пошел в душевую, не оглянувшись даже на Ваську. А Васька проводил Жмакина глазами, покачал головой и пошел в гараж как следует просушиться.

Опять наступил вечер, первый после рабочего дня за многие годы. Жмакин поел в столовой биточков, форшмаку, вымылся под душем, отскоблил от грязи казенные резиновые сапоги. На душе у него было смутно. К чему это все? И сапоги, и душ, и Васька-дурак? Но был тихий весенний вечер, небо было безоблачно, тянуло вечерней, весенней, беспокойной сыростью. Сейчас

бы идти, идти. Он почистился, пригладил волосы, надел пальто нараспашку, подмигнул Никанору Никитичу и вразвалку пошел к проходной. Его не выпустили. Он стал скандалить, требовать, орать.

— Да пропуска у тебя нет, беспокойный ты человек какой, — сказал Жмакину усатый дядька с винтовкой, — нет пропуска, понял?

Жмакин отправился к коменданту и не застал его, заместителя тоже не было. Тогда он стал искать выхода другим путем — через забор или как-нибудь понезаметнее. Ходил злой, поплевывал под огромным кирпичным брандмауэром, потом возле высокой каменной стены, потом возле сараев, выстроенных друг подле дружки. Наконец нашел щель. Сунулся. Там внутри было забито и заброшено ржавой жестью, трубами. Полез. Но дальше оказалась колючая проволока, Жмакин рванул об нее пальто и с яростным ужасом услышал жалобный треск рвущейся материи. Проклиная весь мир, в темноте и в грязи он долго выпутывался из проволоки, долго вылезал по гремящей жести и сложенным трубам; все это вдруг покатилося с грохотом вниз, Жмакин сорвал о кирпич кожу с ладони и ногами вперед, как на салазках, слетел в талый снег, в лужу. А тут, как нарочно, две женщины с носилками сваливали мусор. Одна из них вскрикнула, другая засмеялась.

— Ну чего, — крикнул Жмакин, — чего смешного?

Как был, в грязи, что-то шепча, он пошел в контору, прорвался мимо секретарши и влетел к директору в кабинет. Пилипчук, поставив перед собой судок с простывшим жирным супом, обедал и читал газету. Увидев Жмакина, он смешно открыл рот, но тотчас же сделался серьезным и спросил, в чем дело.

— Пропуск, — тяжело дыша, сказал Жмакин.

— Куда пропуск? — заглядывая в судок и вылавливая ложкой картофелину, спросил Пилипчук.

— На волю, куда же еще, — сказал Жмакин.

— А здесь тебе неволя? — спросил Пилипчук.

Жмакин молчал.

Директор, неприязненно глядя на Жмакина, предложил ему сесть. Жмакин сел. Пилипчук отставил от себя судок, снял с тарелки крышку и, сделав удивленное лицо, принялся за второе.

— Ну говори, говори, — произнес он, аппетитно жуя, — что ж ты молчишь?

— В город хочу выйти, — сказал Жмакин.

— Зачем?

— Да погулять.

— Не нагулялся еще?

— Вы меня не оскорбляйте, — мутно глядя в лицо директору, сказал Жмакин, — что вы мне тычете позорное прошлое?

— Ох ты, — сказал директор, — уже перековался. Уже прошлое. Нет, брат Жмакин, этот номер не пройдет. Ты, брат Жмакин, вор, и пока не станешь настоящим работягой, никто тебе не поверит. Какой интересный. Один день поработал, и уже — мое прошлое. Будто бы есть у тебя настоящее. Настоящее твое — знаешь что? Озлобленное хулиганство. Ты на каком основании загонщика сегодня водой облил? За что? Ты почему затеял драку, о которой весь гараж говорит? К тебе по-человечески, а ты как бешеная собака. Чем ты лучше Василия? Чем ты можешь похвастаться? Воровством? Хулиганством? Пьянством? Скажи пожалуйста, какой хват нашелся. Я перед Василием должен за тебя извинения просить, что, дескать, больной человек. С какой стати? Пропуск ему подай! Гулять ему надо! Поди посиди дома, о жизни своей подумай!

— Хватит, думал, — негромко и тяжело сказал Жмакин.

— Что хватит? — перегибаясь через стол и щуря медвежьими гневными глазами, спрашивал директор. — Чего хватит? Видно, мало думаешь, Жмакин. Да чего говорить. Позвоню сейчас Лапшину, что ты не хочешь работать как человек, и дело с концом.

Он сорвал с телефона трубку, подул в нее и вызвал коммутатор милиции.

— Разве ж я не работаю? — спросил Жмакин.

— Филонишь, — коротко сказал Пилипчук. — Кабинет Лапшина дайте, — крикнул он в трубку.

— Товарищ Пилипчук, — сказал Жмакин.

— Чего?

— Не надо!

Жмакин показал рукой на трубку. В глазах у него выступили слезы.

— Лапшин, — крикнул Пилипчук, — здорово, Лапшин. Я по поводу Жмакина.

Гневно глядя на Жмакина, он кричал в трубку:

— А? Не слышу. Нет, в порядке. Показал класс работы. Что? Молодец-парень. Мы из него сделаем такого шофера, что весь Союз удивится. Не веришь? Я тебе говорю! Нет, организованно держится. Теперь я за него ручаюсь. Партбилет мой? Не боюсь, не побелеет. Я тебе говорю — золото парень. Да, у меня он сидит. На, говори!

И резким движением он протянул Жмакину телефонную трубку через стол.

Что говорил Лапшин, Жмакин не слышал, а если и слышал, не понимал. На вопросы Лапшина он по-военному отвечал:

«Слушаюсь, товарищ начальник». Его трясло. Повесив трубку, он увидел, что Пилипчука в кабинете нет. Прошла минута, другая. Прошло минут пятнадцать. В комнату заглянула стриженная секретарша и спросила, кого Жмакин ждет. Он объяснил. Секретарша передернула плечами и сказала, что товарищ Пилипчук уехал в Смольный на заседание.

В часовне шел урок. Никанор Никитич, мягко ступая в ночных туфлях, ходил возле стола, вздергивал голову и мечтательно говорил:

— В капиталистических странах техническая интеллигенция частично капитулировала, и, таким образом, электрификация...

Вокруг стола, с которого скатерть была снята, сидело человек семь народу. Писали диктант. Тут были два старых шофера, три грузчика, стрелок из военизированной охраны и уборщица — полная, неповоротливая женщина с усердными глазами.

— Перед «таким образом» какой знак препинания? — спросил шофер с круглой лысиной.

— Подумайте, — сказал Никанор Никитич и, наматывая на палец ленточку от пенсне, опять стал ходить из угла в угол.

Жмакин прошел к себе в алтарь, понюхал воздух, отдающий ладаном, и лег на раскладушку, неприятно под ним заскрипевшую. Ему надо было думать, и он, закрыв глаза, стал собираться с мыслями, но вдруг уснул и проспал до утра без снов, спокойно, ни разу не повернувшись. А утром съел бутерброд, купленный впрок, выпил стакан кипятку и, чувствуя себя сильным, крепким и бодрым, вышел на работу — мыть машины.

В перерыве он пообедал, а пошабашив и умывшись, сам сказал Василию:

— Начнем помаленьку?

— Можно, — сказал Васька.

Нарядчик — длинный и серьезный человек по фамилии Цып-лухин — позвонил директору, спросил, можно ли дать трехтонку. Потом сказал:

— Бери девяносто шестьдесят два. Только имей в виду!

— Чего в виду, чего в виду, — закричал Васька, — чего вы пальцем грозите!

Они сели в кабину, Жмакин за руль, Васька сбоку.

— Теперь слухай, — сказал Васька, — гляди и слухай, какая тут картина. Ты что, в гаражах работал?

— Работал, — сказал Жмакин.

— Раз работал, значит повторим. Что мы имеем перед собой в кабине? Мы имеем рулевое управление, имеем два тормоза, ручной и ножной, имеем стартер — вон он, пупка, торчит, гляди...

— Вижу, — сдерживая презрение, сказал Жмакин.

— Дальше мы имеем конус, иначе сцепление, имеем акселератор и имеем рычаг скоростей. Вон оно, яблочко. Повтори.

Жмакин повторил по возможности более равнодушным голосом. Васька два раза его поправил, он стерпел. К Ваське не поворачивался — глядел прямо перед собой в смотровое стекло. Васька велел ему плавно выжать конус и поставить первую скорость, потом вторую, потом третью, потом четвертую. После этого он начал рассказывать о сцеплении.

— Может, поедем? — раздувая ноздри, спросил Жмакин.

— Быстрый какой, — сказал Васька. — Меня знаешь сколько долбили теоретически, пока я до практики дошел. Итак, в чем же заключается сцепление?

Жмакин смотрел перед собой и не слушал. Васька раскраснелся, с каждой минутой говорил все увлеченнее и вдруг заставил Жмакина выйти из машины и поднять капот.

— Теперь гляди сюда, — приказывал он, — наклонись, не стесняйся спинку погнуть. Шоферское дело знаешь какое? С ума можно сойти.

Из гаража вышел Цыплухин и позвал Ваську. Жмакин сел в кабину, захлопнул дверцу, поднял опущенное стекло и, сжав зубы, включил зажигание. Потом нажал стартер, выжал конус, поставил скорость и дал газу. Грузовик, как жаба, прыгнул вперед. Раздувая ноздри, Жмакин на первой скорости стал разворачивать машину. На секунду он увидел Ваську, бегущего навстречу, потом Васька пропал, и навстречу побежала каменная стена гаража. Жмакин сильно вертел рулевую баранку, но стены были везде. Тогда он рванул тормоз. Машина остановилась в двух шагах от стены, задрав радиатор, — передними колесами Жмакин успел въехать на кучу щебня.

Он заглушил мотор, вздохнул и закурил.

Через секунду к машине подбежал Васька. Пот катился с него градом, на лице была ярость. Жмакин запер кабину изнутри и сказал Ваське через стекло, что машина побежала сама.

— Врешь нахально! — крикнул Васька и затарабанил в стекло кулаком.

— Успокойтесь, — сказал Жмакин.

Васька походил вокруг машины, покурив.

— Ну, теперь заходи, — сказал Жмакин, — только не верещать. Подумаешь, делов.

— Поставь задний ход, — сухо сказал Васька. — Теперь пять. Да не рви конус, черт паршивый.

Жмакин схватился за руль.

— Пусти руль, — сказал Васька.

Машина попятилась на кирпичный брандмауэр.

— Разобьешь машину, — в отчаянии закричал Васька, — пусти руль.

— Не пущу, — сказал Жмакин, — а ты пусти. Иначе разобью.

Васька со стоном отпустил. Жмакин быстро вывернул руль и схватился за тормоз. Машина остановилась.

— Ну ученичок, — сказал Васька, — с ума сойти можно.

— То ли еще бывает, — заметил Жмакин. — Давай покурим.

Они закурили, косясь друг на друга. Жмакин покрутил головой и засмеялся.

— Чего ты? — спросил Васька.

— Потеха, ей-богу, — сказал Жмакин.

Докурив, он велел Ваське вылезать из машины.

— Новости, — сказал Васька.

— Вот тебе и новости, — сказал Жмакин, — без вас обучимся. Вытряхивайся.

Но Васька не вылез. Жмакин вновь завел машину и поехал крутить по двору. Машина уже слушалась его, он сидел торжествующий, но бледный. Когда Васька хватался за руль, он бил его по руке и говорил: «Не лапай, не купишь». Крутили долго. Жмакин ездил между зданиями гаражей, объезжал кладбище грузовиков, пятился, разворачивался, тормозил, и под конец так ловко, что Васька выразил ему одобрение, после чего Жмакин немедленно высадил его и начал ездить один.

Уже стемнело, когда они загнали машину в гараж.

— Мерси, — сказал Жмакин, — как получу права, так тебе сразу угощение.

— Знаешь, тебе до прав еще плясать, — сказал Васька.

— Посмотрим, — сказал Жмакин.

Прошла неделя — директора он не видел. По утрам он мыл машины, вечерами Васька обучал его практической езде. По двору Жмакин ездил уже отлично. На второй неделе он, высадив по обыкновению Ваську из кабины, с ходу загнал трехтонку задом в гараж. Васька, увидев это, закрыл руками лицо. Жмакин, не смущаясь, выехал вновь во двор и вновь загнал машину задом в гараж.

— Да не гони, черт, — кричал Васька, — куда ты гонишь?

В это время во дворе появился Пилипчук. Он шел в сапогах, в желтой обшарпанной кожаной тужурке, в руке у него был сло-

женный портфель. Загнав машину, Жмакин вылез из кабины, по раздумал и выехал навстречу директору.

— По городу ездил? — спросил Пилипчук.

— Нет, не ездил, — сказал Жмакин.

— Ну поедem, — сказал Пилипчук и сел рядом со Жмакиным. — Повезешь меня домой.

— Да у меня ж прав нет, — робея, сказал Жмакин.

— Как-нибудь, — сказал Пилипчук.

Стрелок, увидев директора, отворил ворота и не спросил пропуск. Жмакин, осторожно объезжая колдобины, поехал по Второй линии.

— Медленно едешь, — сказал Пилипчук.

Жмакин нажал железку сильнее. Грузовик заскакал. Поехали по Среднему проспекту, потом по Девятой линии к мосту. Пилипчук насвистывал, глядя вперед и спрятав руки в карманы, точно его вез настоящий шофер.

— Арестуют меня за такое дело, — сказал Жмакин.

— Как-нибудь, — опять ответил директор.

На площади Труда Жмакин зазевался и едва не ударил радиатором в подводу, но Пилипчук вовремя схватил руль и вывернул передок. Молча поехали дальше. Васька в своей шинели сидел сзади в кузове, спиной к кабине, и пел песню, вспоминая те времена, когда он был грузчиком.

— Мотор совсем не знаешь? — спросил Пилипчук.

— Маленько знаю, — сказал Жмакин.

— Подзаймись, — сказал Пилипчук, — через неделю-две можешь, пожалуй, получить права.

Возле Мойки директор вылез.

— Товарищ директор, — внезапно осмелев, спросил Жмакин, — можно мне немного за город поехать? Немного подучиться.

— Одному?

— Зачем одному? С Василием.

— Попробуй, — сказал Пилипчук.

Василий перелез к Жмакину, Жмакин развернулся и поехал на Петроградскую. Здесь совсем уже была весна. Васька опустил боковое стекло, высунул голову. Он все пел, не мог остановиться. Еще не стемнело, воздух был чист и прозрачен, вода за деревянными перилами моста была такого розового цвета, что больно глядеть. Жмакин сидел за рулем по Васькиной инструкции — в свободной позе, как в кресле.

— Жмакин, а Жмакин, — сказал Васька, поворачиваясь своим курносым лицом к нему, — это правда или неправда, люди говорят про тебя?

— Чего про меня люди говорят?

— От, например, — смущенно сказал Васька, — что ты будто бы из жуликов? Небось врут.

— Врут, суки, — невозмутимо сказал Жмакин. — Ты, браток, не слухай. Мало ли чего говорят. Про тебя такое, брат, треплют, что спасения нет.

— Чего про меня треплют? — быстро и испуганно спросил Васька.

— У-у, братуха, — сказал Жмакин. Он никак не мог придумать, что бы ввали про Ваську, а только, усмехаясь, покачал головой.

Проехали Новую Деревню.

Теперь перед ними лежали болотца, подернутые легким туманом — серебристым, сглаживающим очертания, неясным и призрачным. Где-то далеко неярко и ласково теплился желтый огонек. Была прохладная майская белая ночь.

— Во, природа, — значительно произнес Васька.

Машина плавно бежала по дороге возле бесконечного ряда столбов, беленных известью. Неожиданно сзади вынырнул поезд — черный, длинный, с темными окнами, завыл и стал обгонять. Железнодорожный путь лежал рядом с шоссе. Жмакин подпажал железку, грузовик вырвался вперед и пошел ровно с поездом, но поезд опять обогнал, громкая песня раздалась из последнего вагона, мелькнул красный огонек, и стало тихо.

Проехали мостик.

Тут было видно море и далекие неподвижные острия парусов на горизонте. Запахло рыбой. Горел костер, возле костра сидели люди, неподалеку старик в картузе смолил баркас.

Васька запел:

Лиловый негр вам подает пальто.

— Почему лиловый? — спросил Жмакин.

— А хрен его знает, — сказал Васька, — лиловый и лиловый.

В засыпающей Лахте Жмакин остановил машину и, сказав Ваське, что сейчас вернется, побежал по знакомым переулочкам. Все было тихо вокруг, печально, загадочно. Дорогу вдруг перебежала черная кошка. Жмакин с ожесточением плюнул, вернулся назад и побежал в обход мимо станции. Залаяла собака. Он окликнул ее негромко и услышал, как она застучала по забору хвостом. Он забыл, как ее звать.

— Жучка, Жучка, — шепотом говорил он, — Шарик...

Погладил по сырой шерсти и заглянул в Клавдино окно. Там сидел Гофман и что-то рассказывал. Лампа-молния горела на столе, покрытом плюшевой, знакомой-знакомой скатертью... Гофман был выбрит, в пиджаке с галстуком, лицо его, как показалось Жма-

кину, имело нахальное выражение. Жмакин зашел сбоку и заглянул в ту сторону, где стояла Клавдина кровать. Клавдия лежала на кровати, укрытая до горла своим любимым пуховым платком, беленькая, гладко причесанная, и улыбалась. Сердце у Жмакина застучало. «Дочка небось в столовой спит, — думал он, — небось мешает». Уже задыхаясь от неистовой злобы, не помня себя, он наклонился, взял кирпичину и отошел, чтобы, размахнувшись, швырнуть в окно, но вовремя одумался и так с кирпичом в руках пошел назад по тихим и сонным переулочкам к шоссе. Возле шоссе он бросил кирпич в канаву, обдернул пальто, поправил кепку, придал лицу выражение деловитости и влез в кабину. Васька все пел.

— Повидал дамочку? — спросил он разомлевшим голосом.

— Какую дамочку? — сказал Жмакин. — За папиросами на станцию бегал.

И, развернув грузовик, он с такой стремительностью поддал газу, что Ваську откинуло назад и сам Жмакин стукнулся головой.

— Полегче бы, — сказал Васька безнадежным голосом, зная, что Жмакин все равно не послушается.

— Ладно, полегче, — ответил Жмакин и, отчаянно нажав сигнал, повел машину в обгон осторожно плетущегося бьюика.

17

Почему он ревновал? Какие у него были основания? Не смыкая зеленых глаз, он лежал час за часом на своей раскладушке в часовне в алтаре. За узкими стрельчатыми окнами плыли легкие, розоватые утренние облака. Роса упала на булыжники двора, на железные крыши гаражей, на купол часовенки. Жмакин все лежал не двигаясь, смутно представляя себе красивое сухое лицо Гофмана и вспоминая, как тот поглядывал на Клавдю. Лежа на своей раскладушке, он думал о том, что происходит там сейчас, или вчера в это время, или позавчера, когда лил весенний дождь и он, Жмакин, беседовал с педагогом. Стискивая зубы, он придумывал самые оскорбительные фразы, он составлял их из бесчисленных, ужасных по своему безобразию слов. «Ладно, — думал он, — ничего». И, задыхаясь от душного, спертого воздуха часовни, от запаха ладана, от старческих вздохов и бормотания Никанора Никитича, он вертелся на скрипучей раскладушке, вскакивал, пил воду и все грозился кому-то, ругал, ненавидел и жалел себя. Уже и мысли у него не осталось, что Клавдия не изменяет ему. Почему бы, собственно, не изменить? Все люди на

земле лучше, чем он, вор, непутевый бродяга, психопат и бездельник. Зачем он ей? Ей дядя нужен наподобие Гофмана, специалист, серьезный человек, член профессионального союза. Небось у Гофмана целый бумажник напихан справками! Небось он трудовой список имеет, какой полагается. А у него, у Жмакина, что? Чужая койка в бывшей православной часовне?

И она, с его, Жмакина, ребенком, будет жить с Гофманом, будет жена Гофмана, и в паспорте ее зачеркнут фамилию Корчмаренко и напишут Гофман. Клавка Гофман.

Тряся головой, он вскочил, накинул пальто и вышел на крыльцо часовни.

Какое утро, сияющее и великолепное, наступало! Какой начинался день! И как хорошо и остро пахло бензином на огромном, чистом дворе! Как ровно, в струпку стояли зеленые грузовики! Как солнце всходило!

«Ладно, ничего, — думал он, вздрагивая от утренней сырости, — найдем и мы себе под пару. Наслаждайтесь, любите! Мы тоже не шилом шиты, не лыком строчены. Насладимся любовью за ваше здоровье. Будет и наша жизнь в цветах и огнях. Оставайтесь с товарищем Гофманом, желаю счастья. Но когда Жмакин станет человеком — извините тогда. Вы тут ни при чем. Не для вас он перековывался из жуликов, не для вас он мозолил свои руки, не для вас он мучился и страдал. Черт с вами».

А он действительно мучился и страдал. Не привыкший к труду, раздражительный и нетерпимый, он вызывал в людях неприятное чувство к нему, и его сторонились, едва поговорив с ним. Злой на язык, самолюбивый, он никому не давал спуска, задирался со всеми, все делал сам, никого ни о чем не спрашивал, и если говорил спасибо, то как бы подсмеиваясь — говорил так, что уж лучше бы не говорил вовсе. Даже покорный и скромный Васька раздражал его. Он видел в нем не просто безбидного курносого и мечтательного парня, а соглядателя, кем-то к нему подосланного и подчинившегося ему, Жмакину, только внешне, потому что иначе кашу не сваришь. Это и в самом деле было так: Васька хитрил со Жмакиным по совету Пилипчука.

— А чего, — сказал Ваське директор, — ты с ним осторожененько. Станет человеком, обломается. Это пока он такой индивидуальный господин.

И Васька действовал осторожененько, но Жмакин был хитрее Васьки и скоро раскусил дело. А раскусив, понял, что Васька сам по себе, и что вовсе Жмакин им не командует, и что как раз в подчиненном якобы Васькином положении Васькина сила.

«Все воспитывают, — со злобной тоской думал Жмакин, — все с подходцем, ни одного человека попросту нету...»

Однажды он сказал об этом Лапшину. Лапшин наморщил лоб, усмехнулся и ответил:

— А ты будь как все. Сразу и перестанут воспитывать. Очень нужно.

— Под машинку постричься?

— Это как? — не понял Лапшин.

— Вы говорите «как все», — щуря злые глаза, сказал Жмакин, — значит, как Васька, или как Афоничев, или как вроде них.

— Почему, — все еще усмехаясь, сказал Лапшин, — будь лучше их.

— Как?

— Подумай.

Была белая, теплая летняя почь. Лапшин и Жмакин сидели в садике на Петроградской стороне возле Травматологического института. Лапшин был в белом, даже сапоги на нем были белые, брезентовые. Несмотря на то что Лапшин усмехался, лицо его выглядело грустным и уже немолодым.

— Товарищ начальник, — сказал Жмакин, — я извиняюсь за один вопросик. Не обидитесь?

— Нет, — сказал Лапшин и закурил.

— Товарищ начальник, — сказал Жмакин, и голос его дрогнул, — как бы вы, допустим, поступили на таком деле: если бы вас баба обманула?

— Не знаю, — сказал Лапшин, — меня никто никогда не обманывал.

И отвернулся.

— Что же вы скажете, может, что вы не влюблялись в девчонок?

Лапшин молчал.

Жмакину стало неловко, он покашлял и вобрал голову в плечи. Лапшин сидел боком к нему, и его простое лицо в сумерках белой ночи выглядело необыкновенно усталым и замученным.

— Работать надо, Жмакин, — вдруг подобранным голосом сказал Лапшин, — землю перепаживать. На каждом участке работы можно революцию сделать.

— Э! — сказал Жмакин.

— Я бы тебя за это «э» так бы жахнул мордой об стол, — внятно и злобно сказал Лапшин, — так бы жахнул... Если бы не был твоим следователем.

— Да жахайте, — виновато сказал Жмакин, — пожалуйста...

Опять замолчали.

— Какая такая может быть революция в нашем гараже, — сказал Жмакин, — объясните мне за ради бога.

— А Стаханов?

— Чего Стаханов? — не понял Жмакин.

— Почитай, узнаешь, — сказал Лапшин, — вырос дурак дураком... — Он сердито затащился, далеко и ловко забросил окурок и встал.

Встал и Жмакин.

Медленно они шли по аллее, и оба чувствовали, что не договорили до конца.

— Так-то, — сказал Лапшин, — не тоскуй, Жмакин. Все по своим местам встанет.

— Может быть, и так, — вяло согласился Жмакин.

Возвращаясь по Кронверкскому домой на Васильевский, Жмакин обогнал ту черненькую высокую девушку с блестящими глазами, которая назвалась Женькой на мойке машин в первый день работы Жмакина. Она плелась позевывая, с сумочкой в обнаженной руке, в светлом платье, простоволосая. Было в ней что-то жалкое, и, вероятно, оттого, что она показалась ему жалкой, он вдруг почувствовал себя таким одиноким, заброшенным и никому не нужным, что с неожиданной для себя лаской в голосе окликнул ее и взял под руку.

— Вот так встреча, — говорила она, — прямо как в кино. Верно? И вы вовсе не Альберт, да? Вы как раз Лешка Жмакин.

— Федот я, — сказал он, и оба засмеялись.

Она шла от подруги, у которой было заночевала, но, по ее словам, ребята начали безобразничать, и она решила уйти. От нее пахло вином, и чем дальше они шли, тем больше и острее Жмакин испытывал то чувство, которое прежде, до Клавди, испытывал всегда к женщинам: чувство презрительной и брезгливой жадности. Он вел ее под руку, она опиралась на него, он слышал, как пахнет от нее пудрой и вином, прижимал ее голую руку к себе и испытывал тяжелое раздражение оттого, что не обогнал ее, а идет с нею, и оттого, что Клавдия бросила его, и оттого, что он одинок, заброшен и несчастен. «На, — думал он, — гляди со своим Гофманом. Плевал я. Вы там, мы тут. Без вас обойдемся. От, чем нам плохо? Раз, два и в дамки».

И, заглядывая Жене в глаза, он запел нарочно те лживые и паршивенькие слова, которые пел когда-то давно, в одну из самых отвратительных минут своей жизни:

Рви цветы,
Пока цветут
Златые дни.

Не сорвешь —
Так сам поймешь —
Увянут ведь они.

Женя смеялась, а он, близко наклоняясь к ее миловидному круглому лицу, спрашивал:

— Правильно? А, детка? Верно я говорю?

У Народного дома они сели на лавку. Жмакин замолчал и подсунул свою руку под спину Жени.

— Не щекотать, — строго сказала она, и оба они тотчас же сделали такой вид, что пробуют, кто из них боится щекотки.

Немного поговорили о гараже, о том, что он «растет», потом Женя сказала, что ей надоело жить без красок.

— Жизнь должна быть красочная, — говорила она, слегка поднимая ноги и щелкая в воздухе каблуками, — мне хочется чего-то такого жуткого и захватывающего...

Жмакин слушал, сжав зубы, втягивая ноздрями запах пудры. «Красок ей надо, — думал он, — чего-то такого жуткого. Скажи пожалуйста».

Положенный срок прошел. Все вокруг было как полагается. И белая ночь, и парочки, целующиеся на скамьях, и предутренняя прохлада. Даже пиджак свой отдал Жене, на всех соседних скамейках мужчины были без пиджаков.

— Замуж я не хочу, — говорила Женя, — все бесцветно и серо...

Молча он прижал ее к себе, но она уперлась руками ему в грудь; он прижал сильнее, она согнула руки и тихим, как бы сонным голосом сказала:

— Не надо.

— Чего не надо? — грубо спросил он. И вдруг такая злоба наполнила его, что он отпустил ее и сразу совершенно спокойным голосом сказал: — Не надо, так и не надо.

— А? — не расслышала она, оправляя смятое платье.

— Не надо, так не надо, — раздельно и внятно повторил Жмакин.

— Вы какой-то странный, — жалобным голосом сказала Женя, — я просто даже не понимаю...

Он сидел, закрыв глаза, презирая себя, ужасаясь почему-то. «Никого не надо, — со страшной тоской думал он, — присушила, пропал теперь Жмакин. Нету нам с тобой, Жмакин, никаких других баб. А нашу бабу забрал Гофман. Забрал и смеется...»

Играя желваками, он раскрыл тупые глаза и поднялся. Женя, имея оскорбленное выражение, тоже поднялась и опять заговорила о том, что он странный.

— Не надо, так не надо, — в третий раз сказал он, — чего в самом деле...

И, почувствовав жалость к этой, как ему казалось, оскорбленной им девушке, он зарычал и сделал вид, что укусит ее.

Никанор Никитич не спал, когда Жмакин вернулся домой.

— Добрый вечер, — сказал Жмакин.

— Доброе утро, — сказал Никанор Никитич, — чайку не желаете?

Он отложил книгу, снял пенсне, видимо расположенный поговорить, и, улыбнувшись доброй улыбкой, подошел к Жмакину.

— Ну, — спросил он, упираясь пальцем ему в живот, — что?

Сели за стол пить чай.

— Как собака, — сказал Жмакин, — ладаном пахнет. Какая у нас жилплощадь. Верьте слову — все ладаном пропахло, даже чай.

— Я привык, — сказал Никанор Никитич.

— Никанор Никитич, — вдруг сказал Жмакин, — меня жена бросила.

Старик посмотрел круглыми глазами, потом ужаснулся, а Жмакину стало смешно.

— Я пошутил, — сказал он, — будь я проклят, пошутил. Никакой у меня и жены-то нет. Сам один. Сам себе хозяин, сам себе и хозяйка. Да. Надо работать. Выучусь на шофера, пачку деньги загонять бешеные, оторву себе костюмчик сирпеевый, ботинки с гамашами, а?

— Может быть, может быть, — растерянно сказал Никанор Никитич, — очень может быть.

Уже уходя спать, Жмакин спросил про Стаханова.

— Вы не знаете, кто такой Стаханов? — изумился Никанор Никитич.

— Знаю, но не все, — сухо сказал Жмакин.

— Ну, тогда садитесь, — сказал старик, — я вам попытаюсь изложить. Это не так просто, имейте в виду...

Оттопырив губы, он налил себе стакан крепкого чаю, придал лицу значительность и начал рассказывать.

Он уставал и изматывался еще и потому, что был плохо грамотен, а, готовясь к сдаче шоферского экзамена, приходилось много читать и разбираться в кое-каких чертежах. Да и не только в чертежах. Надо было знать мотор, электрооборудование, смазку. Васька его обучал. Но самолюбие Жмакину не позволяло быть у Васьки учеником, он должен был Ваську поражать, удивлять, зная все вперед, да так, чтобы Васька терялся, ахал и разводил

руками. И как только Васька понял, чего хочет Жмакин, он с удовольствием начал ахать и разводить руками, — в сущности, это было не так уж трудно, потому что Жмакин действительно его удивлял. Но и хвастался Жмакин тоже на удивление.

— Что, здорово? — спрашивал он у Васьки. — Я, брат, инженер буду, а не шофер. Вы ерунда, узкие специалисты, я дальше хочу пойти и пойду...

— А что ж не пойти, — поддакивал Васька, — у кого какие способности. Есть человек — орел, с ходу берет предмет. А есть — бревно. Долбишь, долбишь — ничего.

— Вроде меня, — хитро подмигивал Жмакин.

— Зачем вроде тебя. О тебе разговора нет, — как бы смущаясь, говорил Васька, — ты парень с головой...

— То-то, — говорил Жмакин, посмеивался и похлопывал смиренного Ваську по широкому плечу.

Целый день он мыл машины — зарабатывал. Денег было очень мало — в получку девяносто рублей, и от невозможности выбросить по старой памяти рубль-другой на ветер он нередко злился.

— Работаешь, работаешь, — кричал он тихому и ни в чем не повинному Никанору Никитичу, — мучаешься, мучаешься, и что в результате? Не желаю!

Однажды, обозлившись после очередной получки, он поехал в кафе «Норд», сел за столик под белым медведем, нарисованным на зеленом стекле, прочитал газету и с маху наел на двадцать семь рублей одних сладостей, решив, что теперь по крайней мере месяц не захочется сладкого. Осталось меньше семидесяти рублей. Два рубля он дал на чай, купил пачку папирос за пять и уткнулся в газету, а когда поднял глаза, то увидел, что в кафе входят Клавдя в миленьком синем платье и Федя Гофман — розовый, как поросенок, носатый и довольный. Жуя приторное пирожное с кремом, Жмакин спрятался за газету и взглядом, полным гнева, следил, как носатый и белобрысый Федя по-хозяйски выбирал столик и как улыбалась знакомой робкой улыбкой Клавдя. На ней были новые туфли с пряжками, и Жмакин сразу же подумал, что эти туфли купил ей Гофман. Жадными и злобными глазами он оглядывал ее фигуру и вдруг заметил уже округляющийся живот, заметил, что бока ее стали шире и походка осторожнее.

«Мой ребенок, — подумал Жмакин, — мой» — и, как бы споткнувшись, застыл на мгновение и усмехнулся, а потом тихим голосом подозвал официанта и заказал себе сто граммов коньяку и лимон.

Клавдя и Гофман сидели неподалеку от него, наискосок, в кабине, и не замечали, что он следит за ними, а он смотрел, и лицо

у него было такое, точно он видел нечто чрезвычайно низкое и постыдное.

Гофман сидел вполоборота к нему, и особенное чувство непа-висти в Жмакине возбуждала шея Гофмана, розовая, подбритая и жирная. «А ведь не толстый парень,— думал Жмакин,— даже худой, а вот наел себе загривок — не переплюнуть». И он представлял себе, как Гофман обнимает Клавдю и как Клавдя дотрагивается до этой розовой, жирной и подбритой шеи. Мучаясь, облизывая языком сухие губы, он с яростным наслаждением вызывал самые мерзкие образы, какие только могли возникнуть в мозгу, и примеривал эти образы к Клавде, и тут же грозил ей и ему, и придумывал, как он подойдет сейчас к ним обоим, скажет какое-то главное, решающее слово на все кафе, а потом начнет бить Гофмана по морде до конца, до тех пор, пока тот не свалится и не запросит пощады.

Он выпил коньяк и заказал себе еще.

Гофман подпер лицо руками и говорил что-то Клавде, а она, роясь в сумочке, рассеянно улыбалась. Им принесли кофе и два пирожных.

«Небогато», — со злорадством подумал Жмакин.

Уронив папиросы, он нагнулся, чтобы поднять их, и, когда брал в руки газету, увидел, что Клавдя смотрит на него.

«Поговорим», — холодея и напрягаясь всем телом, как для драки, подумал он, но не встал, а продолжал сидеть в напряженной и даже нелепой позе — в одной руке палка с газетой, в другой — коробка папирос.

Опа подошла сама и остановилась перед ним, робкая, счастливая, прелестная. Грудь ее волновалась, на лице вдруг выступил яркий и горячий румянец, и какая-то дрожащая, неверная улыбка появилась на губах.

— Лешенька,— проговорила она покорным и потрясающе милым ему голосом.

Он молчал.

— Леша,— опять сказала она, и он увидел по ее глазам, что она испугалась и что она понимает — сейчас произойдет ужасное. — Леша,— совсем тихо, с мольбой в голосе сказала она.

Тогда, почти не раскрывая рта, отдельно и внятно на все кафе он назвал ее коротким и оскорбительным площадным именем. И спросил:

— Съела?

В соседних кабинах поднимались люди. Гофман встал и, обдергивая на себе пиджак, крупным шагом подошел к Жмакину. Явился откуда-то кривоногий швейцар. Все стало происходить как во сне.

— Тихо, — сказал Гофман, — сейчас же тихо.

— Я вас всех убью, — скрипя зубами и наклонив вперед голову, сказал Жмакин. — Я вас всех порежу...

В его руке уже был нож, и он держал его как надо, лезвием в сторону и книзу. Подходили люди. Женщина в зеленой вязаной кофточке вдруг крикнула:

— Да что же вы смотрите! Он же пьян!

— Отдать нож, — фальцетом сказал Гофман.

Жмакин поднял голову и поднял нож. И тут, неловко присев, Гофман отпрянул за Клавдю. Нож в занесенной руке Жмакина дрожал. Он сразу не понял, что произошло. А когда понял, почти спокойно положил нож на стол, сказал «извините» и пошел к выходу. Его остановили. Он отмахнулся. Его опять остановили.

— Извините, товарищ, — сказал он, — мне идти надо.

И, чувствуя странную легкость в теле, вышел на улицу. Там его догнала Клавдя. Он посмотрел на нее, улыбнулся дрожащими губами. Она взяла его за руку и повела в «Пассаж».

— Ничего, ничего, — говорила она, — ничего, пойдем.

Он шел покорно, молча.

В углу возле автоматов они остановились.

— Ну, — сказала она, — что с тобой?

— Я тебя люблю, — ответил он, и губы у него запрыгали, — я тебя люблю, — повторил он со злобой, страстью и отчаянием, глядя в ее лицо, — слышишь ты? Я, я...

Спазмы мешали ему говорить.

— Не плачь, — голосом, полным нежности и силы, сказала она, — не плачь.

— Я и не думаю, — ответил он, — меня только душит...

И он показал на горло.

— Почистим желтые? — спросил вдруг из темного угла притаившийся там чистильщик сапог.

— Зачем ты с ним? — спросил Жмакин. — Зачем он тебе пужен?

— Он мне не пужен.

— Давай почищу желтые, — опять сказал чистильщик и ткнул Жмакина щеткой в ногу. — Почистим, хозяин?

Взявшись под руки, они вышли на улицу и сели в садике. Жмакин все еще задыхался.

— А Федьку кинула?

— Потеряла, — сказала она, прижимаясь лицом к плечу Жмакина.

Он засмеялся, потом закашлялся и сказал:

— Я б его зарезал. Но только курей я не могу резать, извиняюсь. Курица твой Федька.

Кашляя, он тряс головой и крепко сжимал ее холодную руку в своей горячей, уже загрубевшей ладони.

— И тебя б я тоже зарезал,— говорил он,— слышь, Клавдя...

— Ох, страшно,— смеясь и все теснее прижимаясь лицом к его плечу, ответила она.

Потом она стала расспрашивать; он отвечал ей про то, как живет, и что делает, и кто ему стирает белье. Мимо шла лоточница с мороженым, он подозвал ее и купил порцию за девятью пятью копейками. Но деньги он куда-то сунул и никак не мог найти. Лоточница стояла в ожидании, он все рылся по карманам. Клавдя поглядывала на него снизу вверх и облизывала мороженое.

— О, черт,— сказал Жмакин и принялся выворачивать карманы наружу. Денег не было.

Клавдя положила мороженое на бумажку, открыла сумочку и заплатила рубль. Лоточница дала ей пятак сдачи и ушла.

— История,— сказал Жмакин растерянным голосом,— тиснули у меня последнюю двадцатку. Я ее вот сюда пихнул, в кармашек.

Клавдя внезапно взвизгнула, захохотала и затопала ногами по песку.

— Ну чего ты, дура,— сказал он,— чего смешного? Залезла какая-то сволочь в карман и тиснула...

У нее по лицу текли слезы, она швырнула в песок недоеденное мороженое и так хохотала, что Жмакину сделалось обидно.

— Да брось ты,— сказал он,— дура какая.

И подумав, добавил:

— Очень даже просто. В «Пассаже» тиснули, в подъезде. Такая толкучка безумная, вот и тиснули. Ничего хитрого нет...

Он замолчал и долго сидел насупленный и сердитый. Потом развеселился, и опять они говорили, перебивая друг друга и смеясь неизвестно почему. Вечерело. Клавдя попросила его проводить ее в Лахту. Она встала первой, а он еще сидел и смотрел на ее ноги в узеньких новых туфлях.

— Федька справил?

— Какой ты, право, дурак,— поморщившись, сказала она. — Ну вставай, пойдем!

И потянула его за руку.

На вокзале они влезли в вагон посвободнее и встали в тамбуре. Клавдя дышала на него, и глаза у нее сделались робкими и печальными. Он держал ее руку в своей и перебирал пальцы.

— Теперь скажи,— велела она,— путаешься с бабами?

— Нет,— ответил он.

— И ничего такого не было?

— Одна была, Женька,— запинаясь сказал он,— но только я ничего такого не позволил себе. Ты что, не веришь?

— Дряннь какой,— сказала она,— сволочь паршивая...

Отвернулась и замолчала.

— Ну чего ты, Клавдя,— сказал он,— даже странно. Клавдя, а Клавдя?

Он дотронулся до нее, она ударила его локтем и всхлипнула.

— Чтоб я провалился,— сказал Жмакин,— чтоб мне руки-поги пооторвало, чтоб я ослеп навеки. Слышь, Клавдя?

Она молчала.

— Играете со мной,— сказал он,— сами с Федькой путаетесь. Знаем ваши штучки!

Клавдя засмеялась со слезами в голосе, повернулась к нему, взяла его за уши и поцеловала в рот.

— Вор, жулик, бандит,— сказала она,— на что ты мне пужеп, такая гада несчастная...

Поезд остановился.

Рядом стоял другой, встречный.

— Пойдем ко мне ночевать,— сказала Клавдя,— иначе я умру. Бывает, что среди ночи я проснусь и думаю, что если ты сейчас, сию минуточку не придешь, то я умру. С тобой так бывает?

— Нет, как раз так не бывает!

— А как бывает?

— Как-нибудь,— сказал он.

— А знаешь,— сказала она,— я тебя теперь все равно не отпущу. Я тебя сама выбрала. Понял?

Она говорила быстро, он никогда не видел ее такой.

— А мне отец знаешь что сказал, знаешь? Он сказал: «Клавка, рожай. Ничего. Прокормимся. Я заработаю. А ты маленько отойдешь — сама работать будешь. Бабка справится». Бабка тоже говорит — справлюсь, но плачет. В три ручья плачет. Стыдно ей, что без мужа.

— Я хвост собачий,— сказал Жмакин,— я не муж.

— Какой ты муж,— сказала Клавдя.

Они подошли к дому. На крыльце в рубашке апаш сидел Федя Гофман, курил папироску и глядел на небо. Жмакин обогнул его, как будто он был вещью, и вошел в сени. Навстречу стрелой вылетел Женька и повис на Жмакине. Потом вышел Корчмаренко и спросил у Клавди:

— Нашла?

— Нашелся,— розовея, сказала Клавдя.

Женька робко заговаривал со Жмакиным. Он, видимо, ничего не знал. Появилась бабка. Увидев Жмакина, она увела его в кухню и, называя Николаем — по старому паспорту, — стала упрашивать записаться с Клавдей. А Клавдя стучала в кухонную дверь и кричала:

— Баб, не мучай его. Лешка, ты еще живой?

— Живой, — смеясь, отвечал он.

А бабка плакала и, утирая слезы концами головного платка, говорила ему, как сохнет и мучается без него Клавдя и что, какой он ни есть человек, пусть женится и дело с концом, а там будет видно.

— Эх, бабушка, — сказал Жмакин, — недалекого и вы ума женщина. Что, я не хочу жениться?

До ужина он сидел с Клавдей в ее комнатке и тихо разговаривал у открытого окна. Потом Клавдя принесла лампу и ушла собирать на стол, а он взял с подоконника книгу и тотчас же нашел в ней телеграмму на Клавдин адрес. Телеграмма была Клавде, а подпись такая: «Целую. Жмакин». «Что за черт, — подумал он, — когда это я депеши посылал?» В книге была еще одна телеграмма, а в ящике и на полочке под слоником целая пачка телеграмм, и все подписанные Жмакиным. Он совершенно ничего уже не понимал и все перечитывал нежные и ласковые слова, которые были в телеграммах. «Это кто-то другой под меня работает, — вдруг со страхом подумал он, — это она с кем-то путается, это она вкручивает, что ли?»

Вошла Клавдя. Лицо у него было каменное. Она поглядела на него, на телеграммы и вспыхнула. Никогда он не видел таких глаз, такого чистого и в то же время смущенного взгляда.

— Это что? — спросил он и постучал пальцем по столу.

— Ничего, — сказала она.

— Это что? — опять, но громче спросил он.

— Дурной, — сказала она и, глядя ему в глаза, добавила: — Это я сама писала.

— Как сама?

— А сама, — сказала она, — не понимаешь? Сама. Чтоб они все не думали, будто ты меня бросил. Я ж знаю, что ты не бросил, — быстро сказала она, — я-то знаю, а они не знают. И еще я знаю, что ты, кабы догадался, такие телеграммы обязательно бы посылал. Или нет?

Румянец проступил на его щеках.

— Да или нет?

— Я не знаю, — сказал он.

— А я знаю, — ответила она, — я все знаю. И когда я, бывало, помню, все про тебя думала, так читала эти телеграммы...

Он молчал, опустив глаза.

— Пойдем,— сказала она и взяла его за руку,— идем, там картошка поспела.

И они пошли в столовую, где ничего не изменилось, где, так же как зимой, гудело радио и где благодушный Корчмаренко читал газету и Женька занимался опытами по руководству «Начинающий химик».

К ужину подавали рассыпчатый отварной картофель в чугунке, сельдь, залитую прозрачным подсолнечным маслом и засыпанную луком, и для желающих водку в тяжелом старинном графине. Старик Корчмаренко со значительным видом налил сначала себе, потом Жмакину, потом вопросительно взглянул на Федю Гофмана. Не отрываясь от газеты, Федя Гофман накрыл свою рюмку ладонью.

— Читатель,— сказал Корчмаренко.

Женька влюбленными глазами разглядывал Жмакина. Окна были открыты настежь — с воли в комнату вливался сырой вечерний воздух. Протяжно и печально замычала в переулке корова. Гукнул паровоз. Старуха с хлопотливой миной на лице подкладывала Жмакину побольше картошки. Все молчали. Федя Гофман стеснял и Клавдю, и Жмакина, может быть безотчетно он стеснял и других. На лице у него было написано недоброжелательство, а встретившись нечаянно глазами со Жмакиным, он покраснел пятнами и на висках у него выступил пот.

— Ну что ж,— сказал Корчмаренко,— выпьем по второй.

— Можно,— сказал Жмакин.

С третьей рюмки он на мгновение захмелел и сказал в спину уходившему Феде Гофману:

— А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют.

Федя дернул плечами и скрылся, а Корчмаренко спросил:

— Чего это случилось, а?

— У нее спросите,— ответил Жмакин, кивнув на Клавдю. — Она знает.

— Ладно,— сказал Корчмаренко,— потом на крылечке отдохнем.

Клавдя ушла к дочке, Женьку усадили спать, а двое мужчин вышли на крыльцо курить табак. Корчмаренко молчал, пуская дым к светлому небу. Жмакин подозвал кабысдоха и чесал ему

за ухом. Оба молчали. В соседних домах уже не было света, все тише и тише становилось в поселке, только собаки порою побре-хивали да гукали на Приморке паровозы.

— Но, Жмакин? — спросил наконец Корчмаренко неуверен-ным голосом.

— Чего «но»? — отозвался Жмакин.

— Как вообще дела?

— Да никак, — сказал Жмакин, — в правительство пока что меня не выдвинули.

— А я думал, выдвинули, — сказал Корчмаренко.

— То-то что нет, — сказал Жмакин.

Помолчали.

Корчмаренко притворно зевнул.

— Спать, что ли, пойти, — ненатурально предложил он.

— Можно и спать, — согласился Жмакин.

— Ой, Жмакин, — кашляя, сказал Корчмаренко, — не выводите меня из себя.

— Да ну там, — усмехнулся Жмакин, — как это я вас вы-вожу...

— Воруешь?

— Нет.

— Работаешь?

— Да.

— Хорошо работаешь?

— А зачем хорошо работать? — сказал Жмакин. — Это нигде не написано, что надо хорошо работать.

— Значит филонишь?

— Филопю.

Молча и быстро они поглядели друг на друга.

— У, подлюга, — жалобно сказал Корчмаренко.

Жмакин рассмеялся, отпихнул от себя собаку и встал.

— Ничего, хозяин, — сказал он, — как-нибудь бочком и про-скочим. Петушком.

Клавдя лежала уже в постели, когда он вернулся. Он снял башмаки, пиджак, аккуратно повесил брюки на спинку стула и спросил у Клавди, была ли она у Лапшина. Она ответила, что была несколько раз.

— Понравился?

— Хороший человек, — сказала Клавдя.

— Все мы хорошие для себя, — сказал Жмакин, — я для себя, например, самый лучший.

— Вот и неправда, — не согласилась Клавдя, — ты для себя самый худший, а не самый лучший.

Он подумал и согласился.

Потом он лежал рядом с пей и, слушая, как наверху ходит Федя Гофман, говорил:

— А ему фи́гу с маком. Верно, Клавдя? А? Или ты уже, не дай бог, спишь?

В пять часов утра он, оставив ее спящей, уехал в город и, не заходя в часовню, пошел на работу — опять мыл машины, но, против обыкновения, ни с кем не ссорился, не задира́л и был до того смирным, что Васька у него даже спросил:

— Чего это ты, Жмакин, такой тихий?

Под вечер во дворе возле слесарной мастерской Жмакин столкнулся с Женей. Оба разом остановились.

— Ну и ну, — сказала девушка, — носишься как очумелый.

На пей была синяя промасленная роба, и лицо у нее было в копоты и в масле.

— Ваську не видела? — спросил он.

— Нет, — сказала она, — я тоже как раз его ищу.

Еще постояли друг против друга.

— А ты зачем его ищешь? — спросил Жмакин.

— Кручу с ним, — ответила Женя.

Помолчали.

— Ничего, парень подходящий, — произнес Жмакин, — только жениться ему рано, ты ему голову не больно завертывай.

Женя фыркнула.

— Ну ладно, — сказал Жмакин, — некогда. Желаю счастья.

Он козырнул и ушел домой, в часовню. В часовне Пилипчук и Никанор Никитич пили чай и играли в домино, в козла. Жмакин козырнул директору и улегся на раскладушке в алтаре.

— Вам письмо, Жмакин, — сказал, покашливая, директор, — мы за вас тут расписались.

Жмакин вышел, шлепая босыми ногами. Пилипчук протянул ему большой твердый конверт со штампами и наклейками. Сделав неприпужденное лицо, Жмакин вскрыл конверт и вынул оттуда несколько бумаг, сколотых булавкой. Бумаги были твердые, толстые, аккуратные, и на всех были фиолетовые печати и значительные подписи с энергическими росчерками и хвостами. От волнения у Жмакина тряслись руки и глаза бестолково косили, так что он толком ничего не мог разобрать и разобрал только одни штампы и подпись прокурора республики. На другой бумаге сообщалось решение Верховного суда и было слово «отклонить», и Жмакин сразу же помертвел и выругался в бога и в веру, но Пилипчук взял у него из рук бумаги и мерным голосом все растолковал ему.

— Значит, дадут паспорт? — страшно расчесывая голую грудь ногтями, спросил Жмакин. — Или я ошибаюсь, товарищ Пилипчук?

— Несомненно, дадут, — сказал Пилипчук, — тут имеется прямое на этот счет указание.

— Временный?

— Зачем же временный, — поблескивая медвежьими глазками, сказал Пилипчук, — получите отличный паспорт, постоянный.

— Интересно, — сказал Жмакин и ушел опять к себе в алтарь.

Тут на раскладушке он разложил на голом животе бумаги и конверт и стал, нахмуриваясь, вчитываться в драгоценные фиолетовые слова, рассматривать подписи, печати с гербом Союза и даже поглядел одну печать на свет. Все было точно, ясно и правильно, и эти бумаги вполне заменяли ему паспорт на сегодняшнюю ночь — они даже были почетнее паспорта, потому что тут стояли подписи больших людей, и наличие таких подписей как бы говорило о том, что Жмакин чуть ли не коротко знаком и с прокурором Союза, и с председателем Верховного суда, и еще с разными значительными лицами, которые так тщательно занимались исследованием и рассмотрением его, Жмакина, жизни и судьбы.

«Чуть что — теперь к ним, — раздумывал Жмакин, глядя в потолок, — прямо в приемную и прямо к прокурору. „Извиняюсь, не помните ли вы одного некоего по фамилии Жмакин? Так я и есть тот самый Жмакин. Очень приятно!“»

И ему рисовались необыкновенно сладкие и необыкновенно приятные картины — одна другой радужнее и умильнее: то он, Жмакин, где-то такое катит в машине с Верховным прокурором, вольно и не принужденно с ним беседуя. То Верховный суд в полном составе пришел в гости на квартиру к Жмакину, но не сюда, в алтарь, а на какую-то настоящую квартиру, в которой уже присутствует Лапшин, и вот все садятся за стол пить чай, и тут же лежат паспорта стопкой, как блины на блюде, и Жмакин сам себе заполняет паспорт...

Проснулся он очень скоро и сразу же схватился за бумаги и стал опять читать их и перечитывать, а потом написал в Лахту телеграмму и пошел ее отправлять на телеграф.

Уже ночь была — теплая и душная, и на улице дул горячий ветер, носил пыль. На Малом проспекте на углу возле папиросного ларька стоял знакомый человек; Жмакин заглянул сбоку поближе и узнал Балагу. Желтый свет изнутри ларька освещал мятое лицо Балаги, нечистую руку с отросшими ногтями и толстую махорочную самокрутку, которую Балага посасывал, беседуя с одноглазым инвалидом-ларечником. «Что такое, — с тревогой подумал Жмакин, — чего он тут ходит-бродит? В тюрьме бы ему, а он, вишь ты...»

Миновав один раз ларек, он вернулся и, слегка оттолкнув Балагу, спросил себе папирос «Блюминг», пачку за шестьдесят пять копеек.

— Лешенька, — приветливо и осторожно сказал Балага, — здравствуй, орел!

— А, Балага, — равнодушно ответил Жмакин и, взяв сдачу, пошел по Четвертой линии мимо тяжелых каменных домов, нагретых за день солнцем и пышущих сейчас жаром, как из печки.

Расчет был правильный.

Балага, заметив равнодушие и незаинтересованность Жмакина, побежал за ним.

— погоди, Леша, — крикнул он, ковыляя сзади и погромыхая посошком по выщербленным плитам тротуара, — куда побежал, отец?

Жмакин остановился и, разорвав новую пачку папирос, закурил.

— Здравствуй, Лешенька, — сказал Балага.

— Здравствуй, Балага, — ответил Жмакин и не подал руки.

— Куда поспешаешь? — спросил Балага.

— Дело есть, — сказал Жмакин.

— Не сидел?

— Да как сказать, — неопределенно произнес Жмакин, понимая, что Балага осторожно прощупывает его.

— Так, — сказал Балага.

— Ну ладно, — сказал Жмакин, — будь здоров, Балага.

— Куда поспешать-то, — сказал Балага, — нам спешить-то некуда, Леша.

— Да как раз есть куда.

— Ишь ты, — произнес Балага почтительно и, как показалось Жмакину, нагло.

В больших черных воротах дома, около которого они разговаривали, на каменной тумбе сидел человек и тренькал на гитаре. Вокруг него несколько девушек и парней щелкали семечки и лениво пересмеивались и переговаривались разомлевшими от душной и пыльной почти голосами.

— А ты сам не сидел? — спросил Жмакин.

— Сидел, — сказал старик, — как же не сидеть. Обязательно сидел.

— За что же ты сидел? — спросил Жмакин.

— А по подозрению, — произнес Балага и чему-то усмехнулся. — Пришли, забрали, да и посадили. Но пришлось отпустить. Прокурор, спаси его бог, заступился. За что, говорит, держите старого человека?..

— Отпустили?

— Почти что так.

— Что значит «почти»? — сказал Жмакин. — Или отпустили, или не отпустили...

— Поди ты какой пряткий, — сказал Балага, — все ему выпь да положь. Научился у товарища Лапшина.

— А? — быстро спросил Жмакин.

— Бе, — ответил старик и засмеялся.

— Ты что это крутишь, старая сволочь? — срываясь на фальцет, спросил Жмакин. — Ты что юлишь?

Старик молчал.

— Чего глядишь? — спросил Жмакин. — Чего вылупился?

— Корнюху ты продал? — спросил Балага.

— Я, — вдруг успокаиваясь, сказал Жмакин.

— Врешь, — сказал Балага твердо. — Я Корнюху продал, а не ты. Я давно в своей преступной жизни раскаялся, и давно меня товарищи милицейские простили...

— Полицейские тебя простили, а не милицейские, — произнес Жмакин, — знаем, слышали...

Он мотнул головой и зашагал прочь от Балаги, но Балага догнал его и пошел с ним рядом.

— Слышь, Алексей, — сказал он, — не беги от меня, я тебе всю правду скажу.

— Пошел ты воп.

— Сердитый, — сказал Балага, — слышь, Леша, Корнюху-то того... В газете было написано черным по белому. Приговор приведен в исполнение. Ох, страшно.

— Уйди, — широко шагая, сказал Жмакин, — уйди, а то двину.

Тут тянулся высокий большой забор, и возле забора мерно ходил часовой с винтовкой и в фуражке, низко надвинутой на глаза. Миновали забор, вышли к воде. От сонных барж потянуло смолою. Большой бородатый мужик, поставив ведро на дрова, глотал воду как лошадь.

— Барочник, — сказал Балага, — барочный человек. У пих в старое время золотишко водилось. Был один немец, тюкал их — красивый дом построил.

— Оставь ты меня к чертовой матери, — сказал Жмакин, — что ты увязался?

— Дай пятерку, — сказал Балага.

— На, держи, — сказал Жмакин и, сунув Балаге в руку кукиш, зашагал мимо решеток заброшенной набережной к себе на Вторую линию.

Но тотчас же он подумал о том, что Балага, наверное, идет по следу и что тут не без Корнюхиных дружков-корешков, что Ба-

лага наверняка хочет вызнать, где Жмакин живет, и хочет продать его Корнюхиным корешкам за хорошие деньги, и что надо Балагу закрутить и обдурить, — и он сразу же сделал старый вольт: юркнул в подворотню и притаился, вжавшись с силой в ворота и подобрав живот. Через несколько минут по щербатому тротуару проковылял Балага, держа голову набок и подпираясь батожком. Пыльник из драгой клески бил его по ногам, он шел, как бы припихиваясь, и Жмакин вспомнил, что про Балагу когда-то говорили, будто он был при царе выдающимся филером и будто ему поручали разные серьезные дела.

«Позвонить, что ли, Лапшину», — подумал Жмакин, но сразу же отмахнулся от этой мысли, решив, что Лапшин, пожалуй, засмеется, узнав, как Жмакин испугался Корнюхиных корешков... «Сам справлюсь», — заключил он и пошел осторожно вперед, покуривая папироску и думая о том, что, кажется, обдурил Балагу. Но на углу возле старого, сгоревшего по фасаду дома он почти столкнулся с Балагой, шедшим ему навстречу. Увидев Жмакина, Балага заморгал и сделал вид, что удивился.

— Эдак я тебя и порежу, чего доброго, — как бы шутя, но и серьезно произнес Жмакин, — не лазай, старичок, где не надо.

— Да ты что, одурел? — спросил Балага. — Я где переспать ищу, а он — порежу.

— Знаем — переспать, — сказал Жмакин, — что, у тебя квартиры нету?

— Моя квартира, брат, сто первый километр, — сказал Балага, — выслали меня товарищ Лапшин и еще другие товарищи. Парий я, вот кто.

— Ну и вали на сто первый километр, — посоветовал Жмакин, — чего тебе тут колобродить.

И он пошел вперед, не поверив Балаге, но больше уже не скрываясь от него. Что в самом деле! На перекрестке сонно стоял милиционер в каске, в перчатках, при нагане. «Канибудь, — решил Жмакин, — депешку отправим и спать. А завтра паспорт получим и финку приобретем. А финку не приобретем — нож наточим. Покупайте нашу жизнь за бешеные деньги, кто желает!»

На телеграфе он взял бланк и паново написал всю телеграмму. Телеграмма получилась путаная, в ней было очень много слов, так много, что телеграфистка — раздражительная, с бархоткой на обнаженной шее — посоветовала переделать вдвое короче. Жмакин пыхтел, пыхтел и не смог. Тогда телеграфистка крикнула ему из своей загородки:

— Молодой человек!

Он подошел.

— В чем там у вас дело? — сказала она. — Объясните, я напишу.

— Дело ясное, — сказал он потя, — я находился в заключении, сейчас оправдан, и приговор мой отменен. Я сейчас равный гражданин.

— Не понимаю, — сказала телеграфистка, испуганно глядя на Жмакина.

— Был несправедливый приговор, — громко сказал Жмакин, — то есть он был справедливый, но не совсем.

— Ах, так, — сказала телеграфистка.

Написав, она прочитала Жмакину.

— Ладно, — сказал он, — еще напишите — вечно твой Алексей.

— Вечно твой Алексей, — противным голосом продиктовала себе телеграфистка. — Так. Семь рублей сорок три.

Жмакин заплатил и вышел.

В сенях телеграфа дремал Балага.

— Пойдем, Балага, — сказал Жмакин, — проводи меня, раз так.

— Раз как? — спросил Балага.

— У, песья морда, — сказал Жмакин, — сколь же тебе за это заплатят?

Балага не ответил и не поднялся с лестницы. Но на Среднем проспекте, возле аптеки по правую сторону улицы, Жмакин заметил его тень.

«Хорошие деньги обещали, — подумал он, — корешки прибыли, наверное, дай бог. Ну что же, померяемся. Миллиарды в валюте обойдется вам жизнь бывшего жулика Алексея Жмакина».

На следующий день Жмакин получал паспорт в областном управлении. Для этого он отпросился с работы, купил на завтрак пару московских пирожков с рисом и отправился на площадь Урицкого. Там в темных, заплеванных и грязных коридорах он бродил с одним парнем и беседовал о разных вещах; парень был незнакомый, но Жмакиным овладело болтливо-суетливое настроение, и потому он разговорился. Говорили о разных пустяках, потом подвергли суровой критике порядка паспортного управления и удивительный тамошний бюрократизм, потом побеседовали о работе, кто где работает и как получается с заработками. Жмакин с маху соврал про себя — вышло так, что в месяц у него заработок свыше двух тысяч рублей.

— Но-но, браток,— сказал парень.

— А чего,— сказал Жмакин,— очень просто...

Он хотел было объяснить, но побоялся запутаться и угостил парня московским пирожком. По ухваткам своего собеседника, по слишком солидному его тону и по некоторым словечкам Жмакин понимал, что имеет дело с бывшим жуликом, но из деликатности не подавал виду, что понимает, и сам, конечно, ничего о себе не говорил.

Наконец Жмакина вызвали в большую грязную комнату. Там сидел лысый человек со строгим лицом, в форме и при оружии. У него был сильный застарелый насморк, он говорил в нос и часто с воем и грохотом сморкался. Жмакин сел против него и поджал ноги.

— Рецидивист? — спросил лысый.

Жмакин промолчал.

Лысый еще покопался в бумагах и спросил, сколько у Жмакина приводов и судимостей.

— Несколько,— с осторожной наглостью ответил Жмакин.

— Как это у них там в Москве все просто,— сказал лысый,— диву даешься.

— Именно бывает, что в Москве просто,— произнес Жмакин,— а на некоторых местах не просто. Как пишется, власть на местах.

Лысый сделал вид, что не слышал. Жмакин ждал. Несколько минут прошло в молчании.

Лысый с неудовольствием еще раз прочитал все бумаги Жмакина, потом сложил их и ушел с ними в соседнюю комнату, а уходя, запер ящик своего стола на ключ.

«От вредная сволочь»,— с ненавистью подумал Жмакин.

Он ждал, раздражаясь все больше и больше, глядел в окно, вздыхал, скрипел стулом. Наконец лысый вернулся, жуя на ходу и помахивая небрежно сложенными бумагами.

— Придется вам завтра зайти,— сказал он, по-хозяйски садясь за свой стол,— я завтра с начальством побеседую, и тогда уточним вопрос.

— Мне завтра некогда,— сказал Жмакин.

Лысый взглянул на него как бы даже с удивлением.

— Некогда мне завтра,— повторил Жмакин.

Не глядя на Жмакина, лысый стал возиться в ящиках своего стола. Бумаги, присланные Жмакину из Москвы, лежали на столе возле чернильницы. Он взял их и поднялся.

— Бумаги-то вы оставьте,— сказал лысый.

Жмакин пошел к дверям.

— Гражданин Жмакин! — с угрозой в голосе крикнул лысый.

— Ладно, посмотрим, — сказал Жмакин, — посмотрим, кто кого будет уточнять: Москва вас или, может быть, вы Москву.

Отдышавшись в коридоре, он закурил и пошел к начальнику. Туда его не пустила секретарша.

— Занят, занят и занят, — сказала она, — завтра.

Он спустился вниз и позвонил оттуда Лапшину. Лапшина не было.

— Окошкин есть? — спросил Жмакин.

— И Окошкина нет, — ответили ему.

Он вышел на площадь. Пекло солнце, было жарко, душно, пыльно. Жмакину сразу захотелось и пить, и есть. Он немного прошелся по улице. Денег во всех карманах было рубля три, не больше. Волоча ноги, он дошел до «Пассажа» и пошел бродить по магазину, чего-то опасаясь, постреливая зелеными злыми глазами и покусывая губы. Руки у него дрожали. Он ничему не сопротивлялся и ни о чем не думал, у него было такое чувство, будто его несет в летний день речная вода, быстрая и опасная. И страшно, и приятно. На одно мгновение чувство укора пронеслось в душе, но он легонько выругался про себя, и все прошло. По спине пробежала дрожь — старая, уже полузабытая. Тут было много женщин, разгоряченных, с блестящими зрачками, крикливых, жадных. Пышными ворохами лежали на прилавках полуразмотанные штуки только что привезенных материй. Пахло ландринном, потом и пудрой. Жмакин все сильнее — плечом, боком — врезался в толпу, к прилавок, — напряженные его руки привычно и крепко искали. На него закричали, чтобы он не лез без очереди; он ответил, что ищет свою жену, сделал всего одно движение вперед, прижал высокую красивую женщину бедром и ловко расстегнул сумочку. Постреливая в лицо женщине глазами и спрашивая ее насчет какого-то маркизета, он вытянул двумя пальцами из ее сумочки деньги и начал пятиться из толпы к выходу. Денег было пятьсот рублей в заклеенной банковской пачке. Посвистывая и посмеиваясь, он зашел в цветочный магазин, выбрал венок на могилу, очень достойный и достаточно дорогой, попросил написать на дощечке «т. Иволгину» — Иволгиным звали лысого работника из паспортного отдела — и послал венок в управление Иволгину. Девушка в магазине удивилась, но Жмакин объяснил ей, что тот Иволгин, который лично примет венок, всего-навсего брат покойного и что самому покойнику лично, разумеется, он бы не стал посылать венок.

Из магазина он пошел в «Норд», поел, выпил коньяку и позвонил Лапшину. Лапшина все еще не было. Тогда он позвонил Иволгину и спросил пенатуральным голосом, получил ли тот венок. Иволгин что-то закричал, чихнул в трубку и опять закричал. Жмакин постарался засмеяться, но почему-то было не смешно; он повесил трубку и заказал себе еще коньяку. Коньяк оказался отвратительным. Он вышел на улицу. Было все то же: жара, пыль, запах смолы от торцов. Он медленно зашагал на Васильевский, думая о том, что паспорт ему, конечно, не следует давать. Четыреста рублей еще лежали в кармане. Уже дойдя до моста, он вернулся в «Пассаж» и нашел коменданта.

— У вас пайдены триста пятьдесят рублей,— сказал он,— вот они. Какой-то ворюга уронил. По-моему мнению, тут больше было, паверное рублей с полтысячи. Видите, пачка?

И он стал рассказывать вымышленные подробности так длинно, что комендант вдруг перестал ему верить, и Жмакин понял это.

На улице он почувствовал себя превосходным человеком. Он несколько не думал о том, что сверх истраченной сотни оставил себе еще пятьдесят. Он думал только о том, что вернул деньги, и относился к себе с почтительным уважением.

— Ну что? — спросил его Васька, когда он вернулся домой в гараж.

Жмакин не ответил.

— Получил паспорт?

— Нет, пока что не получил,— сказал Жмакин медленно,— но так я думаю, что получу на днях.

— Чего на днях? — сказал Васька. — Тебе завтра необходимо права сдавать. Понял? Категорически.

— Иди ты! — лениво сказал Жмакин.

— А почему не получил? — спросил Васька.

— Не успел.

— Что значит не успел?

— Ладно, до свиданья,— сказал Жмакин и пошел в часовню.

Никанора Никитича не было дома. Жмакин сонно побродил по компате, потом стал звонить по телефону — искать Лапшина. Лапшин исчез, точно сквозь землю провалился. И Окошкина тоже не было. От скуки Жмакин присел за стол и принялся расписываться, подыскивая росчерк покрасивее и потруднее. Было душно, вдалеке за крышами гаража, за кирпичным брандмауэром, над Невою, ворчал и погромыхивал гром — гроза шла стороною,

не освежая воздуха. Все темнее делалось. Изжелта-серые тучи заволакивали вечернее небо. Невнятное беспокойство с каждой минутой больше охватывало Жмакина. И подписи получались одна хуже другой — несолидные, коротенькие, совершенно неразборчивые. Он кинул карандаш, потянулся, попрыгал по комнате, разминая затекшее потное тело.

Зазвонил телефон.

— Да, — сказал Жмакин, — кого надо?

— Жмакин? — спросил знакомый голос.

— В порядке, — сказал Жмакин. — Добрый вечер, товарищ Лапшин...

От звуков покойного голоса Лапшина, от его лаконической обстоятельности он сразу же почувствовал себя увереннее и стал рассказывать о том, как ему не дали паспорта.

— Интересно, — сказал Лапшин, — очень даже интересно. Так ты заходи ко мне завтра часиков эдак в одиннадцать.

— Утречком?

— Утром.

Когда Жмакин повесил трубку, в комнате стало совсем темно. Тяжелые капли дождя вдруг ударили в стекло. Кто-то застучал в дверь снаружи.

— Открыто, — крикнул Жмакин, — давайте!

Опять застучали.

Жмакин отворил дверь и попятился назад. На крыльце часовни стоял высокий незнакомый человек в милицейской форме, другой поменьше в кепке и в кожанке, а сзади был дворник гаража, толстый Антоныч.

— Вы Жмакин? — спросил высокий.

— Я; — слабея ответил Жмакин, — я и есть Жмакин.

— Пройдемте, — сказал высокий, слегка грудью напирая на Жмакина.

Они вошли в часовню и закрыли за собой дверь. Дворник зажег электричество. Жмакин взглянул в лицо высокому. Это был человек с выщербленными передними зубами, с бесстрастным и сухим загорелым лицом, со светлыми пустоватыми глазами. Загар у него был красный, не здешний, и лицо было спокойное, уверенное.

— Так, — промолвил он, оглядывая часовню, — вы, гражданин, сядьте, а мы произведем обыск.

— Ордер у вас имеется? — спросил Жмакин.

— Все у нас имеется, — многозначительно сказал высокий, — и ордер, и всякое прочее...

Растворив дверцу шкафа, высокий остановился как бы в раздумье и легонько засвистал.

— Это не мои вещи, — сказал Жмакин.

— У них у всех вещи чужие, — сказал тот, что был в кожанке, — у них своих вещей не бывает.

Тяжелой походкой парень в кожанке прошел в алтарь и начал там что-то двигать и ворочать. Высокий неторопливо рылся в вещах, не принадлежащих Жмакину. Дворник Антоныч сидел возле двери на скрипучей табуретке и, укоризненно вздыхая, курил козью ножку. На воле шел дождь, медленный, все начинался и никак не мог начаться по-настоящему.

Жмакин дрожащими руками вытащил папироску и закурил. Мысли мепались в его голове. Он то корил Лапшина за подлость, то прислушивался к неровному, робкому шуму дождя, то опускал глаза, чтобы не встретиться взглядом с Антонычем, то думал о том, как его поведут через двор и как все увидят конец его жизни.

— Ладно, хватит, — сказал высокий тому, что был в кожанке, и, повернувшись к Жмакину, добавил: — Собирайтесь.

Посасывая папироску, Жмакин собрал себе арестантский узелок: смену белья, мыло, носков, легонькое дешевое одеяло, купленное на заработанные деньги, и, изловчившись, новую бритву «жиллет», чтобы лишить себя жизни. Бритву с конвертиком он покуда зажал в кулаке. Потом он накинул на плечи макинтош, надел кепку поглубже, до ушей, перепоясался, точно готовясь к длинному этапному пути.

— Пошли! — приказал высокий.

Жмакин подчинился, как подчинялся в тюрьмах, на этапах, при арестах. Больше он уже не принадлежал сам себе, он опять перестал быть человеком свободным, тем человеком, которому никакие пути не заказаны. «Ну что ж», — подумал Жмакин и зажал в кулаке бритву.

Вышли на крыльцо. Антоныч густо закашлял: перекурился своей махоркой. Двор был мокр от прошедшего дождя. Смеркалось, но тучи пронесло и вдруг посветлело. Пахло свежей водой. Мальчишка сторожихи страшно прыгал голыми ногами по лужам. Двор был пуст и как-то удивительно тих и чист.

Пока Антоныч закрывал на замок часовню, все ждали. Парень, что был в кожанке, стоял на крыльце, ступенькой ниже Жмакина, и вдруг Жмакин как бы узнал его. Он и точно знал его, этого парня с голосом без выражения и с несколько бараньими глазами. Где-то они, несомненно, виделись, и не раз виделись...

Но Жмакин не додумал, увидел во дворе Никанора Никитича. Педагог шел неторопливо, в черном прямом пальто с бар-

хатным воротничком, в мягкой шляпе, с тросточкой, прицепленной за руку.

— Не падо закрывать,— сказал Жмакин,— хозяин идет квартирный.

Краска кинулась ему в лицо. Никанор Никитич шел по двору, напевая. Ноги его ступали криво по крупным булыжникам. Пока он не видел еще Жмакина, но встреча должна была произойти с минуты на минуту.

— Пошли,— с тревогой и с перехватом в голосе сказал тот, что был в шинели, и, опередив Жмакина, пошел по двору.

— Живо! — приказал тот, что был в кожанке.

Жмакин съежился и пошел между ними, опустив глаза. Он не видел, но чувствовал, как миповали они Никанора Никитича. Он даже услышал его слабый старческий капель и почувствовал запах нафталина от его пальто. Потом, оглянувшись, он заметил Антоныча, объясняющего что-то старику.

«Кончено», — решил Жмакин.

Но не все еще было кончено. В проходной бок о бок он встретился с директором Пилипчуком, и тот, не заметив сопровождающих Жмакина, остановил его и заговорил с ним.

— Да что это с тобой? — спросил он, вглядываясь в Жмакина.

— Разговаривать не разрешается,— тревожным голосом сказал тот, что был в шинели. — Проходите, гражданин.

Помаргивая, Пилипчук уступил дорогу.

— Пока,— сказал Жмакин.

Они вышли. Возле ворот стоял легковой автомобиль. Шофера не было. За руль сел парень в кожанке. Милиционер сел сзади и посадил возле себя Жмакина. Пока парень в кожанке разворачивал машину, Жмакин заметил Пилипчука. Вытянув вперед голову, тот смотрел на машину.

За что же его арестовали? Что совершил он преступного? И как случилось, что арест происходит уже после прибытия бумаг из Москвы? Надо подумать, надо подумать. И в какую тюрьму его везут? Все Лапшин. Несомненно, Лапшин. Кому другому быть, как не Лапшину? С подходцем начальничек. Но за что, за что? За те пятьсот, что он потянул в «Пассаже»? Но откуда знать Лапшину? Нет, нет, не за это. Так за что же? Может быть, это другая бригада? Может, это шестая бригада, или четвертая, или первая? Они, наверно, не знают, что бывший вор-рецидивист Жмакин помилован, прощен, что с ним пельзя так, за здорово живешь, в тюрьму?

И он говорит, не глядя на своего соседа, но громко и внятно:

— Вас товарищ Лапшин прислал?

Безнадежно. Ответа не будет.

— Если вас не товарищ Лапшин прислал, тогда вы, может быть, не знаете, что я имсю бумаги...

Молчание. Автомобиль мчится по узкому проспекту Маклина. Рядом грохочет трамвай.

Жмакин вынул из бокового кармана пачку документов. Странно, что их не изъяли при обыске. И вообще...

— Вы из какой бригады?

Молчание.

Пересекли Садовую.

— А куда вы меня везете?

— Прекратить разговорчики.

Точка. Жмакин спрятал в карман свои бумаги. Может быть, весь арест — это просто-напросто самоуправство? Власть на местах?

Машина летит по мокрому асфальту. Потом брусчатка. Опять дождь. Это шоссе — магистраль на Пулково — Детское Село. Или на Пулково — Гатчину, нынче Красногвардейск. Было здесь похоже во время воровской жизни. Тут и малина была — вои в деревне. Тут и девочка одна была — рецидивистка, ох, тут прилично проводили время!

Вспыхнули и погасли огоньки аэропорта.

— В Красногвардейск меня везете, гражданин начальник?

Молчание.

Машина урча ползет в гору. Пулковские высоты. Струи дождя секут смотровое стекло, в ушах ровно и густо шумит. И темпо, темпо — виден только спортивный флажок на пробке радиатора, да мокрый булыжник, да темные мокрые купы деревьев у шоссе.

Почему же, собственно, спортивный флажок? И почему в Красногвардейск?

— Может, вы с красногвардейского уголовного розыска, гражданин начальник?

Милиционер курит и косит глазом. Подбородок и щеки у него желтые. И глаз желтый и строгий.

Пропал мальчишка!

Так они едут пять минут, а может быть, полчаса. Может быть, даже час. Они едут бесконечно. Дорога идет то вверх, то вниз, опять вверх, опять вниз. От сплошного ливня брезентовая крыша автомобиля намокла и сочится водой. Вьется дорога.

Но вот настали дни разлуки,
Дорога вьется впереди...
Пожмем скорей друг другу руки...

Жмакин поежился. Машина остановилась. Фары погасли. Сплошной мрак и ровный одуряющий шум дождя.

— Выходи!

Он вышел, вывалился в темноту возле дороги и сразу попал ногами в ров. Хлюпнуло.

Пропал ребенок!

Шофер тоже вылез.

И милиционер с наганом в руке тоже вылез. Кто-то из них ударил его в шею.

— Иди,— неистово крикнул шофер.

Он рванулся в сторону, но его уже держали. Внезапно он почувствовал холодный пот и слабость в ногах.

— Да иди, сука,— крикнул милиционер и ударил его чем-то твердым, вероятно наганом.

Он шел спотыкаясь, ничего не видя, по мокрой, скользкой и липкой земле. Дождь заливал ему лицо. Он потрогал лицо, это был не дождь, а кровь. В который раз ему кровянили башку! Ноги у него сделались тяжелыми. Милиционер держал его за макинтош и сопел рядом. И бил рукояткой нагана в плечо, в шею и в голову. Тут уже нечего было считаться. Разве можно считаться, когда ведут на расстрел? Кто из них человек? Разве Жмакин сейчас человек? Он даже и не полчеловека! Он уже и не думает, он лишь извивается и норовит крикнуть нечеловеческим голосом:

— Кар-раул!

Милиционер с ходу бьет его рукояткой. Он тоже не человек. И шофер не человек. В них во всех не осталось никакого смысла.

Последние минуты. Может быть, даже секунды. Эх, не помер ты, Жмакин, в заполярной тайге, не задрали тебя волки... не проломили тебе голову портерной бутылкой пьяные жулики... Не перерезал тебя поезд, когда кидался ты под вагон, убегая из лагеря... Так на же, подыхай на мокрой земле, в темноте, неизвестно зачем и за что.

Ни огонька впереди. Ни звука.

Прощай, Клавденька, прощай, дорогая!

Пока, товарищ Лапшин!

Прощай, молодая жизнь!

Ох, Клавденька, Клавденька!

Стали. Но он еще идет. Его останавливают силой. Только тогда он остановился. Разве он человек сейчас? Он даже не понимает, за что его убьют. И кто они, эти убийцы? Он стоит, размякнув, опустив плечи. От милиционера пахнет мокрой шинелью.

— Копай яму,— говорит шофер страшно знакомым голосом. Голос ровный, без всякого выражения. У кого такой голос?

Если бы Жмакин был человеком, то он вспомнил бы. Но он не человек. Он ничего не помнит. И поза у него совершенно не человеческая. Он сидит в грязи, поджав под себя одну ногу, и ладонями копает для себя могилу в мокрой и вязкой земле. Он слышит, как хлюпает под его пальцами вода. От усердия он обламывает ногти. Скорей, Жмакин, копай себе могилу! Совершай самое противоестественное дело из всех, которые когда-либо делал человек. Скорее, скорее! Какие-то корни. Вырви их! Гнилая палка! Долой ее! Но как медленно идет работа.

Что это? Его, кажется, ударили?

Вероятно, ударили.

Тишина.

Дождь кончился.

Милиционер закурил и дал прикурить шоферу. Потянуло хорошим табаком.

Опять закапало с неба.

— Ну, Жмакин? Расскажи, как ты продал Корнюху.

Так вот кто такой этот шофер! Так вот за что должен умереть Жмакин! За Корнюху убьет Жмакина Корнюхин братишка.

Он молчит.

— Онемел?

Мысли вновь возвращаются к нему. Медленные, вялые. Потом быстрые. Потом, как в видении, проносится перед ним та ночь с Корнюхой. И он начинает косить глазами и приглядывается. Он что-то восстановил. Быть может, справедливость. Быть может, и умереть теперь можно по-человечески? Ведь умирали же... Но зачем умирать? Ах, лезвие потерял, прекрасное лезвие... Но почему же Лапшин? Да, да, Лапшин...

— Братишки,— приглядываясь и кося глазами, бормочет он,— братишечки...

Он целится, целится, но как ударить, куда и как бежать? Ах, ему бы пожичек, финочку, перышко... И голова болит, пробили ему таки голову, наверное пробили.

А может быть, еще и не пропал мальчонка!

Миллионы в валюте вам обойдется жизнь товарища Жмакина. За товарища Жмакина товарищ Лапшин. А за товарищем Лапшиным железный закон.

— Братишечки...

И он врет вдохновенно и путанно, но, запинаясь, бормочет, складывает руки как на молитву и готовит намокший, облепленный грязью правый сапог для удара. Он ударит этого, у которого наган. Как бы шинель не спружинила? Не спружинит! Попро-

буем, Жмакин, в последний раз. Попробуем, Жмакин, авось не умрем. Не надо умирать, дорогой Жмакин! Жить надо.

И, отбросив сначала для разгона ногу назад, он со страшной силой бьет милиционера сапогом в низ живота. Бьет и бежит от своей могилы, от смерти, петляет, падает лицом в мокрую землю и опять бежит, опять падает и вновь бежит во тьму, к дороге, к шоссе; сзади выстрел, другой,— на, возьми Жмакина, на, попробуй, почем стоит, на, убей, коли можешь, на, возьми, выкуси!

Сырой ветер шумит в поле, гудят провода, столбы, значит — шоссе. надо бежать по шоссе, и он бежит задыхаясь вперед, туда, где мерцают какие-то огни, где что-то такое показывается и вновь исчезает какое-то ослепительное сияние, ах, это машина...

Он останавливается, машет руками, танцует, кричит. Его лицо в крови, одежда на нем разорвана,— поймите, он убежал от смерти.

С воем тормозит грузовик. Грузовик полон красноармейцами. И начальник с кубиком, с бритым мокрым лицом вылезает из кабинки.

— Товарищ начальник,— говорит Жмакин,— поймите!

Тело его содрогается.

Вторая машина тоже остановилась. Она бежевая. Жмакин не может отвести от нее взгляда. Боец-красноармеец вытирает лицо Жмакина платком. Жмакин все-таки держится.

— Остановить движение,— говорит командир. — Поставить машину наперерез. А вы, товарищ,— он обращается к шоферу бежевой машины,— вы, товарищ, дайте назад и пришлите ту машину. Я ее видел. Она со спортивным флажком. Знаете? Белый с голубым.

И он делает неопределенное движение пальцами.

Обе машины ровно дрожат. Моторы не выключены.

Опять Жмакин идет в поле.

Бойцы растягиваются цепью. На правом фланге командир, потом Жмакин, потом бородатый заведующий молочной машиной.

— Один из них бывший офицер,— говорит Жмакин. — Белый офицер. Беляк. Сука.

Споткнувшись, он замолкает.

Тихо. Только хлопают по грязи сапоги бойцов.

— Я извиняюсь,— говорит Жмакин,— я немножко посижу на земле...

Ему кажется, что он сказал очень громко. Но он сказал так тихо, что его никто не услышал.

Цепь двигается дальше.

Он остался. Вначале он немного постоял, потом сел, потом лег в грязь. Большой колокол запыл над ним. Он потерял сознание.

Очень может быть, что его бы забыли тут, в поле, если бы не Лапшин и не Окошкин. Окошкин ходил по полю, сапоги его чавкали, он жег спички и перекликался с Лапшиным.

На шоссе тарахтели машины.

Уже светало.

Шофер с машины Лапшина беспокойно задергал поводок sireны.

— Ладно, подождешь,— сказал Лапшин.

Он светил фонариком и сосал потухшую папироску.

— Какой компот,— сказал Васька,— я тоже следов не вижу.

— Следов как раз много,— сказал Лапшин,— только Жмакина нет.

Они опять разошлись.

Наконец Лапшин увидел Жмакина. Тот лежал боком в грязи, глаза его были залиты кровью. Подбежал Окошкин. Пока Лапшин слушал, бьется ли у Жмакина сердце, Окошкин сигналил фонариком на шоссе, чтобы шли люди.

— Это они его так били,— сказал Лапшин в нос,— как вам понравится?

Сердце у Жмакина билось, но он был в обморочном состоянии. В машине нашелся индивидуальный пакет. Лапшин зубами сорвал бумагу и очень искусно сделал перевязку. Жмакин застонал.

— Но, по,— поощрительно сказал Лапшин,— терпи, брат!

Арестованных с Побужинским пересадили в грузовую машину, а Жмакина Лапшин посадил рядом с собой в оперативную. Васька Окошкин сел сзади и поддерживал заваливающуюся голову Жмакина. Лапшин с места развил совершенно бешеную скорость. Было скользко, машину несколько раз забрасывало; шофер, сидя сзади, беспокойно повторял все движения Лапшина и с ужасом поглядывал на спидометр. Вдруг Жмакин захрипел.

— Товарищ пачальник! — крикнул Окошкин.

Лапшин затормозил и остановился.

— Помирает Жмакин,— сказал Васька.

Сделалось тихо. Под стук незаглушенного мотора Лапшин искал пульс и не мог найти. Рука у Жмакина была холодная.

— Отпустите горло,— как с того света сказал Жмакин,— задушусь.

Васька радостно захохотал. Лапшин стал разматывать бинт.

— Какая перевязка,— все еще задыхаясь, сказал Жмакин.— с ума можно сойти.

Он попросил воды.

Шофер выскочил из машины и тотчас же вернулся с водой в кожаном картузе. Вода была затхлая. Жмакин попил, помогил себе лицо и вздохнул.

— Повязали?

— Повязали,— с готовностью сказал Окошкин.

— Живыми?

— Живыми.

— Да,— сказал Жмакин.

Все молча ждали, что он скажет еще. Но он молчал.

— Мне Пилипчук позвонил, что тебя будто бы арестовали,— сказал Лапшин. — Мы и поехали.

— Да,— сказал Жмакин.

Потом он всхлипнул.

— Нервы шалют,— сказал сзади Окошкин.

Лапшин осторожно поехал. Все с тревогой прислушивались. Жмакин тихо плакал. Потом он задремал.

В половине шестого приехали в управление. Окошкин взял Жмакина под руку с одной стороны, шофер — с другой. Лапшин внизу звонил по телефону в медпункт, чтобы к нему в кабинет зашел дежурный врач.

Уборщицы с подоткнутыми подолами мыли каменные лестницы, те самые, по которым столько раз Жмакина водили арестованным. Было пусто, со ступенек текла вода, пахло казенным зданием, дезинфекцией; наверху толстая уборщица пела:

Телеграмма, ах, телеграмма...

— Ты отдохни, товарищ Жмакин,— сказал Васька Окошкин,— не торопись.

— Спешить некуда,— подтвердил шофер.

Ты лети, лети, лети, ах, телеграмма,— пела уборщица.

Вахтер козырнул Окошкину. Они все еще подымались. На лестничной площадке был красиво убранный щит с государственным гербом Союза, с портретами Ленина и Сталина, с красными знаменами. Сколько раз Жмакин видел этот щит!

— Да,— сказал он,— побывал я здесь. Сколько раз меня приводили.

— Нечего вспоминать,— сказал Окошкин. — Что было, то прошло и быльем поросло.

— Это верно,— сказал шофер.

Сонный дежурный по бригаде принес Окошкину ключ от кабинета Лапшина. Васька отворил дверь и принес Жмакину переодеться свой старый костюм. Шофер принес в миске воды, полотенце и мыло.

— Умоетесь? — спросил он.

Было тихо, очень тихо. Жмакин долго мыл руки, потом лицо, так, чтобы не замочить перевязку. Окошкин и шофер смотрели на него с состраданием. В лице Жмакина было что-то такое, что пугало их. Казалось, он каждую секунду мог зарыдать. Губы у него дрожали, и в глазах было жалкое выражение. Несколько раз подряд он судорожно вздохнул.

— Ничего, ничего,— сказал Окошкин,— ты теперь лежи.

Дверь распахнулась. Властным и твердым шагом вошел начальник розыска. Шитые золотом знаки различия поблескивали на воротнике. Васька и шофер вытянулись. Жмакин тоже хотел встать с кушетки, но не смог.

— Здравствуйте,— сказал начальник,— вы Жмакин?

— Так точно,— сказал Жмакин.

— Сейчас придет врач,— сказал начальник. — Мне товарищ Лапшин докладывал о задержании. Вы знаете, кого удалось задержать?

— Не знаю,— сказал Жмакин.

— Этот, в милицейской форме, Карнаухов, иначе «папаша». Очень крупная фигура. Мы его ищем второй год. У нас есть сведения, что он не просто бандит...

Начальник помолчал.

— Вот оно как,— сказал он, протирая стеклышко пенсне. — Большое дело будет. Они вас куда повезли?

— Расстреливать,— сказал Жмакин,— я себе уже и яму копал...

— За Корнюху?

— Так точно.

Опять хлопнула дверь, пришли Лапшин и врач. Лапшин отворил окно. Сырой утренний ветер зашелестел бумагой на столе, одна бумажка сорвалась и, гонимая сквознячком, помчалась к двери. Васька Окошкин ловко поймал ее коленями.

— Вот так,— сказал врач, поворачивая голову Жмакину.

Начальник ушел. Лапшин сел за свой стол и задумался. Лицо его постарело, углы крепкого рта опустились. Окошкин с беспокойством на него посмотрел. Он перехватил его взгляд и тихо сказал:

— Поспать надо, товарищ Окошкин, верно?

— Ничего особенного,— сказал врач,— у него, главным образом, нервное. Я ему укрепляющее пропишу.

Лапшин пустил врача за свой стол, врач выписал рецепт и ушел. Ушел и шофер. Над прекрасной площадью, над дворцом, над Невой проглядывало солнце. Еще пузырились лужи, еще ветер пригнал легкую дождевую тучку и мгновенно обрызгал площадь, но непогода кончилась, день должен был наступить жаркий, летний.

— Ну, Жмакин,— сказал Лапшин,— поедем по домам.

— Можно,— с трудом ворочая языком, сказал Жмакин.

Вышли на площадь.

Лапшин сел за руль, Жмакин рядом с ним.

— Меня в гараж закиньте,— сказал Жмакин.

— Закинем,— ответил Лапшин.

Ярко-голубыми упрямыми глазами он глядел перед собою на мчащийся асфальт. Легко брякнули доски — автомобиль проскочил разводную часть моста — и понесся мимо Ростральных колонн, мимо Биржи, по переулочкам Васильевского. Все теплее и погожее становилось утро. И все спокойнее делалось на душе у Жмакина.

Несколько дней он провалялся, потом поехал в Лахту. Тут ничего не изменилось. Женька встретил его с визгом, Клавдия засияла и взяла за руку.

— Ну что? — спросил он.

— Ничего,— ответила она, покачивая его руку. — Кушать хочешь?

Ей всегда казалось, что он голоден или что ему надобно постирать или зашить, заштопать.

— Где пропадал?

— Болел немножко,— сказал он.

Вошли в дом. Тут было прохладно, пахло свежевывмытыми полами, чистой отутюженной скатертью. На столе в кувшине стоял коричневый хлебный квас. Жмакин напился, утер рот ладонью и сел как гость.

— Так-то, Клавденька,— сказал он.

Глаза ее все еще сияли.

— А папаша где? — спросил Жмакин.

— Как где? На работе.

— Это правильно,— сказал Жмакин,— сейчас время рабчее.

О, как приятно было сидеть в этой полутемной комнате и беседовать неторопливым, тихим голосом! О, как приятно быть равноправным и не кривляться, не фиглярничать!

Он вынул папиросу, постучал мундштуком по коробке, закурил и пустил дым к потолку. В общем, он немного еще кривлялся, но очень немного.

— Так вот, Клавденька,— сказал он,— завтра я права получу. Как-никак специальность. Паспорт у меня имеется, мне его на квартиру прислали. Значит, послезавтра оформляюсь как шофер. Возьмешь к себе жить?

Она немножко приоткрыла рот и положила свою руку в его ладонь.

— Пойдем запишемся,— сказал он, сжимая ее руку,— все честь по чести.

— На какую фамилию? — спросила она.

— Да хоть и на мою,— сказал он. — Моя фамилия теперь ничего, в порядочке.

— Ах ты Жмакин,— сказала она,— ах ты Жмакин, Жмакин. И засмеялась.

— Чего ржать? — сказал он. — Отвечай на вопрос.

— Ладно,— сказала она.

Вошел Женька с моделью планера в руке. Жмакин поговорил с ним. Потом Клавдя проводила его на станцию.

Вечерело.

Жмакин влез в вагон, помахал Клавде рукою и сел на ступеньку. Поезд шел медленно, паровоз тяжело ухал впереди состава. В вагоне пели ту же песню, что Жмакин слышал давеча в управлении:

Ты лети, лети, лети, лети,
Ах, телеграмма,
Ах, телеграмма.
Через реки, горы, доли, океаны,
Ах, океаны
Да и моря...

Песня была беспокойная, грустная, щемящая. Перед Жмакиным, подернутые легкой вечерней дымкой, курились болота.

Ты скажи ему, скажи ему, что снова,
Скажи, что снова,
Скажи, что снова,
Я любить его, любить его готова,
Любить готова да навсегда,
Ты скажи ему, скажи ему...

Загудел паровоз. Мимо неслись белые столбики, болотца, далекий острый парус...

Скажи, что снова...

Жмакин прищурился, глядя вдаль. О чем он думал? О правах, о шоферстве, о том, как он на особой машине в Заполярье

пройдет ту тайгу, в которой его когда-то чуть не задрали волки...
Или Лапшин... Или Пилипчук...

Ты лети, лети, лети,
Ах, телеграмма, ах...

Что Лапшин?

Он представлял себе глаза Лапшина, ярко-голубые, любопытные и упрямые, и тотчас же чувство благодарности наполнило все его существо.

Опять загудел паровоз.

— Упадете,— сказал Жмакину сверху из тамбура чей-то опасливый бас.

— Ни в коем случае,— сказал Жмакин.

И вновь стал думать напряженно и весело.

Ленинград — Одесса, 1935—1938

РАССКАЗЫ О ПИРОГОВЕ

НАЧАЛО

Хирургом должен быть
взрослый.

Цельз

Веселым апрельским утром 1827 года отчаянный бруссеист¹ и знаменитый московский медик Матвей Яковлевич Мудров произнес своим студентам нежданно-негаданно речь о пользе заграничных путешествий. Во рту у Мудрова была каша, красноречием он никогда особым не блистал, о заграничных путешествиях помнил немного и довольно смутно,— что вот, дескать, у немцев вместо одеял пуховики — уж эти немцы, или что есть на свете такая штука — Альпы, превосходнейшая штука, или что во Франции бордо стоит сущие гроши и надобно, коли попал во Францию, пить только бордо — полезно и здорово.

Морща густые и длинные, лезущие в глаза старческие брови, Мудров неподвижным взглядом смотрел прямо перед собой — стучал по кафедре твердым стариковским негнувшимся пальцем и хвалил за границу до тех пор, пока не окончилось время лекции — только тогда он объяснил, для чего были все эти пуховики и Альпы.

— Согласно проекту академика Паррота,— сказал Мудров,— утвержденному его императорским величеством, те из вас, кто пожелает, могут отправиться для усовершенствования в знаниях за границу.

Пожевал беззубым ртом, вздохнул и начал слезать с кафедры.

Студенты молчали. Никто ни о чем не спрашивал. Мудров был глуховат и никогда не знал большего, чем говорил. Да и как-то все это было странно, по всей вероятности не без подвоха: отправят, а потом закабелят, или просто помрешь за морем. С кого потом спрашивать?

Вторая лекция была тоже Мудрова, но посвящена она была не науке, а расправе со студентом из семинаристов Перепоясо-

¹ Бруссеист — последователь физиологического учения французского врача Ф. Ж. В. Бруссе (1772—1838). — *Ред.*

вым, который давеча напился и надебоширил. За это Мудров велел ему читать «Преплагий господи», а потом класть земные поклоны перед всеми студентами, сам же тихо задремал в своем профессорском кресле, на солнышке, откинув назад голову и открыв рот с беззубыми, розовыми, как у грудного младенца, деснами.

Отбубнив молитву положенное число раз, Перепоясов от скуки стал молитвенным же голосом рассказывать разные вольные истории, которые Пирогову всегда было стыдно слушать, и так до самого конца лекции — то история, то земные поклоны, если покажется, что Мудров открывает глаза.

Все это было гадко и тошно, Пирогов кусал ногти и старался ничего не видеть и не слышать — ни гогочущих своих сотоварищей, ни носатого Перепоясова, ни Мудрова, спящего в своем кресле.

Потом приехал Мухин, которого ждали три часа, отсморкался, откашлялся и стал читать лекцию о жизненной силе. Голос у него был бархатный, лицо выражало приятность, маленькие, острые и умные глаза сверлили то одного, то другого студента и порою с симпатией останавливались на лице Пирогова, а Пирогов чувствовал себя неловко — так, точно обманывает Ефрема Осиповича, — тот думает, что Пирогов по-прежнему боготворит Мухина, а он уж давным-давно не боготворит и даже, пожалуй, не очень уважает...

— Что же наша букашечка, — продолжал Мухин, с приятностью вглядываясь в смутное и тревожное лицо Пирогова, — что же с ней, покинула ли ее или нет сила, данная ей господом, сила жизни, жизненная сила? О нет, господа, о нет. Букашка, встречаемая всеми нами в кусочке льда, замороженная и, казалось бы, умершая, не умерла. Начала и сути не покинули ее. Отогревшись на солнце, набрав грудкой своею свежего и чистого воздуха, покушавши амброзии цветочной, улетает с хрустального льда наша букашечка, улетает, воспевая и жужжа сладкую хвалу богу, премудрости его, милости и величию. Вот что есть жизненная сила. Можно ли ее объяснить неверным нашим, тяжелым и грубым языком? Полет и движение — вот что есть жизненная сила. Она в дуновении ветерка, в крыльях бабочки, порхающей с цветка на цветок, в вечной смене первоначального вещества, в...

Наконец он покончил с жизненной силой, о которой любил поговорить, и понюхал табаку. Молча и напряженно аудитория ждала, пока он чихнет, но он не чихнул — заряд оказался слабым, процедура началась сначала, наконец все произошло — Мухин чихнул и с победною лаской взглянул на Пирогова, как

бы говоря: вот я каков, твой покровитель, видишь, как я хорош.

«Батюшки, да он глуп,—помимо своей воли внезапно подумал Пирогов и, испугавшись, что Мухин прочитает его мысли по глазам, отворотился к окошку,—мало того, что неуч, так еще и глуп...»

В эти дни он всех стал считать невеждами и глупцами. У каждого студента наступает порою такое время, когда ему кажется, что знает он много — если не все, то куда как больше своих наставников и друзей, и что ему осталось совсем пустяки для того, чтобы постигнуть решительно все тайны бытия. Именно такое время переживал Пирогов. С тоской и раздражением слушал он своих профессоров, наперед зная, что они скажут, как пошутят, чем кончат лекцию. С каждым днем рушились и в прах рассыпались прежние боги — недоступные, мудрые, необыкновенные.

Украдкой он взглянул на Ефрема Осиповича.

Этот человек поселил в нем страсть к медицине, ему он подражал в своих детских играх, от одного его взгляда он робел и терялся — где это время, где юность — он в свои шестнадцать лет любил в мыслях обращаться к своей невозвратно ушедшей юности — где то время, когда не было для него человека уважаемое и выше, чем Ефрем Осипович Мухин?

Мухин говорил, Пирогов не слышал его. Как в тумане представлялось ему приятнейшее лицо Ефрема Осиповича, несколько постаревшее и как бы припухшее с тех пор, но близкое тому, хоть и без того удивительного выражения властной решительности, которое потрясло Пирогова-ребенка много лет назад в дни тяжелой болезни брата.

Что теперь с ним?

Ужели наполеоновская решительность и смелость покинули его за эти последние годы?

Или он потерял веру в свою науку и стал слугою ее, робким и нерешительным, вместо того чтобы быть хозяином и властелином?

Как во сне, донеслись до него заключительные слова мухинской лекции:

— Сегодня по нашему расписанию следовало нам говорить о деторождении. Но так как деторождение есть предмет, несомненно, скромный, а нынче великий пост, то мы и отлагаем изучение предмета сего до времени более удобного и тем самым исправляем ошибку, совершенную нами при составлении нашего расписания лекциям.

Спустившись с кафедры и проходя мимо Пирогова, он, по своей привычке, положил ему на плечо свою короткопалую силь-

ную руку и с добрым выражением заглянул в глаза, точно молчаливо спрашивая о чем-то, но Пирогов не нашел в себе силы, чтобы хоть улыбнуться своему благодетелю, и неприязненно опустил голову.

— Что с тобою, мой друг? — не стесняясь студентов, спросил Мухин. — Не болен ли ты?

И умелым движением многодетного отца и к тому же лекаря дотронулся тыльной стороной ладони до лба Пирогова — попробовал, нет ли жару. Потом покачал головою не то с укоризною, не то с печалью и, припадая на одну ногу, пошел из аудитории к себе в деканат.

А Пирогов все стоял в проходе, опустив голову, чувствовал, что старик обижен, но не находил в себе сил догнать его и несколькими словами загладить свою невольную вину.

День выдался жаркий, и идти от университета до Пресненских прудов в Кудрине с тяжелым кульком костей и в ужасной, точно каменной, шинели было так мучительно, что уже на полдороге Пирогов совершенно выдохся и понял, что шинель все равно придется снять, как это ни стыдно. Совершенно изнемогши, он присел на лавочку возле деревянного домика с мезонином и с белым билетиком в окошке, положил возле себя неудобный и громоздкий кулек с человеческими костями — неслыханное и невиданное для студента сокровище, слегка стянул с правой ноги набивший пузырь сапог и задумался о природе такого лишнего для него чувства, как стыд бедности. Вокруг весело и громко орали грачи, прямо в лицо светило благодатное солнце, небо над Москвой было ярко-синее, точно вымытое, и серьезное направление мыслей довольно скоро оставило Пирогова.

«Сниму, и баста!» — решил он, поднялся и скинул проклятую шинель, которую принужден был носить всегда, даже в аудитории, из-за того, что мундирный его сюртук с красным воротником и медными пуговицами, перешитый сестрами из старого зеленовато-рыжего фрака, вызывал не только смех товарищей, но и косые взгляды полицейских на улицах Москвы. О панталонах же и говорить не приходилось. Рвались и расползались они настолько часто, что он никогда не мог отвечать за себя, и ежели где слышал смех, то относил его на свой счет до тех пор, пока, зайдя в укромное место, не обследовал себя со всех сторон и не принимал экстренные меры тут же, для чего всегда носил с собою иглу с нитками.

Сбросив долой шинель и чувствуя себя как бы несколько нагим, он с мрачным выражением лица оглядел себя, поправил воротник сюртука, потер обшлагом одну из давно потускневших медных пуговиц, перекинул шинель через плечо в одно и то же

время и небрежно, и так, чтобы полы ее закрывали наиболее потертую и драную часть сюртука, из которой все время лезли какие-то белые лошадиные волосы в таком огромном количестве, что было непонятно, когда же они наконец все вылезут прочь и сколько же их заложено в этом сюртуке, пазываемом товарищами пироговским полурединготом.

Так с рогожным кульком костей под рукою и с шинелью через плечо, весь в поту и в пыли, Пирогов дотащился наконец до суда близ Иверской, в котором служил заседателем тишайший дядюшка Андрей Филимонович Назарьев. Заходить за ним в суд было иногда для Пирогова почему-то удовольствием, дядюшку Андрея Филимоновича он любил, хоть и не признавал себе в этом, и дядюшка, нежно почитавший ученого племянника, всегда радовался, когда тот, дав изрядного крюка, заходил за ним из университета.

Когда Пирогов вошел в заседательскую комнату, темную и прохладную после жаркой улицы, там никого не было, и в ожидании дяди он принялся развлекаться тем, что, запустив по локоть руку в мешок с костями, на ощупь определял название костей — шептал название и вытаскивал кость, проверяя знание свое глазами. За этим занятием и застал его дядюшка Андрей Филимонович, вошедший с другими чиновниками в заседательскую комнату.

— О, да здесь Николаша поджидает, — воскликнул он тихим голосом (дядюшка даже и кричал негромко, лицом только выражая, что он воскликнул, а голосом почти шепча). — Здравствуй, дружок мой. Что это у тебя за страсти такие? Чай, бараньи, аль телячьи?

— Разве я ветеринар? — несколько обиженно сказал Пирогов. — Я, дядюшка, хирург, и кости эти когда-то принадлежали человеку.

Чиновники, дядюшкины товарищи, подошли поближе и со страхом поглядывали на рогожный мешок, стоявший на кресле.

— И кто же он был, — осведомился молодой чиновник, бросая косо и опасливый взгляд на мешок, — из какого звания?

— Он был человек, — холодно ответил Пирогов, — что нам его звание теперь.

И, вытащив из мешка желтый череп — сломанный и потому доставшийся ему, — он показал пустые его глазницы испуганно сбившимся в кучу чиновникам и сказал с тем пафосом в голосе, который так неотразимо действует на всех юношей в мире:

— Он был человек, а сейчас он лишь препарат, по которому мы, медики, знакомимся с тем, как что устроено у живущих еще и поныне людей, дабы облегчать их страдания.

Чиновники молчали и с уважением поглядывали на череп, а дядюшка в это время смотрел на своего племянника, и в кротких его глазах было прелестное выражение стыдливой гордости.

Потом Андрей Филимонович вместе с чиновниками и с племянником пошел в знакомый трактир пить чай с калачами. В трактире мешок стоял под столом, и чиновники с опаскою поджимали ноги, чтобы, не дай бог, не дотронуться до того, что по выражению Пирогова, было человеком. Для того чтобы сделать и дядюшке, и племяннику приятное, все говорили о болезнях — кто какие знал — и о разных случаях излечений, говорили о лекарях и, конечно, о Мухине и о Мудрове. Молчавший доселе дядюшка поглядел на Пирогова, лукаво усмехнулся и сказал, что кабы не Ефрем Осипович, то неизвестно, был бы нынче Николаша медиком или нет.

Старый чиновник — Карп Модестович — поинтересовался, почему так, и дядюшка рассказал, как у Николаши в свое время захворал родной брат, а его, Андрея Филимоновича, родной племянш, как никто и ничем не мог поправить здоровье мальчика и как страшный рюматизм (дядюшка именно так и сказал — рюматизм), как этот рюматизм с быстротой и неумолимостью распространялся по всем членам ребенка...

Дело было совсем плохо, когда наконец позвали Мухина. Мухин приехал в карете четвернею, с парюю на вынос, с ливрейным лакеем на запятках, строгий и сердитый, не приведи бог. Тут Николаша его в первый раз и увидал. Вошел Ефрем Осипович в комнату к больному, посмотрел его со всем своим глубоко-мыслием и приказал варить декокт...

Из чего велел Мухин варить декокт, дядюшка не помнил и обратился к Пирогову, кончавшему уже второй стакан чаю с калачом и молоком.

— Декокт известнейший, — наливая себе третий стакан чаю, сказал Пирогов, — нынче он меньше в ходу, но все же некоторые лекари его употребляют с большою пользою. Надо купить в москательной лавке соальсепарельного корня, да такого, чтобы давал при разломе пыль, и варить его надобно в наглухо глиною замазанном горшочке. В таком же горшочке надобно варить с водкою, но не картофельной, а хлебной, с вином с хлебным, три золотника корня полевой зори, трефоли, буковицы, кошачьей мяты да донника...

Пирогов говорил, а старый чиновник Карп Модестович, сложив губы прилежною трубочкой, записывал в памятную книжку — на случай, если кто заболает, чтобы не тратиться на дорогого Мухина.

— Так, так,— порою говорил Карп Модестович,— богородицкую траву брать белую, так, так...

После того как декокт был записан и чиновники пошутили насчет того, что теперь Карп Модестович знает не меньше Мухина и, пожалуй, уйдет в отставку лекарем, дядюшка дорассказал о Пирогове, как он мальчиком все играл в Мухина, варил декокты да потчевал ими дворовых кошек и собак.

Слушать дядюшкины рассказы Пирогову было не совсем ловко, но он понимал, что дядюшка любит его и гордится им, и не перебивал его даже в тех случаях, когда Андрей Филимонович для красного словца передавал анекдоты и не совсем точно.

— Николаша у нас о-хо-хо,— говорил дядюшка,— вы, господа, не смотрите, что он на вид не очень богатырь... Он на пауку такой хват, что его и на кривой не обскачешь. Скажи им полатыни, Николаша...

Пришлось сказать и по-латыни. На щеках Пирогова выступила краска. Пожалуй, он мог их всех послать к черту, если бы не дядюшка. Всё наделали эти проклятые кости, с костей началось, не надо было показывать им с самого начала, какой он умный...

Наконец половому заплатили за чай, и вся компания вышла из трактира. От полноты души дядюшка позвал извозчика и поехал с племянником на извозчике. Всю дорогу до самого дома дядюшка находился в умиленном и возвышенном состоянии духа, держал племянника за талию и просил его не забывать простых людей в будущем, тогда, когда он, Николаша, станет знаменитым лекарем и получит звезду и ленту.

— Да откуда вы, дядюшка, взяли, что я обязательно стану знаменитым лекарем? — спросил Пирогов. — Ужели из того, что я в костях разбираюсь?

Дядюшка ответил не сразу.

— Бог его знает,— молвил он,— на все его воля, Николаша, но только думаю я, что будет из тебя пребольшой толк...

Сказано это было очень просто и ласково, но с такой силой убежденности, что Пирогов не без удивления посмотрел на тишайшего своего дядю.

— Да почему же? — во второй раз спросил он.

— Не знаю,— последовал ответ.

Возле самого дома Пирогов вдруг вспомнил о том, что Мудров говорил сегодня студентам насчет поездки за границу для усовершенствования, и рассказал об этом дяде. Андрей Филимонович сделал большие глаза и спросил:

— Поедешь?

— Не знаю. Вот хочу послушать, что вы скажете...

У себя в комнатке, увешанной клетками с птицами, до которых Андрей Филимонович был большой охотник и любитель, он разделся, облачился в затрепанный и просторный халат, закурил трубочку с пером вместо мундштука и сел раскладывать пасьянс, который, по его словам, очищал мозги. Известие о возможной поездке за границу внезапно разнеслось по всему дому, и то, чему Пирогов поначалу не придавал никакого значения, вдруг здесь, среди родных и близких, стало не пустой болтовней, а возможным и не таким уж далеким событием.

Мать тихо плакала у окна, сестры ее утешали, Пирогов ходил по комнате и сердился:

— Да что это за вздор такой в самом деле,— говорил он, налегая на басовые ноты,— никто никуда не собирается, а вы тут уже и в слезы. Маменька, прошу вас... И надо было дядюшке вам сказать...

Сквозь слезы мать говорила, что никуда она его не отпустит, что он никакой не студент и не кандидат профессорский, а мальчик, ребенок, что он там, за границей, пропадет; что он и здесь-то, при ней, всегда грязный, да оборванный, да полуголодный; что там, за морем, никто его не то что не обошьет и не постирает ему, а и не накормит хлебом и водой, не то что уж горячими мясными щами; что он, Николаша, читаючи свои ученые книги, умрет с голоду; что она ни за какие коврижки не отпустит его, и пусть с ней даже никто и не говорит; что она тут без него зачахнет от тоски да от беспокойства, что...

Мелкие, частые, быстрые слезы привыкшей к бедам женщины катились из ее глаз, она говорила и плакала, и вместе с тем было понятно, что она уже не старшая и не главная в доме; что она не может запретить или не велеть, как делывала это несколько лет назад; что она может только плакать и просить, зная притом, как знают все матери, когда детям их надлежит дальняя и страшная дорога, что, проси не проси, дети живут уже своим умом и сами решают,— их же материнское дело только плакать и молить о том, чтобы все было как было, чтобы ничего не менялось, чтобы все оставалось по-старому.

Спорить и возражать не было пользы, и Пирогов замолчал, сел в сторонке и только все поглядывал на дядюшку, ожидая спасения от той минуты, когда Андрей Филимонович кончит свой умоочистительный пасьянс и вступит наконец в разговор.

Пасьянс вышел, дядюшка набил трубочку еще раз табаком и вступил в разговор. Девка, единственная его крепостная, Авдотья, сущая по характеру ведьма, которой все в доме трепетали и называли за глаза не иначе как тигрой, а в глаза Авдотьей

Алексеевной, принесла и поставила перед дядюшкой стакан жидкого чаю и на блюдечке колотого тростникового сахара. Разговор обещал быть серьезным.

— Ну, вот что, сестра, — промолвил наконец дядюшка, — дело это не простое, и надобно нам семь раз отмерить, прежде чем один раз отрезать, не так ли?

Вместо ответа мать заплакала сильнее и горше прежнего: по тону тишайшего Андрея Филимоновича она поняла, что в нем не найти ей союзника и что сейчас все будет кончено — Николаша уедет за море.

Вечером, при свете восковой свечки, он раскладывал по ящикам комода принесенные давеча кости и думал о том, что, видимо, и вправду придется ехать за границу, коли мать уже отплакалась, а сестры смотрят на него теперь другими глазами, чем раньше.

Заграница смутно и таинственно рисовалась в его воображении, и ему было и грустно, и весело в одно и то же время. Куда пошлют? В Германию? В Вену? В Париж? И что это все означает — совершенствование в науках, коли он и так уже все почти знает и может сам лечить не хуже иных прославленных врачей?

Сидя на полу у комода в своем мезонине и глядя на желтые кости, в стройном порядке разложенные в ящике, он представлял себе Альпы с ледниками и глетчерами, немцев, живущих не в немецкой слободе, а у себя, в Германии, пуховики и перины, о которых давеча говорил Мудров, и почему-то корабли, стремящиеся вдаль по бурному и пенистому морю. Корабли, и накрепившиеся их мачты, и паруса, подобные крыльям, и матросы, и капитаны с трубками в зубах, а главное, таинственная и необозримая даль — все это вдруг с неожиданной силой пленило его воображение, и первый раз за этот день он захотел ехать, ехать долго, потом долго плыть морем под парусами, потом, может быть, даже кого-то спасти и совершить нечто (что должно совершить, он, разумеется, еще не знал), и стоять на борту, смотреть, и ехать на чужбину, и опять там совершить нечто, и вернуться уже совершившим, при звуке труб и пушечной пальбе.

Тут он понял, что зарапортовался, и поглядел по сторонам, опасаясь, не слышал ли кто этих его мыслей. Но никого не было в мезонине, только мышь скреблась где-то под половицей да потрескивала нагоревшая свеча. Он встал, прошелся по комнате из угла в угол и шепотом произнес:

— Я еду за границу.

Но это показалось ему не очень убедительно. Тогда он сказал так:

— Николай Пирогов едет за границу.

И это его недостаточно устроило. Подумав, он молвил:

— Этот господин едет за границу совершенствоваться в науках. Он профессорский кандидат.

После чего Пирогов прошелся по комнате той походкой, которой, по его мнению, надлежало ходить профессорским кандидатам, едущим за границу. Настроение его с каждой секундой поднималось все более и более. Он уже видел себя мчащимся на почтовой тройке по какой-то таинственной дороге, меж скал и гор, меж прозрачных и чистых потоков, с грохотом ниспадающих в тихие долины, с горы на гору, со скалы на скалу... Ах, как хорошо, как привольно, как легко дышится, как много всего впереди...

Нет, с этим настроением решительно невозможно было сидеть одному в мезонине, и тотчас же он спустился вниз к сестрам, и к матери, и к дядюшке, зашедшему в гости.

На столе кипел медный самовар, матушка с опухшими от слез глазами разливала чай, в дверях, опираясь на косяк, стояла старая няня и плакала, утирая слезы концами головного платка — она только что узнала новость о Николаше.

— Ну что, помираю я, что ли? — не без грубости спросил он. — Несносные вы какие все, право. Замолчи сейчас же, Катерина Михайловна!

В голосе его звучали новые, басовитые ноты, мать подняла глаза от самоварного крана и на секунду застыла, — да полно, если это Николаша, вдруг подумала она: не мальчик, а юноша стоял в двери, засунув руки глубоко в карманы панталон, обводя всех сердито-ласковым взглядом красных от вечного чтения глаз, слегка набычившись и готовый разгневаться совсем как мужчина, старший в доме.

Весь вечер обсуждали его отъезд, но без слез, хоть и со вздохами, думали насчет экипировки, считали, во что обойдется на ассигнации и на серебро, с лажем и без лажа. Дядюшка считал, что дадут прогонные и обмундировочные, мать назвала дядюшку мечтателем известным и сказала, что, хоть и дадут, нечего заедать чужой хлеб — надобно справляться самим. Дядюшка писал на бумаге названия предметов туалета, сколько чего, обсуждался портной, что из чего можно перешить, — так до позднего вечера. Уже перед сном все очутились в его комнате в мезонине — и сестры, и мать, и дядюшка, и старая няня Катерина Михайловна: надо было поглядеть шинель — можно ли ее вывернуть или нельзя. Пока все занимались шинелью, няня увидела в от-

крытом ящике комода человеческие кости, закрестилась, заохала и стала говорить, чтобы Николаша их похоронил завтра же, эти кости, на православном кладбище в детском гробу, что это великий грех, что Он никогда не простит, и т. д.

— Ты, Катерина Михайловна, прямо Магницкий,— сказал Пирогов,— пойди с ним поцелуйся, он тоже у себя в Казани велел анатомический музей похоронить с попами...

Няня так и не поняла, кто такой Магницкий и чем он плох, а похвалила его и стала опять просить снести косточки на кладбище. Мать и дядюшка в это время мерили на Пирогове шинель, а он рвался из их рук, вытаскивал из комода кости и, сердясь, говорил няньке:

— Да это же для науки, темнота ты, для дела, а не для ба-ловства. Вот это, например, венечный шов, это надбровные дуги, это лобная кость...

Няня вздыхала, в глазах у нее стояли старушечьи легкие слезы, изредка крестилась ссохшейся рукой, качала головой и на все его объяснения отвечала одно:

— Господи боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник...

На следующий день были занятия в анатомическом театре клиники Мудрова — назначено было вскрытие тифозного трупа в присутствии самого старика, который вскрытий терпеть не мог и хаживал на них очень редко. Вскрывать велено было казенпо-коштному студенту Бегиничеву. Студенты собрались в зале за-долго до назначенного Мудровым времени, сняли с покойника рогожку и принялись уродовать мертвое тело кто во что горазд: один ампутировал голень, другой вылуцивал палец, третий раз-бирался в мышцах подошвы. Не трогали только те области, ко-торые должно было вскрывать для исследования внутренних ор-ганов. Бегиничев в фартуке и с мокрым тряпичным жгутом в руке пытался отбиться от товарищей, любознательность кото-рых грозила тем, что ему самому могло ничего не остаться для вскрытия.

— Господа,— умоляющим голосом говорил он,— господа, да что же это! Я буду выпущен жаловаться. Эй, послушайте, нельзя так, я драться буду грязной тряпкой... Отойдите, господа, старик с меня спросит, вы же знаете...

По сигналу геркулеса Фомина на Бегиничева накиннулись сзади и связали его двумя полотенцами, чтобы он не мешал за-ниматься анатомией. Для многих это был первый труп, до кото-рого можно было дотронуться,— более половины студентов, кон-чающих университет, еще не держали в руках наточенного ножа

и отпрепарированные препараты видели только издали. А приближался лекарский экзамен, для которого надо было описать полатыни, на бумаге, собственными глазами увиденную операцию.

Пока студенты, толкаясь и споря друг с другом, уродовали тело несчастного тифозного, Пирогов, сидя в своей шинели поверх мундирного сюртука в дальнем углу зала, читал физиологиста Лангоссэка, переведенного и дополненного Мухиным. Книгу эту Ефрем Осипович довольно давно подарил любимому своему ученику, а Пирогов все не мог ее прочесть и побаивался, что Мухин при встрече спросит, а ему нечем будет ответить, и старик обидится. Сейчас, дочитывая книгу, он с ужасом думал о том, что лучше бы Мухин вовсе не дарил ему это свое произведение, а еще лучше — вовсе бы и не издавал в свет...

— Пирогов, — окликнул его от стола Фомиц, — идите к нам, у нас тут на левую ногу нет желающих, можете ампутировать...

Он подошел к столу, но ампутировать не стал, потому что все эти ампутации и резекции на трупах казались ему вздором. Что практика, когда есть книги, рассуждал он; что одна ампутация на трупе, когда в воображении я сделал их тысячи, и все с блестящим успехом. Чуть! Надобно в уме иметь ясное и точное знание строения человеческого тела — разве я не имею этого точного знания?

Слегка улыбаясь, он смотрел на своих товарищей, весело и кощунственно балагурящих над истерзанным телом. Ничего не понимая, они, как мясники, рылись в костях и связках, в мускулах и артериях — одно принимали за другое, другое за третье, третье за совсем бог знает что. Полная путаница царила в их бедных головах, и Пирогов не замечал этой путаницы до тех пор, пока некое совсем сдвинутое набекрень понятие не поразило его. Он сказал, что это неверно, с ним согласились, но спросили — что же это искомос в таком случае. Он молчал, роясь в памяти и прикидывая то, что рисовалось профессорами мелом на доске в лекционные часы.

— Да вы сами не знаете, Пирогов, — слышались слова.

Он молчал, лихородачно вспоминая название неумело отпрепарированной артерии, переходящей на переднюю поверхность голени. Это была артерия — он понимал, что это артерия, потому что она не спадалась, как спадаются обычно вены, но тут же со страхом заметил, что проходящая рядом вена тоже почему-то не спадается, вопреки всем изученным им правилам. Пот проступил на его лице. То, что он видел перед собою, никак не походило на те схематические изображения артерий, вен и нервов, которые рисовались профессорами на черных досках и которые создавали почти геометрически точные представления о деятель-

ности того или иного члена в организме человека. Здесь же все было перепутано, криво, косо, вне правил, затверженных им и его товарищами студентами, здесь ничто не соответствовало тому, что было там, на лекциях, и самое неприятное было то, что ему и всем его товарищам предстояло в будущем иметь дело не с изображениями, нарисованными на доске, а с тем таинственным и неопределенным, что содержалось даже не в трупе, а в живом, страдающем и ждущем от врача помощи человеку.

Сначала стыд, потом страх объяли Пирогова. Засучив рукава своей шинели и невежливо оттолкнув плечом сгрудившихся возле трупа студентов, он взял чей-то нож и стал доискиваться — до этого никто из всех оканчивающих нынче курс наук так и не мог доискаться — до истинного названия таинственного сосуда, отпрепарированного Фоминым. Со всех сторон слышались латинские названия, вызубренные без всякого толка и понятия студентами; один кричал, что это должно быть *arteria tibialis*, другой — что оно никак не иначе чем *vena saphena*, третий уверял, что оно лежит на самой кости и потому должно быть мышцей, и если это не так, то он ни за что тогда не ручается.

Пирогов все молчал. Глаза его сузились, и левым он стал сильно косить, как всегда в минуты душевного смятения. По щеке вдруг пронеслась судорога.

— Все вздор, — молвил он, низко наклоняясь над голенью, — все вздор, господа...

— Да что вы все вздор да вздор, — недоброжелательно и со злостью сказал Фомин, — назовите сами, коли мы вздорщики, а вы знаете...

Пирогов опять не ответил. И что он мог ответить?

Через несколько минут он положил нож и отошел в сторону. Здесь на табуретке сидел Бегиничев, уже развязавшийся из своих полотенец, сердитый и взъерошенный. Пирогов сел рядом с ним.

Бегиничев насмешливо поглядел на Пирогова.

— Изрезали моего тифозного и радуетесь, — сказал Бегиничев, — а я отдувайся перед Мудровым.

— Очень ему это важно, — ответил Пирогов, — он и не подойдет к вашему трупу, не знаете вы его, что ли?

Помолчал и спросил:

— Послушайте, Бегиничев, вот кончите вы курс и что станете делать?

Удивление изобразилось на круглом и сытом лице Бегиничева.

— Как что?

— Вот я спрашиваю: кончите курс и что же — лечить?

— А как же, — все еще недоумевая, ответил он, — разумеется, лечить, что же еще?

— И как лечить, вы знаете?

— Разумеется, знаю, и хорошо знаю, может быть хуже вас, потому что у вас память лучшая, а у меня хуже, но зато у меня есть книги такие, которых у вас нет и ни у кого нет...

Пирогов слушал и смотрел на рот Бегиничева, на его толстые, слегка вывороченные губы и на то старательное и аккуратное выражение первого ученика, которое проступало всегда на Васином лице в тех случаях, когда ему задавали трудный и умный, по его мнению, вопрос.

— И потом я старше вас, — говорил Вася Бегиничев, — вы у нас самый молодой и оттого сомневаетесь, я ведь по вашему лицу вижу, что вы в чем-то сомневаетесь, так ведь и я, когда был помоложе, сомневался, а теперь уж нет, не то...

— Я вовсе не сомневаюсь, — с грустью сказал Пирогов, — я вот только давеча подумал, что мы, пожалуй, в анатомии полные неучи и что нам солоно придется. На доске мы все знаем, а вот на деле...

И, возбуждаясь все более и более, он стал говорить Бегиничеву довольно громко и взволнованно, что лекарский экзамен они, может быть, и выдержат, но если, например, дело дойдет до сражения и если на поле боя надо будет остановить кровотечение или...

— А зачем же вы в хирурги, — молвил Вася, — это не надо, и это небезопасно притом...

Пирогов вовсе еще не решил, пойдет ли он в хирурги или нет, но замечание Бегиничева о небезопасности задело его, и он стал спорить, горячась и размахивая, по своей манере, руками больше, чем следовало. Подошло еще несколько студентов, и спор сделался общим, а раз общим, то и крайне неопределенным.

— Пирогов самый младший у нас на курсе, — сказал наконец Фомиц, — и самый крайний в мнениях. До сегодняшнего дня ходил петух петухом, все было хорошо, и вдруг новости — все мы неучи и митрофанушки. Нет, господин Пирогов, мы будем лекарями не хуже вас, а вот вы с вашими недовольствами и умением молниеносно разочаровываться, вы... впрочем, это ваше дело...

И, круто повернувшись на каблуках, отошел от спорящих прочь.

— Да отодрать его за уши, — нагло сказал за спиной Пирогова пьяница Перепоясов, — тогда будет старших почитать.

Несколько человек засмеялись. Перепоясов всегда приставал к Пирогову, а Пирогов боялся его, потому что он был так силен

и огромен, что действительно без всякого труда мог надрать ему уши, Пирогов же был не силен, драться решительно не умел, и хоть боли не боялся, но боялся унижения, и поэтому обычно, если Перепоясов говорил про него какую-нибудь гадость, он делал такой вид, что не слышит или не обращает внимания. Сейчас он сделал такой вид, что не обращает внимания, когда же Перепоясов заметил, что ему надоел голос Пирогова и что он бы хотел, чтобы эти дурацкие споры прекратились, то Пирогов через силу улыбнулся и слегка покачал головой, изображая этим, что на всякое чихание не наздравствуешься и что глупый Перепоясов ему смешон.

Придумывать аргументы для продолжения спора в то время, когда за его спиной Перепоясов готовился к чему-то враждебному для него, Пирогов не мог, оглядываться ему тоже не хотелось, и потому он встал и ушел, как бы вспомнив что-то, в другой конец зала. Когда он несколько отошел от всей компании, сзади раздался взрыв хохота, и он понял, что смеются над ним и над всем тем, что он давеча говорил. На мгновение ему стало обидно, но он решил, что надобно взять себя в руки и стать выше пошлой толпы, а для этого сел на виду у всех с книжкой Лангоссэка в руке и сделал такой вид, что он читает и что ему очень интересно, хоть он вовсе не читал, а сочинял в голове планы страшной и кровавой мести проклятому дылде Перепоясову, своему смертельному и пока что единственному явному врагу.

В два часа пополудни явился Мудров, и пошла потеха. Едва войдя в аудиторию, он заметил, что два студента повесили шинели в неприличном расстоянии от любимого им распятия, велел невежам назваться и заставил их земно кланяться распятию и просить прощения у всех православных, находящихся в аудитории. После этого он позвал солдата, стоящего при аудитории, и велел ему прочитать слова, написанные золотом над профессорской кафедрой. Солдат прочитал:

— «Руце твоя создаста мя и сотвориша мя, вразуми мя и научи заповедям твоим».

— Дур-рак, — налившись кровью ярости, закричал Мудров, — что врешь, где «рцы», как смеешь генералу своему врать?

Буква «эр» в слове «руце» действительно отвалилась, солдат же прочитал по привычке, за что немедленно же был отправлен Мудровым на съезжую с запиской, чтобы выпороли за пеистребимую лживость натуры и за позыв на кощунствие. Солдат ушел. Только после этого приступили к вскрытию, причем Мудров сердито сказал, чтобы вскрывали сами, а он отойдет, потому что-

де стар и трупного смрада не терпит. Глупый и мордастый Вася Бегиничев еще поточил на ремешке свой ножик и смело пошел крошить и копать в теле, объявляя порой результаты своих научных открытий громким и веселым голосом. Мудров сидел на самой верхней ступени амфитеатра и старался не глядеть туда, где происходило вскрытие, и иногда только покрикивал Васе, чтобы он попроворнее торопился, а то смердит. Вася крошил во всю силу. Пирогов стоял рядом с Васей и не уставал удивляться на Васино хитрое проворство. Едва всадив нож в верхние покровы, Вася уже кричал Мудрову, что отворил кишки, и что они изменившиеся по виду. Пирогов же никаких изменений не видел, потому что и кишок не видел, а Вася уже объявлял новое открытие, совершенно совпадавшее с учебником, в котором был описан классический случай, известный студентам наизусть по той простой причине, что случай этот описал Мудров.

Студенты весело посмеивались, теснясь над трупом, а Вася, копаясь в толстых кишках, бодрым, солдатским голосом кричал что есть мочи глуховатому Мудрову:

— Покраснение наблюдаю, Матвей Яковлевич! Большой завал наблюдаю. Надчревная область находится в перемещении и вздута.

— Да скорее ты, душа моя,— молил сверху Мудров,— мочи нет, всякий аппетит навеки отобьет. Ищи язвочки, да и дело с концом.

— Сейчас, Матвей Яковлевич,— кричал Вася, разыгрывая комедию,— и так тороплюсь, сейчас будет готово...

Без всякого труда он нашел язвочки там, где их никогда не бывает — в толстых кишках, назвал толстые тонкими, закрыл покойника рогожкой и пошел мыть руки. Так и не поглядев на Васину работу, Мудров уехал домой. В аудитории царило совершенно школьническое оживление. Через несколько минут Пирогов остался один в большой зале с золотым речением над кафедрой и с малыми посеребренными досками по стенам. Машинально, по привычке он прочитал все: и «Познай самого себя», и «Врачу, исцелися сам», и все то, к чему он так привык за университетские годы. Никакого отклика не вызвало это в его душе. Он чувствовал себя утомленным. В голове была какая-то пустота, в ушах звенело. Не хотелось ни думать, ни поступать, ни садиться, ни уходить. Все-таки он сел — заболели ноги. Сел и уставился на рогожку, под которой угадывались очертания трупа. Так он просидел долго, не меньше часа, потом, почувствовав себя отдохнувшим, сбросил с трупа рогожку и наконец понял, о чем он думал, пока Вася вскрывал, о чем недоумевал и что удивляло его.

Ничего похожего на внутренности человека, умершего от тифозной горячки, тут не было. Об этом он думал, когда глухой Бегиничев вскрывал тело, но думал несправедливо по отношению к себе — считал, что по незнанию своему он не видит то, что должно, а видит то, что к настоящей и истинной болезни не имеет никакого отношения.

— Шалишь, — вдруг сказал он сам себе и, не стесняясь залатанной сорочки, снял мундирный сюртук и повесил его возле себя, еще повторил «шалишь», завернул рукава сорочки и принялся за работу.

Через час вернулся со съезжей выпоротый солдат Гаврилов. Пирогов все еще работал. Гаврилов сел неподалеку, набил носогрейку табаком и рассказал, что перед поркой велели ему снять государеву медаль за двенадцатый год, а после порки велели надеть в обрат.

Пирогов молчал.

Гаврилов вздохнул и сказал, что нынче порют легче, чем зимою, зимою занимался этим делом Петрушка, тот был ловкач и мастак, теперь Петрушка, слава богу, помер, жить стало вольготнее.

— Да вы что в ём ковыряете, — сказал вдруг Гаврилов строго, — чай, вы не профессор, чего же мертвое тело так-то ковырять...

— Хорошо, хорошо, — быстро ответил Пирогов, — молчи знай.

Гаврилов сердито замолчал, принес себе вторую табуретку, поставил ее не вплотную к первой, сел, как бы повиснув в воздухе, и исподлобья уставился на Пирогова.

Тот все еще работал.

— Пойду да отлепортую на вас по начальству, — прокашливаясь, сказал Гаврилов, — какое занятие выдумали, скажите на милость, казенное имущество зазря переводить. Может, это тело есть уroda и его надобно в банке содержать. Слышите, господин Пирогов?

— Слышу, слышу, молчи, молчи, — ответил Пирогов.

Гаврилову очень хотелось подробно рассказать, как его выпороли, но Пирогов его не слушал, и это раздражало солдата до того, что он начал помаленьку грубить, и когда Пирогов вдруг резко встал — солдат испугался, что господин студент будет драться, но Пирогов, не глядя на него, натянул сюртук и вышел из аудитории, кося глазами, бледный и странный.

Через несколько минут он отворил дверь деканата и спросил у чиновника, тут ли Ефрем Осипович. Чиновник ответил, что Ефрема Осиповича сейчас нет, но есть его высокопревосходительство господин Лодер.

— А можно ли его видеть? — спросил Пирогов.

— Да вам по какой надобности?

— Скажите — студент Пирогов по крайней надобности.

Чиновник снял очки и прошел во вторую комнату, тотчас же возвратился и сказал, что его высокопревосходительство просят пожаловать к ним. Пирогов вошел. Знаменитый анатом Юст Христиан Лодер не ответил на поклон Пирогова и молча ждал, что скажет ему хилый, косоватый и рыженький студент. Помедлив несколько и слегка задыхаясь от волнения, Пирогов сказал, что умоляет господина профессора простить его за беспокойство, но что ему крайне важно знать мнение господина профессора по одному приватному поводу, может быть и ничтожному, но для него имеющему весьма важное значение.

— Я не понимаю вас, — с немецким акцентом сказал Лодер.

Пирогов вновь заговорил, сбиваясь и путаясь. У него был дикий вид в нищенском мундирном сюртуке, в лоснящихся и заплатах панталонах, в сапогах с отстающей подошвой. От него волнами исходило неблагополучие. И этот косящий глаз! Лодер слушал внимательно и, чтобы не раздражаться, смотрел на собственные руки — белые и в кольцах.

— Теперь я понял, — сказал он, все еще не глядя на Пирогова. — Ваше дело ко мне заключается в том, что вы позволяете для себя предполагать, что ваш профессор, высокоуважаемый мой сотоварищ, его превосходительство господин Мудров, неправильно заключил о болезни и о смерти некоего. Вы же имеете мнение, что некий скончался не от горячки тифоидной, но скончался от бугорчатки. Так я вас понял, господин студент?

— Совершенно верно, господин профессор, — ответил Пирогов.

— И вы желаете от меня, чтобы я определил окончание в этом деле, — продолжал Лодер, поднимая на Пирогова спокойные-недоброжелательные и суровые глаза, — определил тем, чтобы отправился с вами на аудиторию.

Пирогов молча кивнул головой.

Лодер поднялся и пошел вперед на сухих, негнущихся ногах.

Солдат Гаврилов, завидев профессора, вытянулся в струну. Лодер смотрел мимо него, как вообще смотрел мимо всех, чтобы эти все не воображали слишком много в его присутствии.

Сощутив глаза, несколько секунд он молча всматривался в разрушительные следы бугорчатки внутренностей. Потом разогнул спину и, глядя мимо Пирогова, почти с ненавистью сказал:

— Этот некто скончался от той причины, от которой определил ваш профессор, а именно от тифоидной горячки. Никакой бугорчатки тут нет. Для вашего будущего и для вашей матушки, если она у вас жива, да сохранит ее господь, запомните раз на-

всегда, что больные умирают только от того, от чего знают их профессора, а если нет профессора, тогда лекаря, а если нет лекаря, тогда чин еще ниже. Запомните то, что я вам говорю сейчас, нисходя к вашей молодости и тому, что вы не имеете еще опыта жизни. И когда вы будете профессор, чего я не могу для вас не желать, тогда вы узнаете, что никто никогда не может иметь свое решение для того, когда оно уже есть и определенное. Прощайте!

Он повернулся к солдату Гаврилову, который весь затрепетал при этом, и совсем другим, грубым юнкерским голосом закричал ему:

— А ты, собачья свинья, как смеешь позволять здесь? Убрать тело, чтобы не было никакого. Я тебе задам, такая тварь, что ты не узнаешь, как стоять!

От бешенства он сразу же растерял все русские слова и кричал теперь по-немецки, что для Гаврилова было особенно страшно. Но Пирогов, которому терять было уже нечего, перебил Лодера и сказал ему, что солдат не виноват, что виноват только он один, так как не слушался запрещения солдата. Лодер молча повернулся и ушел. Не глядя на Гаврилова, Пирогов натянул шинель, подобрал книгу и медленно зашагал к двери.

Дома его окликнули обедать — он не ответил и поднялся к себе в мезонин. Был тихий, погожий весенний вечер. Не снимая шинели, он отворил низкое окошко, сел и долго бессмысленным взглядом следил за розовыми вечерними облаками, тихо плывущими над Воробьевыми горами.

Заскрипели старые ступени узкой лестницы — пришла мать, обеспокоенная его молчанием, спросила, не болен ли он, нет ли у него лихорадки или колотья.

— Нет, маменька, я здоров, — ответил он, — идите себе отдыхайте...

Мать ушла, упросив его, чтобы он выпил перед сном горячего малинового чаю. Стало совсем смеркаться. Он зажег свечу и принес на стол кипу книг — все, что у него было куплено в разное время, начиная от сочинений доктора Фридриха Рибеля, придворного медика бранденбургского курфюрста, и кончая переписанными из десятых рук Скарповыми суждениями и размышлениями. Вся эта кipa была прочитана и изучена им вдоль и поперек, но он вновь принялся читать и искать, перелистывать и раздумывать, проверять себя и сличать то, что он видел нынче своими глазами, с тем, что видели и записали непререкаемые для него авторитеты.

И чем дальше, тем очевиднее становился для него странный смысл слов, которые произнес давеча Юст Христиан Лодер.

Больше не в чем было сомневаться: Лодер сказал именно то самое, что он понял с самого начала и в чем усомнился,— так это было чудовищно и нелепо. Юст Христиан Лодер сказал, что слова профессора есть незыблемый закон, в независимости от того, прав профессор или он грубо заблуждается. Главной же мыслью Лодера была та, что лекарский круг есть замкнутая в себе каста и что для благополучного жития в среде этой касты надобно всегда всему доверять, что исходит от старших в чине или в научном звании, и что иное поведение никогда и ни в ком не встретит сочувствия, а вызовет только желание удалить из касты столь невежливого и не понимающего природы кастовых отношений собрата.

Чтобы успокоиться и согреться — ему было теперь очень холодно, а затворить окно он не догадывался,— Пирогов вышел еще теплого малинового чаю с медом и лег в постель. Но ни постель, ни чай — ничто не могло согреть его, он дрожал. Сегодняшний день был днем необъяснимых и страшных катастроф. Только сейчас он почувствовал это так остро и полно, что внезапно показался себе смешным,— вспомнив вчерашний день и ту гордость, которую он испытывал, показывая дядюшкиным чиновникам кости, припесенные в рогожном кульке.

«Да, да,— со стыдом и тоской думал он,— конечно же, я смешон со своими костями и со своим мальчишеским хвастовством: ведь я ничего, совершенно ничего не знаю, хотя бы я десять бугорчаток нашел. И как ни печально и ни отвратительно то, что сказал давеча Юст Христиан Лодер, но ведь он куда более меня прав, потому что что же это будет, если все мы, бараны и неучи, полезем поправлять даже ошибающихся наших профессоров. Да ведь еще и неизвестно даже — ошибся Мудров или нет: вскрытия он не видел, а что касается до диагноза, то это совсем темная вода — какой бы я диагноз поставил, может и еще похлеще».

Но, думая так, он все-таки понимал, что оправдать Лодера нельзя, потому что Лодер-то не знал тех подробностей, которые были известны ему, Пирогову, а главное потому, что Лодер, конечно, рассуждал совсем не так, как он за Лодера,— Лодер рассуждал куда проще и куда более кастово.

В конце концов он осудил Лодера, но не почувствовал себя от этого спокойнее или легче. Позорная сцена у мертвого тела тогда, когда все они так постыдно ничего не понимали в анатомии, до сих пор стояла перед его глазами, и могли ли низкие действия Лодера хоть в самой малой мере оправдать невежество дюжины студентов-медиков, вот-вот врачей?

Конечно, не могли.

Но что же делать?

Куда, к кому идти?

У кого спросить совета, помощи, кто научит, что делать дальше?

Ефрем Осипович Мухин?

Но только вчера он читал невозможные вещи, сочиненные Мухиным, о мокротных сумочках и удивлялся тому, что такой почтенный человек, как Ефрем Осипович, мог насочинять ворох столь удивительного вздору и как этот вздор вытерпела бумага. Учение о мокротных сумочках, разработанное Мухиным, было настолько очевидной пелепостью, что даже он — еще невежда, дитя в науке — понимал, как мало в мухинских научных упражнениях истины и сколь далеки эти упражнения от настоящей науки и подлинной научной правды.

Мокротные сумочки все-таки были еще полбеды по сравнению с артерией имени баронета Виллие. То ли от старости, то ли еще от чего другого, но только независимый когда-то Мухин в последние годы не только утерял эту былую свою независимость, но сделался искательным к начальству, чего молодость никогда не прощает, и в искательности (ходили слухи, что он ждал пенсионца для выхода в отставку) совершенно потерял всякую меру и пустился на отчаянное средство: написал в своей книге, что некая артерия — есть любимая баронетом артерия, и потому отныне она названа именем Виллие.

Поступок дикий и невиданный до сих пор никогда.

Книга ходила по рукам, — студенты не верили своим глазам, отношение к Мухину резко изменилось. Виллие не любили, такая искательность даже к лицу, от которого зависел размер пенсионца, была ужасна.

Мухина презирали.

На каждой репетиции студенты решительно все артерии называли именем Виллие. Ефрем Осипович то краснел, то бледнел. В аудитории стоял глухой смех. Молодежь в таких случаях не знает ни жалости, ни снисхождения. И даже Пирогов не жалел больше престарелого своего учителя и покровителя, испытывая к нему только чувство брезгливой неприязни и почему-то собственной вины.

Идти к нему и у него просить совета и помощи?

Какой совет и какая помощь, когда старику ничего не нужно и ни о чем он больше не думал, как о пенсии да о деньгах.

В этом не было никакой последовательности, но он решился вдруг идти именно к Ефрему Осиповичу.

Почему?

Разве он знал?

Он вдруг представил себе лицо своего ныне во прах поверженного божества, вдруг услышал его несколько пришепетывающий голос, вдруг увидел его лицо с приятным выражением, вдруг почувствовал его ладонь — широкую и сильную и — понял, что он у него один, кроме матушки и дядюшки, которые, несомненно, желают ему, племяннику и сыну, добра, но которые ничему не научат, и ничего не посоветуют, и ни в чем не помогут. Он же, Ефрем Осипович, несмотря на казенное выражение приятности в его лице, все же лекарь, и, несомненно, одаренный, и если у него спросить по совести и по правде, то он не солжет, не сможет солгать, а научит если не наукою, то жизненным своим опытом, своей огромной лекарско-человеческой правдой, которая ему известна и которую он не может не знать, не смеет не знать и, следовательно, не посмеет утаить от единственного (Пирогов это знал), от единственного своего крестника в медицинской науке.

— Нет, это что же, — почти шептал он, — нет, это невозможно, чтобы он не захотел говорить, коли я его спрошу, он не понять не сможет, я ему такими козырьми сразу пойду, что принужу его, если ему даже и не захочется. Нет, это дудки. Кто же мне тогда скажет, ежели не он? Он должен сказать. Он папеньке велел определить меня в медицину, и с него спросится, потому что коли лекарь лечит, то он обязательно должен в свою науку и в свое лечение верить, иначе ни пауки не будет, ни лечения, а я нынче усомнился, и пускай он мне поможет разобрать хаос и определить все по своим настоящим местам...

Под утро ему стало легче, он согрелся и повеселел, а потом сразу уснул и приснился сам себе, как он сделался профессором за границею и идет по тамошней улице, крутит в руке тросточку и напевает, а за ним бегут тамошние уличные заграничные мальчишки и кричат беззвучные слова, но он все-таки понимает, что кричат в его честь, что он профессор и что все этому очень рады.

Случай помог ему увидаться с Мухиным на следующий же день. Солдат Гаврилов вызвал его с репетиции и сказал, что его спрашивают в деканате. Краска кинулась ему в лицо, рукою он взбил уже жидкие, но еще довольно пышные волосы, оправил проклятый, лезущий кверху мундирный сюртук и вошел в кабинет к Ефрему Осиповичу. Старик, выставив вперед свою большую нижнюю челюсть и слегка откинув лобастую голову, серебряным ножиком чистил крымское яблоко, ловко поворачивая его короткими пальцами. Завидев Пирогова, он приветливо кивнул ему и велел сесть поблизости на мягкий стул. Пирогов сел.

— Что это сегодня задождило, — сказал Мухин.

— Да, что-то с самого утра, — ответил Пирогов.

Он все больше и больше смущался и, зная за собой способ-

ность густо краснеть, думал, что сейчас покраснеет и замолчит, — краснея, он всегда не решался говорить.

Старик посмотрел на него из-под очков и предложил яблоко, Пирогов отказался.

— Зря, — молвил Мухин, — яблоко хорошее, сладкое.

Помолчали.

Пирогов сидел, поджимая ноги в порыжелых, драных сапогах: уж больно невесело выглядели эти сапоги на пушистом ковре в цветах и разводах. Сапоги и ковер придали ему решимости. Отчаянным голосом он сказал:

— Ефрем Осипович, мы никто анатомии не знаем.

Мухин без всякого удивления взглянул на Пирогова и ответил, что ее знать мудрено.

— Да мы ее совсем не знаем! — воскликнул Пирогов. — Мы на трупе ничего не можем понять.

— Вот как, — молвил Ефрем Осипович и, отрезав от яблока ломтик, положил его себе в рот. Потом подвинул к себе атлас, открыл паугад и, ткнув пальцем, спросил у Пирогова:

— Это что?

Пирогов ответил.

— А это? — спросил Мухин.

Пирогов опять ответил.

— У студентов твоего возраста, — сказал Ефрем Осипович, добрыми глазами глядя на Пирогова, — есть две главные болезни, милый мой друг. Либо им, без всякого основания, кажется, что они знают решительно все, либо, также без всякого основания, им начинает казаться, что они не знают ничего. Если я не ошибаюсь, то еще несколько дней назад ты, душа моя, предполагал, что знаешь куда больше твоих профессоров, не так ли?

Пирогов молчал, медленно краснея. Краска заливала не только лицо его, но и шею, и уши.

— Теоретическую анатомию ты знаешь отлично, Николаша, — продолжал Мухин, — на трупе же ты не упражнялся, потому и не знаешь, как там что, да ведь не велика беда, успеешь, коли захочешь, а коли не захочешь, то и без трупорезания лечить будешь отличными старинными средствами, декоктами и настоями. Помнишь, как я брата твоего поднял с одра?

— Помню, — тихо ответил Пирогов.

— Одно тебе могу сказать, — продолжал Мухин, — никогда не отчаивайся в своих знаниях и не думай, что другие знают больше тебя. Никто не знает больше, коли ты сам хочешь знать. Все у тебя впереди, все ты еще поспеешь, чего пока не поспел. Всех обгонишь, коли захочешь, а не захотеть ты не можешь. А теперь я у тебя спрошу: прочитал ли ты книгу мою?

— Прочитал, — едва слышно ответил Пирогов.

На лице Мухина выразилось мгновенное беспокойство и тотчас же уступило место выражению приятности.

— Легко ли она читается? — спросил Мухин, самым вопросом ограничивая тему ответа.

— Легко, — сказал Пирогов.

Сердце его билось. Он понимал, что Мухин нарочно задал такой вопрос, но мог ли он уклониться от того ответа, который должен был дать, хоть его и не спрашивали.

— Книга ваша читается легко, — молвил он не совсем твердым голосом, уже жалея, что начал, — слог ее доступен и для нас, студентов, но только, Ефрем Осипович, зачем вы написали про Виллие?

Глаза его смотрели ласково, почти испуганно, но он не жалел, что сказал. Теперь мгновенно исчезло чувство вины перед Мухиным, было его только жалко: он сидел перед ним, старый и несколько не величественный, совсем не тот Мухин, что когда-то, и делал такой вид, что занят очисткой второго яблока и что вопрос Пирогова даже несколько развеселил его. Но за всем тем Пирогов видел, что Мухину мучительно неловко и что он в первый раз слышит, чтобы его так прямо спрашивали о Виллие.

— Ты, душа моя, еще ребенок, — пряча глаза, заговорил он, — и многое тебе совсем непонятно и не скоро станет понятно. Я прожил много, и много видел такого, что тебе и во сне не приснится. Ответить на твой вопрос могу пока только так: кроме науки, есть еще и жизнь, и если постигать науку трудно, то жизненную науку постигать еще труднее. Людям надо прощать, Николаша.

— Нет, — сказал Пирогов.

— Что — нет?

— Не надо прощать, — внезапно охрипнув, сказал Пирогов, — а коли только прощать, так надобно идти в мошахи или еще куда, а только не в ученые лекаря. И я, Ефрем Осипович, слишком помню вашу доброту ко мне и слишком вас уважаю, для того чтобы этого вам не простить, а только лишь понять, почему вы это совершили, и попросить вас от всех нас, студентов, никогда впредь подобного не совершать, потому что университет есть святое место и отсюда подобное не может быть выпесено молодыми людьми. Разве не так?

— Ты слишком молод... — начал было Мухин, но Пирогов перебил его.

— Ужели же потому, — все еще хриплым голосом воскликнул он, — ужели же потому, что я молод, мне должно примириться с этим? Да сами же вы ссылаетесь на старость; хорошо, бог знает

что будет в старости, пусть же, пока мы молоды, останутся между нами святые идеи независимости, достоинства человеческого и правды...

Он говорил долго, волнуясь, запинаясь и путаясь, и некрасивое лицо его выражало такую крайность чувств, такую их силу, убежденность и страстность, что, как-ни тяжело было Мухину все то, что он слышал от мальчика — своего ученика, — он не мог ни обидеться, ни рассердиться, и чем дальше говорил Пирогов, тем с большею добротою смотрел на него Мухин, жалел почему-то его и думал о том, как все преходяще в человеке и как он, Ефрем Осипович, тоже был когда-то таким и кричал высоким слогом, и туманные любил выражения, и умел подпустить насчет святых идей.

— Ну, спасибо, — произнес он и улыбнулся, когда Пирогов кончил свою вдохновенную речь, — спасибо тебе, Николаша, душа моя. Все это удивительно как верно и даже прекрасно, но только запомни навсегда, что я тебе скажу. И запомни не для того, чтобы так не поступать, а запомни именно для того, чтобы поступать как понадобится, потому что я тебе желаю счастья и добра и не хочу думать о том, что жизнь твоя может сложиться дурно из-за каких-то там высоких идей, хоть они, несомненно, прекрасны и до того красивы, что просто мочи нет. Нынче тебе шестнадцать годков, а мне седьмой десяток. Это, душа моя, великая разница, и хоть вы, молодежь, всегда склонны думать о нас, стариках, как о глупцах, я этого мнения разделить не могу и считаю, что мы вас умнее, а если нет, то хоть хитрее и уж, во всяком случае, вперед видим куда правильнее, чем вы с вашими шорами из святых идей... Но это материя длинная и скучная, сказать же я хочу тебе только одно, Николаша: как бы ни были прекрасны помыслы твои, каким бы высоким сердцем ни наградила тебя природа, в шестьдесят годков ты будешь грешен. Запомнил? Будешь! Ты только запомни это, навсегда запомни и не старайся забыть, а старайся помнить. Будешь грешен, запомни, обязательно будешь, и ежели не более меня, то это еще хорошо. Я ведь покорился и потому мало грешил, а коли не покориться, а искать действия на земле и руки не складывать, а дело делать, то либо тебя волки сожрут вместе с костями, и шерстью, и потрохами, либо сам с ними в стае пойдешь, и счастье твое, если уклонишься от совместного с ними пира и какого-либо малютку, начиненного святыми идеями, не слопаешь за компанию. Ох, дожить бы мне до ста лет, мы бы с тобой еще поговорили, и как бы поговорили, и как бы сегодняшний наш разговор вспомнили, да только не дожить, никак не дожить, помру... Единственное только утешение, что ты запомнишь сегодняшнее наше

объяснение и честно на седьмом десятке своей жизни сделаешь себе рапорт по всем статьям. Что глядишь на меня?

— Я не рассчитываю дожить до седьмого десятка, — молвил Пирогов.

Мухин сердито засмеялся и крикнул, что он тоже не рассчитывал, а вот живет.

— Все вы, молодежь, меланхолики, — заключил он, — и, несмотря на святые ваши идеи, ух, жестокий вы народ, бог с вами. Мы, старики, хоть и без святых порывов, а куда вас лучше.

Он встал и прошелся по комнате старческой походкой, слегка волоча одну ногу и посмеиваясь сердитым смешком, потом внезапно оборотился к Пирогову и сказал ему громко и быстро:

— Начиненный святыми идеями и благородным негодованием человек шагу по нашей земле не пройдет, как шлепнется, для того чтобы более во веки веков не встать, и что от него будет толку, ну-тка, скажи? Скажи, коли ты такой умный?

— Благородные идеи и святое негодование, — начал Пирогов, — тем одним хороши, что пробуждают в людях огонь, пламень неугасимый...

— Дурак! — крикнул Мухин. — Пламень, мальчишка глухой, слушать противно, набрался нечеловеческих слов и туда же с неугасимым... Я вот баронету польстил несколько, пазвал артерию его именем и без всякого пламени получу пенсией, для себя, думаешь, дурак? Куда мне его в могилу — пенсия — куда? Об этом никто не знает, но коли вы, негодяи, почти что до обструкции дошли, знайте, жестокие мальчишки, четверо из тутошних казеннокоштных не на казенном обучаются, а на моем, я свое жалование отдаю, чтобы вы с вашим пламенем священным щи хлебали да кашу, да книги себе покупали и через эти книги меня же позорили... А пенсия получу от Вилльешки — вам же отдам, чтобы больше врачей было для несчастной моей России, понял? Вот зачем я это делаю, жестокосердные вы мальчишки, зачем принимаю от вас позор и зачем...

Пирогов поднялся со своего стула. Лицо его дрожало. Протянув одну руку к бегающему уже по комнате Мухину, он окликнул его, но Мухин так кричал, что не слышал ничего. В глазах его были слезы обиды, и, шагая по комнате, он отворачивался от Пирогова и кричал, что никогда не чаял услышать такие слова, что священный огонь — вздор, что он все хорошо понимает и не раз замечал, какими гнилыми взглядами смотрят на него студенты и Пирогов тоже...

— Ефрем Осипович, — сам чуть не плача, молвил Пирогов, — Ефрем Осипович...

Оба они были взволнованы, и сцена примирения растрогала обоих вконец.

— Простите меня, Ефрем Осипович, — говорил Пирогов, глотая слезы, — я негодяй, простите...

— Нет, ты не негодяй, — отвечал Мухин.

— Нет, негодяй, — отвечал Пирогов, с восторгом глядя на бога своего, вновь воспрянувшего из праха к вечной жизни, — я про вас невесть что думал, простите меня...

— Все мы люди, — говорил Ефрем Осипович, нюхая табак, чтобы успокоиться, — все мы в чем-то грешны, и только прощать надобно, и поменьше этой нашей пламенной неукротимости...

Теперь они сидели в креслах друг против друга. У Мухина от слез покраснел кончик носа, он моргал опухшими глазами и говорил с чувствительностью о том, что между стариками и молодежью должно быть извинение к слабостям, и тогда все пойдет отлично. На слове «отлично» он начал чихать, потом они весело посмеялись, и Мухин заговорил о том предмете, ради которого вызвал Пирогова с репетиции.

— Так вот что, милуша (с этой минуты Мухин стал называть Пирогова не иначе как милушей), вот что, милуша, — молвил он, — я ведь тебя позвал для дела. Поедешь ли ты за границу?

Пирогов сказал, что поедет, но Мухин ответил, что надобно выбрать себе специальность, и они вдвоем стали обсуждать, какую ему надобно специальность. Физиология не годилась, хотя Пирогову и казалось, что, зная о грудном протоке, о желчи из печени и о моче из почек, а также о химусе и хилосе, он в совершенстве знает весь предмет. Что же касалось до селезенки и поджелудочной железы, то органы эти были мало известны не только ему одному. Но, несмотря на такие отличные его знания физиологии, Мухин решительно отверг эту специальность.

— Другое надобно, — сказал он, — иди, подумай, выбери, потом мне скажешь.

Прощаясь, он поцеловал Пирогова и сказал ему, что любит его и не сердится на него совершенно. Велел решать поскорее и отпустил, сунув в карман его шинели румяное крымское яблоко.

Но где было решать и с кем? У кого просить помощи?

Не теряя ни минуты, он побежал в свой десятый номер, туда, где жили товарищи, в корпус квартир для казеннокоштных студентов. Тут он бывал часто, в этом десятом номере, здесь впервые он услышал имена Шеллинга, Окэна и Гегеля, тут велись бешеные споры о бруссеизме, читали Пушкина и Рылеева, здесь испитой Чистов читал ему Овидия, и, как ни скучно ему

было, он должен был непременно слушать, иначе его все презирали бы. И он слушал, думая о своем: Овидий не очень трогал его.

Здесь, в этом десятом номере, постигли его первые разочарования. Не сразу он сознался себе в том, что говорильня в десятом начинает раздражать его. Никто тут не учился толком, поговорили и спорили сутками напролет, в спорах с непостижимой легкостью порхали с предмета на предмет, и часто к концу никто не понимал, из-за чего же разгорелись крики. Как нравились, как пленяли его эти споры на первом курсе и как быстро он охладел к ним, перестал принимать в них участие, сидел и молчал, удивляясь однообразию мыслей и скудости ораторских приемов, которые сводились к одному: кто кого перекричит.

Все тут было вместе: и щекочущие разговоры о тайных масонских обществах, и рассказы о том, как хирурги давеча разбили заведение с женщинами на Трубе, и стихи, которые читались со значением, и Биша, и Мочалов, и бог, и религия — и все без толку, лишь бы было к чему прицепиться, чтобы покричать, поспорить, назвать друг друга в споре олухом, а главное — чтобы погромче.

С каждым месяцем замечал он в тех, кого на первом курсе так чтил, пустоту и незаметную поначалу ничтожность знаний. Как известно, для крикливых споров не надо много знать — достаточно иметь самое общее понятие о предмете. Общее понятие было, и, боже мой, как умели они переливать это общее понятие из пустого в порожнее.

Но иных друзей у него не было, и хоть этих тоже не мог он назвать своими друзьями, все-таки заходил к ним, когда делалось вдруг скучно, — сидел час, много два, и уходил обычно с тоскою. И удивлялся, как могло это нравиться ему, как мог он всерьез слушать этот вздор. Однажды, слушая споры в десятом номере, ему вдруг подумалось, что слишком много говорят в России и что никто дела не делает, а надобно делать хоть пемного, но беда — делать некогда: все время на разговоры уходит.

«Слишком много говорят в России», — он нашел эту фразу справедливой не только по отношению к десятому номеру. Везде много говорили, а мало знали и еще меньше делали. «Много, много говорят в России», — укоризненно думал он и давал себе слово не болтать лишнего, а лучше тратить время свое с пользой на книги или на другие толковые занятия.

Но более всего отвратительны ему были студенческие попойки и особые нетрезвые споры, где всяк кричит свое, где никто никого не слушает, где ничье мнение не берется всерьез и все-таки спорят, хоть они, в общем, и не люди уже, а только лишь суще-

ства, тем похожие на людей, что обладают даром речи, правда бессмысленной, но все же речи.

Студенческие попойки и нетрезвые, шумные споры пьяных людей о некоем всеобщем человеческом счастье, песни со слезами, проклятия, ругательства и слюнявые поцелуи, вместе со штурмами заведений на Трубе, скверные болезни и пустая философия мало знающих, но наслышанных людей — все вместе с внезапной силой бесконечно надоело ему и на много лет вперед настораживало к людям, любящим задушевно говорить за вином или водкою.

Уже на втором курсе он перегнал их всех в знаниях, они остались позади, им было некогда, они спорили и кричали, он читал в своем мезонине с жадною страстью книгу за книгой, подсыхал, желтел, палимый неразрешимыми вопросами, неразгаданными тайнами бытия; матушка, дядя и сестры охали над ним, он мало ел, мало спал, улыбка у него сделалась саркастическая, говорил он загадочно, с латынью, старался находить афоризмы, записывая их в многочисленные тетрадки, искал высшую мудрость, начало пачал, смысл жизни, и ничего не находил, — то, что казалось значительным и серьезным сегодня, завтра теряло всякий смысл.

Он был совсем еще мальчиком, обижаясь на домочадцев, плакал, голос у него ломался, иные в его годы еще и читать-то толком не умели, он же вырабатывал свое мировоззрение, разрушал в себе почитание к богу, философствовал, размышляя о тайне рождения и смерти, и доразмышлялся до того, что однажды заболел горячкою, с жаром и бредом, и провалялся более месяца. Но горячка эта его и вылечила. Внезапно он получил отвращение ко всеобщим вопросам, так сильно волновавшим дотоле его воображение, и с жадностью накиннулся на медицинские науки — на анатомию, хирургию, фармацею, зоологию, ботанику, с увлечением стал изучать физику и химию, и все это до тех пор, пока не пошел рядом со своими профессорами. Тогда ему показалось, что он знает все, что дальше делать нечего, что жить скучно. Вновь на губах его зазмеилась саркастическая улыбка, означавшая, что он стоит выше всего и что он все презирает. С этой улыбкой входил он и домой, и в университет, и в десятый номер до тех пор, пока не произошла история в анатомическом зале. Тут он вновь растерялся и решил никогда более не гордиться и не воображать о себе певесть что. «Надо дело делать, — лихорадочно думал он, — надо обязательно дело делать, и покончить надо со всем с этим, будь оно неладно». С чем надо было покончить, он, разумеется, толком не знал, но сердце его билось, щеки горели, все свое прошлое он осуждал, себя видел дурным

человеком, даром погубившим лучшую часть жизни. «Молодость прошла, — с тоской думал он, — молодость загублена безвозвратно, надо спешить, надо действовать, решать, жизнь уходит — еще немного, и мне стукнет двадцать лет, что можно сделать на третьем десятке? Ничего!»

Себя и свою жизнь он представлял только до тридцати лет, твердо знал, что более тридцати не проживет, что и тридцать немало, что и до тридцати дожить дай бог.

Однажды, находясь в чувствительно-приподнятом настроении духа, он нарисовал на листке бумаги свою могилу и изобразил на каменной плите даты рождения и смерти: «13-го ноября 1810 года — 15-го мая 1840 года». Смерть свою он представлял себе весною — он сидит в креслах и умирает улыбаясь, волосы у него белокурые, он красивый и бледный, у ног его воркуют голуби, он бросает им крошки и умирает. Он попытался нарисовать и эту сцену, но она у него не получилась, он не умел изображать людей, голуби получились, кресла получились, а сам он нет. Тогда он нарисовал памятник в виде гранитной плиты, на нем написал годы рождения и смерти, имя, отчество и фамилию, а также знаменитую эпитафию, очень близкую его сердцу:

Прохожий, ты идешь, но ляжешь так, как я,
Постой и отдохни на камне у меня;
Взгляни, что сделалось со тварью горделивой.
Где делся человек? И прах зарос крапивой!
Сорви ж былиночку и вспомни обо мне!
Я дома, ты в гостях, — подумай о себе.

Изображение это случайно попало в руки матери, от ужаса она почти потеряла сознание, он прекратил рисование надгробных памятников самому себе и поклялся матери, снизойдя до ее слабости, никогда больше так не забавляться.

Никто из его товарищей не знал, что с ним происходит. Да они и не очень интересовались его жизнью. Он был самым младшим на курсе, в кутежах и студенческих забавах участия не принимал, на Трубу не ходил, был вежлив, некрасив, мал ростом, обидчив и беден. Великовозрастные студенты раздражались его присутствием среди них, тем, что он смеет их осуждать своим молчанием, тем, что он краснеет, тем, что он всегда где-то витает, и тем, что он чванится перед ними. Студент Марсов, верзила из семинаристов, весь обросший сине-черною щетиною, не давал ему проходу, называл поросенком и подсвинком, глупо и грубо острил на его счет, а другие смеялись и радовались даровому представлению, он же ничего не мог поделать — Марсов был во много раз сильнее его и к тому же матерился. Ни драться, ни матерщинничать Пирогов не мог.

В университете Пирогов был почти одинок, если не считать десятого номера, где ему покровительствовали до той поры, пока не почувствовали его над ними превосходства: люди не любят, чтобы их обгоняли, и как Пирогов ни скрывал от них того, что знает и думает больше, чем они, — скрыть не удалось, пошло отчуждение, чем дальше, тем больше. В угоду десятому номеру он не мог пить, и петь жалобные песни, и целоваться, и клясться, а трезвый во время попойки он им мешал, портил им настроение, сбивал их с той высокой чувствительности, ради которой они пили водку и разжалобливали себя песнями и кликами.

Почему взбрело ему в голову идти советоваться в десятый номер, с которым давно уже порвались близкие отношения, почему решил он, что тут его научат и посоветуют ему, что делать, он не знал толком, но на мгновение вспомнились ему первые дни в университете, то очарование, которое исходило тогда для него из десятого номера, те разговоры, которые он по неопытности и по наивности принимал если не за самое дело, то за начало некоей великой деятельности; гербарий, который ему почти подарили, кости, первые кости, похищенные с лекций Лодера и подаренные ему — новичку, начало его сознательной жизни, начало мыслей, начало всего.

Вспомнил, пошел и едва вошел в номер — тотчас же пожалел, потому что это был не тот номер, который ему вспомнился, а другой, нынешний, прокуренный и пьяный, грязный и шумный, велеречивый и похабный.

Но убежать было уже поздно: его заметили и велели садиться. Он сел рядом с Васей Бегиничевым. Пьяный Перепоясов, который давеча на вскрытии тифозного предложил отодрать Пирогова за уши, налил ему из штофа водки. Тайком он выплеснул ее под стол. Отвратительный Марсов тенором пел непристойную песню, над столом стоял хохот, крики, вопли. У Марсова от натуги лицо сделалось темно-багрового цвета — ему мешали петь, а он хотел, чтобы его слушали. Но никто ничего не слушал. Визжала грязная дверь на блоке, солдат Яков, приставленный к студентам, таскал за пазухой штофы под черными печатями, колбасу и солонину. Перепоясов наливал из штофа, каждый раз возглашая рыкающим львиным басом:

— Белого панталонного наливаю!

Почему водка называлась панталонною, никто не знал, но это считалось смешным, и, чтобы Перепоясов не приставал, Пирогов через силу улыбался. Пришлось и выпить, чтобы он не лез и не заставлял пить силою. От водки у него закололо в висках и

перехватило дыхание, он все хотел уйти, но теперь его заметил Марсов и не отпускал. Васенька Бегиничев весело и громко смеялся каждой шутке Марсова, и потому Марсов ни на секунду не оставлял Пирогова в покое.

— Перестаньте смеяться, Бегиничев, — сказал Пирогов. — Разве вы не видите, что он паяц и пристаёт ко мне из-за вас?

Но Васенька смеяться не перестал. Он вообще делал обычно то, что нравилось сильным, даже в тех случаях, когда это было мучительно для слабых. И вообще этот глупый Вася оказывался не таким уж глупым, как казалось по первому взгляду.

Опять ему пришлось пригубить водки.

Наконец к нему подошел Чистов и спросил, что с ним. Он попытался объяснить, но не сказал и нескольких фраз, как понял, что Чистов совершенно и безнадежно пьян. То же было и с Катоновым, и с Феоктистовым, и с Лобачевским. Они все перепились по случаю отсутствия случая, как объяснил неповоротливым языком Феоктистов. Объяснил, обнял Пирогова за шею и заплакал громкими пьяными слезами. Пока Пирогов его успокаивал, со своего места поднялся Марсов и сказал, что имеет сообщить присутствующим важную новость. Гримасничая и кривляясь, он сообщил, что среди них присутствует профессорский кандидат господин Пирогов. Поднялся страшный крик, и его опять заставили пить.

— Я не могу, господа, — жалостно улыбаясь, говорил он, — увольте, господа. Я решительно для этого неспособен...

Но Перепоясов и Марсов навалились на него, силой открыли ему рот и заставили его выпить еще полстакана водки.

— Но почему же он, а не мы — профессорский кандидат? — спрашивал Марсов, обращаясь ко всем. — Мне это, господа, интересно. Из каких таких достоинств вдруг эдакого поросенка берут в профессора, а нас не берут? Кто мне, господа, объяснит?

Разговор о профессорских кандидатах вдруг сделался темой вечера. Об этом тоже можно было покричать, и все начали кричать и спорить, а пуще всех Катонов и Марсов.

Пирогов уже ничего не слышал. Все гудело в его голове, и он только поглядывал на Перепоясова, чтобы тот не ударил его исподтишка или не устроил ему еще какую-нибудь гадость, но скоро и это перестало занимать его. Он уснул.

Утром, дурно и тяжело чувствуя себя, он начистил ваксой вконец развалившиеся сапоги, на помадил рыжие волосы и отправился к Ефрему Осиповичу с решением ехать за границу, для того чтобы специализироваться не в одной, а в нескольких науках

сразу. Решение это он решил утаить, чтобы Мухин не отказал, ему же сообщил, что выбрал хирургию.

В это утро Мухин был суховат, молчалив, лишнего не говорил и даже не поинтересовался, почему Пирогов выбрал именно хирургию. Лицо у Ефрема Осиповича было бледно, под глазами припухли мешочки. Выслушав решение ехать для усовершенствования в хирургии, он зорко взглянул в глаза Пирогову, подал свой перевод «Физиологии» Лангоссэка и приказал прочесть во всю силу абзац.

— То есть как? — не понял Пирогов.

— Для того чтобы знать, способен ли ты к чтению публичных лекций, я должен сделать тебе репетицию, — сухо молвил Мухин.

Пирогов прочитал, как было велено, во всю силу.

— Ничего, — наклонив голову, произнес Ефрем Осипович, — кричишь хорошо.

И добавил:

— Кричать вы все мастаки, вот каковы-то будете лекаря.

Пирогов молчал.

— Громкий голос для будущего профессора, конечно, необходим, — вновь заговорил Мухин, — но все ли в голосе, как ты полагаешь?

— Полагаю, что не все, — ответил Пирогов.

— То-то, что не все.

Пирогов решительно не понимал, что за перемена произошла с Мухиным со вчерашнего дня. Вчера они расстались совершенными друзьями. Сегодня Мухин смотрел на него если не враждебно, то, во всяком случае, без всякого доброжелательства.

— Вот, брат, и все, — сказал он, — теперь занесу тебя в список желающих, и можешь готовиться к отъезду. Рад небось?

— Рад.

— А чему же ты рад?

— Я рад, — запинаясь, начал Пирогов, — я, Ефрем Осипович, тому рад...

Но Мухин перебил его и сказал за него, чему он рад, и пока он говорил, Пирогов понял, на что он обижен, и пожалел его, но промолчал — да и что он мог сказать обиженному на все сущее старику.

— Рады, — говорил Мухин, — рады, что едете в чужие края, думаете — там истинная наука, там профессоры, там все знают. Что ж, может, и верно, судить не берусь, я русский лекарь и всего этого не знаю. Поезжай, посмотри, подумай. Может, и хорошо, и от всей души желаю, чтобы хорошо тебя научили, видит

бог, хочу тебе добра, да не знаю, найдешь ли там то, что надобно, то, на что надеешься. Поезжай, посмотри. Может, и пожалеешь, что не остался с Ефремом Мухиным, может, и одумаешься, да поздно будет, назад дорогу не отыщешь. Да-с. А я вот один тут, и благодарностей не жду, да что благодарностей — учеников не вижу, не знаю, кому передать то, что накопил; все бегут, только посвистали — никого не осталось...

Голос у Мухина дрогнул, на секунду он замолчал, как бы ожидая ответа, ожидая, что его станут разуверять, ожидая просто ласкового слова. Но Пирогов не нашелся, что ответить.

— Ты был мой самый любимый ученик, — сказал Мухин, — чего ты ожидаешь от заграницы? Оставайся. Я еще многому научу тебя, я передам тебе всю мою практику, ты не пожалеешь, а мне легче умирать будет, слышишь, Николаша? Я, может быть, на лекциях и не научу тебя, так ведь это все вздор — слова наши все, но на практике я тебе такие чудеса открою, каких ты и у немцев не отыщешь. А там у них все слова да умствованья...

Пирогов молчал, низко опустив голову, не смея взглянуть на своего учителя, чувствуя себя предателем. Но разве он мог отказаться сейчас от своей мечты? Он уже видел себя там, за морем, среди ученых, видел, как он сам там что-то нашел и отыскал, видел себя не только учеником и подражателем, а чем-то совсем иным, неким Колумбом, плывущим по бурному серому морю в далекую бесконечность, видел, знал, чувствовал, что иначе он не может, что уже поздно отказываться от мечты, что он уже не может отказаться, что он уже в ее власти, что он больше не ученик Мухина...

— Ефрем Осипович, — молвил он, — я сам не понимаю, почему это, но только я теперь не успокоюсь, пока туда не попаду. И потом... я ведь не хочу просто в лекаря. Я не могу в целебность декоктов верить, коли болезни не знаю. Ефрем Осипович, может, я совсем и лекарем не буду...

Последнее он добавил из жалости и потому еще, чтобы как-нибудь кончить этот мучительный и ненужный разговор. Да и о чем было еще говорить? Он хотел ехать, хотел неизвестного будущего, хотел, и мечтал, и надеялся, и верил, а тут все было известно, понятно, определено.

Мухин отвернулся от него.

Потом скорым шагом подошел к столу, сел в кресло, обмакнул перо в чернила и размашисто внес в список его фамилию, имя и отчество.

— А теперь прощай, Пирогов, — донеслись до него слова Мухина, — от души жалею, что не остался ты у меня до конца моим учеником. Ну что ж, попробуй немцев.

Он положил ему руку на плечо, нагнулся и поцеловал его в губы.

— Прощай, — повторил Мухин, — прощай, брат, не поминай лихом.

Ночью его разбудил дядюшка — по соседству умирал от запоя дядюшкин знакомый чиновник. Шатаясь спросонья, Пирогов оделся и вышел. В убогой комнате, на грязной простыне корчился и стонал несчастный запивоха. Плакали в голос разбуженные суетою дети. Забитая и замученная женщина — жена дядино-го приятеля — держала в дрожащей руке оплывающую свечу, пока Пирогов осматривал несчастного. Дядюшка забавлял и тешкал детей, а они ревели все громче и громче, пока наконец их не забрали к себе сердобольные соседи.

— Ну что? — спросил дядюшка, подойдя к постели. — Есть ли надежда, Николаша?

Пирогов сердито огрызнулся. Ему было страшно. Пьяница, оскалившись, ловил воздух ртом, стонал и хрипел. Все было искажено в этом отравленном водкою организме, все было неестественно, а главное, вовсе не походило на то, что полагалось находить в таких случаях по книгам.

— Да держите же вы свечку как следует! — крикнул он на женщину, едва стоявшую на ногах от горя.

Дядюшка взял у нее из рук свечку, а Пирогов сбегал к себе за книжкой, но ничего не нашел в ней и послал за цирюльником. Тот пришел мигом со всем своим арсеналом из пиявок и клистира. Это был бравый старик с военной выправкой и плутовским взглядом быстрых глаз. К Пирогову он отнесся с почтением и предложил клистир.

— Верное дело-с, — говорил он, отведя Пирогова в сторону, — у них чижолый завал, от чего они принять могут свой конец. Вы сами извольте ихний мамон пощупать — чистой барабан, слово благородного человека. Разрешите, господин лекарь, клистир?

Пока цирюльник занимался клистиром, Пирогов рылся в своих книгах, но ничего в них не нашел и только совсем запутался. У запойного он обнаружил все признаки бубонной чумы, которой быть никак не могло, просидел возле его постели до самого рассвета, и на рассвете, дрожа от ужаса, проводил его в самый дальний и последний путь. Никогда не видел он смерть так близко и никогда не представлял себе ее такой печальной, бесславной и отвратительной. Ничего не было ни величественного, ни хотя бы благопристойного в этом последнем прощании человека с жизнью. Не слыша воплей вдовы, остановившимися глазами смотрел он на позеленевшее, ужасное, искаженное судо-

рогой страдания лицо покойника до тех пор, пока дядюшка не увел его домой. Но и дома он не мог успокоиться, все вслушивался в далекие крики вдовы, все видел перед собою лицо записки еще живым, все винил себя в том, что не нашелся и не вылечил, вскакивал, рылся в книгах, находил какие-то отдельные, разрозненные признаки, чем-то похожие на то, что было у чиновника, опять искал, даже плакал, и так все утро, пока не вошла в его комнату мамаша с чашкой горячего кофея и с булкой.

Уже днем он заснул и проснулся под вечер.

Внизу, в столовой, сидела вдова, серьезная, прибранная, благолепная, и говорила о том, что супруг ее, если бы еще пожил, то устроил бы пожар, что таким жить на свете не для чего, что его бог прибрал вовремя. На спинке кресла висел фрак покойного, вдова поднесла его Пирогову «в благодарность за его труды», как она выразилась.

Пришел портной и забрал фрак перешивать для заграницы, гонорар был как раз кстати.

В день отъезда выдали от университета прогонные деньги, мундиры и шпаги. Сбор отъезжающих назначен был в здании университета в два часа пополудни. Пирогов с матерью и дядюшкой приехал вторым. Когда они вошли, будущий спутник Пирогова голубоглазый историк Шуманский уже шептался со своими родственниками и знакомыми в углу вестибюля.

И Пирогову, и дядюшке, надевшему ради торжественного дня траченный молью вицмундир, и матери, заплаканной и несчастной, — всем троим было неловко, а главное, нечего было уже делать и не о чем говорить.

Молча погуляли по унылому вестибюлю, потом посидели, потом опять погуляли. Дядюшка, коротко вздыхая по своей манере, с нежностью касался рукою локтя Пирогова, советовал не очень перегружать себя науками, беречь здоровье, есть горячее.

— От супа никогда не отказывайся, — говорил он, — щи или лапшовник — это для здоровья очень необходимо...

— И ноги держи сухими, — советовала мать, — и пиво там не пей, рассказывают, будто они все охотники до пива и целыми бочками его глотают...

Он не слушал их обоих — думал о своем, косился туда, где сидел Шуманский с очаровательными своими голубоглазыми и розовыми сестрами, поглядывал, как университетский швейцар распахивал дверь перед непрерывно подъезжающими к университету будущими профессорами, как входили Корнух — гнусавый акушер, бруссеист Сокольский, Шиховский, Редкин, Коноплев...

Ровно в два приехал адъютант, профессор математики Щепкин, которому надлежало сопровождать кандидатов до Дерпта. Все вышли во двор. Во дворе уже стояли коляски: ехать полагалось по двое на перекладных. Мухин провожать не приехал.

Возле колясок студентов-кандидатов стояли брички, кареты, дрожки и коляски провожающих. Когда все вышли на крыльцо, появился священник, сказал короткое напутственное слово, благословил отъезжающих и уступил свое место Щепкину, который объявил распорядок пути и от имени кандидатов сказал несколько слов родным и знакомым, всем тем, кто провожал.

— А теперь, господа, с богом, — молвил он в заключение, — подавайте, ямщики...

С грохотом начали подъезжать коляски. Осаживали лошадей у крыльца, в каждую коляску садились по два кандидата, Щепкин кричал «трогай!» — и коляска двигалась вперед по булыжной мостовой под ярким и веселым майским солнцем. Провожающие ехали рядом до самой Тверской заставы. Пирогов переглядывался с матерью, в горле у него щипало, на сердце же было и вольно, и весело, и страшно в одно и то же время. Мать плакала, держа у рта посовой платок, дядюшка бодрился и подмигивал племяннику. Так доехали до самой караулки. Здесь Щепкин велел прощаться. Из караулки вышел дежурный унтер и потребовал бумаги. Мать рыдала навзрыд, да не одна она. Почти все кругом плакали, и у дядюшки на глазах были слезы. Наконец часовой пошел к шлагбауму. Вновь все расселись по своим местам. Зычным голосом унтер крикнул часовому:

— Подвысь!

Шлагбаум пополз вверх, лошади тронули, Москва осталась позади.

Пирогов глотал слезы, отворотившись от своего соседа. Сосед делал то же, отворотившись от Пирогова.

— Дальние проводы — лишние слезы, — все еще не глядя на Пирогова, молвил Шуманский, — развели мокреть, ни проехать ни пройти...

— Вечная история, когда пускают женщин, — ответил Пирогов, — незачем их пускать на такие дела, одни хлопоты...

Он проснулся, чувствуя себя совсем счастливым, и долго не понимал, где он и что это грохочет и воет над его головой.

Потом не без труда сообразил: вовсе он не дома в Сыромятниках, а в Дерпте, папенька давно умер, в кондитерскую никто его не ведет и не поведет никогда, Арсений Алексеевич — милый художник — тоже умер, и лета нет, а есть осень, и беседка с

птицами только приснилась, пора вставать, вон уличный хожалый свистит шесть часов.

Но еще несколько минут он пролежал неподвижно — прислушивался к похоронному пению ноябрьского ветра, к скрипу старых черепиц над самой головой, к размеренному храпу Иноземцева, к шуму дождя — к дерптской осени. Лежал, слушал и думал об отце, представлял себе его добрую и лукавую улыбку и весь его облик слабого человека, его сюрпризы, поездки в кондитерские на линейке и опять добрую, слабую улыбку, — как они вдвоем стоят в новой, только что отстроенной беседочке, как отец гладит его по плечу и говорит ему слова похвалы и уважения, как равный равному, как брат брату, как товарищ товарищу. Так недавно это было, совсем недавно, тоже в его день рождения, и тогда об этом знал весь дом и во всем доме был праздник, а теперь никто не узнает, что сегодня день его рождения, никто не сведет его в кондитерскую, никто не испечет к обеду пирог, никто даже не вспомнит. А папенька говорил тогда:

— Я одобряю в тебе, Николай, черты характера твоей мамы: ты склонен к занятиям, как она, ты усидчив в нее, ты чувствителен... ну, это, пожалуй, что и в меня...

И так как папенька не умел долго говорить на одну и ту же тему, то он вдруг протянул вдаль руку и сказал:

— Нет, ты только взгляни, как уже и следа не осталось от пожара. Как была Москва, так и есть Москва, а француз уж позабыт, и мы, слава богу, обстроились... Будешь лекарем, как господин Мухин, станешь ездить в карете четверней, оставляю тебе не только свое благословение, но и усадьбу нашу, для лекаря она вполне подойдет, не правда ли?

Посмотрел на сына и добавил с жалостью:

— Только кос ты, Николенька, уж так кос, прямо и не знаю, как бы не повредило тебе. Очки, что ли, купить? И волос тоже... самоварный. Ну ничего, и сам Мухин не первый красавец... Пойдем, сынок, посидим в зале, а то как бы нас с тобою не продуло, ноябрь шутить не любит...

И пошел вперед в козловых сапожках, легкомысленный, добрый и жалостливый, всю жизнь притворявшийся хитрецом и постигнувший из всех хитростей только одну: лукаво улыбаться.

За обедом были кушанья только те, которые он любил, он сидел во главе стола, четырнадцатилетний студент медицинского факультета Московского университета, и говорил довольно смелым слогом матери о том, что священнослужители есть не что иное, как языческие жрецы, и что и тех и других надобно сурово осуждать. У матери в глазах стояло выражение ужаса, она

делала разошедшемуся сыну знаки глазами, чтобы он замолчал, а его несло, и он не мог остановиться.

— Да послушали бы вы, — говорил он, стараясь не встречаться с матерью взглядом, — послушали бы вы, что поповские сынки в университете сами говорят о своих батюшках, так другое бы и сами подумали. Поп — он и есть поп. Поп — это жрец.

— Что ты, бог с тобой, ведь у нас бескровная жертва!

— Да что же из того, что бескровная. Все-таки и наши попы надувают народ, как жрецы прежде надували...

И, глядя на отца, который хоть и не без испуга, но с некоторой гордостью слушал сына и притом лукаво улыбался, он приводил разные примеры, из которых следовало, что попы есть жрецы и что они обманывают народ так же, совершенно так же, как жрецы.

— Как это можно так сравнивать?..

— Да отчего же и не сравнивать, маменька, коли религия везде для всех народов была только уздой, а попы и жрецы помогали затягивать узду.

Мать положила нож и вилку и отодвинула от себя тарелку: она не могла сейчас есть, а ему было жалко ее, но он не мог перестать есть, потому что, по его тогдашним убеждениям, не спорить в таких случаях было бы бесчестно. Почти со слезами в голосе она спросила:

— Почему же религия узда, когда она есть вера? Так пеужели же теперь, по-вашему, и веры не надо иметь?

Она устроила ему весь этот отличный праздник, она хлопотала целый день и волновалась из-за пирогов до сердцебиения, ради него она надела его любимое темно-красное платье и чепец, который ему так нравился на ней, ради него она позвала сегодня куафера — болтливого дурака, который заявил ей эти седые два локона, — только для того, чтобы сын знал: сегодня большой праздник — день его рождения, а он все портит своим проклятым характером, портит и знает, что портит, но разве можно удержаться, разве Джордано Бруно на его месте поступил бы иначе? Нет, пусть пылает костер, пусть жгут его на этом костре, пусть тянут на дыбе, он никогда не сдастся.

И, почти не слыша своих слов, он предлагает матери ознакомиться с учением немецкого философа Шеллинга и тогда порассуждать. В глазах отца он видит поддержку, и только на мгновение ему делается почти физически больно: он замечает, что тонкие, белые руки матери теребят над столом салфетку.

— Я читала, — робко говорит она, — я читала Шеллинга, под названием «Угроз Световостоков»...

— То Штиллинг, маменька, а это Шеллинг. Шеллинг никаких Световостоковых в жизни не писал, и вам его, маменька, не понять. Шеллинга и не всякий ученый поймет, не то что вы. Шеллинг — натурфилософ.

Подают жаркое — индейку с каштанами, по никому сейчас нет до жаркого дела. В голосе матери слышны слезы, когда она спрашивает:

— Да ты, Николаша, уж не хочешь ли сделаться масоном?

— А что ж такое масон, — следует ответ, — у нас в нашем университете между нашими студентами есть и масоны... Вы, маменька, составили себе неправильное представление...

И, размахивая длинными руками подростка, он начинает говорить вздор о субстанции, произносит заведомо непонятные им всем слова и возвышается в глазах братьев и сестер не смыслом слов, а только тем, как он бойко их произносит и как мамаша при этом теряется.

— Ну, бог с тобой, — крестя его и крестясь сама, вдруг говорит матушка, — с тобою теперь вовсе не сговоришься. Время, что ли, такое настало. И куда это свет идет?

Он чувствует, что выходит из разговора победителем и что теперь ему надо произнести только последнюю заключительную фразу так, чтобы не ударить в грязь лицом. И, слегка напрягшись и даже несколько покраснев, он говорит, глядя прямо в лучистые глаза матери:

— То есть как это свет идет и какое время настало? Да куда ж ему идти и что такое время? Прошедшее невозвратно; настоящего не существует, его не поймаешь — оно то было, то будет; а будущее неизвестно.

Фраза, произнесенная им, необыкновенно эффектна, и все приходят в восторг. Даже матери она понравилась. Отец наливает себе и Николаше по маленькой рюмке лафиту и лукаво подмигивает матери на сына. Все это было только четыре года тому назад. Теперь он не стал бы мучить мать глупыми разговорами о боге. Теперь бы он сидел с ними за столом, пил бы чай с домашним вареньем, и... но дома уже нет, отец умер, он в далеком Дерпте, и день его рождения будет печальным и безрадостным. Его никто сегодня даже не поздравит.

Чтобы утешить себя, он принялся за воспоминания — авось так будет веселее и легче. Сегодня день рождения, вот уже второй год он в Дерпте, можно позволить себе такую роскошь — повспоминать, понежиться в постели, подумать не о последнем времени в Москве, а о том давнем, когда все было совсем хорошо, когда в доме еще не знали нищеты и бедности, мать не плакала и отец не бродил из комнаты в комнату, растерянный и подав-

ленный. А главное, когда он был, когда дети еще не назывались сиротами, когда не нагрянула беда...

Прежде всего он принялся вспоминать дедушку.

Дедушкин камзол и парик. Милый дед, добрый старый дед. Милый Иван Михеевич. По зимам старик тосковал, не находил себе места, охал и кряхтел и с грустью говорил бесконечным внукам и внучкам:

— Ох, дети, верю, Михеичу уже зеленой травы не топтать...

Но наступала весна, дед папаяливал на лысую, как колено, голову парик, влезал в коричневый камзол, брал в жилистую руку трость и, весь светясь счастьем, выползал во двор топтать свою любимую траву. Весь дом высыпал смотреть, как столетний Михеич с детской радостью, смеясь от счастья, ходит по молодой траве, как он экает, и гукает, и покрикивает чадам и домочадцам:

— Сто лет живу, а все ее топчу, о господи! Вон он каков, Михеич... Сто второй пошел, видали, дети? Ну-тка, попробуйте, поживите с мое...

Потом с внуками и правнуками тащился в церковь, оповещая по дороге всех знакомых, что жив и здоров, что еще дождался весны, что нынче пошел ему, хвала господу, сто второй, что вот идет помолиться и возблагодарить за великое счастье. На паперти дед, словно шапку, стаскивал с головы свой лысеющий от времени парик (говорили, что парику уже под семьдесят) и плешивым входил в храм, где на него с неудовольствием косился поп, упрекавший, по рассказам, старика в том, что тот манипуляциями с париком вводит в соблазн предстоящих во храме...

Милый, милый дед!

Или грамота, которую он вспоминал всегда с удовольствием, эти карты, по которым он учился, засаленные и грязные донельзя:

Ворона как вкусна, нельзя ли ножку дать?

А мне из котлика хоть жижи полизать.

И картинка: французские солдаты, тощие и страшные, как мертвецы, раздирают на частидохлую ворону, а один француз лижет из пустого котла.

Может быть, он опять задремал под свист осенней непогоды, под скрип черепиц, под залиvistый храп Иноземцева, может быть, заснул...

Далекие, милые сердцу воспоминания тянулись одно за другим, вставать не хотелось, на душе было легко и покойно, точно в тумане рождались и исчезали картины.

То ли из рассказов домашних, то ли виденная им самим — пронеслась и канула во тьму светлая и яркая, беспокойная и

жестокая комета двенадцатого года. Может быть, он видел ее во время бегства семьи из Москвы во Владимир? Или не мог видеть? Но почему же тогда до сих пор стоит перед его глазами это жестокое, неумолимое, твердое сияние?

Или стих, которым он поздравлял родителей с днем рождения Христова:

В одежде солнечной, багряной
Направил ангел свой полет...

Куда направил, что, почему? Это все исчезло, растворилось, а вот «в одежде солнечной, багряной» — это он помнит.

И дедушка, главное — дедушка.

И сад, цветы в росе, всюду роса ранним утром, выходят сестры и братья играть в крючки и кольца. Рукою он берется за кольцо, а оно тоже в росе, и он визжит от полноты счастья, от чувства бытия, визжит, и визг этот до сих пор стоит в его ушах.

Нет, это не визг.

Это что-то совсем иное, чем визг.

Открыв глаза, он прислушался: визга никакого не было, он всегда забывал и до сих пор не мог привыкнуть к этому дерптскому обычаю свистать часы.

Прошел хожалый сторож и просвистал на своем дьявольском инструменте семь часов.

Пора вставать. Даже для дня рождения это очень поздно. Обычно он вставал в шесть, а то и раньше.

В комнате холодно и нетоплено, у леффеля Андреуша не хватает рук, он один служит дюжине профессорских эмбрионов, попробуйте — справьтесь. И что ему скажешь, когда у него такое замученное лицо?

Кстати, почему слуг тут называют леффель — ложка, а женщин-служанок — безен — метла? И другого имени им нет. Вот вам и Европа.

Ежась и пофыркивая от холода, он спустил ноги на кирпичный пол, отыскал спички и засветил свечу. Отвратительная комната, переделанная из конюшни, медленно стала выплывать из мрака. В дальнем углу сердито храпел Иноземцев, спрятавший голову под подушки. Посредине комнаты, на полу, валялась его коричневая палка из можжевельника — он очень ею гордился — настоящая студенческая палка, отличная цыгенгайская дубинка, знак хорошего положения в корпорации; возле палки на полу лежал мятый и грязный краген — Иноземцев таскал этот студенческий плащ в непогоду и, когда возвращался домой навеселе, обязательно швырял свой краген на пол посредине комнаты.

«То-то не желает просыпаться», — подумал Пирогов и окликнул Иноземцева:

— Федор Иванович, вставать пора.

— Хорошо, ладно, — быстро ответил Иноземцев и совсем зарылся в подушки.

Наконец явился леффель Андреуш с завтраком, завернутым в тряпки. Пока Пирогов ел картофельные оладьи со сладкой подливой — тошнотворное изобретение жены леффеля, Андреуш, имевший всегда наготове дратву, на щетине зашивал ему сапог, потом почистил сюртук и налил в кружку теплого молока.

— Иноземцев, вставайте, — опять крикнул Пирогов.

Он не допил молоко, когда без стука отворилась дверь и вошел Даль. Еще в двери он, по своему обыкновению, немного пожужжал осой, потом комаром, потом басом, как шмель. Это означало, что у него хорошее настроение.

— Дайте глоточек молока, — сказал он, — мой леффель меня сегодня вовсе не кормил, такая черная душонка...

Аккуратно повесив мокрый краген на спинку стула, он сел за стол, поводил длинным носом, улыбнулся доброю и умною улыбкой и стал рассказывать, как вчера ночью корпорация устроила близ его квартиры кошачий концерт.

— Кому это они устроили? — спросил с кровати Иноземцев.

— Вставайте, вставайте, — сказал Даль. — Мойер обидится, пас всего четверо, он ради нас встает такую рань...

Леффель Андреуш, обожавший Даля, налил ему еще молока, он пил и рассказывал, что долго не ложился — писал сказку, а они пришли и подняли такой рев, что пришлось бросить писать.

— О чем сказка? — спросил Пирогов.

Даль ответил о чем.

— Бросьте вы к черту хирургию, — одеваясь, сказал Иноземцев, — вам в писатели надо идти, а вы с нами хирургией занимаетесь. Я серьезно говорю, Владимир Иванович. И хватит вам занятия менять. То вы лейтенант флота, то вы памфлетист, то вы лекарь, то вдруг хирургией занимаетесь. Оставьте это дело нам, верно, Пирогов? Ну что вы молчите?

Вместо ответа Даль необыкновенно ловко пожужжал осой и поднялся. Вышли все вместе. Ветер стих, но дождь по-прежнему лил как из ведра. Даль и Иноземцев совсем завернулись в свои крагены, у Даля виден был только нос, у Иноземцева — блестящие глаза.

Недалеко от университета догнали Мойера. Иван Филиппович шел медленно, кожаные его калоши громко шлепали по лужам, под ноги он никогда не смотрел, в руке у него был огромный клеенчатый зонт.

— Идите со мной под зонтом, Пирогов, — сказал Мойер вместо приветствия, — я имею к вам несколько слов. Почему вы так ужасно пропускаете лекции? На вас большие жалобы, и может выйти скандал.

В сером свете наступающего утра лицо Мойера казалось Пирогову необыкновенно красивым и очень суровым. Не найдясь что ответить, Пирогов молчал, — это был уже не первый разговор на эту тему. Что он мог сказать Мойеру, когда тот кругом прав?

— Прошу вас принять во внимание мои слова, — продолжал Мойер, — для вас могут выйти неприятности, и пребольшие, подумайте.

Он совсем насупился.

На крыльце анатомического покоя их уже поджидал Липгардт, один из самых удивительных людей, с которыми Пирогову когда-либо приходилось встречаться. Этот Липгардт, учившийся в университете приватно, поражал всех удивительными по широте и глубине своими знаниями. Блестящий математик, он внезапно увлекся анатомией, физиологией и хирургией и, дилетант, вскоре примкнул к медикам, принимал участие в их диспутах, занимался вивисекцией, перевел Биша и сделался вторым после Пирогова анатомом в их четверке, управляемой Мойером.

История четверки тоже была не совсем обычной.

К тому времени, когда группа профессорских кандидатов, собранная со всей России, приехала в Дерпт для того, чтобы подготовиться к отъезду за границу — в Берлин, Париж, старик Мойер, знающий и талантливый хирург, ученик великого Антонио Скарпы и позднее Руста, — заленился и перестал серьезно заниматься своим делом. Имея хорошие способности к музыке и любя Бетховена, он по целым часам сидел за роялем, или, когда и это занятие ему наскучивало, ходил по квартире из комнаты в комнату, посвистывал, поглядывал в окна, вмешивался в уличные сцены, разыгрывавшиеся вблизи его дома, читал старые, повсюду разбросанные романы, плакал. Он был вдовцом из той немногочисленной разновидности этих людей, для которых со смертью любимой женщины кончалась и собственная жизнь. Как рассказывала теща его — Протасова, — молился Мойер только об одном — просил для себя смерти как высшей милости, твердо надеясь там увидеться с нежно любимой женою.

Естественно, что такой профессор не мог привить слушателям особого интереса к своему предмету, да он и не стремился к этому. Чем меньше интереса — тем меньше хлопот, по всей вероятности думал он, и, передоверив лекции своему помощнику, человеку решительно недаровитому, засел совсем дома, ссылаясь

на болезни и на нерасположение к занятиям. Операции же Мойер делал только такие, отказаться от которых никак не мог, да и то с величайшей неохотой, а потом с боязнью — отсутствие практики у хирурга обязательно ведет к излишней нервозности в том деле, которое прежде всего разумеет отличное спокойствие и железную выдержку.

Так продолжалось до приезда в Дерпт профессорских кандидатов и, главное, Пирогова.

В начале первого семестра, ранней осенью, когда Мойер копался у себя в палисаднике, лакей доложил ему о приходе некоего Пирогова.

— Что ему надо? — с неудовольствием спросил Мойер, разгребаясь от клумбы, которую начал полоть неизвестно зачем. — Скажите, что я нездоров.

Но некий Пирогов оказался пастойчивым и прорвался-таки в палисадник к Мойеру. Рыжий, с лысеющим лбом, в дурно сшитом фраке, порывистый в движениях, он произвел на Мойера тягостное впечатление ужасного беспокойства души и какого-то даже смятения. Слушая его сбивчивую и беспорядочную речь, глядя на его совсем еще детский рот, Мойер долго не мог понять, чего хочет этот кандидат со съедобной фамилией, зачем он пришел, а главное, почему он так волнуется, спешит и поминутно поправляет свой странного вида воротнички.

— Но позвольте, — не выдержав, произнес наконец Мойер, — позвольте, сударь мой, в университете преподает хирургию адъюнкт, никаких нареканий я еще не слышал, мне неясна идея, которая привела вас ко мне...

— Мы хотим учиться у вас, — просто сказал Пирогов, — мы много слышали о ваших знаниях, и, право же, нам не стоило ехать из Москвы в Дерпт для вашего адъюнкта...

— Но не только же хирургия, — начал было Мойер, — не одна она преподается в Дерпте, и мне странно...

— Да что же странного, коли я хирург, — перебил его Пирогов и необыкновенно детским жестом показал сам на себя.

И стал говорить о том, что они — а их несколько будущих хирургов — обязательно хотят слушать Мойера и, главное, хотят заниматься с ним в анатомическом театре, что им ужасно как не хватает истинных знаний в анатомии и что они просят, очень просят господина Мойера не отказать им в величайшем одолжении — хотя бы поговорить с ними, помочь им, направить их, а тогда они авось и сами справятся.

— Но я болен, — с безнадежностью в голосе молвил Мойер.

— Мы придем к вам, — нимало не задумавшись, ответил Пирогов.

— То есть как это ко мне? — даже не понял поначалу Мойер.

— Да вот хоть сюда в палисадник, коли в дом неудобно, — сказал Пирогов, — нас ведь всего трое — я, Даль да Иноземцев. Мы вам хлопот не причиним, мы только немножко с вами посоветуемся, потому что у нас есть различные неразрешимые вопросы и нам должно получить на них ответы от вас...

— Хорошо, я подумаю и извещу о моем решении, — сказал Мойер, чтобы кончить разговор, — если мое здоровье, разумеется, позволит...

Он встал с зеленой садовой скамьи.

Пирогов тоже встал.

Проводив его, Мойер дал волю своему негодованию и прежде всего напустился на тещу Екатерину Афанасьевну. Горячась, он сказал ей, что ему не дают покою, что к нему пропускают каких-то молодцов из Москвы, что он не должен и не может спорить со школярами и т. д. и т. п.

Екатерина Афанасьевна — женщина умная и необыкновенно его любящая — слушала молча, имея на уме что-то свое, несогласное с его мнением. Когда он кончил, она взглянула на него из-под своего чепца и сказала, что он не прав.

— Это почему же? — спросил Мойер.

— А потому, дорогой мой друг, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. И кабы вы видели, — улыбнувшись, добавила она, — как он тут метался, запутавшись с дверями, и как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать?

— Да, Пирогов, — еще сердито ответил Мойер, выбрал из ящика сигару и закурил.

— Из Москвы?

— Да, из Москвы.

— Совсем молоденький...

Мойер молчал.

Старуха подвинула к себе столик с пальцами, поглядела на начатый узор и, не поднимая глаз, заговорила о том, что, по правде, следовало бы совсем иначе отнестись к такому молоденькому мальчику и уже профессорскому кандидату, что, по ее мнению, этого Пирожникова следовало бы обласкать...

— Если уж и обласкать, — стоя у окна, молвил Мойер, — то не Пирожникова, а Пирогова...

— Ну не все ли равно, — кротко сказала Протасова, — Пирогова. Вы подумайте, мой друг, приехал мальчик из Москвы, тут порядки совсем иные, живет сирота сиротою, шея, наверное, гряз-

пая, и никто не скажет... Нехорошо мы с вами поступаем последнее время, Иван Филиппович, плохо, за это с нас взыщется. Вы как знаете, а я этого Пирожникова...

— Пирогова...

— Ну, Пирогова, позову и обласкаю. И вот еще что я вам скажу: была бы с нами Машенька...

— Что Машенька? — от окна спросил Мойер дрогнувшим голосом.

— А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика, напоить его чаем с ватрушкой, а завтра идти в университет и ради ее, если не ради вас...

Мойер обернулся к Екатерине Афанасьевне. Из-под очков его текли обильные слезы.

— Вы знаете, — сказал он, — что именем Машеньки меня можно все заставить. Завтра я пойду в университет и вернусь к прежней жизни, но знайте, что этим вы лишаете меня единственной моей радости...

— Думать о ней! — воскликнула старуха. — И хорошо, что лишаю, хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать, я ей мать, и я вам ее именем это не велю.

На глазах ее выступили слезы, она подошла к нему, утерла платком его мокрое лицо и велела идти прогуляться.

— А с завтрашнего дня все пойдет иначе, — сказала она, — совсем иначе. И Пирогова этого мы позovem к нам в гости, хорошо? На обед? Или, может быть, на житье? Друг мой, а? Давайте поселим к себе нескольких москвичей или петербуржцев...

Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел — воротнички давили шею, резали подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отворачиванием он посмотрел в зеркало: увидел непробритые бакены, косматую прическу, золотистые волосы исчезли — всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу.

— Хорош, — молвил он, — хорош, дожил...

И, стуча палкой по дощатому тротуару, пошел бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени, на душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало, он приветливо здоровался с педелями и студентами, даже поговорил с ненавистным ему полусумасшедшим старым студентом Жако Кизерицким, прогуливающимся в крагене, ботфортах и расшитом картузике на самой маковке. Замогильным голосом Жако прочитал Мойеру монолог из Шекспира, относящийся к любви, и проводил профессора до самого деканата.

— Сколько вам лет? — на прощание спросил Мойер.

— Пятьдесят два, — ответил Жако, — прощайте, сударь.

Ничего не изменилось в университете за это время. Ректор Эверс встретил Мойера так ласково и осторожно, что Иван Филиппович долго не мог надивиться такту его великолепия, как полагалось называть ректора. Студенты кланялись Мойеру издали, поздравляли его с выздоровлением, потом прислали ему в деканат огромный букет прелестных осенних цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и сам виновник — Пирогов. Мойер встретил его улыбкой и протянул ему руку, чего делать не полагалось.

— Вот этот господин виновник моего выздоровления, — сказал Мойер его великолепию. — Что вы о нем скажете?

Эверс с молчаливой улыбкой смотрел в розовое лицо Пирогова.

Пирогов представил Мойеру Иноземцева и Даля. Липгардт еще не появлялся в Дерпте.

Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было двадцать семь лет, и не тем, чего не знал Даль, — беседа поразила его Пироговым, к которому он начал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому.

Семнадцатилетний рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица поразил Мойера не знаниями — какие там у него были знания, не эрудицией, которой Пирогов изо всех сил старался блеснуть перед знаменитым Мойером — какая там эрудиция у мухинско-мудровского выученика, — Пирогов поразил Мойера иным — бешеной силой своего особого, еще непонятного и неопределимого, но ясно чувствующегося злого и отрицающего ума.

Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно не испытанным наслаждением слушал тот путаный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем больше он понимал, что мальчик этот, не в пример многим другим мальчикам, прошедшим через его руки, думает сам, решает без чужой помощи, и если выпутывается из своих диких и яростных заблуждений, то тоже сам.

Послушав Пирогова с полчаса, он сказал ему, что разговор этот они еще продолжат, что кое-что в этих мыслях интересно, но что, раньше чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы свою окончательную точку зрения, следует знать более, чем знает сейчас господин Пирогов.

— Думается мне, — заключил он, — что в анатомии вы, господа, все слабы.

— Я в Харькове уже оперировал сам, — заметил Иноземцев, — ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях.

Мойер спокойно поглядел на Иноземцева, отметил про себя его красивое лицо восточного склада, его блестящие, глубокие глаза, его изящные бакенбарды, подумал, что с таким лицом можно где угодно сделать отличную карьеру, и сказал, слегка вздохнув:

— Оперировать и ассистировать — это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к восьми часам утра в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным.

И, оборотившись к Пирогову, он добавил:

— Теща моя Екатерина Афанасьевна Протасова уполномочила меня просить вас оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям.

Пирогов страшно покраснел, смешался и сказал, что он с удовольствием придет, потому что почему же не прийти, он рад прийти, но вот если бы господин профессор сам указал время, потому что ведь может так случиться, что он явится, и как раз некстати, бывают же такие истории...

Речь его оказалась очень длинной и не без претензии на легкость и бойкость, но в конце концов он запутался и замолчал.

— Приходите сегодня к обеду, — просто сказал Мойер, — и вы, господа, сделайте мне такую честь, я и моя теща будем ждать вас всех.

Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойер был оживлен, много и интересно рассказывал, Екатерина Афанасьевна смеялась добрым смехом, потом Даль рассказывал сказки и изображал в лицах разные сценки из университетской жизни и, осмелев, показал самого Мойера — как он рассказывает медицинские казусы. Старуха Протасова смеялась до слез, но не забывала Пирогова, сидящего рядом с ней, и подкладывала ему то пирога, то рыбы, то жаркого. Не имея никаких светских талантов, он ел за четверых и хохотал так, что свалил соусник на скатерть и весь перемазался липким белым соусом, что вызвало новый взрыв хохота, — но ему было жалко фрака, и он больше не смеялся, пока Екатерина Афанасьевна не отчистила ему с горничной девушкой все пятна.

С этого дня он зачастил в дом Мойеров и был там всегда жданным и милым гостем. Старуха его подкармливала, с охотой выслушивала его идеи и только раз навсегда запретила ему «болтать пустяки» о боге. Здесь он подолгу распространялся насчет своей семьи, насчет дядюшки — какая он прелесть, насчет покойного отца, насчет матери — тут он вслух читал все письма из Москвы и по желанию Екатерины Афанасьевны рассказывал ее знакомым старухам богаделкам о дедушке Михеиче и о том, как старик топтал зеленую траву на сто первом и сто втором году своей жизни.

Бог знает почему, но он необыкновенно свободно и вольно чувствовал себя в обществе старух у Екатерины Афанасьевны. Ему не надо было тут прикидываться взрослым. Когда варили варенье, он вместе с детьми ел пенки. Когда жарили окорок, он объедался жареным хлебом до того, что ему вздувало живот и приходилось класть грелку. Под пасху он на кухне тер желтки, повязанный по животу полотенцем. Под рождество сам выпекал медовую коврижку по рецепту, присланному из Москвы матерью. Тут сделался его второй дом, а Екатерина Афанасьевна стала ему матерью в истинном и великом смысле этого слова.

Мойер вновь воспрянул духом и моральное свое выздоровление относил за счет Пирожникова — как называли в доме Пирогова и в глаза и за глаза в память давешней оговорки Екатерины Афанасьевны. Но не только за это полюбил старый Мойер рыжего и некрасивого москвича: порою казалось ему, что кроме того бессмертия, в которое он привык верить, есть еще бессмертие иное — бессмертие на земле, реальное и видимое, осязаемое, вещное. При жизни Машеньки он не добился этого бессмертия, не успел, и не до того было, хотя он и мучился, зная: Машенька любила не его, а поэта Жуковского, творца сладкозвучных стихов, до которых ему было не много дела — они настраивали его на жалобный лад, не больше, — а люди говорили, что это и есть бессмертие. Нет, бессмертие есть прежде всего дело — так думал Мойер, — не сладкие и умилительные звуки, не рифмы и краски, не вздохи и цветы, но истина, поиски ее, муки, связанные с нею, дело отыскания истины.

Он не нашел бессмертия при жизни Машеньки, и сладкозвучный Жуковский был в глазах покойной неизмеримо выше скромного дерптского профессора, пахнувшего больницей и лекарствами.

И вот через шесть с лишним лет ему показалось, что рыжий и косой юноша, так странно возвративший его к жизни, — и есть земное бессмертие, частица истинной его славы, частица того

дела, которое до сих пор не удалось ему осуществить и которое, быть может, окажется осуществленным не его руками, а пока что неловкими и неумелыми, но сильными и цепкими лапами удивительного существа, посланного ему судьбою.

С ласковой и порою удивленной нежностью смотрел старый Мойер на бешеное восхождение, совершаемое на его глазах юным Пироговым. Порою страх охватывал его, страх за эту удивительную жизнь, доверенную ему, страх за будущее этого мальчика. Порою казалось ему, что Пирогов кончит домом умалишенных, что так нельзя, что надо его остановить хотя бы силой...

Но остановить у Мойера не хватало сил. Он не мог не любоваться на жадную страстность своего ученика, на детскую его веру в силу знания и разума, не мог разрушать в нем надежду на победу знания над смертью — он только передавал ему то, что знал сам, спешил, торопился, читал по ночам специально для Пирогова и, занимаясь с ним, не без опаски ждал его вопросов, обычно целого потока вопросов, и чувствовал себя в это время так, будто его обстреливают из нескольких пистолетов сразу и он должен только уклоняться от выстрелов.

Вместе с наивной верой во всемогущество человеческих знаний Мойер заметил в Пирогове еще одну совершенно противоположную черту и определил эту черту для себя как залог всех будущих пироговских успехов. Чертой этой, поразившей Мойера при самом первом знакомстве с юношей, было недоверие к словам и любовь к постижению всего, хотя бы уже постигнутого человечеством, собственным опытом.

Ничему и никогда Пирогов не верил сразу, все ставил под сомнение и, слушая своего учителя с вежливым вниманием и интересом, все же не мог скрыть того, что слушание лекции есть для него только печальная необходимость, без которой он не может приступить к самому для него главному и интересному — к опыту, который, в свою очередь, не есть наглядное повторение лекции, а средство к приобретению иных, и нередко противоположных утверждениям лекции, знаний.

Почти ликуя, он находил погрешности в книгах, рекомендуемых ему Мойером, нередко сам при этом ошибался, сам находил свою ошибку и беспощадно уничтожал себя, свое самомнение, свою темноту, как любил он говорить, свое невежество...

Три совершенно разных характера развивались рядом на глазах у Мойера и давали ему обильную пищу для наблюдений и размышлений: Даль, Иноземцев, Пирогов.

С серьезным интересом и вниманием изучал длинноносый Даль под руководством Мойера хирургию и анатомию — изучал

так, как до него изучали сотни прилежных студентов, будущих лекарей, и Мойер видел в нем приятный ему тип честного человека, понимающего, что знания требуют усердия и прилежания, что в медицине есть не только хирургия и анатомия, но и фармакология, и химия, и физика, и терапия, и множество других полезных вещей, которые обязательно надо знать и без которых хорошим лекарем не будешь.

Красивый, с блестящими глазами Иноземцев был совсем иным человеком, чем Даль. Он не просто учился у Мойера — он учился у него блеску и изяществу в оперативной хирургии, уже сейчас готовясь к тому, что ему придется не только резать, но, главным образом, учить других, как резать, а учить не поражая и не удивляя ему не хотелось.

Ни в чем, что было дано, он не сомневался никогда и не любил лишь многих решений одной и той же задачи. В аккуратных тетрадях Иноземцева, исписанных крупным и красивым почерком, против каждой болезни было написано лечение, и притом только одно — такое, которое в данное время считалось самым рациональным. Со вниманием Иноземцев следил за всем тем, что происходит в медицине, и как только слышал о новом средстве, о декокте, о микстуре, о каплях или о паровых ваннах, тотчас же заменял лечение в тетрадке — поверх старого наклеивал бумажку с новым. Лечить он любил, и если заболел кто-нибудь из знакомых, то Иноземцев непременно прописывал микстуру, или капли, или порошки, причем так, чтобы на лечение у больного уходило много времени: уж если микстура — то ее принимать семь раз в день, и не просто взболтать перед тем, как проглотить ложку, а обязательно, например, развести в полустакане горячих сливок и пить небольшими глотками, а иначе не будет никакой пользы.

Великолепно учась и делая в науках блестящие успехи, Иноземцев вместе с тем никогда не отвлекался от двух задач, поставленных им самому себе: лечить людей и учить студентов, как лечить. Каждое занятие приносило ему в этом пользу. Высокие материи не трогали его воображения — наука была для него делом и средством для дела, с ее помощью он ничего не собирался ни решать, ни определять, а только хотел научиться применять ее в будущей своей жизни.

Про себя Мойер не раз отмечал, как раздражали Иноземцева бесцельные, по его мнению, споры, которые вдруг заводил Пирогов со своим учителем по поводу совершенно отвлеченному, если такой повод может найтись в анатомии.

— Ну хорошо, — говорил Иноземцев, — но вам-то что, Пирогов, зачем это вам вдруг понадобилось?

Пирогов хлопал глазами, потому что не мог ответить, зачем это ему вдруг понадобилось, а Мойер тонко улыбался и с нежностью поглядывал на своего любимца.

Любимец этот вытворял бог знает что, вместо того чтобы хорошо или хотя бы терпимо учиться. Впившись мертвой хваткой в анатомию и хирургию, он совершенно забросил все другие предметы и в один прекрасный день просто-напросто перестал посещать какие бы то ни было лекции. Это совпало с началом его занятий вивисекцией. Из жалких своих грошей он, педоедая, накопил денег на то, чтобы спясть кирпичный сарайчик под черепичной крышей, и на то, чтобы купить себе двух телят, безногую собаку и барана. Университетский столяр построил ему по его чертежам стол, и пошла работа.

Несколько раз к нему в сарай приходил Мойер, садился в угол на чурбан, закуривал сигару и подолгу, не произнося ни единого слова, следил за упражнениями своего ученика — переначкающего кровью, грязного и одержимого. Из экономии Пирогов на больших животных пока что вовсе не упражнялся, а покупал у мальчишек крыс и крошил их. Крысы стоили дешево, мальчишки создали для него целый промысел и таскали ему столько пасюков, что он в конце концов совсем разорился, хоть и платил за хорошую крысу не больше копейки. Телят же и барана он берег, не надеясь купить еще, но их всех надо было кормить, еда стоила денег, и Пирогов совсем растерялся. Телята росли и жрали неимоверно много, в болтушку телятам полагалось наливать молоко, и он покупал им молоко и завидовал им — он сам очень любил чай с молоком и раньше пил такой чай, а теперь довольствовался шалфеем.

Однажды, сидя на своем чурбане в углу сарая, Мойер сказал Пирогову, что с крысами он довольно возился, что теперь пора приниматься за телят и за собаку, а кроме того, что пора перестать экспериментировать просто так, надобно отыскать себе тему для эксперимента — тогда пойдет лучше, и предложил тему.

Пирогову она не понравилась, и он стал думать сам.

Через несколько дней тема отыскалась такая, которую одобрил и Мойер. Пирогов совсем перестал ходить на лекции. Иноземцев ему сказал, что это добром не кончится, что будет скандал и что они сюда не затем приехали, чтобы резать телят, — пора заниматься делом.

— У каждого свое понятие о деле, — с вызовом ответил Пирогов.

Вначале он занимался вивисекцией один, потом с Карлом Липгардтом, помогавшим ему в работе. Некоторое время Пирогову было с Липгардтом интересно, потом он ему осточертел и

так стал его раздражать, что они разошлись. Липгардт покинул сарай под черепичной крышей спокойно, отношения с Пироговым у него остались самые дружеские, раздражительность Пирогова он отнес только к его плохому характеру, а не к самому себе, так объяснил и Мойеру. Пирогов объяснил расхождение совсем иначе.

— Знаете, — сказал он Мойеру, — Липгардт — прекрасный человек, но вы в нем ничего не поняли. Ученый из него пикогда не выйдет.

— Почему? — удивился Мойер.

— То есть, может быть, и выйдет, — поправился Пирогов, — но только не в том смысле, как вы думаете. И в сарае ему делать нечего.

— Да почему же? — во второй раз спросил Мойер, и сам догадавшийся почему.

— Потому, — сказал Пирогов, — что, несмотря на все его способности и знания, он — как губка. Насосется знаний — нажмешь, и все назад выльется в таком же виде. У него ум емкий, память хорошая, и знаете что? Производительности ума никакой.

— Что же, это разные вещи — емкость и производительность ума? — наслаждаясь, спросил Мойер.

— Разные. Для эксперимента емкость ничего не стоит, — молвил Пирогов, — разве что записывать ничего не надо, все будет в уме держать, так ведь вы его ко мне не за этим прислали...

Мойер улыбнулся.

— А у вас какой ум? — спросил он.

Пирогов немного помолчал, потом страшно скосил глаза и весело ответил:

— Не знаю какой, но только свой.

— Ого!

— Так ведь свой может быть еще и глупый, — краснея, сказал Пирогов, — вы теперь всем в доме расскажете, что я вам нахвастал, но только я вовсе не нахвастал, и вообще все это вздор, не стоило говорить о таких глупостях. Одним словом, как хотите, но мне с Липгардтом делать нечего, хоть он и гением у вас считается.

Мойер, как всегда, ни на чем не настаивал, но с этого дня частенько спрашивал у Пирогова, какой у кого ум.

День рождения оказался днем неудач и огорчений.

Еще по дороге в университет Мойер, против обыкновения, сухо и сурово отчитал его за то, что он не ходит на лекции и тем самым ставит его, Мойера, лекции которого он посещает, в не-

удобное положение перед другими профессорами. Пирогов уже привык к тому, что Мойер делает ему внушения на эту тему, и не придавал особого значения тому, что Мойер нынче не в духе, но днем его вызвали к его великолепию, у которого сидел отвратительный Перевощиков и маленький профессор химии Гебель. Его великолепие ректор был в хорошем расположении духа, но Пирогов сразу же почувствовал неладное по лицам химика и Перевощикова, с которым у Пирогова уже давно были худые отношения и который в свое время написал на него донос Ливену в Петербург.

Его великолепие ректор к профессорским кандидатам имел небольшое отношение и формально мог не принимать никакого участия в разговоре с кандидатом-москвичом, по доброте же и обходительности своей натуры он не мог отказать Перевощикову и теперь мучился и проклинал себя за слабодушие.

О Пирогове и о его способностях он знал и радовался, что Дерпт подарит миру еще одного хорошего ученого, но он также знал, что в манкировании Пирогова есть некоторый элемент пренебрежения к нелюбимым дисциплинам, и знал, что профессора типа Гебеля — слишком ревностные педанты, для того чтобы простить нелюбовь к тому, что они преподают и, следовательно, считают предметом основным, главным, самым существенным.

Слушая скрипучий голос Перевощикова, его великолепие ректор Эверс ничем, разумеется, не нарушал плавного течения мыслей всеми нелюбимого профессора Перевощикова, отслужившего порядочное количество лет в Казани под начальством пресловутого Магницкого и тем снискавшего себе печальное имя в Дерпте, но в то же время ректор Эверс не отрываясь глядел на Пирогова своими добрыми старыми глазами, а в какое-то мгновение речи Перевощикова ректор даже чуть-чуть вздохнул и поднял глаза к небу — и Пирогов не смог не понять, что Эверс его союзник и не считает его ни негодяем, ни ничтожеством.

Но Гебель и Перевощиков отругали его на чем свет стоит и посулили серьезные неприятности в самом недалеком будущем, если он не возьмется наконец за ум, а Гебель прямо посулил прижать его на экзамене.

— И это сделаю не только я, — сказал он в заключение своей речи, — но и многие мои коллеги, к предметам которых вы относитесь без всякого уважения, господин Пирогов.

Наконец они позволили ему ответить.

Он ответил вяло, без всякого жара.

Он не умел слушать разных болтунов — на лекциях без демонстрации ему хотелось спать, да и не мог он растрачивать

время на чепуху, когда фасции и артериальные створы занимали его с утра и до поздней ночи.

Довольно мрачным голосом он ответил им — скрипучему Перевощикову и химику Гебелю, — что они, разумеется, со своей точки зрения правы, но что жизнь человеческая так коротка, что при всем желании человек не может переделать столько дел, сколько бы ему хотелось.

— Сколько же предполагает прожить господин Пирогов? — неожиданно спросил его великолепие.

— Я предполагаю прожить до тридцати годов, — молвил Пирогов, — и потому я тороплюсь.

— Господин Пирогов неизлечимо болен? — опять спросил Эверс.

— Нет, — последовал ответ, — я не болен, но думаю...

— У господина Пирогова предчувствия...

— Если угодно, то да, — с вызовом и страшно краснея, сказал Пирогов, — но дело не в этом...

И он пошел болтать совершеннейшую чушь, от которой добрый Эверс только покряхтывал.

Все кончилось полнейшим его позором. Ему хотелось замять те глупости, которые он наболтал, и для этого он пустился в такие пространные дебри и так напутал, что Эверс для его же пользы отпустил его домой посредине начатой им красивой и пышной фразы о свободе индивидуальной воли.

Не заходя ни в аудиторию, ни домой, он отправился в свой сарай и там проработал до вечера, но и это не рассеяло его мрачного настроения духа. В сарае тоже все не ладилось: одна из собак подохла; теленок, измученный проводимыми над ним экспериментами, перестал есть и пить; в довершение всего в углу подгнила балка и весь сарай мог обвалиться и задавить не только животных, но и его; хотелось есть, а денег не было ни одной копейки.

Домой он плелся очень долго и все не мог решить — зайти к Мойерам или нет. Два дня назад он немного поссорился со старухой из-за того, что она подумала на него, будто он плутует в карты, а он вовсе не плутовал. Расстались они сухо. Мойер тоже был с ним довольно холоден и к себе сегодня не звал.

Дома было холодно — нетоплено, леффель Андреуш напился картофельной водки и спал в прихожей, пропала свеча, и пока Пирогов искал ее, он едва не заплакал, а когда нашел и зажег, то совсем обмер: на жестянке, в которой Иноземцев держал сахар, был повешен маленький замочек.

В первую секунду он не поверил своим глазам, а когда понял, что это не сон, совсем перепугался и долго сидел на своей кровати

со свечой в руке, неподвижным взором уставившись на банку.

Вчера, засидевшись за книгами далеко за полночь, он съел из банки Иноземцева несколько кусков сахара. Конечно, это была подлость есть его сахар, но он ничего не мог с собой поделать — ему так захотелось сладкого, что он совершенно помимо своей воли запустил руку в банку и набил сахаром полный рот. А Иноземцев, по всей вероятности, заметил пропажу и повесил замочек. Какое унижение!

Часов в десять Иноземцев явился домой и принялся за чаепитие. Пирогов слышал, как он наливал себе чай и как возился со своей банкой — замочек худо открывался. Чтобы не встречаться с ним глазами, Пирогов лежал в постели, отворотившись к стене, и делал вид, что нездоров. Иноземцев не обращал на него никакого внимания. Попив чаю, он накричал на Андреуша, потом стал одеваться, чтобы уходить, и при этом напевал свою любимую песню, которой научился от ненавистного Пирогову Пиларха фон Пильхау:

Вот он сам, Зайдернауп,
Вот сам он, кожаный Зайдернауп,
Си-са, Зайдернауп...
Си-са!

Все было отвратительно в этой песенке — и бессмысленный Зайдернауп, и то, что он почему-то кожаный, и идиотский припев «си-са», и тот похабный второй смысл, который вкладывался певцами в эти невинно-глупые слова.

Си-са,
Я бываю то могуч, то нежен,
Си-са, великий Зайдернауп,
Все зависит от моего настроения,
Си-са...

Он пел и рылся в ящиках своего комода, потом вдруг спросил:

— Послушайте, великий апатом, мне позавчера пришла посылка, в посылке была новая черная манишка от Линке и черный галстук с подгалстучником, вы не видели?

— Нет, не видел! — сказал Пирогов. — И если я вчера съел из вашей банки, будучи лично без сахара, несколько кусков, то вы не имеете права намекать мне...

Пирогов сел в постели. Лицо его горело, глаза светились ненавистью.

— Не имеете! — крикнул он. — Я не ваш крепостной, я не разрешаю...

Иноземцев ненатурально заулыбался и сказал, что он и в мыслях не имел ничего такого, что сахар он запер вовсе не от

Пирогова, а от Андреуша, и что стоило Пирогову только сказать: «Я взял у вас несколько кусков сахара...»

— Это низко, то, что вы считаете ваш сахар! — крикнул Пирогов. — Это низко считать куски сахара...

— Но, милый Пирогов, — начал опять Иноземцев, — я повторяю вам, что вы не так поняли...

И он длинно стал говорить об Андреуше, а Пирогов не слушал его и только с ненавистью смотрел на его красивые бакенбарды и хорошо выбритый подбородок, на всю его крепкую и самодовольную фигуру с широкими плечами, на ноги, обутые в твердые башмаки с двойною подошвой, а потом внезапно отвернулся и лег спиною к нему.

— Вы не хотите со мною говорить? — спросил Иноземцев. Пирогов не ответил.

— Бог с вами, — сказал Иноземцев, — вы больны, у вас дурное настроение, я не виноват.

Подушившись скверными духами, он ушел в студенческую муссу.

Пирогов еще долго лежал не шевелясь, чувствуя себя несчастным и глубоко оскорбленным, потом встал, мучимый голодом, и послал нетрезвого Андреуша в трактир за ужином. Андреуш тотчас же вернулся и сказал, что ужинов не будет, пока Пирогов не заплатит долг.

— Так ведь нам еще не платили, — в тоске молвил Пирогов.

Проклиная свою голодную жизнь, он вышел на улицу и пошел без цели из переулка в переулочек. С неба сеял отвратительный холодный дождь, масляные фонари тускло отражались в лужах, в голых ветвях деревьев свистел ветер.

Пирогов медленно шлепал по лужам, медленно перешел мост через Эмбах, поглядел впиз на темную воду и хотел было возвращаться домой, как дикие клики и вой стали доноситься до него из мрака по эту сторону Эмбаха. Он зашагал обратно и скоро достиг переулочка, сплошь запруженного студентами университета. Стоя под проливным дождем в своих плащах и ботфортах, почти все пьяные, они выли и ревели на разные голоса с такой силой, что в окнах дрожали стекла. Головы всех были обращены к крыльцу трактира «Веселое препровождение досуга», и Пирогов понял, что студенты возглашают анафему хозяину заведения.

— За что? — спросил он огромного студента в крошечной шапочке, и студент с готовностью ответил, что негодяй хозяин отказал в кредите одному из сеньоров — старосте корпорации.

Под кошачье мяуканье и дикий вой хозяин в жилете и в ночном колпаке появился на крыльце своего заведения. Работник

эст вынес за ним фонарь. Вой и визг при появлении хозяина достигли апогея. Хозяин в ужасе прижался спиной к дверям. Тотчас же рядом с ним на крыльце оказался прославленный бретер Пиларх фон Пильхау, без крагена, в мундире и в шапочке, позументы которой тускло сверкали при свете фонаря. Изрубленное и тупое лицо Пиларха дышало негодованием. Подняв руку в черной кожаной перчатке, он мгновенно заставил замолчать несколько сот глоток и ослиным голосом провозгласил анафему на неопределенное время всему заведению. По второму мановению его руки все подхватили анафему, и устрашающий рев вновь разнесся по Дерпту.

Между студентами то там, то сям появлялись и исчезали перепуганные педели, умоляли перестать, грозили именем его великолепия, и наконец старший из педелей, Мартини, пробрался ко двору фурмейстера, жившего напротив трактира, и послал конного эста с запиской к университетскому синдикку. Конный промчался мимо Пирогова, обдав его с головы до ног грязью, и исчез во тьме под вой и мяуканье все еще длящегося обряда анафемы. Через несколько минут приехал университетский синдик-прокурор, а за ним его великолепие ректор Густав фон Эверс в коляске с двумя верховыми, держащими высоко над головами ярко пылающие факелы. Анафема тотчас же стихла. Пиларх фон Пильхау подошел к коляске и, по старому обычаю, преклонил перед его великолепием колени.

— Что случилось, дети? — спросил Эверс громким и приятным голосом.

— Трактирщик отказал в кредите сеньору Бубриху, — ответил Пиларх, — имя его опозорено негодным филистером. Совет сеньоров постановил предать анафеме негодяя.

Трактирщик между тем пробрался к коляске и рухнул перед его великолепием на колени, прося не заступничества и не помилования, а только обозначения срока анафемы. После трактирщика Эверс опросил по очереди всех сеньоров и вынес решение предать трактир анафеме на срок в сорок дней. Трактирщик все еще стоял на коленях. Синдик решение его великолепия подтвердил. Тяжелая коляска Эверса начала медленно разворачиваться среди густой толпы студентов под восторженный рев и провозглашения долгих лет любимому ректору. Тотчас же нашлись охотники писать анафему на вывесках трактира. Отныне никто не мог войти в заведение без страха самому быть преданным студенческому проклятию. Хозяин, взяв из рук своего работника фонарь, сам светил тем, которые мелом и углем расписывали вывески и стены его трактира по всему фасаду.

Потом, провожаемая униженными поклонами проклятого, толпа двинулась вниз по переулку. Пиларх предводительствовал, и по его приказанию студенты запели «Бойся, филистер!» За этой песней последовало решение сеньоров о большой пьяной ночи, и вся громадная толпа заревела на разные голоса гимн пиву.

Пирогова вел уже какой-то незнакомый и восторженный фукс с глупым носом пуговкой.

— Я никуда не пойду, — сказал Пирогов, — у меня денег нет, и я не принадлежу к корпорации, меня выгонят, коли объявят кнейпу...

Студент долго его уговаривал и не пускал даже силою, но Пирогов все же вырвался и попал в объятия совершенно пьяного Цихориуса — университетского анатома. Вместе с прозектором Вахтером он принимал участие во всей истории с анафемой и теперь был в прекрасном настроении.

— О милейший Пирогов, — говорил он, слегка обнимая Пирогова, — и вы тут. Очень рад вас видеть. Поздоровались ли вы с добрейшим Вахтером? Доктор Вахтер, неужели же вы так напились вашей картофельной водкой, что не видите, кто стоит перед нами? Пойдемте, Пирогов, ко мне. Пойдемте, старина. Мы будем еще пить, и нам будет очень весело. Доктор Вахтер, берите нашего доброго Пирогова под другую руку и пойдемте...

Как он ни упирался, они привели его в странный дом Цихориуса, выстроенный профессором по его собственному плану, — без единого окна, с плоской крышей и с горами винных бутылок вместо мебели. Доктор Вахтер налил ему водки в великолепный, зеленого цвета ремер. Цихориус слазил в подвал и принес оттуда несколько заплесневелых бутылок рейнвейна. На большом блюде лежали остатки холодной говядины, которую Пирогов съел сразу же после того, как они сели. Первый тост был за гостя, второй — за истину, третий — за глупость доктора Вахтера. У Пирогова от первого же ремера закружилась голова и из глаз полетели искры. Цихориус стал ему лучшим другом. С восторгом он смотрел на его зеленую бороду, на грязные лохмы волос, свешивающихся над огромным бугристым лбом, на перебитый когда-то шпагой нос, на грязные отвороты его сиреневого сюртука. Потом он поцеловался с Вахтером в губы и закурил трубку из коллекции Цихориуса. Очень громко они спорили о его затее с операцией по Астлею Куперу. Стараясь говорить связно, Пирогов рассказал им обоим, что во всех случаях перевязки брюшной аорты смерть происходит через паралич нижних конечностей, который есть результат онемения спинного мозга, а вовсе не от прекращения кровообращения в нижних конечностях. Цихориус стал кричать, что надобно попробовать постепенное сдавливание, и Пирогов

ему ответил, что такое сдавливание он уже сделал, но что баран погибает от последовательных кровотечений. Тут же все втроем они взяли по зонту и по бутылке рейнвейна и отправились под дождь к сараю с черепичной крышей смотреть барана. По дороге Цихориус пел, а толстый Вахтер вдруг сделался очень грустным, что к нему не шло, и заговорил о том, что они с Цихориусом даром прожили свою жизнь, загубили ее не в пример Пирогову, который хоть, разумеется, и мальчишка, а уже имеет опыты и занимается истинной наукой.

— Замолчите, глупец, — прикрикнул на него Цихориус, — вы надоели мне.

До сарая они не дошли, их догнал какой-то белый кнот в поношенном платье и умолил повестить больного. У кнота было жалкое и измученное лицо, он ухватил Вахтера руками за лацканы мокрого сюртука и несколько раз поцеловал его в плечо.

— О, идиот, — сказал Вахтер, — ведь мы же все пьяны, неужели ты не видишь — мы пьяны, совсем не держимся на ногах. Посмотри на нас внимательно, мы никуда не годимся...

Но кнот не отставал. Из его слов можно было понять, что он только что заходил домой к господину Вахтеру, не застал его и чудо помогло ему встретить господина доктора в этот поздний час на улице. Никто, кроме господина Вахтера, не пойдет к бедному кноту в его лачугу...

— Да пойдемте, чего там, — молвил Пирогов, которому все пынче было трын-трава, — пойдемте, господа, авось поможем несчастному...

Кнот живо понял, что молодой студент, шедший вместе с господами учеными докторами, на его стороне, и теперь ни на секунду не отставал от Пирогова.

— Да что с твоим больным-то? — спросил Пирогов.

У кнота не нашлось слов для того, чтобы объяснить, что с его больным. Жестами, при свете уличного масляного фонаря, он показал, что у больного большой живот и что больной совсем помирает.

— Отец у него, — перевел Вахтер, — старик отец, водяная, наверно, вон как вздуло брюхо. Вздуло?

— О да, о да, — воскликнул кнот.

Вновь в эту ночь перешел Пирогов каменный мост через Эмбах вслед за кнотом, деревянные башмаки которого постукивали где-то впереди, в густом мраке осенней ночи. Ветер со свистом волочил по камням улицы мокрые, увядшие листья. Пьяный Цихориус ворчал сзади, спотыкался и проклинал свою окаянную старость. Доктор Вахтер поддерживал своего метра под руку и во всем обвинял Пирогова.

Так миновали мызу Ратхоф — темную и мрачную, от которой доносился лишь хриплый лай сторожевых псов, — и по грязи пошли в сторону от большой дороги, мимо каких-то хижин и сараев, потом в овражек, потом меж унылых, ободранных деревьев.

Всею грудью Пирогов дышал сырым осенним воздухом. С каждой минутой проходило опьянение, он чувствовал себя сильным и бодрым, несущимся словно на крыльях высоко под черными тучами.

— Да не отставайте же вы, — порою покрикивал он на своих учителей, — торопитесь, быстрее.

Наконец они дошли до низкой хижины, в которой горел слабый свет. Кнот отворил перед ними набухшую от дождя дверь, они очутились в темных сенях, потом отворилась вторая дверь, и убогая комната предстала перед ними: в глиняной плошке коптил фитиль неверным и блеклым светом, освещая двух старух, шепчущихся на лавке, прялку, кривого на один глаз кота, земляной пол и еще одну скамью, на которой стонало и содрогалось нечто, укрытое рядом, мохнатой шубой и еще какими-то тряпками.

— Где же больной? — спросил Пирогов у кнота, глядя на нечто, укрытое шубой. — Там, что ли?

Кнот наклонил лицо. Пирогов подошел к лавке и на мгновение удивился, увидев вместо ожидаемого старика с водянкой престестное лицо молодой женщины, искаженное страданием, покрытое потом, напряженное, с закушенной губой.

— Что с вами? — спросил он, сразу же беря тот тон, которым старый Мойер разговаривал с больными. — Ужели потерпеть нельзя? погоди, матушка, расскажи прежде, что болит...

Но женщина со стоном отворотила от него смуглое лицо. Она ничего не понимала по-русски. Беспомощно оглянувшись на своих стариков и понимая, что от них пользы вряд ли дождешься, он все-таки подозвал их к себе. Цихориус уже ничего не понимал и даже не сдвинулся с лавки, на которую повалился, а Вахтер подошел и помог ему посмотреть больную. Загадочные жесты кнота объяснились в ту секунду, когда больная легла на спину. Она рожала и не могла разродиться, страшные судороги сотрясали все ее тело. Пирогов по глазам Вахтера прочел приговор и понял, что им тут делать нечего.

Больную вновь свело, Вахтер отошел к Цихориусу и с видом ожидания сел на лавку. Пирогов растерянно смотрел на синие губы несчастной, на ее широко раскрытые, с умоляющим выражением глаза, на гладкий, мокрый от пота лоб. Она вскрикнула. Он вздрогнул и наклонился к ней. Губы ее беззвучно шевелились, она молилась или просила его о помощи — он не понимал.

Муж ее стоял рядом и тоже шевелил губами — повторял за нею то, что она говорила.

— О чем она? — спросил Пирогов.

— Так, — сказал кнот, — ничего.

Старухи с враждебной настороженностью следили за каждым движением Пирогова. Он еще раз посмотрел женщину, и с той решимостью, которая присуща юности, объявил Вахтеру свою мысль. Поначалу старый прозектор просто ничего не понял, а когда понял, то поглядел на Пирогова как на сумасшедшего.

— Не дожидаясь утра? — спросил он. — В этой тьме?

— Все равно она умрет, — молвил Пирогов, кося глазами, как всегда в минуты душевного волнения, — понимаете или нет — все равно она умрет...

— Но мало ли кто умрет, — сказал Вахтер, — медики не боги, а только медики...

— Сейчас спорить не время, — с враждебностью в голосе сказал Пирогов, — сейчас надобно делать дело.

И, оборотившись к мужу-кноту, велел ему доставать лошадь и, не медля ни секунды, мчаться к нему на квартиру с запиской для Ицоземцева. В записке он просил прислать ножи, корпию, водки, чтобы дать женщине выпить перед операцией. Кнот, совсем побелев, убежал, а Пирогов приказал Вахтеру немедленно привести в порядок самого себя и начальника своего, господина Цихориуса, сладко храпящего на лавке.

— Я думаю, господин Пирогов, — молвил Вахтер, — что вы слишком много на себя берете, решаясь так шутить. Боюсь, что вы зарежете ее и для вас выйдут неприятности...

— Я имею лекарское звание, — сказал в ответ Пирогов, — и я сам отвечаю за свои поступки. Кроме того, со мной вместе находятся два ученых — господин доктор Вахтер и господин профессор Цихориус, которые, как я надеюсь, не откажут мне в помощи...

— Но ведь я же только прозектор, — с тоскою в голосе сказал Вахтер, — я не умею резать живых людей, мои покойники не могут умереть под ножом, они для этого слишком мертвые...

Пирогов не ответил ему. Он уже принялся за Цихориуса — повел его во двор окачивать колодезной водой и тереть уши. Не более как через полчаса Цихориус выглядел совсем человеком, даже куда более причесанным, чем бывал обычно. Его только пробирал озноб, да и то недолго, до той минуты, пока Пирогов не сообщил ему о своей затее.

Против ожидания, Цихориус не возразил ни единым словом.

— Ну что ж, — сказал он, — была не была, как говорят у русских. Я вам постараюсь помочь, Пирогов, но только не руками,

опи у меня не столько тверды, чтобы им верить сразу две жизни.

Старух Пирогов выгнал вон из хижины, чтобы они не мешали делу своими причитаниями и оханиями, вытащил на середину комнаты тяжелый стол и налил для Цихориуса в кружку темного рейнвейна, чтобы он опохмелился.

Женщина несколько раз теряла сознание от страшных судорог. Глаза ее больше ничего не выражали, кроме страдания и страха. Вместе со стонами из уст ее вырывалось имя мужа.

— Он сейчас придет, матушка, — говорил Пирогов, — сейчас тут будет, и мы тебя вылечим, и ребенка твоего достанем, ты не горюй, ничего. Тебе скоро полегчает, вот ты увидишь...

Ему было жаль ее, сердце его болело при виде этих страданий, но он боялся жалеть, потому что знал — жалость не ведет к успеху оператора, и настраивал себя на жестокий лад. Для жестокости и холода в сердце он даже несколько раз прикрикнул на женщину, но она не обратила на это никакого внимания, ей было решительно не до того.

Наконец дверь распахнулась, и в комнату ввалился кнут с саквояжем, а за ним Иноземцев в своем крагепе, в перчатках, с пачкою книг.

— Я к вам, Пирогов, в помощники, — объявил он с порога, — мы еще к Мойеру заехали по пути, да у него сердечный припадок, он не встает, а другие никто не хотят, мы еще у двух были... Вот я книг захватил на всякий случай.

Это было неожиданно и необыкновенно приятно, то, что Иноземцев вдруг приехал. Пирогов косо и живо взглянул на него своими горячими глазами и коротко сказал:

— Я вам вот как благодарен, Федор Иванович. Привезли ли свечей?

— Привезли, — снимая плащ, сказал Иноземцев, — все привезли, что вы велели.

— Корпия дома нашлась?

— С избытком.

— Федор Иванович, — молвил вдруг Пирогов иным тоном, — и вы, господин профессор, и вы, господин доктор, я хочу вам только одно сказать, и весьма короткое: я все последствия на себя принимаю, какие бы они ни были.

Цихориус хотел возразить, но вместо этого длинно икнул.

— Федор Иванович, вы слышали? — спросил Пирогов.

— Да, слышал, — ответил Иноземцев.

Цихориус опять икнул.

— Вы поняли, — продолжал Пирогов, — что последствия лягут на меня, а не на вас, как бы тяжелы они ни были?

— Да, понял, — ответил Иноземцев и, пограв над камельком руки, принялся зажигать свечи и расставлять их возле стола.

Вместе с мужем и с Вахтером Пирогов перенес женщину на стол. Она еще раз потеряла сознание. Пока Иноземцев вливал ей в рот полкружки водки, Пирогов снял сюртук и повязался по животу полотенцем. Вахтер засучил ему рукава рубашки и принес в глиняной миске немного воды, чтобы он ополоснул грязные руки, хотя бы и без мыла, которого в хижине не оказалось. Кипота Цихориус выставил воп из комнаты, его лихорадило, из светлых глаз текли слезы.

Потом Цихориус, Вахтер и Иноземцев принялись вязать женщине руки и ноги по всем хирургическим правилам, чтобы, сохрани бог, не развязалась во время операции, а Пирогов прохаживался по комнате и возбуждал в себе жестокость и спокойствие — теперь ему было страшно и хотелось убежать от всего того ужаса, который ему предстоял. Как нарочно, в это время Иноземцев предложил резать вместо Пирогова на тот случай, если Пирогову не по себе. Пирогов ответил не сразу, в таком деле не могло быть места самолюбию или другим низким чувствам, и потому ему пришлось подумать, прежде чем ответить. Себе он верил больше, чем Иноземцеву, и ответил, что нет, резать будет он сам, самочувствие у него хорошее, лишь бы только она не развязалась и не вырвалась от боли.

— Ничего, мы будем держать крепко, — сказал Цихориус, — а советовать будем, когда вы спросите, не раньше, чтобы не мешать...

Медленно Пирогов подошел к столу и, стараясь не встретиться взглядом с широко открытыми глазами женщины, взял из рук Вахтера нож, только что направленный Иноземцевым. Попробовал нож об поготь, твердо закусил нижнюю губу, велел себе ничего не слышать — ни криков, ни стонов, ни воплей — и крепко приложил свою большую, горячую ладонь на живот женщины.

Все совершенно затихло вокруг него, а может быть не затихло — он только перестал слышать.

Легкий и острый нож скользнул по намеченной линии — сверху вниз — и замер. Откуда-то, точно из другого мира, протянулась рука Иноземцева с пучком корпии, коротким движением собрала алую кровь и исчезла. Пирогов сделал второе сечение и отдал нож, не глядя в тот, другой мир. Нож повис в воздухе, и другой мир вложил в полураскрытую руку второй нож, с выгнутом лезвием, в котором вспыхнули и погасли отражения огоньков свечей. Пирогов слегка нагнулся, чтобы четче и яснее

видеть среди потоков крови, и мысленно утверждал все то, что видел. «Все благополучно, — говорил он себе, — все так и должно быть, все хорошо». Второй нож не удержался в воздухе, не повис там, как первый, и Пирогов сразу же понял, что там, в другом мире, все не так благополучно и спокойно, как у него.

— Что? — спросил он, не поднимая головы.

— Уже все хорошо, — отозвался издалика Цихориус, — теперь все будет хорошо.

— Дайте же нож, — молвил он.

Нож немедленно появился в его руке.

— Что произошло? — спросил он негромко, голосом давая понять, что он должен знать происходящее у них.

Цихориус объяснил.

Пирогов отдал и этот нож.

С осторожной ловкостью он стал обеими ладонями слегка придавливать по животу так, чтобы тело матки появилось из разреза. И оно появилось. Ему дали еще нож.

— Приготовьтесь принять ребенка, — тихо сказал он, охваченный внезапным трепетом и волнением, почти священным чувством ожидания чуда. — Готовы ли вы?

— Да, готовы, — услышал он.

Сжав зубы до боли, железной рукою он сделал последнее сечение и бросил нож на пол. Теперь он видел ребенка, еще неподвижного, не родившегося, возникшего на свет без мук рождения. Быстрыми руками он обнажил его совершенно, отыскал пуповину, перерезал и отдал дитя не в тот мир, как отдавал все раньше, а в руки старику Цихориусу, бледному как полотно. Очищая матку, он слышал за своею спиной шлепки Цихориуса и понимал, что старик шлепает ребенка для того, чтобы тот закричал, но крика все не было и не было, и он уже сказал себе, что это его совершенно не касается, как крик вдруг раздался, и с этим криком вместе как бы соединились те разные миры, в которых были порознь он, Пирогов, и все его ассистенты. Все сделалось единым, все смешалось, и он стал не только слышать, но и видеть. Он увидел кровоточащую рану перед собою, уже почти зашитую, увидел свои руки, которые не узнал поначалу, так они проворно совершали свою отдельную от него работу, и когда работа эта совершилась до конца, он увидел лицо матери и ее глаза, широко открытые, потухшие, мертвые.

— Смерть? — спросил он, не найдя иного слова.

— Нет, — с возмущением ответил Вахтер, — она совсем жива, она хорошо жива...

И он заговорил по-немецки, так ему было проще в эти минуты.

Он еще не понимал, что операция кончена, когда Цихориус развязывал на нем полотенце, которым он был перепоясан, когда Вахтер принес ему миску с водой и когда вода вдруг сделалась совершенно красной, и понял только после того, как сел и услышал свой собственный голос:

— Ну как, матушка? Как ты себя нынче чувствуешь?

Она ничего ему не ответила, у нее не было сил, да она и не понимала его русской речи. Она смотрела на него внимательно и печально, долгим взглядом вконец замученного животного. Тогда он оборотился к ребенку, уже уложенному старухами в корзину: ребенок был крупный и крепкий, с головкой круглой, как бильярдный шар, и с розовым, загадочным лицом.

— Мальчик или девочка? — спросил Пирогов.

— Мальчик, — с разных сторон ответили ему.

БУЦЕФАЛ

Чистый, добропорядочный Дерпт, крошечная, но благоустроенная клиника на двадцать кроватей, порядочнейший и почтеннейший Мойер — все это осталось позади, и об этом не следовало больше ни думать, ни вспоминать. Что было, то сплыло, и, черт его подери, думать — только растравлять себя. Обо всем том надобно забыть, как о сладком и милом сне, все то надобно исключить, отбросить, вышвырнуть вон. Ничего не было и ничего нет, кроме шайки черниговцев, кроме воровства и лихоимства, кроме денного грабежа, кроме лихих госпитальных разбойничков и кроме того, что он нынче купил в Гостином.

Кстати, где покупка?

Усталыми шагами он походил по полупустым комнатам еще необжитой, пахнувшей известкой и рогожами квартиры. Все стояло на своих местах, и все имело холостяцкий, неуютный вид. Впрочем, нет штор, может быть, они спасут дело.

В прихожей на грязном некрашеном сундуке спал животом впиз Прохор. Гитара валялась на полу. Возле гитары сидел чужой облезлый кот с драным ухом и поглядывал по сторонам с враждебной небрежностью.

Тут же на полу возле вешалки валялась покупка, выпала, наверное, из кармана шинели, когда он раздевался.

Неужели придется действовать ею?

Неужели нет иного выхода?

На мгновение ему стало грустно, но он пересилил себя, поднял нагайку с пола, натянул сыромятный ремешок на запястье, косо огляделся и, выбрав для упражнений собственную шинель, рубанул по воздуху с оттяжкой, как рубят саблей. С въедливым свистом нагайка перепоясала шинель. В ту же секунду чужой драный кот, издав шипяще-мяукающий звук, перемахнул прихожую и скрылся в коридоре. Прохор встал на четвереньки и

замотал сонной головой. Потом увидел Пирогова с казачьей нагайкой на руке и замер.

— Кот тут напугался, — сказал Пирогов, — думал, это я для него нагайку припас, а это я для людей.

Теперь Прохор уже сидел на своем сундуке: приятное пробуждение, нечего сказать; ему казалось, что Пирогов намекает и грозитя.

— Да и не для тебя это, — с досадой и скукой в голосе промолвил Пирогов и отворотился. — Иди, погрей ужинать, я есть хочу. И руки вымой, глядеть противно...

Пощелкивая по стене нагайкою, он возвратился в комнаты и еще походил без цели от окна к окну, поглядел на смутные очертания домов белой ночью. Все сделалось совсем отвратительно: этот рабий страх в выражении Прохора при виде нагайки. Нагайки боится, а таскает из кармана шинели медяки и при этом врет, что «сами-с потеряли, а я виноват». Вот так и падо ходить с нагайкой по улицам, по квартире, по клиникам, по аудиториям. Мало ли кто да почему вор и подлец. У всякого подлеца есть для подлостей свои причины: один — из страха, другой — из почтения, третий старается для сирот. Нет-с, благодарим, предостаточно!

Он сел в кресла и сощурился на огонек свечи все с той же пагайкой в руке. Надо бы подумать, да времени нет, надо бы почитать, да нечего — господа академики сочиняют сочинения через пень колоду, надо бы письма написать, да о чем?

Рассеянным взглядом он скользнул по откинутой доске бюро, сплошь заваленной корреспонденциями, взял наугад письмо, сорвал печать и прочитал. Тоже нагайкой надо бить, иного выхода нет, иначе разум не вгонишь в эти головы!

Особая комиссия академии приглашает профессора Пирогова прибыть на заседание, имеющее быть по поводу слушания отчета профессора Груби о признании им машины иностранца Галлермана для скорого и успешного лечения заикающихся особ обоих полов.

Лечение заик машинами — это, конечно, то, что нравится господам черниговцам не в пример его реальному направлению, его эксперименту, его ненависти к любомудрию господ медиков из натурфилософской школы. Шваль! Щека его задергалась, он вскочил и вновь начал мерять кабинет шагами из угла в угол. Ничего, поглядим! Ежели государь по склонностям своего ума стал ярим приверженцем атомистической методы своего лейб-медика шарлатана, то ужели все государство должно лишиться реального направления в науке, кинуться в китайщину, в Азию, в мистические бредни, потерять то, что такою кровью далось

России при Петре? Ну, хорошо, ну, Ганеманн, ну, Бруссе. Допустим! Но ведь насчет живой силы — это же вздор, и вздор постыдный. Кто поверит, что в результате длительного растирания цинковой мази в ступке рождает мазь особую животворную силу, которая и есть лекарство, заключенное, как в скорлупе, в мази.

И этому учат в стенах Военно-медицинской академии, и как не учить, когда сам император приказал, и не только приказал, но и живейшим образом продолжает интересоваться ходом занятий, особо благоволит к мандтовским студентам, будущим атомистикам, покупает для их занятий вздорные машины, вроде электрообливательного шкафа, и сулит еще, что всех резак из русской армии разгонит и прикажет лечить солдат только атомистической медициной.

Посмотреть бы на ихний атомистический полевой госпиталь после хорошего сражения, как они там будут ковыряться!

Ах, да все это разве удивительно? Все это иначе и быть не может, а вот откуда такой подлец студент берется, вот что интересно. Откуда дальность такая в прицеле и точность? Ведь эта дюжина студентов, которых Мандт выбрал и которые к нему пошли без всякого сопротивления, что они думают? Ужели истинно веруют? Нет, вздор, ни в бога, ни в черта они не веруют, а почитают в особом смысле своего государя, в простейшем смысле почитают: государь — атомистик, ну, и мы станем атомистиками, все сытее проживем, на веселых ногах, сладко есть, мягко спать...

Опять передернуло щеку. Он швырнул нагайку на столик и закричал не своим голосом в коридор:

— Дашь ты мне ужинать, Прохор, или нет?

Ужин был отвратительный: пожарская котлета, пахнувшая сальной свечкой, соленый огурец, мятый и желтый, и еще какая-то дрянь в миске — все из кухмистерской. Тем не менее он съел все и выпил еще два стакана жидкого чаю, знаменитого прохоровского, пахнувшего веником. Пока он ел и пил, Прохор стоял за его спиной, как настоящий лакей, помахивал салфеткой и вздыхал.

— Ну чего стоишь, мучитель? — сказал Пирогов. — Собирай со стола.

Прохор вздохнул еще, начал собирать и сразу же разбил две тарелки. Разбил, мрачно поглядел на черепки и промолвил:

— Оно к счастью, Николай Иванович.

Пирогов молчал, отворотившись к окну. Так он простоял долго, не меньше получаса. Потом оделся, велел Прохору не отлучаться и, сунув нагайку в карман, вышел из дому. Белая, тихая майская ночь стояла над Петербургом. По зеленому небу плыли легкие рваные облака. С моря тянуло прохладным ветер-

ком. На Неве, на баржах, горели костры, там мужики пьяными голосами тянули длинную и унылую песню, и было видно, как один мужик, длинный и голенастый, в широкой рубахе, один на своей барке медленно, как привидение, вытанцовывал колена: выбросит ногу и замрет, присядет и замрет, взмахнет руками и застынет. За спиной мужика горел костер, и на темную воду Невы ложились от пляшущего длинные и нелепые тени.

Пирогов постоял, посмотрел. Тяжелая тоска все сильнее и сильнее давила его сердце. Куда идти? С кем говорить? Кому жаловаться? Кому он нужен со своими бреднями, с горячей своей головой, с тиком, с бессонницей, с нелепыми разговорами о науке?

Он оглянулся: мужик все еще плясал на барке — одинокий, горький и пьяный, в своей домотканой посконной рубахе без пояса, один-одишешенек среди каменных громад Петербурга, потерянный в огромном городе, дикий, пьяный...

Может быть, напиться, опьянеть и пойти к мужику на барку?

Но он не умел напиваться.

За всю свою жизнь он один только раз был немного навеселе еще в Дерпте у Мойеров, и то ночью его тошнило, и, как ему казалось, он чуть не умер. Нет, он не настолько здоров, чтобы производить такие опыты с собою. А тоска — что ж! Она все равно никогда не пройдет, и есть от нее только одно спасение: работа. И работа не та, чтобы биться с черниговцами, или с во-рами, или с мздоимцами и казнокрадами, а работа своя, потаенная, главная, та работа, которую делал он бессонными ночами в Дерпте, и в Париже, и в Берлине — мучительный, непосильный сизифов труд, — искать и верить, что найдешь, но не находить, надеяться и ликовать, но разочаровываться, падать духом и вновь воскресать и вновь рушиться, для того чтобы чувствовать себя ничтожным, неразумным, незнающим перед глыбою неразгаданного, и постигать, разгадывать, наблюдать, и если не разгадать до конца, то хоть верить, что разгадаешь.

В юности он выдумывал правила для того, чтобы знать, как жить, и слепо им следовал до тех пор, пока сама жизнь не подсказывала ему новые, зачастую еще более суровые, чем те, которые он исповедовал раньше. До сих пор у него осталась эта манера. При въезде в Петербург, когда назначен он был в академию, его встретил председатель Петербургского общества врачей и вручил ему билет почетного члена Общества — невиданная честь для тридцатилетнего ученого. Принимая билет из рук убежденного сединой председателя, он почувствовал вдруг в себе беса гордыни и тут же сложил для себя заповедь — очень жестокую при той силе характера, которой наградила его природа.

Заповедь была о том, что не следует гордиться и радоваться в случаях вот такого успеха, что и чины, и ленты, и звезды — все это суета сует и всяческая суета, все это преходяще и все это никак, даже в самой малой мере, с истинным служением науке не связано, чему доказательство не только один Мандт, но и Шлегель, и Виллие, и многие другие славные сыны отечества, деятельность которых принесла России куда более вреда, нежели пользы.

Заповедь эта была куда как мучительна в выполнении, но он следовал ей с вечным своим железным упрямством, с той твердостью, которая приносила ему столько бед, и не отступал от этой заповеди ни на йоту: дипломы швырял в ящик бюро на съедение мышам. Адреса совал куда угодно, даже не прочитав их толком. Письменные благодарности больных, написанные в торжественно-слезливом тоне (чем я был и чем стал), не прочитывал и интересовался только смыслом: помогло или нет. Царские награды за научные работы без стыда и совести продавал тотчас же по получении академическому аптекарю, занимавшемуся еще и ростовщичеством. И продавал не потому, что так уж смертельно нужны были деньги, а только лишь по той причине, что как-то однажды, бессонной ночью, представил себе будущих потомков, которые через много лет в некоей зальце (он представил себе именно зальцу) рекомендуют вниманию гостей папенькины регалии, царские подарки, дипломы и свидетельства. Это видение показалось ему настолько отвратительным, что он тотчас же составил себе короткую заповедь: «К аптекарю!» — и неуклонно начал ей следовать.

Ни мода — а на него вдруг сделалась в Петербурге страшная мода, — ни слава, которая росла с каждым днем и часом, ни деньги, которые сами шли к нему, ни премии за научные работы — ничто не могло поколебать этот характер. Все, что может сделать в России честный человек, говаривал он своим близким друзьям, это умереть не подлецом. Большого он о себе и не думал, а если вдруг ненароком и случалось ему подумать большее, то он жесточайшим образом расправлялся с собой тотчас, выставляя против себя свою же заповедь, направленную на подавление и уничтожение того, что он называл гадкою суетностью — главным врагом полезной человеческой деятельности.

Кто не бывал в Петербурге белою майскою ночью, тот и представить себе не может, как бы ему ни пересказывали, что за вид у гранитных набережных, у воды, у мостов под странно зеленеющим небом, с какою особенной гулкостью стучат башмаки по тротуарным каменным плитам над неподвижною гладью

Невы, как спят облицованные финским мрамором дворцы, как едва-едва шелестит Летний сад молодою листвою за своей решеткой...

Все тихо, все спокойно.

Зеленое небо застыло над неподвижной водой.

И можно подумать, что теперь так будет всегда, что это такой особый сказочный мир, заснувшее царство с зеленым небом, с тонкою иглою, темнеющею над крепостью, с гвардейцами в киверах, застывшими у дворца, с извозчиком, заснувшим на своей гитаре, со спящей его клячей, с мертвым блеском зеркальных стекол, за которыми не видно ни единого огня, — так должно было спать заколдованное царство в знаменитой сказке.

Но что это?

Вдруг как бы искра вспыхнула на штыке у гвардейца, вспыхнула и погасла, а в воздухе уже что-то заиграло, засветилось, заблестало.

Медленно он поднял кверху усталую голову и даже оторопел: по еще зеленому, но уже с золотом небу плыли белые, круглые, сливочные облака, такие аккуратные, что он на мгновение умилился.

Теперь с каждой секундой все менялось вокруг.

Шниль, который только что темнел над Петропавловским собором, теперь разом весь засветился, засиял, заблестел и точно зажег дома с этой стороны. Вот уже багрово-золотистым пламенем запылали окна особняков, вспыхнула медь на киверах заколдованных стражей, заиграли пламенем штыки и занялась до толе холодная и неподвижная певская вода.

Ночь кончилась, пришло время наступать утру, тому утру, которого все равно не поймет тот, кто не бывал в Петербурге майскою порою...

Это тоже было не так просто — этот Петербург с его белыми почками, с его туманчиками, с его зимою, похожей на осень, и с осенью, похожей на сам Дантов ад...

Кроме того, он слишком устал. Теперь каждый день часами дергало щеку, часто рябило в глазах, кололо в боку. Снились дурные, тяжелые сны — кошмары, или он подолгу не мог уснуть, переворачивал горячие, то слишком мягкие, то слишком жесткие подушки, пил воду, недавно даже, против всех правил, ночью выкурил сигарку...

И сейчас, как все эти ночи, совсем не хотелось спать.

Он медленно шел над Невою и думал: что если сегодня совсем не ложиться; погулять еще, потом отправиться в академию, привести в порядок записки — кстати, они там в столе, —

сделать визитации в госпитале, одним словом, постараться так устать, чтобы на завтра заснуть и проспать всю ночь до утра.

На ялике он повеселел. Это было истинное удовольствие — переехать на лодке в такой час через Неву. Яличник был знакомый, по имени Яшка, забияка, и хвастун, и враль, но из таких, которых слушаешь не без интереса. Загребая веслом, он соврал Пирогову два события — пожар с двумя жертвами, — будто до смерти сгорела старуха закладчица Фунтиха и ее кошка, обе в сундуке.

— Почему же в сундуке? — поинтересовался Пирогов.

— А там ейный капитал содержался, — сильно дернув носом, сообщил Яшка, — она, дурная старуха, возьми и заберись туда. Ну, и провалилась со второго этажа в первый.

— А кошка?

— Кошка — дело известное, за хозяйкой.

Второе происшествие была утопленница.

Пирогов выслушал рассказ про утопленницу молча. Тогда Яшка добавил, что утопленница из графинь. Пирогов опять промолчал. Яшка рассердился и сказал:

— Самую вытащили, а ребеночек потоп.

— Какой еще ребеночек? — спросил, не выдержав, Пирогов.

— Известно какой, — грозно сказал Яшка, подтягивая лодку к берегу, — уж не свой. Краденый.

Привратник из солдат инвалидной команды спал в своей конуре. Ворота были раскрыты настежь. Слева, из-за угла госпитальной оранжерейки, доносились голоса людей, грохот падающих досок, грубая ругань.

Не торопясь Пирогов пошел к оранжерейке, обогнул ее и остановился в начале небольшого двора перед вещевым складом госпиталя, тяжелые, кованые ворота которого были распахнуты настежь. Перед воротами склада стояли две подводы, запряженные сытыми английскими першеронами рыжей масти. Одна подвода была доверху нагружена госпитальными гробами — Пирогов сразу узнал в них госпитальные по характерному лаку, которым они были покрыты. Другая же подвода только еще грузилась двумя мужиками в кафтанах, которые кидали гробы, как дрова, и при этом ругали друг друга и кричали на какого-то Конопа, чтобы Конон работал исправнее и веселее.

Во всей этой деятельности не было бы ничего удивительного, не заметь Пирогов сразу же одной подробности, и вот какой: в то время когда мужики в кафтанах грузили гробы на подводы, Конон — надзиратель вещевого склада — таскал в склад из-за подвод сваленные там гробы, и таскал как-то странно — по два гроба сразу. Госпитальные гробы были тяжелые, Пирогов это

знал хорошо, а Конон, которого Пирогов лечил от чирьев, особой силой не отличался, — и вдруг такой геркулес — таскает гробы как перышки...

Довольно долго Пирогов стоял, не двигаясь в своей засаде — за грудой ящиков для земли, выброшенных садовником из оранжерей, — и глядел, стараясь разобраться в той загадочной картинке, которая была перед ним. Наконец стоять ему надоело, и он вышел из своего убежища. Мужики уже закрывали свою поклажу рогожами и стягивали веревками, а Конон все еще таскал гробы в склад. Теперь он их просто кидал, предварительно раскачав. И только тут Пирогов догадался, в чем дело.

До сих пор никем не замеченный, он спокойно подошел к тому из мужиков, который был повыше ростом, и негромко приказал ему скидывать поклажу назад. Мужик тяжело повернулся к Пирогову мохнатым лицом и отступил на шаг назад, второй мужик, поменьше и помоложе, сразу же повалился в ноги, а черный, цыганского вида Конон уронил гроб на землю и стал пятиться к своему складу.

Ни Конон, ни мужики не посмели ничего сказать. Неверными руками они втроем распутали веревки, сбросили рогожи и, опасливо поглядывая на Пирогова, принялись снимать гробы на землю.

Тяжелым взглядом косых глаз он следил за каждым их движением. Лицо его было бледно, он покусывал нижнюю губу и прохаживался — несколько шагов вперед, несколько назад.

— Теперь прочь отсюда, — сказал он, когда мужики кончили свое дело, — да живо убирайтесь...

Они не заставили себя упрашивать. Мохнатый одним движением вспрыгнул на подводу, закрутил над головой кнутом, и могучие першероны тотчас же понесли к воротам. Вторая подвода вылетела вслед за первой, и еще долго в свежем и тихом утреннем воздухе слышался грохот кованых колес по нижегородской мостовой.

Теперь Пирогов остался один на один с Кононом в пустом дворике среди гробов. Только сейчас он увидел, какое серое лицо у Конона и как все лицо его покрылось потом — отчего? От работы или от страха?

— Ваше превосходительство, — давящимся громким шепотом воскликнул он, — ваше превосходительство, отец-благодетель, не погубите...

И, рухнув на колени, пополз к Пирогову на коленях, упираясь одной рукой в сваленные гробы, а другую протягивая к нему и бормоча при этом слова о семье и малых детях, о том, что он век будет бога молить.

— Таскай гробы назад в кладовую! — дребезжащим голосом крикнул Пирогов.

И Конон стал таскать. Это продолжалось долго, очень долго. Все лицо, и рубаша на груди, и мундир на плечах Конона — все взмокло. Пирогов видел, как подгибаются его ноги, слышал, как он дышит. Пожалуй, он может помереть. И Пирогов крикнул опять своим дребезжащим голосом:

— Отдохни!

Конон не понял. Он глядел на Пирогова, как собака на хозяина, который хочет ее ударить.

— Отдыхай! — крикнул Пирогов.

— Слушаюсь, — одними губами сказал Конон.

— Сядь, — еще закричал Пирогов. — Сиди и дыши. Сдохнешь. О смерти надо думать, вор.

По мере того как он кричал, ему становилось легче. Он кричал долго и с наслаждением. Кричал, что все воры. Что он все знает. Что его не проведешь. Что он тоже стреляный воробей. Одним словом, кричал все то, что кричат вспыльчивые, честные и порядочные люди в таких случаях. И чем больше Пирогов кричал, тем яснее Конон видел, что профессор отходит и что теперь можно. Что именно можно, он еще толком не знал и ловил, готовился. А когда Пирогов закричал, что у него, у Конона, порок сердца, Конон понял, что «оно» тут, подождал для порядку и пошел жаловаться как раз на этот самый порядок, который и довел его до нехороших дел. Пирогов чувствовал, что Конон хитрит ему и врет, но свою ненависть уже выкричал и сейчас испытывал только чувство отвращения, смешанного с жалостью, то чувство, которое вызывали в нем притворщики и лгуны.

— Ладно, — сказал он, стараясь не глядеть на Конона и не видеть его лживо ласковых и испуганных глаз, — сложи все гробы и пойдешь со мной. И не торопись, а то...

Он не кончил фразу и отворотился. Ему вдруг захотелось ударить Конона в лицо.

— Теперь запири на замок, — произнес он, когда Конон кончил, — и иди за мной.

Замок был старинный, со звоном и с секретными пружинами, и было смешно видеть, как вор запирает такой замок.

Теперь Конон шел впереди, а Пирогов сзади, как конвойный при арестанте. Он вел его к себе в кабинет, чтобы там допросить как следует. Кабинет был при кафедре госпитальной хирургии, тихий большой кабинет, в который никто не входил. Тут можно было спокойно поговорить с Кононом, но Пирогов упустил из виду одно обстоятельство: то, что время раннее и сторожей еще не найти — все они спят по своим тайнственным каморкам.

Поискав без всякого успеха ключ, он вновь вышел со своим арестантом во двор и, приказав ему сесть на кучу чурбаков, приступил к допросу. Все это ему уже порядком надсело, но раз начал, то уж следовало и кончить — допросить и разобраться в темных Копоновых делишках.

Конон же впезапно обнаглел и сказал, что обмен гробов он произвел действительно, но что обмен этот послужил только лишь к пользе госпитальной, потому что нынче гробов не хватает и приходится порой хоронить покойников вовсе без гробов, а так все будут с гробами, разве что эти, сменешные, маленько похуже.

— Перекрестись, — молвил Пирогов.

Конон размашисто и истово перекрестился.

— Забожись, — велел Пирогов.

Конон начал длинно божиться, но Пирогов прервал его.

— Теперь я вижу, каков ты есть человек, — промолвил он.

Больше здесь на чурбаках разговаривать было невозможно. Академия просыпалась. Двое казеннокоштных студентов уже остановились поодаль, наблюдая за своим профессором. Прошли солдаты караульной роты с инвалидом-прапорщиком. Проковылял на своей деревяшке пьяница подлекарь и, завидев Пирогова в столь неурочный час, выпучил глаза.

— Пойдем, — опять приказал Пирогов и повел Конона в черную анатомию.

Чем ближе подходили они к подвалу, тем чаще оглядывался Конон на Пирогова. С недоумением заметил Пирогов, что цыганское Кононово лицо совсем вдруг позеленело.

Вошли в анатомию. Пирогов толкнул дверь своего кабинета — она была заперта. Он кликнул сторожа. Никто не отозвался. Здесь было полутемно и сыро. Вопи он не замечал — привык к пей.

— Ефимыч! — во второй раз крикнул Пирогов.

Никакого ответа.

Тогда он зажег спичку и отворил незапертую дверь в самую анатомию. Конон все еще стоял в сепях. При мигающем свете спички Пирогов разыскал на одном из трупов оставленную здесь с вечера сальную свечку, зажег ее и пристроил в подсвечник возле Тишки, как называли студенты наполовину отпрепарированного покойника, с осени прибывшего в анатомию.

— Иди сюда, — приказал Пирогов Конону, но тот не шел и молчал.

Ставни в полуподвале запирались по настоянию Шлегеля, который говорил, что вид изрезанных покойников в черной пироговской даже его выбивает из колеи, и потому тут и днем было

совсем темно. От Тишкиной свечки Пирогов зажег еще одну, припрятанную студентами возле другого трупа, и теперь черная осветилась во всем своем безобразии. Конон все не шел.

— Да какого же ты черта! — осердившись, крикнул Пирогов. — Долго я тебя буду ждать?..

— Ваше превосходительство, — донеслось из сеней, — отец-благодетель...

Привыкнув к своей анатомии, Пирогов опять не понял, чего боится Конон, и отнес его страх к тому, что он, видно, ждет побоев в этой темной комнате.

— Не буду я тебя колотить, — с раздражением и брезгливостью в голосе сказал он, — иди, негодяй, сюда...

Конон робко вошел, и смутная тень его шевельнулась в дверях анатомии. Пирогов велел ему подойти ближе.

— Увольте, — слышался сиплый ответ.

Сальные свечи наконец разгорелись. Теперь Пирогов отчетливо видел Конона, с ужасом поглядывающего по сторонам — на столы с трупами, на отпрепарированные части тел, лежащие в бадьях и ушатах, на Тишку, на Гордея Гордеевича и на прочих. Все существо Конона выражало ужас, да такой, которого, пожалуй, Пирогов в жизни не видел: втянутая в плечи голова, сжатые зубы, трясущиеся руки — все вместе представляло собою зрелище столь страшное и отвратительное, что Пирогову захотелось плюнуть. Теперь он понимал, чем можно в весьма короткий срок выпытать из Конона всю правду.

— Ты зачем у них гробы украл? — спросил он и сделал широкий жест, как бы приглашая Конона взглянуть на тех, у кого он украл гробы.

Но Конон приглашения не принял, а только еще сильнее втянул голову в плечи и весь съежился, чтобы занимать как можно меньше места.

«Сейчас все скажет, — между тем думал Пирогов, — это для него пострашнее дыбы или колеса».

— Кто тебя научил мертвецов обкрадывать? — спросил он. — Говори!

— Помилуйте, ваше...

— Говори сейчас же, — дребезжащим и оттого особенно страшным голосом крикнул Пирогов, — говори, негодяй, с кем ты в сговоре!..

Бог знает, сколько времени продолжался бы этот допрос, не проснись в эту пору Ефимыч, солдат инвалидной команды и старший сторож черной анатомии. Проснувшись в своей клетушке и вылезши из-под шинели, глуховатый Ефимыч, как был

в белье, пошел во двор, по по дороге заметил в анатомии свет и тихонько вошел за спиною Конона, чтобы поглядеть, кто такой казенные свечи жжет. Не заметив поначалу Пирогова, он, подкравшись к Конону, цапнул его за полу и закричал своим козлиным голосом:

— Ты что тут, лихой человек, делаешь? Ты что...

Но фразу свою Ефимыч не кончил. Увидев перед собой уса- того покойника в саване, Конон слабо охнул и повалился на гряз- ный пол черной анатомии, закатив глаза, и потерял сознание. Пирогов бросился к нему. Перепуганный Ефимыч, считавший себя тоже медиком, то прыскал Конону в лицо водой, то совето- вал пустить ему кровь, то длинно объяснял, почему он здесь появился, что есть-де такие самостоятельные из себя господа сту- денты, которые поровят в черную проскочить хоть утром, хоть ночью, хоть вечером, копаются в чужом покойнике, крошат его как хотят, а потом на него, на Ефимыча, жалобы.

Через несколько минут Конон пришел в себя, не без труда поднялся, сел на подставленную Ефимычем табуретку и, пере- крестившись, повинился во всем. То, что он говорил, было так дико и невероятно, что Пирогов прежде всего услал воп Ефи- мыча, чтобы тот не разболтал до времени, и только тогда стал слушать все по порядку.

Главным вором был, по словам Конона, начальник военно- сухопутного госпиталя лекарь Лоссиевский, прямой начальник Пирогова в госпитале. Всем воровством в госпитале управлял он, и все барыши клал себе в карман тоже он, падеяя помощников от своих щедрот.

Госпитальные гробы он вот уже сколько лет сбывает на сто- рону, а взамен получает гробы из таких досок, что покойник почти никогда до могилы не добирается, пару раз выпадет сквозь днище. Саваны его благородие тоже обменивает на рогожи. Но от этого от всего доходишко небольшой. Главный же доход, на котором господин Лоссиевский и строит дома, есть со списков.

— С каких списков? — не понял Пирогов.

Конон попил воды из кружечки, обтер ладонью рот, поко- сился на Тишку, который казался ему почему-то самым опасным из здешних покойников, и, слегка кивнув головою на столы с трупами, тихо, почти шепотом сказал:

— Они-с, ваше превосходительство, у нас еще кушают-с.

На секунду Пирогову показалось, что Конон рехнулся.

— Ты что, в своем ли уме? — спросил он.

— Кушают-с, кушают-с, — быстрым шепотом продолжал Ко- нон, — великий грех, ваше превосходительство, но кушают-с и еще... винцо выпивают-с. По спискам то есть.

Он несколько раз мелко перекрестился, еще взглянул на Тишку и торопясь стал объяснять, как это все проделывает его высокоблагородие господин Лоссиевский: в тех списках, которые идут к смотрителю на выписку харчей, количество больных никогда не уменьшается. Никто не умирает, никто не выписывается. И все это проделать очень просто: надо только вести больным не поименные списки, а покроватные. Фамилий больных нет вовсе, а есть только номера кроватей. Иногда господин Лоссиевский забирает списки к себе в кабинет и там назначает слабые порции: кому вино — две бутылки, кому в постный день молоко, кому что. А эти слабые либо два года назад померли, либо выписались, либо и номера такого в заводе нет.

— Ловко, — почти с восхищением сказал Пирогов и вспомнил, как сам выписывал своим больным слабые порции на скорбных листах.

Конон объяснил, что эти порции никогда до солдат не доходят.

— Но ведь я-то спрашивал у них, ели они или не ели, — воскликнул Пирогов, — не было же такого слова, чтобы не ели. Все ели, благодарим покорно.

— Эх, ваше превосходительство, — искренне и с жалостью в голосе сказал Конон, — разве ж вы не знаете, почему попоче ходит солдатское «благодарим покорно»? Я, что ль, вам расскажу?

И он стал говорить дальше о госпитальных делах, а Пирогов слушал его и молчал. Больше он ни о чем не спрашивал. Ну хорошо, в аптеку посылают фальшивые аптечные требования, лекарства потом покупает обратно со скидкой тот же аптекарь... солому в матрацах не меняют годами... продают, на прошлом месяце продали больничному подрядчику новых одеял две соти штук, получили в обмен лохмотья, скоро их вынесут на свет божий, объявят траченными молю... Все то же.

Чем дальше он слушал, тем страшнее делалось ему: все разграбят, все растащат, все разворуют по своим берлогам, на пропитание своих животишек, для того чтобы сладко есть, мягко спать, ходить на веселых ногах. Не только на треклятой солдатской жизни, но и на болезни солдата, на самой смерти его измыслили способы тянуть, тащить и рвать. Наука. Основы. Натурфилософия. Конференция. Академики. А солдат на все про все рывкает «благодарим покорно» — вот где наука наук, вот где основа основ.

— Ладно, Конон, иди, — сказал он, не слушая больше, — иди, ты мне не нужен.

Конон взмолился о чем-то. Он смотрел на него равнодушными глазами, думая о своем. Так же не слушая, обещал. Только одного хотелось ему сейчас: помолчать.

Конон ушел. Совсем тихо сделалось в черной. Только свечи потрескивали, две свечи на столах, да мышь точила в подполье. Не отрываясь, смотрел он на Тишкину свечу; вот совсем она оплыла и наклонилась. Надо поправить. Шаркая подошвами башмаков, он подошел к столу, поправил свечу пальцами и задумался над тем, что студенты называли Тишкою. Хорошо, весело, привольно прожил Тишка свою жизнь. И печальная солдатская жизнь представилась его взору до той самой минуты, пока не попал Тишка в сухопутный. Вот и скорбный лист его, грязный и замятый, с вписанными слабыми порциями. Он же и писал — Пирогов. Випа красного стакан. Кашу с чухонским маслом. Чаю сладкого сколько пожелает. Что ж, поел бы Тишка и каши с чухонским маслом, и чаю бы выпил с сахаром, не все же солдату хлебать баланду со сметками, да и винца бы пригубил. Тоже небось рявкнул: «Благодарим покорно, ваше превосходительство, много довольны...»

Да-с, благодарим покорно.

Много надо знать и многого надо хлебнуть, прежде чем поверить этому «благодарим покорно, много довольны». Нескоро скажет битый-перебитый, поротый-перепоротый истинную свою претензию, потому что, не ровен час, выпорют еще — недорого возьмут. Так уж лучше потихоньку да полегоньку, бочком да пестушком, — они, верхние, главные, отцы-командиры, от малого унтера до самого царя, более всего любят, чтобы благодарили покорно и были много довольны. А уж как лихо, да бодро, да весело научился русский народ благодарить покорно, так и рвет, так и палит, точно из пушек; умирать будет, а уж из последних сил оторвет солдат попу:

— Благодарим покорно, много довольны вашею милостью.

Так и Тишка небось оторвал на смертном своем одре из перепрелой соломы, причастившись святых тайн, госпитальному попу, обжоре и распутнику:

— ...покорно... милостью.

И остался один отправляться в дальний путь из мозглой вонючей палаты, от печального своего житьишка, от палаток, шпицрутенгов и муштры, от отцов-командиров...

Что он? Как он?

Уснул или мучился? Боялся или нет? А может быть, выкатилась из глаза одна-единственная мутная солдатская слеза, да и пропала в усах, за все невзгоды и обиды, за все страшное солдатское одиночество, за розги, за муштру, за самое собачью смерть

на вонючей соломе, за ту жизнь, в которой нечего вспоминать, не на что порадоваться.

И вот он в стране, в которой несть ни печали, ни воздыхания, а здесь лежат жалкие останки, вздор, чепуха, но тем не менее жизнь его продолжается: до сих пор пишет на Тишку господин Лоссиевский то красное вино, которое так бы пригодилось Тишке при жизни и которого он так и не отведал, до сих пор пьет Тишка чай с сахаром сколько захочет, ест жирную кашу с чухонским маслом.

Вечная жизнь.

Нет-с, извините, благодарим покорно, много довольны вашей милостью.

От усталости у него кружилась голова, и, кроме того, мучила жажда — хотелось пить. Возле черной на куске гранита от постройки сидел Ефимыч, пил чай и закусывал казенным липким хлебом, круто посыпанным серой солью. Пирогов с завистью на него взглянул. Тот перехватил жадный взгляд своего профессора, ополоснул кружку и принес еще хлеба, соли, кипятку в щербатом глиняном горшке и щепотку чаю.

— Ах, и спасибо тебе, Ефимыч, — сказал Пирогов, припимая из рук сторожа огромную кружку.

Старик уступил ему свое место, он сел и с наслаждением начал отхлебывать чай, сдувая чайники, плавающие на поверхности.

— Вы бы хлебца, ваше превосходительство, — молвил Ефимыч и подал Пирогову толсто отрезанный ломоть, — все не пустой чай.

Пирогов взял и хлеба. Солнце взошло уже высоко и хорошо припекало, в шинели теперь было жарко, да и чай как следует прогревал изнутри.

— Чегой-то у вас из кармана торчит? — спросил вдруг Ефимыч.

Пирогов оглядел себя. Из наружного кармана шинели торчала заячья лапка — рукоятка казацкой пагайки, о которой он совсем забыл. На мгновение ему стало смешно — справишься тут с одной нагайкой, как же!

— Это, брат Ефимыч, у меня нагайка, — сказал он, — для хороших людей припасена.

Ефимыч усмехнулся и ничего не ответил. Он слишком хорошо знал Пирогова, для того чтобы понять — шутит господин профессор.

От горячего чаю и от хлеба с солью Пирогову стало как-то легче. Голова больше не кружилась, мысли сделались поспокойнее, теперь он смог приказать самому себе — ничему больше не удивляться и ничем не возмущаться. Да и тихий Ефимыч со сво-

ими старыми почтительно-умными глазами действовал на него успокаивающе. Но все-таки он ничего не сказал ему, чтобы не оказаться смешным со своими открытиями, велел открыть кабинет, вытянулся на кушетке и заснул в одно мгновение тяжелым сном совершенно измученного человека.

В первом часу дня ему сказали, что Буцефал прибыл и находится в своем кабинете в госпитале. Пирогов только что кончил визитации. Студенты пятого курса густо гудели в коридоре, обсуждая то, что только что слышали от него; он видел слезы на глазах у некоторых, видел, как горят лица у других, — такие лекции доводилось слышать не часто даже от Пирогова. Для того чтобы не записывали, он говорил не в аудитории и не в анатомическом, а здесь же в госпитале, над постелью солдата-улана, потерявшим голосом бредившего насчет каких-то пропавших сапог. Улан был когда-то молодец молодцом, но полковой лекарь залечил его до положения совершенно безнадёжного, и теперь улан помирал в сухопутном так же, как помер в свое время Тишка, ставший отныне для Пирогова символом солдатской судьбы. И речь свою он неожиданно для себя и для студентов посвятил пынче этой солдатской судьбе и роли военного медика в облегчении страданий русского воина, положившего живот свой за честь и славу русского оружия. Никаких потрясений основ в его речи, разумеется, не было, но картина, нарисованная им, выглядела так страшно, что многие, слушая его, плакали, многие давали себе клятвы не забыть те слова, что слушали сейчас, многие с состраданием и скорбью смотрели на улана — затем, чтобы на всю жизнь запомнить его, унести это лицо с собой, не забыть никогда.

Пирогов говорил негромким, слегка дребезжащим голосом, порою пришепетывая от волнения. Он никогда не был оратором в полном значении этого слова и не знал, что такое говорить красиво или трогательно. Говорил он всегда просто, очень коротко и только самое необходимое из того, что считал нужным сказать. На отвлеченные же темы говорить избегал вообще, боясь, что осрамится. Но тут как-то так вышло, что говорил он совсем иначе, чем на темы научные. Косые глаза его вдруг заблистали странным огнем. Тонкая кожа покрылась красными пятнами. Бледное лицо, обрамленное рыжими бачками, приняло новое для него, невиданное еще студентами выражение одержимости. Щеку держало; несколько раз он пустил петуха, но, удивительное дело, это только усилило впечатление от его речи. Левую руку держал он за спиною, правой облакачивался на изножье кровати улана и говорил будто бы ему, а не им. Только иногда рывком вздергивал голову и обводил горящими, немигающими глазами лица своих слушателей.

— Господа мои, — говорил он, — ненавистно мне не только любомудрие, но и в равной мере пустословие, прекраснодушные мысли и рассуждения на высокие темы, коли нет за всем этим твердого решения и понимания поступать только так, а не иначе. Господа студенты! Молодость великодушна, порывиста, отзывчива, полна благородных мечтаний и дерзостных идей. Но только годами исчисляется наша молодость. Наступает затем зрелость, и на место отзывчивого великодушия приходит метода рассуждения, взвешивания на граммы и унции, прикидывания по образцу портняжьему, та метода, в которой нет места ни дерзким идеям, ни мечтаниям. Что ж, такова жизнь. За зрелостью наступает старость со своей опять иной методой, заключающейся лишь в себялюбии и черством эгоизме. Смешны мечтания об эту пору. Смешны великодушные порывы. И не к ним я призываю вас, господа мои! Призываю я вас только к честности в исполнении долга вашего, обязанностей ваших, дела вашего. Вам вверено самое большее, что дано человеку, — его жизнь. Будьте же, как судьи, нелицеприятны. Со священной строгостью относитесь к обязанностям своим. Смерти тот заслуживает из нас, кто осмелится из вот эдакого страдальца сделать доход для пропитания живота своего. Возьмите камни и побейте такого камнями — нет ему прощения. Возьмите кнут и прогоните его прочь из храма нашего — забудьте о милосердии, как он забыл. Лютого остракизма достоин такой продавший и предавший суть дела своей жизни. Нет ему прощения, ради чего бы он ни поступил так. Ибо перед вашими глазами лежит следствие изложенной мною причины. С самой простой потертости на ноге в походе началось дело. Пошел он к подлекарю, но подлекарь, торгующий в храме, чтобы поручик, храни бог, не осердился, велел в строй идти и дурака не ломать. Пошел солдат назад в строй. Что дальше говорить — вы все знаете. Подлекарь не поверил, а когда лекарь поверил — лечить не стал. Измышлял доходишки для своих животишек — на губернский город он всего один, некогда ему заниматься солдатом. И начал солдат гнить заживо. И не только что его не лечили, но рационашко назначенный уворовывали, жалкий рационашко солдатова тащили по частям и таким способом последнее, что оставалось у солдата — натуру его, которая одна боролась со смертельным недугом, — натуру лишили последней поддержки. Вот он теперь перед вами, господа мои. Ничем мы не можем помочь ему, но таким другим можем и должны, и подло будет, коли не положим все силы наши для этого назначения. Я кончил, господа.

Не глядя на студентов, точно их и не было в этой комнате, предназначенной для умирающих, он сел на кровать к улану и омочил ему губы кислой клюквенной водой. Сухим жаром горело

лицо солдата, уже тронутое синеватыми гангренозными пятнами. Несколько секунд неподвижно Пирогов глядел на него, держа пальцы на пульсе. Потом велел всем выходить, крикнул служителей и приказал звать попа. Проходя коридор, наклонил голову: в косых его глазах было жесткое, неумолимое, но и скорбное выражение.

Во дворе под некучим майским солнцем он постоял немного, чтобы прийти в себя и не наболтать лишнего Буцефалу. Но едва только он обтер лысину платком и огляделся, как сильный шум и крики у госпитальной поварни привлекли его внимание. Довольно изрядная толпа людей суежилась возле глиного крыльца, потом вся толпа двинулась в сторону Пирогова, раздался собачий лай, дикое гиканье, вопли и визг. Через несколько секунд он понял, что происходило: каждый год кухонный смотритель Пеленашин выводил таким способом тараканов из своей вонючей кухни.

С воем и визгом толпа пронеслась мимо Пирогова: седобородый, почтенного вида Пеленашин волок за веревку лапоть, полный тараканами, — тараканов в лапте было по числу больных в госпитале вместе со всем госпитальным персоналом. В лапоть полагалось плевать, и не только плевать, но и производить еще некоторые действия, что некоторые из толпы с восторгом и выполняли; кроме того, полагалось выгоняемого таракана всячески порочить и бесчестить словами, поэтому воздух сотрясаясь от брани, самой изысканной и утонченной, у кого же фантазии больше не хватало, тот просто визжал и вопил. Бешено лаяли госпитальные собаки-попрошайки, одна из них все пыталась укусить лапоть, ее пинали ногами, она визжала и снова кидалась на лапоть. Лица у людей были почти безумные, но более других показался Пирогову страшным сам кухонный смотритель: почтеннейший человек, хоть и вор, конечно, но уж старый, с брюхом, — и вдруг бежит, волоча лапоть, глаза вытаращены, голос хриплый, потерянный, а вокруг пыль столбом, вой, визг.

Сощутив косые глаза, сжав челюсти, он глядел им вслед, как перетаскивали они лапоть через дорогу и как принялись хоронить своих тараканов, приплясывая и завывая. Смотрел и не слышал, как подошел к нему Буяльский, — оглянулся только тогда, когда тот взял его под локоть.

— Своеобычное занятие простого люда, — произнес Буяльский, любивший выражаться туманно. — Здравствуйте, дражайший Николай Иванович.

Он был свеж, как юноша, этот отвратительный старик, сделавший свою карьеру тем, что бальзамировал коронованных и

титулованных особ, и несколько испортивший эту карьеру тем, что последняя особа, набальзамированная им, внезапно взяла да и провонялась. Обстоятельство это Буяльский от всех скрывал, но все знали, и теперь он с собачьей ласковостью заглядывал каждому в глаза — искал, известно собеседнику или неизвестно. Пирогову было известно, и он со своим проклятым характером не удержался. Да и вообще весь сегодняшний день он как-то не отвечал сам за себя и за свои слова: злая сила несла его куда хотела.

— Что это я слышал, — произнес он с дребезжанием в голосе, — у вас будто бы история?

Он был первый, кто сказал об этом властному и злому старику. Даже от Пирогова, злейшего своего врага, не ждал он такого прямого злорадства.

— Досадно-с, — молвил Пирогов, совсем скашивая глаза, — я слышал, вы уже были представлены...

Он не мог себе отказать в этом удовольствии, — вся академия знала о том, как хочет Буяльский получить Владимира. А тут вдруг особа взяла да и провонялась вопреки науке и здравому смыслу.

— Превыше всего для меня... — начал Буяльский, но Пирогов не слышал его слов.

«Кто сеет ветер, — думал он, — пожнет бурю. Ничего. Полно, Николай Иванович, валять дурака. Либо прочь отсюда навсегда, либо генеральное сражение всякому подлецу. Договори только, я тебя сейчас так прижму...»

От старика пахло лавандой — он любил себя, этот человек, знающий придворный этикет куда лучше своего дела. Они шли рука об руку, и он все объяснял Пирогову, почему провонялась особа.

— Непостижимо, — говорил он своим бархатным, дворцово-лакейским голосом, — уму непостижимо. В четырнадцатом году я бальзамировал кузину короля Людовика, герцогиню де ла Тарант, прекрасно. Давеча интересовался и получил письмо — по сей день легкий ароматический дух, и ничего более. Опять же ее величество императрица, сами знаете, какого труда стоило при их сложении произвести бальзамирование в хорошем порядке. Тоже все преотлично получилось. Княгиня, цесарева супруга, совершенно как живая лежала на одре — верите ли, сам после работ взглянул и чуть не зарыдал: как ребенок — живая, ангел. А тут после всего моего опыта на старости годов...

— Может быть, подрядчик не ту начинку подсунул? — спросил Пирогов. — Нынче по нашему ведомству сильно воруют.

— Вздор-с, — ответил Буяльский, — у меня не уворуешь.

И стал говорить о своем сочинении насчет пятисот семи желчных камней, найденных им при бальзамировании дюшессы Тарантской. Пирогов не слушал, потом сказал вдруг:

— Кстати, чтобы не забыть. У вас, Илья Васильевич, на дому, как мне известно, имеется наш микроскоп из академии. Вы уж извольте его вернуть, он для дела нужен.

Буяльский ответил не сразу: краска кинулась ему в лицо, пока он надумывал, что ответить. Не надумал и бессмысленно ответил:

— Не упомяну, о чем вы говорите.

— О микроскопе, пожертвованном для студентов академии великим князем,— громко, с брезгливой ненавистью в голосе заговорил Пирогов. — Этот микроскоп уже более десяти лет у вас на дому, а служащие не смеют спросить. Так вот-с я спрашиваю и прошу вернуть, потому что по моей кафедре микроскоп совершенно необходим. Он у нас числится, через это мы не можем новый купить, президент не разрешает. Есть у вас наш микроскоп?

Оба они остановились. Лицо Буяльского краснело все более.

— Прощайте-с, — сказал Пирогов, — и прошу вас убедительно — не задержав, верните аппарат. Вещь казенная, нужная.

Мгновенно только ему свойственная улыбка осветила черты его лица. Он повернулся и исчез в дверях госпитальной канцелярии. Страшное возбуждение все еще не покидало его: сердце со звоном гнало по телу кровь, щеки горели, висок покалывало. «Кто сеет ветер, тот пожнет бурю, — подумал он во второй раз. — А быть может, и не бурю, а саму смерть». Все могло случиться, если всерьез бросить перчатку Буцефалу. Почему-то вспомнилась ему только что виденная картина изгнания тараканов из поварни: как выли, как визжали! И белой сильной рукою он потянул к себе ручку двери.

Лоссиевский, которого в госпитале за огромную его голову называли Буцефалом, сидел за просторным своим письменным столом и, как всегда, делал вид, прикидывался, что занят и что занимается. Он был в мундире и при двух своих орденочках, которых никогда не снимал и один из которых уже порядочно из-за этого поизносился. Лицо Буцефала выражало мутное и тупое равнодушие, но вместе с тем и некоторое усердие. Пирогов видел, что Буцефал вовсе не так уже погружен в свои занятия, чтобы не заметить его прихода, и, выждав секунду, громко и властно произнес:

— Милостивый государь, я старше вас в чине и прошу замечать меня, когда я нахожу нужным посещать контору.

Никогда в своей жизни он не произносил еще ничего подобного. Но теперь он с наслаждением выговорил эту фразу. От бешенства и ненависти он ничего не видел; он не сразу заметил

даже, как вскочил Лоссиевский и как вытянулся перед ним. Ступая на пятки, Пирогов медленно подвигался к столу и, совершенно теряя власть над собой, кричал бешеным фальцетом:

— Вы что же это, сударь, изволите делать? Вы, штаб-лекарь, смеее сами быть главным вором по вверенному вам госпиталю! Молчать, смирно передо мной, иначе я вас сейчас же в вашей воровской конторе изобью пагайкой. Я все знаю, и не сметь мне отвечать. Вы... вы... изволите гробы воровать, рацион солдата... вы...

Ничего не видя перед собой, кроме смутной тени Буцефала, и понимая, что его можно ударить, стоит только обойти стол, он пошел вокруг стола, но Лоссиевский стал отступать, пятясь и издавая какие-то невнятные, хлюпающие звуки. Неизвестно, чем бы это все кончилось, не опрокинь Пирогов вдруг кувшин с ледяным квасом, стоявший на маленьком столике. Огромный кувшин со звоном разлетелся на части. Пирогов вздрогнул и остановился. Челюсти его дрожали, щеку дергало. Несколько мгновений длилось молчание, нарушаемое только хлюпаньем Буцефала.

— Обнесли, — вдруг сказал он, — оклеветали. Честью клянусь, чист и невиновен. Ваше превосходительство...

— Я не превосходительство, — крикнул Пирогов, — не сметь!

Он сел и сжал голову руками. «Умереть бы, — с жадностью подумал он, — да, да, умереть».

Буцефал хлюпал и бормотал над его ухом. Его обнесли, на него нагнали, он чист и ни в чем не виноват. Наконец Пирогов поднял голову и осипшим от крика голосом сказал:

— Больше это невозможно. Я не мальчик и знаю, что господа, подобные вам, от всякого суда откупятся, только потому не начинаю дела. С нынешнего дня извольте знать: ежели что замечу — будет вам, сударь, плохо. Буду бить нагайкой. Не позволю обкрадывать больного солдата.

Он говорил вяло, уже понимая, что вся эта затея ни к чему не приведет. Страшная тоска давила его сердце. От давешнего возбуждения не осталось и следа. Теперь опять врал свое Лоссиевский. Такого не переговоришь. Его можно только отстегать, да и то не поможет. Подняв голову, Пирогов смотрел, как двигается рот Лоссиевского, как с наглой почтительностью смотрят его влажные глазки, какое у него сытое, круглое брюхо, как шевелит он короткими мохнатыми пальцами. И эти толстые, приросшие мочками к черепу уши, этот подбородок с сытым выражением...

Дверь отворилась — вошел Шипулинский. Разговор кончился сам собой. Это тоже был его враг, смертельный враг, и враг был другом Буцефалу. Они пожали друг другу руки с приятнейшим выражением. Пирогов издали поклонился. Шипулинский ответил также издали, снял очки, протер стекла и сел в кресло. Этот тоже

был Буцефал, и Буяльский — Буцефал, и Наранович, и Соломон, и Палехин, и Загорский — безграмотные, тупые, сытые, получившие кафедры по родству да по дружбе, ненавидящие его, клеветники, доносчики. И он один против них.

На мгновение ему стало страшно: «Съедят, съедят живьем». Сговорятся друг с другом вот так же, как сейчас сговариваются там, в другом углу комнаты, и с приятнейшими лицами, деликатно улыбаясь, приступят, да что приступят, уже, наверное, приступили. О, эти все могут, любой донос, любую клевету, — они ни перед чем не остановятся.

Ну что ж. Он ведь тоже обладает некоторым характером. Его, пожалуй, не так уж и просто съесть. А выгода одна: теперь все-таки Лоссиевский хоть на время не так станет воровать — страшно покажется после случившегося давеча происшествия.

И, поднявшись, он сказал, ища глазами влажные от сердечности беседы с Шинулипским глазки Лоссиевского:

— Итак, господин Лоссиевский, прошу вас запомнить то, о чем мы имели разговор. Лыщу себя надеждой, что ничего подобного теперь не произойдет. Надеюсь разговор наш не возобновлять.

Поклонился обоим и вышел.

Его знобило. Попить бы чаю — и в постель.

Но ни чаю он не попил и в постель не лег. Он остался в госпитале среди тех, ради которых бросил перчатку Буцефалу. Он не был ни лечащим врачом, ни ординатором и все-таки проводил часы среди больных. Но сегодня он остался на весь день поверять рационы, смотреть за перевязками, за чистотой в палатах. Дежурный лекарь Балинский, только что переведенный из Кропштадта молодой человек, с робким восторгом смотрел на знаменитого Пирогова, заикаясь, отвечал на его вопросы, урони́л и разбил склянку, когда Пирогов велел подать ему капли. Все было необычно в этом рыжем и лысом человеке, все было прекрасно, непостижимо, величественно — и нечистый сюртук, и узловатые, белые, сильные руки, и подкупающе бесшабашная улыбка, и висящий бешеный блеск свинцовых зрачков узких косоватых глаз.

Вдвоем они ходили из палаты в палату. Уже смеркалось. Белая почь наступила, а они все ходили. Коптили в палатах масляные лампы. Охажья и стоны неслись с коек. По коридорам несло из ретирадных мест. В палате для умирающих слабым, потерянным голосом бредил бог веда́ет какими путями попавший сюда пластун. Пирогов сел на кровать пластуна и наклонился над ним. Падающим, гортанным шепотом казак звал кого-то. Пирогов

наклонился еще ниже. Балинский стоял рядом, держа сальную свечу в высоко поднятой руке. Теперь Пирогов почти прижался щекой к умирающему. Пластун звал отца. «Батько мой, батько», — слышал Пирогов. Он оторвался от пластуна и прямо сел на кровати. На всю жизнь запомнил Балинский то, что произошло перед ним.

— Я твой батько, — с силой и страстью сказал Пирогов, сверкающим и лучистым взглядом глядя в лицо умирающего. — Здесь я, подле тебя, — почти крикнул он. — Гляди, сын, вот я, твой батько.

Свеча в руке Балинского дрогнула: на это почти невозможно было смотреть.

Медленно, с трудом открылись глаза умирающего. Голубые и мутные, они ничего уже не видели, подернутые смертной пеленою. Но они точно искали, и белое лицо точно напрягалось в ожидании смутного и таинственного чуда. И чудо совершилось.

— Здесь я! — крикнул Пирогов. — Тут я, сыночек мой милый, вот я перед тобой! Видишь меня? Да вот же, вот.

И, схватив руку умирающего своей сильной и белой рукой, он стал водить ею по себе — по своему сюртуку, по подбородку, по воротничкам.

— Вот я, — говорил он, — вот, видишь, вот.

Наклонился к дрогнувшему лицу солдата и поцеловал его в щеку, потом в переносицу, потом опять в щеку. Лицо его сделалось таким же белым, как лицо пластуна, в глазах дрожали слезы.

Теперь он сидел на постели, в изножье, держал руку умирающего в своей и мокрыми глазами смотрел в умиротворенно-спокойное лицо пластуна. На серых губах солдата еще дрожало подобие улыбки. Но вот что-то последний раз пронеслось в его лице и исчезло: что-то легкое, едва уловимое — последний отблеск жизни. Пронеслось оно — и все было кончено.

— Кончено, — сказал Пирогов, — проводили.

Положил руку солдата и поднялся. До дежурки шли молча. В дежурке Пирогов сел на клеенчатый диван и сказал:

— Послушайте, ваше благородие, напоили бы вы меня чаем, мочи больше нет, устал...

За чаем задумчиво смотрел на огонек свечи и негромко говорил:

— Здешнего Лоссиевского зовут Буцефал, что, как вам известно, означает по-гречески бычью голову. Такое клеймо выжигали в виде тавра на крупах фессалийских коней. Тут они почти что все — бычьи головы, это вы имейте в виду, ваше благородие,

не зевайте, вмиг слопают. Да, так к чему это я? Ах, вот к чему, вспомнил, Буцефалом звали также коня Александра Великого, небось слышали, что был такой?

— Слышал, Николай Иванович, — робко сказал лекарь.

— Надеюсь. Так вот, — продолжал Пирогов, — конь этот был вначале совершенно необъезжен, и никто к нему не решался подойти. Не то он кусался, не то брыкался, аллах его ведает, но все трусили. Все, кроме, разумеется, Александра, который не струсил, а взобрался и поехал. Ну-с, поехал. Папенька его увидел такое событие и сказал ему растроганным голосом: «Ищи себе другого царства, сын мой, Македония слишком мала для тебя». Слышали такую историйку, ваше благородие?

— Нет, не слышал, — заливаясь пунцовой краской, молвил Балинский, — как-то не приходилось, Николай Иванович.

Пирогов молчал, щурясь на свечу. Потом сказал:

— Ошибочно папенька Александра рассудил. Неправильно. Ежели бы на меня, то я бы иначе распорядился. Я бы приказал, коли он Буцефала вышколил, как раз в Македонии оставаться, не правда ли?

Балинский совсем покраснел. Он ничего не понял из того, что говорил Пирогов, и, преглупо себя чувствуя, сказал, что да, это верно-с.

Они попрощались под утро. Пирогов с нежностью смотрел на Балинского. Здесь же, в сенях госпиталя, он посоветовал ему идти к Мяповскому в адъютанты.

— А этих не бойтесь, — сказал он. — Если вы их испугаетесь — станете либо подлецом, либо ничтожеством. Тут шутить нечем. Прощайте, ваше благородие. Лаврентьеву, что в шестой лежит, поутру вкатите хороший с маслом клистир, это поможет. И за рационами следите.

Не надевая шляпы, он медленно пошел по двору академии. Еще долго Балинский стоял в дверях, глядел ему вслед и думал о том, как он завтра расскажет матери о том, с кем ему сегодня довелось так близко познакомиться. Лицо его горело. Он вынул из кармана трубочку, покурил и вернулся в госпиталь. Все было тихо в палатах, кроме одной, в которой разговаривали. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к полуприкрытой двери и послушал. Сипловатый солдатский голос, несколько окающий, рассказывал сказку, героем которой был Пирогов.

— И вот, братцы мои, — говорил солдат, — открывается дверь, и заходит в ту фатеру не кто иначе, как сам Николай Иванович. Увидел он такое происходящее и давай по-русски, как надо, до него обращаться. «Ты, говорит, что?» И зачал: «Ты, говорит, как?» И еще его. Ну, тот видит — плохо дело: «Забирай, говорит, назад

погу, как-нибудь я и без одной проживу, на деревяшечке». Николай Иванович, конечно, сейчас свистнул: «Подайте мне пилу мою вострую и нож мой медицинский самый наилучший, я сейчас у генерала незаконную его ногу оттыпаю и назад солдатушке моему дорогому пришью. Снимай, говорит, генерал, штаны, да поторачливайся, у меня нынче делов по глотку». Плачет генерал в голос, жалко ногу, уж привык к ней, даром что краденая.

— А что ты думаешь, — сказал тонкий и печальный голос, — еще как жалко-то. Вон мне отрезали, так я...

Но на него зашикали, и он смолк.

— Голосит, значит, голосит генерал, — продолжал рассказчик, — только Николаю-то Иванычу надоело слушать, он и сказал генералу, что сейчас ему не то что ногу, а...

Тут рассказчик произнес такое, от чего вся палата дружно заржала, и Балинский за дверью тоже улыбнулся.

— Жалко небось, — слышались голоса.

— Это еще похуже.

— Какой же он генерал апосля такого дела.

— Беда, ей-богу...

Рассказчик вновь заговорил. Как все сказки, и эта тоже кончалась торжеством добродетели. Генералу, укравшему солдатскую ногу, Пирогов наново отрезал ее и подарил сосновую деревяшку. А горемыке-солдату ногу пришил назад и, кроме того, подарил денег на пропой души — пять рублей.

Эту ночь Пирогов спал крепко и спокойно, без снов и кошмаров. Проснулся он с легким сердцем, отдохнувший и бодрый, быстро дошел до академии, пересек двор и в узких сенях канцелярии столкнулся со стариком Буяльским. Старик, увидев его, отвел глаза и не поздоровался.

Ему сделалось смешно.

Шипулинский с ним тоже не поздоровался.

Но микроскоп стоял на столе у прозектора. Это был отличнейший микроскоп — чистое золото для черной анатомии. Маленькая победа, совсем маленькая, но сколько радости доставила она ему...

В перерыве между лекциями он встретил Лоссиевского. Этот был слишком труслив, чтобы не поздороваться. Пирогов остановил его и сказал:

— Я на сегодня выписываю всему моему отделению слабые порции. Не считайте за труд выполнить мое требование без всяких изменений.

Влажные глаза Буцефала выразили бешенство.

— Хорошо-с, — молвил он, — только я доложу-с по начальству.

— Докладывайте, — ответил Пирогов, — но если уворуете хоть унцию — поколочу палкой...

И ушел.

Когда раздавали обед, Пирогов ходил по палатам, пробовал, смотрел, посмеивался. И чувствовал на себе взгляды солдат. Настроение у него опять было приподнятое, веселое, и чувствовал он себя сильным и злым, способным на многое — и хорошее, и дурное.

1941—1968 *

* Рассказ «Начало» впервые был опубликован уже после смерти автора. — *Ред.*

ВОСПОМИНАНИЯ

О ГОРЬКОМ

В жизни всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи, или трусы, или не понимают жизни.

М. Горький

Было мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк».

«„Не свихнется“, — недоуменно размышлял я. — А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Это самое «не свихнется» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу.

Парило, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшно. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомикам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова.

Как я вошел в кабинет Горького — не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня, а когда туман этот рассеялся, я увидел Горького, увидел, что сижу перед письменным столом и что Горькому ужасно как неловко от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую «чувствительность» — это я понял впоследствии, а сейчас мне было не до размышлений и не до наблюдений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например:

— Как вы относитесь к Гегелю?

Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза. Летели по ветру листья, сверкали длинные молнии. Зрелище было грозное и располагающее к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях, но Горький грозы как бы даже и не замечал, а принялся выпрашивать меня заинтересованно и деловито, где и как я живу. Сдавленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню, взаимоотношения владелиц примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги и карандаш и предложил схематически эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом разглаживая усы, он спрашивал:

— Эта против этой? А эта — нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, чрезвычайно любопытно. И все вместе объединены против этой угловой? А угловая что же? Скажите на милость, какая храбрая дама! А у вас есть свой примус? И где он?

Внезапно я заметил, что Горький спрашивает у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, без всякого смущения и совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю.

— Брюкву жарили на воде? А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода — процесс, взаимно исключаящий. Жарят, насколько мне известно, на жире...

Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которых бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя и сладко упивались производимым ими впечатлением. Я видел людей, слушающих умело вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так сочувственно и напряженно заинтересован, так искренне близок своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович. Разумеется, тут дело не во мне, с моей самой обычной биографией, тут дело в другом, в значительно большем. Мы все, все наше поколение, были интересны Горькому во всем решительно. Он хотел понять, что же мы такое. Его интересовали, занимали и даже волновали самомалейшие подробности не только нашей жизни, но и нашего быта. Он желал знать не только о том, что мы читаем, но и что мы едим. Он был лично заинтересован в нас, в молодом поколении еще только будущих литераторов, в нашем физическом и нравственном здоровье, в том,

чтобы у нас были чистые и ясные мысли, в том, чтобы жизнь наша не разменивалась на пустяки, в том, чтобы не решали мы давно решенные вопросы, в том, чтобы шли мы каждый своим путем и делали это с максимальной пользой для того государственного строя, гражданами которого мы являемся.

...Разговоры о жареной брюкве и примусах на коммунальной кухне дали мне возможность опомниться. Теперь я видел Горького. Помню голубую рубашку и серый пиджак, помню отблески молний на лице Горького, помню, как, вставляя в мундштук сигарету, он заговорил о моей книге. Приготовившись выслушать речь прочувствованно-комплиментарную, я, со свойственной молодости самоуверенностью, даже не запасся карандашом и бумагой для того, чтобы записать замечания Горького.

И тут начался разгром, но какой!

Помню, что поначалу я даже не понял, что все эти жесткие слова относятся именно к моей книге. Мне показалось, что речь идет о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится, — не в пример тому роману, который он быстро перелистывал своими длинными пальцами. Низким голосом, сердясь (именно сердясь, потому что Горький никогда не был безучастен или величествен, разговаривая о литературе), Алексей Максимович подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. Пресловутая путаница с «одел» и «надел» вдруг вывела его из себя:

— Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых «одел» и «надел» навечно разобраться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, быть может, надеялись? А редактор — на корректора?

Я молчал.

— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

— Один, — не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? — осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

— Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими. Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости. — Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!

Не глядя на меня, Горький долго и сосредоточенно молча сердился, потом объявил:

— Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать, отметив в предисловии, что вы очень мне благодарны за советы, а

просто написать наново, как будто этот птичий грех с вами и не случался. Вы в Китае и в Германии были?

— Нет, не был, — промямлил я.

— А написали... — сокрушенно сказал Горький. — Ну что теперь с вами станешь делать? Как же это вы так?

Я рассказал, что инженер Нортберг, который был прототипом моего Кельберга, довольно много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, что роман «Вступление» вначале был всего только очерком в журнале «Юный пролетарий» и что мне просто очень захотелось написать подробнее о судьбе такого вот иностранного специалиста, как Кельберг.

— Захотелось, захотелось, — ворчливо произнес Горький. — Привезли бы мне или прислали ваш очерк, подумали бы вместе, поездили бы вы по заграницам, какая бы книжища могла получиться. Ну и переписали бы, разумеется, раз десять...

И во второй раз он заговорил о романе. Со стороны можно было бы подумать, что роман даже еще не напечатан, что он, может быть, только пишется и что вот он, Горький, советует мне, как можно написать такой роман...

Советуя, он ни разу не спутал действующих лиц, помнил их фамилии, характеры, помнил сюжет. И оттого, что он, тот самый великий Горький, который только что отругал книгу, все-таки все в ней помнил, я делался лучше в своих собственных глазах, мне становилось легко и свободно, и было даже мгновение, когда я забыл, что передо мной сидит и со мной разговаривает не кто иной, как Алексей Максимович Горький. Я на что-то возразил ему, сказав:

— Нет, Алексей Максимович, это совсем не так...

Разумеется, я мгновенно опомнился. И даже испугался. Но Горький как бы даже обрадовался моему возражению. Он заставил меня подробно развить все мои доводы и тогда, весело потирая руки, разгромил меня наголову.

Сколько раз впоследствии я замечал, как Горький раздражался на слишком легко соглашающихся и поддакивающих ему людей, как он вдруг замолкал после поддакиваний и изъявлений восторгов и в глазах его появлялось выражение скуки и усталости.

Разговор о романе кончился так:

— Я ваш роман перехвалил, — сказал Горький. — Очень перехвалил. Это случается с нами, литераторами, да и не только с нами. Бывает, стихотворение в высшей степени посредственное, но оно, извините за выпренность слога, в данное мгновение отвечает строю нашей души. И кажется такое стихотворение прекрасным. «Вступление» ваше отвечало многим моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью. Но до

настоящей литературы тут еще далеко. Впрочем, вы не огорчайтесь, время у вас еще есть...

И вслед мне сказал:

— Переписывать надо! Запомнили?

«Вступление» я написал наново. Горький прочитал и сказал мне угрюмо:

— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти. Надо знать, о чем пишешь. Это закон непреложный. Из жизни надо писать, непременно из жизни, из самой гущи ее, тогда и подробности будут настоящие, а не приблизительные. Ах, какое это горе в литературе — приблизительность, пунктир, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым. Ну да что!

Я задал Горькому вопрос, который, как правило, мучает огромное большинство молодых литераторов. Он развеселился, мотнул стриженной ежиком головой, глаза его зажглись, заговорил:

— Если в человеке есть основания для будущего писательства, то он не должен спрашивать ни у кого, писать ему или не писать. Нельзя спрашивать, понимаете? Я-то ведь не знаю, что у вас внутри. Не знаю, какой там мощности заряд. Трудно это определить, взвесить. Да и что я — безмен? И дело наше другое, чем на скрипочке играть или петь романсы. Там, на верное, можно: «Пойди сбегай к маэстро, маэстро скажет». А я и не маэстро, я сам литератор, читатель. Настоящему литератору можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и ничего с ним не поделаешь. Он, знаете, везде, всегда будет писать, по той простейшей причине, что не писать он не может.

Подумал, помолчал и опять заговорил:

— Ну, а есть авторы первых книжек. Это явление небезынтересное. Они про себя иногда, к сожалению, да еще при наличии успеха, склонны предполагать, что вот-де мы писатели. А никакие они не писатели. В сущности, нет такого человека, ежели он не кокетка, и не врун, и не самовлюбленный болван, который не мог бы про себя, про свою жизнь написать небезынтересную книжку. И не только небезынтересную, но даже очень интересную. Вот тут, случается, происходят печальнейшие камуфлеты. Написал книжку, работать бросил, так называемые друзья провозгласили гением, ну, а гению сказать больше и нечего. Ищет он при последующих неудачах первопричину не в собственной литературной немоции, а в кознях завистников, в горемычной судьбине, становится эдаким подозрительным, жалобы строчит, ко мне обращается, вроде бы я департамент изящной словесности. И сложно с этими первыми книгами, необыкновенно сложно.

Советская власть вызвала из гущи народной тысячи, десятки тысяч интереснейших судеб. В течение двух десятков лет люди проделали гигантский путь, многие сами себя открыли — как этими открытиями не поделиться? Есть книжицы, написанные не бог весть как, но читать их спокойно невозможно, горло перехватывает. И точность, и простота, а главное — есть человеку что сказать людям. Есть богатство, которым хочется поделиться, есть мысли, которые и другим пригодятся. И спрашивают: писатели они или нет? Не берусь судить. Не стану, не хочу, не буду...

В другой раз Горький спросил меня, что я собираюсь писать. Я рассказал сбиваясь. Он ходил по комнате, покашливал, поглядывал на меня. Неожиданно остановился и сказал:

— По поводу этого ирландского восстания есть топографический отчет на английском языке, если не ошибаюсь. Году эдак в тысяча девятьсот тринадцатом издан. Кроме того, в те же годы по газетам многое разбросано.

И, стоя посредине большой, почти пустой комнаты, глядя мимо меня напряженно вспоминающими глазами, он стал диктовать даты, брошюры, журнальные статьи. Я записывал, и мне казалось, да и до сих пор кажется, что это чудо: вопрос был узкий, в России тем более мало известный, прошли десятилетия — как могло все это удержаться в памяти Горького?..

Потом я проверил. В двадцати двух названиях было только три ошибки.

Вечером за чаем Луговской спросил у Горького, как он справляется с тем огромным количеством писем, которые ежедневно приходят к нему. Алексей Максимович со смешком сказал:

— Отвечаю. Всем, кроме вымогателей и душевнобольных.

Помолчал и добавил:

— Впрочем, душевнобольным тоже отвечаю. Необыкновенно интересные, знаете ли, встречаются среди них индивидуумы. Иногда даже, грешным делом, подумаешь: а и в самом ли ты деле душевнобольной? И хитер, и умен... Один приезжал ко мне, вначале действительно было занимательно, а потом — нет, все-таки сумасшедший... Вот тоже случаются любопытные стечения обстоятельств. Был у меня весной рационализатор один из Свердловска. Занятнейший человек, образованнейший, светлая голова. Много сделал, много делает, и все как-то на пользу людям, все для людей, все то, что сейчас каждому человеку нужно. И тут же, в это же время, из Свердловска же от одного литератора, получил письмо, исполненное желчи и эдакой всеобщей тоски. Не о чем ему, видите ли, писать, героя нет, и хотелось бы нечто создать, да не о ком. Нет для его стиля достойного характера. Не видит он Человека с большой буквы (эка ко мне хитро подольстился!).

Пришлось написать ему адрес свердловчанина-рационализатора, теперь обождём, что из этого образуется. Нелюбопытны мы, до удивления нелюбопытны.

О книге моей «Бедный Генрих» Горький прислал мне ругательное письмо, а при свидании сказал невесело:

— Вы не обижайтесь, но на старости лет мне все больше и больше хочется, чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти хорошие люди формируются. Черта вам заграничная жизнь далась, что вы в ней понимаете? Один вот из вашего брата прислал мне поэму об итальянской жизни. А был там всего ничего — сколько пароход стоял. Моряк-механик. Стал мне о своих друзьях рассказывать — я заслушался. А в поэме все — мадонна, мадонна. Какое ему, дурачку, дело до мадонны?

И спросил совсем грустно:

— Почему вы такие?

Долго ходил по комнате из угла в угол и неожиданно посоветовал:

— Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу — желаете?

И рассказал, чему-то улыбаясь, покуривая сигарету, короткую и трогательную историю про то, как чекисты в голодные годы гражданской войны «обманули» Дзержинского. В столовой на Лубянке в тот день кормили супом из конины, а Дзержинскому сжарили несколько картошек на свином сале. И доложили, что у всех сегодня на обед картошка с салом.

— Я тоже в этой игре участвовал, — сказал Горький. — Меня предупредили, чтобы не выдавал...

Ещё походил и ещё рассказал:

— Однажды приехал к Феликсу Эдмундовичу заступаться (очень уж много в ту пору уговаривали меня разные — заступись да заступись), ну, а Дзержинский мне навстречу вышел, в коридоре встретились. Глаза красные, знаете ли, как у кролика, и спрашивает: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?..» Что я мог ответить? Небывалой правдивой чистоты человекище был.

Погодя Горький спросил, о чем я пишу сейчас. Я рассказал ему о «Наших знакомых». Он слушал, как всегда, внимательно, переспрашивал, потом сказал:

— О поваре — это хорошо, очень хорошо. Человек, который кормит и старается повкусней накормить, не может быть дурным человеком. Вы прочитайте такую книжку: Брилья-Саварен

«Физиология вкуса», много полезного найдете для, с позволения сказать, философии поварского искусства.

И улыбнулся.

— Любопытно, какие только сочинения людьми не написаны.

А я почти с ужасом подумал: «Господи, когда же он успевает все это читать?»

Отрывок из «Наших знакомых» был напечатан в одном из ленинградских альманахов. Горький прочитал про повара и сказал мне недоуменно:

— Ну, а Брилья-Саварен? Ведь это же евангелие настоящего повара.

Я ответил Алексею Максимовичу, что не достал эту книжку. И тут Горький пришел буквально в ярость:

— То есть как это не достали? Как вы могли не достать? Какое вы имели право не достать? Вишь какой беспомощный!

Дня через два мне позвонил секретарь Горького и велел немедленно прийти. В пустой столовой на Малой Никитской я в течение нескольких часов читал Брилья-Саварена и делал из него выписки. Горького в этот день я не видел. И больше никогда об этом он со мной не заговаривал.

Я не знаю и, пожалуй, не знал ни одного человека, который умел бы так восхищаться и радоваться всему талантливому, подлинному и настоящему, как радовался Горький.

Помню, на даче вдруг хлынул проливной дождь, а Горький увидел позабытую в саду книжку. Легкой походкой, бегом, он бросился за ней, мгновенно промок насквозь, но, словно не замечая этого, любовно обтер толстый том и сказал всем нам — молодежи:

— Черти полосатые! Это же Алексей Николаевич Толстой! Как написал! Как отлично написал! Великолепный, замечательный писатель...

И долго здесь же, на террасе, с совершенно юношеским жаром говорил о Толстом, потом переехал на Юрия Николаевича Тынянова — вспомнил «Кюхлю», и вдруг на глазах его буквально закипели слезы восторга. Весь этот день, один из лучших дней, какие я помню, Горький был, если можно так выразиться, энергично, стремительно весел, хвастался нам свежим номером журнала «Наши достижения» (он очень любил этот журнал и даже у меня, молодого литератора, спрашивал, что мы, молодежь, думаем об этом его детище) и неустанно хвалил советскую литературу и в ее настоящем, и в том, какой она станет.

— Вы не знаете, — говорил он, — вы еще молоды и читаете только то, что сами пишете или что сосед написал. А я знаю: нашим литераторам никогда не придется задумываться над тем,

для чего нужно искусство и нужно ли оно вообще. А это знаете как важно! Это, товарищи, основа основ...

Попозже, помешивая угли потухающего костра, Горький слушал одного писателя, который изящными и округлыми фразами выражал ему восхищение по поводу нынче напечатанной статьи Алексея Максимовича. Внезапно Горький сказал:

— Не так это все. Я некоторые положения намеренно сгустил. И именно от вас, несколько вас зная, ждал ответа в печати. Предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая литературная жизнь, а какая-то, знаете ли, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь небось у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной не согласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это срунда, ведь это решительно быть не может, ведь это все вздор...

Мы молчали.

Горький вздохнул, но сказал весело:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои — закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать как с литератором, пусть и более опытным, чем вы, а не как с департаментом изящной словесности...

Так я видел Горького живым в последний раз. Потом я увидел его в гробу. Я стоял у гроба и никак не мог поверить, что один из самых живых людей на земле — мертв. И вспомнились мне почему-то слова:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое...

О МЕЙЕРХОЛЬДЕ

Его давно физически нет. И тем не менее он есть. Его беспрельдно смелые искания, его гнев, его ирония, его сила и его страстность присутствуют во всем лучшем, что есть в нашем искусстве. Я не знаю, смог ли бы родиться на свет «Броненосец Потемкин» без Мейерхольда. Потому что Мейерхольд, и никто иной — именно он, вечно ищущий и никогда не останавливающийся, грандиозный даже в своих ошибках, — был одним из первых режиссеров-коммунистов, был глашатаем и провозвестником партийного искусства — искусства, принадлежащего народу и ведущего народ за собой властно и неудержимо.

В тот момент, когда многие еще колебались в выборе своего пути, Мейерхольд, разрывая со многими старыми друзьями, откровенно и точно признал для себя единственным и подлинным путем создание политического театра.

Как все гениальные люди, Всеволод Эмильевич был сложен.

Как все первооткрыватели и пролагатели новых путей, он был настойчив, изобретателен и смел.

Как истинный талант, он был несравненно и беспрельдно щедр: сундук с его сокровищами никогда не запирался. Из него брали не стесняясь и берут по сей день. Небезынтересно, что берут именно те, кто поносными словами топтал его имя, берут, конечно, в смысле крадут, и уворованное выдают за свое, а ЕГО, истинного создателя этих никогда не меркнущих ценностей, и по день нынешний, когда восторжествовала правда, именно эти «унесшие сокровища» облыжно и низко бранят, поминая, допустим, «Даму с камелиями», которая была не наилучшим свершением гениального художника, но которая делалась травимым и мучимым режиссером. А давным-давно известно, что, когда художника мучают, поносят и пинают, он творит неизмеримо хуже, чем тогда, когда он спокоен. Зачем же знающим, КАК обстояло дело, винить Мейерхольда в том, в чем он не был повинен. Шаровая мол-

ния, как известно, бьет по движущемуся предмету. Чтобы не быть убитым, человек, увидев шаровую молнию, застывает неподвижно. Чего же мы хотим от Мейерхольда того периода, когда его травили под свист и улюлюканье? Он видел шаровую молнию, устремившуюся в его сторону, и стоял неподвижно. Это была пора, когда ему запретили смысл его жизни художника — битву, сражение, атаку. Ему запретили вести сокрушительный огонь по контрреволюционному мещанству, по обывательщине, по приспособленчеству, заявив, что он клеветник. Это и была шаровая молния.

Об этом нужно написать. Написать с той силой правды, с которой написано нынче о Серго Орджоникидзе, об Эйдемане, о Якире, о Тухачевском, как написано о сотнях и тысячах *шедших впереди и ведущих на смертный бой*. Всеволод Мейерхольд *шел впереди и вел* «на бой кровавый, святой и правый», — вел работников искусства, вел искусство, вел театр, и нет без Мейерхольда не только истории советского театра, но нет и театра живущего, такого театра, как театр имени Мейерхольда, где в спектакле «Последний решительный» в едином, высоком, грандиозном порыве вставал весь зрительный зал — не для того, чтобы рукоплескать нюансам и полутонам, не для того, чтобы «образованность свою показывать», а только лишь затем, чтобы *защищать свою родину от вторгшегося в ее пределы врага*. Кто видел этот спектакль, тот не может не согласиться со мной, а кто не согласен, тому, как говорится, земля пухом. Каждому свое.

Какова же мораль этого введения?

Мораль проста: Всеволод Мейерхольд в прощении не нуждается. Мы же все нуждаемся в правдивой и страстной, честной и чистой книге о сложном и замечательном коммунисте — создателе и строителе Советского Партийного Театра. И книга эта должна быть написана чистыми руками. Стерильными.

К работе этой нельзя подпускать никого из тех, кто по каким-либо причинам «недопонимал» значения деятельности Мейерхольда. Нельзя допускать предававших, тех, кто кричал: «И я, и я!» Тут не может быть прощения даже старухе, подложившей свою вязанку в костер, на котором сжигали Яна Гуса. Слишком много горя нанесли нашему искусству даже эдакие старухи. Вспомним самоубийство Владимира Маяковского. Мемория о том, что он был лучшим поэтом революции, не возвратила Владимиру Владимировичу его единственную жизнь. Он ничего более не написал, а старухи пишут и похвалы себе слышат, старухи с вязанками. Не надо этих старух идеализировать, не такие уж они божьи коровки.

Из двадцати одного года, которые мне в ту пору миновали, девятнадцать я прожил в провинции.

И вот я в Москве, в душном коридорчике театра имени Мейерхольда, перед «самим».

Помню, мне было жарко, жутко и совестно, и испытывал я такое чувство, что произошла ошибка, что театр вызвал не того человека, что сейчас все, слава богу, выяснится, меня выгонят в толчки, и это самое лучшее.

— Ваше «Вступление» — великолепный роман, — слушал я, словно шум водопада. — Великолепный! Да! Почти шедевр!

Почти! Сейчас меня выгонят. Что может быть хуже «почти шедевра»?

— И Горький, — хитро взглянув на меня, спросил Мейерхольд, — Горький печатно похвалил вас, не так ли?

— Печатно — да, — с тоской ответил я, — но меня он ругал.

— Несправедливо?

— Почему же несправедливо? Правильно ругал.

— Во всяком случае, все, что касается Лондона, у вас превосходно.

— Нет у меня Лондона, — угрюмо пробормотал я. — У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин...

Мейерхольд кивнул:

— Да, да, Берлин. Я спутал... Действительно, Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте, напишите-ка нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Китай — Берлин — СССР. Сядьте и напишите.

Написать пьесу для того театра, спектакли которого я смотрел по десяти раз кряду? Пьесу для Мейерхольда? Для Ильинского, Гарица, Мартинсона, Зайчикова?

Написать пьесу для того театра, куда совсем недавно я не мог пробраться даже на галерку...

Так думать, разумеется, нехорошо. Но именно так я думал.

И мальчишки честолюбивы!

Однако порядочность взяла свое. И с отчаянием погибающего я решительно произнес:

— Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес, я не смогу.

— Многие не могут, однако пишут, а мы ставим.

Глаза Мейерхольда холодно и строго смотрели на меня. Только много позже я разгадал это особое выражение его взгляда — извиняюще-презрительное: все бездарное, вялое, неэпергичное он презирал и не скрывал этого. Так же, как презирал робость, лень, неверие в свои силы, наигранную скромность. «Одаренным» нахам умел искренне и весело удивляться. Про одного такого даже сказал не без восхищения:

— Ах он такой-сякой! Как изображает! Я чуть-чуть не поверил ему.

Разговор о пьесе продолжался в кабинете Мейерхольда. И по сей день я не помню, какая там стояла мебель, наверное потому, что все здесь всегда было заполнено личностью Мейерхольда. Он заслонял собою всех, он захватывал всегда мое внимание полностью, у меня не хватало сил оторваться от него ни на секунду.

Иногда впоследствии он меня спрашивал:

— Чего уставился?

Я не отвечал: не мог же я сказать, что смотрю, как он держит в своей необыкновенно красивой руке сигару, как дирижирует стаканом горячего молока.

В кабинете он сказал:

— Все просто: по вашему роману вам напишут сценарий, по сценарию вы напишете пьесу.

— А разве так бывает? — осведомился я.

Мейерхольд и сам не знал. Позвали знающего. Тот сказал, что если Всеволод Эмильевич хочет, то можно и так. Этот знающий ко всему привык за свою прикомандированную к этому театру жизнь.

Принесли договор, душистый юрист поставил то, что называется визой. У меня было ощущение страшного сна. Я погибал и понимал это, а для сопротивления не было сил. Разве мог я сопротивляться *самому* Мейерхольду?

Сценарий был написан бодро, быстро и на редкость плохо. Но мог ли я возражать? Мне «придали» режиссера и художника — милых и покладистых людей, — и мы втроем уехали под Кинешму в Дом отдыха Малого театра, расположенный в бывшем имении великого драматурга А. Н. Островского.

Мейерхольд отбыл за границу, в Париж.

По горькой иронии судьбы писал я свою пьесу в кабинете самого Островского, за тем письменным столом, за которым писались «Гроза», «Лес».

За закрытой намертво дверью стрекотали и хохотали артистки, человек двадцать, — там была спальня. По дорожкам под окнами чинно прогуливались, разговаривали густыми голосами знаменитые артисты в кашне, шляпах и с тросточками. Жизнь шла своим чередом. Всем вокруг было хорошо, а мне страшно.

Все было страшно: и халтурный сценарий, превративший мой чрезвычайно несовершенный роман в совсем бог знает что; и то, что аморфное, невнятное и реальное «название условно» было уже запланировано театром как реально существующая пьеса; и то, что талантливый мой режиссер из-за моей спины заглядывал на страницы моих творений; и то, что постоянно чудилось мне

вечерами и что помню я до сих пор как реальный кошмар. Вот он. Я сижу и пишу. Широко распахивается дверь, и входит Александр Николаевич Островский, такой, как на портрете в собрании сочинений: меховые отвороты, рыжеватая борода, неприязненный взгляд. И слышен мне его тенорок:

— Ты что тут делаешь, стрикулист? Ты как смеешь? Вон! Свистун!

А сроки приближались, ужасающая развязка близилась.

В сочинении моем оказалось более трехсот страниц убористого текста, то есть «товара» примерно на четыре нормальные пьесы.

Режиссура бойко смарала полтора ста, и все оставшееся превратила в спектакль, который Всеволод Эмильевич, вернувшись из-за границы, в грозном молчании смотрел до рассвета. Помню, как резюмировал Эраст Гарин свои впечатления одним словом:

— Пшено.

Мейерхольд все им увиденное запретил и отправился домой. Меня, драматурга, он как бы даже и не заметил во всю ту кошмарную ночь. Было совсем светло, когда в гостинице «Националь» я повалился на кровать. Вот она развязка! Ну что ж, я ведь предупреждал, что не умею писать пьес.

Зазвонил телефон.

— Ну? — осведомился Мейерхольд. — Худо тебе?

— Плоховато, — сознался я.

— Гвардейские офицеры в старой армии в твоём положении застреливались, — с сатанинским смешком произнес Мейерхольд. — Ты читал об этом?

Тут я разорался. Мне было не до шуток. И он не давил сейчас меня своим присутствием — этот человек. Я не видел его и не боялся. Наваждение и чертовщина кончились. Я заявил, что сценарий — дрянь, что вся затея — халтура, что нынешний просмотр — логическое завершение нелепого замысла. Потом я выдохся и замолчал. Пусть Мейерхольд швырнет трубку, а я с первым же поездом уеду в свой Ленинград. Точка. С меня лил пот.

— А еще что? — спросил Мейерхольд.

— Ничего, — буркнул я, — посплю и уеду.

И тут Мейерхольд сыграл спектакль. Но боже, как это было грандиозно, этот удивительный театр для троих в восьмом часу утра. Третьей была Зинаида Николаевна Райх. Держа телефонную трубку так, чтобы я все слышал, он сказал с непередаваемой интонацией отчаяния:

— Понимаешь, ему, оказывается, не понравился сценарий, но он промолчал...

Наступила пауза.

И вновь я услышал голос Мейерхольда:

— Произошло трагическое насилие над его *творческой индивидуальностью*. Ты только вникни в эту бездну заячьей трусости, Зиночка, оцени это отсутствие собственного мнения, этот испуг, это...

— Не так! — заорал я, но он не слышал, он говорил:

— А теперь мы пропали. Мы не получим пьесу о том, что так нас с тобой радовало в его книге, зритель не увидит спектакля о рабстве, не увидит этих немецких безработных инженеров, не увидит смерти Нупбаха, не увидит...

К финалу монолог Мейерхольда я почувствовал себя действительно во всем виноватым. И почувствовал еще то, что необходимо понимать литератору во время работы для блага работы: дело его — нужное дело. И в этом действительно заинтересованы.

Напоминаю, я был мальчиком тогда. Никем. Почти что ничем. Но Мейерхольда интересовала не фамилия, не то, что называется «именем», а сочинение. Ему было нужно не сочетание имен на афише, а *только то, что он хотел выразить*. Он желал смертельно схватиться с капитализмом своим искусством, и не нужны ему были для этого никакие самые главные драматургические фамилии того времени. Да и вообще с удивительной, даже неправдоподобной наивностью он никогда не понимал, кто «главный». Даже у меня спрашивал впоследствии и всегда очень удивлялся:

— Да что ты? Вот бы не подумал! Ах, отстал, отстал. Слышишь, Зиночка, он говорит, что имярек теперь самый и есть Шекспир? Издавали бы, право, какие-нибудь списочки коротенькие, чтобы быть в курсе дела.

И смеялся подолгу, довольный своей идеей.

Сейчас, кажется, такие списочки издаются.

В то невеселое утро он сказал мне по телефону:

— Выпись покрепче. Завтра начнем все с самого начала. В этом спектакле *мы с тобой* покажем унижение человека рабским трудом, покажем смысл труда, если труд служит обществу. Это будет партийный спектакль, а не малиновый сиропчик. Это будет грандиозно! Положись на меня.

Сердце мое билось. «Мы с тобой...положись на меня!» Еще бы мне не положиться на Мейерхольда! Вот только как он на *меня* положится?

— Это будет спектакль о труде как о смысле человеческой жизни, — ревел в трубке голос. — Сильный и неработающий обречен на смерть! Ты понимаешь? Я знаю Европу и знаю, о чем тебе толкую. Мы их отхлещем по мордам, эту сволочь, не желающую понимать значение осмысленного человеческого труда...

И совсем неожиданное заключение:

— Обедать с завтрашнего дня станешь у меня. Не принесешь кусочек пьесы — не будет тебе никакого обеда. Не работающий да не ест.

— Хорошо, — сказал я тихо. — Спасибо!

Повелось так: перед обедом я читал написанное. Во время обеда, сунув угол салфетки за воротничок, Мейерхольд рассказывал Райх то, что я написал. Ее спокойные прекрасные глаза мерцали. Удивительно, как умела слушать эта необыкновенная женщина. Я давился едой! Ничего подобного тому, что рассказывал Мейерхольд, в моем сочинении и в помине не было. То, что писал я, было, разумеется, исполнено благих намерений, но неумело, беспомощно, пресно и дурно. А то, что рассказывал и порой показывал Мейерхольд бесконечно любимой им женщине, было всегда *таланливо*. Конечно, это были еще лохмотья, клочки, кусочки, иногда скороговорка и невнятица, но не восхищаться этим было невозможно.

Зинаида Николаевна восхищалась и гладила меня по голове большой белой рукой:

— Скажите какой оп у нас!

А Мейерхольд мне подмигивал и шептал украдкой:

— Теперь пойдет по театру, что у нас все великолепно. Уж она распишет. Она это умеет.

После обеда, аппетитно прихлебывая кофе, Мейерхольд спрашивал со значением в голосе:

— Все понял?

Я догадывался, что означал этот вопрос: напиши, пожалуйста, так же, как я рассказывал, и все получится. Но именно так, а не иначе. Ведь я же тебе так все разжевал, так растолковал, это невозможно не понять. И ты сказал, что понял. Так напиши же, черт возьми!

Ночами я по несколько раз просыпался: понял? Конечно, ничего не понял, дубина! Ну, а если и понял, что из этого?

Прекрасные, сильные, мощные образы выплывали ко мне из небытия, он мне так зримо показал их, что я их, разумеется, видел, но сил моих не хватало для того, чтобы перенести эту могучую фантазию в слова, в поступки, в действие. Я видел руку, воздетую величественно и грозно, кисть, медленно сжимающуюся в кулак, но это был жест Мейерхольда, он не уместался в мои юношеские представления о жизни, в мою абсолютную профессиональную неопытность, в мое полное незнание основ драматургии...

Он приказал мне вечерами непременно ходить в театр.

Естественно, что в эту пору я признавал только его театр.

Увидев меня в шестой раз на «Великодушном рогоносце», Мейерхольд сказал:

— Ты мне что-то тут примелькался. Приелся.

И хитро, шепотом посоветовал:

— Сходи в МХАТ.

— Куда? — с испугом спросил я.

— В Художественный, где чайка на занавесе. Только никому не говори, что я тебя послал.

— А что там посмотреть?

— Все, — со своим характерным смешком добренького сатаны сказал Мейерхольд. — А пачки с Чехова.

Утром на репетиции он ругался:

— Развели мхатовщину, смотреть невозможно. Кто вас научил этим отвратительным паузам? Оправдываете, да? Системочку изучаете?

В тот же день молодому и хитрому артисту, который объяснил свою беспомощность на сцене тем, что не желает подчиняться «мхатовским канонам», Мейерхольд с ужасающей жесткостью крикнул:

— Вы бездарность! Не смейте о МХАТе говорить! Вон отсюда!

Жить в эту пору мне было необыкновенно интересно: я писал, переделывал, переписывал, вновь писал, подолгу виделся с Мейерхольдом, читал то, что он приказывал читать, смотрел в театре то, что он считал для меня необходимым. Иногда он показывал мне оттиски гравюр, неожиданно и смешно сердился:

— Долдон! Ничего не понимаешь! Учить тебя и учить!

Однажды я достал бутылку дефицитного, как тогда говорилось, мозельвсейна. Мейерхольд, пофыркивая, медведем вылез из ванной комнаты, распаренный сел в кресло, велел мне самому отыскать в горке соответствующие вину фужеры. Открыв бутылку, я «красиво» палил немножко себе, потом ему, потом себе до краев. Мейерхольд, как мне показалось, с восторгом смотрел на мое священнодействие. Погодя, шепотом, очень заинтересованно осведомился:

— Кто тебя этому научил?

— Официант в «Национале», — с чувством собственного достоинства ответил я. — Там такой есть старичок — Егор Фомич.

— Никогда ничему у официантов не учись, — сказал мне тем же таинственным шепотом Мейерхольд. — Не заметишь, как вдруг лакейству и обучишься. А это не надо. Это никому не надо.

Галстуков я в ту пору принципиально не носил, расхаживал в коричневых сапогах, в галифе, в косоворотке и пиджаке. В мейерхольдовском театре на это никто не обращал внимания, но как-то Мейерхольды повезли меня на прием в турецкое посольство, и тут случился конфуз: швейцар оттер меня от Зинаиды Николаевны и Мейерхольда, и я оказался в низкой комнате, где шоферы

дипломатов, аккредитованных в Москве, играли в домино и пили кофе из маленьких чашек. Было накурено, весело и шумно. Минут через сорок пришел Мейерхольд, жалостно посмотрел на меня и произнес:

— Зинаида Николаевна сказала, что это из-за твоих красных боярских сапог тебя не пустили. Ты не огорчайся только. В следующий раз Зина тебя в нашем театральном гардеробе приоденет, у нее там есть знакомство...

Шоферы дипломатических представительств с грохотом забивали «козла». Какое-то чудище в багровом фраке, в жабо, в аксельбантах жадно глодало в углу баранью кость. Иногда забежали лакеи выпить чашечку кофе. Забежал и мажордом.

— Этого я всегда путаю с одним послом, — сказал Всеволод Эмильевич. — И всегда с ним здороваюсь за руку. Он уже знает и говорит: «Я не он. Он там в баре пьет коньяк».

Мейерхольд подтянул к себе поднос, снял с него чашечку кофе, пригубил и, внимательно оглядевшись, сказал:

— Здесь, знаешь ли, куда занятнее, чем наверху. В следующий раз надену твои розовые сапоги боярского покроя, и пусть меня наверх не пустят. Кофе такое же, а люди интереснее. Ох, этот народец порассказать может, а?

Долго, жадно вглядывался во все и во всех, словно вбирая и запоминая живописные группы людей, и неожиданно со сладким кряхтеньем произнес:

— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!

Эту прекрасную жадность художника я не раз замечал в нем: нужно было видеть, как он вдруг останавливался возле дома в Брюсовском, или на Гоголевском бульваре, или в Охотном и, вглядываясь в нечто, только ему видное, только им замеченное и отмеченное, восхищался, вбирая в себя и никому не показывая эту свою внезапно приобретенную личную собственность.

Что это было?

Улица?

Дерево?

Освещение?

Человек?

Красота или уродство?

— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!

И сейчас мне слышится эта интонация.

В этом смысле Мейерхольд был стяжателем и собственником. Во всех иных, по-моему, он был просто гол как сокол и беден как церковная мышь. Будучи завсегдатаем мейерхольдовского дома в ту пору, я никогда не слышал столь популярных в иных кругах собеседований о комиссионных магазинах, о раз-

личных мануфактурах, стульях чепендель, вообще о той дряни быта и искажений смысла жизни, которые, бывает, делаются самым смыслом, когда человек лишь желает подольститься к эпохе, подладиться к ней, с тем чтобы жирно есть и мягко спать, сывая ведущим и безгрешным.

Хороших отношений Всеволод Эмильевич тоже не умел заводить. Даже с самонужнейшими и ответственнейшими. Помню, как сказал он одному из своих недругов, когда тот пришел к Мейерхольду «замиряться»:

— Был к котлетам зеленый горошек, его нарком Бубнов съел, вам не осталось, так это не злонамеренно. Вот Бубнов утверждает, что вы теперь про меня напишете «за горошек», будто я сюрреалист и дадаист. Напишите?

Критик обиделся, и примирения не получилось.

Был у Мейерхольда автомобиль. Всеволод Эмильевич каждый раз, садясь в машину, ужасно удивлялся:

— Подумай, еще ездит. И осенью ездит, и зимой ездит. Поразительно!

И спрашивал у шофера:

— И весной будем ездить?

Средненькое, серенькое, скучненькое, пошленькое, как бы оно ни было разукрашено и отлакировано, вызывало в нем вспышки яростной скуки. Помню я, как в одном из ленинградских модных тогда театров смотрел Мейерхольд очередной красивенький спектакль. Полтора акта он почти непрерывно, нисколько этого не стесняясь, даже как-то демонстративно сердито, с воем зевал, тряс головой, охал, а потом, схватив Райх за руку, не дождав-шись антракта и не оглянувшись ни разу на бегущего за ним постановщика спектакля, ушел, не попрощавшись. А на следующий день жаловался:

— Бога нет только потому, что существуют такие театры. Если бы был бог, он бы с этим расправился. Гирляндочки, бон-боньерочки, голубое и розовое, а тоже станки, а тоже прожектора... А тоже, изволите ли видеть, новатор. Убивать таких, безжалостно. Или нет: не надо убивать, зачем убивать, у него хороший вкус для кафе. Он должен сделать маленькое кафе под названием «Артистическое». Нет, и в кафе его нельзя, будет приторно. Ты понимаешь?

Насколько мне известно, он не вел режиссерских записных книжек с пронумерованными или алфавитными наблюдениями. Его память была безмерно богата воспоминаниями, целыми кусками жизни, выразительными пейзажами, светом, цветом. Уже когда репетировалось мое «Вступление», он на ходу придумывал десятки решений в том или ином эпизоде, ставил их, полный

народа театральный зал устраивал овацию, но Мейерхольд вдруг раздражался и командовал:

— Все убрать! Цирк, а не театр! Номерам хлопают, а не спектаклю. Мы не ученые лошади, мы не дивертисмент, ужели непонятно?

Одному режиссеру, выразившему свое недоумение этими «строгостями», Мейерхольд при мне сказал:

— Хотите, подарю вам все нынешние выдумки? Серьезно! На бумажке перечислю и оформлю дарственную у нотариуса. Вам, поди, пригодятся, вы, я слышал, собираетесь стать режиссером-новатором.

И глумливо, врасстяжку произнес:

— Но-ва-ции!

Слова «новатор», «формалист», «футурист» он ненавидел так же страстно и бешено, как любую назойливую, прилипчивую пошлость. Когда при нем произносилось что-либо из этого словесного арсенала (к сожалению, сопровождавшего его всю жизнь), он как-то горестно съеживался и кряхтел, словно от зубной боли.

Мейерхольд любил и умел, разумеется, показывать артистам. Он показывал женщин, старух, юношей, показывал чопорного немца и пьяного, загулявшего немца, показывал, как сидит американец, показывал негру, как негр поет, и негр-артист с восторгом смотрел на мейерхольдовское показывание, потому что Мейерхольд увидел в национальной культуре негритянского пения то, что сам негр уже успел растерять в угоду эстрадам всего мира.

Но если Мейерхольда слепо копировали, он огорчался.

Он требовал, чтобы тот артистический индивидуум, которому он показывал основу его образа, создал некий новый *сплав* — из своего «я» и того точного рисунка, который преподал ему Мейерхольд.

Всеволод Эмильевич не просто показывал — он видел в том, которому показывал, возможность появления некоего нового чуда.

К сожалению, эти чудеса далеко не всегда удавались.

Однажды Мейерхольд скорбно сказал:

— Старею, а сколько сил уходит даром.

И правда даром: мне одному весь вечер он рассказывал, как поставит в новом своем театре «Бориса Годунова». Рассказывал он, разумеется, не лично мне, просто я, как говорится, под руку попался, и вечер выдался пустой, одинокий. Я, разумеется, ничего потом не записал. И вообще, кажется, Мейерхольда мало записывали. Есть драгоценности — записки, скажем, Гладкова, но нужно обязать всех, *кто знал* Мейерхольда в работе, восста-

новить его жизнь, это долг совести и чести каждого, кому судьба подарила трудное счастье общения с этим человеком. И в первую очередь это обязаны сделать *верные* ученики и последователи Мейерхольда. А я знаю *и таких*. Я имею честь знать В. Н. Плучека, который *никогда* не убирал со своего стола бюст Вс. Эм. Мейерхольда, тем самым веря в *конечное торжество* справедливости и утверждая, что *так не может быть*. В нашем великолепном театре Северного флота, которым командовал Плучек, *всегда*, и в шторм, и в вёдро, звенела эта удивительная струна — страстности, наступательности, партийности, того, что и есть сама жизнь мейерхольдовцев, ни один из которых никогда не унизился до искательства и приспособленчества.

Обворовывали, надо сказать, Мейерхольда ужасно.

Помню, показал он мне как-то афишу, которую прислали ему то ли из Курска, то ли из Орла, то ли из Воронежа. Афиша была огромная, паглая и бесстыжая. И напечатаны на ней были следующие слова: «Постановка осуществлена по московскому театру имени Вс. Мейерхольда».

— Видишь, какой хороший мальчик, — сказал Мейерхольд, тыкая в фамилию режиссера, и с неожиданной горячностью добавил: — Этот что! Этот пусть себе. На здоровье. Огорчает меня другое: другие берут и, понимаешь ли, ругают. Украдут и обругают... И когда уж больно резво меня ругают, я все пытаюсь вспомнить: а что же ты, воришечка, у меня украл, что так пылко ругаешься?..

В этот вечер он рассказал о том, как Ленин смотрел в МХАТе «Сверчок на печи», как ему, Ленину, спектакль не понравился и как он, Владимир Ильич, запретил запрещать «Сверчка на печи». Рассказывал об этом Мейерхольд словно бы даже с какой-то завистью.

Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения:

— Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: «Мейерхольд и Герман»? Или: «Герман и Мейерхольд»? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?

И крикнул:

— Зиночка, выгони его из дому!

Выдумывал Мейерхольд так.

Я робко прочитал картину, в которой один за другим выходили десять или даже больше, сейчас не помню, инженеров-немцев. Все это происходило в ресторане в Берлине. Не зная, как выписать нужный мне эпизод, промучившись с ним бесконечно

долго, я на все махнул рукой, и бедные мои инженеры пошли чередой, уныло представляясь каждый порознь. Дочитывая, я действительно думал, что сейчас меня выгонят помелом.

— Гениально! — воскликнул Мейерхольд. — Это лучшее, что ты написал. Ты что? Серьезно не понимаешь, как это великолепно?

Втянув голову в плечи, я неподвижно сидел на диване.

— Дурак! — сказал Мейерхольд. — Пойми, они пьяные! Они пьют третий день! Они так перепились, что затеяли эту ужасную, пугающую, идиотскую, просто неправдоподобную игру! Победа зеленого змия над интеллектом, над человеком, над силой духа! И вот, пьяные, они рекомендуются друг другу, несмотря на то что отлично знают один другого. Впиши фразочку, чтобы стало понятно, и завтра мы репетируем!

Назавтра завертелась дверь-вертушка. Из дождя и уличного тумана входили в ресторан мертвецы.

Гремели в зале несмолкаемые аплодисменты — весь ужас и мрак ненавистой коммунисту Мейерхольду тупости филистерского благополучия, все ублюдочное веселье этой умершей жизни, мучительная тревога за будущее немецкого народа были в этой сцене.

Недаром на премьере именно в эти минуты из зала, стуча башмаками, ушли все деятели гитлеровского посольства в Москве во главе с послом.

Ушли бледные, с перекошенными мордами. Зрители начали посвистывать им вслед. Гитлеровцы зашипели. На лице Мейерхольда появилось непередаваемое выражение счастья. Такое выражение я видел на лице у командующего авиацией Северного флота на командном пункте, когда он, командующий, понял, что разгром фашистской авиации на ее норвежских базах начался и процесс этот необратим.

Это не нюансы и подтексты. Это именно то, что любил напевать Мейерхольд:

И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!

Вслед фашистским послам Мейерхольд сказал зло и громко: — Проняло.

Максим Максимович Литвинов покосился на Мейерхольда.

— Завтра мне придется принимать их «представление», — сказал он. — Будет невесело.

А Мейерхольд зашептал:

— Я уже придумал, что мы сделаем завтра. Будет не Берлин, чтобы эти мерзавцы не вязались, а «вольный город» Штеттин.

— Умница, — почти растроганно сказал Литвинов.

Но мерзавцы все-таки привязались. Литвинов и Мейерхольд виделись всякий день. И наконец Всеволод Эмильевич придумал трюк. Он сказал:

— Это театр мой. На вывеске написано — Всеволода Мейерхольда. Что имени, они не поймут, они капиталисты. Вы им, Максим Максимыч, душа моя, и объясните. Не слушается, мол. Уперся на своем, и все.

Фашистюги приходили, разглядывали вывеску, разговаривали, как гуси.

И — отвязались.

В эпизоде похороп сына старого рабочего Ганцке, которого прекрасно играл Боголюбов, старика долго и торжественно одевают на церемонию: манжеты, крахмальная манишка, черный галстук, цилиндр.

Но Мейерхольд придумал свое знаменитое зеркало.

В руке раздавленного горем старика Ганцке большое зеркало: он оглядывает себя. Зеркало дрожит. Меловое лицо, прорезанное морщинами, в дрожащем, высветленном прожекторами зеркале вызывало буквально стон в зале. Горе из плоскости быта, из привычных изображений всех степеней этого чувства мгновенно пронизывало пестерпимой болью сердца всех людей в зале и превращало их из зрителей в участников предстоящей трагической церемонии. Стоп сменялся гулом возмущения. Зритель не желал больше ни секунды терпеть то, что делает с рабочими мир капиталистического чистогана.

Не есть ли умение пайти и воплотить эту выразительность, выжечь этот гнев, эту страстность зрителей — высочайшая задача искусства?

Спившийся, давно безработный, талаптливый, умный и ципичный инженер Нунбах, образ которого воплотил в жизнь еще совсем молодой тогда Лев Наумович Свердлин, проходит в романе длинный и мучительный путь, прежде чем покончить с собой.

Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «горький миндаль». В этом эпизоде Нунбах в кабинете-лаборатории главного моего героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.

Была глубокая ночь, когда все окончательно поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.

Мейерхольд пил свое молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.

Там он постоял, обдумывая, видимо, как быть и что делать. Лицо у него было спокойное, сосредоточенное и даже суровое.

Потом рабочие выкатили рояль.

Погодя Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.

В зале все затихли.

Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, только что слепленный им самим из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике возле кресла. Попыхивая сигарой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Наконец все было готово.

Он медленно и требовательно оглядывал то, что создал тут своими руками.

В зале сделалось так тихо, словно все ушли.

Три свечи горели на столе. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь создали простую, лаконичную и чудовищно безжалостную формулу смерти.

— Вы можете тут умереть, Лева? — спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.

— Да! — сдавленным голосом крикнул Свердлип. — Да, спасибо, Всеволод Эмильевич!

— Начали, — приказал Мейерхольд.

Кельберг-Мичурин сел за рояль. Звуки «Лунной сонаты» поплыли со сцены. Лев Наумович Свердлип медленно пошел к сверкающему парчой креслу.

— Это гроб, Лева, — предостерегающе крикнул Мейерхольд.

Сидевший со мной рядом великолепный артист Зайчиков закрыл глаза ладонью, и я услышал, как он бормочет:

— Это невыносимо! Это невозможно выдержать!..

А мне вдруг подумалось, что именно в такие мгновения два самых крупных человека в истории русской режиссуры — Станиславский и Мейерхольд — могут взять да и пожать друг другу руки. И что тогда станут делать те критические шавки, которые своими намеками, междустрочьем, «беспокойною ласковостью взгляда», воем и наушничаньем в интерпретации поисков Мейерхольда приблизили его трагический конец? Ведь это они дали оружие в руки тех мерзавцев, которые вели так называемое «дело Мейерхольда». Это цитатами из некоторых критических работ о нем был мучим Мейерхольд, старый и славный коммунист, создатель единственного в мире театра, потеря которого невозвратима. Ибо театр Мейерхольда был не театром прошедшего, а был театром будущего, театром наших нынешних дней.

Однажды, когда я поздней ночью провожал Мейерхольда домой, он угрюмо сказал:

— Вот, набравшись духу, позвоню Константину Сергеевичу и предложу: давайте, знаете, закроем наши курятники, убежим на чердак и станем все с самого начала придумывать. Ведь зашли в тупик и он, и я. Искать надо...

Помолчал и добавил:

— Впрочем, пасчет тупика пишут только про меня. А когда Станиславский ругается, это считают милыми чудачествами гения. Вовсе он не чудит, он ищет и мучается. А ему не велят. Ему объясняют, что он уже все совсем навсегда нашел.

Потом, неуверенно бодрясь, Мейерхольд пригрозился:

— Ничего, рано меня хоронить. Еще поглядим!

Спектакль «Вступление» состоялся.

Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда — справедливо — хвалили. Мне было горько, но не слишком...

Во время гастролей театра в Ленинграде я пришел к Мейерхольду в «Европейскую» гостиницу. Шеф-повар сам принес ему пломбир после обеда — странное сооружение из кубов, пирамид, треугольников, овалов...

— Опять? — брезгливо спросил Мейерхольд.

— Специально для вас стараемся, — сказал шеф. — Пломбир «футуристический»...

Всежливо поблагодарив шефа, Всеволод Эмильевич отошел к окну. Он был очень бледен. И произнес едва слышно:

— Заметьте, этот «футуристический» пломбир мне приносят не в первый раз! Что делать, как отучить их от этой мерзости?

Я никогда не видел Мейерхольда в таком состоянии.

А потом Мейерхольд меня забыл.

Я больше не был ему пужен, он умел близко, по-настоящему общаться с людьми, только делая с ними совместную работу.

Мне очень хотелось посмотреть «Даму с камелиями» — билетов не было, и я позвонил самому Всеволоду Эмильевичу. Он долго притворялся, что чрезвычайно рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются в молодости, и ушел.

Больше я его никогда не видел.

И никогда не увижу.

Но когда я смотрю настоящий, подлинный, берущий за сердце спектакль или кинофильм, который заставляет меня волноваться, радоваться и плакать, я непременно вспоминаю те удивительные месяцы моей молодости. Лакопизм и страстность, сила разоблачения и сила утверждения, патетическая простота, энергия развития образов, великолепная целеустремленность — вот то мейерхольдовское, что волей или неволей вошло в плоть и кровь всего подлинно прогрессивного в нашем искусстве.

И когда я пишу сценарий, или повесть, или роман, те же удивительные месяцы моей молодости опять-таки непременно ожидают передо мной. И не как воспоминания, а как школа, как техникум, как... впрочем, слово «университет» в нашем деле следует употреблять с осторожностью.

За эти месяцы близости с Мейерхольдом я, как мне кажется, очень многое понял. И если в работе моей что-то удастся, я знаю: не без тех давно миновавших дней. Если же нет, значит, дней этих было слишком мало или я был в ту пору моложе допустимой нормы.

Таким он остался навечно в моей памяти, этот удивительный человек.

И мне горько, что мы до сих пор с какой-то странной опаской произносим имя Мейерхольда. А некоторые среди нас не возвышаются над шефом-поваром из «Европейской» с его «футуристическим» пломбиром. Может быть, на основании слухов им Мейерхольд представляется каким-то «ничевоком» или «эгофутодадаистом»? Или, не к ночи будь сказано, абстракционистом?

Сталин *никогда* не был в театре Мейерхольда.

И если говорить всерьез о борьбе с последствиями культа личности Сталина, то эта недоверчивость к имени Мейерхольда есть *реальное* последствие, с которым надо бороться.

Все, кто знал Мейерхольда, обязаны *рассказать* о самом главном в нем, о его преданности партии, о его ненависти к обывательщине и мещанству, о наступательном духе его искусства. А ошибки? Что ж! Академик Павлов любил говорить:

— Кто с коня не падал, кто бабушке не внук, под кем санки не подламывались? — И сам отвечал: — Неродившиеся души!

Мейерхольд был. Мейерхольд есть. Мейерхольд будет.

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ О ДЗЕРЖИНСКОМ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. НАКАНУНЕ	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ	81

ДВЕ ПОВЕСТИ

ЛАПШИН	165
ЖМАКИН	269

РАССКАЗЫ О ПИРОГОВЕ

НАЧАЛО	429
БУЦЕФАЛ	496

ВОСПОМИНАНИЯ

О ГОРЬКОМ	525
О МЕЙЕРХОЛЬДЕ	534

Герман Ю.

Собрание сочинений. В шести томах. Том 2. Рассказы. Две повести. Воспоминания. Оформл. худож. А. Гасникова. Л., «Худож. лит.», 1975.

552 с.

Во второй том собрания сочинений Ю. П. Германа включены рассказы о Ф. Э. Дзержинском и о замечательном русском хирурге Пирогове, две повести («Лапшин», «Жмакин») о сотрудниках уголовного розыска, воспоминания автора о М. Горьком и о Вс. Мейерхольде.

Г $\frac{70302-073}{028(01)-76}$ подписное

Р2

*Юрий Павлович Герман***СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ****ТОМ 2**

Редактор Т. Мельникова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н. Литвина
Корректор Л. Никульшина

Сдано в набор 7/IV 1975 г. Подписано к печати 29/VII 1975 г.
Бум. тип. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 34,5 печ. л. 32,188 усл.-печ. л.
32,815 уч.-изд. л. Заказ № 351. Тираж 50 000 экз. Доп.
Цена 1 р. 35 к. Издательство «Художественная литература»,
Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Д-186,
Невский пр., 28

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136,
Гатчинская ул., 26

Scan Kreyder - 11.12.2015
STERLITAMAK

